К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС



ПЕЧАТАЕТСЯ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНСТИТУТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА при ЦК КПСС

К. МАРКС
и
Ф. ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ

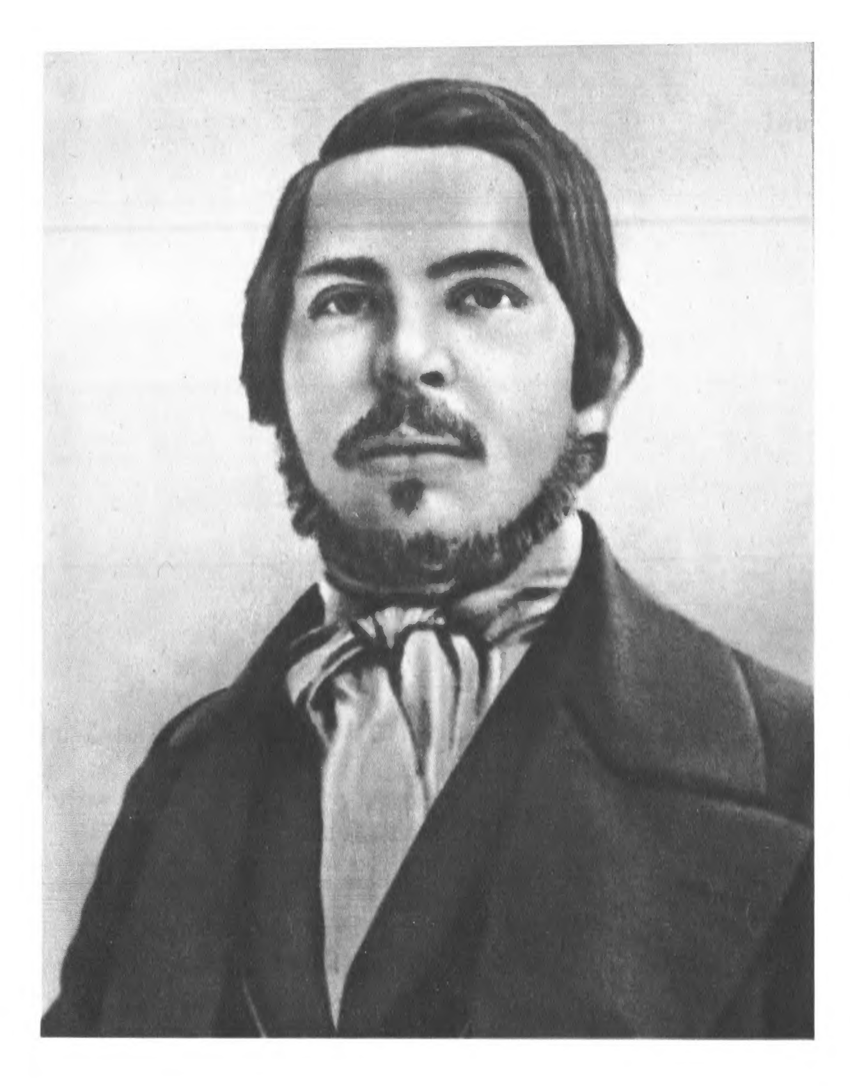
Издание второе

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва · 1970

К. МАРКС
И
Ф. ЭНГЕЛЬС

ТОМ

41



ПРЕДИСЛОВИЕ

В 41 том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса входят произведения и письма молодого Энгельса, не включенные в основные тома Сочинений и написанные им преимущественно в 1838—1842 гг. (лишь два юношеских стихотворения и рассказ о морских разбойниках относятся к более раннему времени и два небольших документа — к началу 1844 г.). Эти работы и письма значительно дополняют 1 и 27 тома Сочинений. Они отражают процесс формирования революционно-демократических взглядов Энгельса, а также показывают наметившийся у него в 1842 г., за два года до начала сотрудничества с Марксом, переход от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму. С публикацией этих материалов во второе издание Сочинений основоположников марксизма войдет все выявленное литературное наследие Энгельса этого периода.

Большой интерес представляют письма Энгельса, составляющие около трети тома. Они адресованы его школьным товарищам Вильгельму и Фридриху Греберам, сестре Марии и писателю Левину Шюккингу. Юношеские письма Энгельса являются ценным источником для изучения его биографии, особенно за годы пребывания в Бремене, где он работал учеником в крупной торговой фирме с июля 1838 по март 1841 года. Письма эти дают очень много для раскрытия характера молодого Энгельса, для ознакомления с кругом его интересов, с его литературными и художественными вкусами. Перед читателями раскрывается привлекательный облик разносторонне одаренного, пытливого юноши, тяготевшего ко всему наиболее передовому в науке, искусстве и политике, жаждущего найти свое место в ряду

активных борцов за общественный прогресс. С необычайной чуткостью откликается он на жгучие вопросы, волновавшие его современников, включаясь в философские, литературные и религиозные споры, за которыми скрывалась определенная политическая позиция борющихся общественных сил тогдашней полуфеодальной Германии, стоявшей на пороге буржуазной революции. По этим письмам можно получить представление о богатстве духовного мира Энгельса и мучивших его сомнениях, о проделанной им сложной внутренней эволюции.

Публикуемые письма свидетельствуют о необычайной начитанности молодого Энгельса в области художественной литературы. Он читает не только немецких классиков и современных писателей Германии — Гёте, Шиллера, Виланда, Тика, Гуцкова, Бека, — но и, говоря его словами, «всю мировую литературу». Наряду с художественными произведениями он серьезно штудирует книги по философии и истории, совершенствует свои знания иностранных языков. В письмах к сестре Марии Энгельс неоднократно рассказывает ей о своем увлечении музыкой. Он посещает концерты, оперные спектакли и даже сам сочиняет хоралы. Энгельс с большой любовью отзывается о Бахе, Генделе, Глюке, Моцарте, Перголезе, Мендельсоне и особенно о Бетховене. Наиболее сильное впечатление произвело на него исполнение Пятой симфонии Бетховена. «Вот это симфония была вчера вечером! — сообщает он сестре 11 марта 1841 года. — Если ты не знаешь этой великолепной вещи, то ты в своей жизни вообще еще ничего не слышала. Эта полная отчаяния скорбь в первой части, эта элегическая грусть, эта нежная жалоба любви в адажио и эта мощная юная радость свободы, выраженная звучанием тромбонов, в третьей и четвертой частях!» (настоящий том, стр. 481).

Яркий свет проливают письма на жизнелюбивую натуру Энгельса. Его любимые занятия отнюдь не ограничивались интеллектуальной сферой. Он охотно и увлеченно занимается спортом: часто ездит верхом, фехтует, отлично плавает, без труда переплывая четыре раза Везер. Каждой предоставившейся возможностью он пользуется для того, чтобы совершать путешествия, обнаруживая при этом тонкую наблюдательность и умение наслаждаться красотами природы.

Увлекается юный Энгельс также сочинением стихов, которыми изобилуют его письма (некоторые из его стихотворений были напечатаны в тогдашних газетах и журналах). И хотя эти поэтические опыты носят подражательный характер, они наполнены глубоким политическим и философским содержанием.

Уже из письма Энгельса Вильгельму Греберу от 30 июля 1839 г. видно, что талантливый юноша не только сам писал стихи, но и делал переводы стихотворений английского поэта Перси Биши Шелли. Дополнительные данные об увлечении Энгельса поэзией Шелли дают впервые публикуемые на русском языке два его письма писателю Левину Шюккингу (от 18 июня и 2 июля 1840 г.), с которым Энгельс познакомился в мае 1840 г. во время пребывания в Мюнстере. Из этих писем следует, что, находясь там, Энгельс обсуждал с Шюккингом и другим немецким радикальным писателем Германом Пютманом план издания переводов Шелли, над которыми все они работали. Очевидно, у Энгельса был уже готовый для публикации материал. Во всяком случае, по возвращении в торговую фирму, как Энгельс сообщает Шюккингу, он вступил по этому поводу в переговоры с бременским издателем Карлом Шюнеманом, но не смог договориться с ним. Он написал также издателю Хаммериху в Альтону, однако получил отказ. По-видимому, Энгельсу так и не удалось опубликовать свои переводы.

Любовь Энгельса к великому английскому поэту, которую он сохранил и в последующие годы жизни, свидетельствует о революционных настроениях юноши, которого, безусловно, привлекали в поэзии Шелли свободолюбивые мотивы и гневный протест против угнетателей. Недаром к своему стихотворению «Вечер», в котором Энгельс выражает уверенность, что царящая в Германии беспросветная тьма уступит место «заре свободы», он взял эпиграфом шелливские слова: «День завтрашний придет!».

Письма Энгельса свидетельствуют о выдающихся способностях будущего теоретика и вождя рабочего класса в области языкознания. Уже в то время молодой Энгельс был настоящим полиглотом. Когда он шутливо уверял сестру, что понимает 25 иностранных языков, то не так уж отходил от истины. Во всяком случае, в это же время одно из писем Вильгельму Греберу Энгельс написал на девяти языках — древнегреческом, латинском, итальянском, английском, испанском, португальском, французском, голландском и немецком (см. настоящий том, стр. 393—397).

Письма к братьям Греберам дают возможность проследить развитие политических и философских взглядов Энгельса. Уже у восемнадцатилетнего юноши возникает глубокое чувство протеста против всяческих проявлений деспотизма и реакции, сословных привилегий, ханжества и мракобесия в политической и духовной жизни Германии, особенно в юнкерской Пруссии. О своих революционных настроениях он сообщает

друзьям, отмечая, что с увлечением читает оппозиционную литературу, изобличающую реакционные и абсолютистские порядки в Германии. С гневом пишет Энгельс одному из братьев Греберов о прусском короле Фридрихе-Вильгельме III. «Я ненавижу его так, как кроме него ненавижу, может быть, только еще двоих или троих; я смертельно ненавижу его; и если бы я не презирал до такой степени этого подлеца, то ненавидел бы его еще больше» (настоящий том, стр. 443).

В сознании молодого Энгельса все больше зрела мысль о великой преобразующей роли революционных потрясений в общественной жизни. Он с интересом и симпатией относится к революционным деятелям прошлого, смелым борцам против политических и духовных оков, средневековых предрассудков и официальных авторитетов — Гусу, Лютеру, участникам великой французской революции, польского восстания 1830—1831 годов. Годовщине июльской революции 1830 г. во Франции Энгельс посвятил восторженное стихотворение, которое он послал в 1839 г. Ф. Греберу (см. настоящий том, стр. 414). В нем Энгельс рассматривает революцию не только как могучую силу, сметающую все отжившее, устарелое, но и как пробуждение подлинной творческой энергии широких масс народа:

«Но повеяла буря из Франции к нам,
всколыхнулись народные массы,
И колеблется трон, как средь бури ладья,
и дрожит в вашей длани держава».

Из этого стихотворения и других высказываний Энгельса видно, что он был сторонником революционного способа устранения социальных и политических преград, прежде всего абсолютной монархии и сословных барьеров, стоящих на пути прогрессивного развития Германии, ее национального объединения и установления в ней демократического строя. Волновала Энгельса и судьба народных масс, внимание к социальным нуждам которых особенно ярко отразили написанные им в это время знаменитые «Письма из Вупперталя» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 451—472).

На формирование революционно-демократических взглядов молодого Энгельса в 1839 г. большое влияние оказали произведения немецкого радикального публициста Людвига Бёрне, родоначальника литературного течения «Молодая Германия», которого Энгельс назвал в письме к Вильгельму Греберу «титаническим борцом за свободу». Энгельс пока еще не замечает слабых сторон творчества Бёрне, выражавшихся в отсутствии

цельного философского мировоззрения и колебаниях между буржуазным демократизмом и либерализмом.

Из писем братьям Греберам видно, что уже весной 1839 г. Энгельс стал с большим сочувствием относиться к писателям «Молодой Германии». В марте 1839 г. он налаживает связи с одним из виднейших идеологов этого литературного направления Карлом Гуцковым и начинает печататься в редактируемом им гамбургском журнале «Telegraph für Deutschland».

В творчестве писателей «Молодой Германии» Энгельса прежде всего привлекают их свободолюбивые идеи, призыв к введению конституционного управления, к уничтожению сословного и национального неравенства, к отказу от всякого религиозного принуждения. 9 апреля 1839 г. Энгельс пишет Фридриху Греберу, что он младогерманец «душой и телом». «По ночам я не могу спать от всех этих идей века, — продолжает он, — когда я стою на почте и смотрю на прусский государственный герб, меня охватывает дух свободы; каждый раз, когда я заглядываю в какой-нибудь журнал, я слежу за успехами свободы» (настоящий том, стр. 374).

Однако даже в период своего наибольшего увлечения произведениями писателей «Молодой Германии» Энгельс обращает внимание и на слабые стороны этого направления. Ему не нравится, что представители этой группы любят выступать с печатью «мировой скорби» на челе, что их произведения проникнуты страдальческим тоном, пессимизмом. Его симпатии привлекают лишь те писатели, которые стремятся приблизить литературу к общественной жизни, превратить ее в орудие активной политической борьбы.

Из писем братьям Греберам также видно, как Энгельс постепенно освобождается от традиционных религиозных представлений, внушенных с детства, и вступает на путь, ведущий к атеизму. Стремясь найти истину, он много занимается теологией и философией, историей христианства, критическим чтением библии. От письма к письму раскрывается напряженная работа мысли пытливого юноши, который приходит к выводу, что в библии имеются неразрешимые противоречия и что нельзя примирить науку с религией.

Важную роль в созревании атеистических воззрений молодого Энгельса сыграла вышедшая в 1835—1836 гг. книга младогегельянца Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», которая объявляла евангелие собранием легенд и мифов, подрывая тем самым веру в действительность евангельских чудес и показывая беспочвенность христианской ортодоксии. В октябре 1839 г. Энгельс пишет Вильгельму Греберу, что он «теперь восторженный

штраусианец». Книга Штрауса, в свою очередь, дала толчок чтению Энгельсом произведений Гегеля, с «Философией истории» которого он знакомится в конце 1839 года. «Я как раз на пороге того, чтобы стать гегельянцем», — признается Энгельс в это время Вильгельму Греберу. Последующие письма Энгельса братьям Греберам, а также его статьи показывают, что он не был в плену консервативной системы Гегеля, а стремился делать из его философии радикальные выводы.

Политические и философскпе взгляды молодого Энгельса, высказанные в его письмах братьям Греберам, нашли также отражение в литературно-публицистических работах бременского периода жизни. Эти работы печатались в прогрессивных немецких газетах и журналах — «Telegraph für Deutschland», «Morgenblatt für gebildete Leser», «Mitternachtzeitung für gebildete Leser» и др. Во многих из своих ранних статей Энгельс выступает как пламенный революционный демократ. Они проникнуты неподдельной ненавистью к косности и реакции, глубоким сочувствием к угнетенпым народам, подлинным революционным пафосом.

Уже первое опубликованное произведение молодого Энгельса — стихотворение «Бедуины», напечатанное в сентябре 1838 г., заслуживает внимания, показывая, что у автора начинает проявляться дух свободолюбия. По его собственному толкованию, главная мысль стихотворения заключается в противопоставлении «гордых сынов пустыни» — бедуинов чопорному и вместе с тем рабски преклопяющемуся перед деспотизмом аристократически-бюргерскому миру современной ему Германии — миру филистерства и ханжества.

Опубликованная в ноябре 1839 г. статья «Немецкие народные книги» свидетельствует о рано проявившемся у Энгельса большом интересе к народному творчеству, к его героям. Из этой статьи видно, с каким живым участием Энгельс относится к вопросам просвещения народных масс. Энгельс резко осуждает попытки под флагом литературной обработки фальсифицировать в реакционном духе народные сказания. Он призывает к тому, чтобы народная книга служила делу борьбы за свободу, делу прогресса, «но ни в коем случае не потворствовала бы лицемерию, низкопоклонству перед знатью и пиетизму» (настоящий том, стр. 12).

В статье «Ретроградные знамения времени», опубликованной в феврале 1840 г., Энгельс набрасывает яркую картину диалектического развития человечества, убедительно опровергая тех реакционных писателей, представителей и сторонников исторической школы права, романтической историографии и т. д.,

которые отрицали движение истории по восходящей линии, идеализировали средневековье, защищали незыблемость существующих полуфеодальных и абсолютистских порядков. История, пишет Энгельс, разоблачая такую ретроградную точку зрения, это спираль, «изгибы которой отнюдь не отличаются слишком большой точностью. Медленно начинает история свой бег от невидимой точки, вяло совершая вокруг нее свои обороты, но круги ее все растут, все быстрее и живее становится полет, наконец, она мчится, подобно пылающей комете, от звезды к звезде, часто касаясь старых своих путей, часто пересекая их, и с каждым оборотом все больше приближается к бесконечности. Кто может предвидеть конец?» (настоящий том, стр. 27). Там, где реакционеры, «мандарины регресса», говорит Энгельс, видят лишь повторение старого, застой, в действительности не прекращается движение истории вперед.

Энгельс делает здесь значительный шаг вперед по сравнению с Гегелем. В то время как у Гегеля процесс исторического развития находил свое завершение в конституционной монархии и он готов был даже объявить вершиной саморазвития абсолютного разума монархическое прусское государство, Энгельс отстаивает идею беспредельности исторического процесса, поступательного движения человечества вперед.

Приняв идею Гегеля о всемирной истории как осуществлении понятия свободы, Энгельс подвергает уничтожающей критике утверждения реакционеров о вечности и неизменности сословного строя, полукрепостнической зависимости крестьян. В статье «Реквием для немецкой «Adelszeitung»», напечатанной в апреле 1840 г., Энгельс, высмеивая политические взгляды этого печатного органа немецкого дворянства, писал: «Вступительное слово поучает нас, что всемирная история существует... лишь для того, чтобы доказать необходимость существования трех сословий, причем дворяне обязаны воевать, бюргеры — мыслить, крестьяне — пахать» (настоящий том, стр. 46—47). И в этой статье Энгельс уже фактически ведет борьбу против тех принципов, которые характерны и для социально-политических взглядов Гегеля. В отличие от Гегеля, рассматривавшего деление гражданского общества на сословия как нечто необходимое, Энгельс считает, что это деление утратило всякий смысл. Он решительно отвергает все отжившие учреждения прошлого, выступая против сословного строя, привилегий дворянства и абсолютизма.

В напечатанной в начале 1841 г. статье «Эрнст Мориц Арндт» Энгельс решительно осуждает культивируемую немецким дворянством ненависть к демократическим принципам француз-

ской буржуазной революции конца XVIII века и развенчивает германский национализм — тевтономанию. С позиций революционного демократизма Энгельс набрасывает для Германии четкую программу демократических преобразований, которая включает такие требования, как уничтожение пережитков феодальных отношений, ликвидацию сословно-абсолютистского строя, улучшение положения народных масс, преодоление экономической и политической раздробленности Германии, объединение ее в единое демократическое государство. «Пока наше отечество будет оставаться раздробленным, — писал Энгельс, — до тех пор мы — политический нуль, до тех пор общественная жизнь, завершенный конституционализм, свобода печати и все прочие наши требования — одни благие пожелания, которым не суждено осуществиться до конца» (настоящий том, стр. 131).

Выступая в этой работе против присущего тевтономанам национального высокомерия и противопоставления немцев другим народам, Энгельс показывает в то же время бесплодность космополитического либерализма, не видящего национальных различий и игнорирующего национальные потребности и интересы немецкого народа. Правда, в этой статье Энгельс, отстаивая идею о превращении раздробленной Германии в «единую равноправную нацию граждан», предложил включить в состав объединенного германского государства Эльзас, Лотарингию, Бельгию и Голландию. Но главное здесь было не в этих увлечениях молодости, от которых сам автор статьи позднее решительно отказался, а в провозглашенных в ней общих принципах демократического интернационализма, противопоставляемых как воинствующему национализму тевтономанов, так и космополитическому национальному нигилизму либеральных буржуа. Вся статья Энгельса проникнута идеями равенства наций, через весь текст проходит мысль, что каждый народ вносит свою лепту в мировую цивилизацию, подчеркивается недопустимость изображения немцев некой избранной нацией и отрицания тех «бесчисленных ростков всемирно-исторического значения, которые произрастали не на немецкой почве» (настоящий том, стр. 121).

В статьях «Карл Бек», «Платен», «Воспоминания Иммермана» и «Современная литературная жизнь», написанных в 1839—1841 гг., Энгельс показал себя прекрасным знатоком современной немецкой литературы и глубоким литературным критиком. Особенно большой интерес представляет статья «Современная литературная жизнь», впервые опубликованная на русском языке в 1967 г. в сборнике «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». Статья проливает дополнительный свет на отно-

шения Энгельса к литературному направлению «Молодая Германия». Из нее видно, что Энгельс уже в 1840 г. начал разочаровываться в этом течении, подвергая его серьезной критике. Его не удовлетворяло отсутствие в нем идейного единства и беспринципные литературные распри, которые велись внутри него между различными группировками. Окончательный разрыв Энгельса с «Молодой Германией» произошел в 1842 году. В мае 1842 г. в «Rheinische Zeitung» он публикует статью «Комментарии и заметки к современным текстам», в которой резко критикует писателей этого направления за эклектизм, политическую бесхребетность и половинчатость. «Почти все принадлежавшие к этой категории авторы, — пишет Энгельс, — однако, не оправдали возложенных на них надежд и погрязли в расслабленности, явившейся следствием бесплодных стремлений к внутреннему единству. Неспособность создать что-либо цельное была подводной скалой, о которую они разбились, так как сами не были *цельными* людьми» (настоящий том, стр. 264).

В конце марта 1841 г. Энгельс возвратился в Бармен, а осенью отправился в Берлин, чтобы отбыть воинскую повинность. Хотя сыновья богатых родителей легко могли откупиться от военной службы, Энгельс предпочел пройти ее в качестве вольноопределяющегося. Выбрав местом для прохождения службы Берлин, он надеялся в свободное время пополнить свое образование в университете. Энгельс поступает в гвардейскую артиллерийскую бригаду, где в течение года, до октября 1842 г. проходит военное обучение и получает звание бомбардира. В качестве студента-вольнослушателя он посещает Берлинский университет, где слушает лекции по философии и занимается в семинарах крупных ученых.

Берлин в то время был ареной борьбы разных философских направлений. Наиболее радикальным философским течением было направление младогегельянцев, представленное братьями Бруно и Эдгаром Бауэрами, А. Руге, К. Ф. Кёппеном и другими. Видную роль среди них играл, будучи еще студентом Берлинского университета, Карл Маркс, который по окончании университета, незадолго до приезда Энгельса, покинул Берлин. Их радикальные политические и философские убеждения привлекли внимание Энгельса. Он примкнул к берлинской группе младогегельянцев и уже вскоре после приезда в Берлин принял активное участие в разгоревшейся в то время идейной борьбе.

Берлинский период жизни Энгельса, отраженный в ряде произведений и писем, которые включены в данный том, имел большое значение в его духовном развитии. Здесь происходит

дальнейшая радикализация его воззрений, революционно-демократические убеждения приобретают бо́льшую четкость и определенность. Под влиянием работ Б. Бауэра по истории первоначального христианства и произведений Л. Фейербаха окончательно приобретают радикально-атеистический характер взгляды Энгельса на религию, углубляется его понимание слабых сторон гегелевской философии, необходимости решительного размежевания с консервативными тенденциями его философии, поднимаемыми на щит правогегельянским направлением. Большого мастерства достигает в это время Энгельс как революционно-демократический публицист, страстно обличающий в печати реакционные явления в политической и идейной жизни, в том числе попытки превратить философию в прислужницу монархической церкви, в орудие наступления реакции на передовую общественную мысль.

В двух декабрьских номерах журнала «Telegraph für Deutschland» за 1841 г. появляется под псевдонимом Ф. Освальд статья Энгельса «Шеллинг о Гегеле», а в 1842 г. выходят анонимно его две брошюры «Шеллинг и откровение» и «Шеллинг — философ во Христе». Написанные под впечатлением прослушанных в Берлинском университете лекций Шеллинга, все три работы Энгельса содержат глубокую критику философских и политических взглядов этого некогда единомышленника Гегеля, превратившегося теперь в крайнего реакционера и религиозного мракобеса. В первых двух работах Энгельс защищает прогрессивные стороны философии Гегеля и в борьбе против реакционных идей Шеллинга открыто поднимает знамя атеизма. В то же время он отмечает непоследовательность Гегеля, глубокое противоречие между его «беспокойной диалектикой» и его консервативными политическими выводами. Энгельс делает здесь первые шаги к материализму, доказывая, в противоположность Шеллингу, как впрочем и Гегелю, что признание независимой от мысли действительности должно привести, если рассуждать логически, «к вечности материи». Эти работы Энгельса против Шеллинга носят на себе явные следы влияния материалистических взглядов Фейербаха, с книгой которого «Сущность христианства» он познакомился во второй половине 1841 года. Хотя Энгельс еще рассматривает учение Фейербаха как продолжение и завершение взглядов идеалистов-младогегельянцев, тем не менее в его работах о Шеллинге сделан под влиянием материализма Фейербаха первый шаг к материалистической постановке вопроса о природе сознания, об отношении разума, духа к природе. Заслугой Фейербаха Энгельс считает также его критику учения Гегеля о религии.

Примыкающий к этим работам памфлет «Шеллинг — философ во Христе», написанный в своеобразной пародийно-иносказательной форме, якобы с позиций верующего христианина, представляет собой сатирически заостренную критику попыток Шеллинга примирить науку с религией, защитить идеологические основы прусского абсолютизма.

Сатирическая поэма «Библии чудесное избавление», написанная Энгельсом летом 1842 г. при участии Э. Бауэра, также направлена против религиозного мракобесия. Поводом для написания поэмы послужило увольнение прусским правительством в конце марта 1842 г. Бруно Бауэра из Боннского университета, где он был приват-доцентом. В поэме изображается борьба берлинского младогегельянского кружка «Свободных» против прусских профессоров богословия. Нанося основной удар по правым гегельянцам, Энгельс, хотя он и был сторонником «Свободных», высмеивает в то же время слабые стороны многих представителей этого кружка. Так, он иронически раскрывает характерное для значительной части младогегельянцев противоречие между революционной фразой и неспособностью к практическому действию. Конец поэмы также свидетельствует о критическом отношении Энгельса к их беспомощности и растерянности перед лицом наступившей реакции. Узнав об устранении Бауэра с кафедры Боннского университета, «Свободные», согласно поэме, впадают в страшное смятение и в ужасе обращаются в повальное бегство. Создавая свою поэму, Энгельс, очевидно, уже начинал политически расходиться с основными кругами младогегельянцев. Он выделял среди них лишь нескольких наиболее радикальных мыслителей и публицистов, которых считал подлинными выразителями революционно-демократических тенденций.

Одним из героев поэмы является Карл Маркс, которого Энгельс лично тогда еще не знал. Но по рассказам других он уже составил представление о своем будущем друге как о страстном и непримиримом революционном борце. Именно таким Энгельс и изображает его в отличие от того, как он рисует Руге, Кёппена, Буля и других младогегельянцев.

«То *Трира* черный сын с *неистовой* душой.
Он не идет, — бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.
Сжимая кулаки, силач неутомимый
Все время мечется, как бесом одержимый»! (настоящий том, стр. 304).

Заслуживает внимания и та характеристика, которую Энгельс дает в поэме себе:

«А тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца
И в чьей груди насквозь проперченное сердце,
Тот длинноногий кто? То *Освальд* — монтаньяр!
Всегда он и везде непримирим и яр» (настоящий том, стр. 303).

Сравнивая себя с монтаньярами, с последователями наиболее революционной партии французской буржуазной революции конца XVIII века — партии «Горы», Энгельс, таким образом, отводит себе место на крайнем левом фланге тогдашнего радикально-демократического течения в Германии. Это свидетельствует о том, что Энгельс тогда уже твердо стоял на революционно-республиканских позициях.

Революционные политические взгляды Энгельса в берлинский период жизни особенно проявились в его работах, напечатанных в 1842 г. в прогрессивной оппозиционной газете «Rheinische Zeitung», в которой он начал сотрудничать весной 1842 года. В статьях «Северогерманский и южногерманский либерализм», «Рейнские празднества», «Дневник вольнослушателя», «Комментарии и заметки к современным текстам», «Критика прусских законов о печати» Энгельс ведет борьбу за передовые политические идеи, за коренные революционные преобразования существующего строя, выступает в защиту свободы слова и печати, против стремления абсолютистских кругов Пруссии увековечить полусредневековые феодальные порядки в Германии.

Стоя на позициях революционного демократа, Энгельс все больше убеждается в несостоятельности либеральной идеологии как в Германии, так и в других странах Европы. В частности, в статье «Централизация и свобода», напечатанной в «Rheinische Zeitung» в сентябре 1842 г., Энгельс резко выступает против идеализации буржуазной июльской монархии во Франции и режима Гизо европейским, в том числе также и немецким, либерализмом. Энгельс рассматривал политику Гизо как олицетворение реакционного перерождения буржуазно-конституционного режима французской июльской монархии. Он выступает в этой статье против бюрократической централизации, видя в ней порождение абсолютизма, унаследованного буржуазным государством.

Желание Энгельса активно участвовать в повседневной политической борьбе против господствовавших в Пруссии и других странах реакционных порядков все больше отдаляло его

от «Свободных» и сближало с Марксом, который в октябре 1842 г. возглавил «Rheinische Zeitung». К концу пребывания в Берлине Энгельс, который внимательно следил за социалистическим и коммунистическим движением в европейских странах, все больше склонялся к убеждению, что только в коммунистических теориях следует искать ключ к правильному решению социального вопроса.

Том заканчивается двумя письмами Энгельса в еженедельник английских социалистов-оуэнистов «The New Moral World», относящихся к самому началу 1844 г., когда Энгельс, находясь с конца 1842 г. в Англии, стоял уже на позициях материализма и коммунизма.

* * *

41 том второго издания Сочинений охватывает более широкий круг произведений и писем Энгельса по сравнению с тем, что уже публиковалось на русском языке во II томе первого издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и в сборнике — К. Маркс и Ф. Энгельс. «Из ранних произведений», выпущенном Институтом марксизма-ленинизма в 1956 году. Кроме того, эти издания в настоящее время уже стали библиографической редкостью и малодоступны для читателей. Большинство опубликованных в них произведений воспроизводится в настоящем томе в исправленных, а в отдельных случаях и коренным образом переработанных переводах.

Помимо этого в том вошли 18 произведений Энгельса, не переводившихся ранее на русский язык, в том числе 8 юношеских стихотворений. Впервые публикуются на русском языке и 29 писем Энгельса его сестре Марии, одно письмо брату Герману и два письма радикальному публицисту Левину Шюккингу. Из вновь включенных произведений наиболее интересными являются четыре «Корреспонденции из Бремена», в которых Энгельс дает широкую социально-политическую картину жизни этого города. Письма сестре Марии, как уже говорилось, представляют собой весьма ценный биографический материал.

В томе печатаются также статьи Энгельса «Участие в дебатах баденской палаты» и «Централизация и свобода», которые до сих пор вообще не публиковались ни в одном из изданий его произведений. В 1842 г. они были напечатаны без подписи в «Rheinische Zeitung».

Все статьи и стихотворения Энгельса, входящие в данный том, публиковались в свое время без подписи или под псевдонимами Теодор Гильдебранд, Фридрих Освальд, С. Освальд, Ф. Освальд, Ф. О. или Фридрих О. Лишь сделанный Энгельсом

перевод стихотворения испанского поэта Кинтана «На изобретение книгопечатания», который был в 1840 г. опубликован в «Альбоме Гутенберга», и два письма 1844 г. в «New Moral World» появились за подписью Ф. Энгельса.

В приложениях к тому публикуется ряд документов, раскрывающих отдельные моменты из жизни Энгельса. Это свидетельство о его рождении и крещении, гимназическое выпускное свидетельство, аттестат о поведении во время прохождения одногодичной службы в армии, а также письмо отца Энгельса жене Элизе от 27 августа 1835 г., из которого видно, каким острым проницательным умом и самостоятельностью мышления отличался пятнадцатилетний юноша. Все эти документы, кроме свидетельства о рождении и гимназического свидетельства, на русском языке публикуются впервые.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

Ф. ЭНГЕЛЬС

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(1838—1844)

БЕДУИНЫ [1]

Еще один звонок, и вот
Взовьется занавеса шелк;
Свой напрягая слух, народ —
Весь ожидание — замолк.

Не будет Коцебу сейчас
Раскаты смеха вызывать,
Не Шиллер будет в этот раз
Златую лаву изливать.

Пустыни гордые сыны
Вас забавлять пришли сюда;
И гордость их, и воля — сны,
Их не осталось и следа.

Они за деньги длинный ряд
Родимых плясок пляшут вам
Под песню-стон; но все молчат:
Молчание к лицу рабам.

Где Коцебу вчера стяжал
Рукоплесканья шутовством,
Там бедуинам нынче зал
Дарит рукоплесканий гром.

Давно ль проворны и легки
Под солнцем шли они, в жару,

Чрез марокканские пески
И через фиников страну?

Или скитались по садам
Страны прекрасной Уль Джерид,
А кони про набеги вам
Твердили цокотом копыт?

Иль отдыхали близ реки
Под сенью свежего куста,
И сказок пестрые венки
Плели проворные уста?

Иль в шалашах ночной порой
Вкушали мед беспечных снов,
Пока вас не будил зарей
Проснувшихся верблюдов рев?

И после этого — позор —
За деньги пред толпой плясать!
У вас недаром тусклый взор,
И на устах лежит печать.

Написано Ф. Энгельсом в первой половине сентября 1838 г.

Напечатано без подписи в «Bremisches Conversationsblatt» № 40, 16 сентября 1838 г.

Печатается по тексту журн[ала]

Перевод с немецкого

К ВРАГАМ [2]

Неужели в душу правды слово
Вы не можете пустить,
Чтоб оно могло без гнета злого
Там своею силой жить?
Вижу я — вы исказить способны
Мысль любую без труда,
Но хоть зло с добром у вас подобны,
Зло добром не будет никогда!

От того, что вы других клянете,
Выгод вам не будет никаких —
Честь трудом лишь вы приобретете,
А не поношением других!
Вы хотите ввысь взлететь, блистая? —
Волю, силу, ум пустите в ход;
Вслед другим идти, их принижая, —
Это пользы вам не принесет.

Сколько вы силков ни расставляйте,
«Вестника» * с дороги вам не сбить.
Так уйдите прочь! Возможность дайте
Слово правды людям возвестить!

* — «Bremer Stadtbote» («Бременский городской вестник»). *Ред.*

Ибо правда правдой остается,
Слово правды — лжи сильней,
Будет так, как издавна ведется —
«Правда силой победит своей!»

Написано Ф. Энгельсом около 24 февраля 1839 г.

Напечатано в «Bremer Stadtbote» № 4, 24 февраля 1839 г.

Подпись: Т е о д о р Г.

Печатается по тексту газеты «Bremisches Unterhaltungsblatt» № 17, 27 февраля 1839 г.

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

«ГОРОДСКОМУ ВЕСТНИКУ» [3]

Послушай, «Вестник», не сердясь, о том,
Как над тобой я долго издевался;
Тебе моя насмешка поделом,
Ведь в дурнях ты, дружище, оказался.
Сгустились тучи над тобой кругом
С тех пор, как вестником служить ты взялся;
Тебя я то и дело принуждал
То пережевывать, что сам же ты сказал.
Всегда, когда нужны мне были темы,
Я брал их у тебя, мой дорогой,
И делал из твоих речей поэмы,
В которых издевался над тобой;
Лиши их рифм, откинь размеров схемы, —
И сразу в них узнаешь облик свой.
Теперь кляни, коль гневом обуян ты,
Всегда готового к услугам

Гильдебранда.

Написано около 27 апреля 1839 г.

Напечатано в «Bremisches Unterhaltungsblatt» № 34, 27 апреля 1839 г.

Подпись: Теодор Гильдебранд

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

[ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Д-РУ РУНКЕЛЮ] [4]

Эльберфельд, 6 мая. *Господину д-ру Рункелю в Эльберфельде.* Вы с ожесточением напали в Вашей газете на меня и на мои «Письма из Вупперталя»; Вы обвинили меня в умышленном извращении фактов, в незнании условий, в том, что я нападаю на личности и даже говорю неправду. То, что Вы называете меня младогерманцем [5], для меня безразлично, потому что я не признаю тех обвинений, которые Вы возводите на молодую литературу, и не имею чести принадлежать к ней. До сих пор я только уважал Вас как писателя и публициста и высказал это мнение во второй статье, причем я с намерением умолчал о Ваших стихах в «Rheinisches Odeon», потому что я не мог бы похвалить их [6]. В умышленном извращении фактов можно обвинять всякого, и это обыкновенно делают в тех случаях, когда изложение не соответствует предвзятым мнениям читателя. Почему же Вы не привели в доказательство ни одного факта? Что касается незнания условий, то я всего менее ожидал бы этого упрека, если бы не знал, каким общеупотребительным риторическим оборотом стала эта бессодержательная фраза при отсутствии более убедительного аргумента. Я прожил в Вуппертале, быть может, в два раза дольше, чем Вы; я жил в Эльберфельде и Бармене и имел самую благоприятную возможность близко наблюдать жизнь всех сословий.

Г-н Рункель, у меня нет никаких притязаний на гениальность, в чем Вы меня обвиняете, но право же надо обладать крайне ограниченным умом, чтобы при таких обстоятельствах не ознакомиться с условиями, особенно, если к этому стремишься. Личные нападки? Проповедник, учитель так же яв-

ляется общественным деятелем, как и писатель, и не назовете же Вы воспроизведение его публичных выступлений личными нападками? Где я говорил о личных делах да еще таких, упоминание о которых требовало бы от меня, чтобы я назвал свое имя? Где я высмеивал личные дела? Что же касается приписываемых мне выдумок, то, как бы я ни хотел избежать всяких пререканий и даже всякого шума, я вынужден потребовать от Вас, — чтобы не компрометировать ни «Telegraph» *, ни моей анонимной чести, — указать хотя бы на одну из «массы неточностей». Правду говоря, две там действительно есть: переделка Штиром стихов воспроизведена не дословно и относительно путешествий г-на Эгена дело обстоит не так плохо [7]. Но будьте же так любезны, укажите третью неточность! Затем, говорите Вы, я не отметил ни одной светлой стороны этой местности. Это верно; в частностях я всюду признавал хорошее (я только не изобразил г-на Штира во всей его теологической важности, о чем весьма сожалею), но в общем я не мог найти ни одного совершенно светлого явления; изображения таковых я также жду от Вас. Затем я и не думал говорить, что красный Вуппер становится вновь прозрачным у Бармена. Ведь это бессмыслица: разве Вуппер течет в гору? В заключение прошу Вас судить, лишь прочитав все в целом, и впредь цитировать Данте дословно или вовсе не цитировать его; он говорит не «qui si entra nell' eterno dolore» **, а «per me si va nell' eterno dolore» («Inferno», III, 2) ***.

Автор «Писем из Вупперталя»

Написано Ф. Энгельсом 6 мая 1839 г.

Напечатано в газете «Elberfelder Zeitung» № 127, 9 мая 1839 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

* — «Telegraph für Deutschland». *Ред.*

** — «кто уводит туда, где вечный стон». *Ред.*

*** — «я увожу туда, где вечный стон» (*Данте.* «Божественная комедия», «Ад», песнь III, строка 2). *Ред.*

[ПРОПОВЕДЬ Ф. В. КРУММАХЕРА ОБ ИИСУСЕ НАВИНЕ]

В своей проповеди, произнесенной им в Эльберфельде о книге Иисуса Навина, гл. 10, стихи 12 и 13 *, в которых говорится, как Иисус останавливает солнце, Круммахер выступил с интересным утверждением, что все набожные христиане, избранные, должны воспринимать это место не в том смысле, будто Иисус лишь приспособился к взглядам народа, а обязаны верить в то, *что земля неподвижна, а солнце движется вокруг нее.* В доказательство своего утверждения он заявил, что так говорится во всей библии. Пускай эти избранные примут в свое лоно дурака, который после этого примкнет к ним, и присоединят его к тем, которых они уже заполучили.

Мы с радостью примем опровержение этого печального анекдота, который дошел до нас из достоверного источника.

Написано Ф. Энгельсом в мае 1839 г.

Напечатано без подписи в журнале «Telegraph für Deutschland» № 84, май 1839 г.

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

---

* Библия. Ветхий завет. Книга Иисуса Навина, глава 10, стихи 12 и 13. *Ред.*

ИЗ ЭЛЬБЕРФЕЛЬДА

С некоторого времени раздаются жалобы, горькие жалобы на прискорбную силу скептицизма; повсюду с грустью смотрят на разрушенное здание старой веры, в робкой надежде на то, что рассеются тучи, застилающие небо будущего. С подобным же грустным чувством я выпускаю из рук «Песни опочившего друга» [8]. Это — песни умершего, истинного вуппертальского христианина, напоминающие ту блаженную пору, когда можно было еще питать детскую веру в учение, в котором сейчас видишь немало противоречий, когда религиозное свободомыслие встречалось со всем пылом святого негодования, вызывающего теперь улыбку или краску стыда. — Уже самое место, где напечатана книжка, показывает, что к этим стихам нельзя подходить с обычной меркой, что здесь не найдешь ослепительных мыслей, неудержимого порыва свободного духа. Было бы даже несправедливо требовать чего-нибудь иного, кроме плодов пиетизма [9]. — Единственный верный масштаб, приложимый к этим стихам, дан уже прежней вуппертальской литературой, по отношению к которой я в достаточной мере дал простор своему негодованию [10], чтобы позволить себе на этот раз другой подход к одному из ее творений. И нельзя отрицать, что в этой книге обнаруживается некоторый прогресс. Стихи, написанные, по-видимому, мирянином, хотя и не лишенным образования, по меньшей мере не уступают по содержанию стихам проповедников Дёринга и Поля; иногда даже чувствуется легкое дуновение романтики, насколько она совместима с кальвинистским учением [11]. Что касается формы, то эти стихи, бесспорно, наилучшие из того, что до сих пор дал Вупперталь; часто попадаются

не лишенные изящества новые или редкие рифмы; автор возвысился даже до двустишия и свободной оды; эти формы оказались для него, однако, слишком высокими. Влияние Круммахера * несомненно; везде использованы его обороты речи и образы; но когда поэт говорит:

Пилигрим: Овечка бедная Христова стада,
В красу Христа тебе облечься надо,
А ты, овечка, так скромна!
Овечка: Я здесь лишь миг живу, страдая,
И вознесусь в пределы рая;
Умолкни, путник, стань барашком,
Врата узки: иди, согнувшись,
Молчи, молись и стань барашком,

то это уже не подражание Круммахеру, а он сам собственной персоной! Зато попадаются в этих стихотворениях отдельные места, которые подкупают читателя искренностью чувства, — но, увы, никак нельзя забыть, что это чувство в большинстве случаев болезненное! Но и здесь обнаруживается, насколько укрепляюще и утешающе действует религия, когда она становится делом сердца, — даже при всех своих самых печальных крайностях.

Дорогой читатель, прости, что я занял твое внимание книгой, которая может представлять для тебя лишь бесконечно малый интерес; ты не родился в Вуппертале, ты никогда, быть может, не подымался на его горы и не видел у своих ног обоих городов **, но ведь и у тебя есть родина и, быть может, излив свой гнев на все ее недостатки, ты возвращаешься с такой же любовью, как и я, к самым незначительным чертам, в которых она проявляется.

Написано Ф. Энгельсом осенью 1839 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 178, ноябрь 1839 г.

Подпись: С. Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

---

* — Фридриха Вильгельма Круммахера. *Ред.*
** — Бармена и Эльберфельда. *Ред.*

НЕМЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ КНИГИ

Разве не является большой похвалой для книги то, что она — народная книга, немецкая народная книга? Однако именно поэтому мы вправе желать большего от подобной книги, именно поэтому она должна удовлетворять всем разумным требованиям и быть во всех отношениях безукоризненной. Народная книга призвана развлечь крестьянина, когда он, утомленный, возвращается вечером со своей тяжелой работы, позабавить его, оживить, заставить его позабыть свой тягостный труд, превратить его каменистое поле в благоухающий сад; она призвана обратить мастерскую ремесленника и жалкий чердак измученного ученика в мир поэзии, в золотой дворец, а его дюжую красотку представить в виде прекрасной принцессы; но она также призвана, наряду с библией, прояснить его нравственное чувство, заставить его осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробудить его мужество, его любовь к отечеству.

Следовательно, если можно справедливо требовать, чтобы народная книга вообще отличалась богатым поэтическим содержанием, сочным остроумием, нравственной чистотой, а немецкая народная книга еще и здоровым, честным *немецким* духом, — т. е. качествами, которые во все времена остаются одинаковыми, — то мы наряду с этим вправе также потребовать, чтобы народная книга отвечала своему времени, иначе она перестает быть народной. В частности, если взять современную нам жизнь, ту борьбу за свободу, которой проникнуты все явления современности, — развивающийся конституционализм, сопротивление гнету аристократии, борьбу мысли с пиетизмом [9], жизнерадостности с остатками угрюмого аскетизма, то я не вижу,

почему мы не вправе были бы требовать от народной книги, чтобы она в этом отношении пришла на помощь малообразованному человеку, показала ему, хотя, конечно, не путем непосредственной дедукции, истинность и разумность этих стремлений, — но ни в коем случае не потворствовала бы лицемерию, низкопоклонству перед знатью и пиетизму. Само собой разумеется, однако, что народной книге должны быть чужды те обычаи прежних времен, которые являются теперь бессмыслицей или даже несправедливостью.

Мы вправе и обязаны рассматривать согласно этим принципам и те книги, которые являются теперь действительно немецкими народными книгами и обычно объединяются под этим названием. Отчасти они продукт средневековой немецкой или романской поэзии, отчасти — народного суеверия. Прежде они служили для высших сословий предметом презрения и насмешек, потом, как известно, романтики разыскали их, обработали, больше того — прославили. Но романтики интересовались только их поэтическим содержанием; насколько они были неспособны понять их значение как народных книг, показывает *Гёррес* в своем сочинении [12], посвященном этому предмету. Относительно Гёрреса мы еще совсем недавно могли убедиться, что вообще все его суждения — *плод фантазии*. Однако обычное мнение об этих книгах все еще основывается на его книге, и *Марбах* в объявлении о своем издании опирается все еще на это мнение. В связи с тремя новыми обработками этих книг, Марбахом в прозе, *Зимроком* в прозе и стихах, — из которых две предназначаются опять-таки для народа, — возникает потребность еще раз точно проверить предмет этих обработок с точки зрения его значения для народа [13].

Пока поэзия средневековья вообще оценивается так различно, суждение о поэтических достоинствах этих книг должно быть предоставлено каждому в отдельности; но никто, конечно, не станет отрицать, что они действительно по-настоящему поэтичны. Поэтому, если они и не добьются признания в качестве народных книг, то во всей своей силе должна сохраниться их поэтическая ценность; более того, согласно словам Шиллера:

Что живет бессмертно в песнопенье,
В жизни гибель обретет *,

иной поэт, может быть, даже найдет лишний повод сохранить для поэзии путем обработки то, что не может удержаться в народе.

* Из стихотворения Шиллера «Боги Греции». *Ред.*

Между повествованиями германского и романского происхождения наблюдается очень характерное различие: германские — подлинные народные сказания — выставляют на первый план активно действующего мужчину; романские выдвигают женщину — или просто как страдающее существо (Геновефа) или как существо любящее, следовательно, тоже пассивное по отношению к страсти. Исключением являются только «Дети Хеймона» и «Фортунат» — два романских сказания, но также относящиеся к народным, между тем как «Октавиан», «Мелюзина» и т. д. являются продуктом придворной поэзии и лишь впоследствии распространились в народе в результате прозаической обработки. — Из комических произведений тоже только одно не прямо германского происхождения — «Соломон и Морольф», между тем как «Уленшпигель», «Шильдбюргеры» и т. д., бесспорно, являются нашими.

Если рассматривать все эти книги в целом и оценивать их согласно высказанным вначале принципам, то ясно, что они с одной лишь стороны удовлетворяют этим требованиям: в них много поэзии и остроумия, к тому же в форме, в общем вполне доступной даже самым необразованным людям; но, с другой стороны, книги эти совсем не удовлетворяют нас. Некоторые из них обнаруживают свойства, противоречащие нашим требованиям, другие удовлетворяют им только отчасти. Поскольку они являются продуктами средневековья, им, естественно, совершенно чужды те особые цели, которые может ставить перед ними наше время. Поэтому, несмотря на внешнее богатство этой области литературы и несмотря на декламации Тика и Гёрреса, они оставляют желать еще очень многого; но будет ли когда-нибудь заполнен этот пробел — другой вопрос, на который я не берусь ответить.

Переходя теперь к отдельным произведениям, можно сказать, что, бесспорно, важнейшее из них — это ***«История о неуязвимом Зигфриде»***. — Эта книга мне нравится, это — рассказ, оставляющий желать немногого; он полон превосходной поэзии, поданной то с величайшей наивностью, то с прекраснейшим юмористическим пафосом; книга брызжет остроумием — кто не знает великолепного эпизода, изображающего борьбу двух трусов? Здесь есть характер, дерзкое, юношески-свежее чувство, которое может послужить примером для любого странствующего подмастерья, хотя ему и не приходится теперь бороться с драконами и великанами. И если бы только устранить опечатки, которых особенно много в лежащем передо мной (кёльнском) издании [14], и расставить правильно знаки препинания, то переработки Шваба [15] и Марбаха померкнут перед этим образцом

подлинно народного стиля. Но и народ, со своей стороны, также оказался благодарным: ни одну из народных книг я не встречал так часто, как эту.

«Герцог Генрих Лев». — Мне, к сожалению, не удалось раздобыть старого экземпляра этой книги; по-видимому, новое издание, напечатанное в Эйнбеке[16], совершенно вытеснило старое. Вначале помещена генеалогия брауншвейгского дома, доведенная до 1735 г., затем следует биография герцога Генриха согласно истории, а потом народное сказание. К этому присоединены еще рассказ, повествующий о Готфриде Бульонском то же самое, что народное сказание приписывает Генриху Льву, история о рабе Андронике, принадлежащая, как предполагают, палестинскому настоятелю Геразими, в конце значительно измененная, и одно стихотворение новейшей романтической школы, автора которого я не могу припомнить, где снова передается сказание о Льве. В результате этого само сказание, лежащее в основе народной книги, совершенно исчезает под грузом всяких привесков, которыми снабдила ее щедрость мудрого издателя. Само сказание прекрасно, остальное же неинтересно, — что за дело швабам до брауншвейгской истории? И какой смысл давать современную многословную балладу после простого стиля народной книги? Но и стиль этот исчез; гениальный автор обработки, которым, на мой взгляд, был какой-нибудь священник или школьный учитель конца прошлого века, пишет следующим образом:

«Итак, цель путешествия была достигнута, обетованная земля лежала перед глазами, можно было ступить на землю, с которой связаны самые значительные воспоминания религиозной истории! Благочестивое простодушие, взиравшее на нее с вожделением, претворилось здесь в пламенное благоговение, нашло здесь полное умиротворение и стало живейшей радостью в господе».

Пусть восстановят древний язык сказания; пусть прибавят к нему, чтобы заполнить книгу, другие подлинные народные сказания и в таком виде распространят его в народе, тогда оно сохранит поэтический дух; но в нынешней своей форме оно недостойно того, чтобы обращаться в народе.

«Герцог Эрнст». — Автор этой книги не был особенно крупным поэтом: все поэтические элементы он нашел в восточной сказке. Но книга хорошо написана и представляет собой весьма занимательное чтение для народа; этим, однако, все и ограничивается. Так как ни один человек не поверит уже в реальность встречающихся в ней фантастических образов, то ее можно оставить в руках народа без изменений.

Я перехожу теперь к двум сказаниям, созданным немецким народом и получившим в его творчестве дальнейшее развитие, сказаниям, принадлежащим к самым глубоким творениям народной поэзии всех народов. Я имею в виду сказания о ***Фаусте*** и о ***Вечном жиде***. Они неисчерпаемы; каждая эпоха может, не изменяя их существа, присвоить их себе; и хотя обработки сказания о Фаусте после Гёте то же самое, что обработки «Илиады» post Homerum *, все же в них открываются каждый раз новые стороны, не говоря уже о важности сказания об Агасфере для новейшей поэзии. Но в каком виде приводятся эти сказания в народных книгах! Они представлены там отнюдь не как произведения свободной фантазии, нет, а как творения рабского суеверия: книга о Вечном жиде требует от нас даже религиозной веры в ее содержание, которую она пытается оправдать библией и рядом нелепых легенд; от сказания в ней осталась лишь самая внешняя оболочка, зато она содержит в себе очень длинное и скучное христианское назидание о жиде Агасфере. Сказание о Фаусте низведено до уровня банальной истории о ведьмах, прикрашенной обычными анекдотами о волшебстве; даже та крупица поэзии, которая сохранилась в народной комедии, почти совершенно исчезла. Обе эти книги не только не способны доставить поэтическое наслаждение, но в современном своем виде могут лишь снова укрепить и обновить старое суеверие; да и чего другого можно ожидать от подобной чертовщины? Понимание сказания и его содержания, по-видимому, исчезло совершенно и в народе. Фауст рассматривается как обыкновенный колдун, а Агасфер — как величайший злодей после Иуды Искариота. Но разве невозможно было бы спасти оба эти сказания для немецкого *народа*, восстановить их в своей первоначальной чистоте и выразить их сущность так ясно, чтобы их глубокий смысл стал более доступным и менее образованным людям? Марбах и Зимрок еще не добрались до обработки этих сказаний; пожелаем им в этом деле руководствоваться мудрой критикой!

Перед нами лежит другой ряд народных книг — это шуточные: ***«Уленшпигель», «Соломон и Морольф», «Поп из Каленберга», «Семь швабов», «Шильдбюргеры»***. У немногих народов можно встретить такую коллекцию. Это остроумие, эта естественность замысла и исполнения, добродушный юмор, всегда сопровождающий едкую насмешку, чтобы она не стала слишком злой, поразительная комичность положений — все это, по правде сказать, могло бы заткнуть за пояс значительную

* — после Гомера. *Ред.*

часть нашей литературы. У кого из современных авторов хватило бы достаточно выдумки, чтобы создать такую книгу, как «Шильдбюргеры». Сколь прозаическим кажется юмор Мундта, когда сравниваешь его с юмором «Семи швабов»! Конечно, для создания подобных вещей нужен был век более спокойный, чем наш, всегда занятый, подобно беспокойному деловому человеку, важными вопросами, на которые он должен дать ответ, прежде чем помышлять о чем-либо другом. Что касается формы этих книг, то если выкинуть из них пару-другую неудачных острот и исправить исковерканный стиль, то в них пришлось бы изменить немногое. Относительно «Уленшпигеля» следует заметить, что некоторые издания его, помеченные прусским цензурным штемпелем, не совсем полны; в самом начале не хватает одной крепкой остроты, смысл которой выражен у Марбаха в отличной гравюре.

Резкую противоположность по отношению к этим произведениям представляют собой истории о ***Геновефе, Гризельде*** и ***Хирлянде,*** три книги романского происхождения, героиней которых является женщина и именно страдающая женщина; они характеризуют, и притом весьма поэтическим образом, отношение средневековья к религии; только «Геновефа» и «Хирлянда» сделаны слишком уж по одному образцу. Но, ради бога, что до этого теперь немецкому народу? Можно, конечно, очень хорошо представить себе в образе Гризельды немецкий народ, а в образе маркграфа Вальтера — князей, но в таком случае комедия должна была бы иметь совсем иной конец, чем в народной книге; обе стороны возражали бы против такого сравнения и были бы в какой-то степени правы. Чтобы представить себе «Гризельду» по-прежнему в виде народной книги, я должен вообразить ее себе в качестве петиции об эмансипации женщин к высокому германскому Союзному сейму. Однако небезызвестно, как были встречены четыре года тому назад подобные романические петиции [17], и меня удивляет поэтому, что Марбах не был задним числом причислен к «Молодой Германии» [5]. Народ достаточно долго играл роли Гризельды и Геновефы; пусть он теперь сыграет хоть раз Зигфрида и Рейнальда; но разве можно научить его этому, расхваливая эти старые, проповедующие смирение истории?

Книга об ***Императоре Октавиане*** в первой своей части принадлежит к этому же типу, а вторая ее часть примыкает по своему содержанию к собственно любовным историям. История ***Елены*** — лишь подражание «Октавиану», а, может быть, оба произведения — различные варианты одного и того же сказания. Вторая часть «Октавиана» — прекрасная народная книга,

которую можно сравнить только с «Зигфридом»; характеристика Флоренса, как и его приемного отца Климента, а также Клавдия, превосходна, и у Тика здесь не было никаких затруднений[18]; но разве не проходит повсюду красной нитью мысль, что дворянская кровь лучше бюргерской? И разве мы не встречаем часто этой мысли еще в самом народе! Если нельзя вытравить ее из «Октавиана», — а я считаю это невозможным, — если учесть, что *такая идея* в первую очередь подлежит искоренению там, где должен быть установлен конституционный строй, то как бы ни была поэтична книга, censeo Carthaginem esse delendam *.

Вышеназванным трем слезливым историям о страдании и терпении противостоят три других, прославляющих любовь. Это — ***«Магелона», «Мелюзина»*** и ***«Тристан».*** В качестве народной книги мне больше всего нравится «Магелона»; «Мелюзина» же полна абсурдных нелепостей и сказочных преувеличений, так что в ней можно было бы видеть своего рода дон-кихотиаду, и я опять-таки спрашиваю: какое до этого дело немецкому народу? Или вот история Тристана и Изольды, — я не буду касаться ее поэтического значения, ибо я люблю великолепную переработку Готфрида Страсбургского [19], хотя в повествовании и могут найтись кое-какие недостатки; но нет такой книги, которую в такой же степени не следовало бы давать в руки народу, как именно эту книгу. Правда, здесь снова всплывает современный вопрос — вопрос об эмансипации женщин; в настоящее время искусный поэт при обработке «Тристана» никак не мог бы исключить из своей работы эту проблему, если он не хотел бы при этом впасть в манерную и скучную тенденциозную поэзию. Но в народной книге, где нет вовсе речи об этом вопросе, весь рассказ сводится к оправданию нарушения супружеской верности, и давать ее в таком виде народу очень рискованно. Между тем книга почти совершенно исчезла из обращения, и лишь с большим трудом можно раздобыть хоть один экземпляр ее.

«Дети Хеймона» и ***«Фортунат»,*** где мы снова видим в центре действия *мужчину,* — опять-таки две настоящие народные книги. В «Фортунате» нас привлекает исключительно веселый юмор, с которым сын фортуны совершает все свои похождения; в «Детях Хеймона» — дерзкое своенравие, неукротимый дух оппозиции, который с юношеской силой противостоит абсолютной, тиранической власти Карла Великого и не боится отомстить собственной рукой, даже на глазах государя, за нанесенные оскорбления. В народных книгах должен царить

* — считаю, что Карфаген должен быть разрушен. *Ред.*

подобный юношеский дух, и ради него можно не обращать внимания на многие недостатки. Но где найти его в «Гризельде» и родственных ей произведениях?

И, наконец, самые замечательные вещи — гениальный «Столетний *календарь»*, сверхмудрый *«Сонник»*, никогда не обманывающее *«Колесо счастья»* и тому подобные бессмысленные порождения пагубного суеверия. Всякий, заглянувший хоть раз в книгу Гёрреса, знает, какими жалкими софизмами он оправдывал всю эту чепуху. Все эти ничтожные книги прусская цензура удостоила своей печатью. Они, конечно, ни революционны, как письма Бёрне [20], ни безнравственны, как это утверждают в отношении «Вали» [21]. Мы видим, сколь ложны обвинения, будто прусская цензура исключительно строга. Мне, разумеется, нет необходимости больше доказывать, что подобная чепуха не должна распространяться в народе.

О прочих народных книгах нечего сказать: истории о *Понтусе, Фьерабрасе* и т. п. уже давно забыты и, следовательно, не заслуживают больше этого названия. Но мне кажется, что уже в этих немногих замечаниях я показал, как неудовлетворительна эта литература, если рассматривать ее с точки зрения интересов народа, а не интересов поэзии. Она нуждается в обработке после строгого отбора, причем без необходимости не следует отклоняться от старинных выражений, должна быть хорошо издана и тогда может распространяться среди народа. Было бы нелегко и неблагоразумно насильственно уничтожить те из книг, которые не выдерживают требований критики; только такой книге, которая действительно распространяет суеверия, цензура могла бы отказать в разрешении. Прочие исчезают сами собой; «Гризельда» встречается редко, а «Тристана» почти совсем нельзя встретить. В некоторых местностях, как, например, в Вуппертале, невозможно найти ни одного экземпляра; в других же, как, например, в Кёльне, Бремене и т. д., почти каждый лавочник выставляет в окнах экземпляры этих книг для приезжающих крестьян.

Но неужели ради немецкого народа не стоило бы издать лучшие из этих книг в разумной обработке? Конечно, не всякий способен выполнить такую обработку; я знаю только двух авторов, обладающих достаточной критической проницательностью и вкусом для правильного отбора и умением пользоваться при изложении старинным стилем, — это братья *Гримм;* но найдется ли у них охота и досуг для этой работы? Обработка Марбаха совершенно не годится для народа. Да и на что тут рассчитывать, если он сразу начинает с «Гризельды»? Он не только лишен всякого критического чутья, но и позволил себе

делать такие пропуски, в которых вовсе не было никакой необходимости; к тому же он сделал стиль этих произведений совершенно тусклым и бесцветным — достаточно сравнить народную книгу о «Неуязвимом Зигфриде» или какую-нибудь другую книгу с его обработкой. У него встречаешь только не связанные друг с другом предложения, перестановки слов, для которых не было другого повода, кроме мании г-на Марбаха, за отсутствием самостоятельности иного рода, казаться самостоятельным хоть здесь. Что же другое, как не это, побудило его изменить прекраснейшие места в народной книге и расставить там свои ненужные знаки препинания? Для того, кто не знает народной книги, рассказы Марбаха вполне хороши, но достаточно сравнить то и другое, чтобы убедиться, что вся заслуга Марбаха сводится к исправлению опечаток. Его гравюры весьма различного достоинства. Обработка Зимрока не подвинулась еще настолько вперед, чтобы можно было высказать о ней суждение; но я гораздо больше доверяю Зимроку, чем его сопернику. Гравюры его тоже, как правило, лучше, чем марбаховские.

Необычайной поэтической прелестью обладают для меня эти старые народные книги, с их старинной речью, с их опечатками и плохими гравюрами. Они уносят меня от наших запутанных современных «порядков, неурядиц и утонченных взаимоотношений» в мир, который гораздо ближе к природе. Но об этом здесь не может быть речи. Главный аргумент Тика заключался именно в этой поэтической прелести, но что значит авторитет Тика, Гёрреса и всех прочих романтиков, когда разум говорит против него и когда дело идет о *немецком народе?*

Написано Ф. Энгельсом осенью 1839 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 186, 188, 189, 190 и 191; ноябрь 1839 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

КАРЛ БЕК

Я — дикий, необузданный султан,
Грозна моих железных песен сила;
Мне вкруг чела страданье положило
С таинственными складками тюрбан *.

С такими высокопарными словами г-н Бек, добиваясь признания, вступил в ряды немецких поэтов; во взоре — гордое чувство своего призвания; вокруг уст — столь модная в наше время складка мировой скорби. Так протянул он руку за лавровым венком. С тех пор прошло два года; покрыл ли примиряюще венок «таинственные складки» на его челе?

Первый сборник его стихов был полон дерзаний. «Железные песни», «Новая библия», «Юная Палестина» [22] — двадцатилетний поэт со школьной скамьи устремился прямо в небеса! Это был огонь, который пылал, как никогда; правда, огонь этот сильно дымил, так как горело совершенно зеленое, свежее дерево.

Молодая литература развивалась так быстро и блестяще, что ее противники поняли: высокомерным непризнанием или осуждением можно больше потерять, чем выиграть. Настало время изучить ее и напасть на ее действительно слабые места. Но уже тем самым молодая литература была, конечно, признана равноправной. Скоро было найдено изрядное количество таких слабых сторон, — действительных или кажущихся, — это для нас здесь безразлично; но громче всего утверждали, что прежняя «Молодая Германия» [5] хочет уничтожить лирику. Действи-

* Из стихотворения Карла Бека «Султан», вошедшего в сборник его стихов «Ночи. Железные песни». *Ред.*

тельно, Гейне сражался со швабами[23]; Винбарг едко критиковал шаблонную лирику и ее вечно повторяющиеся перепевы; Мундт отвергал всякую лирику как несвоевременную и пророчил пришествие литературного мессии прозы; это было уже слишком. Мы, немцы, искони гордились своими песнями; если французы хвалились завоеванной ими хартией и осмеивали нашу цензуру, то мы гордо указывали на философию от Канта до Гегеля и на ряд песен, начиная с «Песни о Людовике»[24] и вплоть до Николауса Ленау. Неужели эта сокровищница лирики должна была теперь для нас погибнуть? И вот появляется лирика «молодой литературы» с Францем Дингельштедтом, Эрнстом фон дер Хайде, Теодором Крейценахом и Карлом Беком.

Незадолго до стихотворений Фрейлиграта[25] появились «Ночи» Бека. Известно, какое внимание обратили на себя оба эти сборника стихов. Появилось два юных лирика, рядом с которыми нельзя было тогда поставить никого из молодых. Кюне со свойственной его «Характерам» манерой провел в «Elegante Zeitung» * параллель между Беком и Фрейлигратом[26]. К этой критике я хотел бы применить слова Винбарга, сказанные им по поводу Г. Пфицера[27].

«Ночи» — это хаос. Все пестро и беспорядочно перепутано. Картины часто смелые, словно причудливые очертания скал; зародыши грядущей жизни, которые тонут в море фраз; кое-где начинает пробиваться цветок, появляются островки, образуется кристаллический слой. Но во всем еще царит сумятица и беспорядок. Не к Бёрне, а к самому Беку подходят слова:

Как дико мчатся образы, сверкая,
В моем разгневанном, горячечном мозгу **.

Образ, который дает нам Бек в первом его опыте о Бёрне, поразительно искажен и неверен; при этом нельзя не узнать влияния Кюне. Не говоря уже о том, что Бёрне никогда в жизни не произносил бы таких фраз, ему была также несвойственна вся эта отчаянная мировая скорбь, которую ему приписывает Бек. Неужели это светлый Бёрне, сильный, несокрушимый характер, любовь которого согревала, но не сжигала, и менее всего его самого? Нет, это не Бёрне, это лишь неясный идеал современного поэта, сотканный из гейневского кокетства и мундтовской риторики, идеал, от осуществления которого упаси нас, боже. В голове Бёрне никогда «не мчались дико образы, сверкая», никогда не проклинал он «со вздыбленными кудрями» неба;

* — «Zeitung für die elegante Welt». *Ред.*
** *К. Бек.* «Ночи. Железные песни. Двадцать вторая ночь». *Ред.*

в сердце его никогда не наступала полночь, а всегда было утро; небо его было не кроваво-красное, а всегда голубое. К счастью, Бёрне не был так чудовищно полон отчаяния, чтобы написать «Восемнадцатую ночь». Если бы Бек не болтал так много о крови сердца, которой пишет его Бёрне, я подумал бы, что он не читал «Французоеда» [28]. Пусть Бек возьмет самую скорбную страницу из «Французоеда», и она окажется светлым днем по сравнению с его аффектированным «бурноощным» отчаянием. Разве Бёрне недостаточно поэтичен сам по себе и его нужно еще приправлять этой новомодной мировой скорбью? Новомодной, говорю я, ибо никогда не поверю, что эта скорбь свойственна настоящей *современной* поэзии. Ведь в том-то и заключается величие Бёрне, что он был выше жалкой риторики и излюбленных словечек узкого литературного круга наших дней.

Еще раньше, чем могло сложиться законченное суждение о его «Ночах», Бек уже выступил с рядом новых стихотворений; «*Странствующий поэт*» [29] показал нам его с другой стороны. Буря утихла, хаос начал приходить в порядок. Нельзя было ожидать таких превосходных описаний, какие даны в первой и второй песнях; нельзя было поверить, чтобы Шиллер и Гёте, попавшие в когти нашей педантической эстетики, могли предоставить материал для столь поэтического сопоставления, какое было дано в третьей песне; чтобы поэтическая рефлексия Бека так спокойно и почти по-филистерски парила над Вартбургом, как это было в действительности.

Со своим «Странствующим поэтом» Бек по всей форме вступил в литературу. Бек возвестил о выходе «*Тихих песен*», а в прессе появилось сообщение, что он-де работает над трагедией «Погибшие души».

Прошел год. Кроме отдельных стихотворений, Бек ничем не давал о себе знать. «Тихие песни» не появлялись и о «Погибших душах» нельзя было узнать ничего определенного *. Наконец, «Elegante» ** преподнесла «*Новеллу в эскизах*», принадлежавшую его перу [30]. Опыт такого автора в области прозы мог, во всяком случае, претендовать на внимание. Сомневаюсь, однако, чтобы этот опыт удовлетворил даже какого-нибудь друга бековской музы. По некоторым образам можно было узнать прежнего Бека; при более тщательной отделке стиль был бы недурен; но этим и исчерпывается все хорошее, что можно сказать об этом маленьком рассказе. Ни глубокими мыслями, ни поэтическим взлетом он не поднимается выше уровня вульгарной занима-

---

* См. настоящий том, стр. 24. *Ред.*

** — «Zeitung für die elegante Welt». *Ред.*

тельной беллетристики; выдумка довольно шаблонная и даже неяркая, выполнение заурядное.

На одном концерте приятель мне сказал, что «Тихие песни» Бека будто бы появились [31]. В этот момент как раз послышались звуки адажио бетховенской симфонии. Таковы, подумал я, будут эти песни; но я обманулся; в них было мало Бетховена и много беллиниевских ламентаций. Когда я взял в руки маленькую книжку, я ужаснулся. Первая же песнь так бесконечно тривиальна, написана в такой дешевой манере, лишь своими изысканными оборотами речи она якобы оригинальна!

Эти песни напоминают «Ночи» только своей безмерной мечтательностью. Что по ночам многое могло присниться, было простительно; к «Странствующему поэту» были снисходительны, но и теперь еще г-н Бек никак не может проснуться. Уже на третьей странице он грезит, на страницах 4,8,9, 15, 16, 23, 31, 33, 34, 35, 40 и т. д. — повсюду грезы. Затем идет еще целый ряд сновидений. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Надежды на оригинальность не оправдались, если не считать нескольких новых стихотворных размеров; за это нас должны вознаградить отзвуки из Гейне и безграничная *детская наивность,* которой отличаются почти все эти песни и которая производит в высшей степени отталкивающее впечатление. Этим особенно страдает первый отдел «Песни любви. Ее дневник». От ярко горящего пламени, от сильного благородного духа, каким хочет быть Бек, такой пресной, противной каши я не ожидал бы. Только две или три песни сносны. «Его дневник» чуть лучше; в нем все же иногда попадается настоящая песня, которая может нас вознаградить за великое множество нелепостей и пошлостей. Величайшая из пошлостей в «Его дневнике» — «Слеза». Известно, что́ дал уже Бек раньше в области поэзии слез. Тогда у него: «Горе, грубый, кровавый корсар, тихое море слезы́ бороздило» *, и в этом море плескалась «тоска, немая, холодная рыба»; теперь он пускает еще больше слезы:

Слеза моя, недаром
Кипишь ты, как волна!
Моей всей жизни жаром
Ты *до краев полна* (*!*)
Любовь и лирный глас мои
Погружены в твои струи.
Слеза моя, недаром
Кипишь ты, как волна! **

---

* *К. Бек.* «Ночи. Железные песни». Из стихотаорения «Султан». *Ред.*

** *К. Бек.* «Тихие песни». Из стихотворения «Слеза». *Ред.*

Как все это нелепо! «Сновидения» содержат еще лучшее из всей книжки, и среди них отдельные песни, по меньшей мере, искренни. В особенности «Доброй ночи!», которая, судя по времени ее первого опубликования в «Elegante», должна принадлежать к более ранним из этих песен [32]. Заключительное стихотворение — одно из лучших, но и оно немного фразисто и заканчивается опять «слезой, крепким щитом мирового духа» *.

Книжка заканчивается опытами в области баллады. *«Цыганский король»,* начало которого сильно отдает фрейлигратовской манерой письма, слаб по сравнению с живыми картинами цыганской жизни у Ленау, и многословие, долженствующее убедить нас в силе и свежести стихотворения, только усиливает отталкивающее впечатление. Напротив, «Розочка» — красиво схваченное мгновение. *«Венгерская вахта»* относится к той же категории, что и «Цыганский король»; последняя баллада этого цикла является примером того, как стихотворение может отличаться гладкостью и звучностью стиха, иметь красивую внешнюю форму, не оставляя при этом особенного впечатления. Прежний Бек дал бы тремя удачными мазками более яркий образ мрачного разбойника Яношыка. Этого он также заставляет под конец, на предпоследней странице, *грезить,* и так заканчивается книжка, но не само стихотворение, продолжение которого обещано во втором томике. Что это значит? Неужели и поэтические произведения, как это делается в журналах, можно обрывать словами «продолжение следует»?

«Погибшие души» автор, как говорят, уничтожил после того, как режиссура нескольких театров признала эту драму непригодной к постановке на сцене; кажется, он работает теперь над другой трагедией — «Саул»; по крайней мере в «Elegante» был помещен первый ее акт, а в «Theater-Chronik» ** — подробное сообщение о ней. Этот акт обсуждался уже и на страницах этого журнала [33]. К сожалению, я могу лишь подтвердить сказанное там. Бек, беспорядочная, мечущаяся фантастика которого делает его неспособным к пластическому изображению характеров и всем его действующим лицам подсказывает *одни и те же фразы,* Бек, который в своем понимании Бёрне обнаруживает, как мало он умеет понять характер, не говоря уже о творческом его воссоздании, не мог напасть на более несчастную мысль, чем написать трагедию. Бек *должен* был невольно заимствовать ее построение от одного только что появившегося прообраза, должен был заставить говорить своего Давида и Меровию плак-

* *К. Бек.* «Тихие песни». Из стихотворения «Мировой дух». *Ред.*
** — «Allgemeine Theater-Chronik». *Ред.*

сивым тоном «Ее дневника», он должен был с неуклюжестью ярмарочной комедии воспроизводить смену настроений в душе Саула. Слыша речи Моава, мы начинаем понимать роль Авенира в произведении, в котором нарисован прообраз последнего [34]; неужели этот Моав, этот грубый, кровавый поклонник Молоха, который скорее похож на зверя, чем на человека, мог быть «злым духом» Саула? Человек природы еще не дикий зверь, и Саул, который борется против жрецов, не находит еще поэтому удовольствия в человеческих жертвоприношениях. К тому же диалог совершенно деревянный, язык тусклый, и лишь несколько сносных картин, которые, однако, не могут скрасить целый акт трагедии, напоминают об ожиданиях, которые г-н Бек, по-видимому, не в состоянии оправдать [35].

Написано Ф. Энгельсом в ноябре — начале декабря 1839 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 202 и 203; декабрь 1839 г.

Подпись. Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

РЕТРОГРАДНЫЕ ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Ничто не ново под луной! Это одна из тех счастливых псевдоистин, которым была уготована самая блестящая карьера, которые, передаваясь из уст в уста, совершили свое победное шествие по всему земному шару и спустя столетия все еще повторяются так часто, словно только что явились на свет. Настоящим истинам редко выпадала такая удача; им приходилось бороться и терпеть, их истязали и заживо хоронили, каждый лепил их по своему вкусу. Ничто не ново под луной! Нет, нового достаточно, но его подавляют, когда оно не принадлежит к тем эластичным псевдоистинам, которые имеют всегда в запасе лояльную оговорку вроде «собственно говоря и т. д.» и, подобно вспыхивающему северному сиянию, вскоре опять уступают место ночи. Но если на горизонте восходит, как утренняя заря, новая, настоящая истина, тогда дети ночи хорошо знают, что их царству грозит гибель, и хватаются за оружие. Ведь северное сияние загорается всегда в ясном, а утренняя заря — в облачном небе, чью мглу она должна разогнать или озарить ее своим пламенем. Рассмотрим несколько таких *туч*, омрачивших утреннюю зарю нашего времени.

Или подойдем к нашей теме с другой стороны! Попытки сравнить ход истории с линией общеизвестны. В одном остроумном сочинении, направленном против гегелевской философии истории, мы читаем:

«Формой истории является не восхождение и нисхождение, не концентрический круг или спираль, а эпический параллелизм с линиями то сходящимися» (это слово здесь, пожалуй, больше подходит, чем «совпадающими»), «то расходящимися» [36].

Но я предпочитаю скорее сравнение со свободно, от руки начерченной спиралью, изгибы которой отнюдь не отличаются слишком большой точностью. Медленно начинает история свой бег от невидимой точки, вяло совершая вокруг нее свои обороты; но круги ее все растут, все быстрее и живее становится полет, наконец, она мчится, подобно пылающей комете, от звезды к звезде, часто касаясь старых своих путей, часто пересекая их, и с каждым оборотом все больше приближается к бесконечности. Кто может предвидеть конец? И в тех местах, где она как будто возвращается на свой старый путь, поднимается самоуверенная ограниченность и кричит торжествуя, что у нее, видите ли, когда-то была подобная мысль! Тогда-то мы и слышим — ничто не ново под луной! Наши герои китайского застоя, наши мандарины регресса ликуют и пытаются вычеркнуть из анналов мировой истории целых три столетия, как дерзкий экскурс в запретные области, как горячечный бред, — и они не видят, что история устремляется лишь по кратчайшему пути к новому сияющему созвездию идей, которое скоро ослепит в своем солнечном величии их тупые взоры.

На таком повороте истории мы сейчас и стоим. Все идеи, которые выступали на арену со времен Карла Великого, все вкусы, которые вытесняли друг друга в течение пяти столетий, пытаются еще раз навязать современности свое отмершее право. Феодализм средневековья и абсолютизм Людовика XIV, иерархия Рима и пиетизм прошлого столетия [9] оспаривают друг у друга честь искоренения свободной мысли! Да будет мне позволено не распространяться о них; ведь против каждого, кто вздумает провозгласить один из этих девизов, тотчас засверкают тысячи мечей, все — острее моего, и мы знаем, что все эти старые идеи рассыпятся в прах от взаимного столкновения и будут стерты твердой, как алмаз, стопой идущего вперед времени. Но этим мощным реакционным явлениям в жизни церкви и государства соответствуют *менее заметные* тенденции в искусстве и литературе, *бессознательные* попятные шаги к прошлым векам, представляющие угрозу если не для самой эпохи, то все же для ее вкусов; и странно, что сопоставление этих тенденций нигде еще не было сделано.

И совсем не нужно далеко ходить, чтобы натолкнуться на подобные явления. Стоит вам только посетить салон, меблированный в современном стиле, как вы увидите, чьими духовными чадами являются формы, которые вас окружают. Все уродливости стиля рококо из эпохи самого крайнего абсолютизма были вновь вызваны к жизни, чтобы навязать духу нашего времени те формы, в которых уютно себя чувствовал режим

«l'état c'est moi» *. Наши салоны украшены стульями, столами, шкафами и диванами в стиле Ренессанс, и недоставало только напялить парик на Гейне и нарядить в фижмы Беттину **, чтобы вполне восстановить этот век.

Такая комната как раз для того и создана, чтобы в ней читать роман г-на *фон Штернберга* с его удивительным пристрастием к веку г-жи Ментенон. Это пристрастие прощали тонкому уму Штернберга, пытаясь, и, конечно, безуспешно, найти для подобного каприза какие-то более глубокие основания; я позволю себе, однако, утверждать, что именно эта черта штернберговских романов, способствующая, может быть, в настоящий момент их распространению, немало повредит их долговечности. Я уже не говорю о том, что красота поэтического произведения отнюдь не выигрывает от постоянного обращения к самому бесплодному прозаическому времени, с его взбалмошностью, метанием между небом и землей, с его марионетками, движущимися по правилам этикета; по сравнению с ним наше время и его дети кажутся еще естественными. Ведь мы слишком уж привыкли рассматривать это время в ироническом свете, чтобы оно нам долго могло импонировать в другом освещении, и в самом деле до крайности наскучит постоянно встречаться в каждом штернберговском романе все с тем же капризом. А тенденция эта, по крайней мере на мой взгляд, не больше, как простой каприз, и уже по одному этому она лишена всяких более глубоких оснований. Однако я думаю, что исходную точку ее надо искать в жизни «избранного общества». Г-н фон Штернберг был, без сомнения, воспитан для такого общества и вращался в нем с большим удовольствием; в его кругах он нашел, быть может, свою настоящую родину. Что же удивительного, если он питает нежные чувства ко времени, в котором общественные формы были гораздо более определенными и законченными, хотя и более неподвижными и безвкусными, чем нынешние. Гораздо смелее, чем у г-на фон Штернберга, дух века выступил у себя на родине, в Париже, где он пытается всерьез вновь вырвать у романтиков только что одержанную ими победу. Пришел Виктор Гюго, пришел Александр Дюма и с ними стадо подражателей; неестественность Ифигений и Аталий уступила место неестественности Лукреции Борджа, на смену оцепенению пришла горячка; французских классиков уличали в плагиате у древних авторов, — но вот выступает мадемуазель Рашель, и все забыто: Гюго и Дюма, Лукреция

* — «государство — это я». (Слова, приписываемые французскому королю Людовику XIV.) *Ред.*

** — Беттину фон Арним. *Ред.*

Борджа и плагиаты; Федра и Сид прогуливаются на подмостках размеренным шагом и говорят вылощенными александрийскими стихами, Ахилл шествует по сцене, подделываясь под великого Людовика, а Рюи Блаз и мадемуазель де Бель-Иль едва успевают показаться из-за кулис, как сейчас же ищут спасения на немецких фабриках литературных переводов и на немецкой национальной сцене. Какое блаженное чувство должен испытывать легитимист, имея возможность при лицезрении пьес Расина забыть о революции, Наполеоне и великой неделе[37]; ancien régime * воскресает во всем своем блеске, светские салоны увешиваются гобеленами, самодержавный Людовик в парчовом камзоле и пышном парике прогуливается по подстриженным аллеям Версаля, и всемогущий веер фаворитки правит счастливым двором и несчастной Францией.

Но в то время как в данном случае воспроизведение прошлого не выходит за пределы самой Франции, одна особенность французской литературы прошлого века начинает как будто повторяться в современной немецкой литературе. Я имею в виду философский дилетантизм, который проявляется у некоторых новейших писателей в той же мере, как и у энциклопедистов. Чем там был материализм, тем здесь начинает становиться Гегель. *Мундт* был первым, кто, выражаясь его собственным языком, ввел в литературу гегелевские категории; *Кюне,* как всегда, не преминул последовать за ним и написал «Карантин в сумасшедшем доме»[38], и хотя второй том «Характеров»[26] свидетельствует о его частичном отречении от Гегеля, тем не менее первый том содержит достаточно мест, в которых он пытается перевести Гегеля на современный язык. К сожалению, эти переводы относятся к разряду тех, которые нельзя постигнуть без оригинала.

Этой аналогии отрицать нельзя; останется ли верным и по отношению к литературе нынешнего века тот вывод, который упомянутый выше автор сделал из судьбы философского дилетантизма в прошлом веке, а именно, что система приносит с собой в литературу зародыш смерти? Будет ли поле, обрабатываемое поэтическим гением, перерезано неподатливыми корнями системы, превосходящей своей последовательностью все прежние системы? Или эти явления свидетельствуют лишь о той любви, с которой философия идет навстречу литературе и плоды которой с таким блеском проявляются у Хото, Рётшера, Штрауса, Розенкранца и в «Hallische Jahrbücher»? Тогда, конечно, пришлось бы изменить точку зрения, и мы имели бы право

* — старый порядок. *Ред.*

надеяться на взаимодействие науки и жизни, философии и современных тенденций, Бёрне и Гегеля, — на то взаимодействие, подготовка которого уже раньше имелась в виду одной частью так называемой «Молодой Германии» [5]. Помимо этих путей остается еще только один, правда, по сравнению с этими двумя несколько комического характера, а именно тот, который исходит из предпосылки, что влияние Гегеля на художественную литературу лишено будет всякого значения. Я думаю, однако, что лишь немногие решатся сделать такой вывод.

Но мы должны вернуться назад еще дальше, ко времени, предшествовавшему энциклопедистам и г-же де Ментенон. Дуллер, Фрейлиграт и Бек берут на себя роль представителей второй силезской школы [39] XVII в. в нашей литературе. «Цепи и короны», «Антихрист», «Лойола», «Император и папа» — кому все эти произведения Дуллера по манере изображения не напоминают громоподобный пафос «Азиатской Банизы» блаженной памяти Циглера фон Клипхаузена или «Великого герцога Арминия с его светлейшей Туснельдой» Лоэнштейна? [40] А Бек даже превзошел этих добрых мужей своей высокопарностью; отдельные места его стихотворений воспринимаются как продукты XVII в., погруженные в современную настойку из мировой скорби; и Фрейлиграт, тоже не умеющий порою отличать высокопарный язык от поэтического, возвращается целиком к Гофмансвальдау, возрождая александрийский стих * и кокетничая иностранными словами. Нужно, однако, надеяться, что он выбросит вместе с ними свои чужеземные сюжеты:

Пески уносит ветер, и вянет пальмы цвет, —
В объятья родины бросается поэт
С душой, хоть изменившейся, но той же! **

И если Фрейлиграт этого не сделает, то, право же, стихи его через сотню лет будут считаться чем-то вроде гербария или песочницы и, по аналогии с правилами латинского стихосложения, будут использоваться для преподавания естественной истории в школе. Пусть какой-нибудь Раупах рассчитывает лишь на подобного рода практическое бессмертие своих ямбических хроник, но Фрейлиграт, нужно надеяться, еще одарит нас поэтическими произведениями, вполне достойными XIX века. Однако не трогательно ли, что мы в нашей литературе, занимающейся воспроизведением старых сюжетов со времен романти-

* Намек на цикл стихотворений Ф. Фрейлиграта «Александрийский стих». *Ред.*

** Из стихотворения Фрейлиграта «Тайное судилище в Дортмунде» («Freistuhl zu Dortmund»). *Ред.*

ческой школы, поднялись уже из XII века в XVII? Тогда, пожалуй, и Готшед не заставит себя долго ждать.

Я, признаюсь, испытываю большое затруднение, когда пытаюсь свести воедино все эти отдельные явления; я, сознаюсь, потерял нити, которые связывают их с катящимся вперед потоком времени. Быть может, они еще не созрели для верной оценки и будут еще расти в объеме и числе. Во всяком случае, достойно внимания, что эта *реакция* проявляется как в жизни, так и в искусстве и литературе, что жалобы министерских газет находят отклик в тех самых стенах, которые, по-видимому, слышали еще формулу «l'état c'est moi», и что воплю современных мракобесов в одной области соответствуют в другой области мрак и темнота, царящие в части новейшей немецкой поэзии.

Написано Ф. Энгельсом в ноябре 1839 — январе 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 26, 27 и 28, февраль 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

ПЛАТЕН

Из поэтов, сынов периода Реставрации [41], сила которых не была парализована электрическими разрядами 1830 г. и слава которых упрочилась лишь в современную литературную эпоху, заметным сходством отличаются трое: Иммерман, Шамиссо и Платен. У всех троих ярко выраженная индивидуальность, выдающийся характер и сила рассудка, по меньшей мере уравновешивающая их поэтический талант. У Шамиссо преобладают то фантазия и чувство, то трезвый рассудок; в особенности в терцинах внешняя форма совершенно холодная и рассудочная, но под нею слышится биение благородного сердца; у Иммермана оба эти свойства борются между собой и образуют тот дуализм, который он сам признает и крайности которого его сильная индивидуальность в состоянии сблизить, но не объединить; наконец, у Платена поэтическая сила отказалась от своей самостоятельности и легко мирится с господством сильного рассудка. Если бы фантазия Платена не могла опереться на этот рассудок и на его замечательный характер, он не стал бы так известен. Поэтому он явился представителем рассудочного начала в поэзии, именно формы, и поэтому же не дано было сбыться его желанию закончить свое поприще значительным трудом. Он, конечно, знал хорошо, что такой большой труд необходим, чтобы увековечить его славу; но он чувствовал также, что для этого ему еще недостает силы, и надеялся на будущее и на свои подготовительные работы; между тем время уплывало, он так и не мог выбраться из своих подготовительных работ и, наконец, умер.

Фантазия Платена робко следовала за смелым движением его рассудка; и когда потребовался гениальный труд, когда нужно было решиться на смелый прыжок, которого рассудок не в состоянии был сделать, фантазия робко отступила. Отсюда проистекало заблуждение Платена, принявшего продукт своего рассудка за поэзию. Его поэтической творческой силы хватило на анакреонтические газели *; временами она сверкала, как метеор, и в его комедиях; но мы должны признать, что тó, что является своеобразной особенностью Платена, большей частью было продуктом рассудка и таковым всегда будет признаваться. Его чересчур искусственные газели, его риторические оды будут утомлять; полемика его комедий будет большей частью считаться необоснованной; но придется отдавать должное остроумию его диалогов, возвышенности его монологов и оправдывать его односторонность величием его характера. Литературная репутация Платена в общественном мнении изменится; он станет дальше от Гёте, но ближе к Бёрне.

Что он и по своим убеждениям ближе к Бёрне, об этом, кроме многочисленных намеков в комедиях, свидетельствовало также несколько стихотворений в полном собрании сочинений [42], из которых я упомяну лишь оду Карлу X; ряд песен, вызванных к жизни польской освободительной борьбой, не вошел в это собрание, хотя они должны были представлять большой интерес для характеристики Платена. Теперь они вышли в другом издании как приложение к полному собранию [43]. Я нахожу в них подтверждение своего взгляда на Платена. Мысль и характер должны здесь сильнее и в более заметной степени, чем в других его произведениях, заменять поэзию. Поэтому Платену редко удается простой склад песни; ему требуются длинные, растянутые стихи, каждая строфа которых содержит законченную мысль или искусственные стопы од, серьезный, размеренный ход которых как бы требует риторического содержания. С искусством стиха Платену приходят и мысли, и это есть сильнейшее доказательство рассудочного происхождения его стихотворений. Кто предъявляет Платену иные требования, того эти польские песни не удовлетворят; но кто именно с этими ожиданиями возьмет книжку в руки, тот будет с избытком вознагражден за недостаток поэтического аромата обилием возвышенных могучих мыслей, выросших на почве благороднейшего характера, и «великолепной страстностью», как прекрасно сказано в предисловии. Жаль, что эти стихотворения не появились на несколько месяцев раньше, чем

* — любовная лирика. *Ред.*

немецкое национальное сознание поднялось против императорско-русской европейской пентархии [44]; они были бы наилучшим ответом на нее. Быть может и пентархист [45] нашел бы здесь не одно меткое словечко для своего труда.

Написано Ф. Энгельсом в декабре 1839 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 31, февраль 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

[НА ИЗОБРЕТЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ] [46]

Достойно ли поэта петь чертоги
Властителей иль блеск войны кровавой,
Когда звучат, ликуя, трубы славы
На небесах, где обитают боги?
Не стыдно ль вам? Сокровища таланта,
Сиянье славы расточать, о братья,
На тех, кого история навеки
С презреньем осудила на проклятье?
О, пробудитесь! Пусть взовьется в тучи
Благоговейный гимн,
Досель еще неслыханно могучий!
И если вы хотите, чтоб нетленный
Венок расцвел вкруг вашего чела,
Так нужно, чтобы расцвела
И ваша песнь, гремя по всей вселенной!

У древних без нужды не расточался
Священный фимиам:
У алтаря возвышенных деяний,
Возвышенных умов он проливался.
Но вот пришел Сатурн и мощным плугом
Грудь матери-земли он разрыхлил, —
Тогда увидел человек,
Как семена взросли на почве бедной,
И к небесам вознесся гимн победный, —
Сатурн был богом в тот блаженный век.
А ты не бог ли, кто века назад

В живую плоть облек и мысль, и слово,
Что, раз возникши, улетело б снова,
В печатном знаке не найдя преград?

Не будь тебя, — в могилу
Забвения навеки погрузясь,
Само б себя и Время поглотило.
Но ты пришел, — и мысль
Раздвинула границы, что мешали
В младенчестве ей развиваться долгом,
И унеслась, взмахнув крылом, в простор,
Где с Будущим Прошедшее заводит
Торжественный и вещий разговор.
Ты, победитель мрака,
Возрадуйся, бессмертный, похвалам
И почестям, что ныне надлежит
Воздать тебе, возвышенному духу!
И, словно показав в твоем лице,
Какая в ней еще таится сила,
С тех пор природа больше никогда
Такого чуда миру не дарила.

Но вот встает она, чтоб новый знак
Могущества явить, и Рейн холодный
Увидел Гутенберга. «Тщетный труд!
Что пользы вам, когда своим пером
Вы жизнь даете мысли, —
Она умрет: над ней уже нависли
Покровы тьмы, забвения фантом!
Какой сосуд в себя вместить сумеет
Бушующие волны Океана?
Так нет пути для мысли, заключенной
В единый том, во все земные страны!
Так что ж? Взлететь? По одному подобью
Несметные творит природа жизни, —
Так следуй же за ней, мое творенье!
И пусть раздастся Истины глагол,
Тысячекратным эхом полня дол
И в высь летя на крыльях вдохновенья!»

Сказал, — и был станок, и вот Европа,
Ошеломленная, глядит, как в миг,
С великим шумом, словно ветер в бурю,
Прорвавшийся, возник
Тот пламень яростный, что в недрах темных

Дремал, в глубоких притаившись домнах.
О, крепость зла, невежества покров,
Созданье гнусной ярости тиранов!
Раскрылись недра пламенных вулканов
И потрясли гранит твоих основ!
Кто этот призрак, мрака порожденье,
Нечистый демон, что, забывши стыд,
Себе престол кровавый воздвигает,
Над павшим Капитолием царит,
Всему земному смертью угрожает?

Еще он жив, — но призрачная мощь
Уже слабеет: рушатся вершины,
И далеко вокруг лежат руины.
И царствует на выступе скалы
Одна лишь башня над громадой горной,
Где крепость возвели сыны войны,
В борьбе позорной,
Откуда низвергаются толпой,
Похитив мощь, с громовым криком, в бой.
И башня та стоит,
Заброшена, являя мрачный вид,
Еще, как прежде, дряхлая, далеко
Грозящее вокруг наводит око, —
Но пробил час, и рушится она;
Тогда гудят равнины
Под грудами обломков, и с тех пор
Она лежит, как пугало лесное,
Как чучело, людской смущая взор.

То был венок, что увенчал впервые
Чело рассудка; смело вспрянул ум,
Духовного взыскуя жадно хлеба,
В своем полете обнимая мир.
Коперник в звездное поднялся небо,
Что плотный некогда скрывал эфир,
И сквозь безмерность далей созерцает
Ярчайшую из звезд,
Что нам лучи дневные посылает.
И чует под ногою Галилей
Земли круговращенье, но ему
Рим ослепленный шлет за то тюрьму.
А шар земной летит, не уставая,
Моря пространств бездонных проплывая,

Светила с ним, горящие, плывут
В полете огненном; тогда был вброшен
В средину их Ньютона быстрый дух;
Он следует за ними,
Он указует вечный
Им предначертанный движенья круг.

Что пользы в том, что покоришь ты небо,
Найдешь закон, который управляет
Водой и ветром, раздробишь лучи
Неосязаемого света, в землю
Зароешься, чтоб злата колыбель
Иль хрусталя открыть? О, гордый ум,
Вернись к собратьям! Горькая обида
Тогда в его ответе прозвучала:
«Как долго ум с невежеством боролся,
Как тяжко цепь бряцала,
Что тирания в ярости сковала,
Из края в край, от века и до века,
Бросая человека
От рабской доли к смертному одру!
Теперь довольно!» — Пламенную речь
Услышали тираны и призвали
Двух верных слуг к себе: огонь и меч.

«Безумцы! Эти жаркие костры,
Что в ярости мне смертью угрожают
И с правдой за меня вступают в бой,
То факелы, что свет несут с собой
И царство правды в мире утверждают!
С любовью и тоской
Моя душа, отдавшись вдохновенью,
Ей вслед глядит, она влечет меня,
Я не боюсь ни смерти, ни огня, —
Так неужель поддамся я сомненью?
Иль, может быть, назад
Мне отступить? Но разве волны Тахо
Когда-нибудь обратно возвращались,
В морской простор однажды устремившись?
Пускай навстречу громоздятся горы,
Им не сдержать кипящий ураган, —
Его несет сквозь встречные заторы
Сама судьба в мятежный океан».

Настал великий день,
В который смертный из глубин паденья
Воспрянул гордо, полный возмущенья,
И над простором рек
Пронесся клич: свободен человек!
И полетел, сметая все преграды,
Святой призыв; и эхо понесло
Его чудесно на крылах могучих,
Что создал Гутенберг;
И, окрыленный, вмиг
Он взвился над горами, над морями,
Господствуя, свободный, над ветрами.
Не заглушил его тиранов крик,
И мощно прозвучал во всей природе
Призыв рассудка: человек свободен!

О, слово сладкое: свободен! Сердце
Трепещет, ширясь, твой заслышав звук;
Тобой зажженный дух,
Охваченный священным вдохновеньем,
Взмывает ввысь на огненных крылах
И радостно кружится в облаках.
Вы, внемлющие песне
Моей, о, где вы, смертные? Я вижу
С высот, как медные врата судьбы
Отверзлись — и, порвав покров времен,
Грядущее простерлось предо мною!
И вижу я, что шар земной отныне
Не жалкая планета, где царят
Война и зависть в яростной гордыне.

Исчадья зла, они навек исчезли,
Как прекращается ужасный мор,
Как черная чума уходит, если
Суровый Аквилон подует с гор.
Все люди равными отныне стали,
Распался гнет губительных оков;
Ликующие клики прозвучали:
Тиранов нет, нет более рабов!
Любовь и мир на всей земле настали,
Любовь и мир вдыхает все вокруг,
«Любовь и мир!» — гремят раскатом дали.
А в небе бог, на троне золотом,
Простер свой скипетр вниз, благословляя, -

Да радость и веселье снидут в мир,
Как в древние века,
Потоком мощным землю затопляя.

Ты видишь, видишь этот обелиск,
Сей памятник прекрасно-величавый, —
Он ослепляет, словно солнца диск!
Не так могущественны пирамиды,
Создание рабов, что, их же мощью
Потрясены, свои склонили главы!
Пред ним неугасимо
Струится аромат,
Что Гутенбергу в изумленье люди
В знак благодарности везде кадят.
Хвала тому, кто темной силы чванство
Повергнул в прах, кто торжество ума
Пронес сквозь бесконечные пространства;
Кого в триумфе Истина сама,
Осыпавши дарами, вознесла!
Борцу за благо — гимны без числа!

Бремен

Переведено Ф. Энгельсом в начале 1840 г.

Напечатано в «Gutenbergs-Album». Braunschweig, 1840

Подпись: Фридрих Энгельс

Печатается по тексту альбома

Перевод с немецкого

ЙОЭЛЬ ЯКОБИ

Акробатическая труппа Гёрреса приобрела в лице *Йоэля Якоби* ценного сотрудника. Прежде партию паяца исполнял сам г-н Гвидо Гёррес, но его шутки не пользовались большим успехом у публики; напротив, новый член труппы недавно еще раз доказал поразительнейшим образом в своей «Борьбе и победе» *, что у него призвание к этой роли. Человек столь разносторонний, которому равно к лицу красный колпак и пурпурная мантия Давида, фрак кандидата, жаждущего должности, и власяница новообращенного, который с удовольствием берет на себя труд ходячей рекламы, нося на груди номер «Berliner politisches Wochenblatt», а на спине каталог издательской фирмы Манц в Регенсбурге, — такой человек легко справляется с любой ролью. И вот ныне он впервые выступает в новой роли, нисколько не смущаясь, и, «вещая о спасении и мире, о борьбе и победе» [47], косится одним глазом на орден Красного Орла, а другим на митру епископа.

«Чем прикажете повеселить вас?» — спрашивает он публику. — «Какой год издания вам угоден: 1832 или же 1834, 1836 или 1839? Кого мне вам продекламировать: Марата или Ярке, Давида или Гёрреса, или Гегеля?» Но он великодушен и дает нам рагу из всех реминисценций, которые ему удалось выловить в пустыне своей головы, и, действительно, он преподносит нам нечто увеселительное.

Положительно недоумеваешь, с какой стороны подойти к этой бессмыслице. Мне незачем останавливаться на вероломстве

* Регенсбург, 1840.

образа мыслей, на хаотическом смешении понятий, характеризующих также и эту книжку автора; ведь перед нами полупомешанный, в голове которого собственные, уродливые зародыши мыслей справляют безудержную оргию с понятиями, заимствованными у других! Какое же представление имеет наш поэт, например, о своем прошлом, если он называет себя «тихим человеком»? Тот, кто в течение восьми лет беспрестанно кричит, беснуется и распинается за революцию, против революции, за Пруссию, за папу, он — тихий человек? Он, чьи жалобы всегда были одновременно и обвинениями * против других, — этот прирожденный доносчик, который всегда брал людей под подозрение целыми массами, — его ли относить к разряду тихих граждан страны?

Словесная путаница Франца Карла Йоэля Якоби вполне соответствует путанице его мыслей. Я бы никогда не мог поверить, что немецкий язык способен так буквально передавать самые путаные представления. Слова, никогда ранее рядом не стоявшие, сваливаются здесь в одну кучу, взаимно исключающие понятия связываются воедино каким-нибудь всемогущим глаголом; самые благонравные, самые невинные выражения внезапно оказываются среди реминисценций из революционных лет Йоэля, среди подозрительных фраз Менцеля, Лео и Гёрреса, среди ложно понятых мыслей Гегеля; над всем этим поэт размахивает своим бичом, и дикая стая неистово несется вперед, ломая все на своем пути, спотыкаясь и падая, и, наконец, обретает покой в лоне единоспасающей церкви.

Истинное содержание этого шедевра, написанного в духе псевдопараллелизма, в стиле старой «импозантной манеры все говорить дважды» (а то и трижды и четырежды), состоит из лирических жалоб иудея и новообращенного, а затем из жалоб католика, в которых автор выходит за пределы одностороннего лирического субъективизма и развивает чисто современную драму. В центре ее выступает энергичная личность автора в трагическом облике (во всяком случае, он являет собой достаточно печальное зрелище), и над присущей ему безотрадной путаницей восходит, наконец, средневековая заря католической церкви. Во весь свой богатырский рост поднимается из современного хаоса новый пророк Йоэль и предвещает гибель всем революционным, либеральным, гегелингским [48] и протестантским устремлениям, которые должны уступить место новому веку скудомыслия. Предается проклятию все, что не склоняется перед посохом; лишь «прусское отечество» удостаи-

* Игра слов: «Klagen» — «жалобы»; «Verklagen» — «обвинения». *Ред.*

вается pia desideria *; напротив, карлистские баски и «бельгийский соловей» погибают к радости своего владыки Лойолы [49]. Видимо, терроризм якобинской эпохи [50] хорошо сохранился в памяти г-на Якоби. Кровавая расправа производится над всеми врагами иезуитизма и монархического принципа, прежде всего над новыми философами, которые носят кинжал в ножнах из запутывающих понятий, а под своим пестрым рубищем — всем знакомый саван (по крайней мере, г-н Якоби с давних пор очень хорошо его знает), в котором пастыри и государи вместе вкушают смертный сон. Но новый пророк знает философов: «Я всегда понимал вас», — говорит он сам. Однако самому учителю ** он выносит оправдательный приговор, ибо некоторые идеи учителя попали, как снег, в разгоряченный мозг г-на Якоби и там, конечно, превратились в воду. Перед следующим далее хором коршунов и сов и перед адским ликованием критика, естественно, замолкает.

В Йоэле Якоби проявилась та ужасающая крайность, к которой в конце концов неминуемо приходят все рыцари скудоумия. Туда же в конечном счете ведет всякая вражда к свободной мысли, всякая оппозиция против абсолютной власти духа, выступает ли она в виде дикого, необузданного санкюлотизма или в виде бессмысленного и подлого раболепия; носит ли она пробор пиетиста или тонзуру католического попа. Йоэль Якоби — живой трофей, эмблема победы, одержанной мыслящим духом. Каждый, кто только выступал в защиту девятнадцатого века, может с торжеством взирать на этого потерпевшего крушение поэта своего времени, ибо рано или поздно ему уподобятся все враги этого века.

Написано Ф. Энгельсом в январе — марте 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 55, апрель 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

* — благочестивых пожеланий. *Ред.*

** Имеется в виду Гегель. *Ред.*

РЕКВИЕМ ДЛЯ НЕМЕЦКОЙ «ADELSZEITUNG» [51]

Dies irae, dies illa
Saecla solvet in favilla *

Тот день, когда Лютер извлек первоначальный текст Нового завета и с помощью этого греческого огня превратил в прах и пепел столетия средневековья с их всесилием сеньориальной власти и бесправием крепостных, с их поэзией и скудомыслием, — тот день и последовавшие за ним три столетия породили, наконец, время,

«при котором ведущее место целиком принадлежит общественному мнению, время, о котором Наполеон, — а ему, несмотря на его очень многие предосудительные, особенно в глазах немцев, качества, нельзя отказать в редкой проницательности, — сказал: «Le journalisme est une puissance»» **.

Я привожу здесь эти слова лишь для того, чтобы показать, как мало средневекового духа, т. е. скудомыслия, в проспекте «Adelszeitung», откуда они заимствованы [52]. Немецкая «Adelszeitung» призвана была увенчать собой это общественное мнение и пробудить его сознание. Ибо ясно: Гутенберг изобрел книгопечатание не для того, чтобы помочь распространять по свету путаные мысли какому-нибудь Бёрне — этому демагогу, или Гегелю, который спереди раболепен, как доказал Гейне, а сзади революционен, как доказал Шубарт [53], или какому-нибудь другому бюргеру; — нет, он изобрел его единственно для того, чтобы дать возможность основать «Adelszeitung». — *Мир ей, она отошла в вечность!* Она взглянула только украдкой,

---

* — «Гнева день — день разрушенья, превратит весь мир он в тленье». Слова из заупокойной католической мессы — реквиема. Другие латинские цитаты, встречающиеся в этой статье, тоже заимствованы оттуда. *Ред.*

** — «Печать — это сила». *Ред.*

робко на этот гадкий, несредневековый мир, и ее чистая девичья душа, или, вернее, душа благородной девицы, отпрянула в трепете перед мерзостью запустения, перед грязью демократической canaille *, перед ужасающим высокомерием тех, кто не имеет доступа ко двору, перед всеми теми прискорбными обстоятельствами, взаимоотношениями и неурядицами нашего времени, которые, появляясь у ворот баронских замков, удостаиваются приветствия хлыстом. Мир ей, она отошла в вечность, она не видит больше ничтожества демократии, потрясения основ существующего, слез высокородных и высокоблагородных, она опочила вечным сном.

Requiem aeternam dona ei, Domine! **

И все-таки мы многое потеряли с ее кончиной! Как радовались во всех салонах, куда допускаются лишь господа, насчитывающие не менее чем шестнадцать поколений предков, как ликовали на всех, наполовину потерянных, аванпостах правоверной аристократии! Вот сидит в наследственном кресле старый сиятельный папаша, окруженный любимыми собаками, держа в правой руке наследственную трубку, а в левой наследственный арапник, и благоговейно изучает допотопное генеалогическое древо в первой книге Моисея, как вдруг раскрывается дверь и ему приносят проспект «Adelszeitung». Высокоблагородный, заметив напечатанное большими буквами слово *дворянская,* поспешно поправляет очки и с чувством блаженства читает листок; он видит, что в новой газете уделено место также и семейным новостям, и радуется при мысли о своем будущем некрологе — с каким интересом он прочел бы его сам! — когда в один прекрасный день он присоединится к сонму своих предков. — Но вот во двор замка въезжают галопом молодые господа; старик поспешно посылает за ними. Г-н Теодерих «фон дер Нейге» *** загоняет ударом хлыста лошадей в конюшню; г-н Зигварт сшибает с ног нескольких лакеев, наступает на хвост кошке и рыцарски отталкивает в сторону старого крестьянина, который пришел с просьбой и получил отказ; г-н Гизелер приказывает слугам под страхом телесного наказания тщательнейшим образом приготовить все для охоты; наконец, юные бароны с шумом входят в зал. Собаки с лаем бросаются им навстречу, но ударами арапников их загоняют под стол, и г-н Зигварт фон дер Нейге, успокоивший любимую собаку пинком сиятельной ноги, на этот раз не встречает со стороны

* — черни. *Ред.*

** — Вечный покой даруй ей, господи! *Ред.*

*** «Neige» означает «остаток», «последыш». *Ред.*

восхищенного отца даже обычного в таких случаях сердитого взора. Г-н Теодерих, который кроме библии и родословной читал еще кое-что в энциклопедическом словаре и потому правильнее других произносит иностранные слова, должен прочесть вслух проспект, а старик, проливая слезы радости, забывает про указ о выкупе и про обложение дворян налогами.

Как нравственно-скромно-снисходительно прискакала милостивая госпожа в современный мир на своем белом бумажном иноходце, как смело глядели вперед оба ее рыцаря — бароны с головы до ног, в каждой капле крови — плод шестидесяти четырех равных бракосочетаний, в каждом взгляде — вызов! Первый — г-н фон *Альвенслебен,* который гарцевал раньше на своем рыцарском боевом коне по тощим степям французских романов и мемуаров, а теперь решился напасть на дикарей-бюргеров. На его щите начертан девиз: «Благоприобретенное право никогда не может стать несправедливостью», и он громким голосом кричит на весь мир: «Дворянство в прошлом имело счастье отличиться, теперь оно почивает на лаврах, или, говоря проще, разленилось; дворянство мощной рукой защищало князей, *а тем самым и народы,* и я позабочусь о том, чтобы эти великие деяния не были забыты, а моя возлюбленная «Adelszeitung» — requiescat in pace * — прекраснейшая в мире дама, и кто это отрицает, тот...»

Но тут благородный рыцарь летит с лошади, и на смену ему плетется рысцой на ристалище г-н Фридрих, барон де ла *Мот Фуке.* Старый «светло-гнедой» Росинант, у которого от продолжительного пребывания в конюшне отвалились подковы, — этот гиппогриф, который не был упитанным даже в лучшие свои времена и давно уже прекратил романтические прыжки под седлом северных богатырей, начал вдруг бить копытом землю. Г-н фон Фуке позабыл ежегодный поэтический комментарий к «Berliner politisches Wochenblatt», приказал почистить панцирь, вывести старого слепого коня и с величием одинокого героя двинулся в путь, чтобы принять участие в крестовом походе идей времени. Но, чтобы честолюбивое бюргерское сословие не подумало, что надломленное копье старого богатыря направлено против него, Фуке кидает ему вступительное слово [54]. Столь снисходительная милость заслуживает рассмотрения.

Вступительное слово поучает нас, что всемирная история существует не для того, чтобы осуществить понятие свободы, как весьма ошибочно полагает Гегель, а лишь для того, чтобы доказать необходимость существования трех сословий, причем дво-

* — да почиет с миром. *Ред.*

ряне обязаны воевать, бюргеры — мыслить, крестьяне — пахать. Однако это не должны быть кастовые различия; сословия должны взаимно поддерживать и обновлять друг друга, но не путем неравных браков, а путем возведения в высшее сословие. Конечно, трудно понять, каким образом это «прозрачное, как родниковая вода, озеро» дворянства, которое образовалось из чистых источников, бивших с высот разбойничьих замков, может нуждаться еще в каком-то освежающем пополнении. Но благородный барон разрешает людям, которые были не только бюргерами, но и «конюхами рыцарей», а, *может быть, даже портняжными подмастерьями*, обновлять дворянство. Однако г-н Фуке не говорит, каким образом дворянство должно обновлять другие сословия, — вероятно, с помощью опустившихся из рядов дворянства субъектов. Или же — поскольку г-н Фуке в своей доброте готов согласиться, что дворянство внутренне, собственно говоря, нисколько не лучше черни, — может быть, для дворянина возвышение в бюргерское сословие или даже в крестьянское сословие будет столь же почетно, как дворянский диплом для бюргера? В государстве г-на Фуке уж позаботятся о том, чтобы философия не очень-то поднимала голову. Кант со своими идеями вечного мира [55] попал бы там на костер, ибо при вечном мире дворяне не могли бы драться, в лучшем случае этим занимались бы разве лишь подмастерья.

Несомненно, что за свое основательное изучение истории и государствоведения г-н Фуке заслуживает возведения в мыслящее, т. е. бюргерское, сословие; он превосходно наловчился отыскивать среди гуннов и аваров, среди башкир и могикан и даже среди допотопных людей не только почтенную публику, но даже и знатное дворянство. К тому же он сделал совершенно новое открытие, — что в средние века, когда крестьяне были крепостными, они встречали любовь и ласку со стороны двух других сословий и платили им тем же. Его язык несравненен, он мечет в читателя «проникающие до самых корней размеры» и «умеет извлекать золото из явлений *в себе* (Гегель — Саул среди пророков) самых темных».

Et lux perpetua luceat eis * —

они поистине нуждаются в этом.

У покойной «Adelszeitung» было еще так много прекрасных мыслей, например, мысль о дворянском землевладении и еще сотни других, что восхвалять все эти мысли было бы невозможным делом. Но счастливейшая ее мысль состояла, однако,

* — И пусть вечный свет просияет им. *Ред.*

в том, чтобы уже в самом первом своем номере поместить среди объявлений извещение об одном *неравном браке*. Готова ли она с такой же гуманностью причислить г-на фон Ротшильда к немецкому дворянству, — об этом она не сообщила. Да утешит господь бог горестных родителей, да возведет усопшую в небесное графское достоинство.

Пусть спит она спокойно
До страшного суда! —

Мы же споем ей реквием и произнесем надгробную речь, как это подобает честному бюргеру.

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum *.

Разве вы не слышите трубного гласа, опрокидывающего могильные плиты и заставляющего радостно колебаться землю, так что разверзаются гробницы? Настал судный день, день, который никогда больше не сменится ночью; дух, вечный царь, воссел на своем троне, и у ног его собираются народы земли, чтобы дать отчет о своих помыслах и деяниях; новая жизнь пронизывает весь мир, и старое древо народов радостно колышет свои покрытые листвой ветви в дыхании утра, сбрасывая увядшие листья; ветер уносит их и собирает в один большой костер, который сам бог зажигает своими молниями. Свершился суд над земными поколениями, суд, который дети прошлого прекратили бы столь же охотно, как процесс о наследстве; но вечный судия неумолим, и грозен его пронизывающий взор; талант, которого они не использовали, отнимается у них, и они низвергаются во тьму кромешную, где их не усладит ни единый луч духа.

Написано Ф. Энгельсом в январе — апреле 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 59 и 60; апрель 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

* — Трубный глас чудесной силы возвещает: из могилы пред всевышним всяк предстань. *Ред.*

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ[56]

I

КАРЛ ГУЦКОВ КАК ДРАМАТУРГ

Можно было ожидать, что после известной статьи Гуцкова в «Jahrbuch der Literatur»[57] у его противников — за исключением Кюне, с которым тут разделались слишком поверхностно, — сразу же возгорится благородная жажда мести. Но ожидать чего-либо подобного от наших литераторов значило бы плохо понимать присущий им эгоизм. Весьма знаменательно, что «Telegraph» * в своем курсовом бюллетене литературы принял собственную оценку каждого писателя за нормальную котировку. Итак, можно было предвидеть, что с этой стороны новейшим произведениям Гуцкова будет оказан не особенно дружелюбный прием.

Однако среди наших критиков есть люди, которые кичатся своим беспристрастным отношением к Гуцкову, и другие, которые сами признаются в чрезвычайной благосклонности к его литературной деятельности. Последние сильно превознесли его «Ричарда Сэведжа»[58], того самого «Сэведжа», которого Гуцков в лихорадочной поспешности написал за двенадцать дней, а его «Саула»[59], которого с такой явной любовью писатель вынашивал и так заботливо лелеял, встретили парой слов, равносильных полупризнанию. В то время как «Сэведж» шел с блестящим успехом на всех театральных сценах и все журналы были заполнены рецензиями о нем, тем, кто не имел возможности познакомиться с этой драмой, следовало бы изучать драматический талант Гуцкова на «Сауле», доступном в опубликованном виде. А между тем как мало газет поместили даже поверхностную

* — «Telegraph für Deutschland». *Ред.*

рецензию на эту трагедию! Поистине не знаешь, что и думать о наших литературных делах, если сравнить это пренебрежение с дискуссиями, вызванными «Странствующим поэтом» Бека [29] — стихами, право же, значительно более далекими от классического образца, чем «Саул» Гуцкова.

Но прежде чем перейти к разбору этой драмы, нам следует заняться двумя драматическими этюдами, появившимися в «*Книге набросков*» [60]. Первый акт незаконченной трагедии «Марино Фальери» показывает, как умеет Гуцков обработать и довести до завершения каждый отдельный акт, как владеет он искусством диалога, придавая ему тонкость, грацию и остроумие. Но в этом отрывке не хватает действия, содержание его можно передать в трех словах, и в силу этого он покажется на сцене скучным даже тому, кто умеет ценить искусство исполнения. Исправить что-нибудь здесь, разумеется, трудно: действие построено таким образом, что ничего перенести в первый акт из второго нельзя без ущерба для последнего. Но здесь-то и сказывается настоящий драматург, и, если Гуцков действительно таков, а я в этом убежден, он успешно справится в целом с этой проблемой в обещанной трагедии, которая, будем надеяться, в недалеком будущем будет закончена.

«*Гамлет в Виттенберге*» уже дает нам общие контуры целого. Гуцков хорошо сделал, предложив здесь лишь наброски; ведь самая удачная часть — сцена, в которой появляется Офелия, — при более детальном изображении оскорбляла бы наши чувства. Зато мне совершенно непонятно, как мог Гуцков, желая зародить в душе Гамлета сомнение — немецкий элемент, устроить ему встречу с Фаустом. Нет никакой нужды привносить это направление в гамлетовскую душу извне: оно там давно и является его прирожденным свойством. Иначе Шекспир, конечно, не преминул бы его особо обосновать. Гуцков ссылается здесь на Бёрне, но именно последний наряду с раздвоением подчеркивал цельность характера Гамлета [61]. А каким образом у Гуцкова эти элементы проникают в духовный мир Гамлета? Может быть, в силу проклятия, которое Фауст обрушивает на голову молодого датчанина? Такие приемы с deus ex machina * сделали бы невозможной всякую драматическую поэзию. Или благодаря подслушанному Гамлетом разговору Фауста с Мефистофелем? Во-первых, в этом случае утратило бы свое значение проклятие, во-вторых, нить, ведущая от этих речей к характеру шекспи-

* — буквально: с «богом из машины» (в античных театрах актеры, изображавшие богов, появлялись на сцене с помощью особых механизмов); в переносном смысле: неожиданно появляющееся лицо или неожиданная, не вытекающая из хода событий ситуация. *Ред.*

ровского Гамлета, зачастую столь тонка, что ее теряешь из виду, и, в-третьих, разве Гамлет мог бы тотчас же вслед за этим так равнодушно говорить о посторонних вещах? Иначе обстоит дело с появлением Офелии. Здесь Гуцков либо до конца постиг Шекспира, либо его дополнил. Это своего рода колумбово яйцо; после того как в течение двухсот лет критики спорили об этом, дается разгадка, столь же оригинальная, как и поэтичная и, вероятно, единственно возможная. И написана эта сцена мастерски. Тот, кого известная сцена в «Вали» [62] еще не убедила, что Гуцков владеет фантазией, что он — не человек холодного рассудка, тот поймет это теперь. Нежное, поэтическое дыхание, которым овеян воздушный образ Офелии, дает больше, чем можно требовать от простого наброска. — Совершенно неудачны строфы, которые произносит Мефистофель. Чтобы воспроизвести язык гётевского «Фауста», гармонию, которая звучит в его только с виду вольных стихах, нужно быть вторым Гёте; от прикосновения любой другой руки этот легкий стих делается деревянным и тяжеловесным. Спорить с Гуцковым о концепции принципа зла я здесь не намерен.

Переходим к главному предмету нашей беседы — «*Царю Саулу*». Гуцкову ставили в упрек, что, прежде чем выпустить «Сэведжа», он многократно трубил во все трубы на страницах «Telegraph», хотя весь этот шум подняли из-за двух-трех небольших заметок; когда другие организуют благосклонный прием своим произведениям силами нанятых музыкантов, об этом никто не задумывается, но Гуцкову, который одному высказал в лицо суровую правду, а другого, может быть, задел маленькой несправедливостью, это засчитывается как серьезное преступление. Относительно «*Царя Саула*» эти упреки вовсе неуместны. Он вышел в свет без предварительных оповещений, не было ни газетных заметок, ни публикаций отрывков в «Telegraph». Та же скромность присуща самой драме: никаких сценических эффектов, возникающих с громом и молнией из морских пучин водянистого диалога на манер вулканических островов, никаких помпезных монологов, восторженная или трогательная риторика которых призвана скрывать драматические прорехи; здесь все развивается спокойно, органично, сознательная поэтическая сила уверенно ведет действие к развязке. И разве *когда-нибудь* наша критика прочтет такое произведение и напишет затем статью, пестрые цветы красноречия которой сразу выдают бесплодную, песчаную почву, породившую их? Я ставлю «Царю Саулу» в большую заслугу именно то, что его красоты не лежат на поверхности, что их надо отыскивать, больше того — что по первом прочтении книгу

можно, пожалуй, пренебрежительно отложить в сторону. Заставьте образованного человека позабыть на миг о знаменитости Софокла и предложите ему сделать выбор между «Антигоной» и «Саулом». Я убежден, что при первом чтении он объявит то и другое произведение в равной мере плохими. Этим я, разумеется, не хочу сказать, что «Саула» можно поставить рядом с величайшим творением величайшего из греков. Я хочу лишь показать, сколь превратны суждения, выносимые с поверхностным легкомыслием. Забавно было видеть, как некоторые заклятые враги автора, внезапно вообразив, что они одержали неслыханный триумф, ликующе указывали перстом на «Саула» как на вечно памятный образец бездарности и антихудожественности Гуцкова; как, не умея разобраться в Самуиле, они применили к нему изречение: «Я не знаю, жив он или мертв». Смешно было видеть, как наглядно, сами того не сознавая, они выставляли напоказ свою крайнюю поверхностность. Но Гуцков может быть спокоен; так бывало с пророками и до него, а в конечном счете его Саул тоже будет зачислен в пророки. С тем же пренебрежением относились они к драмам Людвига Уланда, пока не открыл им на него глаза Винбарг [27]. Именно драмы Уланда со скромной простотой их формы имеют много родственного с *«Саулом»*.

Другая причина того, что верхоглядство так легко разделалось с «Саулом», коренится в своеобразном понимании исторического предания. Об исторических произведениях, столь широко известных, как первая книга Самуила *, и подвергавшихся неоднократно столь различным толкованиям, у каждого имеется своя собственная точка зрения, которую он и хотел бы увидеть хоть отчасти отображенной или учтенной в стихотворном произведении при поэтической переработке этого материала. Один стоит за Саула, другой — за Давида, третий — за Самуила. И каждый, как бы он горячо ни клялся и ни заверял, что намерен уважать точку зрения писателя, бывает все же сам задет, если его собственный взгляд не учитывается. Но Гуцков поступил очень правильно, покинув проторенную дорогу, где самая заурядная телега найдет колею. Хотел бы я видеть человека, который взялся бы создать в трагедии образ подлинно исторического Саула. Меня не удовлетворяют сделанные до сих пор попытки вернуть историю Саула на чисто историческую почву. Историческая критика Ветхого завета не покинула еще область изжившего себя рационализма. Возьмись за это какой-нибудь Штраус, ему пришлось бы еще много поработать, чтобы четко

* Библия. Ветхий завет. Первая книга царств. *Ред.*

разграничить, что принадлежит мифу, что — истории и какие искажения внесли священники. Далее, разве тысячи неудачных попыток не доказали, какой бесплодной почвой для драмы является Восток как таковой? И где в истории то более высокое начало, одерживающее победу в то время, когда терпят крах пережившие себя личности? Ведь не Давид же это? Он попрежнему остается подвержен влиянию священников и если является поэтическим героем, то лишь в том неисторическом освещении, в котором преподносит его библия. Итак, Гуцков не только воспользовался здесь присущим каждому поэту правом, но и устранил препятствия, мешающие поэтическому изображению. В самом деле, как бы выглядел подлинно исторический Саул в том облачении, которым наградили его эпоха и национальность? Представьте себе, как он изъясняется языком древнеиудейских параллельных метафор, как все его представления связаны с Иеговой, все его образы с древнееврейской религией; представьте исторического Давида, изрекающего фразы из псалмов, — об историческом Самуиле и речи быть не может, и подумайте, допустимы ли такие действующие лица в драме? Здесь категории времени и национальности надо было отбросить, очертания характеров, как они даны в библейской истории и в последующей критике, должны были претерпеть немало весьма необходимых изменений; здесь у них много из того, что в исторической действительности было лишь догадкой или, в лучшем случае, смутным представлением, потребовалось довести до ясного понимания. Так, поэт с полным правом допустил наличие у своих действующих лиц, например, понятия церкви. — И в этом отношении Гуцков заслуживает лишь самую горячую похвалу, учитывая то, как он разрешил свою задачу. Нити, из которых сотканы его характеры, все находятся в первоисточнике, хотя и в весьма запутанном виде; некоторые нити ему пришлось извлечь и отбросить, но только самый пристрастный критик может упрекнуть его в том, что он привнес нечто чуждое — за исключением сцены с филистимлянами.

В центре драмы группируются три характера, своеобразная обрисовка которых Гуцковым по существу и делает его сюжет трагическим. Здесь сказывается подлинно поэтическое понимание истории; никогда меня не убедят в том, что «человек холодного рассудка», «склонный дискутировать», способен извлечь из сбивчивого рассказа то, что сможет привести к высокотрагической развязке. Эти три характера — Саул, Самуил и Давид. Саул замыкает целый период истории еврейского народа, эпоху судей и героических сказаний; Саул — последний

израильский нибелунг, уцелевший от поколения богатырей в эпоху, которой он не понимает и которая его не понимает. Саул — эпигон, первоначально предназначенный сверкать мечом в эпоху туманных мифов, чья беда в том, что ему довелось жить в эпоху распространения культуры, в эпоху, ему чуждую, обрекающую на ржавчину его меч и которую он в силу этого пытается повернуть вспять. Вообще же он человек благородный, которому ничто человеческое не чуждо; но любовь ему неведома, он не узнаёт ее, когда она приходит к нему в одеянии нового времени. Эту новую эпоху и ее проявления он считает порождением священников, тогда как священники ее лишь подготовили, являясь только орудием в руках истории, из иерархического посева которой вырастают невиданные ростки. Саул борется против новой эпохи, но она шагает через него, приобретая в своем стремительном движении гигантскую силу, она крушит все, что ей противоборствует, в том числе и великого благородного Саула.

Самуил стоит на рубеже перехода к культуре; в качестве привилегированных носителей образования священники здесь, как и всюду, подготавливают переход к культуре у варварских народов, но образованность проникает в гущу народа, и священники, чтобы утвердить свое влияние в противовес народу, вынуждены прибегать уже к другому оружию. Самуил — настоящий священник, для которого иерархия — святая святых; он твердо верит в свою божественную миссию, он убежден, что с ниспровержением власти священников гнев Иеговы обрушится на народ. С ужасом видит он, что народ, раз он требует царя, уже слишком много знает. Он видит, что моральная сила, импонировавшее священное облачение уже не воздействуют на народ. Он вынужден использовать изворотливость как оружие и незаметно становится иезуитом. Но кривые дороги, на которые он теперь вступил, вдвойне ненавистны царю; тот никогда не мог питать дружественных чувств к священникам. И насколько Саул в ходе борьбы был слеп к знамениям времени, настолько же быстро он вскоре стал разбираться в махинациях священников.

Третий, выходящий победителем из этой борьбы, это — представитель новой исторической эпохи, в которую иудейство поднимается на новую ступень своего сознания, — Давид, по человечности равный Саулу, а в понимании эпохи значительно его превосходящий. Вначале он выступает как воспитанник Самуила, только что вышедший из школы. Но он не настолько подчинил свой разум авторитету, чтобы лишить его эластичности, разум воспрянул и вернул Давиду его самостоятельность.

Как бы еще ни импонировал ему Самуил лично, разум неизменно помогает ему преодолеть это влияние, а поэтическая фантазия заново создает ему новый Иерусалим, сколько бы проклятий ни обрушивал на его голову Самуил. Саул не может с ним примириться, так как цели этих двух противоположны; а если он говорит, что ненавидит в Давиде лишь то, что обманом внесено в его душу священниками, он опять-таки смешивает результат властолюбия священников с чертами новой эпохи. И вот на наших глазах Давид из робкого мальчика вырастает в представителя целой эпохи, и, таким образом, исчезают кажущиеся противоречия в его образе.

Чтобы не прерывать развития этих трех характеров, я намеренно обошел вопрос, поднятый всеми критиками, которые дали себе труд хоть раз прочесть «Саула»: вопрос о том, появляется ли Самуил в сцене с ведьмой и в конце драмы во плоти и крови или дух его произносит там предназначенные ему речи. Допустим, что при ознакомлении с драмой этот вопрос не только не получает ответа без труда, но, пожалуй, вообще не может получить удовлетворительного ответа; неужели же это такой большой порок? На мой взгляд, вовсе нет: принимайте его за кого угодно, а если есть у вас на то охота, затевайте скучнейшие дискуссии на эту тему. Ведь и с Шекспиром произошло то же самое: насчет помешательства Гамлета все критики и комментаторы вот уж целых два века судят и рядят «вдоль и поперек и вообще во всех направлениях» [63], рассматривая его со всех сторон. Между тем Гуцков не так уж и усложнил проблему. Ему давно известно, как смешны привидения среди бела дня, как mal à propos * появляется Черный рыцарь в «Орлеанской деве» ** и что как раз в «Сауле» привидения были бы совершенно неуместны. В особенности в сцене с ведьмой легко разглядеть, кто скрывается под маской, даже если бы старый первосвященник еще раньше, до того как зашла речь о смерти Самуила, не появлялся в подобном же виде.

Из остальных характеров пьесы лучше всех обрисован Авенир, который предан Саулу в силу глубокого убеждения и полной гармонии душ и в котором воин и враг священников совершенно оттеснил человека на задний план. Зато меньше всех удались Ионафан и Михаль. Ионафан с начала и до конца разглагольствует о дружбе, изливается в своей любви к Давиду, не идя, однако, при этом дальше слов. Он весь изошел дружбой к Давиду и утратил при этом всякое мужество и всякую силу. Его

* — некстати. *Ред.*

** *Ф. Шиллер.* «Орлеанская дева», действие III, сцена 9. *Ред.*

податливость и мягкотелость нельзя даже назвать характером. Здесь Гуцков оказался в затруднении, не зная, что делать с Ионафаном. Во всяком случае, в таком виде он не нужен. Михаль дана совершенно неопределенно и лишь до некоторой степени охарактеризована своей любовью к Давиду. Как неудачны эти две фигуры, яснее всего видно из сцены, где они беседуют о Давиде. Их речи о любви и дружбе совершенно лишены той бросающейся в глаза остроты, того богатства мысли, к которым нас приучил Гуцков. Одни фразы, которые и не совсем правдивы и не совсем лживы. Ничего характерного, ничего рельефного. — Церуя — та же Юдифь. Не знаю, то ли Гуцков, то ли Кюне однажды сказал, что Юдифь, как всякая женщина, ломающая преграды, стоящие на пути ее пола, совершив свое дело, должна умереть, чтобы не казаться безобразной; соответственно умирает и Церуя. — Характеристика князей-филистимлян сама по себе превосходна и изобилует ценными чертами; на месте ли это в данном произведении — другой вопрос, он будет рассмотрен ниже.

Читатель любезно освободит меня от дальнейшего разбора самой текстуры драмы. Но все же необходимо кое на что обратить внимание, в частности на экспозицию. Она превосходна и содержит черты, по которым можно безошибочно узнать большой драматургический талант Гуцкова. Вполне соответствует бурному, порывистому характеру Гуцкова появление народных масс лишь в коротких сценах. Большие народные сцены таят в себе известную опасность: у того, кто не обладает талантом Шекспира или Гёте, они невольно получаются тривиальными и бессмысленными. Зато несколько слов, которыми обмениваются отдельные воины или другие люди из толпы, зачастую производят большое впечатление и вполне достигают своей цели — отдельными штрихами передать общественное мнение; к этому можно прибегать значительно чаще, не надоедая и не утомляя. Таковы первая и четвертая сцены первого акта. Вторая и третья сцены содержат монолог Саула и его беседу с Самуилом, которые принадлежат к числу прекраснейших и самых поэтических мест драмы. Сдержанная на античный лад страстность диалога характерна для духа, в котором написана вся драма. После того как в этих сценах кратко обрисованы контуры действия, в пятой сцене между Ионафаном и Давидом мы проникаем глубже в детали. Эта сцена несколько грешит беспорядочностью мыслей; диалектическая нить не раз ускользает из поля зрения — это, несомненно, результат неудачной с самого начала зарисовки Ионафана. Зато мастерски дана заключительная сцена акта. Мы уже до некоторой степени позна-

комились с главными характерами, и здесь они сведены вместе; с серьезным намерением помириться Давид и Саул идут навстречу друг другу; здесь писателю предстояло раскрыть все различие их натур, их несовместимость и подвести их не к намеченному примирению, а к неизбежному конфликту. И эта задача, для решения которой требуется необычайно живое понимание действительности, умение с величайшей остротой обрисовать грани характеров, безошибочное проникновение в человеческую душу, непревзойденным образом разрешена. Переходы настроений у Саула — от одной крайности к другой — столь верны психологически, столь тонко обоснованы, что, вопреки неудачной картине с зятем, я не могу не признать эту сцену лучшей во всей драме.

Во втором акте сцена с филистимлянами поразительна или, говоря словами Кюне, «по-новому пикантна». Но едва ли блестящее остроумие этой сцены может само по себе оправдать ее присутствие в трагедии. Если Гуцков поднял своего Саула над идейным уровнем его эпохи, приписав ему понимание того, что на самом деле было его сознанию чуждо, то это имеет свое оправдание; но в данную сцену привнесено чисто современное понятие: Давид здесь перенесен на *немецкую* почву. Это нарушает по меньшей мере стройность трагедии. Комические сцены вообще бывают уместны, но они должны быть другого рода. Комическое присутствует в трагедии отнюдь не для разнообразия и контраста, как утверждают поверхностные критики, а скорее для того, чтобы верно отобразить жизнь, в которой серьезное перемешано со смешным. Однако сомневаюсь, чтобы Шекспир ограничился такими соображениями. Разве в жизни глубочайшая трагедия не предстает подчас в шутовском наряде? Напомню только о характере, который хотя и выведен, как и подобает ему, в романе, но по трагичности, по-моему, не имеет себе равного, — я имею в виду Дон-Кихота. Что может быть трагичнее человека, который из чистой любви к человечеству, оставаясь непонятым своими современниками, совершает самые комические сумасбродства? Еще трагичнее фигура Блазедова, этого Дон-Кихота грядущих времен — с сознанием более развитым, чем у его прототипа. Между прочим, я должен здесь взять под свою защиту Блазедова от обоснованной в остальном критики в «Rheinisches Jahrbuch» [64], которая обвиняет Гуцкова в комической трактовке трагической идеи. Блазедова и *надо было* изобразить в комическом свете, наподобие Дон-Кихота. Подойдите к нему серьезно — и получится самый заурядный, терзаемый внутренними противоречиями пророк мировой скорби; отбросьте комическое безумие романа — и останется

одно из тех бесформенных, неудовлетворяющих произведений, которыми начиналась современная литература. Нет, «Блазедов» — это первый верный показатель того, что молодая литература уже оставила позади неизбежный, правда, период разочарованности, период «Вали» и «писанных кровью сердца» «Ночей»[22]. Подлинно комическое в трагедии проявляется в образе шута в «Лире» и в сценах с могильщиками в «Гамлете» *.

Всегдашний камень преткновения для драматурга — последние два акта и здесь созданы автором не вполне удачно. В четвертом акте лишь тем и занимаются, что принимают решения: принимает решение Саул; дважды принимает решение Астарот; Церуя, Давид также принимают решения. Далее — сцена с ведьмой, эффект которой тоже ничтожен. Пятый акт состоит только из битв и размышлений. Саул, пожалуй, чересчур размышляет для героя, Давид — для поэта. Временами кажется, что слышишь в нем не поэта-*героя,* а поэта-*мыслителя,* вроде Теодора Мундта. Вообще у Гуцкова обычно монологи менее заметны благодаря тому, что они произносятся в присутствии других действующих лиц. А так как подобного рода монологи редко могут привести к решению и носят характер чистых рассуждений, то и монологов в собственном смысле слова все равно большей частью не получается.

Язык разбираемой драмы, как и можно было ожидать от Гуцкова, весьма оригинален. Мы встречаем здесь снова столь характерную для прозаических произведений Гуцкова образность, благодаря которой переход от простой голой прозы к ярко расцвеченному современному стилю остается совершенно незаметным, встречаем те краткие, меткие выражения, которые часто сродни поговорке. Гуцков не лирик, если не считать тех лирических моментов в развитии действия, где его охватывает лирическое вдохновение и он может излить его в прозе. Поэтому песни, вложенные в уста его Давида, либо неудачны, либо лишены значения. Вот Давид говорит, обращаясь к филистимлянам:

Я должен вам шутя стихи
Сплести в венок, никак иначе **.

Как это понять? Основная идея такой песни зачастую бывает превосходна, но осуществление ее всегда неудачно. Впрочем, по стилю тоже заметно, что Гуцков еще не обладает достаточной легкостью стиха; это, правда, лучше, чем встать на путь заурядного, избитого и водянистого рифмоплетства.

---

* Имеются в виду трагедии Шекспира «Король Лир» и «Гамлет». *Ред.*

** *К. Гуцков.* «Царь Саул». Акт 2, сцена седьмая. *Ред.*

Не удалось автору избежать и неудачных образов. Так, например, на стр. 7:

Тот гнев священника,
У коего народ сперва корону отнял
И коему она затем в его руке худой
Стать палкою должна *.

Здесь *корона* — уже образ царской власти и никак не может служить абстрактной основой для второго образа — палки. Это тем более бросается в глаза, что ошибки очень легко было избежать — ясное доказательство того, что Гуцкову стихи все еще даются с трудом.

Познакомиться с «*Ричардом Сэведжем*» мне помешали обстоятельства. Однако, сознаюсь, непомерный успех первых его постановок вызвал у меня недоверие к пьесе. Мне вспомнилось при этом то, что произошло три года тому назад с «Гризельдой»[65]. С тех пор появилось достаточно неодобрительных отзывов, причем первый из них — поскольку можно судить на основании журнальных выдержек, не зная самого произведения, — самый основательный и, как это ни странно, напечатан в политическом журнале «Deutscher Courier»[66]. Но я легко могу избавиться от необходимости рецензировать это произведение, ибо в какой только газете не появились отклики на него. Итак, подождем, чтобы оно появилось в печати.

«*Вернер*», новейшая работа Гуцкова[67], удостоилась в Гамбурге такого же одобрения. Судя по предварительным отзывам, это произведение не только само по себе представляет большую ценность, но является по существу и первой современной трагедией. Примечательно, что Кюне, который так много рассуждал о современной трагедии и, казалось бы, должен был сам создать такого рода произведение, дал Гуцкову опередить себя. Неужели он не чувствует себя призванным попробовать свои силы в драме?

Пусть же Гуцков, проложивший молодой литературе путь на театральную сцену, продолжает своими оригинальными, полными жизни драмами вытеснять с театральных подмостков незаконно узурпировавшую их пошлость и посредственность. Одной критикой, сколь бы уничтожающей она ни была, достичь этого, как мы убедились, невозможно. Гуцкову обеспечена сильная поддержка со стороны тех, кто проводит те же тенденции, и это дает нам новые надежды на расцвет немецкой драмы и немецкого театра.

---

* *К. Гуцков.* «Царь Саул» Акт I, сцена третья. *Ред.*

II
СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЕМИКА

У молодой литературы есть оружие, которое делает ее непобедимой и собирает под ее знамена все молодые таланты, — я имею в виду современный стиль. Его жизненная конкретность, острота выражения, многообразие оттенков дают каждому молодому писателю поле для свободного развития своего гения — будь то поток или ручей — во всем его своеобразии, если таковое у него имеется, без чрезмерной примеси чужеродных элементов вроде гейневского сарказма или едкости, свойственной Гуцкову. Отрадно видеть, как каждый молодой автор старается присвоить себе современный стиль с его гордо взлетающими ракетами воодушевления, которые, достигнув кульминационного пункта, рассыпаются пестрым поэтическим дождем огней или разлетаются на трескучие искры остроумия. В этом отношении имеют важное значение рецензии в «Rheinisches Jahrbuch», о которых я уже упоминал в своей первой статье *; они явились первым проявлением влияния, оказанного новой литературной эпохой на Рейнскую область, которой немецкая поэзия довольно-таки чужда. Здесь налицо весь современный стиль с его светом и тенями, с его оригинальными, но меткими характеристиками, с полыхающим над ним поэтическим заревом.

При таких обстоятельствах о наших авторах можно не только сказать: le style c'est l'homme, но и: le style c'est la littérature **. Современный стиль носит на себе печать взаимопроникновения не только различных стилей корифеев прошлого, как это заметил недавно Л. Виль, но и художественного творчества и критики, поэзии и прозы. Наиболее глубокое взаимопроникновение этих элементов мы находим у Винбарга в «Драматургах современности» [27] — здесь поэт превратился в критика. То же самое можно было бы сказать и о втором томе кюновских «Характеров» [26], если бы стиль их был более выдержан. Немецкий стиль пережил диалектический процесс опосредствования; от наивной непосредственности нашей прозы отпочковался язык разума, кульминационной вершиной которого является мраморный стиль *Гёте*, и язык фантазии и сердца, все великолепие которого раскрыл нам *Жан Поль*. Начало опосредствованию положил *Бёрне*, хотя и у него еще, особенно в «Письмах» [20], преобладает рассудочный элемент; зато *Гейне* дал волю поэтической стороне.

---

* См. настоящий том, стр. 57. *Ред.*

** — стиль — это человек (по словам Ж. Л. Бюффона)... стиль — это литература. *Ред.*

В современном стиле опосредствование завершено. Фантазия и рассудок не сливаются воедино без участия сознания, но и не противостоят резко друг другу; они сочетаются в стиле, как сочетаются в человеческой душе, а вследствие того, что это сочетание осознано, — оно прочно и неподдельно. Поэтому-то я не согласен с Вилем, который все еще приписывает современному стилю характер случайности; я вижу в нем органическое исторически закономерное развитие.

То же опосредствование происходит и в литературе; здесь трудно найти автора, который бы не сочетал в себе художественное творчество и критику, — даже лирик Крейценах создал «Швабского Аполлона», а Бек писал о венгерской литературе [68]. Упреки в том, что молодая литература растворяется в критике, имеют свое основание скорее в количестве критиков, чем в количестве критических произведений. Разве художественные произведения Гуцкова, Лаубе, Мундта, Кюне не превосходят в значительной мере — и количественно и качественно — критические статьи этих же авторов? Итак, современный стиль остается зеркалом литературы. Но у стиля есть одна сторона, которая всегда является характерным признаком его сущности, это — полемика. У греков полемика воплотилась в поэзии и благодаря Аристофану приобрела пластические формы. У римлян ее облекли в форму нашедшего всеобщее применение гекзаметра; а лирик Гораций с помощью той же лирики превратил полемику в сатиру. В средние века — период пышного расцвета лирики — она вылилась у провансальцев в сирвенту и канцону, а у немцев в песню. Когда в XVII веке голый разум воцарился в поэзии, для подчеркивания полемической остроты была использована возрожденная к жизни римская эпиграмма времен упадка. Свойственная французскому классицизму тенденция к подражанию породила сатиры Буало в духе Горация. Минувший век, который подхватывал все традиции прошлого, пока немецкая поэзия не встала на путь совершенно самостоятельного развития, испробовал в Германии всевозможные полемические формы, пока антикварные письма Лессинга [69] не открыли в прозе ту сферу, которая способствовала наиболее свободному развитию полемики. Тактика Вольтера, который при каждом удобном случае наносит удар противнику, — чисто французская; то же можно сказать и о Беранже, который никому не дает спуску и в той же французской манере все изливает в песне. А современная полемика?

Да простит мне читатель: он уже, вероятно, давно догадался, к чему клонит эта диатриба; но ведь я как-никак немец и не могу отказаться от прирожденного немецкого свойства

всегда начинать с Адама. А теперь я хочу высказаться более откровенно. Речь идет о распрях в современной литературе, о позиции отдельных сторон и прежде всего о споре, который стоит в центре всего остального, о споре между *Гуцковым* и *Мундтом* или — как выяснилось сейчас — между Гуцковым и *Кюне*. Этот спор вот уже два года занимает главное место в нашем литературном движении и не может не оказывать на него частью благоприятное, частью неблагоприятное влияние. Неблагоприятное — ибо спокойный ход развития всегда нарушается, когда литературу превращают в арену борьбы личных симпатий, антипатий и идиосинкразий; благоприятное — потому что литература вышла, говоря словами Гегеля, за пределы той односторонности, которая была присуща ей как группе единомышленников, и даже самый распад ее свидетельствует об ее победе; далее и потому, что вопреки ожиданию многих «молодая поросль» не примкнула к той или другой стороне, а воспользовалась возможностью освободиться от всяких посторонних влияний и вступить на путь самостоятельного развития. А если кто и встал на ту или другую сторону, то лишь доказал этим, как мало имел веры в самого себя и как мало могла рассчитывать на него литература.

Гуцков ли первый бросил камень или Мундт первый обнажил меч, это пока можно оставить без внимания; достаточно того, что камень брошен и меч обнажен. Вскрыть надо более глубокие причины войны, которая рано или поздно должна была вспыхнуть; ведь ни один беспристрастный свидетель всего хода событий ни за что не поверит, чтобы у какой-либо из сторон преобладали субъективные мотивы, коварная зависть, легкомысленная жажда боя. Для одного только Кюне личная дружба с Мундтом, и в этом нет ничего низменного, явилась побудительным мотивом для того, чтобы принять брошенный Гуцковым вызов.

Литературное творчество и стремления *Гуцкова* носят характер ярко выраженной индивидуальности. Весьма немногие из его многочисленных произведений оставляют после прочтения чувство полного удовлетворения; и все же нельзя отрицать, что они принадлежат к числу самых выдающихся в немецкой литературе за последнее время, начиная с 1830 года. Чем это объясняется? Я усматриваю в этом авторе дуализм, имеющий много родственного с душевным раздвоением Иммермана, которое впервые раскрыл сам Гуцков. По признанию всех немецких авторов — разумеется, беллетристов — Гуцков обладает огромной силой разума; он никогда не затрудняется вынести свое суждение, его глаз с изумительной легкостью ориенти-

руется в самых запутанных явлениях. Наряду с таким разумом в нем живет столь же могучая сила страсти; она проявляется в его произведениях как вдохновение и приводит его фантазию в состояние того, я бы сказал, возбуждения, при котором только и возможно духовное творчество. Произведения его, зачастую даже и долго вынашиваемые композиции, рождаются мгновенно; если, с одной стороны, на них лежит печать вдохновения, во время которого они написаны, то, с другой стороны, эта поспешность зачастую мешает спокойной разработке частностей. И они, подобно «Вали», остаются просто набросками. Более уравновешены его позднейшие романы, особенно «Блазедов», который носит на себе печать небывалой до этого у Гуцкова пластичности. Его прежние герои были не столько живым воплощением характеров, сколько их изображением. Они витали μετέωρα * между небом и землей, как говорит Карл Грюн. Однако Гуцков не может помешать своему вдохновению временами уступать место разуму; в таком настроении и писались те места его произведений, которые производят вышеупомянутое неприятное впечатление. Это настроение Кюне назвал в своей оскорбительной манере «старческим брюзжанием».

Но присущая Гуцкову страстность зачастую порождает в нем гнев порой по самым незначительным поводам; и тогда полемика Гуцкова брызжет ненавистью, в ней бушует ярость, в чем он задним числом, несомненно, раскаивается, так как не может не понимать, как неразумно поступал в моменты неистовства. Что он это сознает, явствует из известной статьи в «Jahrbuch der Literatur», беспристрастие которой он слишком расхваливает, — значит, ему известно, что его полемика несвободна от мимолетных влияний. К этим двум сторонам его ума, гармоническое единство которых Гуцков до сих пор, видимо, еще не обрел, присоединяется еще необузданная жажда независимости; он не терпит ни малейших оков, будь они железные или сотканные из паутины; он не успокоится, пока не разорвет их. Когда он, вопреки своей воле, был причислен вместе с Гейне, Винбаргом, Лаубе и Мундтом к «Молодой Германии» [5], а эта «Молодая Германия» стала вырождаться в клику, ему стало не по себе, и это чувство неловкости покинуло его только тогда, когда он открыто порвал с Лаубе и Мундтом. Но как бы эта жажда независимости ни ограждала его от постороннего влияния — она слишком легко заставляет его отталкивать от себя все, что не есть он, замыкаться в самом себе, предаваться чрезмерному чувству собственного достоинства, граничащего

* — метеорами. *Ред.*

с себялюбием. Я далек от того, чтобы приписывать Гуцкову сознательную тенденцию к неограниченному господству в литературе, но он порой употребляет такие выражения, которые дают его противникам повод упрекать его в эгоизме. Уже одна его страстность заставляет его полностью выявлять себя, какой он есть, и в силу этого в его произведениях можно сразу же увидеть всего человека. К этому духовному своеобразию прибавьте еще раны, непрерывно наносимые ему цензурой за последние четыре года, полицейские рогатки, поставленные его свободному литературному развитию, — и зарисовку литературной личности Гуцкова в ее основных чертах, надеюсь, можно считать законченной.

В то время как Гуцков представляется нам натурой вполне оригинальной, у *Мундта* мы находим приятную гармонию всех духовных сил, ту гармонию, которая является первым условием для юмориста: спокойный рассудок, доброе немецкое сердце и к этому еще необходимая доля фантазии. Мундт — истинно немецкий характер, но именно в силу этого он редко возвышается над обыденностью и довольно часто впадает в прозаизм. Он мил и любезен, по-немецки основателен, добропорядочен, но это не поэт, который жаждет художественного перевоплощения. Произведения, написанные Мундтом до «Мадонны», незначительны. «Современный жизненный водоворот» [70] изобилует добродушным юмором и художественными частностями, но как художественное произведение не представляет ценности, а как роман — скучен. В «Мадонне» воодушевление новыми идеями породило в нем подъем, дотоле ему неведомый, но и этот подъем опять-таки породил не художественное произведение, а лишь нагромождение благих мыслей и восхитительных картинок. И все же «Мадонна» — лучшее произведение Мундта, потому что вскоре вслед затем сгустившиеся на литературном небе Германии тучи разразились по воле немецкого громовержца Зевса проливным дождем, который в значительной степени охладил вдохновение Мундта [71]. Скромный немецкий Гамлет подтвердил заверения в полной безвредности своего творчества безобидными небольшими новеллами, где идеи эпохи выступили с подстриженной бородой и прилизанными волосами, во фраке просителя, протягивающего верноподданнейшее ходатайство на всемилостивейшее их осуществление. «Комедия склонностей» [72] нанесла его поэтической славе урон, который он вздумал возместить «Прогулками и скитаниями по свету» [73], вместо того чтобы создать новые, более шлифованные поэтические произведения. Если Мундт не возьмется за творчество с былым вдохновением, если вместо описания путешествий и

журнальных статей он не создаст поэтических произведений, то о нем, как о *поэте*, очень скоро совсем перестанут говорить. Другой очевидный шаг назад Мундт сделал в области стиля. Его пристрастие к Варнхагену, в котором он узрел первого стилиста Германии, толкнуло его на путь подражания дипломатическим выкрутасам этого автора, его изощренным оборотам и абстрактной витиеватости. При этом Мундт незаметно для самого себя нарушил основной принцип современного стиля — его непосредственную, жизненную конкретность.

К различиям в характерных чертах двух спорящих сторон добавляются еще и коренные различия в ходе их духовного формирования. Гуцков с первых своих шагов восторгался «современным Моисеем» — Бёрне, и это глубокое преклонение и по сей день живет в его душе; Мундт же укрылся в надежной тени, отбрасываемой гигантским древом гегелевской системы, и долгое время проявлял высокомерие, свойственное большинству гегельянцев. Аксиома философского падишаха, гласившая, что свобода и необходимость тождественны, а тенденции южногерманского либерализма — проявление ограниченности, сковывала политические взгляды Мундта в первые годы его литературной деятельности. Гуцков распрощался с Берлином, негодуя на тамошнюю обстановку, и в Штутгарте проникся чувством любви к Южной Германии, которой остается верен и по сей день. Мундт же чувствовал себя хорошо в Берлине, охотно участвовал в чаепитиях светских эстетов, черпал в берлинском умственном водовороте идеи своих «Личностей и обстоятельств» [74] — ту тепличную литературную поросль, которая задушила в нем и во многих других всякую свободу поэтического творчества. Печально видеть, как Мундт, критически разбирая произведение Мюнха во второй тетради журнала «Freihafen» за 1838 год [75], приходит от описания подобной личности в такой восторг, которого не вызывало в нем ни одно поэтическое произведение. Ради берлинских обстоятельств — слово как будто специально придумано для Берлина — он забывает о всем остальном и доходит даже до смехотворного пренебрежения красотами природы, как это мы видим в «Мадонне».

Так противостояли друг другу Гуцков и Мундт, пока их пути неожиданно не сошлись на идеях эпохи. Им пришлось бы вскоре снова разойтись, продолжая, пожалуй, изредка приветствовать друг друга издали и приятно вспоминать былую встречу, если бы образование «Молодой Германии» и Roma locuta est * светлейшего Союзного сейма [17] не вынудили обоих

* Буквально: Рим сказал; в данном случае: решение. *Ред.*

объединиться. Это существенно изменило положение вещей. Общая судьба обязывала Гуцкова и Мундта при обоюдных высказываниях друг о друге проявлять сдержанность, соблюдение которой не могло в конечном счете не стать невыносимым обоим. «Молодая Германия», или молодая литература, как она менее замысловато стала именовать себя после катастрофы «сверху», чтобы не оттолкнуть других приверженцев аналогичных тенденций, близка была к вырождению в клику вопреки собственной воле. Все видели необходимость отказываться от противоречивых тенденций, прикрывать слабости, слишком выпячивать общее мнение. Это противоестественное, вынужденное лицемерие не могло долго продолжаться. Винбарг, самая выдающаяся фигура «Молодой Германии», отошел в сторону; Лаубе с самого начала протестовал против выводов, которые позволяли себе делать власти; Гейне в Париже был слишком далеко, чтобы метать в злободневную литературу электрические искры своего остроумия; Гуцков и Мундт оказались достаточно откровенными, чтобы, сказал бы я, по взаимному уговору нарушить перемирие.

Мундт полемизировал мало и по незначительным поводам, но однажды он позволил вовлечь себя в такую полемику, которая заслуживает самого резкого порицания. В конце статьи «Гёррес и католическое мировоззрение» («Freihafen», 1838, II) [76] он заявил, что если немецкий религиозный мир знать ничего не хочет о «Молодой Германии», то и эта последняя достаточно ясно показала, что в ее рядах имеется в религиозном отношении немало гнилых элементов. Совершенно ясно, что помимо Гейне, которого мы здесь не касаемся, имелся в виду Гуцков. Если бы даже это обвинение и было справедливым, Мундту полагалось иметь достаточно уважения к своим товарищам по несчастью, чтобы не лить воду на мельницу ограниченности, филистерства и пиетизма [9]. Мундт поступает действительно дурно, когда с фарисейским торжеством говорит — слава тебе, господи, что я не таков, как Гейне, Лаубе и Гуцков, и что меня до некоторой степени может уважать если не Германский союз [77], то немецкий религиозный мир!

Что касается Гуцкова, то он находил подлинное удовольствие в полемике. Он использовал все регистры и от аллегро модерато «Литературных эльфов» [78] сразу перешел к аллегро фуриозо фельетонных заметок. Он имел то преимущество перед Мундтом, что мог раскрыть со всей силой его литературные причуды и взять их под обстрел своих всегда заряженных остроумием пушек. Почти не было недели, чтобы он не нанес Мундту хотя бы один удар в журнале «Telegraph». Он умел

использовать все преимущества, которые дает обладание часто выходящим журналом, когда у противника в распоряжении только журнал, выпускаемый четыре раза в год, да его собственные произведения. Особенно примечательно то, что Гуцков наращивал остроту своей полемики и лишь постепенно проявлял свое пренебрежение к литературному дарованию Мундта, тогда как последний сразу же после объявления войны, не соблюдая постепенных переходов, начал обращаться с Гуцковым как с личностью второстепенной.

Обычные уловки политических газет — рекомендация статей того же направления в других печатных органах, под видом признания и похвального беспристрастия протаскивание скрытых шпилек и т. д. — все это было перенесено в ходе этого спора в литературную сферу. Распространялись ли при этом собственные статьи под видом поступивших со стороны корреспонденций — сказать, разумеется, невозможно, так как с самого же начала к той и другой стороне примкнуло множество услужливых безымянных пособников, которым очень льстило, если их работы принимались за произведения командующего ими генерала. Именно на этих пособников, готовых ценой своего усердия купить себе одобрительную фельетонную заметку, Маргграф возлагает большую долю вины за разгоревшуюся распрю [79].

К концу 1838 г. на арену выступил третий участник спора, на амуницию которого мы теперь должны обратить внимание; это был *Кюне*. Он давнишний личный друг Мундта и, несомненно, является тем самым Густавом, к которому обращается однажды Мундт в «Мадонне». В его литературном характере много родственного с Мундтом, хотя, с другой стороны, ему, несомненно, присущ и некий французский элемент. С Мундтом его особенно связывал общий для них обоих путь духовного формирования — через Гегеля и социальную жизнь Берлина, откуда Кюне тоже вынес увлечение личностями и обстоятельствами, а также подлинным изобретателем этих литературных помесей Варнхагеном фон Энзе. Кюне тоже принадлежит к тем, кто восхваляет стиль Варнхагена, упуская из виду, что единственно хорошее в этом стиле сводится, собственно говоря, к подражанию Гёте.

Основным стержнем литературного облика Кюне является остроумие, тот чисто французский склад ума, в котором изобретательность сочетается с живой фантазией. Даже крайнее проявление этого склада — красивая фраза настолько не чужда Кюне, что он, напротив, приобрел на редкость мастерское умение владеть ею, и его критические статьи, например,

на второй том мундтовских «Прогулок» («Elegante Zeitung» *, 1838, май), читаешь не без некоторого удовольствия. Разумеется, довольно часто случается, что эта словесная игра производит неприятное впечатление, и невольно вспоминаются меткие, хотя и избитые слова Мефистофеля [80]. Такие витиеватые вещи могут, пожалуй, нравиться в каком-нибудь журнале, но когда такое место попадается в произведении вроде «Характеров», то, хоть оно и хорошо читается, под ним не чувствуется никакой реальной основы, а так бывает не раз, и это свидетельствует о слишком легкомысленном выборе средств. С другой стороны, именно эта французская легкость делает Кюне одним из наших лучших журналистов, и, несомненно, он мог бы без особого труда, приложив несколько больше усилий, поднять «Elegante Zeitung» значительно выше ее теперешнего уровня. Но удивительно, что Кюне не проявил здесь той живости, которая, казалось бы, особенно соответствует остроте его ума, напоминающей Лаубе.

У Кюне, как критика, особенно ярко проявляются черты уроженца левого берега Рейна. В то время как Гуцков не знает покоя, пока не доберется до сути предмета, и выносит свое суждение исключительно на основании существа дела, не учитывая каких-либо благоприятных и смягчающих побочных обстоятельств, Кюне освещает предмет лучами своей остроумной мысли, рожденной, правда, в большинстве случаев в результате созерцания объекта. Если Гуцков бывает односторонен, то лишь потому, что он выносит суждение нелицеприятно, с бо́льшим учетом слабостей, чем достоинств объекта, и требует от молодых поэтов вроде Бека классических творений. Если Кюне односторонен, то это потому, что он старается охватить все стороны своего объекта с одной точки зрения, не поднимаясь на максимальную высоту, удобную для обозрения. Он оправдывает игривость «Тихих песен» Бека [31], пожалуй, удачной для характеристики Бека фразой: он — лирик-музыкант.

Далее, у Кюне надо различать два периода: в начале своей литературной карьеры он находился в плену гегелевской доктрины и, как мне кажется, преклонялся перед Мундтом или же разделял его взгляды, причем ему не всегда удавалось сохранить самостоятельность. «Карантин» [38] свидетельствует о первом шаге к избавлению от этих влияний; вполне сложилось мировоззрение Кюне лишь в литературных блужданиях после 1836 года. Для сравнения поэтических тенденций Кюне и Гуцкова напрашиваются два одновременно написанных произведе-

* — «Zeitung für die elegante Welt». *Ред.*

ния — «Карантин в сумасшедшем доме» и «Серафина» [81]. И в каждом из них полностью отражается личность автора. В образах Артура и Эдмунда Гуцков воплотил рассудочную и эмоциональную стороны своего характера. Кюне, как начинающий писатель, более непосредственно вложил себя всего в героя «Карантина», показав, как он ищет выхода из лабиринта гегелевской системы. Гуцков, как всегда, не имеет себе равного в остроте зарисовки душевного мира, в психологической мотивировке; чуть ли не весь роман построен на душевных переживаниях. Благодаря такого рода рассудочному сопоставлению побудительных мотивов, в силу чистого недоразумения сводится на нет всякое спокойное наслаждение также и вкрапленными в роман идиллическими ситуациями; и как ни совершенна «Серафина» с одной стороны, с другой — она не удалась. — Кюне, напротив, так и брызжет остроумными рассуждениями о Гегеле, немецком глубокомыслии и моцартовской музыке; он заполняет ими три четверти своей книги и в конце концов вызывает у читателя сплошную скуку и губит этим свой роман. В «Серафине» нет ни одного законченного характера; меньше всего удалось Гуцкову то, к чему он собственно стремился, — показать свое умение изображать женские характеры. Во всех его романах женщины либо тривиальны, как Целинда в «Блазедове», либо лишены истинной женственности, как Вали, либо непривлекательны из-за отсутствия внутренней гармонии, как Серафина. Кажется, он сам близок к пониманию этого, когда в «Сауле» вкладывает в уста Михаль такие слова:

Подобно человеческому мозгу,
Ты сердце женское на части расчленить
Умеешь. Показать ты можешь
Все, из чего составлено оно.
Но ни ножом и не сравненьем едким
В нем искру жизни невозможно уловить *.

То же отсутствие яркой характеристики дает себя чувствовать и в «Карантине». Герой его не цельный характер, а лишь индивидуальное воплощение переходной эпохи современного сознания, лишенное вследствие этого каких бы то ни было личных черт. Остальные образы почти все даны без определенности, так что лишь об очень немногих из них можно с полным правом сказать, удались они или нет.

Гуцков давно уже бросил вызов Кюне, но тот отвечал лишь косвенно тем, что чрезмерно выдвигал достоинства Мундта и редко упоминал о Гуцкове. Но в конце концов выступил

* *К. Гуцков.* «Царь Саул». Акт 3, сцена первая. *Ред.*

и Кюне, на первых порах спокойно, скорее критически, чем полемически; он назвал Гуцкова любителем полемики, но больше не захотел признать никаких его литературных заслуг; вскоре, однако, Кюне в свою очередь перешел в наступление в такой форме, которой от него никто не ожидал, в статье «Новейшие романы Гуцкова»[82]. С большим остроумием он изобразил в карикатурном виде дуализм Гуцкова, доказав это на примерах из его произведений; но наряду с этим он нагромоздил столько недостойных выпадов, необоснованных утверждений и плохо замаскированных, наспех состряпанных выводов, что Гуцков лишь получил преимущества от этой полемики. Он ответил краткой ссылкой на «Jahrbuch der Literatur» за 1839 г. (почему до сих пор не вышел в свет ежегодник за 1840 г.?), в котором была напечатана его статья о новейших литературных разногласиях. Тактика, которая заключалась в том, чтобы своим беспристрастным тоном завоевать симпатии, была достаточно умна, а выдержка, которую проявил Гуцков в этой статье, заслуживает признания. Пусть не все в ней вполне удовлетворительно, пусть он, в частности, слишком поверхностно разделался с Кюне, которому нельзя отказать в значительном влиянии на нынешнюю литературу и в несомненном, хотя и не вполне еще выявленном в «Монастырских новеллах»[83] таланте в области исторического романа. Но это Гуцкову легко можно простить, поскольку противники поступили точно так же и даже перещеголяли его.

Однако этот выпуск «Jahrbuch der Literatur» таил в себе зачаток нового раскола, а именно «Швабское зеркало» *Гейне*[84]. Как это все произошло, знают лишь немногие из самих участников; лучше обойти эту прискорбную историю молчанием. Неужели Гейне не соберет в ближайшее время требуемое количество листов, чтобы выпустить не подлежащую цензуре книгу, в которую «Швабское зеркало» войдет в неурезанном виде? Тогда, по крайней мере, можно будет увидеть, чтó саксонская цензура сочла нужным вычеркнуть и действительно ли нанесенные увечья можно поставить в вину цензурным властям. Достаточно сказать, что война снова вспыхнула, а Кюне повел себя неразумно, приняв глупейшую статью о «Сэведже» и сопроводив заявление доктора Виля (появление которого в «Elegante» так же мало можно было ожидать, как если бы Бек послал в «Telegraph» заявление против Гуцкова) собачьей пародией, которую противная сторона, в свою очередь, отвергла громким лаем[85]. Вся эта собачья история — позорнейшее пятно на всей современной полемике: если наши литераторы начнут обходиться друг с другом по-звериному и применять на прак-

тике законы естественной истории, то немецкая литература скоро уподобится зверинцу и долгожданный литературный мессия станет брататься с Мартином и ван Амбургом.

Чтобы не дать заглохнуть уже ослабевающей полемике, некий злой демон вновь раздул распрю между Гуцковым и *Беком*. Относительно Бека я уже высказал свой взгляд в другом месте *, но, откровенно признаюсь, не без пристрастия. Регресс, который Бек обнаружил в «Сауле» и «Тихих песнях», заставил меня отнестись недоверчиво и несправедливо к «Ночам» и «Странствующему поэту». Мне бы не следовало писать ту статью, а тем более помещать ее в журнале, который ее опубликовал. Во исправление высказанного мною суждения позволю себе сказать, что прошлое Бека — «Ночи» и «Странствующего поэта» я, разумеется, признаю; но я согрешил бы против своей критической совести, если бы не охарактеризовал его «Тихие песни» и первый акт «Саула» как шаг назад. Промахи в первых двух произведениях Бека были неизбежным следствием его молодости, и можно было рассматривать нахлынувшие на него образы и не совсем зрелые, разбросанные мысли как проявление избытка сил и, во всяком случае, таланта, от которого следовало ожидать многого. — И вот на смену этим пламенным образам, этой необузданной юношеской силе в «Тихих песнях» приходит утрата тонуса, вялость, которых от Бека меньше всего можно было ожидать. Таким же лишенным силы был и первый акт «Саула». Но, быть может, эта слабость лишь естественное преходящее следствие минувшего перенапряжения, и следующие акты «Саула» возместят все недостатки первого. Нет, Бек — поэт, и критика при самом резком и справедливом порицании должна быть осторожна в предвидении будущих творений. Такого уважения заслуживает каждый подлинный поэт; и я вовсе не хотел бы прослыть врагом Бека, так как охотно сознаюсь, его поэтическим произведениям я обязан самыми разнообразными и устойчивыми побуждениями.

Гуцкову и Беку можно было бы обойтись и без этого спора. Нельзя отрицать, что Бек, разумеется, невольно, при написании своего «Саула» до некоторой степени пошел за Гуцковым, при этом пострадала отнюдь не его порядочность, а лишь его оригинальность. Гуцков, вместо того чтобы этим возмущаться, должен бы скорее чувствовать себя польщенным. А Беку, вместо того чтобы подчеркивать оригинальность своих образов, которую никто не брал под сомнение, хотя он и должен был — как он это сделал — поднять брошенную ему перчатку, следовало первый акт своей пьесы переработать, что он, надеемся, сделает.

* См. настоящий том, стр. 20—25. *Ред.*

Гуцков теперь занял позицию, враждебную всем лейпцигским литераторам, и резко преследует их своими фельетонными остротами. Он видит в них хорошо организованную банду разбойников, которая преследует его и литературу всеми возможными средствами. Но он, право, поступил бы правильнее, если бы вел против них войну иначе, раз уж он не хочет от нее отказываться. Личные связи и их влияние на общественное мнение в лейпцигской литературной среде неизбежны. И пусть Гуцков сам спросит себя, всегда ли он был свободен от этого, к сожалению, подчас неминуемого греха, или стоит ему напомнить о некоторых его франкфуртских знакомствах? Если «Nordlicht», «Elegante» и «Eisenbahn» иногда сходятся в своих суждениях, можно ли этому удивляться? Термин *клика* в таком случае совершенно неуместен.

Таково нынешнее положение вещей. Мундт отошел в сторону и не участвует больше в распре; Кюне тоже достаточно сыт этой вечной войной; скоро и Гуцков, наверное, поймет, что его полемика в конце концов наскучит публике. Мало-помалу они начнут проявлять себя в романах и драмах, обнаружат, что грозный фельетон не может служить критерием в оценке журнала, что образованные люди нации отдают предпочтение не наиболее яростному полемисту, а лучшему поэту; они привыкнут к спокойному сосуществованию и, быть может, вновь научатся уважать друг друга. Пусть возьмут в пример поведение Гейне, который, несмотря на разногласия, не делает секрета из своего уважения к Гуцкову. Пусть при сравнительной оценке своих достоинств руководствуются не субъективной меркой, а позицией молодежи, которой рано или поздно будет принадлежать литература. Пусть у «Hallische Jahrbücher» научатся тому, что полемика должна заостряться только против пережитков минувшего, против теней покойников. Пусть помнят, что в противном случае между Гамбургом и Лейпцигом могут встать во весь рост такие литературные силы, которые затмят их полемический фейерверк. Гегелевская школа в лице ее самых молодых, вольных побегов и главным образом так называемое молодое поколение идут к объединению, которое окажет самое значительное влияние на развитие литературы. В лице Морица Карьера и Карла Грюна это объединение уже совершилось.

Написано Ф. Энгельсом в марте — мае 1840 г.

Напечатано в «Mitternachtzeitung für gebildete Leser» №№ 51—54, 83—87; 26, 27, 30 и 31 марта, 21, 22, 25, 26 и 28 мая 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

[ОБ АНАСТАЗИУСЕ ГРЮНЕ]

Сейчас, когда Анастазиус Грюн выступает претендентом на должность камергера, невольно вспоминаются стихи, которые он опубликовал два года назад в «Elegante» *. Стихотворение называлось «Отступничество» [86] и заканчивалось следующими строками:

Под знаменем *тем* не увидишь меня,
Пока я здоров, никогда...
Увидишь — то значит, что болен я
Иль даже умер — да, да!
Уж лучше мертвым считай ты меня,
Ведь бывает куда тяжелей
Проходить живому мимо плиты,
Плиты надгробной своей.

Это звучит почти как предчувствие.

Написано Ф. Энгельсом в первой половине апреля 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 61, апрель 1840 г.

Подпись: Ф. О.

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* — «Zeitung für die elegante Welt». *Ред.*

ЛАНДШАФТЫ

На долю Эллады выпало счастье увидеть, как характер ее ландшафта был осознан в религии ее обитателей. Эллада — страна пантеизма. Все ее ландшафты охвачены — или, по меньшей мере, были охвачены — рамками гармонии. И все же каждое ее дерево, каждый источник, каждая гора слишком рельефно выступают на передний план, ее небо чересчур сине, ее солнце чересчур ослепительно, ее море чересчур великолепно, чтобы они могли удовлетвориться суровым одухотворением воспетого Шелли Spirit of nature *, какого-то всеобъемлющего Пана; каждая отдельная часть природы в своей прекрасной завершенности претендует на собственного бога, каждая река требует своих нимф, каждая роща — своих дриад; так создавалась религия эллинов. Другие местности не были так счастливы; ни один народ не сделал их основой своей веры, и они должны ждать поэта, который пробудит к жизни дремлющего в них религиозного гения. Когда вы находитесь на вершине Драхенфельза или Рохусберга у Бингена и смотрите вдаль поверх благоухающих виноградников Рейнской долины на далекие голубые горы, сливающиеся с горизонтом, на зелень полей и виноградников, облитую золотом солнца, и синеву неба, отраженную в реке, — тогда небо во всем своем сиянии склоняется к земле и глядится в нее, дух погружается в материю, слово становится плотью и живет среди нас — это воплощенное христианство. Полную противоположность этому представляет собой северогерманская степь; там нет ничего, кроме

* — духа природы; пантеистический образ-символ из поэмы «Королева Маб» и других произведений Шелли. *Ред.*

высохших стеблей и жалкого вереска, который в сознании своей слабости не осмеливается подняться с земли; то тут, то там можно встретить некогда стойкое, а теперь разбитое молнией дерево; и чем безоблачнее небо, тем резче обособляется оно в своем самодовольном великолепии от бедной, проклятой земли, лежащей перед ним в рубище и пепле, тем более гневно глядит его солнечное око на голый, бесплодный песок: здесь представлено иудейское мировоззрение.

Степь бранили немало, вся литература * полна проклятиями ей и пользуется ею, как в «Эдипе» Платена [87], лишь в качестве предмета сатиры. Но почему-то пренебрегли тем, чтобы обнаружить ее редкие привлекательные черты, ее скрытое поэтическое очарование. В самом деле, нужно вырасти в прекрасной местности, среди гор и лесистых вершин, чтобы как следует почувствовать ужас и безнадежность северогерманской Сахары и в то же время любовно искать скрытые, подобно ливийскому миражу, не всегда видимые красоты этого края. Подлинная проза Германии представлена только картофельными полями правого берега Эльбы. Но родина саксов, этого наиболее богатого подвигами германского племени, поэтична и в своей пустынности. В бурную ночь, когда облака, точно привидения, окружают луну, когда собаки издали заливаются лаем, умчитесь на бешеном коне в бескрайнюю степь, скачите во весь опор по выветрившимся гранитным глыбам и по могильным курганам. Вдали, отражая лунный свет, сверкает вода болот, над ними мерцают блуждающие огоньки, рев бури жутко раздается над широкой равниной; земля под вами дрожит и вы чувствуете, что попали в царство немецких народных сказаний. Только с тех пор как я узнал северогерманскую степь, я по-настоящему понял «Детские и семейные сказки» братьев Гримм [88]. Почти на всех этих сказках заметен отпечаток того, что они возникли здесь, где с наступлением ночи исчезает все человеческое, и жуткие, бесформенные создания народной фантазии носятся над землей, пустынный вид которой наводит страх даже в ясный полдень. Они — воплощение чувств, которые охватывают одинокого жителя степи, когда он в такую бурную ночь шагает по своим родным местам или же с высокой башни созерцает их пустынную гладь. Тогда перед ним снова встают впечатления, сохранившиеся с детства от бурных степных ночей, и претворяются в сказки. На Рейне или в Швабии вы не подслушаете тайны возникновения народных сказок, между тем как здесь каждая грозовая ночь, — *озаренная*

* В третьем томе «*Блазедова*» [64] старик вступается за степь.

молниями ночь, говорит Лаубе, — твердит об этом громовыми раскатами.

Паутинка моей апологии степи, уносимая ветром, могла бы протянуться дальше, если бы вдруг она не запуталась, зацепившись за несчастный, выкрашенный в ганноверские государственные цвета * дорожный столб. Я долго размышлял о значении этих цветов. Королевско-прусские цвета совсем не выражают того, что хочет в них найти Тирш в своей скверной прусской песне [89]; но все же своей прозаичностью они напоминают о холодной, бессердечной бюрократии и обо всем том, что далеко не представляется привлекательным в пруссачестве для жителя Рейнской области. Резкий контраст между черным и белым можно рассматривать как аналогию отношений между королем и подданными в абсолютной монархии, а так как в сущности, согласно Ньютону, белое и черное вовсе не цвета, то они могут означать, что лояльный образ мыслей в абсолютной монархии это тот, который вообще не придерживается никакого цвета. Веселый красный и белый флаг ганзейцев был не плох, по крайней мере, в прошлом; французский esprit ** сверкает в трехцветном знамени, цвета которого присвоила себе и флегматическая Голландия, вероятно, для того, чтобы посмеяться над самой собой; однако самое красивое и многозначительное из всех — это все-таки, несомненно, злополучное немецкое трехцветное знамя. Но ганноверские цвета! Вообразите себе щеголя, который целый час в своих белых Inexpressibles ***, не разбирая дороги, бегал по канавам и только что вспаханным полям, вообразите себе соляной столб Лота [90], — пример былого ганноверского Nunquam retrorsum ****, назидательный для многих, — вообразите себе, что невоспитанная бедуинская молодежь забросала глиной этот достопочтенный памятник, и перед вами ганноверский пограничный столб. Или, быть может, белое означает невинный государственный закон, а желтое — грязь, которой его забрызгали некие продажные перья?

Если бы я попытался определить религиозный характер, присущий той или иной местности, то *голландские* ландшафты по существу кальвинистские. Сплошная проза, невозможность какого-либо одухотворения, которая тяготеет над голландским пейзажем, серое небо, которое одно только и может подходить

---

* — желтый и белый. *Ред.*
** — ум. *Ред.*
*** — невыразимых. *Ред.*
**** — Никогда не отступать (надпись на ганноверском гербе, изображающем вздыбленного коня). *Ред.*

к нему, — все это вызывает те же впечатления, какие оставляют в нас непогрешимые решения Дордрехтского синода [91]. Ветряные мельницы, единственные движущиеся предметы в этом ландшафте, напоминают об избранниках предопределения, которые одни лишь движимы дыханием божественной благодати; все остальное пребывает в «духовной смерти». И Рейн, подобно стремительному, живому духу христианства, теряет в этой засохшей ортодоксии свою оплодотворяющую силу и совершенно мелеет! Такими представляются голландские берега Рейна, рассматриваемые с реки; говорят, что другие районы страны красивее, но я их не знаю. — Роттердам, с его тенистыми набережными, каналами и судами, кажется провинциалам из внутренней Германии настоящим оазисом; здесь понимаешь, как вслед за уходящими фрегатами фантазия Фрейлиграта могла уноситься вдаль, к более прекрасным берегам. А дальше опять проклятые Зеландские острова — ничего, кроме камыша и плотин, ветряных мельниц, церковных башен с их колокольным перезвоном, и между этими островами пароход часами выводит свои зигзаги!

Но какое блаженное чувство охватывает нас, когда мы, наконец, выбираемся из филистерских плотин, из туго затянутой кальвинистской ортодоксии на простор свободного духа! Исчезает Хельфутслёйс, справа и слева берега Ваала погружаются в бурные, все выше вздымающиеся волны, желтый от песка цвет воды сменяется зеленым, — забудем теперь то, что осталось позади, и устремимся радостно в темно-зеленые, прозрачные воды!

Обиды злого рока
Ты, наконец, забудь!
Перед тобой широко
Открыт свободный путь.
Гляди! Склонен бездонный
Над морем небосвод;
Меж них ты — раздвоенный —
Как мнишь найти проход?

К земле в томленьи страстном
Приникнул небосклон;
Он плотию прекрасной
Блаженно опьянен.
Волны порыв влюбленный
Вздымает бурно грудь; —
А ты, ты раздвоенный —
Как завершишь свой путь?

С благим, бессмертным богом
Мир сочетан навек,
И их любви залогом
Явился человек.
Бог несказанным чудом
Живет в груди твоей:
Достойным будь сосудом
И божий дух лелей!

Ухватись за канаты бугшприта и смотри на волны, когда, рассекаемые килем, они подбрасывают вверх белую пену брызг, взлетающую высоко над твоей головой; смотри на далекую, зеленую поверхность моря, где вечно неугомонные вздымаются пенящиеся гребни волн, где солнечные лучи попадают в твои глаза, отражаясь от тысяч пляшущих зеркал; где зелень моря сливается с зеркальной синевой неба и золотом солнца в единый чудесный цвет, — и тогда исчезнут для тебя все мелочные заботы, все воспоминания о врагах света и их коварных происках, и ты растворишься в гордом сознании свободного, бесконечного духа! С этим сравнимо только *одно* впечатление, испытанное мной: когда впервые предо мной раскрылась идея божества последнего философа *, эта грандиознейшая мысль XIX века, меня охватил такой же блаженный трепет, на меня точно пахнуло свежим морским ветром, веющим с чистого неба; глубины спекулятивной философии разверзлись предо мной точно бездонное море, от которого не может оторваться устремленный в пучину взор. Мы живем, действуем и существуем в боге! На море мы начинаем сознавать это; мы чувствуем, что все вокруг нас и мы сами пронизаны дыханием божьим: вся природа так близка нам, волны так доверчиво кивают нам, небо так любовно простирается над землей, а у солнечного света такой неописуемый блеск, что кажется, будто можно схватить его руками.

Солнце закатывается на северо-западе; слева от него из моря поднимается блестящая полоса — побережье Кента, южный берег Темзы. На море ложатся уже туманы сумерек, только на западе небо и море окрашены в пурпур вечерней зари; на востоке небо густо-голубого цвета, и на его фоне уже ярко горит Венера; на юго-западе по горизонту тянется Маргет, в окнах его домов отражается вечерняя заря — длинная золотая полоса в волшебном сиянии. Теперь машите шапками и приветствуйте свободную Англию радостными криками и пол-

* — очевидно, Гегеля. *Ред.*

ными стаканами. Спокойной ночи, до приятного пробуждения в Лондоне!

Вы, жалующиеся на прозу железных дорог, которых вы никогда не видели, садитесь в поезд, идущий из Лондона в Ливерпуль. Если есть на свете страна, созданная для того, чтобы проноситься через нее по железной дороге, то это Англия. Здесь нет ослепительных красот, нет колоссальных массивов скал, это страна мягких, волнистых холмов, страна, которая при английском, всегда не слишком ярком солнечном освещении, полна дивного очарования. Изумляешься многообразию сочетаний, созданных из простых элементов; из нескольких холмов, пóля, деревьев, пасущегося скота природа создает тысячи прелестных ландшафтов. Своеобразную красоту придают пейзажу деревья, рассаженные в одиночку и группами по полям, так что вся местность несколько напоминает парк. Затем идет туннель, оставляющий на несколько минут вагон во мраке и переходящий в лощину, из которой внезапно снова вырываешься на смеющиеся, солнечные поля. В одном месте дорога проходит по виадуку через обширную долину; глубоко внизу лежат города и деревни, леса и луга, между которыми извивается речка; направо и налево горы, очертания которых тают в отдалении, а в очаровательной долине волшебное освещение — полутуман, полусолнечный свет. Но едва только успеешь окинуть взглядом чудесную местность, как уже попадаешь в обнаженную лощину и имеешь возможность воссоздать в своем воображении магическую картину. И так продолжается до тех пор, пока не наступит ночь и сон не смежит уставших от созерцания глаз! О, какая богатая поэзия таится в провинциях Британии! Часто кажется, что ты живешь в golden days of merry England * и вот-вот увидишь Шекспира, крадущегося в кустарниках за чужой дичью с ружьем за плечом, или же удивляешься, что на этой зеленой лужайке не разыгрывается в действительности одна из его божественных комедий. Ибо где бы ни происходило в его пьесах действие — в Италии, Франции или Наварре, — по существу перед нами всегда merry England, родина его чудаковатых простолюдинов, его умничающих школьных учителей, его милых необыкновенных женщин; по всему видно, что действие может происходить только под английским небом. Лишь в некоторых комедиях, как например, «Сон в летнюю ночь», в характерах действующих лиц чувствуется так же сильно, как в «Ромео и Джульетте», влияние южного климата.

* — золотые дни веселой Англии. *Ред.*

Но вернемся к нашему отечеству! Живописная и романтическая Вестфалия рассердилась на своего сына Фрейлиграта, который совершенно забыл ее, правда, ради гораздо более живописного и романтического Рейна; утешим ее несколькими любезными словами, чтобы терпение ее не лопнуло раньше, чем появится второй выпуск [92]. Вестфалия отделена горными цепями от Германии и открыта лишь со стороны Голландии, — точно ее вытолкнули из Германии. И все же дети ее — настоящие саксонцы, верные, добрые немцы. В этих горах имеются восхитительные места: на юге — долины Рура и Ленне, на востоке — долина Везера, на севере — горная цепь от Миндена до Оснабрюка — повсюду богатейшие виды, и только в центре страны скучный песок равнины, то и дело проглядывающий сквозь траву и злаки. А затем старые, прекрасные города, прежде всего Мюнстер с его готическими церквами, с аркадами рынка, с Аннеттой Элизабет фон Дросте-Хюльсхофф и Левином Шюккингом. Последний, с которым я имел удовольствие познакомиться там, любезно указал мне на стихотворения упомянутой дамы [93], и я не могу пропустить случая, чтобы не взять на себя часть вины, которая падает на немецкую публику по отношению к этим стихам. Здесь лишний раз подтвердилось, что хваленая немецкая основательность достаточно легкомысленно относится к оценке стихотворений. Книгу стихов перелистывают, рассматривают, гладок ли стих, хороши ли рифмы, легко ли понимается содержание и богато ли оно сильными или, во всяком случае, эффектными образами, — и приговор готов. Но стихотворения, подобные этим, в которых проявляются глубокое чувство, нежность и оригинальность в описаниях природы, не уступающие поэзии Шелли, смелая байроновская фантазия, правда, в облачении несколько застывшей формы и не свободного от провинциализмов языка, — такие произведения проходят незамеченными; у кого будет охота читать их несколько медленнее, чем это делается обычно? Ведь стихи берут в руки лишь тогда, когда наступает час послеобеденного отдыха, а красота их могла бы только нарушить сон! К тому же наша поэтесса — верующая католичка, а разве протестант позволит себе заинтересоваться таким автором! Но дело в том, что если пиетизм делает смешным Альберта Кнаппа — этого мужа, магистра, старшего адъюнкт-пастора, — то детская вера к лицу фрейлейн фон Дросте. Религиозное свободомыслие — вещь рискованная для женщин. Такие женщины, как Жорж Занд, как подруга Шелли * — редкое явление;

* Мэри Уолстонкрафт-Шелли, урожденная Годвин. *Ред.*

скепсис слишком легко разъедает женский характер и придает рассудку бо́льшую силу, чем это годится для женщин. Но если идеи, за которые боремся мы, дети нового времени, истинны, то недалека уже пора, когда женское сердце начнет биться за идеалы современного духа так же горячо, как оно сейчас бьется за набожную веру отцов, — и лишь тогда наступит победа нового, когда молодое поколение станет его впитывать вместе с молоком матери.

Написано Ф. Энгельсом с конце июня — июле 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 122 и 123; июль и август 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

[КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ БРЕМЕНА]

ТЕАТР. ПРАЗДНИК КНИГОПЕЧАТАНИЯ

Бремен, июль

Насколько мне известно, ни один из видных журналов не держит в Бремене постоянного корреспондента. Из этого Consensus gentium * можно было бы легко заключить, что здесь не о чем писать, однако это не так; у нас имеется театр, в котором еще недавно гастролировали друг за другом Агнесса Шебест, Каролина Бауэр, Тихачек и г-жа Шрёдер-Девриент. Их репертуар по своей солидности может соперничать с репертуаром некоторых других более знаменитых актеров. Здесь уже ставились «Ричард Сэведж» Гуцкова [58] и «Модный фанатизм» Блюма [94]. О первой из этих двух пьес уже и так слишком много говорилось. Я считаю, что появившаяся недавно в «Hallische Jahrbücher» рецензия на эту пьесу [95], за вычетом частых выпадов, содержит значительную долю истины, а именно: основной недостаток произведения заключается в том, что отношения между матерью и ребенком, не являясь свободными, никогда не могут быть положены в основу драмы. Быть может, Гуцков уже и раньше видел свою ошибку, но он был прав, когда не отказался из-за этого от постановки спектакля, поскольку, если он желал одной-единственной пьесой проложить себе путь на сцену, он должен был пойти на уступки укоренившейся театральной рутине, уступки, которые он мог бы позже, в случае, если бы его план удался, взять назад. Он должен был построить свою пьесу на оригинальном фундаменте, хотя бы этот фундамент и не мог противостоять поэтической критике, даже если его сцены грешили погоней за эффектами и мелодраматичностью. Можно критиковать «Ричарда Сэведжа», можно его отвергать, но необходимо также признать, что Гуцков продемонстрировал

* — общего согласия. *Ред.*

в нем свой драматический талант. — О «Модном фанатизме» Блюма я не стал бы говорить, если бы многие журналы не раструбили об этой пьесе, как о «современной». В ней, однако, нет решительно ничего современного — ни в характерах, ни в действиях, ни в диалоге. Правда, заслуга Блюма заключается в том, что у него хватило мужества вывести на сцену пиетизм [9], но столь легковесным манером нельзя справиться с этим вывихом христианства. Пора уже перестать видеть в пиетизме обман, алчность или утонченную чувственность; от таких преувеличений и крайностей, которые проявились в Кёнигсберге, от таких злоупотреблений, которые позволил себе Стефан из Дрездена, настоящий пиетизм решительно отворачивается. Когда Стефан со своей несчастной компанией был здесь, собираясь отплыть в Новый Орлеан, и еще ни у кого не было ни малейшего морального подозрения по отношению к нему, я сам видел, с каким недоверием отнеслись к нему местные пиетисты. Кто желает писать об этом направлении, пусть зайдет когда-нибудь к «квакерам», как их здесь называют, и увидит, с какой любовью идут эти люди навстречу друг другу, как скоро возникает дружба между двумя совершенно чужими людьми, которые не знают друг о друге ничего, кроме того, что они «верующие», с какой уверенностью, каким постоянством, какой решительностью идут они своим путем, с каким тонким психологическим тактом умеют они раскрывать все свои маленькие недостатки, и я убежден, что он уже не напишет «Модного фанатизма». Упреки, которые расточаются пиетизму в этом спектакле, столь же неправильны, как неправ пиетизм в своем отношении к свободным идеям нашей эпохи. — Поэтому то единственное, на что обратил внимание местный пиетизм в этой пьесе, выразилось в вопросе: не было ли в ней «греховных речей»?

Праздник Гутенберга отмечался и здесь, в ultima Thule * немецкой культуры, и притом более весело, чем в обоих других ганзейских городах. Печатники уже в течение многих лет еженедельно откладывали малую толику из своего заработка, дабы достойно отметить этот торжественный день. Еще заблаговременно был образован комитет, но и здесь проведение праздника все же встретило трудности по вине государства. Возникли мелкие интриги, большей частью личного порядка, без которых невозможно обойтись в таких маленьких государствах, некоторое время обо всей затее вообще ничего не было

* — далекой Фуле (Фула — сказочная островная страна на крайнем Севере, упоминаемая в античных легендах. В переносном смысле выражение «ultima Thule» употребляется для обозначения далекой окраины. Оно встречается, в частности, в поэме Вергилия «Георгики»). *Ред.*

слышно, и создалось впечатление, что в лучшем случае состоится лишь «Праздник ремесленников». Только накануне торжества интерес к нему стал всеобщим, появилась программа. Профессор Вильгельм Эрнст Вебер, известный своими прекрасными переводами древних классиков и комментариями к немецким поэтам, произнес речь в актовом зале и привлек внимание всех к намеченному на следующий день празднику, так что главы торговых фирм были в нерешительности, не подарить ли им на завтра своим конторщикам свободных полдня. Праздничный день настал, все корабли на Везере подняли флаги, а на нижнем конце города стояли два корабля, верхушки мачт которых были соединены гирляндой из бесчисленного множества флагов и образовали как бы огромные триумфальные ворота. На одном из этих кораблей стояла единственная имевшаяся в распоряжении пушка, из которой палили весь день с утра до вечера. Комитет вместе со всеми печатниками образовал торжественное шествие, которое направилось в церковь, а оттуда — к только что построенному пароходу «Гутенберг», прекраснейшему из кораблей, которые когда-либо плавали по Везеру, с белоснежным, инкрустированным золотом корпусом. Для своего первого плавания он был празднично украшен венками и флагами. Участники шествия поднялись на борт, проехали под музыку и пение вверх по Везеру и остановились у моста, где был исполнен хорал и один из печатников произнес речь. В то время как все участники празднества на борту вкушали завтрак, который дал по этому поводу один из владельцев корабля, г-н Ланге из Вегезака, «Гутенберг» со скоростью, которая делала честь его строителям, проплыл через ворота из флагов и дошел до Ланкенау, увеселительного места ниже города, а тысячи людей на мосту и на набережной кричали ему вслед «Ура!». Благодаря этому торжественному шествию и поездке по Везеру празднику был придан народный характер, но в еще большей степени это было достигнуто сначала ограниченной, а позже свободной раздачей билетов в специально снятый на этот вечер и иллюминированный городской сад, куда после праздничного обеда направился комитет. Здесь праздник завершился музыкой, блеском огней, о-сотерном, сен-жюльеном и шампанским.

ЛИТЕРАТУРА

Бремен, июль

В остальном жизнь здесь довольно однообразная и типично провинциальная; haute volée *, то есть семьи патрициев и денежной аристократии, отправляются летом в свои имения,

* — люди высокого полета. *Ред.*

дамы среднего сословия даже в это прекрасное время года не могут оторваться от кружка своих друзей за чайным столом, где они играют в карты и чешут языки, а купечество изо дня в день посещает музеи, биржу или свой союз, где беседуют о ценах на кофе и табак и о переговорах с Таможенным союзом [96]. Театр посещается плохо. — В текущей литературе нашего общего отечества здесь участия не принимают, придерживаются в основном взгляда, что Гёте и Шиллер заложили последние камни в свод немецкой литературы, хотя и признают, что романтики его позже несколько украсили. Состоят в читательском кружке, частично ради моды, частично для того, чтобы иметь возможность с удобством провести сиесту за журналом, однако интерес возбуждает лишь скандал и все, что говорится в газетах о Бремене. У большинства образованных людей эта апатия вызвана, разумеется, недостатком времени для досуга, ибо особенно купцы вынуждены постоянно думать о своем деле, а оставшиеся у них свободные часы занимает этикет, посещения обычно весьма многочисленных родственников и т. д. Однако тут существует и обособленная литература; с одной стороны, это брошюры, большей частью о богословских спорах, с другой — периодические издания, которые достаточно хорошо расходятся. Прекрасно осведомленная, редактируемая с большим тактом «Bremer Zeitung» пользуется значительной славой в широком кругу читателей, который за последнее время сузился из-за ее непроизвольного вмешательства в политическую жизнь соседнего государства. Статьи газеты на западноевропейские темы написаны остро, хотя и не грешат особым свободомыслием. Приложение к газете, журнал «Bremisches Conversationsblatt», пытался представлять Бремен в современной немецкой литературе и помещал остроумные статьи профессора *Вебера* и д-ра *Штара* из Ольденбурга. Стихи поставлял Николаус *Делиус*, талантливый молодой филолог, который мог бы постепенно завоевать себе почетное место и как поэт. Однако вербовать сколько-нибудь значительных сотрудников за пределами города оказалось слишком тяжело, и журнал прекратил существование из-за недостатка материалов. Другой журнал, «Patriot», который стремился стать достойным органом, посвященным обсуждению местных тем, и одновременно достигнуть большей значимости в эстетическом отношении, чем маленькие местные газеты, скончался в промежуточном положении между беллетристическим изданием и местной газетой. Большей выносливостью могут похвастаться маленькие местные газеты, питающиеся скандалами, спорами между актерами, городскими сплетнями и т. п. Особенно редкую

известность заслужила газета «Unterhaltungsblatt» * с помощью своих многочисленных сотрудников (почти каждый конторщик может похвалиться тем, что написал для «Unterhaltungsblatt» несколько строчек). Если в театре из скамьи торчит гвоздь, если в купеческом союзе не купили какую-нибудь брошюру, если пьяный рабочий табачной фабрики веселился ночью на улице, если сточная канава недостаточно очищена — первый, кто обращает на это внимание, — это «Unterhaltungsblatt». Если офицер гражданской гвардии считает себя вправе, в силу своих полномочий, проехать верхом по пешеходной дорожке, он может быть уверен, что в следующем номере газеты будет поставлен вопрос, имеет ли право офицер гражданской гвардии ездить верхом по пешеходной дорожке. Можно назвать эту превосходную газету провидением Бремена. Главный ее сотрудник — Кришан Трипстеерт. Под этим псевдонимом там печатаются стихи на нижненемецком наречии. Для нижненемецкого наречия было бы лучше, если бы его вообще отменили, как этого требовал Винбарг, чем позволить Кришану Трипстеерту злоупотреблять им в своих стихотворениях. Остальные местные печатные органы слишком ординарны, чтобы называть их имена широкой публике. Особняком от них стоит «Bremer Kirchenbote», пиетическо-аскетический журнал, редактируемый тремя проповедниками, куда время от времени поставляет материал Круммахер, известный сочинитель притч **. Журнал так усердствует, что цензуре часто приходится вмешиваться, — причем, принимая во внимание то одобрение, которое общее направление журнала находит в высоких кругах, это происходит лишь в крайних случаях. Он постоянно полемизирует с Гегелем, «отцом современного пантеизма», и «его учеником, холодным, как лед, Штраусом», а также с каждым рационалистом, который появляется в радиусе десяти миль [97]. В следующий раз я расскажу кое-что о Бремерхафене и о социальных условиях в Бремене.

Написано Ф. Энгельсом в июле 1840 г.

Напечатано в газете «Morgenblatt für gebildete Leser» №№ 181 и 182; 30 и 31 июля 1840 г.

Подпись: Ф. О.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

---

* — «Bremisches Unterhaltungsblatt». *Ред.*

** — Фридрих Адольф Круммахер. *Ред.*

ВЕЧЕР

To-morrow comes!
Shelley *

1

Сижу в саду, — склонившегося дня
Светило кануло внезапно в волны,
И пляшут в облаках, веселья полны,
Златые брызги алого огня.
Цветы уныло опустили взоры,
Дневных лучей веселый свет погас,
Лишь меж дерев поют в вечерний час
Беспечных птиц приветливые хоры.
На гребне вод недвижны пароходы,
Проплывшие широкий океан;
Колебля мост и уходя в туман,
Усталые влачатся пешеходы.
В бокале бродит пенистый напиток,
Передо мной — творенья Кальдерона;
И я, как бражник, чую сил избыток,
Вина и слова мощью опьяненный.

2

Уже бледней вечерняя заря,
Лишь миг, — уже грядет заря свободы;
Вот вспыхнет солнце, пурпуром горя,
Минует ночь, а с ней — ее невзгоды.
Тогда взрастет цветов младое племя
Не только там, где мы бросали семя, —
Цветущим садом станет вся земля,

* — День завтрашний придет! *Шелли.* «Королева Маб». *Ред.*

И все растенья стра́ны переменят,
И пальма мира Север приоденет,
Украсит роза мерзлые поля;
Дуб устремит свой шаг на полдень ясный,
Он троны тяжкой сокрушит стопой,
Тому, кто мир вернул стране несчастной,
Он обовьет чело своей листвой.
Алоэ всюду даст могучий рост,
Ему подобен крепкий ум народа,
В нем та же неуклюжая порода,
И так же кряжист он, колюч и прост,
Пока, под грохот, сквозь преград, прорвется
Свободы пламя, что под спудом бьется,
И к богу донесет свой аромат
Быстрей, чем ладан, что льстецы кадят.
Лишь кипарис, былой лишенный славы,
Забыт останется среди дубравы.

3

Пернатые, что в зелени вершин
Восход зари стоустно возвещают
И ведают, когда главы склоняют
Громады влажных туч на дно долин,
Что солнце снова на престол восходит, —
Так и поэты в стройном хороводе;
Их слово вольный ветер разнесет,
Он с вольным словом свяжет свой полет.
Певцы стоят не у дворцовых башен,
Дворцы в развалинах давно лежат;
С дубо́в, которым натиск бурь не страшен,
Они на солнце радостно глядят,
Хотя бы света луч, давно желанный,
Их ослепил, рассеявши туманы;
И я один из вольных тех певцов,
Дуб — это *Бёрне*, бывший мне поддержкой,
Когда гонители, в тисках оков,
Германию пятой сдавили дерзкой.
Да, я одна из этих смелых птах,
Плывущих в море вольного эфира;
Пусть воробьем я буду в их глазах,
Я лучше буду воробьем для мира,
Чем заключенным в клетку соловьем,
Для развлеченья взятым в барский дом.

4

Тогда корабль сквозь волны повезет
Не грузы богачу для накопленья,
И не товар — купцу в обогащенье,
А счастья и свободы сладкий плод.
То — конь, задорно вставший на дыбы,
Чей всадник смерть приносит лицемеру,
То утешитель, возвестивший веру
В свободу мысли, жизни и борьбы.
Венчают флаг не королей гербы,
Пред кем команда в страхе поникает, —
Там облако, в котором расцветает,
Когда рассеет молния его,
Миротворящих радуг волшебство.

5

Тогда любовь протянет мост незримый
От сердца к сердцу; пусть под ним ревет
Бегущих лет поток неудержимый,
Страстей кипящих пенный водомет,
Не дрогнет мост — алмазной он породы;
А в вышине горит штандарт свободы,
И человек идет; и мирный взор
Куда ни бросит он, куда ни станет,
Меж братских крыш, в гостеприимном стане,
Приют всегда найдет он с этих пор;
И если сонные смежит он очи,
Как до́ма будет и во мраке ночи.
И новый мост взлетит до облаков,
И человечество отныне твердо
Направит к небу шаг спокойно-гордый,
Чтоб созерцать прообраз всех духо́в.
Не из его ль возникли люди лона,
Не снова ль их в себя оно приемлет,
Как звенья цепи, духом укрепленной,
Что, вечная, материю объемлет!

6

И новое вино наполнит чаши,
Вино свободы, крепкое вдвойне;
Оно не затуманит чувства наши,

Но новый смысл придаст их глубине.
И ты уловишь слухом напряженным
Небесных сфер звучанье в тишине,
И заструится током просветленным
По жилам кровь, как пламенный эфир,
Что наполняет бесконечный мир.
Ты кинешь взор в предвечные пространства,
Ты покоришь созвездья в вышине,
И, как огней земных непостоянство,
Былые скорби вспомнишь лишь во сне.

7

Тогда восстанет новый Кальдерон [98],
Ловец жемчужин в море вдохновенья,
Чей голос мощный словно кедров стон
На жертвенном огне в часы моленья;
Чья песнь шумит, чьей арфы медный звон
Пророчит тираний ниспроверженье;
Внимают все победной песне той,
Приветствуя грядущий мир земной.
Он повествует, как, сквозь тучи пик,
Тиранов мощь разбил поток народа,
Как через *мост мантибльский* * он проник
В обетованную страну свободы;
И как он стал, в порыве грозной мести,
Целителем своей народной *чести* **, —
Он, что давно, как *мужественный князь* ***,
Освобожденья ждал, в цепях томясь.
Тогда из царства горнего эфира,
Дочь воздуха ****, свобода низошла,
И мощью чар ее звучала лира,
И *жизнь* вокруг, как сладкий *сон* *****, была
И, наполняя снова кубок мира,
Сверкающая влага потекла;
Вставало солнце, *утра* озаряя
Апреля нежного, златого *мая* ******.

* — La puente de Mantible.
** — El médico de su honra.
*** — El principe constante.
**** — La hija del aire.
***** — La vida es sueño.
****** — Mañanas de Abril y Mayo.

8

Когда же солнце новое взойдет
И старый мир повергнется в руины?
Мы созерцали старых солнц заход,
Надолго ль ночь окутала долины?
Унылый месяц смотрит на поля,
Туманы на холмах лежат седые;
В туманах спит усталая земля,
Мы бодрствуем, но бродим, как слепые.
Но тучи, скрывшие небесный свод,
Уже спугнул восход зари веселый;
Туманы, ускользающие в долы, —
Лишь пробужденных духов хоровод.
Звезда, танцуя, вспыхнула меж гор,
Багряные лучи сквозь туч пробились,
Ты видишь, как цветы уже раскрылись,
Ты слышишь, как щебечет птичий хор!
Полнеба в ослепительном сиянье,
Горят алмазом снеговые грани;
Златые тучи, в зареве огней,
Как гривы буйных солнечных коней;
Взгляни туда, где жгучих стрел потоки,
Младое солнце всходит на востоке!

Написано Ф. Энгельсом в июле 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 125, август 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

[КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ БРЕМЕНА]

ПОЕЗДКА В БРЕМЕРХАФЕН [99]

Бремен, июль

В шесть часов утра «Роланд» должен был отплыть. Я стоял, прислонившись к штурвальному мостику, и искал знакомых в толпе людей, теснившихся у борта парохода. Ведь сегодня была организована воскресная увеселительная поездка в Бремерхафен, к тому же по пониженным ценам, поэтому каждый воспользовался случаем, чтобы поближе увидеть море и посмотреть на большие суда. Странно было, что жажда наживы, которая вообще всегда служит интересам денежной аристократии, на этот раз пошла на некоторые уступки демократии. Снижение цен позволило несостоятельным людям принять участие в поездке, к тому же была отменена разница в цене между каютами первого и второго класса, что очень много значит для Бремена, где «высшие сословия» ничего так не страшатся, как смешанного общества. Поэтому пароход был переполнен. Ядро общества составляли стопроцентные «бременские бюргеры», ни разу в жизни не выезжавшие за пределы вольного ганзейского города [100], а теперь пожелавшие показать гавань своим семьям; много было также бондарей, эмигрантов, подмастерьев; то здесь, то там можно было видеть биржевика, который, как представитель хорошего общества, держался в стороне от толпы, и повсюду были конторские служащие — эти пешки на шахматной доске торгового города, всегда высылаемые вперед и подразделяющиеся, в свою очередь, на приказчиков, старших учеников и младших учеников. Приказчик воображает себя уже важной персоной, ему остался только шаг до самостоятельности; он — правая рука фирмы, знает насквозь все дела своего торгового дома, знаком с состоянием рынка, и на бирже

его осаждают маклеры. Старший ученик считает себя немногим ниже. Он хоть и не находится в таких же близких отношениях с хозяином, как приказчик, но уже умеет великолепно обращаться с маклерами и в особенности с бондарями или лодочниками, а в отсутствие хозяина и приказчика держит себя как представитель фирмы и делает вид, что кредит всего торгового дома зависит от него. Но младший ученик — это несчастное создание, он является представителем торгового дома в лучшем случае только для рабочего, который упаковывает товар, или для почтальона того района, где находится контора. Он обязан не только снимать копии со всех коммерческих писем и векселей, разносить и оплачивать счета, но вообще должен быть на побегушках, отправлять письма, перевязывать пакеты, делать надписи на ящиках и приносить письма с почты. Ежедневно в полдень почтовая контора наполнена толпой этих «младших», ожидающих прибытия гамбургской почты. Но тяжелее всего то, что младший вынужден покорно принимать на себя вину за все обнаруженные в конторе недочеты, так как быть козлом отпущения для всей конторы входит в его обязанности. Эти три категории строго обособляются друг от друга также и в обществе: младшие, в большинстве случаев еще не вышедшие из детского возраста, находят удовольствие в том, чтобы громко посмеяться и затеять много шума из ничего; старшие ученики оживленно говорят о последней крупной закупке, которую сделал торговец сахаром, и каждый высказывает свои предположения по этому поводу; приказчики ухмыляются по поводу острот, не подлежащих широкой огласке, и сообщают занятные вещи о присутствующих дамах.

Пароход отчалил от берега. Хотя жители Бремена ежедневно имеют возможность наблюдать подобное зрелище, тем не менее любопытство бременцев привлекло и на этот раз огромную массу людей, наблюдавших со всех выступов набережной за нашим отплытием. — Погода была, впрочем, неблагоприятная: хотя над нами и простиралась та старая небесная твердь, о которой повествует Гомер, но обращенная к нам сторона ее, не подвергающаяся ежедневной чистке по велению бессмертных богов, заметно подернулась ржавчиной. Не раз капли дождя с шипением гасили мою сигару. Денди, которые до сих пор держали свои макинтоши в руках, были вынуждены надеть их, а дамы раскрыли зонты. — Бременский берег, от которого отходит пароход, если смотреть с Везера, выглядит очень красиво: слева — Новый город с его длинной, обсаженной деревьями «плотиной»; справа — дамба, доходящая здесь до самого Везера и увенчанная огромной ветряной мельницей. Но затем начинается

бременская пустыня, справа и слева ивовый кустарник, болотистые луга, картофельные поля и множество огородов красной капусты. Красная капуста — любимое кушанье бременцев.

На штурвальном мостике, несмотря на сильный дождь и резкий ветер, стоял долговязый помощник страхового агента и беседовал на нижненемецком наречии с капитаном, который спокойно пил свой кофе. Затем он снова поспешил вниз, к обществу купцов второго ранга, чтобы доложить им о важных сообщениях капитана. Приказчики и старшие ученики чуть не передрались из-за этой важной персоны, но он даже не обернулся в их сторону, так как сегодня он разговаривал только с солидными фирмами. Вот он поспешно сорвался вниз со штурвального мостика и сообщил: «Через четверть часа мы будем в Вегезаке». «Вегезак!» — радостно повторили все слушатели. Вегезак — это оазис в бременской пустыне, в Вегезаке есть горы высотой в шестьдесят футов, и бременец любит говорить о «Вегезакской Швейцарии». Вегезак действительно представляет собой очень живописную или «чудесную», «сладостную» картину, как здесь выражаются, думая при этом, по-видимому, о последней, выгодно проданной партии желтого гаванского сахара. Само местечко со стороны Везера очень привлекательно; уже издали видны на Везере корпуса многочисленных судов, частью отслуживших, частью заново здесь построенных. В этом месте Лезум впадает в Везер, также обрамляясь поистине чудесными холмистыми берегами, которые выглядят даже романтично, как меня честью уверял учитель из Грона, деревни в окрестностях Вегезака. Сразу за Вегезаком песчаное море бороздится более или менее значительными волнами и довольно круто спускается к Везеру. Здесь расположены виллы бременских аристократов, зеленые насаждения, которые в самом деле очень украшают берег Везера на этом небольшом пространстве. Потом снова начинается прежняя скучная картина. — Я спустился на нижнюю палубу и в одной небольшой комнате, прилегающей к каюте, обнаружил сборище «старших учеников», которые прилагали все старания, чтобы развлечь подобающим образом трех хорошеньких портновских дочек. В дверях теснилась толпа «младших», с напряженным вниманием прислушивавшихся к болтовне старших учеников; за ними стоял garde d'honneur * этих дам, старый друг дома, сердито ворча по случаю творившегося беспорядка. Разговор наводил на меня скуку, я вновь поднялся наверх и взошел на штурвальный мостик. Нет ничего прекраснее, чем стоять так, возвышаясь

* — страж чести. *Ред.*

над толпой людей, наблюдать за их толкотней и прислушиваться к смутному гулу доносящихся снизу голосов. Свежее дуновение ветра чувствуется там наверху сильнее, и дождь действует здесь, конечно, более освежающе и во всяком случае приятнее, чем капли, падающие вам за воротник с зонта какого-нибудь филистера.

Наконец, после ряда ничем не замечательных ганноверских и ольденбургских деревень, снова приятная перемена — вольная гавань Браке, дома и деревья которой образуют эффектный фон для стоящих на Везере судов. Сюда заходят уже довольно крупные морские суда, и ниже этого места Везер становится много шире, особенно там, где он не рассечен островами. — После непродолжительной стоянки пароход отправился дальше, и через полтора часа, после почти шестичасового пути, мы были у цели. Когда перед нашими глазами возник форт Бремерхафена, один из моих знакомых книготорговцев стал цитировать Шиллера, страховой агент — «Shipping and Mercantile Gazette», а купец — последний номер импортного бюллетеня. Сделав великолепный поворот, пароход вошел в Геест, небольшую речку, которая впадает в Везер у Бремерхафена. Несмотря на предостережения капитана, пассажиры столпились на носу судна, и, так как отлив достиг наиболее низкого уровня, «Роланд», представитель бременской независимости, внезапно сел на мель. Пассажиры разошлись, машина дала обратный ход, и «Роланд» благополучно снялся с песчаной отмели.

Бремерхафен — новое место. В 1827 г. Бремен купил у Ганновера небольшой участок земли и с огромными затратами выстроил там порт. Постепенно туда переселилась целая бременская колония, и сейчас еще население городка продолжает расти. Поэтому здесь все бременское, от архитектуры домов до нижненемецкого наречия жителей, и бременец старого закала, досадовавший, быть может, на огромные налоги, ценой которых был куплен этот кусок земли, сейчас уже не может скрыть своей радости, когда он видит, насколько здесь красиво, целесообразно и по-бременски. — С пароходной пристани можно лучше всего обозреть всю местность в целом: красивую широкую набережную, в центре которой возвышается колоссальное здание порта в неудавшемся античном стиле; гавань во всю свою длину со всеми ее судами; слева, по ту сторону гавани, небольшой форт с расквартированными в нем ганноверскими солдатами; его кирпичные стены слишком явно свидетельствуют о том, что он стоит здесь только pro forma *. Поэтому вполне понятно, что

* — для формы. *Ред.*

здесь никому не разрешается входить внутрь форта, в то время как в любой прусской крепости можно легко получить на это разрешение. — Мы шли под дождем вдоль набережной. То и дело перед нами открывался через боковые улицы вид на внутреннюю часть городка: все расположено под прямым углом, прямые как стрелы улицы, дома, часто еще не достроенные. Эта современная планировка городка — единственное, что отличает его от Бремена. Ввиду плохой погоды и еще не закончившегося богослужения на улицах было так же тихо, как в Бремене.

Я отправился на большой фрегат, на палубе которого находилось множество эмигрантов, наблюдавших за подъемом «ялика». Яликом здесь называют всякий челн, снабженный килем и поэтому пригодный для плавания по морю. Люди были еще настроены весело, пока они не расстались с берегами родной земли. Но я видел, как тяжело им бывает в ту минуту, когда они действительно навсегда покидают немецкую землю, когда судно со всеми пассажирами на борту медленно выходит из гавани на рейд, а оттуда, подняв паруса, в открытое море. Это большей частью немцы, с честными открытыми лицами, без фальши, с сильными руками. Достаточно пробыть минуту среди них, достаточно увидеть, с какой сердечностью они обращаются друг с другом, чтобы понять, что действительно далеко не самые худшие покидают свое отечество, переселяясь в страну долларов и девственных лесов. Заповедь: оставайся на родине и честно добывай свой хлеб *, кажется как бы созданной нарочно для немцев. Но на самом деле это не так: кто хочет честно добывать свой хлеб, отправляется, по крайней мере очень часто, в Америку. Далеко не всегда голод, не говоря уже о страсти к наживе, гонит этих людей в чужие края. Неопределенное положение немецкого крестьянина между крепостной зависимостью и свободой, наследственное подданство, произвол и самоуправство патримониальных судов [101] — вот что делает горьким хлеб крестьянина и беспокойным его сон до тех пор, пока он не решится покинуть родину.

С этим пароходом уезжали саксонцы. Мы спустились по лестнице вниз, чтобы осмотреть внутреннее помещение корабля. Кают-компания была обставлена исключительно элегантно и комфортабельно: маленькая четырехугольная комната, все очень изящно, как в аристократическом салоне, красное дерево с позолотой. Напротив кают-компании в маленьких, уютных каютах — койки для пассажиров; через открытую дверь к нам доносился из кладовой запах ветчины. Нам пришлось снова

* Библия. Ветхий завет. Псалтырь. *Ред.*

подняться на верхнюю палубу, чтобы по другой лестнице попасть на среднюю палубу. «Но страшно в подземной таинственной мгле» *, — цитировали все мои спутники, когда мы вновь поднялись наверх. Там, внизу, была чернь, у которой не хватает денег на то, чтобы заплатить девяносто талеров за проезд в каюте; народ, перед которым не снимают шляпы, нравы которого одни называют грубыми, другие — невежественными, плебеи, ничего не имеющие, но составляющие самое лучшее из того, что может иметь король в своем государстве, — и при этом именно они одни сохраняют в Америке в неприкосновенности немецкий склад. Презрительная жалость американцев к нашей национальности внушена им немцами-горожанами. Немецкий купец гордится тем, что он отказывается от всего немецкого и становится сущей обезьяной, копирующей янки. Этот ублюдок счастлив, когда его больше не принимают за немца, он говорит по-английски даже со своими соотечественниками, а когда возвращается в Германию, то еще больше разыгрывает из себя янки. На улицах Бремена можно часто услышать английскую речь, но было бы большой ошибкой принимать всякого, кто говорит по-английски, за британца или за янки; когда эти последние приезжают в Германию, они всегда говорят по-немецки, чтобы изучить наш трудный язык; те же, кто говорит по-английски, — это немцы, побывавшие в Америке. Один только немецкий крестьянин и, может быть, еще ремесленник из приморских городов с железным упорством придерживаются своих народных обычаев и языка. Отрезанные от янки девственными лесами, Аллеганскими горами и большими реками, они строят в самом сердце Соединенных Штатов новую, свободную Германию. В Кентукки, Огайо и на западе Пенсильвании английскими являются только города, в то время как в деревне все говорят по-немецки. В своем новом отечестве немец приобрел новые добродетели, не утратив при этом старых. Немецкий корпоративный дух развился здесь в дух политического свободного товарищества, настойчиво требующий от правительства введения немецкого языка в судопроизводство немецких округов; он создает одну за другой немецкие газеты, которые единодушно одобряют обдуманное, спокойное стремление к развитию наличных элементов свободы. И лучшим показателем его силы является то, что он вызвал к жизни существующую во всех штатах партию «Прирожденных американцев» [102], которая стремится препятствовать иммиграции и приобретению иммигрантами прав гражданства.

* *Шиллер*. «Кубок». *Ред.*

«Но страшно в подземной таинственной мгле». Вдоль всей средней палубы расставлен ряд коек; вплотную друг к другу и даже одна над другой. В помещении, где мужчины, женщины и дети лежат вповалку, как камни мостовой, больные рядом со здоровыми, стоит спертый, тяжелый воздух. На каждом шагу спотыкаешься о груды одежды, домашнего скарба и т. п.; здесь плачут маленькие дети, там с койки приподнимается чья-то голова. Печальное зрелище! И что же тут должно твориться, когда продолжительный шторм швыряет и опрокидывает все, а волны перекатываются через верхнюю палубу, так что нельзя даже открыть люк, через который только и проникает свежий воздух! При этом на бременских судах все устроено еще более или менее по-человечески. Известно, каково приходится большинству, которое отправляется через Гавр. Вслед затем мы посетили другое, американское судно. Там как раз варили обед, и одна немецкая женщина, которая стояла около, при виде скверных продуктов и еще более скверного их приготовления, сказала сквозь горькие слезы, что если бы только она знала это, то лучше осталась бы дома.

Мы вернулись в гостиницу. В углу сидела примадонна нашего театра со своим супругом, ultimo uomo * этого же театра, и с некоторыми другими артистами; остальное общество не представляло собой ничего примечательного, и я начал просматривать произведения печати, лежавшие на столе, из которых самым интересным был бременский годовой торговый отчет. Я взял его и прочел следующие места:

«Спрос на кофе был летом и осенью, вплоть до того, когда зимою наступили более вялые *настроения* рынка. Сахар пользовался устойчивым сбытом, но настоящая *идея* по этому поводу появилась лишь с прибытием более крупных партий».

Что должен сказать на это бедный литератор, когда он видит, что стиль маклеров пронизывается литературными оборотами не только из современной беллетристики, но и из философии! Настроения и идеи в торговом отчете — кто бы мог этого ожидать! Я перевернул страницу и нашел такое обозначение:

«Высокосортный среднего качества обыкновенный настоящий доминиканский кофе».

Я спросил у находившегося здесь приказчика одного из крупнейших бременских судовладельцев, что означает это высокосортное обозначение. Он ответил: «Взгляните на этот образец, который я только что взял из прибывшей для нас

* — последним человеком. *Ред.*

партии. К нему, примерно, подойдет это название». Тут-то я установил, что высокосортный среднего качества обыкновенный настоящий доминиканский кофе — это кофе с острова Гаити, бледного серо-зеленого цвета, на один фунт которого приходится пятнадцать лотов хороших зерен, десять лотов черных зерен и семь лотов пыли, камешков и прочего сора. Так я был посвящен еще во многие другие тайны Гермеса и в этом занятии провел время до самого обеда, который оказался очень посредственным, после чего колокол призвал нас возвратиться на пароход. Дождь, наконец, прекратился, и едва только судно «легло на курс» из Гееста, как тучи рассеялись и засверкали яркие лучи солнца, согревая нашу все еще сырую одежду. Но к всеобщему удивлению пароход пошел не вверх по реке, а вниз, к рейду, где только что бросил якорь гордый трехмачтовый корабль. Едва только мы достигли середины реки, волны стали выше, и началась заметная качка. Кто, когда-либо побывавший на море, не почувствует, как усиленно бьется его сердце при этих первых признаках близости моря! На минуту кажется, что вновь выходишь в открытое шумящее море, в глубоко прозрачную зелень волн, в этот чудесный свет, излучаемый одновременно солнцем, синевой неба и морем; невольно начинаешь вновь раскачиваться в такт движению судна. Но дамы придерживались другого мнения, они испуганно смотрели друг на друга и бледнели, в то время как пароход «in a gallant style» *, как говорят англичане, описал полукруг около вновь прибывшего судна и принял на борт его капитана. В тот самый момент, когда капитан поднимался по трапу парохода, помощник страхового агента разъяснял нескольким пассажирам, которые тщетно пытались разглядеть на носу название судна, что последнее, согласно номеру флага, есть судно «Мария», капитан Рюйтер, а согласно реестру Ллойда такого-то числа вышло из Тринидада на Кубе. Наш помощник страхового агента выступил навстречу капитану, с покровительственным видом пожал ему руку, осведомился о его плавании, о грузе и вообще завел с ним длинный разговор на нижненемецком наречии, в то время как я прислушивался к комплиментам, которые книготорговец расточал полунаивным, полукокетливым портновским дочкам.

Закат солнца был полон величия. Как раскаленный шар, висело оно в сетке из тонких облаков, нити которой, казалось, начали уже загораться, так что каждую минуту можно было ожидать: вот-вот сетка прогорит и солнце с шипением упадет в воду! Но оно спокойно опустилось за группой деревьев,

* — «в галантном стиле». *Ред.*

напоминавших неопалимую купину Моисея [103]. Поистине, здесь, как и там, слышен громкий глас божий! Но хриплое карканье оппозиционно настроенного бременца пыталось заглушить его; сей мудрый муж выбивался из сил, доказывая своему соседу, что было бы гораздо благоразумнее вместо того, чтобы строить Бремерхафен, углубить русло Везера, дабы в него могли входить и большие суда. К сожалению, оппозиция здесь слишком часто возникает скорее из зависти к власти патрициев, чем из сознания, что аристократия препятствует созданию разумного государства; при этом она настолько ограниченна, что с ней столь же трудно говорить о бременских делах, как и с самыми строгими приверженцами сената. — Обе партии все более убеждают, что такие малые государства, как Бремен, пережили себя и что они, даже входя в состав могущественного государственного союза, вынуждены нести внешне зависимый, а внутренне флегматический, старчески-вялый образ жизни. — Но вот мы уже у самого Бремена. Высокая башня церкви святого Ансгария, с которой связаны наши «церковные смуты», поднимается над болотами и лугами, и вскоре мы подошли к высоким товарным складам, которые тянутся по правому берегу Везера.

Написано Ф. Энгельсом в июле 1840 г.

Напечатано без подписи в газете «Morgenblatt für gebildete Leser» №№ 196, 197, 198, 199 и 200; 17—21 августа 1841 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

[ДВЕ ПРОПОВЕДИ Ф. В. КРУММАХЕРА]

Перед нами лежат две проповеди, которые побудили обычно столь набожных бременцев запретить эльберфельдскому ревнителю веры *Ф. В. Круммахеру* выступать в дальнейшем в церкви св. Ансгария [104]. Если в рядовых проповедях, где бог называется лишь *отцом вселенной* или *высшим существом,* часто можно найти очень много воды, то текст вышеупомянутых речей Круммахера содержит щелочь и квасцы и даже азотную кислоту. Эти речи прочтут с интересом уже ради той оригинальности, в силу которой проповедник обращается с кафедры к пастве, как это имеет место в данном случае; они доказывают, что Круммахер весьма остроумный, одаренный изобретательностью и фантазией фанатик. Вызваны ли его грозные речи настоящей твердокаменной верой в христианство — подлежит сомнению. Мы полагаем, что Круммахер не лицемер и прибегнул к этой манере проповедовать только ради вкуса и никак не может отказаться от нее, поскольку привычный тон сюсюкающих о любви евангельских пастырей и дамских проповедников просто пошл. Ясно одно — Круммахер извращает значение кафедры проповедника, если он превращает ее в кресло инквизитора. Что может вынести его паства из такой проповеди? Ничего, кроме *духовного высокомерия,* которое так противно в пиетизме [9]. Кто требует от членов своей общины только *веры,* определяя эту непреложную заповедь лишь синонимами, а остальную часть проповеди использует для полемики по злободневным вопросам, тот распространяет самомнение, высокомерие, ортодоксальную закоснелость и в очень малой степени проповедует христианство. Создается впечатление, что Круммахер

довольно методично решает задачу превращения христианской простоты в высокомерие. Обычным для него является утверждение, что остроумие, ум, фантазия, поэтический талант, искусство и наука — ничто перед лицом господа.

Он говорит:

«Небеса радуются не тогда, когда рождается поэт, а когда пробуждается заблуждающийся».

Он так изображает самому нищему духом из своей общины то *значение,* которое тот мог бы приобрести, что этот человек сам себе неизбежно начинает казаться выше и мудрее Канта, Гегеля, Штрауса и др., которых Круммахер в своих проповедях непрестанно предает анафеме. Не складывается ли самая сокровенная сущность Круммахера из подавленного честолюбия и стремления отличиться? Есть много людей, которые желали добиться высокого положения, не сумели достичь его с помощью прилежания, труда и таланта и теперь надеются овладеть этой вечной вершиной беспримерной *изощренностью в вере.* Постоянные выпады Круммахера против всего, *что в мире знаменито,* многие склонны объяснять себе именно так, а не иначе. Очень обидно, что в упомянутых проповедях содержится так мало *смягчающих элементов,* трогательности, задушевности и настоящей боли. Темы любви непривычны столь твердому и ревностному человеку. В то же время мы находим в них места, которые вновь примиряют нас с удивительным характером этого человека. Как мало есть у нас проповедей, в которых можно обнаружить такие прекрасные строчки, как например:

«Да, друзья, мир еще не кончается там, где на дальнем морском берегу ревет буря или там, где восходит печальная луна и тихие звезды с горестью смотрят на землю. За этим миром есть другой далекий, светлый мир. Там лучше, чем здесь. Там больше не носят роз на могилы, там любви не угрожает больше разлука, там в бокале радости нет уже и капли желчи. Такой мир существует там, и это столь же верно, как то, что Иисус Христос *зримо* (?) вознесся туда».

Написано Ф. Энгельсом в начале сентября 1840 г.

Напечатано без подписи в журнале «Telegraph für Deutschland» № 149, сентябрь 1840 г.

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

НА СМЕРТЬ ИММЕРМАНА

Под славное испанское вино
Немецкие мы песни распевали,
Вдали светлело поля полотно,
И от бессонницы глаза устали.
Вот солнца первый луч проник в шатер,
Бокалы наши озарив пустые...
А нам пора. Нас вновь зовет простор,
И снова кони нас несут лихие!

Домой спешим. Ночной угар и чад
Так сладко утром разгонять пригожим,
А песни все еще в ушах звучат,
И день еще заботой не тревожим.
А свет святой уж озарил ручей,
И дерево, и влажный луг зеленый;
Взгляд жаждет новых солнечных лучей,
И в небосвод он устремлен влюбленно.

Мы дома. Кони донесли нас вмиг,
Пора настала для трудов печальных...
Газету! Я к источнику приник —
Народа жизнь пью из ключей хрустальных!
Что мне Россия, бритты и ислам —
Германия, чем ты нас привечаешь?
Но что? Он мертв! Не верю я глазам...
Мой Иммерман, и ты нас покидаешь!

О гневный властелин могучих чар!
Уходишь ты в край вечного покоя
Как раз когда, познав твой светлый дар,
Склонились все мы низко пред тобою?
Едва, как Шиллер, от народа ты
Любви добился, общего признанья,
А в сердце образ вечной красоты
Взошел в лучах прекрасного сиянья?

В лесу поэзии особняком
Ты жил, вдали от криков, завываний,
На Рейне в одиночестве своем
Ты ткал народу много дивных тканей.
Ты был далек от громкой суеты,
В твоем саду тебя цветы манили,
Еще при жизни стал легендой ты —
И люди мелкие тебя забыли.

Толпе, которой чуждо волшебство,
Которое с ума поэта сводит —
Скажи, какое дело до того,
Кто по своим путям особым ходит?
А ты, о ныне пленник немоты,
С самим собой боролся ты жестоко,
С усобицей, в которой вырос ты,
Ты бился доблестно — и одиноко.

И долгой ночью, что во мгле густой
Немецкую поэзию держала,
Ты бодрствовал в борьбе с самим собой,
Пока нам утро вновь не воссияло.
Когда же в стены дома твоего
Июльский гром * ударил с грозной силой,
Ты «Эпигоны» [105] создал для того,
Чтоб проводить прошедшее в могилу.

Ты отдавал неугасимый жар
Своей души иному поколенью,
Оно признало твой могучий дар,
Рукоплескало твоему творенью.
Благоговея, мы к тебе пришли,
У ног твоих в молчании мы сели,

* Имеется в виду революция 1830 г. во Франции. *Ред.*

Внимали, как твои стихи текли,
И в очи вдохновенные глядели.

И вот, когда, признав тебя, народ
В почтении перед тобой склонился
И пышные венки тебе несет, —
Мой Иммерман, — куда от нас ты скрылся?
Прощай! Ты нас совсем осиротил,
Тебя сравнить у нас, ты знаешь, не с кем.
Но я поклялся стать, каким ты был:
Таким же твердым, сильным и немецким.

Написано Ф. Энгельсом в сентябре 1840 г.

Напечатано в газете «Morgenblatt für gebildete Leser» № 243, 10 октября 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

[КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ БРЕМЕНА]

РАЦИОНАЛИЗМ И ПИЕТИЗМ

Бремен, сентябрь

Наконец-то появился материал, который выходит за пределы болтовни за чайным столом, волнует всю публику в нашем вольном государстве [100] и дает пищу для размышлений даже наиболее серьезным, так что каждый должен высказаться либо «за», либо «против». Гроза на небосводе эпохи разразилась и над Бременом, борьба за более свободное или более ограниченное толкование христианства разгорелась и здесь, в столице северогерманского ортодоксального верования. Голоса, прозвучавшие сначала в Гамбурге, Касселе и Магдебурге, нашли свое эхо в Бремене. — Коротко, дело происходило так: пастор ***Ф. В. Круммахер,*** папа вуппертальских кальвинистов [11], святой Михаил учения о предопределении, посетил здесь своих родителей и дважды произносил проповеди за своего отца * в церкви св. Ансгария [104]. В первой проповеди речь шла о его любимом представлении, о страшном суде, во второй — о том месте из послания апостола Павла галатам, в котором тот предает анафеме инаковерующих **. Обе проповеди были написаны с пламенным красноречием и с поэтической, хотя и не всегда изысканной образностью, которыми славится этот одаренный оратор. Однако обе проповеди и особенно последняя источали проклятия инакомыслящим, как это и следовало ожидать от столь заядлого мистика. Церковная кафедра превратилась в председательское кресло инквизиционного суда, с которого раздавались проклятия в адрес всех богословских

* — Фридриха Адольфа Круммахера. *Ред.*

** Библия. Новый завет. Послание к галатам святого апостола Павла. *Ред.*

направлений, известных или неизвестных инквизитору; каждый человек, который не считает глубокий мистицизм за абсолютное христианство, отдавался дьяволу. При этом Круммахер с софистикой, которая выглядела на редкость наивной, все время прятался за апостола Павла. «Это же вовсе не я здесь проклинаю! Нет! Дети, опомнитесь! Это апостол Павел проклинает!» — Самым скверным во всем этом является то, что апостол писал по-гречески, и ученые до сегодняшнего дня не могут понять смысла некоторых его выражений. К этим сомнительным выражениям относится и упоминаемая в его послании анафема, которой Круммахер без долгих размышлений придал наиболее резкий смысл пожелания вечного проклятия. Пастор Паниель, главный представитель рационализма [106] на упомянутой кафедре, имел несчастье толковать это слово в более мягком смысле и вообще быть противником взглядов Круммахера. Поэтому он выступил с контрпроповедями [107]. Можно думать все что угодно о его убеждениях, но к его поведению нельзя предъявить сколько-нибудь обоснованных упреков. Круммахер не может отрицать, что при составлении своих проповедей он имел в виду не только стоящее на позициях рационализма большинство общины, но и в первую очередь Паниеля. Он не может отрицать, что весьма нетактично, будучи *в гостях*, произносить проповеди, возбуждающие общину против ее официальных пастырей, он должен признать, что он получил по заслугам. К чему он принялся бранить Вольтера и Руссо, которых в Бремене даже самый заядлый рационалист боится, как черта? К чему он расточал проклятия в адрес спекулятивного богословия, в котором вся его аудитория, за двумя-тремя исключениями, была столь же мало компетентна, как и он сам? Что иное могло это означать, как не стремление замаскировать совершенно определенную, даже личную тенденциозность проповедей? — Контрпроповеди Паниеля были выдержаны в духе рационализма Паулюса и, несмотря на похвальную основательность их композиций и риторический пафос, страдают всеми недостатками этого направления. В них все и неопределенно и многословно, встречающиеся кое-где поэтические порывы напоминают жужжание прядильной машины, а обращение с текстом — гомеопатическую настойку. В трех фразах Круммахера больше оригинальности, чем в трех проповедях его противника. — В часе езды от Бремена живет сельский священник-пиетист *, который настолько превосходит в знаниях своих крестьян, что стал почитать себя за одного из величайших

* — Иоганн Николаус Тиле. *Ред.*

богословов и языковедов. Он издал трактат против Паниеля [108], в котором пустил в ход весь аппарат богослова-филолога прошлого столетия. Слепота доброго деревенского пастора в области науки была высмеяна весьма чувствительным образом в анонимной брошюре [109]. Неизвестный автор *, в котором предполагают одного заслуженного ученого из нашего города, имя которого неоднократно упоминается в моем предыдущем сообщении **, с большим знанием дела и с таким же одушевлением указал мудрому представителю «слова божьего в деревне» на все те бессмыслицы, которые тот ценой великих усилий собрал в книгах, давно ставших антикварной редкостью. Круммахер издал «Богословскую реплику» [110] против контрпроповедей Паниеля. В ней он подвергает откровенным нападкам личность последнего и притом в такой форме, которая сводит на нет все упреки в грубости в адрес его противника. Насколько умело Круммахер в своей «Реплике» обнажает наиболее слабые стороны рационализма вообще и Паниеля в частности, настолько неуклюжи его попытки ниспровергнуть толкования Паниеля. Наиболее солидной из всего, что было написано в этой полемике с пиетистикой, является брошюра соседнего проповедника Шлихтхорста, в которой автор спокойно и бесстрастно доказывает, что основы рационализма и особенно того, который проповедует пастор Паниель, лежат в философии Канта, и задает Паниелю вопрос: почему последний недостаточно честен и не хочет признаться, что фундамент его веры не библия, а ее толкование в духе кантовской философии, предложенное Паулюсом? — В ближайшие дни выйдет из печати новая брошюра Паниеля [111]. Но если она даже вновь окажется слабой, ее автор всколыхнул рутину, он заставил бременцев, которые раньше верили во что угодно, кроме самих себя, обратиться к собственному разуму. Пусть пиетизм [9], почитавший до сих пор за благодеяние господне то, что его противники разбиты на столь большое количество партий, почувствует, наконец, что во всех тех случаях, когда идет борьба с мракобесием, мы должны выступать единым фронтом.

ПРОЕКТ СУДОХОДСТВА. ТЕАТР. МАНЕВРЫ

Бремен, сентябрь

Здесь сейчас носятся с планом, выполнение которого может иметь важнейшие последствия не только для Бремена. Один местный коммерсант, молодой и всеми уважаемый, вернулся

* — Вильгельм Эрнст Вебер. *Ред.*
** См. настоящий том, стр. 84—85. *Ред.*

недавно из Лондона, где подробно ознакомился с устройством парохода «Архимед», который, как известно, приводится в движение вновь изобретенным способом, с помощью Архимедова винта. На этом корабле, скорость которого значительно превосходит скорость обычных пароходов, он совершил пробную поездку вокруг всей Великобритании и Ирландии и теперь замышляет применить новое изобретение на одном из проектируемых пароходов, дабы обеспечить быстрое и постоянное сообщение между Нью-Йорком и Бременом. Корпус корабля, так называемый *каско*, хочет построить за свой счет наш первый кораблестроитель, а стоимость машины и пр. будет покрыта выпуском акций. Важность этого мероприятия понимает каждый. Хотя некоторые из наших парусных кораблей покрывают расстояние от Балтиморы до Бремена за непостижимо короткий срок в двадцать пять дней, эта скорость, однако, всегда зависит от ветра, который может увеличить время перехода в три раза, в то время как пароходам, оснащенным на случай благоприятного ветра также парусами, без сомнения, было бы достаточно всего 11—18 дней, чтобы добраться от какой-нибудь гавани Соединенных Штатов до Бремена. Как только начнутся рейсы паровых пакетботов между Германией и американским континентом, то новое устройство будет, без сомнения, скоро внедрено и окажет существенное влияние на связь между этими странами. Не за горами то время, когда из любой части Германии можно будет за четырнадцать дней достигнуть Нью-Йорка, оттуда объехать и осмотреть за четырнадцать дней все достопримечательности Соединенных Штатов и еще за четырнадцать дней вновь добраться до дома. Несколько поездов, несколько пароходов — и готово. С той поры как Кант сделал категории времени и пространства независимыми от мыслящего духа, человечество стремится и физически освободить себя от этих ограничений.

Недавно в нашем театре господствовало небывалое оживление. Обычно наша сцена находится полностью вне общества. Абоненты уплачивают свои взносы и посещают театр время от времени, если не находят для себя лучшего занятия. Теперь же, когда прибыл Зейдельман, как актерами, так и зрителями овладел энтузиазм, к которому мы в Бремене еще не привыкли. Пусть жалуются сколько угодно на упадок драмы в связи с преобладанием оперы, пусть даже театры пустуют, когда дают пьесы Шиллера и Гёте, в то время как все спешат послушать погудку Доницетти и Меркаданте, но пока драма в лице своего достойнейшего представителя может достичь подобного триумфа, до тех пор наша сцена может еще исцелиться от своей

сонной болезни. Мы видели Зейдельмана, помимо пьес Коцебу и Раупаха, еще в ролях Шейлока, Мефистофеля и Филиппа («Дон Карлос»). Но если бы я стал распространяться о широко известном исполнении им этих ролей, это было бы все равно, что лить воду в море.

Миниатюрная картина лагеря при Гейльбронне дает нам представление о только что состоявшихся здесь на границе с Ольденбургской областью маневрах ольденбургско-ганзейской бригады. Говорят, что при фиктивном занятии одного пункта наши войска вели себя так храбро, что от сильного артиллерийского огня полопались стекла во всех домах. Бременцы рады, что у них появилось новое место для развлечений, и толпами отправляются из города посмотреть на этот спектакль, в то время как их сыновья и братья несут службу и проводят самые веселые ночи в своей жизни за вином и пением.

Написано Ф. Энгельсом в сентябре 1840 г.

Напечатано в газете «Morgenblatt für gebildete Leser» № 249 и 250, 17 и 19 октября 1840 г.

Подпись: Ф. О.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

СВЯТАЯ ЕЛЕНА

ФРАГМЕНТ

Ты, в гордом одиночестве морском
Скала — его стальной души могила!
Он думал здесь о времени своем,
Здесь рок терзал его с могучей силой...
Ты не горишь уже былым огнем,
Потухшая свеча — вас много было
В те дни, когда вас, мир создав, зажег,
Чтоб видеть рук своих творенье, бог.

Сюда героя падшего сослали *, —
Когда младенец, новый век, рождался,
И молния зажгла земные дали,
От канонады ум людей мешался,
То крик дитяти, сына всех печалей,
В пространстве безотрадном затерялся —
Тогда эпоха средь грозы и гула
Сюда в насмешку гордеца метнула.

Написано Ф. Энгельсом в ноябре 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 191, ноябрь 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* — Наполеона I. *Ред.*

РОДИНА ЗИГФРИДА

И в Нидерландах рыцарь в то время подрастал,
Он матерью Зиглинду, отцом Зигмунда звал;
Богатый замок *Ксантен* — его родимый дом —
Стоял внизу на Рейне и славился кругом.

«Песнь о Нибелунгах», 20 [112]

Рейн следует посещать не только выше Кёльна. Особенно немецкая молодежь не должна подражать путешествующему Джону Булю *, который томится от скуки в каюте парохода от Роттердама до самого Кёльна и лишь здесь вылезает на палубу, ибо согласно его путеводителю для путешественников по Рейну панорама Рейна от Кёльна до Майнца начинается отсюда. Немецкая молодежь должна была бы избрать целью своего паломничества одно малопосещаемое место, я имею в виду родину неуязвимого Зигфрида — *Ксантен*.

Построенный, как и Кёльн, римлянами, он оставался в течение средних веков маленьким и внешне незначительным городом, между тем как Кёльн вырос и дал свое имя курфюршеству-архиепископству. Но кафедральный собор Ксантена в своем законченном великолепии высоко вознесся над прозой голландской песчаной равнины, в то время как колоссальный Кёльнский собор остался торсом; но у Ксантена есть Зигфрид, у Кёльна же только святой Ганнон, а что значит «Песнь о Ганноне» [113] по сравнению с «Песнью о Нибелунгах».

Я прибыл сюда со стороны Рейна. Через узкие, развалившиеся ворота вошел я в город; грязные, узкие улицы вывели меня на веселую рыночную площадь, и оттуда я вышел к башенным воротам в стене, некогда окружавшей монастырский двор в церковь. Над воротами по правую и по левую руку, под обеими башенками, находятся два барельефа, несомненно два Зигфрида, которых легко отличить от патрона города, святого

* Ироническое прозвище англичан. *Ред.*

Виктора, изображенного над дверью каждого дома. Герой стоит здесь в плотно облегающем чешуйчатом панцире, с копьем в руке; на барельефе справа он вонзает копье в пасть дракону, слева — поражает им «могучего карлика» Альбериха. Меня удивило, что в германских героических сказаниях Вильгельма Гримма [114], где вообще собрано все, что касается данного предмета, не упоминается вовсе об этих скульптурных произведениях. Да и помимо того я не помню, чтобы где-нибудь читал о них, между тем они являются одним из важнейших свидетельств, связывающих средневековое сказание с определенной местностью.

Я прошел через ворота с готическим, гулким сводом и оказался перед церковью. Греческое зодчество — это светлое, радостное сознание, мавританское — печаль, готическое — священный экстаз; греческая архитектура — это яркий солнечный день, мавританская — пронизанные звездным сиянием сумерки, готическая — утренняя заря. Здесь, перед этой церковью, я почувствовал, как никогда еще, мощь готического архитектурного стиля. Готический собор производит захватывающее впечатление, но не тогда, когда он расположен среди современных зданий, как Кёльнский собор, и не тогда, когда застроен домами, облепившими его, подобно ласточкиным гнездам, как церкви в северогерманских городах; его надо видеть среди лесистых гор, как, например, альтенбергская церковь в бергском княжестве, или, по крайней мере, обособленным от всего чужеродного, современного, среди монастырских стен и старых зданий, как собор в Ксантене. Только тут можно глубоко почувствовать, что́ в состоянии создать то или иное столетие, если оно со всей своей силой сосредоточивается на какой-нибудь одной большой задаче. И если бы Кёльнский собор стоял так же свободно и открывался бы взору со всех сторон, во всех своих колоссальных размерах, как церковь в Ксантене, то, право, XIX век должен был бы умереть от стыда, что при всей своей премудрости он не может закончить этого сооружения. Нам больше уж неизвестен религиозный подвиг, и поэтому вызывает у нас такое удивление какая-нибудь миссис Фрай, которая в средние века была бы самым заурядным явлением.

Я вошел в церковь, где как раз шла обедня. С хоров неслись звуки органа — ликующая рать покоряющих сердце воинов, — они мчались под гулким сводом и затихали в отдаленных переходах церкви. Пусть и твое сердце покорится их очарованию, сын девятнадцатого века, — эти звуки смиряли более сильных и необузданных, чем ты! Они изгнали старых германских богов

из их священных рощ; они повели героев великого времени по бурным морям и пустыням, а их непобедимых потомков — в Иерусалим; они — тени прошлых веков с их горячей кровью и жаждой подвигов! Но в тот момент, когда трубы возвещают чудо пресуществления, когда священник поднимает блистающую дароносицу и прихожане опьянены вином благоговения, — тогда беги, спасайся, спасай свой разум от этого моря чувств, наполняющего церковь, и молись вне церковных стен богу, чей дом не создан руками человека, чье дыхание пронизывает весь мир и кто хочет, чтобы ему поклонялись лишь в духе и истине.

Потрясенный, я вышел из церкви и расспросил, как пройти к единственной в городе гостинице. Когда я вошел в залу, я почувствовал, что нахожусь по соседству с Голландией. Выставка, представляющая странную смесь из развешанных по стенам картин и гравюр, из вырезанных на оконных стеклах ландшафтов, из золотых рыбок, павлиньих перьев и высохших листьев тропических растений перед зеркалом, ясно свидетельствовала, как горд хозяин тем, что он является обладателем вещей, которых не имеют другие. Эта страсть к редкостям, с которой человек при полном отсутствии вкуса окружает себя произведениями искусства и природы — безразлично, красивыми или безобразными — и особенно хорошо чувствует себя в комнате, переполненной подобной дребеденью, — наследственный грех голландца. Но какой ужас охватил меня, когда добрый хозяин повел меня в свою так называемую картинную галерею! Она представляла собой маленькую комнату, стены которой были сплошь увешаны малоценными картинами, хотя он уверял, будто Шадов сказал об одном портрете, который был действительно гораздо лучше, чем другие вещи, что он принадлежит кисти Ганса Гольбейна. Несколько напрестольных икон работы Яна ван Калькара (из соседнего городка) выделялись ярким колоритом и могли бы заинтересовать знатока. И каких только украшений не было еще в этой комнате! Из каждого угла торчали пальмовые листья, ветки кораллов и т. п. вещи, повсюду были разбросаны чучела ящериц, на камине стояло несколько фигур, составленных из пестрых морских раковин, вроде тех, которые так часто встречаются в Голландии; в одном углу стоял бюст Вальрафа из Кёльна, а под ним висел высохший, как мумия, труп кошки, упиравшейся передней лапой прямо в лицо распятого Христа, изображенного на картине. Если кого-нибудь из моих читателей забросит когда-нибудь в Ксантен и если он попадет в эту единственную в городке гостиницу, то пусть спросит у любезного хозяина о его прекрасной античной гемме; он является обладателем изумитель-

ной, вырезанной на опале, Дианы, сто́ящей больше, чем вся его коллекция картин.

В Ксантене надо не забыть осмотреть коллекцию древностей г-на нотариуса Гоубена. Здесь собрано почти все, что было выкопано и найдено в местоположении Castra vetera [115]. Коллекция интересна, но не содержит ничего особенно ценного в художественном отношении, как этого и следовало ожидать от такой военной стоянки, как Castra vetera. Немногочисленные красивые геммы, найденные здесь, рассеяны по всему городу; единственный более крупный памятник скульптуры — это сфинкс, фута в три длиной, принадлежащий упомянутому выше хозяину гостиницы; он высечен из обыкновенного песчаника, плохо сохранился, но, впрочем, никогда и не был красивым.

Я вышел за город и поднялся на песчаную гору, единственную естественную возвышенность на всем пространстве вокруг. На этой горе стоял, по преданию, замок Зигфрида. У опушки соснового леса я опустился на землю и стал смотреть на расположенный внизу город. Окруженный со всех сторон плотинами, он лежал в котловине, над краем которой величественно возвышалась только церковь. Направо Рейн, охватывающий широкими, сверкающими рукавами зеленый остров, налево, в голубой дали, — Клевские горы.

Что захватывает нас с такой силой в сказании о Зигфриде? Не развитие действия само по себе, не подлейшее предательство, жертвой которого пал юный герой, а глубокая значительность, заложенная в его личности. Зигфрид — представитель немецкого юношества. Все мы, у кого бьется в груди еще не укрощенное трудностями жизни сердце, все мы знаем, что́ это значит. Все мы чувствуем ту же жажду подвига, тот же бунт против старинных обычаев, которые заставили Зигфрида покинуть замок его отца; нам глубоко противны вечные колебания, филистерский страх перед смелым деянием, мы хотим вырваться на простор свободного мира, мы хотим пренебречь осторожностью и бороться за венец жизни — подвиг. О драконах и великанах позаботились и филистеры, особенно в сфере церковной и государственной жизни. Но время уже не то; нас запирают в темницы, называемые школами, где, вместо того чтобы сражаться, мы должны, точно в насмешку, спрягать во всех наклонениях и временах греческий глагол «сражаться»; а когда нас освобождают от школьной муштры, мы попадаем в объятия богини нашего века — полиции. Полиция, когда думаешь; полиция, когда говоришь; полиция, когда ходишь, ездишь верхом, путешествуешь; паспорта, виды на жительство, таможенные квитанции, — пусть дьявол сражается с великанами

и драконами! Они нам оставили только тень подвига, рапиру вместо меча, но к чему нам все искусство фехтования рапирой, если его нельзя применить для удара мечом? А когда, наконец, вырываешься на волю, когда побеждены, наконец, филистерство и индифферентизм, когда жажда подвигов находит себе выход, — то видите ли вы там, по ту сторону Рейна, башню Везеля? Цитадель этого города, называемая твердыней немецкой свободы, стала могилой немецкого юношества. И она стоит как раз напротив колыбели величайшего германского юноши! Кто был заключен там? Студенты, которые думали, что они недаром научились драться, — vulgo * дуэлянты и демагоги [116]. Теперь, после данной Фридрихом-Вильгельмом IV амнистии [117], мы вправе сказать, что эта амнистия была не только актом милости, но и справедливости. Примем все предпосылки, допустим, что государство по необходимости должно было выступить против этих союзов; однако все те, кто видит благо государства не в слепом послушании, не в строгой субординации, согласятся со мной, что обращение с участниками этих союзов требовало восстановления их чести и достоинства. Демагогические союзы были так же естественны во времена Реставрации [41] и после июльских дней, как невозможны они сейчас. Кто же подавлял тогда всякое проявление свободного духа или назначал «временную» опеку над биением молодого сердца? А как обращались с этими несчастными! Можно ли отрицать, что именно этот правовой акт освещает ярким светом все невыгоды и пороки бумажной, тайной судебной процедуры и показывает противоречивость такого положения, когда оплаченные *государственные чиновники*, а не независимые присяжные, должны судить по обвинениям в государственных преступлениях? Можно ли отрицать то, что приговоры произносились оптом или «гуртом», как выражаются купцы?

Но я спущусь к Рейну и послушаю, что рассказывают освещенные вечерней зарей волны земле, породившей Зигфрида, о его могиле в Вормсе и о потонувшем сокровище. Может быть, какая-нибудь добрая фея Моргана воздвигнет передо мной вновь замок Зигфрида или покажет мне, какие геройские подвиги суждено совершить сыновьям его в девятнадцатом веке.

Написано Ф. Энгельсом в ноябре 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 197, декабрь 1840 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

* — попросту. *Ред.*

ЭРНСТ МОРИЦ АРНДТ[118]

Как верный Эккарт из саги[119], стоит старый Арндт у Рейна, предостерегая немецких юношей, вот уже многие годы заглядывающихся на французскую Венерину гору, с высот которой манят их обольстительные пылкие девы — идеи. Но неистовые юноши не слушаются старого богатыря и устремляются туда, и не все остаются лежать обессиленные, как новый Тангейзер Гейне.

Такова позиция Арндта по отношению к современной немецкой молодежи. Но как бы высоко вся молодежь его ни почитала, его идеал немецкой жизни ее не удовлетворяет; она желает большей свободы действий, более полной, ликующей жизненной силы, пламенного, бурного биения всемирно-исторических артерий, по которым течет кровь Германии. Отсюда симпатия к Франции, разумеется, не симпатия, связанная с подчинением, о которой грезят французы, а более возвышенная и свободная, природу которой в противоположность тевтонской ограниченности так хорошо показал Бёрне в своем «Французоеде»[28].

Арндт чувствовал, что современность ему чужда, что она чтит не его за его идею, а его идею чтит из уважения к его сильной, мужественной личности. И потому для него, как для человека, популярности которого способствовали его талант, убеждения, а также в течение ряда лет и самый ход событий, — стало обязанностью оставить своему народу памятник своего духовного развития, своего образа мыслей и своего времени. Это он и осуществил в своих нашумевших «Воспоминаниях о пережитых событиях».

Отвлекаясь пока от тенденции книги Арндта, следует заметить, что и с эстетической стороны она во всяком случае

представляет одно из интереснейших явлений. Мы уже давно не слышали в нашей литературе такой сильной, выразительной речи, достойной иметь длительное влияние на многих представителей нашего молодого поколения. Лучше суровость, чем расслабленность! Ведь есть авторы, по мнению которых существо современного стиля заключается в том, чтобы всю остроту речи, всю ее мускулатуру облечь в красивые, мягкие формы, хотя бы даже с риском впасть в женственность. Нет, уж лучше мужественная суровость арндтовского стиля, чем расплывчатость иных «современных» стилистов! Тем более, что Арндт, насколько это возможно, избежал причудливых особенностей стиля своих сотоварищей по 1813 г., и лишь употребление превосходной степени в абсолютном значении (свойственное южнороманским языкам) вносит в его речь элементы напыщенности. Такого ужасного пристрастия к иностранным словам, которое теперь снова в ходу, у Арндта даже искать нечего; он показывает, напротив, что мы можем обойтись, не испытывая затруднений, без прививки чужих ветвей к нашему языковому стволу. Право, колесница наших мыслей на многих и многих путях лучше может продвигаться с помощью немецких коней, чем с помощью французских или греческих, и вопрос не решается одними насмешками над крайностями пуристского направления.

Перейдем теперь к содержанию книги. Бóльшую часть ее занимает набросанная подлинно поэтической рукой идиллия юношеского периода жизни. Навсегда может быть признателен провидению тот, кто провел свои ранние годы, как Арндт! Не в пыли большого города, где радости отдельной личности подавляются интересами целого, не в детских приютах и филантропических тюрьмах, где заглушаются молодые побеги, — нет, под открытым небом, в лесу и в поле природа создавала стального мужа, на которого, как на северного богатыря, с удивлением взирает изнеженное поколение. Большая пластическая сила, с которой Арндт излагает этот период своей жизни, почти наводит на мысль, что пока наши писатели *переживают* такие идиллии, как Арндт, всякие идиллические *фантазии* излишни. Особенно чуждым покажется нашему веку самовоспитание юноши Арндта, которое соединяет в себе германское целомудрие со спартанской строгостью. Но эту строгость, которая так наивно, без всякой примеси бахвальства, свойственного Яну, напевает про себя свое hoc tibi proderit olim *, следует, как нельзя более, рекомендовать нашей изнеженной молодежи. Нечего сказать, хороша опора отечества — моло-

* — это когда-нибудь будет тебе на пользу. *Ред.*

дежь, которая, подобно бешеной собаке, боится холодной воды, кутается в три-четыре одеяния при малейшем морозе и считает для себя честью освободиться по слабосилию от военной службы! Говорить же о целомудрии в наше время, когда в каждом городе прежде всего осведомляются о том месте, «где домов последний ряд» *, она считает преступлением. Я, право, не абстрактный моралист, мне ненавистно всякое аскетическое уродство, никогда не стану я осуждать грешную любовь, но мне больно, что строгая нравственность грозит исчезнуть, а чувственность пытается возвести себя на пьедестал. Перед лицом такого человека, как Арндт, проповедники практической эмансипации плоти всегда должны будут краснеть от стыда.

В 1800 г. Арндт занимает предоставленную ему должность. Полчища Наполеона наводняют Европу, и с ростом могущества императора французов растет и ненависть к нему Арндта; грейфсвальдский профессор протестует от имени Германии против угнетения и вынужден бежать. Наконец, немецкий народ подымается, и Арндт возвращается обратно. Следовало бы пожелать, чтобы эта часть книги была изложена обстоятельнее; Арндт скромно умалчивает о национальном ополчении и его деяниях. Вместо того чтобы предоставить нам догадываться, что он не остался бездеятельным, ему следовало бы подробнее изобразить свое участие в движении того времени и рассказать со своей субъективной точки зрения историю тех дней. Последующие события изложены еще короче. Следует отметить здесь, с одной стороны, все более определенную склонность к ортодоксии в области религии и, с другой стороны, таинственную, почти верноподданническую и холопскую манеру, с которой Арндт говорит о своем отстранении от должности. Однако тот, на кого это произвело неприятное впечатление, мог убедиться из появившихся недавно в газетах объяснений самого Арндта, что он рассматривает свое восстановление в должности как акт *справедливости*, а не как дар милости, и что он еще обладает своей прежней твердостью и решительностью.

Особенное значение, однако, приобретает книга Арндта благодаря одновременному изданию множества воспоминаний об освободительной войне. Таким образом опять живо встает перед нами то славное время, когда германская нация впервые за несколько столетий вновь поднялась и противопоставила всю свою силу и величие чужеземному игу. И нам, немцам, следует постоянно помнить о битвах того времени, чтобы заставить бодрствовать наше сонливое народное сознание, — не в том

* Из баллады Гёте «Бог и баядера». *Ред.*

смысле, конечно, как это понимает партия, которая воображает, что все уже свершила, и, почив на лаврах 1813 г., самодовольно созерцает себя в зеркале истории, но скорее в противоположном смысле. Ибо не свержение чужеземного господства, которое держалось только на атлантовых плечах Наполеона и по своей вопиющей противоестественности рано или поздно должно было пасть само собой, не завоеванная «свобода» были главнейшим результатом борьбы, — результат этот заключался в самом факте борьбы и в одном ее моменте, ясно ощущавшемся лишь весьма немногими современниками. Тот факт, что мы осознали ценность потерянных национальных святынь, что мы вооружились, не ожидая всемилостивейшего дозволения государей, что мы даже *заставили* властителей стать во главе нас *, словом, что мы выступили на одно мгновенье как источник государственной власти, как суверенный народ, — вот что было величайшим достижением тех лет. Поэтому после войны те люди, которые яснее всего это чувствовали и решительнее всех в этом направлении действовали, должны были казаться правительствам опасными. — Но как скоро опять задремала эта творческая сила! Из-за проклятой раздробленности воодушевление, столь необходимое стране в целом, поглощалось отдельными ее частями, общегерманские цели разменивались на множество провинциальных интересов. В результате стало невозможным заложить в Германии основу государственной жизни, подобную той, какую создала себе Испания в конституции 1812 года [120]. Напротив, наши подавленные гнетом сердца не устояли перед теплым весенним дождем всевозможных обещаний, которые неожиданно посыпались на нас из «высших сфер», а мы, глупцы, и не подумали, что есть обещания, нарушение которых с точки зрения нации совершенно непростительно, но с личной точки зрения считается очень легко извинительным. (?) Потом начались конгрессы [121], они дали немцам время выспаться после освободительного угара, чтобы, проснувшись, опять вернуться к старым отношениям его величества и верноподданных. Кто еще не утихомирился и не мог отучиться от привычки оказывать воздействие на нацию, того все силы времени гнали в тупик тевтономании. Лишь немногие исключительные умы пробились сквозь лабиринт и нашли путь, ведущий к истинной свободе.

Тевтономаны хотели дополнить дело освободительной войны и освободить Германию, вернувшую себе материальную независимость, также и от духовной гегемонии чужеземцев. Но именно

* Ср. по этому вопросу: Karl Bade. «Napoleon im Jahre 1813». Altona, 1840 [Карл Баде. «Наполеон в 1813 году». Альтона, 1840].

потому тевтономания стала отрицанием, а то, чем она кичилась, как положительным, было погребено во мраке неопределенности и никогда полностью не поднялось оттуда; то же, что вышло на дневной свет разума, большей частью оказывалось в достаточной мере бессмысленным. Все это миросозерцание было философски несостоятельно, ибо оно утверждало, что весь мир был создан ради немцев, а сами немцы давно достигли наивысшей ступени развития. Тевтономания была отрицанием, абстракцией в гегелевском смысле. Она создавала абстрактных немцев, отметая все то, что не было истинно немецким до шестьдесят четвертого поколения предков и не выросло из народных корней. Даже то, что казалось в ней положительным, было отрицательным, ибо привести Германию к идеалам тевтономании можно было только путем отрицания целого тысячелетнего пути развития; она хотела, следовательно, отбросить нацию вспять, к германскому средневековью или даже к чистоте первобытного тевтонства из Тевтобургского леса. Выразителем крайностей этого направления стал Ян. Результатом этой односторонности явилось провозглашение немцев избранным народом Израиля и игнорирование бесчисленных ростков всемирно-исторического значения, которые произрастали не на немецкой почве. С особой силой и больше всего иконоборческая ярость обрушилась на французов, чье нашествие было отражено и чья гегемония во всем внешнем основана на том, что они во всяком случае легче всех других народов усваивают *форму* европейской образованности, цивилизацию. Великие, вечные результаты революции подверглись глумлению как «романская мишура» или даже «романское шарлатанство»; никто не подумал о родстве этого гигантского народного дела с народным подъемом 1813 года; все, что принес Наполеон: эмансипацию евреев, суд присяжных, здоровое частное право вместо схоластики пандектов — все это подверглось осуждению только из-за личности инициатора. Французоненавистничество стало обязанностью, всякое воззрение, сумевшее стать выше этого, клеймилось как иноземщина. Таким образом, и патриотизм стал по существу чем-то отрицательным и в борьбе того времени оставил отечество без поддержки, изощряясь в то же время в изобретении исконно немецких высокопарных выражений взамен давно укоренившихся в немецком языке иностранных слов. Если бы это направление было конкретно немецким, если бы оно рассматривало немца таким, каким он стал в результате двухтысячелетнего развития истории, если бы оно не проглядело существеннейшего момента нашего назначения — быть стрелкой на весах европейской истории и следить за развитием соседних народов,—

оно бы избежало всех своих ошибок. — Но, с другой стороны, нельзя также не отметить, что тевтономания была необходимой ступенью развития нашего народного духа и образовала с последующей ступенью ту противоположность, на плечах которой покоится современное миросозерцание.

Этой противоположностью тевтономании был космополитический либерализм южногерманских сословных собраний, отрицавший национальные различия и ставивший своей целью образование великого, свободного, объединенного человечества. Он соответствовал религиозному рационализму, с которым имел общий источник в филантропии прошлого века, между тем как тевтономания вела последовательно к теологической ортодоксии, куда со временем пришли почти все ее приверженцы (Арндт, Стеффенс, Менцель). Односторонности космополитического свободомыслия часто вскрывались его противниками, правда, тоже с односторонней точки зрения, поэтому я могу остановиться на этом направлении коротко. Июльская революция, казалось, благоприятствовала ему сначала, однако это событие было использовано всеми партиями. Фактическое уничтожение тевтономании, или, вернее, ее жизнеспособности, датируется с июльской революции и было заложено в ней. Но в то же время произошло и крушение мирового гражданства, ибо важнейшее значение великой недели [37] заключалось именно в восстановлении французской нации в качестве великой державы, что побудило и другие нации стремиться к более сильной внутренней спаянности.

Еще до этого недавнего мирового потрясения два человека трудились в тиши над развитием немецкого духа, над современным развитием, как его обычно называют, два человека, которые при жизни почти не знали друг друга, и лишь после их смерти стало ясно, что они взаимно друг друга дополняют, — эти двое были *Бёрне* и *Гегель*. Часто, и совершенно несправедливо, Бёрне клеймили как космополита, но он был немцем больше, чем его враги. Журнал «Hallische Jahrbücher» связал недавно тему «политической практики» с именем г-на фон Флоренкура [122], но последний на самом деле не является ее представителем. Он стоит на той точке, где соприкасаются крайности тевтономании и космополитизма, как это было в буршеншафтах [123], и его лишь поверхностно затронули позднейшие этапы развития национального духа. Бёрне — вот кто человек политической практики, и историческое его значение в том и заключается, что он вполне осуществил это призвание. Он сорвал с тевтономании ее блестящее мишурное одеяние и в то же время безжалостно раскрыл наготу космополитизма, питав-

шегося лишь бессильными благими пожеланиями. Он обратился к немцам со словами Сида: Lengua sin manos, cuemo osas fablar? * Никто не умел так изображать величие дела, как Бёрне. Все в нем — жизнь, все — мощь. Лишь о *его* сочинениях можно сказать, что это — *деяния* во имя свободы. Не говорите мне здесь об «определениях рассудка», о «конечных категориях»! В том, как Бёрне понимал положение, занимаемое европейскими нациями, и их назначение, нет ничего спекулятивного. Но Бёрне первый правдиво осветил взаимоотношения Германии и Франции и этим оказал идее бо́льшую услугу, чем гегельянцы, которые в это время учили наизусть «Энциклопедию» Гегеля [125] и думали, что они тем самым сделали достаточно для своего века. Именно то освещение вопроса, которое дает Бёрне, и показывает, как высоко он стоит над плоским космополитизмом. Разумная односторонность была так же необходима Бёрне, как Гегелю чрезмерный схематизм; но вместо того, чтобы понять это, мы ничего не видим за грубоватыми и часто парадоксальными аксиомами «Парижских писем» [20].

Рядом с Бёрне и в противовес ему Гегель, человек мысли, преподнес нации свою, уже готовую систему. Власть имущие не взяли на себя труда проникнуть в смысл неясных форм системы и тяжеловесного стиля Гегеля; да и как могли они знать, что из тихой гавани теории эта философия отважится выйти в бурное море событий, что она уже обнажает меч, чтобы ополчиться как раз на практически существующее положение вещей? Ведь сам Гегель был таким солидным ортодоксальным человеком, и полемика его была направлена прямо против неодобряемых государственной властью течений, против рационализма и космополитического либерализма! Но господа, сидевшие у руля, не понимали, что эти направления оспаривались лишь для того, чтобы дать место высшему, и что новое учение должно сначала утвердиться, получив признание нации, чтобы затем иметь возможность свободно и последовательно развить свои жизненные принципы. Когда Бёрне нападал на Гегеля, он был со своей точки зрения совершенно прав, но когда власть покровительствовала Гегелю, когда она возвела его учение чуть ли не в ранг прусской государственной философии, она попала впросак и теперь, очевидно, раскаивается в этом. И неужели Альтенштейн, принадлежавший, правда, к более либеральному времени и стоявший на более возвышенной точке зрения, мог иметь такую свободу действий, что можно все отнести на его счет? Но как бы то ни было, когда после смерти

* — Язык без рук, как дерзаешь ты говорить? [124] *Ред.*

Гегеля его доктрины коснулось свежее дыхание жизни, из «прусской государственной философии» выросли побеги, какие не снились ни одной партии. Штраус — на поприще теологии, Ганс и Руге — на поприще политики останутся знамениями своего времени. Только теперь слабые туманные пятна спекулятивной философии превратились в светящиеся звезды идей, которые должны будут освещать путь движению века. Можно сколько угодно ставить в укор эстетической критике Руге, что она страдает трезвостью и схематизмом доктрины; заслугой его остается то, что он привел политическую сторону гегелевской системы в соответствие с духом времени и оживил к ней интерес нации. Ганс сделал это лишь косвенно, продолжив философию истории до нашего времени; Руге открыто выразил свободомыслие гегельянства, Кёппен присоединился к нему; оба не побоялись вражды и продолжали идти своим путем, не останавливаясь даже перед опасностью раскола школы, и потому честь и слава их дерзанию! Вдохновенная, непоколебимая вера в идею, которая свойственна новогегельянству, есть единственная крепость, куда могут надежно укрыться свободомыслящие, если поощряемая свыше реакция одержит над ними временную победу.

Таковы последние этапы развития немецкого политического духа, и задача нашего времени заключается в том, чтобы завершить взаимопроникновение идей Гегеля и Бёрне. В младогегельянстве есть уже изрядная доля Бёрне, и немало статей в «Hallische Jahrbücher» Бёрне подписал бы не задумываясь. Но необходимость соединения мысли с делом частью еще недостаточно осознана, частью еще не проникла в нацию. Бёрне все еще рассматривается кое-где как прямая противоположность Гегелю; но так же, как не следует судить о практическом значении Гегеля для современности (не о его философском значении для всех времен) по чисто теоретической стороне его системы, точно так же и по отношению к Бёрне не следует ограничиваться плоской критикой его односторонностей и экстравагантностей, которые никогда не отрицались.

Думаю, что этим я достаточно охарактеризовал отношение тевтономании к нашему времени, чтобы перейти к более детальному рассмотрению отдельных ее сторон, освещенных Арндтом в его книге. Глубокая пропасть, отделяющая Арндта от теперешнего поколения, яснее всего видна в том, что для него в государственной жизни безразлично именно то, за что мы готовы отдать кровь и жизнь. Арндт объявляет себя решительным монархистом — допустим. Но конституционным или абсолютистским — об этом он даже не упоминает. Спорный пункт

вот в чем: Арндт и все его сторонники видят благо государства в том, что государь и народ привязаны друг к другу искренней любовью и сходятся в стремлении к всеобщему благу. Для нас, наоборот, незыблемо, что отношения между правящими и управляемыми должны быть установлены на почве *права* раньше, чем они могут стать и оставаться сердечными. Сначала право, потом справедливость! Едва ли найдется такой плохой государь, который не любил бы своего народа и — я говорю здесь о Германии — не был бы любим своим народом уже в силу того, что он его государь? Но какой государь смеет похвалиться, что с 1815 г. он значительно продвинул вперед свой народ? Не наше ли это собственное творение — все то, чем мы обладаем, разве оно не наше вопреки контролю и надзору? Можно разглагольствовать о любви государя и народа друг к другу, и с тех пор, как великий поэт [126], сочинивший «Хвала тебе, в венке победном!», пел: «Любовь свободных охраняет вершины те, где восседает на тронах сонм князей», с тех самых пор на эту тему наболтали бесконечно много всякого вздора. Грозящий нам сейчас с известной стороны образ правления можно было бы назвать реакцией, соответствующей духу времени; патримониальные суды [101] для создания высшего дворянства, цехи для восстановления «почтенного» бюргерского сословия, поощрение всех так называемых исторических ростков, которые являются, собственно говоря, старыми обрубленными сучками.

Но не только в этом пункте тевтономания отдала в жертву решительной реакции свободу своей мысли. Ее идеи государственного устройства также нашептаны ей господами из «Berliner politisches Wochenblatt». Больно было видеть, как даже положительный, спокойный Арндт дал себя прельстить софистической мишурой «органического государства». Фразы об историческом развитии, об использовании данных обстоятельств, об организме и т. д., должно быть, имели для своего времени очарование, о котором мы не можем составить себе никакого представления, ибо мы видим, что это большей частью красивые слова, в которых нет серьезного соответствия с их собственным значением. Надо, наконец, покончить со всеми этими призраками! Что́ вы понимаете под органическим государством? Такое государство, установления которого развивались в течение столетий вместе с нацией и из нее, а не конструировались из теории. Очень хорошо. А в применении к Германии? Этот организм, видите ли, заключается в том, что граждане государства подразделяются на дворян, горожан и крестьян вкупе со всем, что этому сопутствует. Все это должно заключаться

в слове «организм» in nuce *. Разве это не жалкая, не позорная софистика? Саморазвитие нации — разве это не выглядит точь-в-точь так же, как свобода? Вы стараетесь схватить ее обеими руками и ловите — весь гнет средневековья и ancien régime **. К счастью, это фокусничество нельзя отнести на счет Арндта. Не приверженцы сословных делений, а мы, их противники, хотим органической государственной жизни. Речь идет пока вовсе не о «теоретической конструкции»; речь идет о том, чем нас хотят прельстить, — о саморазвитии нации. Только мы относимся серьезно и искренне к этому; но те господа не знают, что всякий организм становится неорганическим, коль скоро умирает; они приводят в движение гальваническим током трупы прошлого и хотят нас уверить, что это не механизм, а жизнь. Они хотят способствовать саморазвитию нации и заковывают ее ноги в колодки абсолютизма, чтобы она быстрее продвигалась вперед. Они не хотят знать, что то, что они называют теорией, идеологией или еще бог знает чем, давно уже перешло в плоть и кровь народа и частью уже вошло в жизнь, что в этом вопросе не мы, а *они* блуждают в области утопических теорий. Ибо то, что полстолетие тому назад действительно было еще теорией, развилось со времени революции как самостоятельный момент в государственном организме. И, что важнее всего, разве развитие человечества не стоит выше развития нации?

А порядки сословного строя? Никакой перегородки между горожанами и крестьянами при нем не существует, даже историческая школа [127] не может этого серьезно отрицать; эта перегородка устанавливается только pro forma, чтобы сделать для нас более приемлемым обособление дворянства. Все вертится вокруг дворянства, с падением дворянства падет и сословный строй. Но с сословием дворянства дело обстоит еще хуже, чем с его состоянием ***. Ведь наследственное, основанное на майорате сословие, безусловно, представляет по современным понятиям архибессмыслицу. Другое дело средние века! Тогда и в имперских городах (как, например, в Бремене еще и теперь) цехи и их привилегии были наследственными, там существовали поколения пекарей, поколения лудильщиков. И в самом деле, что значит дворянская спесь по сравнению с сознанием: мои предки были пивоварами до двадцатого колена! Кровь мясников, или, по более поэтической бременской терминологии, живодеров, еще течет в жилах дворян, воинственное призвание которых, установленное г-ном Фуке, как раз и состоит в непрекращаю-

* — в зародыше. *Ред.*
** — старый порядок. *Ред.*
*** Игра слов: «Stand» — сословие, «Bestand» — состояние. *Ред.*

щемся убиении и живодерстве. Смешна претензия со стороны дворянства считать себя сословием, ибо по законам всех государств ему вовсе не принадлежит исключительное право на какое-либо занятие, будь то военное дело, будь то крупное землевладение. Ко всякому сочинению о дворянстве можно было бы поставить эпиграфом слова трубадура Гийома де Пуатье: «Эта песня ни о чем». И так как дворянство чувствует свое внутреннее ничтожество, то ни один дворянин не может скрыть своей скорби по этому поводу, начиная с весьма остроумного барона фон Штернберга и кончая весьма скудоумным К. Л. Ф. В. Г. фон Альвенслебеном. Совершенно неуместна та терпимость, с которой предоставляют дворянству удовольствие считать себя чем-то особым, если только оно не требует себе еще каких-нибудь привилегий. Ибо пока и поскольку дворянство будет представлять собой нечто особое, постольку оно захочет и должно будет иметь привилегии. Мы остаемся при нашем требовании: никаких сословий, а лишь великая, единая, равноправная нация граждан!

Другое требование, предъявляемое Арндтом своему государству, — майораты, вообще аграрное законодательство, устанавливающее для землевладения неизменные отношения. И этот пункт также, независимо от общего его значения, заслуживает внимания уже потому, что упомянутая, соответствующая духу времени реакция грозит и в этой области вернуть положение вещей к периоду до 1789 года. Ведь в самое недавнее время многим было даровано дворянское звание под условием основать майорат, гарантирующий благосостояние семьи! — Арндт — решительный противник неограниченной свободы и дробления землевладения; он видит, что неизбежным следствием этого является разделение земли на парцеллы, причем ни одна из них не может прокормить своего хозяина. Но он не видит, что именно полная свобода земельной собственности дает возможность в общем и целом восстановить все то равновесие, которое она, конечно, в отдельных случаях может нарушать. Между тем запутанное законодательство большинства германских государств и столь же запутанные проекты Арндта не только не устраняют возможных затруднений в аграрных отношениях, но в высшей степени усложняют их; в то же время при возникновении неурядиц они мешают добровольному восстановлению должного порядка, вызывают необходимость чрезвычайного вмешательства государства и тормозят совершенствование этого законодательства множеством мелочных, но неизбежных соображений частного порядка. Напротив, свобода земли не оставляет места для какой-либо крайности: ни

для превращения крупных землевладельцев в аристократию, ни для раздробления земельных угодий на слишком мелкие, становящиеся бесполезными клочки земли. Если одна чаша весов опускается слишком низко, то на другой тотчас же происходит концентрация содержания, и равновесие восстанавливается. И если даже земельная собственность переходит из рук в руки, я все же предпочитаю волнующийся океан с его безграничной свободой маленькому озеру с его спокойной гладью, с его миниатюрными волнами, прерываемыми на каждом шагу то откосом берега, то корнем дерева, то камнем. Разрешая учреждение майоратов, государство не только дает согласие на образование аристократии: нет, это сковывание землевладения, как и всякое неотчуждаемое наследственное право, работает прямо на революцию. Если лучшая часть земли закреплена за отдельными семьями и делается недоступной остальным гражданам, не есть ли это прямой вызов народу? Разве институт майората не основан на таком понимании собственности, которое давно уже не соответствует нашим взглядам? Разве одно поколение имеет право неограниченно распоряжаться собственностью всех будущих поколений, которой оно в настоящий момент пользуется и управляет? Как будто свобода собственности не уничтожается таким самоуправством, которое лишает этой свободы всех потомков! Как будто такое прикрепление человека к земле может действительно сохраниться навеки! Впрочем, внимание, которое Арндт уделяет земельной собственности, вполне заслужено, и важность предмета, пожалуй, была бы достойна обстоятельного обсуждения с точки зрения современности и целиком своевременна. Все прежние теории страдают наследственной болезнью немецких ученых, усматривающих свою самостоятельность в том, что каждый создает для себя особую систему.

Если ретроградные стороны тевтономании и заслужили более внимательного рассмотрения отчасти из уважения к человеку, защищающему их по убеждению, отчасти вследствие поощрения, которого они недавно удостоились в Пруссии, то другое направление тевтономании следует отвергнуть тем решительнее, что в настоящий момент оно угрожает снова восторжествовать у нас, — это французоненавистничество. Я не стану вступать в спор с Арндтом и прочими деятелями 1813 г., но подобострастная, беспринципная травля французов, поднятая теперь во всех газетах, противна мне до глубины души. Нужна высокая степень верноподданности, чтобы из июльского трактата [128] вынести убеждение, будто восточный вопрос является для Германии вопросом жизни и будто Мухаммед-Али представляет опасность для нашего народа. С этой точки зрения

Франция поддержкой египтянина совершила, конечно, по отношению к немецкой национальности такое же преступление, в каком она провинилась в начале этого века. Печально, что вот уже в течение полугода нельзя взять в руки ни одной газеты, чтобы не натолкнуться на вновь ожившее неистовое французоедство. И для чего все это? Дабы способствовать приросту владений русских и усилению торговой мощи англичан настолько, чтобы они могли нас, немцев, окончательно задушить и раздавить! Принцип равновесия, проводимый Англией, и система России — вот исконные враги европейского прогресса, а не Франция и ее движение. Но так как два германских государя сочли за благо присоединиться к трактату, вопрос вдруг становится немецким, Франция делается старым, исконным безбожным «романским» врагом, а совершенно естественные меры по вооружению, принятые действительно оскорбленной Францией, — дерзким вызовом, брошенным немецкой нации. Глупую болтовню нескольких французских журналистов по поводу рейнской границы считают заслуживающей пространных возражений, которых французы, к сожалению, совсем не читают, и песню Беккера «Они его не получат» * хотят par force ** сделать народной песней. Я охотно отдаю дань успеху песни Беккера и совсем не хочу входить в рассмотрение ее поэтического содержания, меня даже радует, когда я слышу такой немецкий образ мыслей с левого берега Рейна, но тем не менее, солидаризируясь с уже появившимися по этому вопросу в настоящем журнале статьями, которые мне только что попались на глаза, я нахожу смешными потуги возвести скромное стихотворение в ранг национального гимна. «Они его не получат!» Стало быть, опять отрицание? Неужели вы можете удовлетвориться народной песней, содержащей только отрицание? Неужели немецкое национальное чувство может найти опору только в полемике против заграницы? Текст «Марсельезы» ***, несмотря на все вдохновение, — не очень высокого достоинства, но насколько благороднее здесь выход за пределы национально-ограниченного к общечеловеческому. И после того как у нас оторвали Бургундию и Лотарингию; после того как мы допустили, чтобы Фландрия стала французской, а Голландия и Бельгия приобрели независимость; после того как Франция с присоединением Эльзаса продвинулась уже до Рейна и в наших руках осталась лишь относительно малая часть некогда немецкого

* Начальная строка стихотворения Н. Беккера «Немецкий Рейн» («Der deutsche Rhein»). *Ред.*

** — насильно. *Ред.*

*** Автором текста и музыки является Руже де Лиль. *Ред.*

левого берега Рейна, — мы не стыдимся чваниться и вопить: а последней пяди вам все-таки не получить! Ох уж эти немцы! Если бы французы получили и Рейн, то мы со смехотворнейшей надменностью все же возгласили бы: Они его не получат, свободный немецкий Везер и т. д. вплоть до Эльбы и Одера, пока Германия не была бы поделена между французами и русскими и нам бы оставалось только петь: Они его не получат, свободный поток немецкой теории, доколе он спокойно катит свои волны в океан бесконечности, доколе на дне его шевелит плавниками хоть одна непрактичная мудрствующая рыбешка! И все это вместо того, чтобы принести глубокое покаяние за грехи, из-за которых мы потеряли все эти прекрасные земли, за разобщенность и предательство идеи, за провинциальный патриотизм, жертвующий целым из-за местных выгод, и за отсутствие национального сознания. Правда, у французов есть такая навязчивая идея, что Рейн составляет якобы их собственность, но единственным достойным немецкого народа ответом на это заносчивое требование является арндтовское восклицание: «Прочь из Эльзаса и Лотарингии!»

Дело в том, что я придерживаюсь, — может быть, в противоположность многим, взгляды которых я вообще разделяю, — той точки зрения, что для нас возврат говорящего по-немецки левого берега Рейна — дело национальной чести, германизация отложившихся Голландии и Бельгии — политическая необходимость. Неужели мы можем допустить в этих странах окончательное подавление немецкой национальности, в то время как на востоке славянство подымается все с большей силой? Неужели мы заплатим за дружбу Франции отказом от немецкого характера наших лучших провинций? Неужели нам следует примириться с завоеваниями, едва имеющими столетнюю давность, причем завоеватель даже не сумел ассимилировать того, что было им захвачено, и неужели мы должны считать трактаты 1815 г. [129] за приговор мирового духа в последней инстанции?

Но, с другой стороны, мы не будем достойны эльзасцев, пока не сможем дать им того, чем они располагают сейчас, — свободной общественной жизни в рамках великой державы. Нет сомнения, что нам придется еще раз померяться силами с Францией, и тогда будет видно, кто достоин левого берега Рейна. А до тех пор мы можем спокойно предоставить разрешение вопроса развитию нашей народности и мирового духа, до тех пор мы будем работать для достижения ясного взаимопонимания между европейскими нациями и стремиться к внутреннему единству — первой нашей потребности и основе нашей

будущей свободы. Пока наше отечество будет оставаться раздробленным, до тех пор мы — политический нуль, до тех пор общественная жизнь, завершенный конституционализм, свобода печати и все прочие наши требования — одни благие пожелания, которым не суждено осуществиться до конца; вот к чему следует стремиться, а не к истреблению французов!

И при всем этом тевтономанское отрицание все еще не выполнило своей задачи до конца: еще много осталось такого, что следует отправить восвояси — за Альпы, за Рейн и за Вислу. Русским мы оставим пентархию [44], итальянцам — их папизм и все с ним связанное, их Беллини, Доницетти и даже Россини, если они хотят его хвастливо противопоставить Моцарту и Бетховену, французам — их высокомерные отзывы о нас, их водевили и оперы, их Скриба и Адана. Все эти нелепые чужеземные повадки и моды, все излишние иностранные слова мы прогоним туда, откуда они пришли; мы перестанем быть посмешищем для иностранцев и сольемся в единый, неделимый, мощный и — так угодно богу — *свободный* немецкий народ.

Написано Ф. Энгельсом в декабре 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 2, 3, 4 и 5; январь 1841 г.

Подпись: Ф. Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Я ехал ночью темной, одиноко,
Через немецкий край, известный всем нам,
Где властью все угнетены жестокой
И где сердца кипят в порыве гневном —

На то, что здесь добытая трудами
И долгою бессонницей свобода
Вновь изгнана, и злыми языками
Позорится она в глазах народа.

Густой туман покрыл степные дали,
И тополя застыли у дороги,
На миг их ветры с шумом пробуждали —
Но вскоре замолкали недотроги.

Прозрачней воздух. Вот мечом Дамокла
Висит над этой мрачною столицей
Серп месяца — гнев короля разит далеко,
И от него ничем не заслониться.

Вслед экипажу брешут зло собаки —
Положено им злиться по уставу.
Им не сродни ль столичные писаки,
Кому мой дух свободный не по нраву?

Что мне, скажите, в злобном лае этом?
Я о свободе думаю грядущей.

Не заблуждайтесь — ведь перед рассветом
Всегда бывает мгла мрачней и гуще.

И вот светлеет. Скоро утро будет —
Звезду оно предтечей посылает.
Колокола свободы смертных будят —
Не бурю, ясный мир они вещают!

Да, древо духа мощными корнями
Обломки ветхой старины сломало,
Ну, а потом — прекрасными цветами
Оно цвести для всех народов стало.

Тут я уснул. А поутру проснулся —
И вижу землю в утреннем сиянье.
Мне город *Штюве* * светлый улыбнулся,
Свободы город, полный обаянья.

Написано Ф. Энгельсом в конце 1840 г.

Напечатано в журнале «Deutscher Courier» № 1, 3 января 1841 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* — Оснабрюк, бургомистром которого был Иоганн Карл Бертрам Штюве. *Ред.*

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРАХА ИМПЕРАТОРА [130]

Безлюдны улицы Парижа: к Сене
Все населенье бурно потекло;
Сверкает солнце Франции, но тéни
Легли на гордое его чело.

Веселые примолкли парижане, —
Их не прельщает новой славы пир;
К ним близится герой военной брани,
Европы бич и Франции кумир.

Прах императора, сереброглавой
Толпою ветеранов окружен,
К Парижу движется, увитый славой,
Под грохот пушек и под плеск знамен.

Вновь гордая столица, как когда-то,
У ног кумира своего лежит;
Пусть горшая, чем некогда, расплата
Ей угрожает, — месть в душе кипит.

О музыка войны и смерти! — биться
Сильней сердцам французов ты велишь;
Не с тем же ль блеском после Аустерлица
Иль в дни Маренго он въезжал в Париж?

И как тогда сквозь строй толпы влюбленной
Скакал он, сжав немой и бледный рот,

Так ныне — прах, навеки просветленный —
Среди толпы он движется вперед.

Где гвардия? Где генерал Домбровский,
Непобедимый вождь своих полков?
И где лихой Мюрат? Где Понятовский?
Где маршал Ней, храбрец из храбрецов?

Могучих сонм стал жертвой рока злого,
Их громы Ватерлоо повергли в прах;
Остатки гвардии шагают здесь сурово,
Лишь Монтолон томится в кандалах.

Краса и цвет всей Франции — и старой,
И молодой — за гробом вслед идет;
Всеобща скорбь: республиканец ярый,
И тот со всеми вместе слезы льет.

Кто те, на чьем челе пылают рядом
Печать побед и горьких мук следы,
Чей стан так горд под траурным нарядом?
Знай: то поляков скорбные ряды.

И императора металл и камень
Приветствуют из арок и колонн,
В которых — тот же дерзновенья пламень,
Каким горел всю жизнь свою и он.

Мертв дом его, упала в прах корона,
Надменный сон рассеялся, как дым;
Как Александр, своим потомкам трона
Не завещав, лежит он недвижим.

Спит император, смолкла литургия;
Покрыты мглой торжественных теней
Стоят колонны, словно часовые;
Храм — над усопшим богом мавзолей.

Написано Ф. Энгельсом в декабре 1840 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» № 23, февраль 1841 г.

Подпись: Фридрих О.

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

«ВОСПОМИНАНИЯ» ИММЕРМАНА

ПЕРВЫЙ ТОМ. ГАМБУРГ, ГОФМАН И КАМПЕ. 1840 *

Известие о смерти Иммермана было тяжелым ударом для нас, жителей Рейнской области, не только вследствие значения его как поэта, но и как человека, хотя о личности Иммермана можно еще скорее, чем об Иммермане-поэте, сказать, что значение ее только начало по-настоящему проявляться. Он находился в своеобразном отношении к молодым литературным силам, недавно объявившимся на Рейне и в Вестфалии; ведь в литературном отношении Вестфалия и Нижний Рейн тесно связаны, несмотря на резкое до сих пор разделение в политическом отношении, и недаром «Rheinisches Jahrbuch» является объединяющим центром для авторов обеих провинций. Насколько Рейнская область сторонилась до сих пор литературы, настолько стараются теперь рейнские поэты выступить в качестве представителей своей родины, действуя при этом, если и не по единому плану, то все же с устремлением к *единой* цели. Подобное устремление редко обходится без центра в виде какой-либо сильной личности, которой подчиняются более молодые поэты, нисколько при этом не поступаясь своей самостоятельностью, — и этим центром для рейнских поэтов, казалось, готовился стать Иммерман. Несмотря на кое-какие предубеждения против жителей Рейнской области, он мало-помалу сроднился с ними; он открыто примирился с современным литературным направлением, к которому принадлежала вся молодежь; он проникся новыми, свежими веяниями, и его произ-

* Immermanns Memorabilien. Erster Band. Hamburg, Hoffmann und Campe. 1840. *Ред.*

ведения стали встречать все большее признание. Благодаря этому все более расширялся круг молодых поэтов, собиравшихся вокруг него и прибывавших к нему из соседних местностей; сколько раз, например, Фрейлиграт, когда он еще писал в Бармене фактуры и составлял текущие счета, захлопывал мемориал и гроссбух, чтобы провести день-другой в обществе Иммермана и дюссельдорфских художников! И вот Иммерман занял видное место в зарождавшихся кое-где мечтах о рейнско-вестфальской поэтической школе; он был связующим звеном между провинциальной и общегерманской литературой, пока не созрела слава Фрейлиграта. Кто способен разбираться в подобных взаимоотношениях и связях, для того это давно уже не составляло тайны; еще год назад Рейнхольд Кёстлин наряду с другими отмечал в «Europa», что Иммерману предстоит занять то место, которое занимал Гёте на склоне своих лет [131]. Смерть разбила все эти надежды и мечты о будущем.

Несколько недель спустя после смерти Иммермана появились его «Воспоминания». Но вполне ли уже созрел он для того, — ведь он был еще человеком средних лет, — чтобы писать свои собственные мемуары? Его судьба дает на этот вопрос утвердительный ответ, его книга — отрицательный. Но мы и не должны рассматривать «Воспоминания» как расчеты старца с жизнью, заявляющего тем самым о завершении своего жизненного пути. Иммерман подводил скорее итоги более раннему, исключительно романтическому периоду своей деятельности, и поэтому на его книге лежит, конечно, печать какого-то иного духа, чем на произведениях того периода. К тому же огромные перемены, происшедшие за последнее десятилетие, отодвинули описанные в ней события в такую даль, что даже ему, их современнику, они казались чем-то отошедшим в историческое прошлое. И все же, мне кажется, я вправе сказать, что десять лет спустя Иммерман сумел бы более свободно и широко охватить события своего времени и отнесся бы по-другому к освободительной войне — основному стержню своего повествования. Как бы то ни было, но «Воспоминания» приходится брать такими, какие они есть.

Если уже в «Эпигонах» прежний романтик стремился достичь вершин гётевской пластики и покоя, если «Мюнхгаузен» [132] уже целиком написан в современной поэтической манере, то посмертное произведение Иммермана показывает еще с большей ясностью, как высоко умел он ценить новейшие литературные достижения. Стиль, а вместе с тем и форма восприятия совершенно современные; только более продуманное содержание, более строгое распределение материала, резко выраженное своеобразие характеров и антисовременное, хотя и довольно

замаскированное, настроение автора выделяют эту книгу из массы описаний, характеристик, мемуаров, бесед, ситуаций, положений и т. д., которыми ныне насыщена наша литература, томящаяся по здоровой поэтической атмосфере. При этом у Иммермана достаточно такта, чтобы не так уж часто привлекать на форум рефлексии вещи, которые нуждаются в ином судилище, чем трибунал голого рассудка.

Темой лежащего перед нами первого тома является «Молодежь двадцать пять лет тому назад» и господствовавшие среди нее влияния. Во вступительном «Обращении» самым точным образом объясняется характер всего произведения. С одной стороны, современный стиль, современные словечки, даже современные принципы, а с другой — особенности автора, давно уже утратившие значение для широкого круга читателей. Иммерман пишет, как он довольно сухо отмечает, для современных немцев, для тех, кто одинаково далек от крайностей немецкого национализма и космополитизма; нацию он понимает в совершенно современном смысле и выдвигает предпосылки, которые, если их логически развить, привели бы к утверждению суверенности, как назначению народа; он решительно высказывается против «недостатка веры в себя, мании прислуживаться и унижаться»[133], которой страдают немцы. И все же наряду с этим у Иммермана особое пристрастие к пруссачеству, в пользу которого он может привести лишь очень слабые доводы, и такое холодное, равнодушное упоминание о конституционных стремлениях в Германии, которое совершенно ясно показывает, что Иммерман все еще никак не уразумел единства всех сторон современной духовной жизни. Мы ясно видим, что понятие «современное» ему вовсе не по душе, потому что он восстает против многих факторов этого «современного», хотя в то же время и не может отказаться от этого понятия.

Собственно мемуары начинаются с «Воспоминаний мальчика». Иммерман остается верен своему обещанию рассказывать лишь о тех моментах, когда «история совершала свое шествие через него»[134]. Вместе с ростом сознания мальчика нарастают и мировые события, возводится колоссальное здание, свидетелем падения которого ему пришлось быть. Волны истории, вначале бушевавшие вдали, в битве при Йене разрушают плотину Северной Германии, разливаются по самодовольной Пруссии, подтверждая теперь правильность изречения великого короля «Après moi le déluge» * также специально и для его государства[135], и затопляют в первую очередь родной

* — «После меня хоть потоп». *Ред.*

город Иммермана — Магдебург. Эта часть книги — лучшая. Иммерман более силен в повествовании чем в рассуждении, и ему отлично удалось изобразить отражение мировых событий в сердце отдельного человека. К тому же это как раз тот пункт, начиная с которого он открыто, — правда, только на время — примыкает к делу прогресса. Для него, как и для всех добровольцев 1813 г., Пруссия до 1806 г. представляет ancien régime * этого государства, но та же Пруссия после 1806 г., — с чем теперь менее охотно соглашаются, — совершенно возродившееся государство с новым порядком вещей. Но возрождение Пруссии — это особый вопрос. Первое возрождение Пруссии — дело великого Фридриха — так прославляли в связи с прошлогодним юбилеем, что нельзя понять, каким образом двадцатилетнее междуцарствие могло вызвать необходимость второго возрождения [136]. А затем нас уверяют, что, несмотря на двукратное огненное крещение, ветхий Адам в последнее время снова начал подавать заметные признаки жизни. Однако в рассматриваемом разделе Иммерман избавляет нас от прославлений status quo **, и лишь дальше мы увидим яснее, где расходятся пути Иммермана и нового времени.

«Молодежь, до вступления ее в общественную жизнь, воспитывают семья, школа, литература. Для того поколения, о котором идет речь, четвертым средством воспитания являлся еще деспотизм. Семья лелеет молодежь, школа изолирует ее, а литература опять выводит на простор; деспотизм же дал нам начала характера» [137].

Часть книги, содержащая размышления, составлена на основе этой схемы, которую нельзя не одобрить, так как большим преимуществом ее является возможность рассматривать ход развития сознания в последовательной смене его ступеней. — Раздел книги, посвященный семье, вполне хорош, пока речь идет о *старой* семье, и остается только пожалеть, что Иммерман не попытался связать в одно целое светлые и теневые стороны. Все его замечания здесь в высшей степени удачны. Но зато его взгляд на *новую* семью опять-таки показывает, что он все еще не освободился от старых предубеждений и от недовольства явлениями последнего десятилетия. Конечно, «патриархальное благодушие», удовлетворенность домашним очагом все более уступают место недовольству, неудовлетворенности радостями семейной жизни, но зато все более исчезает и филистерство патриархального быта, ореол ночного колпака, — и указываемые Иммерманом почти совсем правильно,

---

* — старый порядок. *Ред.*

** — существующего положения. *Ред.*

хотя и слишком резко, причины недовольства как раз и являются симптомами еще борющейся, незавершенной эпохи. Век, предшествовавший чужеземному господству, был завершен и как таковой носил на себе печать покоя, но также и бездеятельности; он влачил свое существование, тая в себе зародыш разложения. Наш автор мог бы сказать совсем кратко: новая семья не может освободиться от некоторого чувства неудобства потому, что к ней предъявляются новые требования, которые она не умеет еще сочетать со своими собственными правами. Общество, как соглашается и Иммерман, стало другим; появился совершенно новый момент — общественная жизнь; литература, политика, наука — все это проникает теперь глубже в семью, и ей трудно разместить всех этих чужих гостей. В этом все дело! В семье еще слишком сильны старые обычаи, чтобы столковаться и наладить хорошие отношения с пришельцами, и все-таки здесь возрождение семьи безусловно происходит; мучительный процесс должен быть, наконец, пройден, и мне кажется, что старая семья действительно нуждается в этом. Впрочем, Иммерман изучал современную семью как раз в самой оживленной, особенно подверженной современным влияниям части Германии, на Рейне, а здесь ведь всего резче сказалось недовольство, вызываемое переходным процессом. В провинциальных городах центральной Германии старая семья все еще продолжает существовать под сенью единоспасающего шлафрока; общество находится здесь еще на уровне 1799 года; от общественной жизни, литературы, науки отделываются с полным хладнокровием и спокойствием, и никто не позволяет выбить себя из привычной колеи. — В подтверждение сказанного им о старой семье автор приводит еще «педагогические анекдоты» и затем заканчивает повествовательную часть своей книги главой о «дяде», характерной фигуре старого времени. Воспитание, получаемое подрастающим поколением в семье, закончено; молодежь бросается в объятия науки и литературы. Здесь начинаются менее удавшиеся части книги. Что касается ученического периода, то он протекал у Иммермана в то время, когда душа всякой науки, философия, и основа знаний, преподносимых юношеству, — изучение древности, находились в процессе головокружительного преобразования, и Иммерману не посчастливилось в качестве ученика до конца участвовать в этом перевороте: когда последний завершился, он давно уже окончил школу. Сначала Иммерман ограничивается только указанием на то, что обучение в те годы было односторонним, и лишь в дальнейшем он восполняет картину и в особых разделах останавливается на наиболее влиятель-

ных умах своего времени. По поводу Фихте он пускается в философию, что может показаться нашим представителям философской мысли довольно странным. Он вдается здесь в остроумные рассуждения о предмете, для понимания которого недостаточно остроумия и поэтической наблюдательности. Как ужаснутся наши строгие гегельянцы, прочитав здесь изложение истории философии на трех страницах! И нужно признать, что трудно говорить о философии более дилетантским образом, чем это делается здесь. Уже первое положение его, будто философия всегда колеблется между двумя точками, отыскивая достоверное или в вещи или в «Я», написано, очевидно, в угоду следованию фихтевского «Я» за кантовской «вещью в себе»; и если это положение еще с трудом можно приложить к Шеллингу, то оно ни в коем случае неприменимо к Гегелю. — Сократ назван воплощением мышления, и именно поэтому за ним не признается способности создать свою систему; в нем якобы соединились чистая доктрина с непосредственным проникновением в эмпирию, а так как подобное сочетание оказалось за пределами понятия, то Сократ мог проявиться только как личность, но не как создатель особого учения. Разве такие положения не должны привести в величайшее смущение поколение, выросшее под влиянием Гегеля? Не прекращается ли всякая философия там, где согласованность мышления и эмпирии «выходит за пределы понятия»? Какая логика сможет удержаться там, где отсутствие системы признается необходимым атрибутом «воплощения мышления»?

Но зачем следовать за Иммерманом в область, которой он сам хотел коснуться лишь мимоходом? Достаточно указать на то, что он так же мало способен связать философию Фихте с его личностью, как и справиться с философскими положениями прошлых веков. Зато он опять-таки превосходно рисует характер Фихте как оратора, обращавшегося к немецкой нации, а также ярого проповедника гимнастики Яна. Эти характеристики проливают больше света на действующие силы и идеи, в сфере которых находилась тогдашняя молодежь, чем пространные рассуждения. Даже там, где Иммерман говорит о литературе, мы с бо́льшим интересом читаем об отношении «молодежи двадцать пять лет тому назад» к великим поэтам, чем слабо обоснованное рассуждение о том, что немецкая литература в отличие от всех ее сестер имеет современное неромантическое происхождение. Нельзя не считать искусственной попытку искать у Корнеля романтически-средневековые корни или же видеть у Шекспира многое от средневековья помимо сырого материала, который он оттуда заимствовал. Не дает ли

себя знать здесь, быть может, не совсем чистая совесть бывшего романтика, желающего избавиться от упрека в сохранившемся еще скрытом романтизме?

Раздел о деспотизме — именно наполеоновском — также не встретит одобрения. Гейневский культ Наполеона чужд народному сознанию, но вряд ли кому придется по душе, что Иммерман, претендующий здесь на беспристрастие историка, говорит как оскорбленный пруссак. Он, разумеется, чувствовал, что тут необходимо подняться над национально-германской и, особенно, прусской точкой зрения; поэтому он весьма осторожен в выражениях, пытается, насколько возможно, приспособиться к современному образу мыслей и решается говорить лишь о мелочах и второстепенных вещах. Но постепенно он становится более смелым, признается, что не вполне понимает, почему Наполеона причисляют к великим людям, рисует законченную систему деспотизма и доказывает, что в этом ремесле Наполеон был изрядным тупицей и бездарностью. Однако не таким путем можно понять великих людей.

Таким образом, Иммерман — если не говорить об отдельных мыслях, опередивших его убеждения, — во всяком случае в основном, чужд современному сознанию. Но все же его нельзя зачислить ни в одну из тех партий, на которые принято делить духовный status quo Германии. Он определенно отвергает то направление, к которому как будто наиболее близок, — тевтономанию. Известный иммермановский дуализм проявился в его образе мыслей, с одной стороны, как пруссачество, с другой — как романтика. Но первое постепенно вылилось у него в самую бездушную механически размеренную прозу, главным образом оттого, что он был чиновником, а вторая — в какую-то безмерную чувствительность. Пока Иммерман оставался на этой позиции, он не мог добиться настоящего признания и должен был все более и более убеждаться в том, что направления эти не только представляют полярные противоположности, но и становятся все более безразличными сердцу нации.

Наконец, он отважился на некоторый шаг вперед в области поэзии и написал «Эпигонов». И едва только это произведение покинуло лавку книгоиздателя, как оно дало своему автору возможность понять, что препятствием к всеобщему признанию его таланта со стороны нации и молодой литературы являлось только его прежнее направление. «Эпигоны» почти повсюду были оценены по достоинству и дали повод к такой резкой критике характера их автора, к которой Иммерман до сих пор не привык. Молодая литература, — если применить это название к фрагментам того, что еще никогда не было целым, —

первая признала значение Иммермана и по-настоящему познакомила нацию с поэтом. Вследствие все обострявшегося расхождения между пруссачеством и романтической поэзией и сравнительно малой популярности своих произведений Иммерман внутренне был раздражен, и на его произведениях непроизвольно выступала все более заметно печать суровой изолированности. Теперь, сделав некоторый шаг вперед, он обрел вместе с признанием иной, более свободный и веселый дух. Снова воскресло прежнее юношеское воодушевление, и в «Мюнхгаузене» у Иммермана намечается уже перелом к примирению с практически-рассудочной стороной характера. Свои романтические симпатии, все еще крепко владевшие им, он утолил «Гисмондой» и «Тристаном»; но какая разница по сравнению с прежними романтическими сочинениями, сколько в них пластичности, в особенности, по сравнению с «Мерлином»! [138]

Вообще романтика была для Иммермана только формой; от мечтательности романтической школы его спасала трезвость пруссачества, но последняя, с другой стороны, сделала его в известной мере неприязненным по отношению к современному развитию. Известно, что Иммерман, хотя и был в религиозном отношении очень свободомыслящим человеком, в политическом отношении являлся слишком ревностным приверженцем правительства. Правда, благодаря своему отношению к молодой литературе он стал ближе к политическим стремлениям века и стал рассматривать их под другим углом зрения; между тем, как показывают «Воспоминания», пруссачество сидело в нем еще весьма крепко. Все же именно в этой книге встречается немало высказываний, так резко контрастирующих с основными воззрениями Иммермана и так тесно связанных с современной основой, что приходится признать значительное влияние на него современных идей. «Воспоминания» определенно свидетельствуют об усилиях их автора идти в ногу со своим временем, и, кто знает, может быть, поток истории и размыл бы постепенно плотину консерватизма и пруссачества, за которой укрылся Иммерман?

И еще одно замечание! Иммерман говорит, что характер той эпохи, которую он описывает в «Воспоминаниях», был по преимуществу юношеским: зазвучали юношеские мотивы, выступили на первый план юношеские настроения. Но разве не то же самое наблюдается в нашу эпоху? Старое литературное поколение вымерло, молодежь завладела словом. Наше будущее зависит, больше чем когда бы то ни было, от подрастающего поколения, ибо ему придется разрешать все более возрастающие противоречия. Правда, старики страшно жалуются на

молодежь, и действительно, она очень непослушна; но пусть молодежь идет своим путем; она найдет свою дорогу, а тот, кто заблудится, будет сам виноват в этом. Ведь пробным камнем для молодежи служит новая философия; требуется упорным трудом овладеть ею, не теряя в то же время молодого энтузиазма. Кто страшится лесных дебрей, в которых расположен дворец идеи, кто не пробивается через них при помощи меча и не будит поцелуем спящей царевны, тот недостоин ее и ее царства; пусть идет куда хочет, пусть станет сельским пастором, купцом, асессором или чем ему угодно, пусть женится, наплодит детей с благословения господня, но век не признает его своим сыном. Не обязательно для этого стать старогегельянцем, забрасывать вас терминами «в себе» и «для себя», «целокупность» и «этость», но не надо бояться работы мысли, ибо подлинен лишь тот энтузиазм, который, подобно орлу, не страшится мрачных облаков спекуляций и разреженного воздуха вершин абстракции, когда дело идет о том, чтобы лететь навстречу солнцу истины. А в этом смысле и современная молодежь прошла школу Гегеля; и не одно зерно освободившейся от сухой шелухи системы пышно взошло затем в юношеской груди. Но это и дает величайшую веру в современность, в то, что судьба ее зависит не от страшащегося борьбы благоразумия, не от вошедшего в привычку филистерства старости, а от благородного, неукротимого огня молодости. Будем же поэтому бороться за свободу, пока мы молоды и полны пламенной силы; кто знает, окажемся ли мы еще способными на это, когда к нам подкрадется старость!

Написано Ф. Энгельсом в начале 1841 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 53, 54 и 55; апрель 1841 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

[КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ БРЕМЕНА]

ЦЕРКОВНЫЙ СПОР *

Бремен, январь

Вместе с истекшим годом наши споры о церковных делах в основном закончились. Во всяком случае, еще ожидаемые в настоящий момент полемические статьи не могут больше рассчитывать на то внимание со стороны широкой публики, которым они пользовались раньше. Больше не будет того, что происходило прежде, когда за неделю расхватывалось несколько изданий. А ведь подобные споры рассчитаны главным образом на участие народа. Не может же претендовать на чисто научный интерес такой вопрос, который имеет значение лишь на почве направлений, давно отвергнутых наукой. — Пастор Паниель возместил задержку выхода в свет своей работы, направленной против круммахеровской «Богословской реплики» [110], ее солидным объемом [111]. На десяти листах он обрушивается на своего противника. В предисловии он объясняет, что хочет ответить на возможные дальнейшие нападки ссылками на историю пиетизма [9] и доказать, что это направление берет свой исток в язычестве. Разумеется, этот источник должен быть чем-то вроде источника Аретузы [139], который долго бежал под землей, прежде чем вышел наружу на христианской почве. В остальном он использует против своего противника право на реторсию, честно возвращая ему, помимо тех обычных упреков, которые произносятся в адрес пиетизма, почти каждое бранное слово. Таким образом, вся борьба свелась в конечном счете к словесным дрязгам; полуистинные утверждения перебрасываются, как мячи, то туда, то сюда и в конечном счете

* Ср. настоящий том, стр. 101—102 и 106—108. *Ред.*

сводятся, видимо, к определению понятий, то есть к тому, что должно было бы быть сделано до начала спора. Однако рационализм [106] всегда оказывается в таком положении перед лицом ортодоксии. Этим он обязан своей промежуточной позиции, стоя на которой, он хочет выступать то в качестве нового развития христианского духа, то в качестве его первоначальной формы, и в обоих случаях присваивает, хотя и с измененным значением, библейские термины ортодоксии. Рационализм нечестен и по отношению к самому себе и по отношению к библии; такие понятия, как откровение, спасение и вдохновение, приобретают в его устах крайне неопределенное и искаженное значение. — Рассудочную сухость рационализма Паниель вознес на редкую высоту. С ужасной, скорее вольфовской, чем кантовской логикой он почитает своей величайшей заслугой резко выделять все членения своей работы. Его аргументация — это не живая плоть, облегающая логический скелет, а пропитанные расслабленной сентиментальностью тряпки, которые он вывесил для просушки на всех торчащих углах церковного здания. Ибо эти водянистые экскурсы, по которым, вопреки содержащимся в них религиозным ортодоксальным лозунгам, каждый узнает рационалиста, Паниель тоже очень любит; он только не может сплавить их воедино с сухостью своих рассуждений и поэтому часто бывает вынужден прерывать поток прекрасных фраз выражениями: во-первых, во-вторых и в-третьих. Нет ничего противней безвкусной слащавости, когда она проступает на каждом шагу. Наиболее интересными во всей книге являются выдержки из произведений Круммахера, в которых отчетливо проступает грубый образ мыслей этого человека. — Решительность, с которой выступил здесь рационализм, побудила проповедников противной партии к совместному заявлению, изданному в виде брошюры и подписанному двадцатью двумя проповедниками [140]. Брошюра содержит основы ортодоксии в последовательном изложении и с полуприкрытой ссылкой на эпизоды происходящего спора. Намечавшееся выступление в печати семи проповедников-рационалистов еще не последовало. Но ошибутся те, кто по соотношению числа проповедников будут судить о соотношении партий среди публики.

Большинство проповедников-пиетистов состоит из приходских священников нашей области, которые получили свои места частично благодаря временному перевесу своей партии, частично благодаря умеренному непотизму. Зато среди публики число рационалистов по сравнению с пиетистами по меньшей мере одинаково, и им не хватало лишь энергичного представи-

теля, который разъяснил бы им их положение в обществе. С этой стороны Паниель неоценим для своих сторонников; он обладает мужеством, решительностью, а в некоторых областях и достаточной ученостью, и ему недостает лишь писательского и риторического таланта, чтобы создать что-нибудь значительное. За последнее время появилось много брошюрок, большей частью анонимных, которые, однако, не повлияли на настроение публики. Несколько дней тому назад вышла из печати брошюра «Непиетистские рифмы» [141] размером в один печатный лист, но она не делает особой чести своему автору и о ней следует упомянуть лишь из любопытства. Главный глашатай бременских пиетистов, талантливый проповедник Ф. Л. Маллет, обещал публике брошюру «Доктор Паниель и библия», но даже она вряд ли обратит на себя внимание противной партии, так что борьбу можно считать законченной и подытожить ее перипетии с общей точки зрения как нечто завершенное. — Нужно признать, что на этот раз пиетизм действовал более умело, чем его противник. Вначале у него были и кое-какие преимущества перед рационализмом, а именно: двухтысячелетний авторитет и все же научное, хоть и одностороннее, развитие с помощью современных ортодоксальных и полуортодоксальных богословов. В то же время рационализм даже в период своего расцвета находился между двух огней и был атакован одновременно Толуком и Гегелем. Рационализм никогда не мог занять ясную позицию по отношению к библии; он отличался злосчастной половинчатостью, которая сначала, казалось, категорически признавала веру в откровение, но в своих дальнейших выводах настолько ограничивала божественность библии, что от нее почти ничего не оставалось. Эти колебания ставят рационализм в невыгодное положение всякий раз, когда речь заходит о библейском обосновании его теоретических положений. К чему прославлять разум и в то же время не провозглашать его автономии? Ведь в тех случаях, когда обе стороны признают библию, как общую основу, правота всегда на стороне пиетизма. Но, кроме того, на сей раз на стороне пиетизма был также и талант. Такой человек, как Круммахер, способен в отдельных случаях допустить безвкусицу, но он никогда не сможет заполнять целые страницы ничего не значащими фразами, как это делает Паниель. Наилучшим из того, что написали рационалисты, были «Анафемы», автором которых признал себя *В. Э. Вебер* [109]. Когда-то Г. Шваб сказал о Штраусе, что он выделяется из толпы противников позитивного [142] удивительно тонким чувством прекрасного во всех его проявлениях. С помощью аналогичной характеристики я хотел бы

выделить В. Э. Вебера из рационалистической черни. Он расширил свой кругозор редкими познаниями греческих и немецких классиков, и хотя с некоторыми его утверждениями, в частности, с догматическими, не всегда можно согласиться, свобода его мысли, благородная энергичная манера изложения — все это должно найти признание. Недавно выпущенная против него полемическая брошюра лишена всех этих свойств. Только что вышла другая брошюра «Апостол Павел в Бремене» [143], написанная не без остроумия и содержащая пикантные намеки на политические и социальные отношения в Бремене, но и она решает что-либо не в большей степени, чем уже упомянутые. — Для Бремена этот спор имел особенно большое значение. Прежде партии выступали друг против друга без всякого смысла, и дело не шло дальше мелочных придирок. Пиетизм стремился к своим собственным целям, в то время как рационализм мало о нем заботился и именно поэтому имел о своем противнике ряд превратных представлений. В министериуме, то есть в узаконенном собрании всех реформатских и униатских проповедников города, рационализм был представлен до сих пор лишь двумя и то очень робкими членами. Паниель сразу же после своего приезда выступил более решительно, и уже донесся слух о разногласиях в министериуме. Теперь, с той поры как Круммахер раздул этот спор, каждая партия знает, чего она хочет. Пиетизм давно понимал, что его принцип авторитета не может согласоваться с основой рационализма — разумом, и справедливо видел в этом течении уже при его возникновении отход от староортодоксального христианства. Теперь же и каждый рационалист тоже понял, что его убеждения не просто отделены от пиетизма иным толкованием текста, а находятся в прямом противоречии с ним. И только сейчас, когда партии взаимно узнали друг друга, может произойти их объединение на более высокой основе, в связи с чем можно спокойно ожидать будущего.

ОТНОШЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ. МУЗЫКА

Бремен, январь

Можно подумать, что ганзейские города теперь насильно вовлечены в поток литературы. С той поры как появились «Очерки» Бёйрмана [144], дождем сыплются рецензии на этот и в самом деле интересный материал. Сам Бёйрман в «Германии и немцах» [145] отвел трем вольным приморским городам значительное место. Журнал «Freihafen» напечатал «Ганзейские письма» Зольтведеля [146]. Гамбург уже с давних времен занимает определенное

место в немецкой литературе; Любек лежит несколько в стороне, да и в экономическом отношении времена его расцвета остались далеко позади; однако А. Зольтведель собирается и там основать сейчас журнал. Бремен взирает на литературу с недоверием, поскольку по отношению к ней его совесть не совсем чиста, и обычно его затрагивают в ней не слишком нежно. И все же нельзя отрицать, что именно Бремен, благодаря его положению и политической обстановке в нем, в большей степени, чем любой другой город, пригоден для того, чтобы стать центром просвещения северо-западной Германии. Если бы только удалось перетянуть сюда двух или трех способных литераторов, здесь можно было бы основать журнал, который имел бы огромнейшее влияние на развитие культуры Северной Германии. Бременские книготорговцы достаточно предприимчивы, и я слышал уже от многих из них, что они охотно выделили бы необходимые фонды и согласились бы нести вероятные убытки первых лет издания.

Наиболее сильной стороной Бремена является музыка. В немногих городах Германии занимаются музыкой так много и так хорошо, как здесь. В Бремене образовалось сравнительно большое количество хоровых объединений, а частые концерты всегда хорошо посещаются. К тому же здесь почти в полной чистоте сохранился хороший музыкальный вкус; наибольшей популярностью пользуются немецкие классики — Гендель, Моцарт, Бетховен, а из новых — Мендельсон-Бартольди и лучшие композиторы-песенники. Новофранцузская и новоитальянская школы имеют поклонников почти исключительно лишь среди молодых конторщиков. Было бы только желательно, чтобы меньше отодвигали на задний план Себастьяна Баха, Глюка и Гайдна. При этом здесь ни в коей мере не отказываются от новых имен. Наоборот, мало найдется мест, где произведения молодых немецких композиторов исполняются с такой охотой, как здесь. Тут можно также всегда встретить имена, известные музыкальному миру с самой лучшей стороны. Талантливый композитор-песенник Штегмайер дирижировал несколько лет оркестром нашего театра. На его место пришел Космали, который отчасти своими произведениями, отчасти статьями, главным образом в журнале Шумана «Neue Zeitschrift für Musik», видимо, приобрел многих друзей. Столь же признанным композитором является Рим, дирижирующий хоровой капеллой и большинством концертов. Рим очень любезный старик с юношеской пылкой душой; никто, кроме него, не умеет так зажечь певцов и оркестрантов и вдохнуть жизнь в их исполнение.

НИЖНЕНЕМЕЦКОЕ НАРЕЧИЕ

Бремен, январь

Первое, на что обращает здесь внимание приезжий, это употребление нижненемецкого наречия даже в самых видных семьях. Лишь только бременец переходит на сердечный, конфиденциальный тон, он начинает изъясняться на нижненемецком наречии. Он так привержен к этому диалекту, что переносит его даже за океан. На гаванской lonja * на бременском нижненемецком наречии говорят не меньше, чем по-испански. Я знаю людей, которые в Нью-Йорке и Веракрусе в совершенстве научились у проживающих там многочисленных бременцев диалекту их родного города. Но ведь не прошло и трех сотен лет с тех пор, как верхненемецкое наречие было объявлено официальным языком. Основные законы города — *Скрижали* и *Новое соглашение* [147] — составлены на нижненемецком языке, и первые звуки, которые учится здесь произносить младенец, произносятся на нем. Ребенок редко начинает говорить на верхненемецком языке до четырех или пяти лет. Крестьяне области никогда ему не учатся и тем самым часто заставляют суды вести заседание на нижненемецком наречии, а протоколы писать на верхненемецком. Кстати, нижнесаксонское наречие здесь сохранилось еще в довольно чистом виде и осталось полностью свободным от примеси верхненемецких форм, которая искажает гессенский и рейнский диалекты. В североганноверском диалекте несколько больше архаизмов, чем в бременском, однако он гораздо более страдает разнообразными местными наслоениями; вестфальский совсем потерялся в ужасающей широте дифтонгов, а к западу от Везера начинается переход к фризскому диалекту. Бременский говор можно спокойно считать за свободное от примесей дальнейшее развитие старого нижнесаксонского письменного языка. Народный язык настолько чувствителен, что, воспринимая верхненемецкие слова, он постоянно преобразует их по звуковым законам нижнесаксонского наречия. Такой способностью обладают сейчас лишь немногие народные нижнесаксонские диалекты. Язык «Рейнеке Лиса» [148] отличается от современного диалекта лишь более полными формами, в настоящее время претерпевшими стяжение, в то время как корни слов, за немногим исключением, все еще сохранили свою жизненность. И поэтому правильно поступили языковеды, когда они рассматривали «Бременский словарь» в лексическом отношении, как средний итог современных

---

* — бирже. *Ред.*

нижнесаксонских наречий. Создание грамматики бременского диалекта, с учетом говоров между Везером и Эльбой, было бы очень ценной работой. Многие здешние ученые проявили интерес к нижненемецкому наречию, и было бы желательно, чтобы один из них взял на себя эту работу.

Написано Ф. Энгельсом в январе 1841 г.

Напечатано без подписи в газете «Morgenblatt für gebildete Leser» №№ 13, 14, 15 и 16; 15, 16, 18 и 19 января 1841 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

СКИТАНИЯ ПО ЛОМБАРДИИ [149]

I
ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ!

Слава богу, Базель уже позади! Такой скучный город, переполненный праздничными сюртуками, треуголками, филистерами, патрициями и методистами, в котором нет ничего свежего и крепкого, кроме деревьев вокруг кирпично-красного собора да красок на гольбейновских «Страстях господних», висящих среди других картин в здешней библиотеке; такое захолустье со всеми уродствами средневековья, но без его красот, не может понравиться юной душе, которую волнуют мечты о швейцарских Альпах и Италии. Быть может, переход от Германии к Швейцарии, от мягкого, обрамленного виноградниками маркграфства баденского к Базелю для того так безнадежно уныл, чтобы после него впечатление от Альп стало особенно глубоким? А местность, которую мы теперь проезжаем, отнюдь не самая прекрасная. Справа — последние отроги Юры, хотя зеленые и свежие, но лишенные особого характера; слева — узкий Рейн, который как будто тоже испытывает страх при виде Базеля, — так медленно течет он по долине; а по ту сторону Рейна — еще кусочек Германии. Мало-помалу мы удаляемся от зеленых берегов реки, дорога идет в гору, и мы поднимаемся на самый крайний хребет Юры, вклинившийся между Ааре и Рейном. Сразу меняется весь ландшафт. Перед нами залитая солнцем веселая долина — нет: три, четыре долины; Ааре, Рёйс, Лиммат, видимые на далекое расстояние, извиваются меж холмов и сливаются друг с другом; села и городки обступают их берега, а вдали, за рядами передних холмов, поднимается одна горная цепь за другой, как скамьи гигантского амфитеатра; сквозь туман, реющий над самыми

отдаленными зубцами, тут и там сверкает снег, а над множеством вершин возвышается Пилат, словно он вершит суд, как некогда прокуратор Иудеи, давший ему имя. Это — Альпы!

Быстро спускаешься под гору, и лишь теперь, вблизи Альп, замечаешь, что ты в Швейцарии. Вместе с швейцарской природой появляются швейцарские костюмы и постройки. Язык звучит красивее и одухотвореннее, чем базельский диалект, которому удобство патрицианской городской жизни сообщило какую-то материальную тяжеловесную растянутость; лица здесь становятся более свободными, открытыми, живыми, треуголка уступает место круглой шляпе, сюртук с длинными болтающимися фалдами — короткой бархатной куртке. — Городок Бругг скоро остается позади нас, и мы, продолжая путь, пересекаем быстрые, окаймленные зелеными берегами реки; на лету охватывая взором множество очаровательных, быстро сменяющихся видов, мы покидаем Ааре и Рёйс вместе с Габсбургом, развалины которого выглядывают с покрытой лесом вершины, и въезжаем в долину Лиммата, с которой уже не расстанемся до Цюриха.

В Цюрихе я должен был пробыть день, а по пути в обетованную страну немецкой молодежи остановка на день — уже значительный срок. Чего мог я ждать от Цюриха? Оправдала ли бы себя эта задержка в пути? Признаюсь: со времени сентябрьской истории, со времени победы пфеффиконских стражей Сиона [150] я не мог представить себе Цюрих иначе, как вторым Базелем, и с ужасом думал о потерянном дне; об озере я по простоте душевной и не подумал, тем более что ливни, которые после многих солнечных дней настигли меня, наконец, между Базелем и Цюрихом, сулили мне дождливый день. Но когда, пробудившись, я увидел голубое утреннее небо над залитыми солнцем горами, я быстро вскочил и поспешил на улицу. Бродя наугад, я подошел к чему-то вроде террасы, окруженной насаждениями и увенчанной старыми деревьями. Из надписи на деревянной доске я узнал, что предо мной общественный парк, и бодро поднялся наверх. Тут я увидел перед собой озеро, сверкавшее в утреннем сиянии, дымившееся ранним туманом и окруженное покрытыми густым лесом горами. В первое мгновение я не мог отделаться от наивного изумления перед тем, что существует такая поразительно красивая местность. Один любезный житель Цюриха, к которому я обратился, сказал мне, что с вершины Ютлиберга открывается такой чудесный вид, что цюрихские жители называют свою гору маленьким Риги, — и не совсем без основания. Я взглянул на вершину, — она была самой высокой из цепи Альбиса, тянувшейся по юго-

западной стороне озера, и вообще выше всех окрестных гор. Я осведомился о дороге и, не мешкая, пустился в путь. После полуторачасового пути я был наверху. Здесь озеро расстилалось предо мной во всю свою длину, сверкая пестрыми переливами зеленых и голубых красок, с городом и бесчисленными домами на своих холмистых берегах, а там, по ту сторону Альбиса, виднелась долина с зелеными лужайками, к которой с гор спускались светлые дубняки и темные ельники, — зеленое море с волнами холмов, среди которых дома выделялись подобно кораблям, на юге же, у горизонта, тянулась сверкающая цепь глетчеров, от Юнгфрау до перевалов Септимер и Юлия; а сверху, с синего неба, майское солнце изливало потоки своих лучей на празднично украшенный мир, так что озеро, поля и горы сверкали одно другого ярче, и не было конца великолепию.

Устав от созерцания, я вошел в деревянный дом, стоящий на вершине, и попросил, чтобы мне дали чего-нибудь выпить. Мою просьбу удовлетворили и вместе с тем вручили книгу для гостей. Всем известно, чтó можно найти в подобных книгах; каждый филистер считает, что здесь он может себя увековечить, и пользуется случаем, чтобы передать потомству свое никому неведомое имя и одну из своих в высшей степени тривиальных мыслей; чем он ограниченнее, тем более длинными замечаниями сопровождает он свое имя. Купцы стремятся доказать, что наряду с кофе, ворванью или хлопком в их сердце сохранено местечко для красавицы-природы, которая создала все это и в придачу золото; женщины изливают в них потоки своих чувств, студенты — свою веселость и свою насмешливость, а умудренные знаниями и опытом школьные учителя выдают природе высокопарный аттестат зрелости. «Чудный Ютлиберг, опасный соперник Риги!» — так начал свое цицероновское обращение какой-то доктор несвободных искусств. Я с раздражением перевернул страницу и не стал читать всех этих немцев, французов и англичан. И вдруг мне на глаза попался сонет Петрарки на итальянском языке *, который в переводе звучит приблизительно так:

Я поднят был мечтой к жилищу милой.
Та, что ищу я на земле напрасно,
Мне ласковой и ангельски прекрасной
Предстала в сфере третьего светила.

Дав руку мне, она проговорила:
«Нас здесь разъединить судьба не властна;

* Sonetti di Petrarca, in morte, 261.

Я — та, что мучила тебя всечасно
И до заката день свой завершила.

Ах, людям не понять, как я блаженна!
Тебя лишь жду и мой покров, тобою
Любимый и оставшийся в юдоли».

Зачем она умолкла так мгновенно?
Еще бы звук, — и, прелестью святою
Пронзен, я б с неба не вернулся боле [151].

Вписал его в книгу некий Иоахим Трибони из Генуи; я сразу почувствовал в нем друга, ибо чем бессодержательнее и бессмысленнее были остальные излияния, тем резче выступал сонет на этом фоне, тем сильнее захватил он меня. Кто ничего не чувствует там, где природа раскрывается во всем своем великолепии, где дремлющая в ней идея если и не пробуждается, то как будто видит золотые сны, кто способен лишь на такое восклицание: «как ты прекрасна, природа!» — тот не вправе считать себя выше обыкновенной серой и плоской толпы. Напротив, у более глубоких натур при этом выступают наружу личные горести и страдания, но лишь для того, чтобы потонуть в окружающем великолепии и раствориться в кротком примирении с жизнью. Это чувство примирения едва ли могло найти себе лучшее выражение, чем в приведенном сонете. Но еще одно обстоятельство сблизило меня с генуэзцем. Уж *кто-то* до меня принес на эту вершину свою любовную печаль, и я стоял здесь не один, с сердцем, которое месяц тому назад было так бесконечно счастливо, а ныне чувствовало себя опустошенным и разбитым. И какая скорбь имеет большее право излиться перед лицом прекрасной природы, как не самое благородное, самое возвышенное из всех личных страданий — страдание любви?

Я еще раз окинул взором зеленые долины и спустился с горы, чтобы внимательнее рассмотреть город. Он расположен амфитеатром вокруг узкого рукава озера и, если смотреть на него с воды, представляет вместе с окружающими его деревнями и виллами столь же очаровательное зрелище. И улицы щеголяют красивыми новыми зданиями. Но это положение вещей существует не так давно, как я установил вечером из разговора с одним стариком-путешественником, который не мог достаточно надивиться, до какой степени похорошел старый Цюрих за последние шесть лет и какой блеск придало предыдущее правительство внешнему облику республики постройкой общественных зданий. Теперь, когда известная партия систематически забрасывает грязью труп этого правительства, уместно

напомнить, что оно при жизни своей не только проявило исключительное в наше время мужество, призвав в университет такого человека, как *Штраус,* но с честью выполнило и другие свои обязанности.

На следующее утро мы двинулись дальше на юг. Сперва дорога шла вдоль всего озера до Рапперсвиля и Шмерикона — чудесный путь через сады, виллы и живописно расположенные, окруженные виноградниками деревни; по ту сторону озера — длинный темно-зеленый хребет Альбиса с его пышным предгорьем, а по направлению к югу, где горы расступаются, — ослепительные пики Гларнских Альп. Посреди озера всплывает остров Уфнау, могила Ульриха фон Гуттена. Так бороться за свободную идею и так отдыхать от бранных трудов, — блажен, кто этого удостоился! Вокруг могилы героя шумят зеленые волны озера, словно гул далекой битвы и боевой клич, а на страже стоят закованные в лед, вечно юные великаны — Альпы! И сюда в качестве представителя германской молодежи приходит паломником Георг Гервег, чтобы возложить на могилу свои песни, в которых прекраснее, чем где бы то ни было, выражены чувства, воодушевляющие новое поколение. Какие памятники и статуи могут сравниться с ними?

В Уцнахе, куда свернула дорога, после того как она отдалилась от озера, была ярмарка, и империал почтовой кареты, где я до сих пор сидел один, наполнился ярмарочными гостями, которые постепенно поддались действию проведенной без сна ночи и, задремав, предоставили меня моим размышлениям. Мы оказались в чудной долине: мягко очерченные холмы, покрытые лесом и зелеными лужайками, окружали нас; впервые увидел я здесь на близком расстоянии своеобразные оттенки зелени швейцарских лесов, наполовину лиственных, наполовину хвойных, и не в состоянии передать того глубокого впечатления, которое на меня произвело все это. Сочетание листвы и хвои, ярко выявляющее как светлые, так и темные оттенки зелени, придает даже однообразным ландшафтам необычайную прелесть, и если в данном случае расположение гор и долины тоже не отличалось оригинальностью, то все же поражало, что можно встретить местность, почти вся красота которой основана на колорите; зато она и была тем более прекрасна. Величие и строгость природы мне пришлось созерцать еще не раз, прежде чем я поднялся на вершину альпийского хребта; но эту мягкость и прелесть пейзажа я вновь увидел лишь на итальянском склоне.

Скоро, однако, я очутился у подножия более высоких гор, вершины которых, хотя они и находятся ниже снеговой линии,

еще теперь, в мае, были белы от снега. То через узкие, то через более широкие долины дорога шла вдоль канала, соединяющего Цюрихское озеро с Валленштедтским. Это последнее скоро открылось моему взору. Здесь характер местности совсем иной, чем у Цюрихского озера. Почти неприступным лежит водоем между крутыми скалами, которые поднимаются прямо из воды и лишь при входе и выходе оставляют узкое отверстие. Плохонький пароход принял пассажиров, и скоро за сдвинувшимися горами исчез Везен — городок, где мы пересели на пароход. Все следы человеческой деятельности остались позади, одинокий пароход все дальше и дальше углублялся в живописную чащу, в тихое царство природы; в ярком солнечном свете сверкали зеленые гребни волн, снежные вершины гор и низвергавшиеся с них то там, то здесь водопады; из-за серовато-белого гранита скал иногда показывались веселые лужайки и лесные прогалины; тонкая пелена тумана, поднимавшаяся над озером, превращалась вдали среди гор в мягкие фиолетовые тени. Это была одна из тех местностей, которые почти заставляют человека персонифицировать природу, как мы это видим в народных сказаниях, где изборожденные расселинами скалы с их снежными вершинами принимают облик испещренных морщинами среброкудрых старцев, а на поверхность прозрачных вод всплывают зеленые волосы очаровательных русалок. Наконец, стоявшие сплошной стеной скалы немного раздвинулись, покрытые густым кустарником каменные выступы спустились к озеру, сквозь синюю дымку тумана сверкнула белая полоска, то были дома Валленштедта, расположенного в конце озера. Мы вышли на берег и весело направились к Куру, в то время как над нашими головами нависла скалистая цепь, самые высокие пики которой называются Семью Курфюрстами. Эти почтенные мужи так торжественно восседали в своих окаменелых горностаевых мантиях и с позлащенными вечерним солнцем снежными коронами, как если бы они собрались во Франкфуртской ратуше для избрания императора, глухие к крикам и требованиям теснящегося у их ног населения всей Священной Римской империи [152], конституция которой с течением времени так же окаменела, как и эти семь ее представителей. Такие названия, данные народом, свидетельствуют, впрочем, о том, какими немцами с головы до пят являются швейцарцы, как бы они сами этого ни отрицали. Быть может, я впоследствии еще остановлюсь подробнее на этой теме и поэтому пока не буду касаться ее.

Все дальше углублялись мы теперь в скалистые горы, все реже встречались места, где рука человека придала дикой

природе более мягкий облик; подобно ласточкину гнезду висел замок Саргана на отвесной скале, и, наконец, лишь у Рагаца деревья нашли достаточно земли на скалах, чтобы покрыть их густой растительностью. И здесь замок расположен над самым обрывом, но он совершенно разрушен; таких замков — следов кулачного права — в особенности много на перевалах, ведущих из одной речной долины в другую. Около Рагаца долина широко раскрывается, горы почтительно отступают перед мощным юным гением реки, которая силой пробила себе дорогу сквозь гранитные массы у Готарда и Шплюгена и теперь мужественно и гордо шумит навстречу своей великой судьбе; это — *Рейн,* который мы вновь приветствуем. В широком русле торжественно катится он по камням и песку, но по далеко разбросанному щебню можно судить, как дико бросается он, когда ему надоедает уютный покой и в нем пробуждается жажда разрушения. Отсюда долина его образует дорогу, которая поднимается к Куру, а оттуда — к Шплюгенскому перевалу.

В Куре уже начинается смешение языков, которое царит повсюду на самом высоком из альпийских хребтов. На дворе почтовой конторы раздавались вперемежку немецкие, романские и итальянские, на ломбардском диалекте, возгласы. О романском языке, на котором говорят горцы Граубюндена, лингвисты высказывали самые разнообразные мнения, и на нем все еще лежит печать таинственности. По самостоятельности некоторые ставят его в ряд с главными романскими языками, другие находят в нем французские элементы, не задумываясь над тем, откуда они могли в него проникнуть. Однако чтобы хоть сколько-нибудь подробно изучить это наречие, необходимо прежде всего сравнить его с соседними наречиями. До сих пор этого не делали. Судя по тому, что мне при быстром проезде удалось установить на основании бесед со сведущими людьми, словообразование этого наречия весьма напоминает словообразование соседнего ломбардского диалекта и отличается от последнего лишь особенностями местного говора. Все, что принимали за французское влияние, можно снова встретить и к югу от Альп.

На следующее утро мы отправились из Кура вверх по течению Рейна, вдоль широкой долины, окруженной дикими скалами. Через несколько часов из легкого утреннего тумана поднялась отвесная стена, увенчанная скалистыми выступами, и стала поперек дороги. Долина перед нами оказалась как бы замурованной, и мы могли двигаться вперед лишь по тесному ущелью. Перед нами выросла узкая белая башня: это была башня Тузиса, или, как говорят ломбардцы, Тозаны, т. е.

города девушек. Он чудесно расположен в тесной котловине, окруженной отвесными скалами, на самой недоступной из которых находятся развалины Гогенретийского замка. Нет большей изолированности, чем та, на которую обрекла природа это селение, и все же люди и здесь оказались сильнее природы; как бы издеваясь над ней, провели они шоссе через Тузис, и ежедневно здесь проезжают англичане, купцы, туристы. — За Тузисом начался подъем, и до наступления вечера мы должны были перевалить через Альпы. Я оставил карету и, подкрепившись бутылкой вельтлинского вина, которое здесь особенно высокого качества, пошел по дороге. Такой дороги больше нигде на свете нет. Вырубленная в нависающих скалах, она вьется вверх по ущельям, которые проложил себе Рейн. Отвесные гранитные стены обступили тропу, на которую кое-где не проникает даже луч полуденного солнца, а глубоко внизу, через груды камней, с громовым шумом мчится дикий горный поток, с корнем вырывая сосны, волоча за собой исполинские камни, как рассвирепевший титан, которому на грудь кто-то из богов бросил две горы. Кажется, будто сюда бежали последние, упрямые горы, не пожелавшие подчиниться всепокоряющему господству человека, и остановились здесь в боевой готовности, чтобы отстаивать свою свободу. Неподвижным, наводящим ужас взором встречают они путника, и кажется, что слышишь их голос: «Подойди, человек, поднимись, если осмелишься, на наши вершины и посей свой хлеб в бороздах наших морщин; но здесь, наверху, ты почувствуешь свое ничтожество до головокружения, почва заколеблется под твоими ногами, и ты разобьешься вдребезги, свергаясь вниз, со скалы на скалу! Строй свои дороги только между нами; ежегодно наш союзник Рейн будет спускаться, раздуваемый гневом, и будет разрушать твою работу!»

Это противодействие сил природы человеческому духу нигде не выражено с такой грандиозностью, можно было бы даже сказать, — сознанием своей силы, как здесь. Жуткая уединенность дороги и опасность, с которой когда-то был связан переход в этом месте через Альпы, дали этому перевалу прозвище Via mala *. Теперь, конечно, дело обстоит иначе. Дух и здесь победил природу, и как связующая лента тянется от скалы к скале безопасная, удобная и почти неразрушимая дорога, которая проходима во все времена года. И все же при виде угрожающих скал трудно превозмочь чувство страха: кажется, что они угрюмо помышляют о мести и об освобождении.

* — Злая дорога. *Ред.*

Но мало-помалу ущелье раздвигается, бурные водопады встречаются все реже, русло Рейна, который часто должен был прокладывать себе путь сквозь теснины шириной, измеряемой дюймами, расширяется, отвесные стены становятся более наклонными и все более отступают назад, открывается зеленая долина, и посреди этой первой террасы Шплюгена расположен Андер — местечко, которое известно жителям Граубюндена и Вельтлина как курорт. Растительность становится здесь уже гораздо менее скудной, что особенно сильно бросается в глаза, так как от Тузиса до сих пор не было ни кустарника, ни травы, и лишь ели могли карабкаться по крутым скалам. И все же так отрадно было после этих суровых, серо-коричневых гранитных стен увидеть, наконец, зеленый луг и поросшие кустарником холмы. Сейчас же за Андером дорога бесконечными зигзагами стала подниматься вверх; я предоставил эту дорогу карете и по ускользающим из-под ног камням, сквозь кустарники и вьющиеся растения вскарабкался туда, где дорога повернула к другому склону горы. Глубоко подо мной лежала зеленая долина с извивавшимся по ней Рейном, шум которого снова доносился до меня. Еще один прощальный взор вниз, и дальше в путь! Дорога привела меня в котловину между поднимающимися до небес наклонными скалами, — опять в один из самых заброшенных уголков мира. Я облокотился на каменную ограду и стал смотреть на Рейн, который образовал водоем, окаймленный темной зеленью деревьев. Спокойная зеленая гладь, над которой склонялись ветки, осеняя множество укромных уголков, высокие мшистые скалы, там и здесь проглядывающие лучи солнца — во всем этом было какое-то невыразимое очарование. Журчанье успокоившейся реки звучало почти понятно, как лепет тех прекрасных дев-лебедей, которые прилетают из-за далеких гор и в уединенном месте сбрасывают с себя лебединое оперенье, чтобы искупаться под зелеными ветвями в ледяных волнах. Но эти звуки прерывались громом водопадов, звучавшим как разгневанный голос речного духа, который бранит лебедей за неосторожность, так как они ведь знают, что должны будут пойти за тем, кто похитит их лебединые покровы. А там сзади уже подъезжает почтовая карета, полная глазеющих на них пассажиров, да и вообще не пристало женщинам, даже если они романтические девы-лебеди, купаться у проезжей дороги. Но прекрасные русалки поднимают насмех пугливого старика, потому что знают, что их видит лишь тот, кому открылась тайная жизнь природы, и что он не сделает им ничего дурного.

В горах становилось все прохладнее; поднимаясь, около полудня я натолкнулся на первый снег, и на меня, разгоряченного быстрым подъемом под палящим солнцем, вдруг заметно повеяло холодным воздухом. Это была температура второй террасы перевала, на которой расположена деревня Шплюген — последнее место, где говорят по-немецки, — среди высоких гор, из-за зеленых склонов которых виднелись темно-коричневые хижины пастухов. В доме, построенном уже совсем по-итальянски, в котором до самого верхнего этажа были лишь каменные полы и толстые каменные стены, мы пообедали, после чего отправились дальше вверх по почти отвесной скале. В лесистом ущелье, между последними деревьями, которые я видел по эту сторону Альп, лежала лавина — широкий снежный поток, спустившийся с неприступной вершины. Прошло немного времени, и нам стали встречаться пустынные ущелья, в которых под твердым снежным покровом гремят горные потоки и стоят голые скалы, местами едва прикрытые мхом. Все выше, все более широкими пеленами лежал снег. На самом верху была расчищена дорога, по обе стороны которой лежал слой снега, в три-четыре раза превышающий рост человека. Каблуками я выбил себе ступени в снеговой стене и поднялся наверх. Предо мной открылась обширная белоснежная равнина, посреди которой возвышалась крыша — австрийская таможня, первое здание на итальянском склоне Альп. Проверка наших вещей в этом доме, во время которой мне удалось скрыть мой варинасский * табак от взоров пограничной стражи, дала мне время осмотреться. Со всех сторон — голые, серые скалы с покрытыми снегом вершинами, равнина, на которой из-за сплошного снега не видно ни одного стебля и уж подавно ни одного куста или дерева, — словом, страшная заброшенная пустыня, над которой, пересекая друг друга, проносятся итальянские и немецкие ветры, то и дело сгоняя в кучу серые облака, — пустыня более безотрадная, чем Сахара, и более прозаическая, чем Люнебургская пустошь, местность, где из года в год девять месяцев идет снег, а три месяца — дождь. Это было первое, что я увидел в Италии. Но вот путь пошел быстро под гору, снег исчез, и где вчера едва успел растаять белый зимний покров, сегодня уже расцветали желтые и голубые крокусы, начинала зеленеть трава, вновь стали появляться кусты, потом деревья, среди которых с шумом неслись вниз водопады, а глубоко внизу, в долине, полной лиловых теней, протекал пенящийся Лиро, снежный блеск которого

* Варинас (Баринас) — город в Венесуэле (Южная Америка). *Ред.*

светился из-за темных каштановых аллей; воздух делался все теплее и теплее, хотя солнце уже зашло за горы, а в Кампо Дольчино мы уже очутились если не в подлинной Италии, то, во всяком случае, среди подлинных итальянцев. Целой толпой собрались обитатели деревушки вокруг нашей кареты и на своем гортанном носовом ломбардском диалекте болтали о лошадях, повозке и пассажирах; у всех у них были настоящие романские лица с энергичным выражением, обрамленные черными, густыми волосами и бородами. Мы двинулись дальше, вниз по течению Лиро, среди лугов и лесов, между бесчисленных огромных гранитных глыб, которые кто знает когда свалились с альпийских вершин и на светло-зеленых лужайках своеобразно выделялись своими острыми и черными зубцами и выступами. Мы проезжаем ряд очаровательных, приютившихся у скал деревень с их стройными, белоснежными колокольнями, — среди них Санта Мария ди Галиваджо; наконец, открывается долина, в одном из углов которой возвышается башня Кьявенны, — или, по-немецки, Клевена, — одного из главных городов Вельтлина. Кьявенна уже совсем итальянский город с высокими домами и узкими улицами, на которых повсюду слышишь взрывы ломбардских страстей: fiocul d'ona putana, porco della Madonna * и т. д. В то время как мы сидели за итальянским ужином с вельтлинским вином, солнце закатилось за Ретийские Альпы; австрийская почтовая карета с итальянским кондуктором в сопровождении карабинера повезла нас к озеру Комо. Полная и ясная луна глядела с темно-синего неба, тут и там зажигались звезды и разгоралась вечерняя заря, золотя горные пики; роскошная южная ночь спускалась на землю. Так ехал я среди зеленых тутовых рощ, листва которых переплеталась с виноградными лозами, теплое дыхание Италии все нежнее и нежнее обвевало мне грудь, чары никогда не виданной природы, о которой я так давно мечтал, пронизывали меня сладостной дрожью, и, рисуя в своем воображении все великолепие, которое скоро должно было открыться моему взору, я блаженно задремал.

Написано Ф. Энгельсом в мае 1841 г.

Напечатано в журнале «Athenäum» №№ 48 и 49; 4 и 11 декабря 1841 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

* Итальянские бранные выражения. *Ред.*

ШЕЛЛИНГ О ГЕГЕЛЕ [153]

Если вы сейчас здесь, в Берлине, спросите кого-нибудь, кто имеет хоть малейшее представление о власти духа над миром, где находится арена, на которой ведется борьба за господство над общественным мнением Германии в политике и религии, следовательно, за господство над самой Германией, то вам ответят, что эта арена находится в университете, именно в аудитории № 6, где Шеллинг читает свои лекции по философии откровения. Ибо в настоящий момент все отдельные возражения, которые делали спорным господство гегелевской философии, потускнели, поблекли и отступили на задний план перед *одной* оппозицией Шеллинга. Все враги, стоящие вне философии, как Шталь, Хенгстенберг, Неандер, уступают место одному борцу, от которого ждут, что он победит непобедимого в его собственной области. А борьба эта действительно в достаточной степени своеобразна. Два старых друга юности, товарищи по комнате в Тюбингенской духовной семинарии, снова встречаются лицом к лицу через сорок лет как противники. Один, умерший уже десять лет тому назад, но живой более чем когда-либо в своих учениках; другой, по утверждению последних, духовно мертвый уже в течение трех десятилетий, ныне совершенно неожиданно претендует на полноту жизненной силы и требует признания. Кто является достаточно «беспристрастным», чтобы считать себя одинаково далеким от них обоих, т. е. кто не считает себя гегельянцем, — ибо сторонником Шеллинга после немногих слов, сказанных им, никто, конечно, не может себя объявить, — кто, таким образом, обладает этим похвальным преимуществом «беспристрастия», тот усмотрит в смертном приговоре Гегелю, произнесенном ему выступлением

Шеллинга в Берлине, месть богов за смертный приговор Шеллингу, произнесенный в свое время Гегелем.

Значительная, пестрая аудитория собралась, чтобы быть свидетелем этой борьбы. Во главе — университетская знать, корифеи науки, мужи, каждый из которых создал свое особое направление; им отведены ближайшие места около кафедры, а за ними в пестром беспорядке, как попало, сидят представители всех общественных положений, наций и вероисповедований. Среди задорной молодежи вдруг видишь седобородого штабного офицера, а рядом с ним в совершенно непринужденной позе вольноопределяющегося, который в другом обществе из-за почтения к высокому начальству не знал бы, куда деваться. Старые доктора и лица духовного звания, чьи матрикулы могли бы вскоре праздновать свой юбилей, чувствуют, как внутри их начинает бродить старый студенческий дух, и они снова идут на лекции. Евреи и мусульмане хотят увидеть, что́ за вещь христианское откровение. Слышен смешанный гул немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой и турецкой речи, — но вот раздается звонок, призывающий к тишине, и Шеллинг всходит на кафедру.

Человек среднего роста, с седыми волосами и светло-голубыми веселыми глазами, в выражении которых больше живости, чем чего-либо импонирующего, вместе с некоторой embonpoint *, производит впечатление скорее благодушного отца семейства, чем гениального мыслителя; неблагозвучный, но сильный голос, швабо-баварский диалект с постоянным «eppes» вместо «etwas» ** — таков внешний вид Шеллинга.

Я обхожу молчанием содержание его первых лекций [154], чтобы немедленно перейти к его высказываниям о Гегеле, и только оставляю за собой право для разъяснения их добавить самое необходимое. Я передаю его слова так, как я их сам записал, присутствуя на его лекции.

«Философия тождества, выдвинутая мной, представляла собой только одну сторону всей философии, а именно — негативную. Это «негативное» или должно было быть дополнено изложением «позитивного» или же, впитав все позитивное содержание прежних философских систем, занять место «позитивного» и таким образом возвести себя в абсолютную философию. Судьбой человека также правит некий разум, который заставляет его упорствовать в односторонности, пока он не исчерпал все ее возможности. Так было и с Гегелем, который выдвинул негативную философию в качестве абсолютной. — Я называю имя г-на Гегеля в первый раз. Я свободно высказался о своих учителях: Канте и Фихте, так же я поступлю и по отношению к Гегелю, хотя как раз это мне не доставляет никакого удовольствия. Но я это сделаю, потому что я обещал вам, госпо-

* — дородностью. *Ред.*
** — «что-нибудь». *Ред.*

да, полнейшую откровенность. Пусть вам не кажется, будто я чего-то опасаюсь, будто есть пункты, по которым я не могу свободно высказаться. Я помню ту пору, когда Гегель был моим собеседником, моим близким товарищем, и я должен сказать, что в то время, когда философия тождества была понята вообще поверхностно и плоско, именно он спас для будущего ее основную мысль, которой он остался верен до конца, как мне это доказали главным образом его «Лекции по истории философии» [155]. Он, найдя огромный материал уже разработанным, сосредоточил свое внимание главным образом на методе, в то время как мы, другие, преимущественно занимались содержанием философии. Меня самого не удовлетворяли добытые негативные результаты, и я охотно бы принял, даже из чужих рук, всякое удовлетворительное решение.

Речь, впрочем, идет здесь о том, занимал ли Гегель свое место в истории философии — то место, которое следует ему отвести в ряду великих мыслителей, — на основании того, что он пытался поднять философию тождества до абсолютной, последней философии, что, конечно, могло произойти лишь при значительном изменении ее содержания; и это я намерен доказать на основании его собственных, доступных всему миру сочинений. Если кто-нибудь скажет, что в этом-то и кроется упрек Гегелю, то я на это отвечу, что Гегель сделал то, что было у него на первом плане. Философия тождества должна была бороться сама с собой, выйти за собственные пределы, пока еще не было той науки «позитивного», которая распространяется также и на существование. Этим объясняется стремление Гегеля вывести философию тождества за ее пределы, за пределы потенции бытия, чистой возможности бытия и подчинить ей существование.

«Гегель, который вместе с Шеллингом возвысился до признания абсолютного, отошел от него, так как считал, что абсолютное не предположено в интеллектуальном созерцании, а было им найдено научным путем». Эти слова представляют собой текст, о котором я сейчас буду с вами говорить.— В основе вышеприведенного места лежит то мнение, что философия тождества имеет-де своим результатом абсолютное, не только по существу, но и по существованию; а так как исходный пункт философии тождества заключается в безразличии субъекта и объекта, то отсюда делается вывод, будто и их существование уже было доказано посредством интеллектуального созерцания. Потому-то Гегель совершенно чистосердечно думает, будто я хотел при помощи интеллектуального созерцания доказать *существование, бытие* этого безразличия, и порицает меня за недостаточность моего доказательства. Что я этого не хотел, доказывают мои неоднократные заявления о том, что философия тождества не есть система существования, а что касается интеллектуального созерцания, то это определение совсем не встречается в том изложении философии тождества, которое я признаю единственно научным из всех относящихся к тому раннему периоду. Это изложение находится там, где его никому не придет в голову искать, а именно в «Zeitschrift für spekulative Physik», во второй книге второго тома. Разумеется, это определение встречается и в других местах, являясь частью наследства Фихте. Фихте, с которым я не хотел попросту порвать, достиг при помощи интеллектуального созерцания непосредственного сознания, своего «я»; я примкнул к этому, чтобы таким путем дойти до безразличия. Так как это «я» в интеллектуальном созерцании уже не рассматривается субъективно, то оно вступает в сферу мысли и, таким образом, перестает быть непосредственно достоверно существующим. Таким образом, само интеллектуальное созерцание не могло бы доказать даже существования «я», и если Фихте пользуется им для этой цели, то я все же не могу сослаться на это созерцание, чтобы, исходя из него, вывести существование абсолютного. Итак, Гегель мог порицать меня не за недостаточность

доказательства, которого я никогда не собирался давать, а только за то, что я недостаточно определенно подчеркивал то, что я вообще не касаюсь вопроса о существовании. Ибо, если Гегель требует доказательства бытия бесконечной потенции, то он выходит за пределы разума; если бы была бесконечная потенция, то философия была бы несвободна от бытия, и тут следует поставить вопрос: можно ли мыслить prius * существования? Гегель отвечает на этот вопрос отрицательно, ибо он начинает свою логику с бытия и сразу переходит к системе существования. Мы же отвечаем на этот вопрос утвердительно, беря за исходную точку чистую потенцию бытия как существующую только в мышлении. Гегель, который так много говорит об имманентности, сам имманентен только в сфере того, что *не* имманентно мышлению, ибо бытие является этим неимманентным. Отступить в сферу чистого мышления — значит прежде всего уйти от всякого бытия вне сферы мысли. Утверждение Гегеля, что существование абсолютного доказано в логике, имеет еще тот недостаток, что мы, таким образом, имеем бесконечное дважды: в конце логики и еще раз в конце всего процесса. Вообще нельзя понять, почему в системе «Энциклопедии» [125] логика предпосылается всему остальному, вместо того чтобы животворным образом пронизывать весь цикл».

Так говорит Шеллинг. Я большей частью, и поскольку это было для меня возможно, приводил его собственные слова и могу смело утверждать, что он не мог бы не подписаться под этими выдержками. К сказанному я могу добавить из его предыдущих лекций, что он рассматривает вещи с двух сторон, отделяя quid от quod **, сущность и понятие от существования. Вопросы первого рода он относит к науке чистого разума или к негативной философии, вопросы же второго рода — к науке с эмпирическими элементами, которую еще надлежит создать, к позитивной философии [142]. О последней до сих пор еще ничего не было известно, первая же появилась сорок лет тому назад в несовершенной формулировке, от которой отказался сам Шеллинг, и теперь он развивает ее в ее истинном, адекватном выражении. Ее основой является разум, чистая потенция познания, имеющая своим непосредственным содержанием чистую потенцию бытия, бесконечную возможность бытия. Необходимым для этого третьим принципом является возвышающаяся *над* бытием потенция, которая не может больше самоотчуждаться; эта потенция и есть абсолютное, дух — то, что освобождено от необходимости перехода в бытие и вечно пребывает свободным по отношению к бытию. Абсолютное может быть названо также «орфическим» *** единством этих двух потенций, как то, вне которого не существует ничего. Если потенции вступают

* — первичность. *Ред.*

** — quid и quod — латинские местоимения, соответствующие русскому местоимению — что. В схоластической философии quid относилось к понятию сущности, quod — к понятию существования. *Ред.*

*** — соответствующим культу Орфея, мистическим. *Ред.*

в противоречие друг с другом, то эта их исключительность есть конечность.

Я думаю, что этих немногих положений достаточно для понимания предыдущего и для выяснения основных черт неошеллингианства, поскольку последние могут быть уже сейчас здесь охарактеризованы. Мне остается еще сделать отсюда те выводы, которые Шеллинг, может быть, намеренно замалчивает, и выступить в защиту великого покойника.

Если освободить смертный приговор, произнесенный Шеллингом над системой Гегеля, от канцелярской формы выражения, то получается следующее: у Гегеля, собственно, и не было вовсе своей системы, а поддерживал он свое жалкое существование крохами со стола моей мысли. В то время как я работал над partie brillante *, над позитивной философией, он страстно отдался partie honteuse **, негативной, и взял на себя, так как мне некогда было заниматься этим, ее усовершенствование и разработку, бесконечно счастливый, что я еще доверил ему это дело. Вы хотите порицать его за это? «Он делал то, что у него было на первом плане». Ему все же принадлежит «место среди великих мыслителей», ибо он был «единственный, кто признал основную мысль философии тождества, в то время как другие поняли ее плоско и поверхностно». И все же ничего хорошего у него не получилось, так как он захотел половину философии превратить в целую.

Передают известное изречение, которое обычно приписывается Гегелю, но которое, как видно из вышеприведенных высказываний Шеллинга, несомненно принадлежит последнему: «Только один из моих учеников меня понял, да и тот, к сожалению, понял меня неверно».

Будем, однако, говорить серьезно. Можем ли мы, обязанные Гегелю больше, чем он был обязан Шеллингу, допустить, чтобы на могильной плите покойного писались такие оскорбления, и не выступить в защиту его чести, послав вызов его хулителю, как бы он ни был грозен? А ведь что́ бы Шеллинг ни говорил, но его отзыв о Гегеле есть оскорбление, несмотря на кажущуюся научной форму, в которую он это оскорбление облекает. О, я бы сам мог, если бы это понадобилось, «чисто научным образом» изобразить г-на Шеллинга и кого угодно в таком дурном свете, что он убедился бы в преимуществе «научного метода». Но к чему это мне? И без того было бы дерзостью, если бы я, юноша, собирался давать наставления старцу, а тем более Шеллингу, ибо как бы решительно ни изменил

* — благородной частью. *Ред.*

** — неблагородной части. *Ред.*

Шеллинг свободе, он все же остается тем, кто открыл абсолютное, и имя Шеллинга, коль скоро он выступает как предшественник Гегеля, всеми нами произносится только с глубочайшим благоговением. Но Шеллинг, преемник Гегеля, может претендовать только на некоторое почтение и меньше всего может требовать от меня спокойствия и хладнокровия, так как я выступил в защиту покойника, а ведь борцу свойственна некоторая страстность; кто хладнокровно обнажает свой меч, тот редко бывает глубоко воодушевлен тем делом, за которое он сражается.

Я должен сказать, что выступление здесь Шеллинга и особенно эти выпады против Гегеля уже не позволяют сомневаться в том, чему до сих пор не хотелось верить, а именно в сходстве с оригиналом портрета, набросанного в предисловии к появившейся недавно известной брошюре Риделя [156]. Чего стоит уже тот тон, каким Шеллинг говорит обо всем развитии философии в этом столетии, о Гегеле, Гансе, Фейербахе, Штраусе, Руге и «Deutsche Jahrbücher»: сначала он ставит их в зависимость от себя, а затем не просто отвергает, нет, — одним риторическим оборотом, выставляющим лишь *его* самого в наиболее благоприятном свете, рисует все это направление мысли как баловство духа, как курьезное недоразумение, как ряд напрасных заблуждений. Если этот тон, говорю я, не превосходит всего того, что в вышеупомянутой брошюре ставится в упрек Шеллингу, то я не имею ни малейшего представления о том, что́ в человеческом обиходе называется порядочностью. Надо, правда, признать, что Шеллингу трудно было найти средний путь, который не компрометировал бы ни его, ни Гегеля, и можно было бы извинить тот эгоизм, который побудил его в целях спасения своего положения пожертвовать другом. Но все же Шеллинг заходит слишком далеко, когда он требует от нашего века скинуть со счетов как попусту потраченное время, как сплошное заблуждение сорок лет труда и творческой деятельности, сорок лет мысли, во имя которой были принесены в жертву наиболее дорогие интересы, самые святые традиции, и все это только для того, чтобы *Шеллинг* не оказался лишним человеком в течение этих сорока лет. И более чем насмешкой звучит, когда Шеллинг отводит Гегелю место в ряду великих мыслителей в такой форме, что по существу дела вычеркивает его из их числа, третируя его как свое создание, как своего слугу; и, наконец, не является ли это своего рода скряжничеством по отношению к мыслям, мелочностью — как называется эта всем известная низменная страсть? — когда Шеллинг все, что он считает правильным у Гегеля, объявляет своей собственностью,

больше того, плотью от своей плоти. Было бы ведь странно, если бы старая шеллинговская истина могла сохраниться только в плохой гегелевской форме, и в этом случае упрек в неясности формулировки, брошенный третьего дня Шеллингом в адрес Гегеля, неизбежно падал бы рикошетом на него самого. Этот упрек, правда, по общему мнению, и теперь относится к Шеллингу, несмотря на обещанную им ясность изложения. Тот, кто расплывается в таких периодах, какие постоянно попадаются у Шеллинга, кто употребляет такие выражения, как quidditativ * и quodditativ **, орфическое единство и т. д., и, не довольствуясь этим, сверх того еще каждую минуту прибегает к помощи латинских и греческих слов и выражений, тот, конечно, лишает себя права бранить стиль Гегеля.

Впрочем, всего больше Шеллинг достоин сожаления в связи с печальным недоразумением по вопросу о существовании. Добрый наивный Гегель с его верой в существование философских результатов, в право разума вступить в существование, господствовать над бытием! Но все же было бы странно, если бы Гегель, столь основательно изучивший Шеллинга и долгое время находившийся с ним в личных отношениях, а также все другие, старавшиеся постигнуть смысл философии тождества, — если бы все они совершенно не заметили самого главного, а именно, что все это вздор и пустяки, которые существовали только в голове Шеллинга и нисколько не притязали на какое-нибудь влияние на внешний мир. Где-нибудь ведь это же должно было быть записано, и кто-нибудь, без сомнения, это нашел бы. И действительно, впадаешь в искушение взять под сомнение, было ли это первоначальным мнением Шеллинга и не является ли это позднейшим добавлением.

А новое понимание философии тождества? Кант освободил разумное мышление от пространства и времени; Шеллинг сверх этого отнял у нас и существование. Что же нам остается после этого? Тут не место доказывать в противовес Шеллингу, что существование, несомненно, относится к мыслительной сфере, что бытие имманентно духу и что основное положение всей современной философии, cogito, ergo sum ***, не может быть опрокинуто простым наскоком. Но да позволено нам будет спросить: может ли потенция, не обладающая сама бытием, порождать бытие? Может ли потенция, неспособная больше к самоотчуждению, еще считаться потенцией? И не соответствует ли трихотомия потенций самым странным образом резуль-

* — относящийся к понятию сущности. *Ред.*
** — относящийся к понятию существования. *Ред.*
*** — мыслю, следовательно существую. *Декарт.* «Начала философии». *Ред.*

тату, к которому приходит гегелевская «Энциклопедия», — триединству идеи, природы и духа?

И каков результат всего этого для философии откровения? Она относится, конечно, к «позитивной философии», к эмпирической стороне. Единственный выход для Шеллинга — это признать откровение как факт и обосновать его каким-нибудь образом, только не путем разума, ибо для такого обоснования он ведь сам себе отрезал все пути. У Гегеля все же выходило не так просто — или, может быть, у Шеллинга в кармане имеются и другие способы решения? Таким образом, эту философию можно с полным правом назвать эмпирической, ее теологию позитивной, а ее юриспруденция будет, скорее всего, исторической. Такой результат был бы, конечно, похож на поражение, так как все это мы уже знали еще до приезда Шеллинга в Берлин.

Нашей задачей будет следить за его ходом мысли и защищать могилу великого учителя от поругания. Мы не боимся борьбы. Мы ничего так не желаем, как быть некоторое время в положении ecclesia pressa *. Здесь происходит размежевание умов. Все, что истинно, выдерживает испытание огнем, с недоброкачественными же элементами мы охотно расстанемся. Противники должны признать, что многочисленная, как никогда, молодежь стекается под наши знамена, что теперь, больше чем когда-либо, круг идей, владеющих нами, получил богатое развитие, что никогда не было на нашей стороне столько людей мужественных, стойких и талантливых, как теперь. Итак, пойдем же смело в бой против нового врага; в конце концов найдется кто-нибудь среди нас, кто докажет, что меч воодушевления так же хорош, как и меч гения.

А *Шеллинг* пусть еще попробует, удастся ли ему собрать вокруг себя школу. Многие примыкают к нему теперь только потому, что они, как и он, против Гегеля и с благодарностью принимают каждого, кто нападет на Гегеля, будь это даже Лео или Шубарт. Я думаю, однако, что для этих господ Шеллинг слишком хорош. Будущее покажет, найдутся ли у него еще другие последователи. Я в это еще не верю, хотя некоторые из его слушателей делают успехи и дошли уже до *индифферентности*.

Написано Ф. Энгельсом во второй половине ноября 1841 г.

Напечатано в журнале «Telegraph für Deutschland» №№ 207 и 208; декабрь 1841 г.

Подпись: Фридрих Освальд

Печатается по тексту журнала

Перевод с немецкого

* — гонимой церкви. *Ред.*

Schelling

und die

Offenbarung.

Kritik

des neuesten Reaktionsversuchs

gegen die

freie Philosophie.

Leipzig,
Robert Binder.
1842.

Титульный лист брошюры
«Шеллинг и откровение»

ШЕЛЛИНГ И ОТКРОВЕНИЕ

КРИТИКА НОВЕЙШЕГО ПОКУШЕНИЯ РЕАКЦИИ НА СВОБОДНУЮ ФИЛОСОФИЮ

Вот уже десять лет, как над горами Южной Германии нависла грозовая туча, которая все более угрожающе и мрачно надвигалась на северогерманскую философию. Шеллинг снова появился в Мюнхене; шла молва, что его новая система приближается к своему завершению, готовясь противопоставить себя засилью гегелевской школы. Сам Шеллинг решительно высказался против этого направления, и остальным противникам гегелевской школы, когда все их аргументы оказывались бессильными перед побеждающей силой этого учения, оставалось все еще последнее прибежище — ссылаться на Шеллинга, как на того человека, который в последней инстанции уничтожит это учение.

Ученики Гегеля могли поэтому только радоваться, когда полгода тому назад Шеллинг прибыл в Берлин и обещал отдать на суд публики свою теперь уже готовую систему. Можно было надеяться, что отныне не придется слышать пустых докучливых разговоров о нем, о великом незнакомце, и можно будет, наконец, увидеть, что же представляет собой его система. И без того гегелевская школа при том боевом духе, которым она всегда отличалась, при присущей ей уверенности в себе могла только радоваться случаю скрестить шпаги со знаменитым противником. Ведь давно был брошен Шеллингу вызов со стороны Ганса, Михелета и «Athenäum», а его младшим ученикам — со стороны «Deutsche Jahrbücher».

Так надвинулась грозовая туча и разразилась громом и молнией, которые с кафедры Шеллинга стали приводить в возбуждение весь Берлин. Теперь гром затих, молния больше

не сверкает. И что же? Попала она в цель? Охвачено ли уже пламенем все здание гегелевской системы — этот гордый дворец мысли? Спешат ли гегельянцы спасти все то, что можно еще спасти? До сих пор этого еще никто не видел.

А ведь от Шеллинга всего ожидали. Разве не стояли на коленях «позитивные» [142] и не плакали о великой засухе на земле господней, моля о приходе дождевой тучи, которая нависла над далеким горизонтом? Разве не повторилось точь-в-точь то, что было некогда во Израиле, когда народ умолил Илию пророка прогнать недоброй памяти жрецов Ваала? * А когда, наконец, он пришел, великий заклинатель бесов, как сразу смолкло все это крикливое, бесстыдное доносительство, как стих весь этот оглушительный крик и все это неистовство для того, чтобы не пропало ни одно слово нового откровения! Как скромно отступили назад все эти храбрые рыцари из «Evangelische» и «Allgemeine Berliner Kirchenzeitung» **, из «Literarischer Anzeiger», из фихтевского журнала [157], чтобы дать место святому Георгию, который должен поразить ужасного дракона гегельянства, чье дыхание — пламя безбожия и дым помрачения! Разве не водворилась такая тишина на земле, точно святой дух собирался снизойти, как будто господь бог сам пожелал говорить из облаков?

А когда философский мессия взошел на свой деревянный, весьма скверно обитый трон в Auditorium maximum ***, когда он возвестил дела веры и чудеса откровения, — какие восторженные крики понеслись ему навстречу из боевого стана «позитивных»! Как все уста славословили его, на которого представители «христианского» направления возложили свои надежды! Разве мы не слышали, что этот неустрашимый великан, подобно Роланду, один пойдет во вражескую землю, чтобы водрузить свое знамя в сердце вражеской страны, взорвать внутреннюю твердыню беззакония, никогда не покоренную крепость идеи, так чтобы врагам без опоры, без центра невозможно было найти ни совета, ни надежного прибежища в своей собственной стране? Разве уже не возвещалось ожидавшееся еще до пасхи 1842 г. крушение гегельянства, смерть всех атеистов и нехристей?

Все сложилось иначе. Гегелевская философия продолжает жить по-прежнему на кафедре, в литературе, среди молодежи; она знает, что все до сих пор направленные против нее удары не могли нанести ей ни малейшего ущерба, и спокойно продолжает шествовать по пути своего внутреннего развития. Ее влияние

* Библия. Ветхий завет. Третья книга царств, глава 18. *Ред.*
** — «Berliner Allgemeine Kirchenzeitung». *Ред.*
*** — Большой аудитории. *Ред.*

на нацию, как это доказывает растущая ярость и усиливающаяся деятельность ее противников, находится на быстром подъеме, а Шеллинг оставил неудовлетворенными почти всех своих слушателей.

Таковы факты, против которых не смогут представить ни одного основательного возражения даже немногочисленные последователи неошеллингианской премудрости. Когда стали замечать, что создавшиеся против Шеллинга предубеждения подтверждаются даже слишком хорошо, то вначале пришлось призадуматься, как совместить уважение к старому мастеру науки с тем открытым, решительным отклонением его претензий, к которому нас обязывал долг по отношению к Гегелю. Вскоре, однако, сам Шеллинг, к нашему удовольствию, помог нам освободиться от этой дилеммы, высказавшись о Гегеле в такой форме, которая сняла с нас всякую обязанность считаться с этим мнимым преемником Гегеля и мнимым победителем в споре с последним. Вот почему нельзя сетовать и на меня, если я в своих суждениях буду следовать демократическому принципу и, не считаясь ни с чьей личностью, ограничусь лишь изложением сущности дела и его истории.

Когда Гегель в 1831 г., умирая, завещал свою систему своим ученикам, число их было еще сравнительно невелико. Система была налицо в той строгой, неподвижной, но и прочной форме, которую с тех пор так часто порицали, но которая была не чем иным, как необходимостью. Сам Гегель, в гордой вере в силу идеи, мало сделал для популяризации своего учения. Все сочинения, опубликованные им, были написаны в строго научном, почти неудобочитаемом стиле и могли быть рассчитаны, как и «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik», где в том же стиле писали его ученики, только на немногочисленную ученую публику, к тому же предрасположенную к этому учению. Языку нечего было стыдиться рубцов, приобретенных в борьбе с мыслью; первая забота заключалась в стремлении решительно отбросить все, связанное с представлениями, все фантастическое, все, связанное с чувствами, и постигнуть чистую мысль в ее самосозидании. Как только этот надежный операционный базис был обретен, можно было спокойно смотреть навстречу всякой позднейшей реакции со стороны исключенных элементов и даже спуститься в сферу нефилософского сознания, так как тыл оставался прикрытым. Влияние гегелевских лекций никогда не выходило за пределы небольшого круга, и как бы значительно оно ни было, оно могло принести плоды лишь в более поздние годы.

Когда же Гегель умер, его философия как раз и начала жить. Издание полного собрания его сочинений [158] и, в особенности,

его лекций оказало огромное воздействие. Новые врата разверзлись к скрытому чудесному кладу, который покоился в молчаливых недрах горы и чье великолепие сияло до сих пор только для немногих. Невелико было число тех, кто имел мужество на свой страх и риск подступиться к этому лабиринту ходов; теперь же открылась прямая удобная дорога, по которой можно было достигнуть сказочного сокровища. Одновременно учение Гегеля приняло в устах его учеников более человеческую, более наглядную форму, оппозиция со стороны самой философии становилась все слабее и незначительнее, и постепенно дело дошло до того, что только со стороны заскорузлых теологов и юристов можно было еще слышать сетования на дерзкое вторжение некомпетентного лица в область их специальности. Молодежь же с тем большей жадностью стала набрасываться на новые идеи, что совершившийся с течением времени прогресс в самой школе давал импульс к очень важным дискуссиям, касавшимся всех жизненных вопросов как науки, так и практики.

Те пределы, которые сам Гегель поставил как запруды мощному, бурно кипящему потоку выводов из его учения, обусловливались отчасти его временем, отчасти его личностью. Система в основных своих чертах была готова еще до 1810 г., к 1820 г. мировоззрение Гегеля уже сложилось окончательно. Его политические взгляды, его учение о государстве, складывавшиеся под влиянием английских учреждений, носят явный отпечаток периода Реставрации [41], что отразилось также и на непонимании им июльской революции в ее всемирно-исторической необходимости. Таким образом, Гегель сам на себе испытал верность своего изречения, что всякая философия представляет собой только выраженное в мыслях содержание своего времени. С другой стороны, если его личные взгляды благодаря системе и прояснились, то они все же не остались без влияния на выводы последней. Так, например, его философия религии и его философия права безусловно получили бы совсем иное направление, если бы он больше абстрагировался от тех позитивных элементов, которыми он был пропитан под влиянием духовной атмосферы его времени, но зато он делал бы больше выводов из чистой мысли. Отсюда — все непоследовательности, все противоречия у Гегеля. Все, что в его философии религии является чрезмерно ортодоксальным, все, что в его философии права сильно отдает псевдоисторизмом, приходится рассматривать под этим углом зрения. Принципы всегда носят печать независимости и свободомыслия, выводы же — этого никто не отрицает — нередко осторожны, даже нелиберальны. Тут-то выступила часть его учеников, которая, оставаясь верной принципам, отвергала выводы,

если они не могли найти себе оправдания. Образовалось левое течение. Руге создал ему орган — «Hallische Jahrbücher», и сразу вслед за тем было провозглашено отпадение от власти «позитивного». Но пока еще не осмеливались открыто высказать все выводы. Представители этого течения считали себя, даже после Штрауса, еще находящимися в пределах христианства и даже чванились этим христианством перед евреями. Такие вопросы, как вопросы о личности бога и индивидуальном бессмертии, были им самим еще недостаточно ясны, чтобы они могли решительно высказаться по поводу них. Больше того, когда они почувствовали, что неизбежные выводы скоро будут сделаны, у них возникло сомнение в том, не должно ли новое учение остаться эзотерическим достоянием школы и тайной для нации. Тут выступил Лео со своими «Гегелингами» [48] и этим оказал своим противникам величайшую услугу. Как вообще все то, что было рассчитано на уничтожение этого направления, выступление Лео шло только на пользу этому направлению и ясно доказывало ему, что оно идет рука об руку с мировым духом. Лео дал гегелингам ясное представление о самих себе, вновь пробудил в них то гордое мужество, которое следует истине, не отступая перед самыми ее крайними выводами, и высказывает ее открыто и ясно, не страшась последствий. Забавно теперь читать то, что писали тогда против Лео гегелинги в свою защиту, забавно видеть, как эти бедняги гегелинги извиваются, открещиваясь от выводов Лео и обставляя их всевозможными оговорками. Теперь никому из них не приходит в голову опровергать обвинительные пункты Лео — так велика стала их дерзость за эти три года. «Сущность христианства» Фейербаха, «Догматика» Штрауса [159] и «Deutsche Jahrbücher» свидетельствуют о тех результатах, к которым привело доносительство Лео, а «Трубный глас» [160] даже доказывает наличие таких выводов уже у самого Гегеля. Эта книга уже потому так важна для выяснения позиции Гегеля, что она показывает, как часто в Гегеле независимый, смелый мыслитель брал верх над поддающимся тысячам влияний профессором. Она является реабилитацией личности человека, от которого требовали, чтобы он поднялся над своим временем не только в той сфере, где он был гениален, но и в тех областях, где он таковым не был. Здесь — подтверждение того, что Гегель оправдал и это ожидание.

Таким образом, «гегелингская банда» нисколько не скрывает теперь, что она не может и не хочет больше рассматривать христианство как свой предел. Все основные принципы христианства, мало того, все, что вообще до сих пор называлось религией, рухнуло под беспощадной критикой разума; абсолютная

идея претендует на роль основательницы новой эры. Великий переворот, по отношению к которому французские философы прошлого столетия являлись только предшественниками, получил свое завершение, осуществил свое самосозидание в царстве мысли. Философия протестантизма, начавшаяся с Декарта, завершила свое развитие; наступило новое время, и священной обязанностью всех тех, кто идет в ногу с саморазвивающимся духом, является — ввести в сознание нации и сделать жизненным принципом Германии этот грандиозный результат.

Пока совершалось это внутреннее развитие гегелевской философии, не осталось без изменения и ее внешнее положение. Умер министр Альтенштейн, благодаря содействию которого в Пруссии была подготовлена колыбель нового учения; с наступившими переменами не только прекратилось всякое покровительство этому учению, но даже проявилось стремление постепенно отлучить его от государства. Это было следствием более сильного проявления принципов как со стороны государства, так и со стороны философии. Так как последняя не постеснялась высказать то, что считала необходимым, то было вполне естественно, что и государство с большей определенностью сделало свои выводы. Пруссия является христианско-монархическим государством, и ее всемирно-историческое положение дает ей право на то, чтобы ее принципы были признаны фактически действующими. Можно их разделять или нет, но они существуют, и Пруссия достаточно сильна, чтобы в случае необходимости заставить считаться с ними. К тому же гегелевская философия не имеет никакого основания жаловаться на это. Ее прежнее положение бросало ложный свет на нее и привлекало к ней множество мнимых последователей, на которых нельзя было рассчитывать в период борьбы. Ее мнимые друзья — эгоисты, люди поверхностные, половинчатые, несвободные, теперь благополучно отступили, и она теперь знает, каково ее положение и на кого она может рассчитывать. К тому же, она может только радоваться обострению противоречий, так как конечная победа за ней все же обеспечена. Таким образом, было вполне естественно, что, в противовес господствовавшим до последнего времени тенденциям, были приглашены представители противоположного направления. Снова разгорелась борьба против гегелевской философии, а когда историко-позитивная фракция набралась храбрости, в Берлин был приглашен Шеллинг, чтобы разрешить этот спор и разделаться с учением Гегеля в его собственной философской сфере.

Появление Шеллинга в Берлине должно было возбудить всеобщий напряженный интерес. Он сыграл значительную роль в

истории новейшей философии; несмотря на то, что он пробудил столько мысли, он, между тем, никогда не давал законченной системы и неизменно откладывал подведение итогов своих научных занятий до тех пор, пока не пообещал, наконец, теперь представить этот окончательный отчет обо всей своей жизненной деятельности. В своей первой лекции он действительно взялся совершить примирение веры и знания, философии и откровения, и еще многое другое он пообещал нам [154]. Другим, важным моментом, способствовавшим повышению интереса к нему, было его отношение к тому, кого он пришел победить. Друзья и товарищи по комнате еще в университетские годы, эти два человека жили потом в Йене вместе так дружно, что и по сей день остается нерешенным, каково было их взаимное влияние друг на друга. Достоверно только одно, что именно Гегель довел до сознания Шеллинга, в какой мере он, сам того не зная, вышел за пределы Фихте *. Однако вскоре после их разлуки до тех пор параллельно шедшие пути их развития стали расходиться. Гегель, чья глубоко внутренняя беспокойная диалектика только теперь, после того как влияние Шеллинга отступило на задний план, начала по-настоящему развиваться, сделал в 1806 г. в своей «Феноменологии духа» [161] огромный шаг вперед по сравнению с натурфилософской точкой зрения и объявил о своей независимости от последней. Шеллинг все больше стал отчаиваться в возможности достигнуть на избранном им пути тех великих результатов, к которым он стремился, и попытался уже в то время овладеть абсолютом непосредственным образом, исходя из эмпирической предпосылки высшего откровения. В то время как способность Гегеля творить мысли неизменно проявлялась все энергичнее, живее и деятельнее, Шеллинг, как уже показывает этот ход его рассуждений, впал в состояние духовного изнеможения, которое нашло вскоре свое выражение также в затухании его литературной деятельности. Сколько бы он теперь самодовольно ни рассказывал о своей долгой, совершавшейся в тиши философской работе, о тайных кладах своего письменного стола, о своей тридцатилетней войне с мыслью, ему никто больше не верит. Разве мыслимо, чтобы человек, который всю силу своего духа сосредоточил на одном пункте, человек, считающий себя еще в полном обладании той юношеской силы,

* Если Шеллинг действительно обладает той «прямотой и искренностью», которыми он хвастает, если он действительно искренно убежден в том, что он утверждает о Гегеле, и имеет основания для этого, то пусть он докажет это опубликованием своей переписки с Гегелем, которая, как говорят, находится в его руках или опубликование которой только от него зависит. Но тут-то — уязвимое место Шеллинга. Если он, таким образом, требует, чтобы верили в его правдивость, то пусть он выступит с этим доказательством, которое положит конец всем поднятым по этому поводу спорам.

которая некогда преодолела самого *Фихте*, человек, который претендует быть богатырем науки, гением первого ранга, — а ведь только такой человек, как это всякий должен признать, мог бы свергнуть Гегеля, — разве мыслимо, чтобы такой человек мог потратить тридцать и больше лет на то, чтобы добиться таких незначительных результатов? Если бы Шеллинг не стремился так облегчить себе свою философскую деятельность, то разве не нашли бы все этапы хода его мыслей свое выражение в отдельных печатных работах? Да и кроме того Шеллинг всегда проявлял в этом отношении мало самоограничения и все новое, что он находил, немедленно выпускал в свет без особой критики. Если он все это время продолжал чувствовать себя королем науки, как мог он жить без признания своего народа, как мог он удовлетворяться жалким существованием какого-нибудь низложенного монарха, какого-нибудь Карла X, как мог он удовлетвориться давно изношенным и поблекшим пурпуром философии тождества? Разве он не должен был пустить в ход все средства, чтобы вернуть себе потерянные права, чтобы завоевать снова тот трон, который был отнят у него «позднее пришедшим»? * Вместо этого он свернул с пути чистой мысли, погрузился в мифологическую и теософическую фантастику и, как приходится думать, берег свою систему для нужд прусского короля **, ибо по зову последнего стало готовым сразу то, что раньше никак не могло получить законченной формы. Так прибыл он сюда с примирением веры и знания в чемодане, заставил о себе говорить и взошел, наконец, на кафедру. И что же представляло собой то новое, что он принес с собой, то неслыханное, что должно было совершить чудеса? Философию откровения, которую он, «начиная с 1831 г., в той же самой форме» читал в Мюнхене, и философию мифологии, «которая берет свое начало с еще более раннего периода». — Безусловное старье, которое вот уже десять лет бесплодно провозглашалось в Мюнхене, которое могло пленить только какого-нибудь Рингсейса, какого-нибудь Шталя. И это Шеллинг называет своей «системой»! Вот где кроются спасающие мир силы, заклинания, призванные изгнать безбожие — именно в том семени, которое не дало никаких всходов в Мюнхене! Почему же Шеллинг не опубликовал этого, вот уже десять лет готового, курса лекций? При всей самонадеянности Шеллинга и его уверенности в успехе, должна ведь существовать какая-то скрытая причина, какое-то тайное сомнение, которые удерживают его от этого шага.

* *Шиллер*. Перефразированные слова из трагедии «Пикколомини». Действие первое, явление первое. *Ред.*

** — Фридриха-Вильгельма IV. *Ред.*

Выступив перед берлинской публикой, он, конечно, вышел на несколько более широкую общественную арену, чем это было до сих пор в Мюнхене. То, что там легко могло остаться эзотерическим тайным учением, так как никому до этого дела не было, беспощадно извлекается здесь на свет божий. Никто не будет впущен здесь в царство небесное, прежде чем он не пройдет через чистилище критики. Все необыкновенное, что сказано было сегодня в здешнем университете, будет завтра напечатано во всех немецких газетах. Таким образом, все те основания, которые удерживали Шеллинга от печатания его лекций, должны были бы удержать его и от переселения в Берлин, и даже, пожалуй, еще в большей мере, ибо печатное слово не допускает никаких недоразумений, между тем как слово, мимолетно сказанное, наскоро записанное и, может быть, только краем уха слышанное, неизбежно подвергается лжетолкованиям. Но само собой разумеется, что теперь уже не было выбора; он должен был ехать в Берлин, иначе своим отказом он признал бы свою неспособность победить гегельянство. Но и печатать курс было уже слишком поздно, ибо в Берлин необходимо было привезти с собой нечто новое, неопубликованное, а что в его «письменном столе» никаких других вещей не имеется, — это показывает его здешнее выступление.

При таких-то обстоятельствах Шеллинг уверенно и смело взошел здесь на кафедру и начал свой курс перед аудиторией почти в четыреста человек из представителей всех сословий и наций, заранее суля своим слушателям нечто необычайное. Из этих лекций, основываясь на своих заметках, сверенных с чужими, по возможности точными записями, я сообщу то, что необходимо для оправдания моей оценки.

Всякая философия ставила себе до сих пор задачей понять мир как нечто разумное. Все, что разумно, то, конечно, и необходимо; все, что необходимо, должно быть или, по крайней мере, стать действительным. Это служит мостом к великим практическим результатам новейшей философии. А так как Шеллинг этих результатов не признает, то с его стороны было вполне последовательно также отрицать разумность мира. Но прямо высказать это у него, однако, не хватило мужества, и он предпочел вместо этого отрицать разумность философии. Таким-то образом он пробирается наивозможно кружным путем между разумом и неразумностью, называя разумное термином — постигаемое a priori *, неразумное термином — постигаемое a posteriori ** и относя первое к «чистой науке разума или

* — заранее, независимо от опыта. *Ред.*
** — на основании опыта. *Ред.*

к негативной философии», второе — к вновь создаваемой «позитивной философии».

Здесь первая глубокая трещина между Шеллингом и всеми другими философами; здесь его первая попытка протащить в свободную науку мышления веру в авторитет, мистику чувств и гностическую фантастику. Единство философии, цельность всякого мировоззрения разрывается во имя самого неудовлетворительного дуализма; противоречие, составляющее всемирно-историческое значение христианства, возводится также в принцип философии. Мы поэтому должны с самого начала протестовать против этого раздвоения. Кроме того, насколько оно несостоятельно, нам станет ясно, когда мы проследим ход тех рассуждений Шеллинга, которыми он пытается оправдать свою неспособность постигнуть вселенную как нечто разумное и целое. Он исходит из схоластического положения, что в вещах следует проводить различие между их quid и quod, между *чтó* [Was] и *что* [Daß]. *Чтó* такое вещи — этому учит нас разум; *чтó* они существуют — это показывает нам опыт. Всякая попытка упразднить это различие ссылкой на тождество мышления и бытия является злоупотреблением этим положением. Результатом логического процесса мысли может быть только идея мира, но не реальный мир. Разум, по Шеллингу, просто бессилен доказать существование чего-либо и должен в этом отношении удовлетвориться свидетельством опыта. Однако философия занималась также вещами, выходящими за пределы всякого опыта, например, богом. И вот спрашивается, способен ли разум доказать существование этих вещей? Чтобы ответить на этот вопрос, Шеллинг пускается в длинные рассуждения, которые мы считаем совершенно излишним приводить здесь, так как вышеупомянутые предпосылки не допускают никакого ответа, кроме решительного *нет*. Это и есть результат шеллинговского рассуждения. Отсюда, согласно Шеллингу, с необходимостью следует, что разум в своем чистом мышлении должен иметь своим объектом не действительно существующие вещи, а вещи, поскольку они возможны, не бытие вещей, а их сущность, и соответственно этому только сущность бога, а не его существование может явиться предметом его исследования. Таким образом, для действительного бога следует изыскать сферу, отличную от сферы чистого разума, вещи должны обладать предпосылкой существования; они только потом, a posteriori, окажутся возможными или разумными, а в своих последствиях — доступными опыту, т. е. действительными.

Противоположность Гегелю выражена здесь уже со всей резкостью. Гегель с той наивной верой в идею, над которой так

возвысился Шеллинг, утверждает: что́ разумно, то́ вместе с тем и действительно; Шеллинг же говорит, что все разумное возможно, и этим бьет наверняка, ибо это положение, при широком объеме понятия возможного, неопровержимо. В то же время этим самым он обнаруживает, как это выяснится позднее, отсутствие ясности понимания в отношении всех чисто логических категорий. Я мог бы уже сейчас показать ту брешь в вышеприведенном боевом строе умозаключений, через которую злой дух зависимости пробрался в ряды свободных мыслей, но я хочу отложить это до более удобного случая, чтобы не повторяться, и перейти к содержанию чистой науки разума в том виде, как оно было сконструировано Шеллингом перед его слушателями к большой потехе всех гегельянцев. Содержание это сводится к следующему:

Разум есть бесконечная потенция познания. Потенция означает то же, что способность (познавательная способность Канта). Как таковая она кажется лишенной всякого содержания, на самом же деле она во всяком случае таковое имеет, притом без всякого содействия, без всякого акта с ее стороны, ибо в противном случае она перестала бы быть потенцией, так как потенция и акт противостоят друг другу. Этим по необходимости непосредственным врожденным содержанием может быть только бесконечная потенция бытия, соответствующая бесконечной потенции познания, так как всякому познанию соответствует некоторое бытие. Эта потенция бытия, эта бесконечная возможность бытия является той субстанцией, из которой мы должны выводить наши понятия. Занятие ею есть чистое, самому себе имманентное мышление. Эта чистая возможность бытия не есть только простая готовность к существованию, а понятие самого бытия, нечто по своей природе вечно переходящее в понятие, или то, что стремится к переходу в бытие, сущее, которое нельзя удержать от бытия и которое поэтому переходит от мышления к бытию. Это — подвижная природа мышления, в силу которой оно не может свестись к простому мышлению, а мышление вынуждено вечно переходить в бытие. Однако это не есть переход в реальное бытие, а лишь логический переход. Таким образом, вместо чистой потенции появляется логически сущее. Но так как бесконечная потенция является prius * того, что возникает в самом мышлении благодаря переходу в бытие, а только бесконечной потенции может соответствовать всякое действительное бытие, то разум обладает, в качестве неотделимого от него содержания, потенцией занять априорное положение по отношению к бытию

* — прежде, первичностью. *Ред.*

и, таким образом, не прибегая к помощи опыта, постигнуть содержание всякого действительного бытия. Все, что совершается в действительности, разум познал как логически необходимую возможность. Он не знает, существует ли мир, он только знает, что если мир существует, то он должен иметь такие-то и такие-то свойства.

То обстоятельство, что разум есть потенция, вынуждает нас, следовательно, и его содержание признать потенциальным. Бог, следовательно, не может быть непосредственно содержанием разума, ибо он есть нечто действительное, а не только потенциальное, возможное. В потенции бытия мы впервые открываем возможность перехода в бытие. Это бытие отнимает у потенции ее власть над самой собой. Прежде потенция была властна над бытием: она могла перейти в него, а также и не перейти. Теперь же она подпала под власть бытия, находится у него в подчинении. Это есть лишенное духовности, лишенное понятия бытие, ибо дух есть власть над бытием. Это лишенное понятия бытие не существует больше в природе, где все уже запечатлено формой, но легко видеть, что этому оформленному бытию предшествовало слепое, беспредельное бытие, которое лежит в основе как материя. Но потенция есть то свободное бесконечное, что может переходить, а также и не переходить в бытие; таким образом, две противоречивых противоположности — бытие и небытие — не исключают в ней друг друга. Эта способность «также и не переходить» равна первой способности «переходить в бытие», пока первая способность остается в потенции. Лишь когда непосредственно могущее существовать действительно переходит, второе — из него исключается. Индифферентность обоих в потенции тогда прекращается, ибо теперь первая возможность исключает из себя вторую. Этой второй — возможности существования — дается способность осуществиться только через исключение первой. Подобно тому как в бесконечной потенции способность перехода и способность неперехода не исключаются взаимно, они также не исключают и того, что свободно витает между бытием и небытием. Таким образом, мы имеем три потенции. Первая содержит непосредственное отношение к бытию, вторая — посредственное, могущее быть лишь через исключение первой потенции. Таким образом, мы имеем: 1) тяготеющее к бытию, 2) тяготеющее к небытию, 3) свободно витающее между бытием и небытием. Перед переходом третья потенция не отличается от непосредственной потенции и только тогда станет бытием, когда будет исключена из первых двух; она может осуществиться только тогда, когда обе первые потенции перешли в бытие. Этим замыкается цепь возможностей, и внутренний организм разума

исчерпывается в этой совокупности потенций. Первой возможностью является только та, которой может предшествовать лишь сама бесконечная потенция. Есть нечто, что, покинув сферу возможности, бывает только чем-нибудь *одним*, но до того, как оно решилось на это, остается instar omnium *, тем, что непосредственно предстоит, также и тем, что противостоит, противостоит другому, оказывает сопротивление призванному следовать за ним. Оставляя свое место, оно передает свою власть другому, возводя это последнее в ранг потенции. Этому другому, возведенному в ранг потенции, оно само подчинится как относительно несуществующее. Прежде всего выступает могущее быть в переходном смысле, которое является поэтому также наиболее случайным, наиболее необоснованным, тем, что может найти свое основание только в последующем, а не в предшествующем. Только подчиняясь этому последующему, будучи для него относительно несуществующим, оно само через это получает впервые обоснование, становится чем-то, так как, предоставленное самому себе, оно расплылось бы в ничто. Это первое начало есть prima materia ** всякого бытия, достигающая определенности бытия только тогда, когда полагает над собой нечто высшее. Второе — могущее быть — полагается и возвышается в свою потенцию только благодаря вышеуказанному исключению первого из его невозмутимости; то, что в самом себе еще не есть могущее быть, становится теперь таковым благодаря отрицанию. Вместо представляемой им первоначальной категории не-непосредственной возможности бытия оно положено как невозмутимое, спокойное хотение, и оно по необходимости будет стремиться отрицать свое отрицание и вернуться обратно в свое невозмутимое бытие. Это может произойти только таким путем, что первое из своего абсолютного отчуждения снова приводится в состояние возможности бытия. Таким образом, мы получаем высшую форму возможности бытия, бытие, снова сведенное к своей возможности, которое, как высшее бытие, является владеющим самим собой бытием. Так как бесконечная потенция не исчерпывается непосредственной возможностью бытия, то второе начало, заключающееся в ней, может быть непосредственно только невозможностью бытия. Но непосредственная возможность бытия уже вышла за пределы возможности; поэтому вторая потенция может быть только непосредственной не-невозможностью бытия, совершенно чистым бытием, ибо только сущее не есть возможность бытия. Во всяком случае чистое бытие может быть, как бы это ни казалось противоречивым, потенцией, ибо оно не есть

* — заменой всего. *Ред.*
** — первая материя. *Ред.*

действительное бытие, оно не перешло, подобно последнему, a potentia ad actum *, а является actus purus **. Непосредственной потенцией оно, конечно, не является, *но отсюда еще не следует, что оно вообще не может быть потенцией*. Оно должно быть отрицаемо с тем, чтобы быть осуществленным; таким образом, оно не является везде и непременно потенцией, но может стать потенцией через отрицание. До тех пор, пока непосредственно могущее быть оставалось только потенцией, оно само покоилось в чистом бытии; как только оно возвышается над потенцией, оно вытесняет чистое бытие из своего бытия, чтобы самому стать бытием. Чистое бытие, подвергшееся отрицанию как actus purus, становится, таким образом, потенцией. Оно не обладает, следовательно, никакой свободой воли, но вынуждено действовать, вновь отрицать свое отрицание. Таким образом, оно могло бы переходить ab actu ad potentiam *** и найти свое осуществление вне себя. Первое, беспредельное бытие было то нежелаемое, та hyle ****, с которой демиургу приходится бороться. Оно полагается с тем, чтобы немедленно быть отрицаемым второй потенцией. На место беспредельного бытия должно явиться оформленное бытие, оно должно быть обратно переведено через ряд ступеней в возможность бытия, становясь тогда владеющей собой и на высшей ступени самосознающей способностью. Таким образом, между первой и второй возможностью лежит целый ряд производных возможностей и промежуточных потенций. Они составляют уже конкретный мир. Как только полагаемая вне себя потенция целиком и без остатка снова обращена в способность, во владеющую собой потенцию, сходит со сцены также и вторая потенция, так как она только для того и существует, чтобы отрицать первую, и в этом акте отрицания первой она уничтожает самое себя как потенцию. По мере того как она преодолевает противостоящее ей бытие, она уничтожает себя самое. *Этим дело теперь ограничиться не может*. Чтобы в бытии было нечто завершенное, на место всецело побежденного второй потенцией бытия должно быть положено нечто третье, чему вторая потенция всецело передает свою мощь. Это нечто не может быть ни чистой возможностью бытия, ни чистым бытием бытия, а только тем, что в бытии является возможностью бытия, а в возможности бытия является бытием; это есть противоречие между потенцией и бытием, полагаемое как тождество, то, что свободно витает между обоими, *дух* — неисчерпаемый источник бытия,

* — от потенции к акту. *Ред.*
** — чистым актом. *Ред.*
*** — от акта к потенции. *Ред.*
**** — материя. *Ред.*

который совершенно свободен и в бытии не перестает оставаться потенцией. Это начало не может действовать непосредственно, а может только осуществиться через вторую потенцию. Так как второе начало является опосредствованием между первым и третьим началом, то это третье начало полагается благодаря преодолению первого вторым. Это третье начало, оставшееся непреодоленным в бытии, является в качестве духа могущим быть бытием и завершающим бытие, так что его вступление в бытие дает завершенное бытие. Во владеющей собой способности, в духе, природа достигает своего завершения. Эта последняя способность может также отдаться новому, сознательно вызванному движению и построить себе, таким образом, над природой новый интеллектуальный мир. И эта возможность должна быть исчерпана наукой, которая, таким образом, становится философией природы и философией духа.

Благодаря этому процессу исключается все, что не имманентно мышлению, все, перешедшее в бытие, и остается потенция, которой не требуется больше переходить в бытие, так как бытие находится не вне ее, а ее возможность бытия и составляет ее бытие; существо, не подчиненное больше бытию, а являющееся бытием в своей истинности, — так называемое высшее существо. Таким образом, осуществляется высший закон мышления: потенция и акт совмещаются в одном существе, мышление остается теперь в самом себе и остается благодаря этому *свободным мышлением,* не подчиненным больше безудержному, необходимому движению. Здесь достигнуто то, что вначале было предметом желания; владеющее собой понятие (ибо понятие и потенция тождественны), которое, так как оно является единственным в своем роде, имеет особое название и, так как оно есть то, что было изначально желаемым, называется идеей. Ибо кто в мышлении не интересуется результатом, чья философия не сознает своей собственной задачи, *тот подобен тому художнику, который стал бы малевать наугад, совершенно не думая о том, что выйдет из его работы.*

Вот в общих чертах то, что сообщил нам Шеллинг о содержании своей негативной философии, и этот очерк вполне достаточен, чтобы увидеть весь фантастичный и нелогичный характер его способа мышления. Он уже неспособен больше двигаться в сфере чистой мысли даже в течение короткого времени; каждую минуту ему перебегают дорогу самые фантастические, самые причудливые призраки, так что кони его философской колесницы от испуга становятся на дыбы, и он сам сворачивает с первоначально намеченного направления, гоняясь за этими туманными призраками. Сразу бросается в глаза, что его три потенции, если

их свести к их голому логическому содержанию, представляют собой не что иное, как три момента гегелевского хода развития путем отрицания, только оторванные друг от друга, зафиксированные в их оторванности и подогнанные к целям «сознающей свои задачи философии». Печально видеть, как Шеллинг низводит мысль из ее возвышенного, чистого эфира в область чувственных представлений, как он срывает с ее головы корону из чистого золота и, нарядив ее в корону из золотой бумаги, заставляет ее, пьяную от тумана и испарений необычной романтической атмосферы, бродить пошатывающейся походкой на потеху уличных мальчишек. Эти так называемые потенции не являются вовсе мыслями, это — расплывчатые фантастические образы, в которых сквозь таинственно окутывающее их облачное покрывало уже ясно вырисовываются очертания трех божественных ипостасей. Мало того, они обладают уже известным самосознанием: одна «тяготеет» к бытию, вторая — к небытию, третья «свободно витает» между обеими. Они «уступают друг другу место», у них разные «места», они «вытесняют» друг друга, они «противостоят» друг другу, они ведут борьбу между собой, они «стараются отрицать друг друга», они «действуют», они «стремятся» и т. д. Это странное превращение мысли в чувственное представление вытекает опять-таки из ошибочного понимания гегелевской логики. Ту могучую диалектику, ту внутреннюю движущую силу, которая, точно чувствуя моральную ответственность за несовершенство и односторонность отдельных предикатов идеи, неустанно толкает их к новому развитию и возрождению до тех пор, пока они в качестве абсолютной идеи не воскреснут в последний раз из могилы отрицания в нетленной незапятнанной красоте, — эту могучую диалектику Шеллинг смог понять только как самосознание отдельных категорий, между тем как она представляет собой самосознание всеобщего, мышления, идеи. Язык пафоса он хочет возвысить до абсолютно-научного, не показав нам предварительно чистой мысли в единственно подходящей для нее форме изложения. С другой стороны, он так же мало способен постигнуть идею бытия в ее совершенной абстракции, доказательством чему может служить тот факт, что он определения «бытие» и «сущее» постоянно употребляет как равнозначащие. Бытие он может мыслить только как материю, как hyle, как беспорядочный хаос. К тому же мы имеем теперь уже несколько таких материй — «беспредельное бытие», «оформленное бытие», «чистое бытие», «логическое бытие», «действительное бытие», «невозмутимое бытие», а позже мы еще сверх того получим «предвечное бытие» и «противоречивое бытие». Забавно видеть, как эти различные виды бытия сталкиваются и

вытесняют друг друга, как потенции предоставляется только на выбор: затеряться в этой беспорядочной массе или остаться пустым призраком. И пусть мне не говорят, что дело тут только в образной форме изложения; напротив, это гностически-восточное бредовое мышление, представляющее себе каждое определение идеи или как личность или как материю, является основанием всего процесса. Устраните этот способ созерцания, и все рухнет. Уже основные категории — потенция и акт — возникли в очень смутный период, и Гегель был совершенно прав, когда он выбросил из логики эти неясные определения. Шеллинг к тому же еще усугубляет путаницу, употребляя эту противоположность попеременно и произвольно вместо следующих гегелевских определений: в-себе-бытие и для-себя-бытие, идеальность и реальность, сила и проявление, возможность и действительность, и, сверх того, потенция еще остается особой, чувственно-сверхчувственной сущностью. Но по преимуществу, однако, она означает у Шеллинга возможность, и, таким образом, мы здесь имеем философию, основанную на возможности. В этом отношении Шеллинг по праву называет свою науку разума «ничего не исключающей», ибо возможно в конце концов все. Но дело заключается в том, чтобы мысль себя оправдала посредством своей внутренней силы к осуществлению. И поблагодарят же немцы за такую философию, которая тащит их по непроходимой дороге и через бесконечно скучную Сахару возможности, не давая им ничего реального для утоления голода и жажды и не приводя их ни к какой цели, а лишь туда, где реальный мир, по ее собственному утверждению, остается для разума книгой за семью печатями.

Однако возьмем на себя труд последовать за ним через ничто. Шеллинг говорит: сущность — для понятия, бытие — для познания. Разум есть бесконечная потенция познания, его содержание — бесконечная потенция бытия, как изложено выше. Но тут он вдруг начинает действительно познавать бесконечную потенцию бытия посредством потенции познания. Может ли он это? Нет. Познание есть акт, акту соответствует акт, «познанию соответствует бытие», следовательно, предыдущему актуальному познанию соответствует актуальное, действительное бытие. Таким образом получается, что разум против воли вынужден познать действительное бытие, и, несмотря на все старания удержаться в открытом море возможности, мы выбрасываемся прямо на ненавистный берег действительности.

Но, возразят нам, потенция бытия познается ведь только после ее перехода, который является, конечно, логическим. Однако Шеллинг сам говорит, что логическое бытие и потенция

бытия, понятие и потенция тождественны. Если, таким образом, потенция *познания* действительно переходит в акт, то потенция *бытия* не может удовлетвориться одним обманчивым, мнимым переходом. Раз потенция бытия не переходит действительно, то она остается потенцией, следовательно, не может познаваться разумом и, таким образом, является не «необходимым содержанием разума», а чем-то абсолютно неразумным.

Или Шеллинг думает назвать ту деятельность, которую разум проявляет в отношении своего объекта, не познанием, а, скажем, пониманием? Тогда разум неизбежно свелся бы к бесконечной потенции понимания, так как он в своей собственной науке вообще не доходил бы до познания.

С одной стороны, Шеллинг исключает существование из числа объектов разума, с другой же стороны — он его снова включает в него вместе с познанием. Познание для него — единство понятия и существования, логики и эмпирии. Итак, всюду противоречия, куда бы мы ни обратились. Как же так?

Является ли разум в самом деле бесконечной *потенцией* познания? Является ли глаз потенцией зрения? Глаз, даже закрытый глаз, всегда видит: даже тогда, когда ему кажется, что он ничего не видит, он все же видит темноту. Только больной глаз, именно излечимо-слепой, представляет потенцию зрения, не являясь одновременно актом, и только неразвитой или временно помутившийся разум представляет лишь *потенцию* познания. Но ведь представление о разуме как о потенции кажется столь правдоподобным? Он действительно является потенцией и не только возможностью, но и абсолютной силой, необходимостью познания. Последняя, однако, должна проявиться, должна познавать. Разделение потенции и акта, силы и ее проявления, есть явление только конечного, в бесконечности же потенция совпадает со своим актом, сила — со своим собственным проявлением. Ибо бесконечное не терпит внутри себя противоречия. Если разум является бесконечной потенцией, то он является, в силу этой бесконечности, также и бесконечным актом. Иначе пришлось бы и самую потенцию считать конечной. Это заложено также уже в непосредственном сознании. Разум, который не идет дальше потенции познания, называется неразумием. Только тот разум является действительным разумом, который доказывает свою состоятельность в акте познания, и только тот глаз, который действительно видит, является настоящим глазом. Значит, здесь противоположность между потенцией и актом оказывается сразу разрешимой, в конечном счете ничтожной, и это решение является триумфом гегелевской диалектики над ограниченностью Шеллинга, который не может

справиться с этим противоречием, ибо даже там, где в идее потенция и акт должны совпадать, — это только утверждается, но действительный взаимный переход друг в друга этих определений не раскрывается.

Но если Шеллинг скажет: разум есть понимание и, так как понятие есть потенция, он есть потенция познания, которая только тогда становится действительным познанием, когда она находит какой-нибудь реальный объект для познавания; напротив, в науке чистого разума, где разум занимается потенцией бытия, он остается внутри потенции познания и только понимает, — в таком случае уже независимо от вышеприведенных рассуждений о потенции и акте всякий должен будет признать, что целью потенции познания может быть только переход к действительному познанию и что без этого перехода она — ничто. Таким образом, оказывается, что содержание науки чистого разума совершенно беспредметно, пусто, бесполезно и что разум, когда он выполняет свою задачу и действительно познает, становится неразумием. Если Шеллинг признает, что сущность разума есть неразумие, то мне, конечно, ничего больше не остается сказать.

Вот почему Шеллинг с самого начала так запутался со своими потенциями, переходами и соответствиями, что из путаницы логического бытия и бытия реального, от которых он хочет избавиться, он вынужден искать выход в признании совершенно иного пути мышления, чем его собственный. Пойдем, однако, дальше.

Таким образом, разум должен постигнуть содержание всякого действительного бытия и занять по отношению к нему априорное положение; он не в состоянии доказать, что что-либо существует, а только то, что, если что-либо существует, оно должно обладать такими-то и такими-то свойствами — в противоположность утверждению Гегеля, по которому вместе с мыслью дано также и реальное существование. Но в этих положениях опять полнейшая путаница. Ни Гегелю, ни кому-либо другому не приходило в голову доказывать существование какой-либо вещи, не имея для этого эмпирических предпосылок; он доказывает только необходимость существующего. Здесь Шеллинг представляет себе разум так же абстрактно, как раньше потенцию и акт, и поэтому вынужден приписать ему домировое существование, совершенно оторванное от всякого другого существования. Вывод новейшей философии, который еще встречался в прежней философии Шеллинга, по крайней мере в ее предпосылках, и который лишь Фейербах со всей остротой довел до сознания, состоит в том, что разум может

существовать только как дух, а дух может существовать только внутри и вместе с природой, а не так, что он в совершенной изолированности от всей природы, бог весть где, живет какой-то обособленной жизнью. Это признает и Шеллинг, когда он устанавливает как цель индивидуального бессмертия не освобождение духа от природы, а как раз надлежащее равновесие обоих; также, когда он далее говорит о Христе, что он не *растворился во вселенной,* а как человек вознесся одесную бога. (Следовательно, остальные две божественные личности все же растворились во вселенной?) Но раз существует разум, то его собственное существование является доказательством существования природы. Следовательно, существует необходимость, в силу которой потенция бытия должна немедленно переходить в акт бытия. Или же будем исходить из совершенно обыденного положения, понятного также и без Фейербаха и Гегеля: до тех пор, пока абстрагируются от всякого существования, о нем вообще не может быть речи. Если же делают исходным нечто существующее, то можно от него, без сомнения, совершать переход к другим вещам, которые, в случае правильности всех умозаключений, должны также существовать. Если существование предпосылок признается, то существование следствий является само собой разумеющимся. Но основой всякой философии является существование разума. Это существование доказано его деятельностью (cogito, ergo sum *). Если, таким образом, исходят от него как от существующего, то отсюда само собой следует существование всех его последствий. Что существование разума является предпосылкой, — этого не отрицал еще ни один философ. Если Шеллинг все же не хочет признать этой предпосылки, то пусть он оставит философию в покое. Таким образом, Гегель, без сомнения, мог доказать существование природы, т. е. доказать, что она является необходимым следствием существования разума. Шеллинг, исповедующий абстрактную и не имеющую силы имманентность мышления, забывает, однако, что самоочевидной основой всех его операций является существование разума. Он выставляет смешное требование, чтобы действительный разум имел недействительные, только логические результаты, чтобы действительная яблоня приносила только логические, потенциальные яблоки. Такую яблоню обыкновенно называют бесплодной. Шеллинг же сказал бы: бесконечная потенция яблони.

Если, таким образом, гегелевские категории называют не только прообразами, по которым созданы вещи этого мира,

* — мыслю, следовательно существую. *Декарт.* «Начала философии». *Ред.*

но и творческими силами, которыми они созданы, то это означает только, что они выражают идейное содержание мира, и доказывает, что он вытекает как необходимое следствие из существования разума. Шеллинг же, напротив, действительно принимает разум за нечто такое, что может существовать и вне мирового организма, относя его истинное царство к пустой, бессодержательной абстракции, к «эону до сотворения мира», который, однако, к счастью, никогда не существовал и в котором разум еще в меньшей степени мог как-либо проявляться или же испытывать чувство блаженства. Здесь, однако, обнаруживается, насколько крайности сходятся; Шеллинг не способен постичь конкретную мысль, он гонит ее в область самой головокружительной абстракции, которая тут же снова воплощается для него в чувственный образ, так что эта хаотическая смесь абстракции и представления образует характерную черту схоластически-мистического способа мышления Шеллинга.

Мы можем почерпнуть новые доказательства в пользу высказанного нами, если мы обратимся к развитию содержания «негативной философии». Потенция бытия служит основой. Карикатурное искажение гегелевской диалектики наиболее отчетливо бросается в глаза. Потенция по своему произволу может совершать переход или не совершать его. Таким образом, из нейтральной потенции выделяются в реторте разума две химические составные части: бытие и небытие. Если бы вообще можно было всю эту путаницу потенций вернуть в сферу здравого смысла, то здесь обнаружился бы диалектический момент и здесь Шеллинг как будто догадывается, что сущность потенции есть необходимость перехода и что потенция может быть абстрагирована только от акта действительности. Но нет, он все более запутывается в односторонней абстракции. Он один раз в виде опыта заставляет потенцию сделать переход и приходит к великому открытию, что после этого перехода она утратила имевшуюся у нее раньше возможность также и *не* совершать перехода. Одновременно он открывает в потенции третье свойство: возможность воздержаться от того и другого и свободно витать между бытием и небытием. Эти три возможности, или потенции, должны заключать в себе всякое разумное содержание, всякое возможное бытие.

Возможность стать бытием становится действительным бытием. Этим отрицается вторая возможность — возможность также и не стать бытием. Попытается ли последняя восстановить себя? Как может она это сделать? Ведь то, чему она здесь подвергается, не есть только отрицание в гегелевском смысле; она

совершенно уничтожена, сведена на нет, на такое радикальное небытие, которое может встретиться только в философии возможности. Как может эта раздавленная, проглоченная, съеденная возможность еще иметь силу восстановить себя? Ведь отрицается не только вторая возможность, но даже первоначальная потенция — тот субъект, простым предикатом которого является та вторая возможность, и тут, собственно, не эта последняя, а именно та первоначальная потенция должна была бы пытаться восстановить себя. Но это вовсе не может входить в ее задачу, — говоря образным языком Шеллинга, — ибо она должна была заранее знать, что, становясь актом, она подвергнет самое себя отрицанию, как потенцию. Такого рода восстановление вообще может иметь место только там, где отрицают взаимно друг друга *лица*, а не категории. Только безграничное непонимание, только невероятная страсть к искажению могли так бессмысленно извратить принцип гегелевской диалектики, явно положенный здесь в основу. Насколько недиалектичен весь этот процесс, видно также из следующего: если обе стороны потенции имеют одинаковую силу, то без толчка извне она вовсе не может решиться на переход и должна остаться в прежнем состоянии. В этом случае весь процесс, конечно, не совершился бы, и Шеллинг был бы в безвыходном положении, не зная, где ему раздобыть прототипы мира, духа и христианского триединства. Таким образом, мы не видим необходимости всего построения в целом, и остается неясным, почему потенция оставляет свой прекрасный потенциальный покой, отдает себя во власть бытия и т. д., — весь процесс с самого начала покоится на произволе. Если это происходит в «необходимом» мышлении, то что́ еще ждет нас в «свободном» мышлении! Но так это и есть, этот переход должен остаться произвольным, ибо иначе Шеллинг ведь признал бы необходимость мира, а это не соответствует его позитивизму. Это, однако, опять-таки является доказательством того, что потенция является потенцией лишь как акт, без акта же она — бессодержательный пустой призрак, которым сам Шеллинг не может удовлетвориться, ибо пустая потенция не дает ему никакого содержания; содержание появляется, когда потенция становится актом, и, таким образом, он против воли вынужден признать несостоятельность противопоставления потенции и акта.

Вернемся еще раз ко второй потенции, с которой Шеллинг проделывает самые удивительные вещи. Мы раньше видели, как она подвергалась отрицанию, сводилась на нет. Теперь Шеллинг продолжает: так как первая потенция есть нечто могущее быть, то вторая является ее противоположностью, она

есть все, но только не могущее быть, следовательно чистое сущее, actus purus! Этот последний, однако, должен был, таким образом, уже заключаться в первоначальной потенции, но каким образом он может там оказаться? Каким образом то «отвратившееся от бытия, тяготеющее к небытию» и т. д. становится вдруг абсолютно чистым бытием, чем отличается «чистое бытие» от «беспредельного бытия», почему для могущего не быть нет другого выхода, как стать сущим? На эти вопросы мы не получаем никакого ответа. Вместо этого нас уверяют, что эта вторая потенция обратно возвращает в сферу возможности первую потенцию, ставшую беспредельной, тем самым восстановляя и одновременно уничтожая себя. Пойми, кто может! Дальше — отдельные ступени этого процесса восстановления кристаллизуются в ступенях природы. Каким образом в этом процессе возникает природа, — этого никто не поймет. Почему, например, беспредельное бытие является материей — hyle? Потому что Шеллинг с самого начала имел в виду эту hyle, опираясь на нее строил свою схему, без чего это бытие могло бы иметь и всякое другое содержание как чувственное, так и духовное. Не видно также, почему разные ступени в развитии природы следует понимать как потенции. Согласно этому положению, именно наиболее мертвое, неорганическое в природе должно было бы быть в наибольшей степени сущим, все органическое же — скорее лишь могущим быть. Но это можно рассматривать лишь как мистический образ, в котором исчезло всякое выраженное в мыслях содержание.

Вместо того чтобы понять третью потенцию, дух — а его-то, по-видимому, Шеллинг давно уже домогался — как высшую количественную ступень побежденной второй потенцией первой потенции, в которой одновременно происходит качественное изменение, Шеллинг опять-таки оказывается в недоумении, откуда же извлечь эту потенцию. «Наука ищет какое-то третье начало», «на этом остановиться нельзя», «на место бытия, побежденного второй потенцией, должно быть поставлено нечто третье» — вот те магические формулы, при помощи которых Шеллинг вызывает *дух*. Тут же следует поучение о том, как создан этот возникший путем generatio primitiva * дух. Если мы принимаем во внимание природу, то для нас, во всяком случае, ясно, что в соответствии с данными предпосылками следует представить себе дух как владеющую собой возможность бытия (а не просто возможность), что уже само по себе достаточно скверно. Если же мы абстрагируемся от этой будущей

* — самопроизвольного зарождения. *Ред.*

природы, которая, может быть, никогда даже и не появится, если мы остаемся в сфере чистых потенций, то нам при всем старании никак не удастся постигнуть, каким образом первая потенция, по возвращении ее при помощи второй в возможность бытия, может стать чем-либо иным, как не первоначальной потенцией. Шеллинг, быть может, чувствовал всю глубину гегелевского опосредствования, прошедшего через отрицание и противоположность, но воспроизвести его он не в силах. У него все сводится к тому, что из двух безразличных друг другу вещей одна вытесняет другую, после чего вторая снова отвоевывает свое место и оттесняет первую к ее первоначальному месту. Невозможно, чтобы результатом всего этого явилось что-либо иное, а не первоначальное состояние. К тому же, если первая достаточно сильна, чтобы вытеснить вторую, откуда же вторая, у которой не хватило сил для обороны, вдруг набирается силы, чтобы перейти в наступление и прогнать врага? Я уже совсем не хочу говорить о неудачном определении духа; оно опровергает само себя и весь тот процесс, результатом которого оно является.

Таким образом, мы благополучно подходили бы уже к концу этого так называемого процесса развития и могли бы немедленно перейти к другим вещам, если бы Шеллинг, после того как дух явился последним звеном, замыкающим собой цепь всего сущего, не обещал нам другого, интеллектуального мира, заключительным звеном которого он называет идею. Каким образом Шеллинг *после* конкретной природы и живого духа может заполучить еще абстрактную идею (а в этом положении она может быть только абстрактной), это, во всяком случае, остается непонятным, а Шеллинг должен был бы обосновать это, так как он отвергает то отношение, в котором находится к вышеупомянутой идее гегелевская идея. Однако он приходит к этому благодаря страстному желанию иметь во что бы то ни стало абсолютное в конце философии и из-за непонимания того, каким путем Гегель действительно добился этого результата. Но абсолютное есть самосознающий себя дух, — а таков смысл, конечно, и шеллинговской идеи, — и вот этот самосознающий себя дух является, согласно Шеллингу, постулатом, завершающим негативную философию. Здесь, однако, опять противоречие. Эта негативная философия, с одной стороны, не может включить в себя историю, так как действительность не является ее объектом; с другой же стороны, она является философией духа, а ведь венцом этой последней является философия всемирной истории; негативная наука имеет также задачу «исчерпать эту последнюю возможность сознательно совершающегося

процесса» (а таким процессом может быть только история). Как обстоит дело в действительности? Несомненно одно, а именно, что если бы у Шеллинга была философия истории, то самосознающий дух явился бы у него не постулатом, а результатом. Но самосознающий дух еще далеко не есть понятие личного бога, с которым Шеллинг отождествляет идею.

Покончив с этим, Шеллинг заявляет, что задачу систематического построения этой изложенной сейчас науки он поставил себе уже сорок лет тому назад. Философия тождества хотела только стать этой негативной философией. То, что она медленно и постепенно возвышалась над Фихте, было, по крайней мере, отчасти преднамеренным; «он хотел избегнуть всяких резких переходов, сохранить непрерывность философского развития и даже льстил себя надеждой привлечь со временем, может быть, на свою сторону и самого Фихте». Чтобы поверить этому, нам нужно было бы не знать вышеприведенного мнения Гегеля, а также не знать, как плохо знает самого себя Шеллинг. Субъект, который в философии тождества вобрал в себя все возможное позитивное содержание, объявляется теперь потенцией. Уже в этой философии тождества ступени природы являются будто бы каждый раз чем-то относительно сущим по сравнению со следующими за ними высшими ступенями; эти же последние оказываются могущими быть по отношению к первым и в свою очередь относительно сущими по сравнению с более высокими ступенями, так что субъекту и объекту философии тождества здесь соответствует могущее быть и сущее, пока, наконец, в результате и получится то, что уже больше не может быть относительно сущим, являясь абсолютным «сверхсущим» тождеством, а не простой индифферентностью мышления и бытия, потенции и акта, субъекта и объекта. Но все в этой философии тождества высказывается как «предпосылка чистой науки разума», и было бы наихудшим недоразумением, если бы все в целом было понято как изображение не чисто логического, а также и реального процесса, если бы полагали, будто философия тождества из истинного самого по себе принципа выводит истинность всего того, что из него вытекает. Только как заключительное звено этой философии появляется то, что не может больше самоотчуждаться, — бытие во всем его блеске, взирающее на природу и дух, как на свой трон, на который оно было вознесено. Однако хотя все это очень возвышенно, это чисто мысленный образ, и, только расположив весь процесс в диаметрально противоположном порядке, мы получаем картину того, что происходит в действительности.

Пока мы оставляем открытым вопрос, не является ли это изложение философии тождества приспособлением к теперешним взглядам Шеллинга и в самом ли деле Шеллинг сорок лет тому назад так же мало считал реальными свои мысли, как теперь, и не лучше ли было бы, вместо того чтобы хранить важное молчание, двумя словами — как это легко было сделать — устранить «величайшее недоразумение». Мы желаем скорее перейти к суждениям Шеллинга о том муже, который вытеснил «из занимаемого им положения» Шеллинга без того, чтобы последнему до сих пор удалось ответить «отрицанием на отрицание себя».

В то время, говорит Шеллинг, когда почти все неверно и плоско понимали философию тождества, Гегель спас ее основную идею, которой он остался верен до конца, о чем свидетельствуют его «Лекции по истории философии» [155]. Ошибка Гегеля заключалась в том, что он философию тождества считал абсолютной философией и не признавал, что существуют вещи, которые выходят за ее пределы. Ее границей была возможность бытия, Гегель же вышел за эту границу и включил в ее сферу и бытие. Его основная ошибка заключалась в том, что он эту философию хотел превратить в своего рода экзистенциальную систему. Он полагал, что философия тождества имела своим объектом абсолютное не только со стороны его сущности, но и со стороны его существования. Тем, что он вовлекает существование в свою систему, он выпадает из пределов развития чистого разума. Таким образом, он последователен, когда начинает свою науку с чистого бытия и этим отрицает prius существования. Тем самым обусловливается, что он был только имманентен в неимманентном, ибо бытие есть неимманентное в мышлении. Сверх того, он теперь утверждает, что в логике доказал абсолютное. Таким образом, получается, что абсолютное у него появляется дважды — в конце логики, где оно определяется точно так же, как в конце философии тождества, и в конце всего процесса. Таким образом, здесь обнаруживается, что логика не может быть предпослана в качестве первой части развития, а должна пронизывать именно весь процесс. У Гегеля логика определяется как субъективная наука, в которой мышление остается только в себе и с собой, до и вне всякой действительности. И все же она будто бы имеет своим конечным пунктом *действительную,* реальную идею. В то время как философия тождества с первых шагов находится в природе, Гегель выбрасывает природу из логики и объявляет ее, таким образом, нелогической. Именно абстрактным понятиям гегелевской логики не место в начале философии; они могут

проявиться только тогда, когда сознание включило в свою сферу всю природу, ибо они являются только абстракциями от природы. Таким образом, у Гегеля не может быть и речи об объективной логике, ибо там, где начинается природа, объект, как раз кончается логика. Следовательно в логике идея находится в становлении, но только в мысли философа; ее объективная жизнь начинается лишь там, где она достигла сознания. Однако она выступает как реально существующая уже в конце логики, следовательно продвигаться с ней далее уже невозможно. Ибо идея, как абсолютный субъект-объект, как идеально-реальное, является завершенной в себе и неспособна больше ни к какому дальнейшему прогрессу. Как может она в таком случае переходить еще в другое, в природу? Здесь именно и обнаруживается, что в чистой науке разума не может быть речи о действительно существующей природе. Все, что касается действительного существования, должно быть отнесено именно к позитивной философии.

Извращение в этом изложении коренится главным образом в наивной уверенности, будто Гегель не пошел дальше точки зрения Шеллинга и к тому же еще плохо понял ее. Мы видели, как Шеллинг, при всех усилиях, не может выйти из пределов существования, и нет нужды, собственно говоря, искать оправданий тому, что Гегель не выдвигал этого притязания на абстрактную идеальность. Если бы Шеллинг даже и мог пребывать в чистой потенции, то его собственное существование должно было бы доказать ему, что потенция превзойдена, что, следовательно, все выводы чисто логического бытия перешли сейчас в область реального и что, таким образом, «абсолютное» существует. Что же он хочет дать своей позитивной философией? Если из логического мира следует логическое абсолютное, то и из существующего мира следует существующее абсолютное. Но то обстоятельство, что этим Шеллинг не может удовлетвориться и прибегает теперь к позитивной философии веры, показывает, насколько эмпирическое внемировое существование абсолюта противоречит всякому разуму и как сильно Шеллинг сам это чувствует. И вот потому, что Шеллинг стремится низвести до низкого уровня своей точки зрения гегелевскую идею, стоящую неизмеримо высоко над абсолютом философии тождества, ибо она есть то, за что абсолют себя только выдает, Шеллинг и не может понять отношение идеи к природе и духу. Шеллинг опять-таки представляет себе идею как внемировое существо, как личного бога, что́ Гегелю и в голову не приходило. Реальность идеи у Гегеля есть не что иное, как природа и дух. Поэтому у Гегеля абсолютное не дано дважды.

В конце логики идея выступает как идеально-реальное, но именно поэтому она тотчас и оказывается природой. Если она выражена лишь как идея, то она только идеальна, только логически существует. Идеально-реальное, завершенное в себе абсолютное есть именно единство природы и духа в идее. Шеллинг же все еще представляет себе абсолютное как абсолютный субъект, ибо, несмотря на то, что по содержанию оно наполняется объективностью, оно все же остается субъектом, не становясь объектом, т. е. для него абсолютное реально только в виде представления личного бога. Пусть же он не припутывает последнего и держится только за чисто мыслительные определения, в которых нет речи о личности. Итак, абсолютное не реально вне природы и духа. В противном случае как то, так и другое оказалось бы излишним. Следовательно, если в логике говорилось об идеальных определениях идеи как реализующейся в природе и духе, то теперь речь идет об этой самой реальности, о доказательстве наличия этих определений в существовании, которое является высшим критерием и одновременно и высшей ступенью философии. Таким образом, после логики дальнейшее развитие не только возможно, но и необходимо, и именно это развитие возвращается снова к идее в сознающем себя бесконечном духе. Так обнаруживается несостоятельность утверждения Шеллинга, будто Гегель объявляет природу нелогической (чем Шеллинг, между прочим, объявляет сразу всю вселенную) и будто его логика — это необходимое, самодеятельное развитие мысли — является «субъективной наукой, а объективная логика совсем не может у него иметь места, так как последняя есть натурфилософия, которую он выбросил из логики». Как будто объективность науки состоит в том, что она рассматривает *внешний* объект как таковой! Если Шеллинг называет логику субъективной, то нет никакого основания не считать и натурфилософию субъективной, потому что тот же субъект, который мыслит здесь, мыслит и там, а характер предмета не может тут играть роли. Однако объективная логика Гегеля не развивает мысли, она *предоставляет* мыслям *самим* развиваться, и мыслящий субъект является здесь просто чисто случайным зрителем.

Вслед за этим Шеллинг, переходя к философии духа, касается тех высказываний Гегеля, в которых оказалось противоречие между философией Гегеля и его личными симпатиями и предрассудками. Религиозно-философская сторона системы Гегеля дает ему повод вскрывать противоречия между предпосылками и выводом, которые были уже давно вскрыты и признаны младогегельянской школой. Он совершенно правильно

замечает: эта философия хочет быть христианской, хотя ее к этому ничто не принуждает; если бы она осталась на своей первоначальной стадии науки о разуме, она имела бы свою истину в себе самой. — Он заканчивает затем свои замечания признанием гегелевского положения, что последними формами постижения абсолютного являются искусство, религия и философия. И вот, рассуждает Шеллинг, так как религия и искусство вышли за пределы чистой науки разума, то и сама философия должна была бы сделать то же самое и быть другой, отличной от той, которая существовала до сих пор. И это именно ему кажется диалектическим моментом мысли Гегеля. Но где же Гегель говорит это? В конце «Феноменологии», где вся логика, как вторая философия, еще впереди. Но феноменология была — и этим именно понимание Шеллинга лучше всего опровергается — не чистой наукой разума, она указывала только путь к ней, возведение эмпирического, чувственного сознания на точку зрения чистой науки разума. Не логическое, а феноменологическое сознание имеет перед собой, как последние, эти три «возможности удостовериться в существовании абсолютно сверхсущего». Логическое, свободное сознание видит совсем другие вещи, о которых нам, однако, пока еще нет надобности беспокоиться, — оно *имеет* абсолютное уже в себе.

Таким образом, сделан решительный шаг: открыто объявлено об отречении от чистого разума. Со времени схоластиков Шеллинг является первым, решившимся на этот шаг, ибо Якоби и ему подобные не могут быть приняты в расчет, так как они представляли только отдельные стороны своего времени, а не время в целом. В первый раз за последние пятьсот лет выступает герой науки и объявляет последнюю служанкой веры. Он это сделал, и он несет ответственность за последствия. Нас может только радовать, что человек, который воплотил в себе свое время, как никто другой, в котором его век пришел к самосознанию, что этот человек объявлен также и Шеллингом величайшим представителем науки разума. Всякий, кто верит во всемогущество разума, пусть примет во внимание это свидетельство врага.

Шеллинг так изображает позитивную философию: она совершенно независима от негативной и не может сделать своим исходным пунктом, в качестве чего-то существующего, то, чем завершается последняя, но должна самостоятельно доказать существование. Конец негативной философии является в сфере позитивной не принципом, а задачей. Начало позитивной философии само по себе абсолютно. Никогда не существовало единства между этими двумя системами, и этого единства

не удавалось достигнуть ни путем подавления одной из них, ни путем смешения обеих. Можно доказать, что обе философии испокон веку находились в борьбе друг с другом. (Здесь следует попытка привести, начиная от Сократа и кончая Кантом, такое доказательство, причем эмпиризм и априоризм снова резко отмежеваны друг от друга. Однако мы вынуждены пройти мимо этой попытки, ибо она остается совершенно безрезультатной.) Но ведь позитивная философия не есть чистый эмпиризм, и меньше всего такой, который опирается на внутренний, мистическо-теософский опыт, она имеет своим принципом то, что не заключается в чистом мышлении и не появляется в мире опыта, следовательно нечто абсолютно трансцендентное, выходящее за пределы всякого опыта и всякого мышления и им обоим предшествующее. Поэтому началом здесь должно служить не относительное prius, как это бывает в чистом мышлении, где потенция предшествует переходу, а абсолютное prius, так что переход совершается не от понятия к бытию, а от бытия к понятию. Этот переход не является необходимостью, подобно первому, а следствием свободного, преодолевающего бытие действия, которое доказывается a posteriori эмпирическим путем. В самом деле, если негативной философии, опирающейся на логическую последовательность, может быть совершенно безразлично, существует ли мир и соответствует ли он ее конструкции, то позитивная философия развивается путем *свободного* мышления и нуждается в подтверждении опыта, с которым она должна идти в ногу. Если негативная философия является чистым априоризмом, то позитивная философия является априорным эмпиризмом. Так как в последней предполагается свободное, т. е. основанное на воле, мышление, то и ее аргументы существуют только для хотящих и «мудрых»: надо не только понимать их, но и *хотеть* почувствовать их силу. Если среди предметов опыта находится также и откровение, то оно принадлежит позитивной философии в той же мере, как природе и человечеству; поэтому оно представляет для позитивной философии не большее значение, чем для всего прочего; так, например, для астрономии имеют, конечно, решающее значение движения планет, с которыми должны согласоваться ее вычисления. Если скажут, что без предшествующего откровения философия не пришла бы к этому результату, то в этом, конечно, есть некоторая доля правды, но теперь философия может и самостоятельно прийти к своим выводам; подобно тому как существуют люди, которые, раз отыскав при помощи телескопа малые неподвижные звезды, после этого могут находить их и невооруженным глазом и становятся, таким

образом, независимыми от телескопа. Философия должна включить в себя и христианство, которое является такой же реальностью, как природа и дух. Но не одно откровение, а и внутренняя необходимость чисто логической философии заставляет последнюю выйти за свои собственные границы. Негативная философия доводит все только до стадии простой познаваемости и передает потом это другим наукам, и только «нечто последнее» она не может довести до этой стадии, а между тем это нечто и есть то, что более всего достойно познания. Следовательно, оно должно стать снова предметом какой-то новой философии, которая имеет задачу доказать это «последнее» как существующее. Таким образом, негативная философия становится философией только благодаря своему отношению к позитивной. Если бы негативная философия стояла особняком, у нее не было бы никакого реального результата, и разум был бы бесплоден; в позитивной же философии разум торжествует: в ней согнутый в негативной философии разум снова выпрямляется.

Мне, конечно, нет надобности говорить что-либо в разъяснение этих положений Шеллинга, они ясны сами по себе. Но сравним их с обещаниями, которые Шеллинг дал вначале. Какая резкая разница! Нам обещали революционизировать философию, развить учение, которое положит конец отрицанию последних лет, готовилось примирение веры и знания, а что в конце концов получается? Учение, не имеющее прочной основы ни в себе самом, ни в чем-либо другом доказанном. То оно ищет опоры в освобожденном от всякой логической необходимости, следовательно, произвольном, лишенном всякого значения мышлении, то оно ищет опоры в откровении, реальность которого именно ставится под сомнение, а утверждения которого как раз и оспариваются. Как наивно требование отбросить все сомнения, с тем, чтобы излечиться от сомнений! «Да, если вы не верите, то вам нельзя помочь!» С чем же, собственно, приехал Шеллинг в Берлин? Лучше бы он вместо своего позитивного клада привез сюда опровержение «Жизни Иисуса» Штрауса[162], «Сущности христианства» Фейербаха и т. д. — это сулило бы ему кое-какой успех. При теперешнем же положении гегельянцы предпочтут скорее остаться в своем известном «тупике», чем «сдаваться на гнев и милость» ему, а позитивные теологи по-прежнему будут охотнее исходить из откровения, чем вкладывать что-нибудь в него. С этим также вполне совместимо повторяемое ежедневно с начала нового года признание, что он не ставит своей задачей давать обоснование христианства, а также спекулятивную догматику, но ставит задачей сделать лишь некоторый вклад в объяснение христианства. Что касается

необходимости для негативной философии выйти за свои собственные пределы, то, как мы видели, она тоже мало убедительна. Если предположение перехода a potentia ad actum неизбежно ведет к зависимому только от этого предположения логическому богу, то доказанный опытом действительный переход должен вести к действительному богу, и позитивная наука является излишней.

Переход к позитивной философии заимствован Шеллингом из онтологического доказательства бытия бога. Бог не может существовать случайно, следовательно, *«если он существует»*, он существует необходимо. Эта вставка в брешь силлогизма совершенно правильна. Таким образом, бог может быть понят только как сущее в себе и *перед* собой бытие (не *для* себя; — Шеллинг так зол на Гегеля, что он даже его выражения считает чуждыми духу языка и нуждающимися в поправках), т. е. он существует перед собой, перед своей божественностью. Таким образом, он является непосредственно предшествующим всякому мышлению, слепо сущим. Но так как сомнительно, существует ли он, то мы должны исходить из слепо сущего и смотреть, нельзя ли, быть может, исходя из этого, достигнуть понятия бога. Если, следовательно, принципом негативной философии является предшествующее всякому бытию мышление, то принципом позитивной философии является предшествующее всякому мышлению бытие. Это слепое бытие есть необходимое бытие. Бог, однако, является не этим, а необходимым, «необходимо сущим»; только необходимое бытие является возможностью бытия высшего существа. Это же слепо сущее есть то, что не нуждается ни в каком обосновании, так как оно предшествует всякому мышлению. Таким образом, позитивная философия делает своим исходным пунктом то, что не имеет своего выражения в понятии, чтобы только a posteriori сделать его, как бога, понятным и имманентным содержанием разума. Этот последний только здесь становится свободным, уходя из-под власти необходимого мышления.

Это «слепо сущее» есть hyle, вечная материя прежней философии. Что эта материя развивается, становясь богом, это, во всяком случае, — нечто новое. До сих пор она всегда была противопоставлявшимся богу дуалистическим принципом. Однако проследим дальше содержание позитивной философии.

Это слепо сущее, которое может быть названо также «предвечным бытием», есть purus actus существования и тождество сущности и бытия (то, что говорится о боге, как об Aseität *).

* — самосущности (термин средневековой схоластики). *Ред.*

Казалось бы, что это бытие не может служить основой какого-нибудь процесса, так как оно лишено всякой движущей силы, и последняя заключена только в потенции. Но почему же отрезать у actus purus всякую возможность стать впоследствии также потенцией? Здесь неуместен вывод, что сущее бытие также post actum * не может стать могущим быть. Предвечному бытию может представиться возможность — этому ничто не препятствует — произвести из себя второе бытие. Этим слепое бытие становится потенцией, ибо оно получает нечто, чего оно может хотеть, и становится, таким образом, господином своего собственного слепого бытия. Освобождая это второе бытие, первое, слепое бытие становится лишь potentia actus purus и, таким образом, владеющим собой бытием (но все это пока гипотеза, которая еще должна быть доказана только по своим результатам); лишь путем различения себя от этого второго бытия первое бытие приходит к осознанию себя как чего-то необходимого по своей природе. Слепое бытие является случайным, поскольку оно не предусмотрено, и оно должно доказать свою необходимость путем преодоления своей противоположности. Это — последнее основание выступающего против него бытия, а вместе с этим последняя основа мира. Закон, что все становится явным и ничто не остается тайным, есть высший закон всякого бытия. Это не есть, правда, закон, который возвышается над богом, но такой, благодаря которому последний впервые становится свободным, следовательно божественный уже сам по себе. Этот великий мировой закон, эта мировая диалектика не желает допустить, чтобы что-нибудь осталось еще нерешенным. Только она способна решить великие загадки. Да, ведь бог так справедлив, что он до конца и до исчерпания всякого противоречия признает этот противоположный ему принцип. Всякое недобровольное, предвечное бытие несвободно. Истинный же бог есть живой бог, который может стать чем-то иным, чем предвечное бытие. Иначе пришлось бы или допустить вместе со Спинозой, что все вытекает из божественной природы по необходимости, без содействия самого бога (дурной пантеизм), или согласиться с тем, что понятие творения для разума непостижимо (плоский теизм, неспособный побороть пантеизм). Таким образом, предвечное бытие становится потенцией противоположного, а так как потенциальность для него есть нечто невыносимое, то оно по необходимости будет желать действовать, стараться снова восстановить себя в actus purus. Поэтому второе бытие должно опять-таки отрицаться первым и быть переведено

---

* — после акта. *Ред.*

обратно в потенцию. Таким образом, предвечное бытие становится господином не только первой потенции, но и второй и получает возможность обратить свое предвечное бытие в некое сущее и этим путем отторгнуть его от себя и, таким образом, упразднить все свое существование. В этом коренится также его ранее скрывавшаяся за бытием сущность. Чистое бытие, ставшее благодаря сопротивлению потенцией, становится теперь самостоятельной сущностью. Таким образом, господину первой возможности дана также другая возможность, а именно возможность выявления своей истинной сущности, своей свободы от необходимого бытия, полагания себя как *духа,* ибо дух есть то, что обладает свободой действовать и не действовать, то, что в бытии владеет собой и остается сущим даже и тогда, когда оно не обнаруживает себя. Однако это не есть непосредственно *могущее быть,* также не *долженствующее быть,* а *могущее быть-долженствующее быть.* Эти три момента представляются предвечному бытию *долженствующими быть* в собственном смысле, так что вне этих трех моментов ничего другого нет, и все будущее исключено.

Как мы видим, ход мыслей в позитивной философии чрезвычайно «свободен». Шеллинг здесь не скрывает, что он выставляет только гипотезы, правильность которых еще должна быть доказана по результатам, т. е. по их соответствию с откровением. Одним из последствий этого свободного, направляемого волей мышления является то, что он это «предвечное бытие» заставляет так вести себя, как будто оно уже является тем, что еще должно из него развиться, именно богом. Предвечное бытие ведь никак еще не может видеть, желать, отпускать, вести обратно. Оно ведь не более, чем голая абстракция материи, которая как раз очень далека от всего личного, от всякого самосознания. Никакие рассуждения не могут внести самосознание в эту неподвижную категорию, если только она не будет понята как материя и как развивающаяся через природу к духу, подобно «беспредельному бытию» в негативной философии, от которого оно отличается только ничего не говорящим определением предвечности. Эта предвечность может вести только к материализму и, самое большее, к пантеизму, но никак не к монотеизму. И тут оправдываются слова Кювье: «Шеллинг дает метафоры вместо доказательств и вместо того, чтобы развивать понятия, меняет по мере надобности образы и аллегории» [163]. К тому же в философии, по крайней мере до сих пор, не встречались рассуждения, которыми пресекается всякое движение мысли вперед с помощью такого рода оборотов: «нет никакого основания, чтобы этого не случилось;

нельзя логически доказать, чтобы это было невозможным» и т. д. Таким путем можно развить из «предвечного бытия» и китайскую, и отаитскую * религию, которая также подтверждается тем, что она является фактом не в меньшей степени, чем христианство. Что же касается вновь открытого мирового закона, что все становится явным, то нельзя отрицать, что *здесь*, по крайней мере, очень немногое становится явным и очень многое остается скрытым. Тут только видишь, как ясность мысли тонет в мрачной бездне фантастики. Если же этот закон означает, что все должно оправдать свое существование перед разумом, то это опять-таки одна из основных мыслей Гегеля и к тому же еще остающаяся без всякого применения у самого Шеллинга. Не мало еще времени придется напрасно потратить, прежде чем удастся сделать все ясным в заключение вышеприведенного хода мыслей с его возможностью, необходимостью и долженствованием. Спрашивается прежде всего, в каком отношении стоят эти три позитивных потенции к трем негативным? Только одно становится ясным, что они суть во всяком случае возможности, хотя и долженствующие быть, но не могущие быть-долженствующие быть.

Только путем этой «решительнейшей» диалектики, утверждает Шеллинг, можно от спинозовского actu необходимо существующего прийти к понятию необходимо сущего natura sua **. Но только этого он и хотел, так как он желает доказать не существование божественного, а божественность существующего (как раз это самое делает также младогегельянская философия), именно божественность этого actu вечного, самого по себе сущего. Кто же, однако, нам доказывает, что нечто существует извечно? Это actu само по себе сущее может вести только к вечности материи, если мы будем рассуждать логически. Нелогические же умозаключения не имеют никакого значения, хотя бы они и подтверждались откровением.

«Если мы, следуя *слабой* диалектике, скажем: бог принимает потенцию противоположного бытия только для того, чтобы превратить слепое утверждение своего существования в опосредствованное отрицанием, то спрашивается, *для чего* он это делает? Не для себя, ибо он знает свою силу; только для других он может отличное от него бытие сделать предметом хотения. В этом отчуждении от себя и кроется сущность бога, его блаженство; все его мысли — только вне его, в творении. Таким образом, перед нами, конечно, процесс временного устранения и восстановления, но между этими двумя моментами находится вся вселенная».

Как смешно выглядит здесь та надменность, с которой карикатурная решительнейшая диалектика свысока взирает на свой

* — таитянскую (Otaheiti — одно из названий острова Таити). *Ред.*
** — actu — в действительности; natura sua — по своей природе. *Ред.*

«слабый» прообраз! Она этот прообраз не смогла даже понять настолько, чтобы его верно изложить. Даже Гегель, если верить Шеллингу, мыслит чувственными образами; Шеллинг заставляет его дедуцировать приблизительно следующим образом: здесь бог. Он создает мир. Мир отрицает бога. Почему? Не потому ли, что мир представляет собой злое начало? Совсем нет, а просто в силу одного факта своего существования. Мир занимает все пространство, а бог, который не знает, куда ему деться, видит себя вынужденным снова его отрицать. При таком положении вещей бог, конечно, должен был бы уничтожить мир. Но глубины той концепции, по которой отрицание с необходимостью вытекает лишь из самого по себе сущего, как развитие его внутренней сущности, как фактор, пробуждающий сознание, пока оно в своей высшей деятельности не приходит снова от самого себя к отрицанию себя, позволяя в результате возникнуть чему-то развитому, самобытному и свободному, — этой глубины Шеллинг не может постигнуть, ибо его бог свободен, т. е. действует произвольно.

И вот бог, или предвечное бытие, создал мир, или противоположное бытие. Мир держится именно лишь божественной волей и зависит от нее. Уничтожить мир одним ударом в целях своего восстановления не допускает божественная справедливость, ибо противоположное начало имеет теперь в известном смысле право, независимую от бога волю. Поэтому оно постепенно и по принципу, определяющему ступени развития, приводится обратно через две последние потенции. Если, таким образом, первая потенция явилась причиной, породившей все движение и противоположное бытие, то вторая была полагаема ex actu *; она осуществилась в процессе преодоления первой и, действуя на противоположное бытие, подчинила последнее третьей потенции, так что противоположное бытие выступило как конкретная вещь между тремя потенциями. Эти последние обнаруживаются сейчас как: causa materialis, ex qua, causa efficiens, per quam, causa finalis, in quam (secundum quam) omnia fiunt **.

Если теперь предвечное бытие является условием божества, то вместе с актом творения является бог как таковой, как господин бытия, в чьей власти превратить эти возможности в действительность или нет. Он остается вне всего процесса и воз-

* — посредством акта. *Ред.*

** — материальная причина — из которой, действующая причина — посредством которой, конечная причина — ради которой (согласно которой) все происходит. *Ред.*

вышается над той триадой причин, как causa causarum *. И вот, чтобы не допустить возникновения мира в виде эманации его сущности, богу было необходимо испытать всевозможные положения потенций по отношению друг к другу, т. е. *одним взором окинуть* будущую вселенную. Ибо одного всемогущества и всеведения для этого недостаточно, но деяния существуют как видение творца. Поэтому та первоначальная потенция, первая причина противоположного бытия, являлась всегда предметом особого поклонения; она есть та индийская *майя* (родственная немецкому «*Macht*», потенции), которая плетет паутину только являющегося с целью побудить творца к действительному творчеству, подобно Fortuna primigenia [164] в Пренесте.

Я не добавляю к этому ни одного слова, чтобы не развеять мистического тумана этого видения.

Что бог действительно творит, нельзя доказать a priori: это вытекает из единственной, допустимой у бога потребности — дать себя познать, потребности, присущей больше всего наиболее благородным натурам. Бог творения не является безусловно простым, а простым во множестве, а так как это множество (упомянутые потенции) является замкнутым в себе, то творец является *всеединым*, и это есть монотеизм. Так как он всему предшествует, то он не может иметь равного себе, ибо бытие без потенции не *может* вообще *мочь* (!). Бог, о котором только мимоходом говорится, что он един, есть бог только теистов. Монотеизм требует единственности, без которой бог не является богом, между тем как теизм держится взгляда о нем как о бесконечной субстанции. Дальнейший шаг отсюда к тому, что в отношении к вещам является богом, представляет собой пантеизм: в нем вещи являются определениями бога. Только в монотеизме бог выступает действительным богом, живым, где единство субстанции исчезло в потенции, а его место заступило сверхсубстанциальное единство, так что бог является неодолимым единым против трех. Несмотря на множественность лиц, существует, однако, не множество *богов*, а единый бог. *В божестве* нет многих. Таким образом, монотеизм и пантеизм представляют шаг вперед в сравнении с теизмом, который является последним выражением абсолютного в негативной философии. Монотеизм является переходной ступенью к христианству, ибо всеединство имеет свое определенное выражение в триединстве.

Попробуйте понимать это триединство как хотите, все же ничего другого не получится, как три против одного, один

* — причина причин. *Ред.*

против трех. Если бог является единством этих трех, то он может этим быть только как четвертый, или остается трое богов. Если только божественность составляет их единство, то в такой же мере и человечество составляет единство всех людей, и мы имеем как единого бога, так и только единого человека. Однако подобно тому как нельзя устранить множественность, так нельзя устранить и тройственность. Из трех лиц никак не может получиться одно. Старое противоречие, кроющееся в понятиях триединства, остается явно налицо, и приходится только изумляться смелости утверждения Шеллинга, будто оно разрешено. Мысль о том, что только тройственность есть истинное выражение единства, опять-таки позаимствована у Гегеля, но по обыкновению упрощена до полной бессодержательности. У Гегеля тройственность остается градацией моментов в развитии бога, если уж непременно хотят думать, что таковой в его системе имеется. Здесь же эти три момента должны стоять рядом как *личности*, и оригинальным образом утверждается, что истинная личность *одного* лица в том и заключается, что оно будто бы составляет *три* лица.

До сих пор, однако, мы имеем только одно лицо, отца, ибо если предшествующее сущее отделяет от себя нечто, составлявшее раньше часть его самого, причем так, что это последнее само себя осуществило, то это по праву называется порождением. Если же в этом процессе осуществления противоположное бытие (*B*) действительно преодолено, то и вторая потенция в такой же мере властна над ним, как и первая, и, таким образом, божественность сына равна божественности отца. То же происходит и с третьей потенцией, которая как свободная от бытия сущность только после одоления *B* может снова прийти в бытие, но тогда обретает то же величие и ту же личность, что и две другие, и является духом. Таким образом, мы имеем в итоге три личности, но не трех богов, ибо если бытие едино, то и величие их может быть только единым (как будто оба спартанских царя, так как их власть была едина, составляли только одного царя!). В потенциях, пока они находятся в напряжении, мы видим только естественную сторону процесса («напряжение», по-видимому, есть процесс негативной философии), как возникновение мира; и только вместе с лицами открывается мир *божественного* и божественное значение того процесса, в котором бытие, первоначально присущее в качестве возможности отцу, передается сыну и этим последним, как преодоленное, снова возвращается отцу. Кроме сына оно еще дается отцом и сыном также и духу, и последний имеет бытие, только общее обоим первым. Через всю природу проходит напряжение потенций,

и всякая вещь имеет к этому известное отношение. Все возникающее является четвертым между потенциями, человек же, в котором это напряжение разрешается полностью, имеет уже отношение к *личностям* как таковым, ибо в нем выражается тот последний момент осуществления, в котором потенции становятся действительными личностями. Этот процесс является, таким образом, для вещей процессом творения, для личностей — теогоническим процессом.

Таким-то образом Шеллинг посредством волшебства вызвал на свет из бездны предвечного бытия не только личного, но и триединого бога — отца, сына и духа, причем последнего, правда, удалось только с трудом пристроить, затем был сотворен по произволу созданный, от произвола зависимый, следовательно пустой и ничтожный мир. В результате всего этого Шеллинг получает основу для христианства. В мою задачу не может входить подробное перечисление всех непоследовательностей, произвольных построений, дерзких утверждений, пробелов, скачков, подстановок, путаницы, которые лежат на совести Шеллинга. Если уж так скверно обстояло дело с мышлением, подчиненным известной необходимости, то от свободного мышления заранее следовало ожидать еще большей мешанины из схоластики и мистики, — именно это и составляет сущность неошеллингианства. Читатель не может требовать от меня такого сверхчеловеческого терпения, как и я не могу требовать от него такого интереса к делу. К тому же го, что всем очевидно, не требует никаких разъяснений. Моя цель сводится лишь к тому, чтобы проследить в общем ход мысли, только показать, что отношение между Гегелем и Шеллингом как раз обратно тому, что утверждает Шеллинг. Теперь на почве христианства мы в еще большей мере имеем возможность заставить факты говорить за себя. Прежде всего, Шеллинг признает свою неспособность понять мир, поскольку он неспособен понять зло. Человек имел возможность оставаться в боге, а также и не оставаться. Что он этого не сделал, было с его стороны делом свободной воли. Он этим поставил себя на место бога и там, где все казалось устроенным, все снова было поставлено под вопрос. Мир, по Шеллингу, отделился от бога, оказался во власти внешнего, существенное потеряло свое положение как таковое. Бог-отец оказался «как бы» вытесненным со своего места (позднее это «как бы» было выпущено).

Однако, по Шеллингу, мы пока все еще не имеем христианского триединства, собственная, не зависимая от отца, воля сына еще не выявилась. Но теперь, в конце акта творения, является нечто новое, именно владеющее собой в человеке

начало *B*. От его выбора зависит, быть единым с богом или нет. Человек *не* хочет соединиться и вынуждает этим высшую потенцию вернуться в состояние потенциальности, которая только теперь, отторгнутая от отца волей человека, является в такой же мере *сыном человеческим*, как и сыном бога (в этом — значение новозаветного выражения) и обладает божественно внебожественным бытием. Теперь она может последовать за бытием во внебожественную сферу и вести его обратно к богу. Отец теперь отвратился от мира и действует в нем отныне не своей волей, а своим недовольством (в этом истинное значение гнева божьего). Таким-то образом отец и не уничтожил греховного мира, а сохранил его ради своего сына, как сказано в писании. В нем, т. е. ради него, созданы все вещи. Таким образом, мы имеем здесь две эры: эон отца, когда бытие (мир) еще покоилось в отце как потенция, а сын еще не был самостоятелен, и эон сына, время мира, история которого есть история сына. Это время делится в свою очередь на два периода: в первый период человек всецело во власти противоположного бытия, *B*, космических потенций. Здесь сын находится в состоянии отрицания, глубочайшего страдания, пассивности, исключенный временно из бытия (т. е. из мира), несвободный, вне человеческого сознания. Для завоевания бытия эта потенция может действовать только естественным путем. Это время старого союза, когда сын не по своей воле, а по своей природе стремится к господству над бытием; значение этого времени осталось до сих пор не понятым наукой, его еще никто не постиг. На это самым определенным образом указывается в Ветхом завете, а именно в главе 53-й Исаии, где говорится о *теперешних* страданиях Мессии. Только с усилением второй потенции, с завоеванием господства над бытием, начинается второй период, когда потенция действует свободно и по своей воле — это период ее появления во Христе, период откровения. Это — ключ христианства; при помощи этой ариадниной нити «можно ориентироваться в лабиринте моего хода мыслей». — Вследствие мятежа человека те личности, которые возникли в акте творения благодаря преодолению *B*, снова становятся простыми возможностями, оттесняются в состояние потенциальности, исключаются из сознания, становятся внебожественными. Здесь же причина нового процесса, который происходит в сознании человека и из которого исключено божество, ибо в своем напряжении потенции внебожественны. Этот процесс подчинения сознания господству потенций получил в язычестве форму мифологического развития. Более глубокой исторической предпосылкой откровения является мифология. В философии мифоло-

гии нашей задачей является установить отдельные потенции в мифологическом сознании и осознание их в греческих мистериях.

Спрашивается, соответствует ли представлениям христианства утверждаемое Шеллингом влияние человека на саморазвитие бога — ибо только так можно это назвать? Ведь христианский бог представляется испокон веку законченным, самое спокойствие которого нисколько не нарушается временной земной жизнью сына. Вообще, по Шеллингу, творение заканчивается самым позорным образом. Едва успели построить карточный домик «промежуточных потенций, — относительно сущих и могущих быть», — и уже три потенции с минуты на минуту готовы стать личностями, как вдруг глупый человек напроказил, и вот вся искусная архитектоника рушится, и потенции остаются потенциями по-прежнему. Совсем как в сказке, где заклинаниями вызывается из недр клад, окруженный ослепительно сияющими духами; вожделенный клад уже поднялся до края пропасти, но вот произнесено неосторожное слово, образы исчезают, клад падает вниз, и бездна смыкается над ним навеки. Шеллинговский бог мог бы немного умнее устроить свои дела, чем он избавил бы себя от многих трудов, а нас от философии откровения. Своего высшего расцвета, однако, мистика Шеллинга достигает здесь при развитии темы о страданиях сына. Это темное, таинственное отношение божественной внебожественности, сознательной бессознательности, деятельной бездеятельности, безвольной воли — это нагромождение друг друга вытесняющих противоречий является, конечно, для Шеллинга неоценимым источником, откуда можно черпать всякие выводы, так как отсюда можно вывести все. Еще менее ясно отношение этой потенции к сознанию человека. Тут действуют все потенции как космические, естественные, но как? Что такое космические потенции? Ни один ученик Шеллинга, да и он сам, не может дать на это разумного ответа. Это опять-таки одно из тех неясных мистических мысленных определений, к которым он вынужден прибегнуть, чтобы даже путем «свободного, руководимого волей мышления» прийти к откровению. «Мифологические представления можно объяснить только как необходимый продукт сознания, подпавшего под власть космических потенций». Но космические потенции являются божественными потенциями, находящимися в своем напряжении, представляют собой божественное как небожественное. Этим-то должно также объясняться отношение мифологии к природе, здесь должны открываться совершенно новые факты, раскрываться содержание доисторического периода

человечества, а именно «то огромное душевное возбуждение, которым сопровождался этот процесс создания образов богов».

Мы можем воздержаться от изложения «Философии мифологии», так как она непосредственно не относится к философии откровения; кроме того в ближайшем семестре Шеллинг собирается посвятить ей более обширный курс. Эта часть лекций была, между прочим, значительно лучше всех остальных, и кое-что высказанное в ней, если освободить эти высказывания от общего мистического искажающего способа рассмотрения, могло бы быть приемлемо и для тех, кто рассматривает эти фазы развития сознания со свободной, чисто человеческой точки зрения. Вопрос только в том, насколько эти мысли являются собственностью именно Шеллинга и не позаимствованы ли они вообще у Штура. Неправильность точки зрения Шеллинга заключается главным образом в том, что он понимает мифологический процесс не как свободное саморазвитие сознания в пределах всемирно-исторической необходимости, а везде заставляет действовать сверхчеловеческие принципы и силы, причем все это излагается настолько сбивчиво, что эти потенции одновременно являются и «субстанцией сознания» и чем-то еще бóльшим. Такие средства, конечно, неизбежны, если хотят во что бы то ни стало установить абсолютно сверхчеловеческие влияния. Таким образом, я охотно признаю выводы Шеллинга, касающиеся самых важных результатов мифологии в отношении христианства, но в другой форме, так как я рассматриваю оба явления не как нечто, внесенное в сознание извне сверхъестественным образом, а как наиболее внутренние продукты сознания, как нечто чисто человеческое и естественное.

Итак, мы, наконец, подходим теперь к подготовленному мифологией откровению. Откровением является все христианство. Поэтому философия откровения не имеет дела с догматикой и т. д., она не хочет даже установить какое-нибудь учение, а хочет только дать объяснение историческому факту христианства. Но мы увидим, как отсюда постепенно выводится вся догматика. Мы увидим, как Шеллинг рассматривает «все христианство только как факт, так же как и язычество». Факты язычества он не принимал за то, за что они себя выдают, т. е. за истину; например, он не принимал Диониса за истинного бога. Факты же христианства для него абсолютны; когда Христос объявляет себя Мессией, когда Павел утверждает то или иное, то Шеллинг ему верит безусловно. Мифологические факты Шеллинг, по крайней мере по-своему, *объяснял*, факты же христианства он утверждает. При всем том он тешит себя мыслью, что «он своей прямотой и откровенностью завоевал себе любовь

молодежи, и не только любовь, но и восторженное поклонение».

И вот, чтобы объяснить откровение, он исходит из того места у Павла в послании к филиппийцам, глава 2, 6—8, которое я здесь привожу:

«Христос, будучи образом божиим (ἐν μορφῇ θεοῦ), не почитал хищением (ἅρπαγμα) быть равным богу; но уничижил (ἐκένωσε) себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной».

Не пускаясь в обширные экзегетические исследования, которыми Шеллинг сопровождал свои философские пояснения, я хочу только изложить здесь по методу Шеллинга факт, рассказанный Павлом. В своем состоянии страдания Христос постепенно, благодаря мифологическому процессу, стал господином сознания. Независимый от отца, он имел свой собственный мир и мог им распоряжаться, как хотел. Он был богом мира, но не абсолютным богом. Он мог бы остаться в этом небожественно-божественном состоянии. Павел называет это «быть образом божиим» — ἐν μορφῇ θεοῦ. Но он этого не захотел. Он стал человеком. Он отказался от этого своего величия, чтобы передать его отцу и, таким образом, соединить мир с богом. Если бы он этого не сделал, то для мира не оставалось бы больше никакой возможности соединиться с богом. В этом настоящее значение послушания Христа. В этом смысле следует понимать также историю искушения. Сатана, слепой космический принцип, доведен до того, что он предлагает свое царство Христу, если последний согласится поклониться ему, т. е. согласится остаться космической потенцией, ἐν μορφῇ θεοῦ, Христос же отвергает эту возможность и подчиняет свое бытие отцу, сделав это бытие сотворенным и став человеком.

«Упаси меня бог выдавать философские учения, о которых христианство ничего не знает, за христианские», — этими словами заключил Шеллинг свою дедукцию. Спорить о христианском характере этих учений было бы излишней роскошью, ибо если бы даже это было доказано, это еще ничего не дало бы в пользу Шеллинга. Между тем, по моему мнению, это учение противоречит всему основному образу мыслей христианства. На основании отдельных мест из библии можно легко доказать самое несообразное, но дело вовсе не в этом. Христианство существует вот уже скоро две тысячи лет и имело достаточно времени, чтобы вполне осознать себя. Содержание его выражено в церкви, и невозможно, чтобы помимо этого содержания в нем скрывалось еще какое-нибудь положительное содержание, могущее претендовать на какое-нибудь значение, а еще более

невозможно, чтобы только теперь был понят впервые истинный смысл его. Да и слишком поздно теперь открывать этот истинный смысл. Но и независимо от всего этого вышеуказанное объяснение содержит еще много назидательного. Было ли свободным актом со стороны Христа подчинение себя отцу? Ни в коем случае, — это было естественной необходимостью. Нельзя же предположить возможность зла у Христа, не уничтожив этим его божественность. Кто способен делать зло, никогда не может стать богом. Как можно вообще *стать* богом? Представим себе, однако, случай, будто Христос удержал мир для себя. Нельзя себе никак представить другого столь же бессмысленного, комического состояния, какое получилось бы в данном случае. Здесь Христос, пышно и весело живущий со своим прекрасным миром, расцвет эллинизма на небе и на земле, а там — одинокий и бездетный старый бог, сокрушающийся о неудаче своих козней против мира. Основной недостаток шеллинговского бога это то, что он более удачлив, чем умен. Все еще сложилось удачно, но могло бы и совсем иначе кончиться. Вообще все учение Шеллинга о боге носит всецело антропопатический характер. Предложи сатана царство мира Христу до того, как последний стал человеком, он имел бы, по крайней мере, шанс привлечь его на свою сторону, и кто знает, что бы случилось! Когда же Христос стал человеком, то он этим уже подчинился богу, и дело бедного дьявола было заранее проиграно. Кроме того, разве Христос в мифологическом процессе уже не завоевал себе господства над миром? Итак, что же еще мог предложить ему дьявол?

Этим я передал самое важное из того, что было сказано Шеллингом в объяснение христианства. Все остальное содержит частью подкрепляющие цитаты и их толкование, частью детальное развитие выводов. Из них я хочу сообщить наиболее важные.

На основании вышеприведенного учения о последовательной преемственности потенций в господстве над миром вполне понятно, что каждая господствующая потенция является провозвестницей той, которая за ней следует. Так, в Ветхом завете отец возвещает приход сына, в Новом завете сын — приход духа. В книгах пророков дело происходит в обратном порядке, и третья потенция пророчески возвещает вторую. Здесь обнаруживается движение потенций в зависимости от хода времени, а именно в «малахе Иеговы», в «ангеле господа», который, правда, не является непосредственно вторым лицом, но все же второй потенцией, причиной появления второй потенции в *B*. В различные периоды он имеет различную форму, так что по

этой форме его появления легко определить время возникновения отдельных книг, и, таким образом, из этого движения потенций можно вывести «изумительные» результаты, превосходящие все то, что сделала до сих пор критика. Это определение есть «ключ к Ветхому завету, пользуясь которым мы можем доказать реальность представлений Ветхого завета в их относительной истинности».

У Ветхого завета общая основа и общая предпосылка с язычеством. Отсюда языческий характер многих обрядов мозаизма. Так, например, обряд обрезания является, очевидно, смягченной формой оскопления, которое играет такую большую роль в древнем язычестве, представляя собой мимически символическое изображение победы следующей ступени над древнейшим богом Ураном. Таковы же запреты по части пищи, устройство скинии завета, напоминающей египетские святилища, подобно тому как киот завета напоминает священный ящик финикиян и египтян.

Само появление Христа не является случайным, а предопределенным. Римская эпоха была концом мифологии, так как религия римлян, не внося сама никакого нового момента, вобрала в себя все религиозные представления мира вплоть до представлений самых древних восточных религий и этим показала свою неспособность создать нечто новое. Одновременно из пустоты этих отживших форм возникло чувство, что должно явиться нечто новое. Мир притих в ожидании того, что будет. Из этой внешней римской мировой империи, из этого уничтожения национальностей возникло внутреннее царство божие. Таким образом, когда исполнились сроки, бог послал своего сына.

Христос, отказавшись от μορφὴ θεοῦ *, от внебожественного бытия как божественного, стал человеком, доказывая этим на деле самым ясным и блестящим образом свою продолжавшуюся божественность. Под бедностью, на которую Христос обрек себя ради нас, следует понимать не отказ от своей божественности, не non usus ** таковой, а совлечение с себя μορφὴ θεοῦ, образа божия. Божественная сущность остается в нем. Только он мог явиться посредником, так как он, происходя от бога, был носителем человеческого сознания. В его проявлении в язычестве и в иудействе не было устранено начало, сковывающее и почти уничтожающее человечество; постоянно повторяющиеся жертвы могли устранить только симптомы, но не основу болезни.

* — образа божия. *Ред.*
** — неиспользование. *Ред.*

Гнев отца мог быть побежден только другой волей, которая была бы сильнее его, сильнее смерти, сильнее всякой другой воли. Победить эту волю могла только моральная, а не физическая сила, и именно величайшее добровольное подчинение посредника вместо человека. Величайшее добровольное подчинение человека никогда не было безусловно добровольным, подчинение же посредника свободно, без его воли и вины свободно по отношению к богу. В этом смысл развития через язычество. Это нужно для того, чтобы посредник мог выступить как представитель сознания. Это решение было величайшим чудом божественной благости.

Разумеется, физическая сторона вочеловечения не может быть объяснена в ее мельчайших подробностях. Материальную возможность для этого он имеет в себе. Быть материальным значит служить материей для высшей потенции, подчиниться ей. Подчинившись богу, Христос становится материальным по отношению к нему. Но только ставши его творением, он имеет право быть вне бога. Вот почему он должен стать человеком. То, что вначале было у бога, то, что в образе божием господствовало в язычестве над сознанием, рождается в Вифлееме как человек от женщины. Примирение всегда было только субъективным, поэтому достаточно было уже только субъективных фактов. Здесь же требовалось победить гнев отца, и это смог только объективный факт — вочеловечение.

При этом вочеловечении третья потенция выступает как личность в роли посредника. Христос был зачат от святого духа, т. е. в силу святого духа, но не является его сыном. Функция демиурга переходит к третьей потенции. Ее первое проявление есть материальный человек — Иисус. Вторая потенция представляет собой материю, третья является ваятелем этой последней. Процесс этот является необычайным, материально непостижимым, но более возвышенному воззрению, конечно, понятным. Материю вочеловечения Христос взял из себя самого. Это первое образование, свойство которого нас тут больше не касается, было воспринято органическим процессом матери. Задавать еще вопросы было бы больше чем микрологией.

Если бог где-нибудь действует посредством своей воли, то это чудо. В природе все безвольно. Таков же и Христос. Функцию демиурга он имеет natura sua, без своей воли; таким образом, он не может отказаться от нее как человек. Она становится здесь руководителем его воли. То, что сын живет в природе по своей воле, зависит от воли отца, и, таким образом, сын совершает чудеса силой отца. Кто после этих лекций будет читать Новый завет, найдет в нем многое, чего он раньше не замечал.

Смерть Христа была решена еще до того, как Христос стал человеком, и была одобрена Христом и отцом. Она была, таким образом, не случайна, а была жертвой, которой требовала божественная благость. Задача была в том, чтобы отнять всякую силу у злого начала, преодолеть его в его потенции. Это могла сделать только посредствующая потенция, но не так, чтобы она противопоставила себя ему, как просто естественная потенция. Однако, так как сам бог хотел преодоления этого начала, то вторая потенция была вынуждена ему подчиниться. Ибо в глазах бога вторая потенция, ставшая естественной, не стоит бо́льшего, чем отрицающее бога начало, хотя она стала естественной не по своей вине, а по вине человека. Это последнее обстоятельство дает ей также известное право быть, таким образом, вне бога. Бог так справедлив, что он не устраняет односторонне противоположного ему начала; мало того, он так человечен, что он больше любит это в сущности случайное начало, давшее ему возможность стать богом, чем необходимый момент, потенцию, вышедшую из него самого. Он в равной мере является богом противоположного начала, как и второй потенции. Это — его природа, которая даже выше его воли. Это всеединство всех принципов образует его божественное величие, и последнее не позволяет, чтобы указанное начало было сокрушено односторонне. Чтобы упразднить это начало, необходимо, чтобы вторая потенция взяла на себя инициативу и всецело подчинилась богу в ее внебожественном бытии. Одного вочеловечения было для этого еще недостаточно. Немедленно после грехопадения Христос последовал за человеком в его отчужденный от бога мир и стал между миром и богом. Становясь на сторону враждебного принципа, он противопоставил себя отцу, вступил с ним в борьбу, сделался соучастником греха того бытия и должен был потерпеть наказание как без вины виноватый, как ответчик за богоотчужденное бытие. Это свое приравнение противоположному началу, вместе с взятыми на себя грехами мира, он должен был искупить смертью. Это — основание его смерти. Правда, и другие люди умирают, но он умер совсем другой смертью, чем они. Эта смерть — чудо, в которое мы бы не осмелились верить, если бы оно не было так достоверно. При его смерти присутствовало все человечество в лице его представителей: при этом были как иудеи, так и язычники. Языческое начало должно было умереть языческой смертью, смертью на кресте; в этом, впрочем, не следует искать ничего особенного. *Распятие* на кресте было разрешением долгого *напряжения* *,

* Игра слов: «Ausspannung» — «распятие», «Spannung» — «напряжение». *Ред.*

в котором находился Христос в язычестве, как сказано в писании; благодаря смерти он был избавлен от суда и страха (т. е. от напряжения). Это — та великая тайна, которая и по сие время еще рассматривается иудеями (моралистами) как соблазн, а язычниками (чистыми рационалистами) как глупость.

Воскресение Христа искони рассматривалось как гарантия личного бессмертия. Об этом учении, оставляя в стороне вопрос о воскресении Христа, надо заметить следующее. В земной жизни природа господствует над духом. И это вместе с тем предполагает другую жизнь, в которой это отношение компенсируется господством духа над природой, и предполагает также третью, последнюю жизнь, в которой оба момента примирены и находятся в гармонии. Философия до сих пор не имела никакой утешительной цели для бессмертия. Здесь, в христианстве, она дана.

Само воскресение Христа является доказательством неотменяемости его вочеловечения. В нем человеческое бытие снова принято богом. Не отдельное деяние человека было неугодно богу, а все то состояние, в котором он находился, следовательно, бог был недоволен и каждым отдельным человеком еще до того, как он согрешил. Поэтому никакая человеческая воля, никакое деяние не могло быть действительно благим, прежде чем произошло примирение с отцом. Благодаря воскресению Христа это состояние признано богом, миру возвращена радость. Оправдание совершилось, таким образом, только благодаря воскресению, так как Христос *не растворился во вселенной,* а как человек сидит одесную бога. Воскресение есть молния, сверкнувшая из внутренней истории во внешнюю. Кто этот факт отбрасывает, у того остается лишь внешняя сторона без божественного содержания, без того трансцендентного, которое только и делает историю историей; он имеет перед собой только материал для памяти и находится здесь в том же положении, в каком находится людская масса по отношению к событиям дня, внутренние побудительные мотивы которых ей неизвестны. Кроме того, он еще попадает в ад, т. е. «момент умирания растягивается для него в вечность».

Наконец, приходит святой дух и разрешает все. Он может снизойти только после того, как произошло полное примирение с отцом, и его пришествие есть знак того, что примирение совершилось.

Тут Шеллинг развил свой взгляд на новейшую критику со времен Штрауса. Она якобы никогда не могла вызвать его на полемику в какой бы то ни было форме; это он доказал уже тем, что с 1831 г. читал эти лекции, ничего не меняя и без всяких

прибавлений. Философию мифологии он относит к еще более отдаленному времени. Затем он стал говорить о «пошлом, чрезвычайно филистерском уме» этих людей, об их «ученическом обращении с незаконченными положениями», о «бессилии их философии» и т. д. А против пиетизма и чисто субъективного христианства ему нечего сказать, только надо знать, что это не единственное и не высшее понимание христианства.

Следует ли мне еще излагать также сатанологию? Дьявол не есть личное существо, но и не безличное, он — потенция; злые ангелы являются потенциями, но такими, которые не должны быть и которые появились только благодаря грехопадению человека; добрые ангелы — тоже потенции, но такие, которые должны быть и благодаря грехопадению человека не существуют. Этого пока довольно.

Церковь и ее история развивается на основе поучений трех апостолов: Петра, Иакова (вместе с его преемником Павлом) и Иоанна. Неандер такого же мнения. Католическая церковь есть церковь Петра, консервативная, иудейски-формалистическая; протестантская церковь есть церковь Павла; третья, которую нужно еще ждать и которая подготовлена, конечно, Шеллингом, есть церковь Иоанна, который совмещает простосердечие Петра и диалектическую остроту Павла. Петр является представителем отца, Павел — сына, Иоанн — духа.

«Тем, кого бог любит, он поручает дело завершения. Если бы мне пришлось воздвигнуть церковь, я бы ее воздвиг святому Иоанну. Но когда-нибудь всем трем апостолам будет воздвигнута общая церковь, и эта церковь будет истинным христианским пантеоном».

Вот главное содержание лекций Шеллинга, поскольку его можно было установить путем сличения трех тетрадей [165]. Я могу считать, что отнесся к своей задаче с величайшей добросовестностью и беспристрастием. Перед нами ведь вся догматика: триединство, творение из ничего, грехопадение, наследственный грех и бессилие к добру, искупительная смерть Христа, воскресение Христа, сошествие духа, община святых, воскресение из мертвых и вечная жизнь. Шеллинг, таким образом, сам опять снимает то разграничение между фактом и догмой, которое он установил. Но присмотримся ближе к делу, — совпадает ли в таком случае это христианство с традиционным? Всякий, кто без предвзятого мнения подойдет к вопросу, должен будет сказать: да и нет. Несовместимость философии и христианства дошла до того, что сам Шеллинг впадает в еще худшее противоречие, чем Гегель. У этого последнего все же была философия, хотя при этом и получилось только мнимое

христианство. А то, что дает Шеллинг, не есть ни христианство, ни философия, и в том, что он выдает это за то и за другое, заключается его «прямодушие и откровенность», заключается его заслуга, характеризуемая им словами: «тем, которые у него просили хлеба, он давал действительный хлеб, а не камень, говоря при этом, что *это есть хлеб*». Что Шеллинг совершенно не знает самого себя, доказала опять-таки та речь, из которой взяты только что приведенные слова. Сталкиваясь с такой доктриной, только лишний раз убеждаешься в том, на каких слабых основах держится нынешнее христианство.

Обозревая еще раз всю концепцию в целом, мы, помимо вышесказанного, приходим еще к следующим результатам для установления неошеллингианского способа мышления. Смешение свободы и произвола достигает здесь наибольшего расцвета. Бог представляется здесь всегда как действующий человечески-произвольно. Такое представление, конечно, неизбежно, пока бог понимается как единственный, но философским оно не является. Только *та* свобода является истинной, которая содержит в себе необходимость; мало того, — которая является истиной, разумностью необходимости. Потому и бог Гегеля никак и никогда не может быть единичной личностью, так как все произвольное из него устранено. Поэтому-то Шеллинг и вынужден применить «свободное» мышление, говоря о боге, ибо необходимое мышление с логической последовательностью исключает понятие божественной личности. Гегелевская диалектика, эта могучая, вечно деятельная движущая сила мысли, есть не что иное, как сознание человечества в чистом мышлении, сознание всеобщего, гегелевское обожествленное сознание. Там, где, как у Гегеля, все совершается само собой, божественная личность излишня.

Дальше обнаруживается еще новое противоречие в распадении философии. Если негативная философия не стоит ни в каком отношении к существованию, то «нет здесь никакого логического основания», почему бы ей не содержать также вещей, которые не существуют в действительном мире. Шеллинг признает это, когда он говорит о ней, что она не считается с миром, и если последний согласуется с ее построениями, то это якобы случайность. Но в таком случае негативная философия представляет собой совершенно пустую бессодержательную философию, оперирующую самыми произвольными возможностями и открывающую широко свои двери фантазии. Но, с другой стороны, если она содержит только то, что действительно существует в природе и в духе, то она ведь включает в себя реальность, и позитивная философия является излишней. Это обна-

руживается и с другой стороны. Природа и дух являются у Шеллинга единственно разумными. Бог не есть нечто разумное. Таким образом, обнаруживается и здесь, что бесконечное только тогда разумным образом может считаться реально существующим, когда оно проявляется как конечное, как природа и дух, а потустороннее внемировое существование бесконечного должно быть отнесено к царству абстракций. Эта особая позитивная философия зависит, как мы видели, исключительно от веры и существует только для веры. Если иудей или магометанин признает предпосылки Шеллинга в негативной науке, то он неизбежно создаст себе также иудейскую или магометанскую позитивную философию. Больше того: эта позитивная философия должна быть иной для католицизма, иной для англиканской церкви. Все имеют одинаковое право, ибо «речь идет не о догме, а о факте», а при помощи излюбленного Шеллингом «свободного» мышления можно все, что угодно, сконструировать в качестве абсолютного. Как раз в магометанстве факты значительно лучше сконструированы, чем в христианстве.

Таким образом, мы как будто покончили с изложением философии Шеллинга и можем только сожалеть, что такой человек, как он, попал в западню веры и несвободы. Когда он еще был молод, он был другим. Его ум, находившийся в состоянии брожения, рождал тогда светлые, как образы Паллады, мысли, и некоторые из них сослужили свою службу в позднейшей борьбе. Свободно и смело пускался он тогда в открытое море мысли, чтобы открыть Атлантиду — абсолютное, чей образ он так часто созерцал в виде неясного миража, поднимавшегося перед ним в морской дали. Огонь юности переходил в нем в пламя восторга; богом упоенный пророк, он возвещал наступление нового времени. Вдохновленный снизошедшим на него духом, он сам часто не понимал значения своих слов. Он широко раскрыл двери философствования, и в кельях абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы; теплый весенний луч упал на семя категорий и пробудил в них все дремлющие силы. Но огонь угас, мужество исчезло, находившееся в процессе брожения виноградное сусло, не успев стать чистым вином, превратилось в кислый уксус. Смелый, весело пляшущий по волнам корабль повернулся вспять, вошел в мелкую гавань веры и так сильно врезался килем в песок, что и по сю пору не может сдвинуться со своего места. Там он и покоится теперь, и никто не узнает в старой негодной рухляди прежнего корабля, который некогда с развевающимися флагами вышел в море на всех парусах. Паруса уже давно истлели, мачты

надломились, волны устремляются в зияющие бреши и с каждым днем все более заносят песком киль корабля.

Отвратим наши взоры от этого разрушительного действия времени. Есть более привлекательные вещи, рассмотрением которых мы можем заняться. Нам не станут указывать на эту старую рухлядь, утверждая, что это единственный корабль, способный выдержать морское плавание в то время, когда в другой гавани стоит целый флот гордых фрегатов, готовящихся выйти в открытое море. Наше спасение, наше будущее где-то в другом месте. Гегель есть тот человек, который открыл нам новую эру сознания, потому что он завершил старую. Характерно, что он именно теперь подвергся нападению с двух сторон: со стороны своего предшественника Шеллинга и со стороны своего младшего преемника Фейербаха. Если этот последний упрекает Гегеля в том, что он еще глубоко увяз в старом, то он должен был бы принять во внимание, что осознание старого есть уже новое, что старое потому и отходит в область истории, что оно было вполне осознано. Следовательно, Гегель есть в самом деле новое как старое и старое как новое; и, таким образом, фейербаховская критика христианства есть необходимое дополнение к основанному Гегелем спекулятивному учению о религии. Последнее достигло своей вершины в Штраусе, и догма посредством своей собственной истории *объективно* находит разрешение в философской мысли. В то же время Фейербах сводит религиозные определения к *субъективным* человеческим отношениям, но при этом не только не уничтожает выводов Штрауса, а как раз и подвергает их проверке, и оба они приходят к одному и тому же выводу, что тайной теологии является антропология.

Занимается новая заря, всемирная историческая заря, подобная той, когда из сумерек Востока пробилось светлое, свободное эллинское сознание. Взошло солнце, и его со всех горных вершин приветствовали жертвенные огни, и восход его возвещен был со всех сторожевых башен веселыми звуками рогов. Человечество с тоской ждало его света. Мы проснулись от долгого сна, кошмар, который давил нашу грудь, рассеялся, мы протираем глаза и с удивлением осматриваемся кругом. Все изменилось. Мир, который был нам до сих пор так чужд, природа, скрытые силы которой пугали нас, как привидения, — как родственны, как близки стали они нам теперь! Мир, казавшийся нам какой-то тюрьмой, явился теперь в истинном свете, как чудный королевский дворец, доступный для всех — богатых и бедных, знатных и простолюдинов. Природа раскрывается перед нами и взывает к нам: Не бегите от меня, я не отвержена, я не отреклась от истины, придите и смотрите, ведь

именно ваша внутренняя собственная сущность дает мне жизненные силы и юношескую красоту! Небо спустилось на землю, сокровища его рассеяны, как камни на дороге, и нам стоит только нагнуться, чтобы их поднять. Всякая разорванность, всякий страх, всякий раскол исчезли. Мир опять стал целым, самостоятельным и свободным; он разбил запоры своего мрачного монастыря, сбросил с себя покаянную одежду и выбрал себе жилищем свободный, чистый эфир. Ему уже не нужно оправдываться перед неразумием, которое не могло постичь его; его роскошь и великолепие, его полнота и сила, его жизнь сами служат ему оправданием. И прав был тот, кто восемнадцать веков назад, смутно подозревая, что мир, космос, его когда-нибудь вытеснит, заповедал своим ученикам отречься от этого мира.

И самое любимое дитя природы, человек, возвратившись после долгой борьбы в юношеском возрасте и длительных скитаний на чужбине к своей матери как свободный муж и, защищая ее против призраков побежденных в борьбе врагов, превозмог также свое собственное раздвоение, раскол в своей собственной груди. После томительно долгой борьбы и стремлений над ним взошел светлый день самосознания. И вот стоит он, свободный и сильный, уверенный в себе и гордый, ибо он прошел через битву битв, он одержал победу над самим собой и надел себе на голову венец свободы. Все для него стало явным, и не было такой силы, которая могла бы куда-либо скрыться от него. Только теперь познал он истинную жизнь. Того, к чему он прежде только смутно стремился, теперь он достигает полностью, по своей свободной воле. То, что, казалось, лежало вне его, то, что представлялось находящимся в туманной дали, он открывает в себе как свою плоть и кровь. Он не считает слишком дорогой ценой то, что он заплатил за это лучшей кровью своего сердца, ибо венец стоил этой крови. Долгое время ухаживания для него не прошло даром, ибо гордая, прекрасная невеста, которую он сейчас ведет к себе в дом, для него только стала тем более дорогой. Сокровище, святыня, которую он нашел после долгих поисков, стоила многих блужданий. И этим венцом, этой невестой, этой святыней является *самосознание человечества* — тот новый грааль [166], вокруг трона которого, ликуя, собираются народы и который всех преданных ему делает королями, бросает к их ногам и заставляет служить их славе все великолепие и всю силу, все величие и все могущество, всю красоту и полноту этого мира. Мы призваны стать рыцарями этого грааля, опоясать для него наши чресла мечом и радостно отдать нашу жизнь в последней священной войне, за которой должно последовать тысячелетнее царство свободы. И такова

сила идеи, что всякий, познавший ее, не может перестать прославлять ее и возвещать ее всемогущество, что он охотно и радостно отвергает все остальное, если она этого требует, что он готов пожертвовать своим телом и жизнью, своим добром и своей кровью, чтобы только ее, только ее воплотить в жизнь. Кто ее хоть раз созерцал, кому она хоть раз явилась в ночной тиши во всем своем блеске, тот не может с ней расстаться, он должен следовать за ней, куда бы она ни вела его, — хотя бы даже на смерть. Ибо он знает о ее силе, знает, что она сильнее всего на небе и на земле, что она победоносно пробивает себе дорогу сквозь ряды всех врагов, загораживающих ей путь. И эта вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины, эта твердая уверенность, что она никогда не поколеблется, никогда не сойдет со своей дороги, хотя бы весь мир обратился против нее, — вот истинная религия каждого подлинного философа, вот основа подлинной позитивной философии, философии всемирной истории. Именно она есть высшее откровение, — откровение человека человеку, откровение, в котором всякое критическое отрицание содержит в себе положительное. Этот натиск и буря народов и героев, — натиск и буря, над которыми в вечном мире витает идея, чтобы, наконец, спуститься в самую гущу этой борьбы и стать ее самой глубокой, живой, пришедшей к самосознанию душой, — вот источник всякого спасения и искупления, вот царство, в котором каждый из нас должен бороться и действовать на своем посту. Идея, самосознание человечества и есть тот чудесный феникс, который устраивает себе костер из драгоценнейшего, что есть в этом мире, и, вновь помолодевший, опять восстает из пламени, уничтожившего старину.

Понесем же на костер этого феникса все, что нам было дорого, все, что было нами любимо, все, что было свято и возвышенно для нас, прежде чем мы стали свободными! Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы с радостью не принесли бы в жертву идее, — она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его жестокие глаза и сражаться до последнего вздоха! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершинах гор? Как сверкают мечи наших товарищей, как колышатся перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!

Написано Ф. Энгельсом в конце 1841 — начале 1842 г.

Напечатано без указания автора в виде отдельной брошюры в Лейпциге в 1842 г.

Печатается по тексту брошюры

Перевод с немецкого

ШЕЛЛИНГ — ФИЛОСОФ ВО ХРИСТЕ, ИЛИ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРСКОЙ МУДРОСТИ В МУДРОСТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ

ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАН, КОТОРЫМ НЕИЗВЕСТНО ФИЛОСОФСКОЕ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ

«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лука, 15, 7).

Это слово господне вспоминается, когда речь заходит о Шеллинге, потому что на нем воочию проявились чудеса божественной благодати, дабы прославлялось имя божие. Ибо господь смилостивился над ним, подобно тому как он некогда смилостивился над Павлом, который также, до своего обращения, ходил разорять общины и дышал угрозами и убийством на учеников господа. Когда же он приближался к Дамаску, его внезапно осиял свет, и он пал ниц; господь же заговорил с ним и привлек его к себе, так что он тотчас же уверовал, крестился и проповедовал во имя господне всем народам и стал избранным орудием пред господом. Таким же образом милосердие спасителя простерло свою длань над Шеллингом, и, когда пришло время, великий свет озарил его. Кто же мог бы в силу человеческого предвидения когда-либо предсказать, что человек, который в начале нынешнего столетия вместе со своим тогдашним другом, пресловутым *Гегелем,* положил основание той презренной мирской мудрости, которая теперь уже не подкрадывается во мраке, но среди бела дня губит людей своими стрелами, — что этот человек возьмет когда-нибудь на себя крест свой и последует за Христом? Но случилось именно так. Тот, кто направляет человеческие сердца, как водные потоки, избрал и его по своему милосердию и ждал лишь надлежащего часа, чтобы привлечь его к себе. И теперь он это сделал, просветил его и присоединил его к числу своих

ратников в борьбе против неверия и безбожия. Это уже не подлежит сомнению; он сам возвещает это с кафедры верующим: придите и зрите и прославляйте милосердие ко мне господа! Да, страж во Израиле не спит и не дремлет, древний бог еще жив на зло всем насмешникам, и он еще творит знамения и чудеса для всех, кто хочет видеть. Они шумят, безбожники, и говорят в сердце своем: нет бога; но тот, кто живет на небе, смеется над ними, и господь насмехается над ними. Он торжествовал над ними с тех пор, как существует мир, и он будет торжествовать над ними вечно. Он держал бразды правления сильной рукой и повсюду воздвиг себе орудия для прославления своего имени. И теперь он опять блистательно восторжествовал над философами, всегда внушавшими ему отвращение, и, выбрав из их среды самого лучшего и способнейшего, настоящего основателя их учения, сделал его своим слугой. Ибо из прежних сочинений Шеллинга ясно, как день, что прежде сам он в поистине жалком виде глубоко коснел в этом так называемом пантеизме, в этом обожествлении мира и самого себя. Он только еще не постиг как следует взаимной связи всего и не знал определенно, куда приведет этот путь. Пусть же благодарит он господа за то, что тот отклонил его от этого пути и направил на узкую стезю, ведущую к небу, и, таким образом, всего яснее проявил на нем свое могущество наперекор всем врагам веры. Теперь они уже не могут говорить: где ваш бог? Что он делает? Где он бродит? Почему он не творит более чудес? Ведь он здесь, его рука, подобно молнии, опускается в толпу их самих и превращает воду в огонь, черное в белое, неправедное в праведное. Кто же может еще отрицать, что здесь виден перст божий?

Но это еще не все. Призвав Шеллинга, господь приготовил нам еще и другое торжество над безбожниками и богохульниками. Он избрал именно Шеллинга, потому что последний в качестве человека, знающего мудрость мира сего, всего более годился для того, чтобы опровергнуть гордых, надменных философов, и таким образом, он по своему беспредельному милосердию и любви открыл им путь, идя которым они могут вернуться к нему. Можно ли требовать от него большего? Тем, кто изрыгает хулу на него, кто неистово оспаривает его бытие, тем, которые являются его безумнейшими, неистовейшими, ожесточеннейшими врагами, он, вместо того чтобы стереть их с лица земли и низринуть в глубочайшую бездну ада, беспрестанно простирает спасительную десницу, чтобы вывести их к свету из той погибельной бездны, где они находятся; ведь благодать господа простирается на все небеса с восхода

до заката, и милосердие его бесконечно. Кто мог бы противиться такому долготерпению и такой любви? Но их сердца настолько ожесточились и закоснели в грехах, что они и теперь все еще отталкивают руку, которая хочет их спасти, — настолько ослеплены они соблазнами мира и бесом собственной их гордыни. Они копают себе дырявые колодцы и отвергают источник жизни, струящийся в крови Христа. Они затыкают свои уши, отвергая спасение, грядущее свыше; им доставляет радость то, что не угодно господу.

«Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло» (Исаия, 3, 9).

Но все же господь не перестал призывать их к себе, чтобы у них не было никаких оправданий. Он показал им на Шеллинге, насколько слаб и ничтожен человеческий разум. Если они теперь не обратятся, то вся вина падет исключительно на них, и они не смогут сказать, что они не знали евангелия.

А так как господь сотворил столь великое дело и дал всему христианскому миру столь утешительное знамение того, что он близок и не желает оставить их в нужде и в борениях мира сего, то всякий верующий должен позаботиться о том, чтобы сообщить эту радостную весть и своим братьям во Христе. Но так как Шеллинг изложил ныне свое верование во Христа в виде лекций [165], то оно, с одной стороны, стало известным лишь немногим, с другой стороны, оно выражено столь трудным философским специальным языком, что оно понятно лишь людям, долго занимавшимся мирской мудростью, а в-третьих, многое рассчитано на философов, а иное на верующих, так что простодушному христианину трудно было бы разобраться во всем этом. Поэтому пишущий эти строки счел не лишним, чтобы не оставаться праздным в винограднике господнем, кратко и ясно изложить суть дела всем тем, у кого нет ни времени, ни охоты заниматься бесплодным изучением мирской мудрости, но кто, тем не менее, хотел бы знать, что, собственно, произошло с знаменитым Шеллингом. Да благословит господь это начинание, дабы оно принесло благо и пользу царствию его.

Но предварительно следует заметить, что Шеллинг, при всех своих заслугах по отношению к истинному христианству, все же не может вполне отрешиться от своей прежней ложной мудрости. Некоторые его взгляды еще заставляют предполагать, что он все еще не может вполне преодолеть высокомерия собственного разума и что он как будто еще несколько стыдится

полностью признать перед всем светом совершившуюся в нем перемену с полной радостью и с признательностью по отношению к Христу. Мы не станем придавать этому обстоятельству слишком большого значения; тот, кто так чудесно проявил на нем благодать, смоет с него и это пятно; тот, кто начал дело, тот его и доведет до конца. Но пусть тот смелый борец за правду, о котором мы говорим, вспоминает об этой занозе в своем теле, когда его одолевает и искушает бес гордыни. Пусть он перестанет гордиться своей прежней философией, которая ведь породила лишь безбожные чада, и пусть он гордится лишь тем, кто по свободному, беспредельному милосердию избавил его от этой погибели.

Первое, что сделал Шеллинг здесь на кафедре, было то, что он прямо и открыто напал на философию и вырвал из-под ее ног почву — разум. Он доказал им убедительнейшими доводами, заимствованными из их собственного арсенала, что естественный разум неспособен доказать хотя бы даже и существование какой-нибудь былинки; что всеми своими доказательствами, доводами и умозаключениями он никого не заманит и что он никак не может возвыситься до божественного, потому что по своей неуклюжести он всегда остается на земле. Хотя мы-то давно знали это, но так красиво и четко это еще не говорилось упрямым философам. Он сделал это в целой обширной системе так называемой негативной философии, в которой он с полной очевидностью разъясняет им, что их разум может познавать лишь возможное, но не в состоянии познать ничего действительного, а всего менее бога и тайны христианства. Этот труд, которому он отдался, имея в виду столь бесплодный предмет как призраки мирской мудрости, заслуживает большой признательности ради царствия божия. Ибо, пока эти философы еще могли хвастаться своим разумом, с ними нельзя было справиться. Теперь, однако, когда и с их точки зрения им было доказано, что их разум совершенно непригоден для познания истинного и создает лишь пустые, вздорные фантазии, не имеющие никакого права на существование, нужна уже ожесточившаяся и поседевшая в грехах голова для того, чтобы продолжать держаться языческого учения, и весьма возможно, что при содействии божественной благодати тот или другой откажется от дурного поведения. Весьма справедливо, и это следует постоянно повторять, что помрачившийся разум человека совершенно несостоятелен и не заслуживает той хвалы, которую он должен был бы иметь перед богом, потому что главным оплотом неверующих является утверждение, что их разум говорит им нечто другое, чем слово

божие. Но святотатством по отношению к всевышнему является желание познать его, врага всякого греха, при посредстве разума, запятнанного и ослепленного грехом, и даже ставить этот разум, предающийся всяким мирским утехам, подверженный всяким искушениям сатаны, выше самого бога; но это и делают мирские мудрецы, когда они критикуют слово божие этим своим порочным разумом, отвергают то, что им не нравится, и даже не только посягают нечестивыми руками на святость библии, но и отрицают бытие самого бога, чтобы вместо него обожествлять самих себя. Таковы естественные следствия того, что разум, как когда-то, в кровавые дни французской революции, выступает как та блудница, которая возводится на трон бога и осмеливается критиковать распоряжения всемогущего властителя мира. Здесь-то нужно лечение, и притом не поверхностное, а пресекающее зло в корне. Разве кладут новую заплату на старую одежду? Как совместить Христа с Велиалом? Это невозможно, это богохульство, когда хотят постигнуть естественным разумом смерть господа-искупителя, воскресение и вознесение. Поэтому следует энергично начать действовать вместе с *Шеллингом* и изгнать разум из христианства в язычество, потому что там его место, там он может восставать против бога и считать божественным мир с его усладами и алчностью, от которых мы отреклись, извинять все грехи и пороки, ужасы пьянства и распутства, как добродетели и богослужение, и выдавать за образец для человечества самоубийство Катона, нецеломудренность Лаисы и Аспасии, убийство Брутом своих родственников, стоицизм Марка Аврелия и яростное преследование им христиан. Тогда он явно противоречит христианству, и всякий знает, каков он. Но главная хитрость искусителя заключалась в том, что он украдкой вводил разум в христианство, где он затем породил миленьких незаконных детей, а именно: пелагианство, социнианство [167], рационализм [106] и спекулятивную теологию.

«Но бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых» (Первое послание коринфянам, 1, 27); поэтому «душевный человек не принимает того, чтó от духа божия, потому что он почитает это безумием, а о сем надобно судить духовно» (1 кор., 2, 14).

Воистину христианским следует признать стремление, с которым *Шеллинг* в чистой науке разума, представляющей собой именно негативную философию, не дозволяет разуму как-либо превозносить себя, а глубоко унижает и смиряет его, чтобы разум дошел до сознания своей слабости и греховности и, обнаруживая готовность раскаяться, обратился к милосердию, потому что только оно может освятить, просветить и возродить

его так, чтобы он стал способен к познанию бога. Распять разум труднее, а следовательно, и важнее, чем распять плоть. Последняя все-таки подчиняется совести, которая дана уже и язычникам для укрощения их похотей и в виде внутреннего судьи над их грехами; разум же ставит себя выше совести и даже отлично уживается с нею, и только христианину дана возможность налагать на него мягкое иго веры. Но этого требует от нас священное писание, и здесь не имеют значения никакие возражения или отговорки: или подчини свой разум вере или перейди на левую сторону, к козлищам (называют же себя злейшие из этих самообожествителей, как бы в насмешку, *левой* стороной), тут ты на своем месте!

Этим *Шеллинг* расчистил теперь себе почву. Все пережитки язычества, которые в наше время вновь превозносятся и выдаются за новую истину, все искаженные порождения нецеломудренного, похотливого разума устранены, и теперь его слушатели способны воспринять в себя млеко евангелия. Таков правильный путь. Язычников можно было изобличить благодаря их мирским наслаждениям и страстям; но наши философы, по крайней мере теперь, делают вид, что они еще хотят признавать христианскую мораль. Поэтому, если апостолы требовали от язычников, чтобы их сердца были готовы к покаянию, раскаянию, разбиты и сокрушены, от надменных мирских мудрецов нынешнего времени следует требовать, чтобы их разум был готов к покаянию, унижен и сокрушен, прежде чем они станут способны воспользоваться евангельской благодатью. И таким образом *Шеллинг* лишь теперь мог правильно судить о своем прежнем товарище по безбожию, об обесславленном *Гегеле*. Ведь этот *Гегель* настолько гордился разумом, что прямо-таки провозгласил его богом, когда он увидел, что с помощью разума он не мог дойти до иного, истинного бога, стоящего выше человека. Поэтому *Шеллинг* и заявил открыто, что он больше и знать не хочет этого человека и его учения, и далее уже совершенно не касался его.

А после того, как разум смирился и обнаружил желание воспринять спасение, он вновь может возвыситься и просветиться духом истины. Это совершается в позитивной философии [142], где при посредстве свободного, т. е. просветленного, мышления, с помощью божественного откровения разум допускается к дарам благодати христианства. Теперь же, когда ему стал понятен высший мир, он сразу постигает всю чудную связь, открывающуюся в истории царствия божия, и то, что прежде представлялось ему непостижимым, теперь ясно и понятно, как будто иначе и быть не могло. Ибо только глаза,

просветленные господом, становятся настоящими и прозревшими глазами; там же, где царит мрак и мирские наслаждения и страсти, никто не может ничего видеть. *Шеллинг* истолковывает это действие благодати, говоря, что эта философия существует лишь для желающих усвоить ее и мудрых людей и что она находит свое подтверждение в откровении. Итак, для тех, кто не верует в откровение, не существует и философии. Другими словами, это, собственно говоря, не настоящая философия, но это название выбрано только для мирских мудрецов, так как в писании сказано: «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Матф., 10, 16); а во всех других отношениях, это — истинное и подлинное христианство, как нам скоро станет ясно. *Шеллинг* вернул старое доброе время, когда разум был в плену у веры, и мирская мудрость, подчиняясь, как служанка, теологии, божественной мудрости, преображается в божественную мудрость, «ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Матф., 23, 12).

Идя этим путем просветленного мышления, этот почтенный муж, о котором мы говорим, тотчас доходит до истинного основного учения всего христианства, а именно до триединства божия. От богобоязненного читателя нельзя требовать, чтобы и он шел тем же путем, потому что ведь он знает и верует, что этот путь может вести лишь к истине; это сказано лишь для неверующих, чтобы показать им, как они могут дойти до истины и насколько их разум должен быть очищен и освящен, чтобы иметь возможность познать и постичь искупление в Иисусе Христе. Поэтому мы не станем говорить об этих вещах, которые ведь не нужны верующим для познания спасения. И вот *Шеллинг,* следуя священному писанию, описывает, как бог создал мир из ничего, и человек, обольщенный сатаной в виде змия, утратил свой первоначальный род жизни и стал добычей князя тьмы. Этим он оторвал от бога весь мир и отдал его во власть сатаны. Все силы, которые прежде сдерживались божественным единством, теперь распались и стали непримиримо враждебными друг другу, чтобы сатана мог своевольничать в мире. Не следует только допускать, чтобы философский способ выражения наших богословов обманывал нас. В наше безбожное время мирские мудрецы уже не понимают простого, внушенного самим богом языка священного писания; следует преподать его в доступной им форме, пока они снова не созреют настолько, чтобы понимать библию, как сказано в священном писании:

«... славлю тебя, отче, господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Матф., 11, 25).

Поэтому Шеллинг, говоря об «ангелах, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище» (Послание Иуды, 6), о дьяволе и об его безбожных шайках, употребляет выражение «космические потенции», что означает именно князей мира сего. Теперь, естественно, мир уже больше не может нравиться богу. По своей справедливости, он отвергает его от себя, и там, где он действует в нем, он делает это в гневе своем и без своей вполне свободной воли. Но вечный милостивец не может оставить его; слово, через которое «все нáчало быть и без которого ничто не нáчало быть, что нáчало быть» (Иоанн, 1, 3), единородный сын божий, остается со своей бесконечной любовью и благодатью при бедном, отверженном мире. Его страдания начинаются с грехопадения, а не только с его вочеловечения при Ироде, потому что благодаря грехопадению он был совершенно вытеснен из человечества, в котором он жил еще более, чем отец. Да, когда он поставил себя между разгневанным богом и падшим миром, который бог хотел уничтожить, и стал на сторону мира, он отделился от отца и стал благодаря этому некоторым образом соучастником вины и не мог предъявлять никаких притязаний на божественное величие, пока отец не примирился. А это великое дело примирения, борьбу с князем мира сего, он начал в этом небожественном и нечеловеческом виде, в этом отделении от отца, составляющем его страдание и боль. Глава 53-я пророка Исаии, в которой речь идет о нынешнем, а не о будущем страдании, яснее всего показывает, что это истолкование оправдывается священным писанием. И эта великая борьба начинается в иудействе и в язычестве. История народа израильского в Ветхом завете свидетельствует о том, как бог подчиняет себе иудейство, и славные пути, по которым господь вел свой народ, хорошо известны христианам. А в язычестве? Не был ли именно дьявол богом язычников? Мы попытаемся дать как можно более ясный ответ на этот вопрос, не отклоняясь от изречений священного писания.

Конечно, всякий уже слышал, что и у язычников, в сивиллиных книгах [168] и еще кое-где, встречались предсказания, относящиеся к Христу. Итак, уже здесь обнаруживается, что язычники не были так уж совершенно покинуты богом, как обыкновенно думают, потому что происхождение этих предсказаний божественно. Но это еще не все. Почему же бог в своем милосердии должен был допустить, чтобы они таким образом вполне заблуждались и попали в когти дьявола? Ведь допускает же он, чтобы дождь шел для добрых и злых и чтобы солнце светило праведным и неправедным! Да, если бы язычники до такой степени вполне без покровительства божия и без руковод-

ства с его стороны находились во власти злого духа, то не были ли бы их грехи более тяжки и неслыханны, чем они были в действительности? Не вопияли ли бы тогда к небу все постыдные наслаждения и противоестественные страсти, плотские и иные грехи, убийство, прелюбодеяние, разврат, воровство, коварство, бесстыдство так громко, что бог должен был бы немедленно истребить их? Да не стали ли бы они сами взаимно умерщвлять и пожирать друг друга? Отсюда вытекает уже, что бог должен был сжалиться и над язычниками и даровать им некоторый свет свыше, и это заключается в том, что они постепенно и так, что они сами этого не замечали, пройдя через все ступени идолопоклонства, были доведены до поклонения истинному Христу, хотя они и не знали, что их бог тождественен с богом христиан и что тот, кто был неизвестен в язычестве, ныне явился им в христианстве. Те же, которые не признали этого, когда им проповедовалось евангелие, с тех пор молились уже не скрытому Христу, потому что они преследовали явившегося Христа, но богом их являлся теперь уже враг Христа — дьявол. Большой заслугой *Шеллинга* является то, что он первый старается отыскать проявление заботы божественного промысла о язычниках и таким образом воздает новую хвалу любви Христа к грешным людям.

А после того как иудеи сознательно, а язычники, не ведая этого и в ложной форме, были доведены до познания истинного бога, когда гордые дворцы греческого мира рухнули и железная рука римского императора стала тяготеть над всем миром, — исполнилось время, и бог послал своего сына, чтобы все те, кто верует в него, не погибли, но обрели вечную жизнь. Это произошло следующим образом. Когда Христос подчинил себе язычество, он был его богом, но не истинным богом, которым он не мог быть без отца. Таким образом, он отвоевал мир от дьявола и мог сделать с ним, что хотел; он мог удержать его для себя и один властвовать над ним и этом *образе божием;* но он, добровольно повинуясь, не сделал этого, передал его своему отцу, отказавшись от образа божия и став человеком.

«Он, будучи образом божиим, не почитал хищением быть равным богу; но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Послание к филиппийцам, 2, 6—8).

Есть еще множество других мест в священном писании, выясняющих и доказывающих правильность этого истолкования, и, таким образом, можно все понимать совершенно просто и буквально, не нуждаясь во множестве оговорок и в учености.

Величие послушания Христа заключается именно в том, что спаситель мог самостоятельно владеть целым миром и отделиться от отца и что он не пожелал этого, но положил к ногам своего отца отвоеванный у дьявола мир и претерпел смерть для искупления многих.

Здесь мы усматриваем также и то, что означает повествование об искушении Христа. Если бы от свободного выбора Иисуса не зависело, подчиниться отцу или нет, то дьявол вовсе не мог бы искушать его, потому что ведь он должен был бы знать, что это все же будет тщетно. Итак, вышеприведенное истолкование *Шеллинга,* конечно, правильно.

Что, таким образом, Христос является истинным богом, мы слышали, и теперь наш ученый муж переходит к его второй, человеческой природе. И он непоколебимо верит, что Христос в самом деле был истинным человеком, а не только, как думают многие еретики, явлением или духом божиим, который снизошел на существовавшего уже человека.

В то время как Христос заступался за мир перед богом, брал на себя ответственность за него, он выступал вне бога и против него. Итак, пока мир вновь не примирился с богом, Христос не был богом, но пребывал в промежуточном состоянии, которое, благодаря победе над язычеством, стало божественным образом, но само не являлось истинным божественным состоянием. Чтобы снова перейти в это состояние, Христос должен был передать своему отцу мир, который он отвоевал у дьявола, должен был отказаться от божественного образа и смиренно подчиниться отцу, чтобы принять на себя наказание за беззаконие мира. Он проявил это смирение тем, что стал человеком, рожденным женщиной, и был послушен до смерти, даже до смерти на кресте. Все очищения и жертвы не могли умилостивить бога и являлись лишь прологом единой, великой жертвы, в которой не только было уничтожено зло, но и был умилостивлен гнев бога. Бога можно было умилостивить лишь величайшей, добровольнейшей, смиреннейшей покорностью, и это мог сделать только сын, а не человек, которого принуждали к покорности страх и мучения совести, грозный гнев божий. Теперь Христос мог заступаться перед богом и за людей, так как он стал их господином, их защитником, благодаря тому поклонению, которое они, не зная этого, ему воздавали. И вот, чтобы в самом деле подвергнуться вместо человека заслуженному последним наказанию, он стал человеком; решение стать человеком является чудом божественной благости. Таким образом, тот, кто вначале был у бога и даже сам был богом, а после грехопадения был в «образе божием», теперь родился в Вифлееме

как человек, а именно силой духа святого от Марии, без содействия какого-нибудь мужа.

Кто осмелился бы надеяться, что в 1842 г. с философом и даже с основателем новой богохульствующей школы произойдет столь отрадная перемена и что он так восторженно будет исповедовать основные учения христианской веры? То, что всегда прежде всего вызывало сомнения, то, что издавна отвергали полухристиане и что тем не менее является краеугольным камнем христианской веры — рождение Христа от Марии без содействия мужа, — то, что *Шеллинг* высказал и это как свое убеждение, является одним из отраднейших знамений времени, и удостоившийся высокой милости муж, который осмелился сделать это, имеет право на признательность со стороны каждого верующего. Но кто не узнает здесь руки господа в этом чудесном, славном предопределении? Кто не видит, что здесь господь подает своей церкви знак, доказывающий, что он не покидал ее и помнит о ней день и ночь?

О смерти господа *Шеллинг* говорит в столь же истинно христианских и поучительных выражениях. Она от сотворения мира была решена на совете стражей и является жертвой, которой требовала божественная благость. Бог справедлив и по отношению к сатане и настолько считался с его правом, что отдал на смерть своего собственного сына, чтобы все верующие в него не погибли, но обрели вечную жизнь, для того чтобы у дьявола не было ни малейшего основания говорить, что он несправедливо низвергнут лишь благодаря тому, что бог сильнее. Величие и слава самого господа не допускают и тени подобного упрека. Поэтому Христос должен был сделаться человеком и принять на себя беззаконие покинутого богом человечества и претерпеть смерть на кресте, чтобы благодаря смерти одного была дана жизнь многим. Поэтому бог по своей благодати и по своему милосердию должен был пожертвовать собой за нас, взять на себя ответственность за грешников перед отцом и искупить нашу вину, чтобы мы снова имели доступ к престолу благодати. Хотя и все другие люди без исключения обречены на смерть, однако никто не умер, как господь, не претерпел такой искупительной смерти, как Иисус Христос. Таким образом, и этот венец веры, очищение от грехов в крови Христа, вновь чудесно спасен от когтей древнего дракона, который ныне является в виде мирской мудрости и пагубного духа времени, и бог снова подтвердил драгоценное обещание, что врата адовы не одолеют его церкви. Далее *Шеллинг* прекрасно говорит о Христе: эта смерть является столь великим чудом, что мы не смели бы верить в него, если бы не знали о нем столь достоверно.

При его смерти были представители от всего человечества; присутствовали иудеи и язычники, и они представляли собой обе стороны всего рода человеческого. Языческое начало, в том виде, в каком Христос стал им благодаря своей борьбе с сатаной в язычестве, должно было умереть смертью язычников, крестной смертью. Распятие на кресте является лишь разрешением продолжительного напряжения, в котором Христос находился среди язычников, т. е. внебожественное состояние господа прекратилось, и благодаря смерти он снова соединился с богом, как сказано в писании:

«От уз и суда он был взят; но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых; за преступления народа моего претерпел казнь» (Исаия, 53, 8).

А о воскресении господа *Шеллинг* говорит, что оно является доказательством того, что Христос не для виду принял человеческий образ, но серьезно и навсегда стал человеком и вновь допустил к благодати человеческую сущность, а именно не только человечество во Христе, но все человечество вообще, представителем которого Христос только был. В самом деле, не отдельный грех настолько неугоден богу, что он должен был бы поэтому покинуть человечество, но хуже всего все греховное, преданное злу состояние всего человеческого рода, а поэтому человек стал неугоден богу еще прежде, чем он согрешил, так что быть человеком уже означало как бы быть грехом перед богом. Поэтому в мире нельзя было найти никакой доброй воли, угодной богу, ни одного доброго, праведного перед богом поступка, прежде чем умер Христос, а поэтому же и теперь лишь верующие могут творить добрые дела и обладать доброй волей. Но благодаря воскресению господа человеческое состояние было вновь оправдано перед богом и признано богом очистившимся от греховности, и, таким образом, оправдание завершилось лишь благодаря воскресению. Так Христос был вознесен на небо и теперь сидит одесную бога-отца как истинный человек и истинный бог, являясь заступником человечества перед отцом.

Далее, воскресение служит нам доказательством бессмертия нашей собственной души и воскресения плоти. *Шеллинг* признает и это и прибавляет, что если в этой жизни плоть господствует над духом, то должна воспоследовать вторая жизнь, где дух преодолеет плоть и, в конце концов, необходимо равновесие обеих сторон. Это вполне согласно с учением писания, потому что последнее состояние после воскресения и страшного суда, после преображения тела есть не что иное, как то, что *Шеллинг* называет равновесием между душой и телом. Относи-

тельно состояния нераскаянных и осужденных, которые умерли в неверии, жестокосердии и грехе, *Шеллинг* также высказывает известное предположение. Он считает вторую, вечную смерть вечным умиранием, которое никогда не может окончиться действительной смертью. Можно было бы, конечно, воздержаться от размышлений относительно этого и предоставить богу решить, как ему наказывать и мучить презирающих и хулящих его.

Наконец, почтенный *Шеллинг* приводит следующее драгоценное свидетельство о воскресении нашего господа и спасителя Иисуса Христа: это воскресение есть молния, сверкнувшая из внутренней истории во внешнюю. Для того, кто отвергает такие факты, история царствия божия остается лишь рядом внешних случайных событий без всякого божественного содержания, без трансцендентного (превосходящего силы разума), которое только и есть история в собственном смысле слова. Без нее история является лишь внешним делом памяти, но отнюдь не истинным, полным знанием событий. — Это прекрасные и христианские слова. Напротив, болтовня мирских мудрецов о боге в истории и развитии родового сознания представляет собой отвратительное пустословие и богохульство. Потому что, если эти надменные совратители юношества видят своего бога в истории всех человеческих грехов и преступлений, то где же остается бог вне этих грехов. Эти насмешники не хотят понять, что вся всемирная история есть ряд всяких несправедливостей, злых дел, убийств, прелюбодеяний, распутств, краж, богохульств, святотатств, припадков гнева и ярости и пьяных оргий, которые сами непременно низвергли бы себя в ад, а вместе с собой и весь мир, если бы всюду не была видна спасительная рука бога, борющаяся со злом и предотвращающая его; и эта позорная арена пороков является их небом, всем их бессмертием, это они сами открыто заявили. Вот каковы милые последствия того, что из истории устраняются все действия божии. Бог мстит им за себя тем, что он скрывает от них свою истинную сущность и предоставляет им создавать себе такого бога, который ничтожнее даже немого идола, сделанного из дерева и соломы, который оказывается пустым призраком, так называемым мировым духом и духом истории. Мы видели, что получается при таком взгляде на историю, главным виновником которого является *Гегель*, пользующийся дурной славой у всех хороших христиан; итак, сравним с этим ту картину истории, которую рисует такой человек божий, как *Шеллинг*.

Из тех двенадцати, говорит *Шеллинг*, которые всегда окружали господа и были наречены им апостолами, он проявлял

особое расположение к трем, а именно к Петру, Иакову и Иоанну, всякий раз оказывая им предпочтение перед другими. В этих трех апостолах даны прообразы всей христианской церкви, если мы заменим рано убитого за Христа Иакова приблизительно в то же время обращенным Павлом, как его преемником. Петр, Павел и Иоанн являются властителями трех различных периодов развития христианской церкви, как в Ветхом завете Моисей, Илия и Иоанн Креститель являлись тремя представителями трех периодов. Моисей был законодатель, через которого господь заложил фундамент; Илия — пламенный дух, который вновь оживил и возбудил к деятельности косный, отрекшийся от веры отцов народ; Иоанн Креститель — завершитель, благодаря которому осуществляется переход от Ветхого завета к Новому. Так и для новозаветной церкви Петр является Моисеем, основоположником, благодаря которому иудейский характер тогдашнего времени был представлен в христианской церкви; Павел являлся побуждавшим к действию пламенным Илией, не дававшим верующим остыть и заснуть, и представителем сущности язычества, образования, учености и мирской мудрости, поскольку она подчинялась вере; Иоанн же опять-таки явится завершителем, указывающим на будущее, потому что тем, кого господь любит, он предоставляет дело завершения. Таким образом, именно Иоанн и написал Откровение, возвещая еще при своей жизни будущее. И вот церковь апостола Петра есть церковь католическая, церемониальное богослужение которой, равно как и ее учение о добрых делах, соответствует иудейскому закону; и нельзя отрицать, что слова господа: «ты — Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» *, относятся к основанной им церкви. Подобно тому как он трижды отрекся от господа, так можно показать, что и римская церковь трижды отреклась от господа. В первый раз, когда она начала стремиться к светской власти; затем, когда она сумела воспользоваться светской властью для своих целей и, наконец, когда она стала служить светской власти орудием для достижения ее целей. Вторая же церковь апостола Павла есть церковь протестантская, в которой преобладает ученость и всяческая благочестивая премудрость, следовательно, сущность христиан, перешедших из язычества, и в которой вместо непоколебимого, устойчивого, свойственного католической церкви начала появляется возбуждающая, вызывающая образование партий жизнь евангелической церкви, распадающейся на многие секты. Кто знает, не полезнее ли,

* Библия. Новый завет. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. *Ред.*

в конце концов, помыслы и стремления этих языческих христиан для царствия божия, чем дела иудейских христиан!

Однако ни одна из этих двух партий не оказывается истинной, последней церковью господа, но ею будет лишь та церковь, которая, исходя из Петра как основания, при посредстве Павла возвышается до Иоанна и, таким образом, подготовляет последние времена. Эта последняя церковь есть церковь любви, подобно тому как Иоанн был вестником любви; в ней церковь достигает завершения, во времена которого произойдет предсказанное к концу великое вероотступничество, а затем последует страшный суд. Всем апостолам построено много церквей, но сравнительно очень мало в честь святого Иоанна. Если бы мне пришлось воздвигнуть церковь, то я посвятил бы ее ему; но когда-нибудь будет воздвигнута церковь всем трем апостолам, и эта церковь будет последним, истинным христианским пантеоном.

Таковы те слова, которыми первый воистину христианский философ закончил свои лекции, и, таким образом, мы как будто воспроизвели ход его мысли до конца. Пишущий эти строки полагает, что он достаточно показал, какое избранное орудие для своей церкви воздвиг господь в лице этого достойного мужа. Он и есть тот муж, который прогонит язычников нашего времени, творящих свои дела во многообразных видах, таких, как светские люди, как «Молодая Германия» [5], как философы и как бы они еще ни назывались. В самом деле, придя в тот зал, в котором *Шеллинг* читал свои лекции, и слушая насмешки и остроты этих людей по поводу избранного из мирских мудрецов, приходилось вспоминать апостола Павла, когда он проповедовал в Афинах. Происходит именно так, как будто повторяется история, рассказанная в «Деяниях апостолов», 17, 16 и сл., где сказано:

«В ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: «чтó хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение».

Конечно, и *Шеллинг* мог рассердиться здесь, в Берлине, при виде сего столь идолопоклоннического города. Ибо, где же больше, чем именно здесь, поклоняются идолам и земным вещам, маммоне и почестям мира сего, и собственному драгоценному «Я» и где же относятся с бóльшим пренебрежением к истинному богу? Где светская жизнь с ее пышностью, с ее роскошью, с ее пустым суетным великолепием, с ее блестящими

пороками и прикрытыми грехами достигла высшей степени, чем именно здесь? Не желали ли ваши ученые, ваши поверхностные и нехристианские писатели льстить вам, когда они так часто сравнивали ваш город с Афинами? О, какую горькую истину они вам высказали! Да, конечно, это Афины, полные языческой гордой образованности и цивилизации, которые именно до такой степени ослепили ваши глаза, что вам неясна простая истина евангелия; Афины, полные блеска, обмана и земного великолепия; Афины, где люди, привыкшие к довольству и комфорту, потягиваются и зевают на мягких постельках и считают речи о кресте слишком скучными и покаяние слишком утомительным; Афины, полные заносчивого, дикого упоения и чувственного опьянения, в котором заглушается громкий голос совести, внутреннее беспокойство и страдание прикрываются блестящим покровом! Да, конечно, Афины с надменными мирскими мудрецами, которые ломают себе головы над бытием и небытием и другими нелепостями и давно справились с богом и с миром, которые, однако, смеются над словами о смирении и о нищих духом, как над безумием и нелепостями минувших времен. Афины, богатые основательными учеными, которые знают наизусть все виды инфузорий и все главы римского права и из-за этого забывают о вечном спасении, в котором заключается блаженство душ! Здесь и *Шеллинг,* конечно, может разгневаться, как некогда Павел, когда он прибыл в подобный город. И когда он появился, мирские мудрецы, как некогда в былые времена эпикурейцы и стоики в Афинах, говорили: что хочет сказать этот суеслов? Они дурно отзывались о нем еще прежде, чем он открыл рот; они поносили его еще прежде, чем он появился в их городе. Однако мы видим, как нам далее повествует священное писание:

«И, взявши его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что́ это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши; посему хотим знать, что́ это такое? Афиняне же все и живущие у них иностранцы и гости ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» *.

Разве это не берлинцы, как живые? Не проводят ли и они время в том, чтобы слушать и видеть что-нибудь новое? Зайдите как-нибудь в ваши кофейни и кондитерские и посмотрите, как новые афиняне набрасываются на газеты, между тем как библия лежит дома, покрытая толстым слоем пыли, и ни один человек не раскрывает ее. Прислушайтесь к их взаимным приветствиям, когда они встречаются, вы не услышите ничего, кроме вопросов:

* Библия. Новый завет. Деяния апостолов, глава 17, стихи 19—21. *Ред.*

что нового? ничего нового? Всегда нужно что-нибудь новое, что-нибудь небывалое, иначе им смертельно скучно при всей их образованности, их роскоши и их наслаждениях. Кого они считают любезным, интересным и заслуживающим внимания? Того, кто всего более просвещен святым духом? Нет, того, кто всегда умеет рассказать всего больше новостей. О чем они более всего заботятся? О том, не обратился ли на путь истинный какой-нибудь грешник, по поводу чего ведь радуются ангелы божии? Нет, — какие скандальные истории произошли ночью,что пишут из Берлина в «Leipziger Allgemeine Zeitung»! Но хуже всех — ядовитое племя политиков и болтунов, которые больше всего помешаны на новостях. Эти лицемеры нахальнейшим образом суются в дела государственного управления, вместо того чтобы предоставить королю решать эти дела по его благоусмотрению, и совсем не заботятся о спасении своей бессмертной души; они хотят вынуть сучок из глаза правительства и не хотят заметить бревна в своем собственном неверующем глазу, чуждом любви к Христу. Эти люди особенно напоминают древних афинян, которые также целый день расхаживали по рынку, стараясь узнавать новости, а старые истины оставляли нетронутыми под спудом. Чего хотели они от *Шеллинга,* кроме того, чтобы услышать нечто новое, и как они презрительно морщились, когда он преподнес им лишь старое евангелие! Как мало было среди них таких, которые не стремились всегда к новинкам, но желали от *Шеллинга* лишь старой истины, слова об искуплении через Иисуса Христа!

И, таким образом, с *Шеллингом* здесь повторилось все то, что произошло с Павлом там. Они выслушали его проповедь с критическим выражением лица, время от времени важно улыбались, качали головой, многозначительно переглядывались, а затем с сожалением поглядывали на *Шеллинга;* «услышавши о воскресении мертвых, они стали насмехаться» («Деяния апостолов», 17, 32). Лишь немногие стали его последователями, ибо еще и теперь дело происходит так же, как в Афинах: особенное раздражение вызывает у них воскресение из мертвых. Большинство настолько честно, что и слышать не хочет ни о каком бессмертии; меньшинство допускает весьма недостоверное, неопределенное, туманное бессмертие души, но по мнению последних тело вечно тлеет, и все они одинаково смеются над действительным, определенным и явным воскресением плоти, считая его совершенно невозможным, как будто в писании не было сказано: для бога нет ничего невозможного.

К изложенной уже верующим читателям истории церкви христовой, как она символически представлена нам в лице трех

апостолов — Петра, Павла и Иоанна, — нам остается, однако, сделать еще одно замечание. Отсюда следует, что если мы, как некоторые делают еще и теперь, желаем презирать католическую церковь и унижать ее по сравнению с нашей, то это в высшей степени несправедливо, греховно и противоречит постановлениям самого бога. Ибо и она, точно так же, как протестантская, установлена божественным решением, и мы еще кое-чему можем от нее научиться. В католической церкви еще сохраняется древняя апостольская церковная дисциплина, которая совершенно исчезла у нас. Мы знаем из писания, что апостолы и общины исключали из общения святого духа всех неверующих, лжеучителей и грешников, являющихся соблазном для общины. Не говорит ли Павел (Первое послание коринфянам, 5, 3—5):

«А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя господа нашего Иисуса Христа обще с моим духом, силою господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день господа нашего Иисуса Христа».

Не сказал ли Христос Петру:

«И дам тебе ключи царства небесного; и что́ свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Матф., 16, 19).

Не сказал ли он после воскресения всем ученикам своим:

«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Евангелие от Иоанна, 20, 23).

Такие места из священного писания относятся к суровой церковной дисциплине в том виде, как она процветала в апостольской церкви и еще существует у католиков, и если апостольская церковь является нашим образцом и священное писание нашим руководством, то и мы должны стараться вновь придать силу вышеупомянутому древнему постановлению, и при той ярости, с которой злой враг ныне преследует церковь господню и нападает на нее, нам, конечно, следует позаботиться о том, чтобы мы были вооружены не только внутренне, верой и надеждой, но и внешне, солидарностью верующих и изгнанием лжепророков. Нельзя дать волку проникнуть в стадо без того, чтобы не изгнать его вновь оттуда. Далее, не следует также полностью отвергать безбрачия католических священников. В Евангелии от Матф. 19, 10—12 сказано:

«Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому

дано; ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит».

Затем в 1 послании кор. 7 от начала до конца говорится о преимуществах безбрачия перед браком, и я приведу оттуда лишь несколько мест.

Стихи 1, 2: «Хорошо человеку не касаться женщины; но, в избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа».

Стих 8: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я».

Стих 27: «Остался ли без жены? не ищи жены».

Стихи 32, 33: «Неженатый заботится о господнем, как угодить господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене».

Стих 38 и сл.: «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я имею духа божия»

Ведь эти изречения довольно ясны и трудно понять, как при таких предписаниях безбрачие могло пользоваться столь дурной славой у протестантов. Итак, мы видим, что католическая церковь в некоторых отношениях ближе к священному писанию, чем мы, и у нас нет никакого основания презирать ее. Наоборот, наши братья в католической церкви, верующие и богобоязненные, стоят ближе к нам, чем отрекшиеся от веры и переставшие быть христианами протестанты, и пора нам начать устройство церкви Иоанна, соединившись с католиками против общих врагов, которые угрожают всему христианству. Теперь уже не время спорить о различиях отдельных вероисповеданий, — мы должны предоставить решение этого вопроса господу; после того как мы, люди, в течение трехсот лет не могли прийти к определенному решению, мы должны бодрствовать и молиться и быть готовыми во всякое время,

«препоясавши чресла истиною и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего мы должны взять щит веры, которым возможем угасить все раскаленные стрелы лукавого и взять шлем спасения и меч духовный, который есть слово божие» (Послание к ефесянам, 6, 14—17). Ибо наступило плохое время, и «враг ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (Первое послание Петра, 5, 8) [169].

И если автор может позволить себе смиренно выразить свое мнение там, где могли говорить столь многие благочестивые и просвещенные мужи, то он полагает, что церковь Иоанна и с нею последние дни — близки. Разве кто-нибудь мог следить за

событиями последних лет с мыслью о господе и не заметить, что приближаются великие дела и что рука господа управляет ходом событий, совершающихся с царями и странами! Со времен ужасной французской революции совершенно новый дьявольский дух вселился в значительную часть человечества, и безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее время пророчеств писания. Посмотрим, однако, что сказано в писании о безбожии последних времен. Господь Иисус говорит, Матф., 24, 11—14:

«И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда прийдет конец». И стих 24: ... «восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». И Павел говорит, Второе послание фессалоникийцам 2. 3 и сл.: «и откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся *выше всего, называемого богом или святынею;* ... по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. *И за сие пошлет им бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,* да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». И Первое послание Тимофею, 4, 1: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским».

Не доказывает ли это, что господь и Павел как бы воочию видели наше время, как живое? Всеобщее отступничество от царствия божия все усиливается, безбожие и богохульство с каждым днем становятся все наглее и наглее, как говорит Петр (Второе послание Петра, 3, 3):

«И знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям».

Все враги бога ныне соединяются и нападают на верующих со всевозможным оружием; равнодушные, которые предаются светским удовольствиям и для которых слишком скучно было слышать о кресте, объединяются теперь, терзаемые совестью, с атеистическими мирскими мудрецами и хотят посредством их учения заглушить угрызения совести; с другой стороны, эти последние открыто отрицают все то, чего нельзя видеть глазами, бога и всякое загробное существование, и тогда само собой разумеется, что они всего выше ставят этот мир с его плотскими наслаждениями, с обжорством, пьянством и развратом. Это худшие язычники, которые ожесточились и сами довели себя до упорного отрицания евангелия и о которых господь гово-

рит, что жителям Содома и Гоморры лучше будет в день страшного суда, чем им. Это уже не равнодушие и холодность к господу; нет, это открытая, явная вражда, и вместо всяких сект и партий мы имеем теперь только две: христиан и противников Христа. Но те, у кого есть глаза, для того чтобы видеть, пусть видят и не ослепляются, потому что теперь не время для сна и отговорок; когда знамения времени свидетельствуют так ясно, тогда следует обращать на них внимание и вникать в смысл пророчества, которые не напрасно даны нам. Мы видим среди нас лжепророков,

«и даны им уста, говорящие гордо и богохульно, и отверзают они уста свои для хулы на бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было им вести войну со святыми и» (получается почти такое впечатление) «победить их». Откр. Иоанна, 13, 5—7.

У них не осталось никакого стыда, смущения и благоговения, и отвратительные насмешки какого-нибудь Вольтера являются детской забавой по сравнению с отвратительной серьезностью и с обдуманным богохульством этих соблазнителей. Они странствуют по Германии и хотят украдкой всюду проникнуть, проповедуют свои сатанинские учения на рынках и переносят дьявольское знамя из одного города в другой, увлекая за собой бедную молодежь, чтобы ввергнуть ее в глубочайшую бездну ада и смерти. Искушение неслыханным образом усилилось, и невозможно, чтобы господь допускал это без особого намерения. Не следует ли применять и к нам изречение:

«Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?» Матф., 16, 3.

Нет, мы должны раскрыть глаза и смотреть вокруг; время грозное и следует бодрствовать и молиться, чтобы мы не впали в искушение и чтобы господь, который придет, как тать в нощи, не застал нас спящими. Нас ждут многие бедствия и соблазны, но господь не покинет нас, потому что он сказал в Откр. Иоанна, 3, 5:

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его». И стих 11: «Се, гряду скоро; держи, что́ имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего!»

Амины.

Написано Ф. Энгельсом в начале 1842 г.

Напечатано без указания автора в виде отдельной брошюры в Берлине в 1842 г.

Печатается по тексту брошюры

Перевод с немецкого

СЕВЕРОГЕРМАНСКИЙ И ЮЖНОГЕРМАНСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ [170]

Берлин, март. Еще не так давно юг нашего отечества слыл единственной его частью, способной на решительный политический образ мыслей; Баден, Вюртемберг и Рейнская Бавария были, казалось, теми тремя единственными алтарями, где могло бы возгореться пламя единственно достойного, независимого патриотизма. Север, казалось, погрузился в состояние вялого безразличия, и если не раболепия, то все же дряблой и безнадежной расслабленности. В ней он искал отдыха от действительно великого и необычного напряжения освободительных войн, в которых юг никакого участия не принимал. Казалось, север удовлетворился своим деянием и теперь претендовал на некоторый покой, так что юг уже начал глядеть на него сверху вниз, обличать его безразличие, насмехаться над его терпением. События в Ганновере [171] были опять-таки в полной мере использованы югом для оправдания своего высокомерного отношения к северу. В то время как север внешне держался более спокойно, более бездеятельно, юг торжествовал, кичился своей развивавшейся парламентской жизнью, своими речами в палатах, своей оппозицией, которая должна-де служить поддержкой северу, тогда как сам юг мог обеспечить свое существование и без содействия севера.

Все это переменилось. Движение на юге заглохло, зубцы колес, которые раньше так крепко сцеплялись между собой и поддерживали вращение, постепенно стерлись и потеряли нужное сцепление, уста замолкают одни за другими, и молодое поколение не имеет охоты идти по стопам своих предшественников. Напротив, север, хотя внешние обстоятельства ему далеко не столь благоприятствуют, как югу, хотя трибуна

там, где она не совсем отсутствует, никогда не могла получить такого значения, как в Южной Германии, — север, тем не менее, за последние несколько лет обнаружил такой запас настоящей политической зрелости, стойкой, живой энергии, таланта и публицистической деятельности, каких юг не обнаруживал даже в лучшую пору своего расцвета. К тому же северогерманский либерализм обладает, бесспорно, более высокой степенью развития и разносторонности, более прочной как исторической, так и национальной основой, чем того могло когда-либо достичь свободомыслие юга. В этом отношении север далеко опередил юг. Отчего же это произошло? История обоих течений разрешает вопрос самым убедительным образом.

Когда с 1830 г. во всей Европе стала пробуждаться политическая мысль, когда государственные интересы стали выдвигаться на первый план, из событий и волнений этого года, в результате их столкновений с вновь оживающими мечтами тевтономанов, развился новый продукт — южногерманский либерализм. Порожденный непосредственной практикой, южногерманский либерализм остался ей верен и в области своей теории примкнул к ней. Но практика, на основе которой он построил себе теорию, состояла, как известно, из многих наслоений французской, германской, английской, испанской практики и т. д. Отсюда получилось, что и теория, подлинное содержание этого направления, целиком вылилась в нечто всеобщее, неопределенное, туманное, что она не была ни германской, ни французской, ни национальной и никак не космополитической, но именно абстрактной и половинчатой. Ставили себе общую цель, законную свободу, но для достижения имелись обычно два прямо противоположных средства. Так, для Германии хотели конституционных гарантий и, чтобы добиться этого, предлагали сегодня бóльшую независимость князей от Союзного сейма [17], завтра бóльшую зависимость, но рядом с Союзным сеймом — народную палату, — два средства, из которых при существующих условиях одно было так же непрактично, как другое. Сегодня для достижения великой цели желали большего единства Германии, завтра — большей независимости мелких князей от Пруссии и Австрии. Таким образом, при полном единодушии относительно цели и при постоянных разногласиях относительно средств правительство вскоре одержало верх над значительно более могущественной партией, которая слишком поздно убедилась в своем неразумии. К тому же, сила ее коренилась в мгновенной вспышке, в отраженном действии чисто внешнего события, июльской революции, и когда последняя утихла, то должна была захиреть и партия.

В это время в Северной Германии все было гораздо спокойнее и на вид более бездеятельно. Лишь *один* человек излучал тогда весь жар своей жизненной силы в живом пламени, и он имел больше значения, чем все южногерманцы, взятые вместе, — я имею в виду *Бёрне*. В Бёрне, который со всей энергией своего характера поднялся над их половинчатостью, эта односторонность в результате внутренней борьбы полностью сама себя преодолела. Теория у него пробилась на свет из практики и раскрылась как прекраснейший ее цветок. Так он решительно стал на точку зрения северогерманского либерализма и явился его предтечей и пророком.

Это направление, господство которого в Германии сейчас неоспоримо, уже приобрело в своей основе более полное содержание и обеспечило себе более продолжительное существование. Оно заранее связало свою судьбу не с единичным фактом, но со всей мировой историей, и в особенности с германской. Источником его возникновения был не Париж, оно зародилось в сердце Германии; это была новейшая германская философия. Отсюда и происходит то, что северогерманский либерал отличается решительной последовательностью, определенностью в своих требованиях и точным согласованием средств и цели, к чему до сих пор южногерманский либерал тщетно стремился. Отсюда и происходит то, что его образ мыслей является необходимым продуктом национальных стремлений и потому сам является национальным, что он хочет видеть Германию занимающей одинаково достойное положение как внутри, так и вовне, и не может впасть в комическую дилемму, следует ли быть сначала либералом, а потом немцем, или сначала немцем, а потом либералом. Поэтому он и сознает себя одинаково обезопасенным от односторонностей той или другой партии и свободен от хитроумных тонкостей и софистики, к которым эти партии были приведены своими собственными внутренними противоречиями. Поэтому он может начать такую решительную, такую живую, такую успешную борьбу против всей и всяческой реакции, какая никогда не будет по силам южногерманскому либерализму, и потому за ним в конце концов обеспечена победа.

Однако не следует считать южногерманский либерализм потерянным передовым постом, неудавшимся экспериментом; мы с его помощью добились результатов, которыми, поистине, нельзя пренебречь. Прежде всего, именно он заложил основание германской оппозиции и, таким образом, сделал возможным появление в Германии политического образа мыслей и пробудил парламентскую жизнь, он не дал захиреть и

погибнуть семени, таившемуся в германских конституциях, и извлек из июльской революции ту пользу, которую можно было из нее извлечь для Германии. Он шел от практики к теории и этим путем не пробился к цели; так начнем же с другого конца и попытаемся, отправляясь от теории, проникнуть в практику, — и, как хотите, я готов побиться об заклад, что мы таким образом, в конце концов, двинемся вперед.

Написано Ф. Энгельсом в марте 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 102, 12 апреля 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

ДНЕВНИК ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЯ

I

В таком городе, как Берлин, чужестранец совершил бы истинное преступление по отношению к самому себе и хорошему вкусу, если бы не познакомился со всеми достопримечательностями города. И тем не менее слишком часто случается, что самое значительное в Берлине, именно то, чем прусская столица так сильно отличается от всех других, остается незамеченным чужестранцами; я имею в виду университет. Не внушительный фасад на площади Оперы, не анатомический и минералогический музей имею я в виду, а эти многочисленные аудитории с остроумными и педантичными профессорами, с молодыми и старыми, веселыми и серьезными студентами, новичками и старожилами — аудитории, где раздавались и сейчас еще ежедневно раздаются слова, находящие отзвук далеко за пределами Пруссии и даже за пределами стран немецкого языка. Слава Берлинского университета в том и заключается, что ни один из университетов не стал, в такой степени как он, участником современного идейного движения и не превратил себя в такой мере в арену духовной борьбы. Сколько других университетов — Бонн, Йена, Гиссен, Грейфсвальд, даже Лейпциг, Бреславль и Гейдельберг — уклонились от этой борьбы и погрузились в ту ученую апатию, которая издавна была злым роком германской науки! Напротив, Берлин насчитывает среди своих университетских преподавателей представителей всех направлений и этим создает живую полемику, которая доставляет учащемуся возможность легкого, ясного сопоставления тенденций современности. При таких условиях у меня явилось желание использовать ставшее ныне общедоступным право посещать лекции в качестве

вольнослушателя, и, таким образом, однажды утром, как раз в начале летнего семестра, я вошел в университет. Несколько профессоров начали уже читать, большинство приступало как раз сегодня. Самым интересным, что мне представилось, было открытие курса лекций *Мархейнеке* о введении гегелевской философии в теологию. Вообще говоря, первые лекции здешних гегельянцев в этом семестре представляли совершенно особый интерес, так как некоторые уже заранее давали основание рассчитывать на прямую полемику против шеллинговской философии откровения, а от других ожидалось, что они не преминут встать на защиту чести потревоженной тени Гегеля. Курс лекций Мархейнеке был слишком явно направлен против Шеллинга, чтобы не привлечь к себе особенного внимания. Аудитория была полна еще задолго до его прибытия: молодые люди и старики, студенты, офицеры и бог весть кто еще сидели и стояли в битком набитой аудитории. Наконец, он входит; говор и жужжание моментально затихают, шляпы как по команде слетают с голов. Плотная, крепкая фигура, серьезный решительный облик мыслителя, высокое чело, обрамленное волосами, поседевшими в тяжелой работе мысли; в манере изложения — благородная сдержанность, ничего от ученого, уткнувшего нос в тетрадку, по которой он читает, ничего от искусственно-театральной жестикуляции; юношески прямая осанка, взор, внимательно устремленный на аудиторию; само изложение спокойное, полное достоинства, медленное, но неизменно плавное, безыскусственное, но неисчерпаемое по богатству глубоких мыслей, которые спешат одна за другой и каждая последующая еще более метко попадает в цель, чем предыдущая. Мархейнеке на кафедре импонирует своей уверенностью, непоколебимой твердостью и достоинством, но в то же время и свободомыслием, которым дышит все его существо. Но сегодня он вступил на кафедру в совершенно особенном настроении, импонировал своим слушателям гораздо сильнее, чем обычно. Если он в течение целого семестра терпеливо выносил недостойные отзывы Шеллинга о мертвом Гегеле и о его философии, если он до конца спокойно выслушал лекции Шеллинга, — а это, право, не пустяк для такого человека, как Мархейнеке, — то теперь, наконец, наступил момент, когда он мог отразить нападение, когда он мог выступить против гордых слов с гордыми мыслями. Он начал с общих замечаний, в которых мастерски охарактеризовал современное отношение философии к теологии, упомянул с признательностью о Шлейермахере, об учениках его он сказал, что они были приведены к философии пробуждающим мысль мышлением Шлейермахера, а те, кто пошел другим путем, пусть

сами на себя пеняют. Постепенно он перешел к философии Гегеля, и вскоре стало ясно, что слова его имеют отношение к Шеллингу.

«Гегель, — сказал он, — прежде всего хотел, чтобы в философии люди поднялись над *собственным тщеславием* и не воображали, что мыслят что-либо особенное, на чем мысль могла бы окончательно остановиться; и прежде всего он не принадлежал к числу людей, которые выступают с *большими обещаниями и громкими фразами,* он спокойно предоставлял философскому *делу* говорить за себя. Никогда не был он в философии miles gloriosus *, который много о самом себе шумит... Ныне, правда, никто не считает себя настолько незнающим и ограниченным, чтобы не быть в состоянии оспаривать Гегеля и его философию, и кто имел бы в кармане основательное ее опровержение, составил бы наверняка свое счастье; ибо насколько можно было бы завоевать доверие таким опровержением, видно на примере тех, кто лишь обещает опровергнуть ее, но *затем не выполняет своих обещаний*».

При этих последних словах одобрение аудитории, и до сих пор уже время от времени прорывавшееся наружу, вылилось в бурную овацию, — явление новое на теологической лекции, очень поразившее преподавателя. И в своей свежей непосредственности оно наводило на любопытные сопоставления с жидкими одобрительными возгласами, организованными с большим трудом, по заказу, в конце лекций, послуживших для Мархейнеке предметом полемики. Движением руки он успокоил приветственные крики и продолжал:

«Однако этого желанного опровержения еще нет, и оно не придет до тех пор, пока вместо спокойного научного исследования против Гегеля будет пускаться в ход *раздражение, недоброжелательство, зависть,* вообще страсть, — до тех пор, пока будут полагать, что для низложения философской мысли с ее трона достаточно *гностики* и *фантастики*. Первое условие такого опровержения заключается, конечно, в том, чтобы правильно понимать противника, и тут-то, пожалуй, некоторые враги Гегеля уподобились карлику, который пошел в бой против великана, или еще более известному рыцарю, сражавшемуся с ветряными мельницами».

Вот главное содержание первой лекции Мархейнеке, поскольку оно могло бы интересовать широкую публику. Мархейнеке опять показал, что он всегда мужественно и неутомимо стоит на боевом посту, когда дело идет о том, чтобы защитить свободу науки. Благодаря его характеру и проницательности ему гораздо более пристал титул преемника Гегеля, чем Габлеру, которого обычно им наделяют. Тот широкий, свободный взгляд, которым Гегель обозревал всю область мышления и постигал явления жизни, достался в удел и Мархейнеке. Кто осудит его за то, что он не хочет долголетние свои убеждения, свои с тру-

* — хвастливым воякой. *Ред.*

дом завоеванные приобретения отдать в жертву прогрессу, который вошел в жизнь всего каких-нибудь пять лет? Мархейнеке достаточно долго шел в ногу со временем, чтобы иметь право на подведение научных итогов. Большим его достоинством является то, что он стоит на уровне самых крайних выводов философии и отстаивает их как свое кровное дело. Так поступал он с момента появления «Гегелингов» Лео [48] и вплоть до отставки Бруно Бауэра [172].

Между прочим по окончании чтения этих лекций Мархейнеке отдаст их в печать [173].

II

В просторной аудитории сидело в разных местах несколько студентов в ожидании преподавателя. Объявление на двери гласило, что профессор фон *Хеннинг* будет читать публичный доклад о *прусской финансовой системе*. Предмет, поставленный в порядок дня Бюловым-Куммеровым [174], равно как и имя преподавателя, одного из старших учеников Гегеля, привлекли мое внимание, и меня удивило, что это, по-видимому, не встретило большого интереса. Вошел Хеннинг, стройный мужчина, «во цвете лет», с редкими светлыми волосами, и начал излагать свой предмет в быстро льющейся, быть может, несколько слишком обстоятельной речи.

«Пруссия, — сказал он, — выделяется из ряда всех государств тем, что ее финансовая система построена целиком на основе новейшей политико-экономической науки, что до сих пор только она одна имела смелость провести на практике теоретические выводы Адама Смита и его последователей. Англия, например, — а ведь в ней-то и возникли эти новейшие теории — по уши погрязает еще в старой монопольной и запретительной системе, Франция, пожалуй, еще больше, и ни Хаскиссон в Англии, ни Дюшатель во Франции не могли своими более разумными взглядами преодолеть частных интересов, не говоря уже совсем об Австрии и России, между тем как Пруссия решительно признала принцип свободной торговли и свободы промышленности и отменила все монополии и запретительные пошлины. Таким образом, эта сторона нашей системы ставит нас высоко над государствами, которые в другом отношении, в развитии политической свободы, далеко нас опередили. И если наше правительство добилось в финансовой области таких исключительных результатов, то, с другой стороны, следует также признать, что оно нашло для такого рода реформы исключительно благоприятные условия. Удар, нанесенный в 1806 г., расчистил место для возведения нового здания; правительству не связывал рук представительный строй, при котором могли бы приобрести влияние отдельные интересы. К сожалению, все еще не перевелись упрямые старики, которые по своей ограниченности и угрюмости придираются к новому и ставят ему в упрек, что оно якобы неисторично, насильственно сконструировано из абстрактной теории, непрактично; будто с 1806 г. история остановилась и будто недостатком практики является ее согласие

с теорией, с наукой; будто сущностью истории является застой, вращение в круге, а не прогресс, будто вообще существует практика, свободная от всякой теории!»

Да будет мне позволено ближе рассмотреть эти последние пункты, к которым, без сомнения, присоединится общественное мнение в Германии и особенно в Пруссии. Давно уже пора решительно выступить против вечных разглагольствований известной партии об «историческом, органическом, естественном развитии», «естественном государстве» и т. д. и разоблачить перед народом эти блестящие формулы. Если существуют государства, которым действительно приходится считаться со своим прошлым и довольствоваться более медленным прогрессом, то к Пруссии это неприложимо. Как бы *быстро, стремительно ни развивалась Пруссия,* этого все равно недостаточно. Наше прошлое погребено под развалинами до-йенской Пруссии [135], смыто потоком наполеоновского вторжения. Что сковывает нас? Нам не приходится больше влачить на ногах те средневековые колодки, какие мешают двигаться стольким государствам; грязь прошлых столетий не липнет больше к нашим ногам. Как же можно в таком случае говорить здесь об историческом развитии, не имея в виду возвращения к ancien régime* — к реакции, наипозорнейшей из всех когда-либо существовавших, которая самым трусливым образом отрицала бы славнейшие годы прусской истории, которая сознательно или бессознательно была бы изменой отечеству, ибо вызвала бы необходимость новой катастрофы, подобной катастрофе 1806 года. Нет, ясно, как день, что *благо Пруссии — только в теории, науке, духовном развитии.* Или, подходя к вопросу с другой стороны, Пруссия — не «естественное» государство, а созданное политикой, целеустремленной деятельностью, *духом.* В последнее время во Франции пытались изобразить эту особенность как величайшую слабость нашего государства; между тем, если только правильно использовать эту особенность, она представляет главную нашу силу. Как самосознающий себя дух возвышается над бессознательной природой, так и Пруссия при желании может поставить себя высоко над «естественными» государствами. Именно потому, что в Пруссии так велики различия между провинциями, ее строй, чтобы не причинить никому ущерба, обязан исходить *только из мысли;* тогда постепенное слияние различных провинций произойдет само собой, причем своеобразные особенности растворятся в единстве высшего свободного государственного сознания; между тем как в противоположном случае

* — старому порядку. *Ред.*

было бы мало двух столетий, чтобы создать внутреннее законодательное и национальное единство Пруссии, и первый же сокрушительный удар повлек бы за собой такие последствия для внутренней спайки нашего государства, за которые ни один человек не мог бы взять на себя ответственности. Другим государствам путь, по которому они должны шествовать, предуказан уже их определенным национальным характером; мы свободны от такого принуждения; мы можем сделать с собой, что хотим; Пруссия может, оставив в стороне всякие другие соображения, следовать только внушениям разума, может, как никакое другое государство, учиться на опыте своих соседей, может, а в этом никто ей не подражает, стать образцовым государством для Европы, быть на высоте своего времени, воплощать в своих установлениях законченное государственное сознание своего века.

Это — наше призвание, для этого Пруссия создана. Неужели мы растратим эту будущность из-за пары пустых фраз отжившего направления? Неужели мы не должны прислушиваться к самой истории, указывающей нам призвание воплотить в жизнь цвет всей теории? Опора Пруссии, повторяю еще раз, заключается не в развалинах прошлых столетий, а в вечно юном духе, который в науке обретает сознание и в государстве сам создает свою свободу. И если б мы отступились от духа и его свободы, то отказались бы от самих себя, предали бы самое святое свое благо, умертвили бы нашу собственную жизненную силу и были бы не достойны впредь стоять в ряду европейских государств. Тогда история обратилась бы против нас со страшным смертным приговором: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» *.

Написано Ф. Энгельсом между 2 и 24 мая 1842 г.

Напечатано в «Rheinische Zeitung» №№ 130 и 144; 10 и 24 мая 1842 г.

Подпись: Ф. О.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

* Библия. Ветхий завет. Книга пророка Даниила, глава 5, стих 27. *Ред.*

РЕЙНСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА [175]

Берлин, 6 мая

Бывают времена в году, когда уроженца Рейна, который слоняется на чужбине, охватывает тоска, совсем особенная, по его прекрасной родине. Эта тоска особенно обостряется весною, во время троицы, время рейнского музыкального празднества; это совершенно фатальное чувство. Теперь, — это известно, увы, слишком хорошо, — на Рейне все начинает зеленеть; прозрачные речные волны кружатся под весенним ветерком, природа надевает праздничные одежды, и теперь домашние снаряжаются в поездку на хоровой праздник, завтра они выступают в путь-дорогу, а тебя-то там нет.

О, рейнский музыкальный праздник — чудесный праздник! Переполняя украшенные зеленью пароходы, с развевающимися флагами, с звуком рогов и песнями, в длинных железнодорожных поездах и почтовых каретах, размахивая шляпами и платками, притекают со всех сторон гости, веселые мужчины, млад и стар, прекрасные звонкоголосые женщины, все празднично настроенные люди с смеющимися воскресными лицами. Какая радость! Все заботы, все дела забыты; не видать ни одного хмурого лица в густой толпе прибывающих. Возобновляются старые знакомства, завязываются новые, в воздухе стоит неумолчный смех и гомон молодежи, и даже старики, которых милые дочки насильно заставили принять участие в празднике, несмотря на ревматизм, подагру, простуду и ипохондрию, заражаются общим весельем и должны быть веселы, раз присоединились к торжеству. Все готовятся к празднованию троицы, и торжество в честь всеобщей эманации святого духа нельзя праздновать достойнее, чем отдаваясь божественному духу ра-

дости и наслаждения жизнью, сокровеннейшее ядро которого составляет именно наслаждение искусством. И из всех искусств именно музыка больше всего подходит к тому, чтобы образовать центральный пункт такого дружеского провинциального собрания, где вся интеллигенция округа сходится для взаимного освежения житейской бодрости и юношеского веселья. Если у древних народную массу притягивали комическое представление, турнир поэтов-трагиков на панафинеях [176] и вакхических празднествах, то у нас, при наших климатических условиях и социальных отношениях, все это может заменить лишь музыка. Ибо подобно тому, как музыка, оставаясь на бумаге и не доходя до слуха, не может нам доставить наслаждения, так и трагедия была для древних мертвою и чуждой, пока не говорила с фимелы и орхестры живыми устами актеров. Ныне каждый город имеет свой театр, где играют каждый вечер, между тем как для эллинов сцена оживала только по большим праздникам; ныне печать распространяет каждую новую драму по всей Германии, между тем как у древних написанная трагедия лишь немногим доставалась для прочтения. Поэтому драма не может больше составить центральный пункт для больших собраний; такую службу должно сыграть другое искусство, и это может только музыка, ибо лишь она одна допускает сотрудничество большой массы людей и этим даже значительно выигрывает в силе выражения; в ней одной наслаждение совпадает с живым исполнением, и круг действия по размеру соответствует античной драме. И воистину немец может праздновать и лелеять музыку, в которой он является царем всех народов, ибо если лишь ему удалось извлечь иа сокровенной глубины на свет и выразить в звуках высшее и священнейшее, интимнейшую тайну человеческого настроения, то и ему одному дано ощущать во всей полноте силу музыки, разуметь до конца язык инструментов и пения.

Но музыка тут не главное. А что же? Именно музыкальное торжество. Как мало центр без окружности составляет круг, так же мало представляет здесь музыка без радостной, дружной жизни, образующей окружность вокруг этого музыкального центра. Уроженец Рейна по своей натуре настоящий сангвиник; его кровь так легко переливается по жилам, как свежее бродящее вино, и глаза его всегда быстро и весело смотрят на окружающий мир. Он среди немцев счастливчик, которому мир всегда представляется прекраснее и жизнь радостнее, чем остальным; смеясь и болтая, он сидит среди виноградной листвы, давно забыв за кубком все свои заботы, тогда как другие часами еще обсуждают, пойти ли им и заняться тем же, и теряют из-за этого лучшее время. Несомненно, ни один рейнский

житель не пропускал когда-либо представлявшегося ему случая к житейскому наслаждению, иначе его приняли бы за величайшего дуралея. Этот веселый нрав сохраняет ему еще надолго молодость, в то время как северный германец уже давно перешел в филистерскую полосу степенности и прозы. Житель Рейна всю свою жизнь забавляется веселыми, резвыми шалостями, юношескими шутками или, как говорят мудрые, солидные люди, сумасбродными глупостями и безрассудствами; самыми веселыми и привольными университетами были испокон века Бонн и Гейдельберг. И даже старый филистер, в труде и заботах закисший в сухой повседневности, если он утром и высек своих юнцов за их шалости, все же вечером за кружкой пива занятно рассказывает им старые забавные истории, в которых сам участвовал в дни своей юности.

При таком всегда веселом характере рейнцев, при такой открытой, простодушной безмятежности нет ничего удивительного, что на музыкальном празднестве почти все хотят больше, чем слушать или дать себя послушать. Здесь сплошное веселье, пестрая непринужденная жизнь, свежесть наслаждения, каких в другом месте пришлось бы долго искать! Всюду радостные, благожелательные лица, дружелюбие и сердечность ко всем участникам всеобщей радости. Как несколько часов, протекают эти три дня торжества под пенье, шутки и вино. И на утро четвертого дня, когда вся радость исчерпана и настает время прощаться, опять уже радуются в надежде на следующий год, условливаются на этот счет, и каждый, все еще радостно настроенный и вновь оживший, идет своим путем и к своей повседневной работе.

Написано Ф. Энгельсом 6 мая 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 134, 14 мая 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

КОММЕНТАРИИ И ЗАМЕТКИ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕКСТАМ

ЧЕТЫРЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ, ПРОЧИТАННЫЕ В КЁНИГСБЕРГЕ ЛЮДВИГОМ ВАЛЕСРОДЕ. КЁНИГСБЕРГ, Г. Л. ФОЙГТ, 1842 [177]

За последние несколько лет Кёнигсберг в Пруссии занял, на радость всей Германии, весьма выдающееся положение. Оторванный формально Союзным актом от Германии, немецкий элемент собрался там с силами и предъявляет требование, чтобы его признали немецким и считались с ним, как с представителем Германии, выступающим против варварства славянского Востока. И действительно, восточные пруссаки не могли противопоставить славянству германскую образованность и национальность лучше, чем это они сделали. Духовная жизнь, политическая мысль достигли там такой энергии в своих проявлениях, такой высоты и свободы взглядов, как ни в каком другом городе. *Розенкранц* успешно представляет там германскую философию со свойственной ему разносторонностью и живостью ума, и если он не обладает мужеством, чтобы непреклонно делать все вытекающие из нее выводы, то все же его тонкий такт и непредубежденность во взглядах ставят его очень высоко, не говоря уже о знаниях и таланте. Яхман и другие обсуждают вопросы дня в духе свободомыслия, и теперь в указанной выше книжке перед нами лежит новое доказательство того, какой высокой степенью образованности обладает местная публика.

В этих четырех юмористических лекциях, прочитанных перед большой аудиторией, талантливый автор объединил материал, взятый непосредственно из живой современной действительности. В самом деле, здесь проявлена такая способность к жанровым картинкам, такая легкость, изящество и яркость изображения, такое искрящееся остроумие, что автору нельзя отказать в большом даровании юмориста. Он обладает верным

взглядом, сразу улавливающим в событиях дня подходящую уязвимую сторону, и умеет так тонко преподнести свои бесчисленные ассоциации и намеки, что вызывает улыбку даже у своей жертвы; к тому же один сюжет сменяется другим, и, в конце концов, никто, собственно, не может уже сердиться на насмешника, так как всем понемногу досталось. Первая лекция, «Маски жизни», повествует нам о Мюнхене, Берлине, немецком Михеле, пустоте родовой аристократии, духовном разброде и галерее германских знаменитостей. Из нее я приведу следующее место:

«Недалеко от нас за столом сидит молодой человек и попивает вино из тяжеловесного серебряного бокала. Однажды он разрушил одной-единственной песней двадцать французских батарей, направленных против свободных наяд зеленого вольного Рейна, а своими четырехстопными ямбами обратил в неудержимое бегство вплоть до Тионвиля несколько кавалерийских полков французского авангарда, дошедших было до Андернаха. За этот отважный подвиг он был награжден серебряным бокалом и грамматической конструкцией, которая была еще смелее, чем его песня, и так чудовищно громоздка, что у всех германских учителей гимназии побледнели лица, а третьеклассники повскакали со своих парт и в восторге закричали: «Наконец-то наступили для нас каникулы!»» [178]

Вслед за тем говорится:

«Перед нами предстала маска цензора. Если бы она обнаружила на наших пальцах чернильное пятно, не прошедшее цензуру, мы бы погибли. Цензор выглядит как любой другой человек, но его профессия выше человеческой. Он направляет ум и мысли, держит в руках весы, которыми должна управлять только вечная справедливость. В области литературы он призван приводить в исполнение фараонов закон, согласно которому все новорожденные литературные младенцы *мужского* пола должны быть умерщвлены или, по крайней мере, абеляризированы *. Цензура Древнего Рима представляла собой весьма строгое судилище нравственности над гражданами республики; ее действие прекратилось, когда она, как говорит Цицерон, была не в состоянии сделать больше, чем вызвать краску стыда у человека. Наша цензура перестанет действовать лишь *тогда,* когда вся нация, как *один человек,* сможет покраснеть за нее!» [179]

Вторая лекция, «Наш золотой век», повествует в той же легкой форме о денежной аристократии, третья, «Литературный турнир Дон-Кихотов», ополчается с копьем наперевес на всевозможные нелепости нашего времени и прежде всего на немецкий политический стиль.

«Немецкий язык, — говорится в этой лекции, — родился как язык свободный и республиканский; он возносится до высочайших отрогов Альп и глетчеров стихотворного искусства и мышления, чтобы подобно

* — т. е. оскоплены. Намек на биографию средневекового философа Абеляра. *Ред.*

орлу воспарить к солнцу. Но он так же, как швейцарцы, отдает себя на службу деспотизма в качестве его лейб-гвардии. То, что ганноверский король * сказал своему народу на самом плохом немецком языке, он не мог бы выразить на самом изысканном английском языке. Короче говоря, наш язык, как моррисоновы пилюли, для всего хорош и употребителен и ему не хватает лишь немногого, но крайне необходимого, — политического стиля! Правда, в минуты наибольшей опасности, когда Кёльнский собор глядится в воды Рейна, а он имеет обыкновение это делать лишь в критические моменты, немецкий язык с высочайшего разрешения правительства приобретает некий политический размах, и тогда каждое картофельное поле именуется «районом», все честные провинциалы становятся «мужами», а каждая белошвейка внезапно превращается в немецкую «деву». Но это лишь политический стиль оборонительного характера, который обыкновенно выступает на сцену одновременно с ландштурмом. Наш язык еще не стал языком наступления. Когда немец желает предъявить требование на свои самые элементарные политические права, которые так же документально и по всем правилам закона закреплены за ним на гербовой бумаге, как и его жена по брачному контракту, тогда он сопровождает его таким количеством оговорок, излагает его таким витиеватым канцелярским слогом, снабжает его бесконечными выражениями глубочайшего почтения, почитания, неувядающей любви и преданности, что это требование скорее можно принять за церемонное любовное письмо портного-подмастерья, чем за справедливое требование. У немца не хватает мужества претендовать на права, и поэтому он тысячу раз извиняется за то, что осмелился подумать, предположить, высказать свое мнение или возыметь надежду до конца отстоять у властей еще одно политическое требование. Не напоминает ли вам, например, большая часть таких прошений о свободе печати полностью облаченного в театральные одежды маркиза Позу, припадающего к стопам короля Филиппа со словами: «Государь, даруйте свободу мысли!» ** И следует ли после этого еще удивляться, если подобные прошения были отвергнуты королем Филиппом со словами: «Мечтатель странный!» *** и положены под сукно. Те немногие из немцев, которые как адвокаты своего отечества осмелились изложить сжатым и выразительным языком, как это и подобает мужам, его политические права, пали жертвами государственной инквизиции единственно благодаря трусости нашего политического стиля. Ибо там, где трусость является нормой, там мужество равносильно преступлению! Политическому писателю нашего времени грозило бы колесование лишь за простую погрешность в стиле, лишь за то, что он высказывает голую правду, не облекая свои слова и мысли в предписанную церемониймейстером форму, и все это — во имя права. В то время когда нужно воспользоваться политическими правами, немецкий стиль становится трусливым, как евнух, а также неуклюже льстивым в отношении сильных мира сего. Стоит какому-либо князю заявить: «Я буду отстаивать право и справедливость!» — в газетах сейчас же появляется целый рой фраз, которые, подобно диким пчелам, устремляющимся на капельки меда, в упоенье жужжат о том, что на пустынном политическом поле обнаружен драгоценный клад. Что может быть оскорбительнее для князя, если лишь о высказанном им желании выполнить первейший долг правителя, без чего он уподобился бы Нерону или Бузирису, уже все газеты трубят, как об особой, неслыханной княжеской добродетели? И это происходит в правительственных газетах на

* — Эрнст-Август. *Ред.*

** *Шиллер.* «Дон Карлос, инфант испанский». Действие третье, явление 10. *Ред.*

*** Там же. *Ред.*

глазах у цензоров, под покровительством Союзного сейма! А не следует ли к какому-либо подобному неловкому восхвалителю применить во всей его строгости параграф 92 Уголовного права?» [180]

Четвертая лекция преподносит «Вариации на любимые современные и национальные мотивы». Среди них находится «Орденский капитул», который начинается следующим образом:

«Князья — пастыри народов, как уже сказал Гомер, а отсюда следует, что народы — это княжеские овцы. Пастыри очень любят своих овец и водят их на пестрой шелковой привязи, чтобы они не затерялись, а овцы любуются этой изящной, отливающей всеми цветами радуги привязью и не замечают, что это украшение в то же время является для них цепью, и именно потому, что они овцы» и т. д. [181]

Этими четырьмя лекциями Валесроде доказал свою способность быть юмористом. Но этого мало. Такие вещи, исполняя лишь роль отдельных лекций, имеют право быть оторванными, разъединенными, лишенными единства; однако истый юморист подчеркнул бы еще больше, чем это сделал Валесроде, общий фон позитивного широкого миросозерцания, в котором в конце концов растворяются к общему удовольствию всякого рода насмешки и отрицание. В этом отношении Валесроде изданием вышеуказанной книжки вменил себе в обязанность как можно скорее оправдать вызванные им надежды и доказать, что он может сосредоточиваться и перерабатывать свои воззрения в одно целое, а не только разбрасывать их, как здесь. И это тем более необходимо, что он обнаруживает близкое родство с авторами блаженной памяти «Молодой Германии» [5] своим происхождением от Бёрне, своими воззрениями и стилем; почти все принадлежавшие к этой категории авторы, однако, не оправдали возложенных на них надежд и погрязли в расслабленности, явившейся следствием бесплодных стремлений к внутреннему единству. Неспособность создать что-либо цельное была подводной скалой, о которую они разбились, так как сами не были *цельными* людьми. Но у Валесроде можно местами разглядеть более высокую, более совершенную точку зрения, что дает право предъявить к нему требование — привести свои отдельные суждения в равновесие как между собой, так и с уровнем философии данной эпохи.

Впрочем, мы желаем ему успеха у публики, которая сумела оценить такие лекции, и у цензора, который не помешал их опубликованию. Мы надеемся, что такое поведение цензуры, как в данном случае, преодолеет в ней, по крайней мере для Пруссии, все другие неустойчивые принципы и приобретет

широкое распространение; что цензура будет повсюду проводиться такими людьми, как в Кёнигсберге, где цензоры, как говорит наш автор,

«с мученическим самопожертвованием приняли на себя самую ненавистную из всех должностей, чтобы не предоставить ее тем, кто с радостью взял бы ее на себя» [182].

Написано Ф. Энгельсом в конце апреля — начале мая 1842 г.

Напечатано в «Rheinische Zeitung» № 145; 25 мая 1842 г.

Подпись: Ф. О.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

[ПОЛЕМИКА ПРОТИВ ЛЕО]

Из Газенгейде, май. То, чего не могла, согласно просвещенному мнению «Literarische Zeitung», осилить гегелевская философия, а именно построить на основе своих принципов систему естественных наук, берется теперь разрешить со своей точки зрения и с великолепным успехом «Evangelische Kirchen-Zeitung». Помещенная в последнем номере этой газеты за подписью Г. Л. (Лео) статья по поводу одного сочинения проф. Лёйпольдта из Эрлангена [183] развивает *программу полнейшей революции в медицине,* все последствия которой в настоящее время невозможно даже предвидеть. Как всегда, Лео и здесь начинает с гегелингов [48], хотя прямо и не называет их; он говорит о пантеистическом, языческом направлении, которое овладело новейшим естествознанием, о «философском ощупывании природы и увлечении утонченными системами», бичует анатомическую точку зрения, которая позволяет лечить лишь отдельного больного, а не сразу целые поколения и народы, и наконец, приходит к выводу,

«что болезнь есть наказание за грехи, что поколения, связанные родством, совокупно страдают за свои грехи не только в физическом отношении, но даже и в духовном, если только ниспосланная милостью божьей вера не разорвет цепей этой кары. Раскаяние не освобождает отдельную личность от физической кары за совершенные ею грехи; так, например, оно не возвращает человеку носа, если он поплатился таковым за свое греховное распутство; точно так же в силу чисто естественных причин еще и теперь у внуков бывает оскомина на зубах оттого, что деды их лакомились незрелым виноградом, а духовная кара не прекращает своего действия до тех пор, пока на помощь не приходит твердая вера. Как часто бывает, что человек, проведший всю свою жизнь в роскоши и грехах и при этом как будто счастливо окончивший жизнь, оставляет сыну и внуку зародыши

разрушающих нервы болезней, которые бурно развиваются у них до тех пор, пока правнук, в душе которого ни единое слово благодати не нашло плодотворной почвы, в состоянии крайнего угнетения, в результате последствий половых болезней, хватается в отчаянии за бритву и, перерезая себе горло, выносит себе самому тот приговор, который заслужил виновник его страданий — прадед».

Вне такого рассмотрения мировая история представлялась бы, дескать, вопиющей несправедливостью. — Далее Лео продолжает развивать свою мысль:

«Обратившийся к вере безносый грешник должен видеть в своем уродстве лишь знак божественной справедливости и то, что для неверующего было карой, для верующего становится новым источником веры».

С народами дело обстоит точно так же.

«Духовные, как и телесные, расстройства и болезни того или иного времени с известной точки зрения еще и сегодня, как и во времена пророка, являются наказанием божьим».

Таковы философские... я хотел сказать, религиозные принципы, на основе которых Лео, достойный занять место рядом с Рингсейсом, создает свою новую медицинскую практику. Какая польза от всех мелочных хлопот об излечении отдельного человека или какой-нибудь отдельной части его тела? Лечить надо сразу целые семьи, целые народы! Если у деда лихорадка, то вся семья, сыновья, дочери, внуки с женами и детьми должны глотать хинин! Если король болен воспалением легких, то каждая провинция должна послать своих депутатов для кровопускания или же из предосторожности лучше пускать кровь сразу всему населению в столько-то и столько-то миллионов по одной унции крови с человека! А каких только выводов нельзя извлечь отсюда для санитарной полиции! Никто не может быть допущен к вступлению в брак без врачебного удостоверения в том, что он сам здоров и что его предки, вплоть до прадеда, обладали нормальным телосложением, а также без свидетельства от пастора, что как он, так и его предки, вплоть до прадеда, всегда стремились вести христианский, благочестивый и добродетельный образ жизни, дабы, как говорит Лео, «грехи отцов не пали на детей вплоть до третьего и четвертого колена!» Поэтому положение врача является

«страшно ответственным и ужасающим в своей двусмысленности, ибо он может быть в такой же мере посланником божьим для человека, которого он по возможности избавляет от расплаты за грехи предков, как и *слугой дьявола*, который стремится своей силой противодействовать каре божьей и уничтожить ее действие».

Снова выводы, полезные для государства! Предусмотренный для медиков философский курс должен быть отменен и на его

место введен курс теологии. Экзаменующийся по медицине обязан представлять свидетельство о своем вероисповедании, а практику медиков-евреев необходимо если не запретить вовсе, то во всяком случае ограничить кругом их единоверцев. Лео продолжает:

«Больной, как и преступник, священен, святая длань господня покоится на нем — кто может излечить, да излечит! Но да не убоится он раскаленной стали, режущего железа и мучительного голода, когда лишь они одни могут помочь выздоровлению. Слабая помощь вредна в медицине, равно как и в гражданском общежитии».

Будем же теперь смелее резать и жечь! Там, где раньше применялась жалкая трепанация, поможем теперь простым отсечением головы; если обнаружен порок сердца — обычное наказание за любовные грехи, совершенные матерью больного, — и если кровь слишком сильно приливает к сердцу, мы откроем ей выход ударом ножа в сердце; у кого рак желудка, у того мы вырежем весь желудок. Старый доктор Эйзенбарт, о котором поется в народе, оказывается, был вовсе не так уж плох — он был просто не понят современниками. Точно так же, заключает Лео, обстоит дело с преступниками: подлежат наказанию не только они, но вместе с ними и весь народ; наказания же, налагаемые в наше вялое время, недостаточно сильны. Надо-де больше пытать и обезглавливать, иначе преступников станет больше, чем мест в работных домах. Совершенно верно! Если один человек совершает убийство, то вся его семья должна быть истреблена, а каждый житель его родного города должен получить по меньшей мере двадцать пять палочных ударов за соучастие в этом убийстве; если один брат предается незаконной любви, то все его братья должны за это вместе с ним подвергнуться кастрации. Усиление наказания приносит только пользу. С тех пор как отсечение головы, как мы убедились выше, больше не является наказанием, а лишь медицинской ампутацией для спасения тела, этот вид смертной казни должен быть вычеркнут из кодексов уголовного права и заменен колесованием, четвертованием, сажанием на кол, сжиганием, терзанием раскаленными щипцами и т. п.

Таким образом, Лео противопоставил впавшим в язычество медицине и юриспруденции — христианские медицину и юриспруденцию, которые, без сомнения, вскоре получат всеобщее распространение. Известно, что на основе тех же принципов он ввел христианство в историю и, например, объявил гегелингов, которых он считает потомками французских революционеров, ответственными за кровь, пролитую в Париже, Лионе и Нанте, и даже за действия Наполеона. Я упоминаю здесь об

этом только для того, чтобы отметить похвальную разносторонность сего неутомимого мужа. Как говорят, в ближайшее время ожидается выход в свет его немецкой грамматики, основанной на принципах христианства.

Написано Ф. Энгельсом между 7 и 11 мая 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 161, 10 июня 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ БАДЕНСКОЙ ПАЛАТЫ

Берлин, 21 июня. Чем больше развивается у нас политическое сознание, чем *свободней* и громче выражается общественное мнение Пруссии, тем больше проникаемся мы чувством единства с остальными немецкими племенами, с тем большим интересом наблюдаем за общественными явлениями их государственной жизни. Это неоспоримое доказательство того, что барьеры, столь долго существовавшие в общественном мнении между Пруссией и конституционной Германией, пали и что нет больше национального раскола, вызванного, с одной стороны, высокомерным самодовольством многих пруссаков, а с другой — недоверием южногерманских либералов к нашему правительству. Если уже в прошлом году прием, устроенный Велькеру как во всей Северной Германии, так и в Берлине, говорил о примирении северогерманских и южногерманских представителей прогресса, то только теперь, с установлением более свободной цензуры в Пруссии, обе большие части нашего отечества стали сливаться все явственнее в едином стремлении к свободе. Пруссаки вдруг отступили от своего самодовольства, от бахвальства и хвастовства своими сверхсовершенными учреждениями; меньше чем за полгода были вскрыты недостатки, о которых большинство наших сограждан не позволяло себе думать. С другой стороны, свободомыслящая, часто даже откровенно оппозиционная прусская печать побудила южных немцев отказаться от оставшихся у них предубеждений против прусского народа и его политического уровня. Понятно, что при таких обстоятельствах дебаты в баденской палате депутатов были восприняты у нас с живым интересом. Ожидалось, что после того, как Пруссия подтвердила в печати свою политическую зрелость, южные

немцы приложат все усилия, чтобы не остаться позади нас. Однако в ходе обсуждения судопроизводства в вюртембергской палате стало слишком очевидно, что последней очень недостает ее корифеев 1833 года. Напротив, от Бадена можно было ожидать, что после случая с распущенной палатой политическая жизнь здесь не замрет так легко. Сильные волнения во время выборов были приятным признаком оживления и интереса ко внутренним делам страны. И хотя прессе не было дозволено дать нам возможность хотя бы издали, духовно, принять участие в событиях, о них зашел разговор в палате во время дебатов о выборах, и теперь они со всей очевидностью выступили на первый план. Эти дебаты в сопоставлении с теми намеками, которые время от времени делались прессой по поводу празднеств, устраиваемых в честь отдельных депутатов, дали нам яркую картину тех дней напряжения и борьбы. Во время выборов в округе Шветцинген — Филиппсбург снова обнаружилось, между прочим, со всей полнотой, что ничто так не вредит правительству, как чрезмерное должностное рвение чиновников. Махинации, которые были здесь применены, дабы склонить исход выборов в пользу Реттига, являются неслыханными для баденской конституционной истории. Уже простой факт, что избирательный округ, который *двадцать лет подряд* всегда избирал своим представителем Ицштейна, теперь, после того как тот достаточно часто действовал согласно своим убеждениям, вдруг провалил его и избрал депутата из правящей партии, уже одно это вполне доказывает несвободу этого избрания. Тем отраднее было удовлетворение, данное палатой Ицштейну [184]. С радостью слушают в палате ветеранов немецкой свободной мысли, Ицштейна и Велькера, как и более молодое поколение, Риндешвендера и т. д., выступающих в давно знакомой манере. Избрание депутата Мати, несмотря на все враждебное к нему отношение, производит тем более благоприятное впечатление, что он вообще первый журналист в Германии, который заседает в палате.

Написано Ф. Энгельсом 21 июня 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 176, 25 июня 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

СВОБОДОМЫСЛИЕ «SPENERSCHE ZEITUNG»

Берлин, 22 июня. Недавно «Spenersche Zeitung» * сама, — поскольку никто другой не собирался этого делать, — вознесла себе хвалу, которую она, по ее собственному мнению, заслужила [185]. «Взгляд назад», сделанный ею на свою деятельность за последние полгода, оказался достаточным, чтобы она пришла к важнейшему открытию: это именно *она,* «Spenersche Zeitung», проложила дорогу движению за свободу печати. Забавно видеть, как эта газета с торжественной миной раздутого собственного достоинства выступает в тщательно вычищенном праздничном сюртуке перед своей публикой и перед газетами, выходящими за пределами Пруссии, напяливая себе на голову гражданский венок свободомыслия. «Spenersche Zeitung» утверждает, что если бы не она или, вернее, не автор, подписывающийся звездочкой, который защищает упомянутый предмет, одним словом, если бы не этот автор, ни одна прусская газета до сегодняшнего дня не достигла бы современного уровня свободомыслия. А именно, как только появился цензурный циркуляр [186], упомянутый автор якобы попробовал, как далеко можно зайти в оппозиционных проделках. Он тихо постучал, и гляди-ка! Ему открыли. Это было естественно, потому что такие тихие, покорные, благонамеренные, смиренные и кроткие статьи могли бы в конечном счете пройти и раньше. Ведь он должен был считать своего цензора способным хотя бы к тому, чтобы отличить домашнее животное от хищника. Но боже упаси! Изолированность филистерства настолько велика, что в своей

* Имеется в виду газета «Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen». *Ред.*

ограниченности оно почитает самую тривиальную, пришедшую ему в голову мысль оригинальной, гениальной и единственной в своем роде. Появился цензурный циркуляр; теперь каждый писатель должен тут же изменить свою манеру письма и высказываться свободней. Однако наш человек, скрывшийся под звездочкой, воображает себя единственным человеком в мире, чей разум способен к такой комбинации, и хочет ткнуть носом всех других журналистов в тот факт, что отныне они могут писать свободнее. Мало того, он считает себя свободомыслящим. У него есть некоторая склонность к гласности. Быть может, в самом сокровенном, запертом на замок уголке своего сердца он лелеет робкую мысль о совершенствовании сословных отношений. — Что же он делает? Он пишет целый ряд статей, которые составляют полную шкалу свободомыслия. Сегодня публикуется самая кроткая статья, завтра на $^{1}/_{2}$ грана менее кроткая и т. д. В конечном счете автор останавливается на той ступени, где кротость и так называемое свободомыслие взаимно уравновешивают друг друга. И это наш человек под звездочкой называет «прокладывать путь»?! Остальные прусские редакции тоже не почтут за труд прочесть «Spenersche Zeitung», чтобы научиться у нее, что такое свобода мысли! Комично, что при всем при том наш политик не может понять, почему он не вызвал своими статьями той огромной сенсации, которую вызывают статьи некоторых других газет, почему он, знаменосец прусской свободной мысли, великий пионер, высмеян во всех газетах, выпускаемых за пределами Пруссии, и должен утешаться тем, что его неправильно поняли.

Написано Ф. Энгельсом 22 июня 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 177, 26 июня 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

ПРЕКРАЩЕНИЕ «CRIMINALISTISCHE ZEITUNG»

Берлин, 25 июня. Здешняя «Criminalistische Zeitung» с 1 июля «временно прекращает выходить». Значит ее тирады против суда присяжных все же не нашли желаемого одобрения у публики. «Criminalistische Zeitung» была газетой «juste-milieu» * в юридической области. Она хотела публичности и гласности, но, боже упаси, — никаких присяжных. К счастью, у нас все более и более убеждаются в половинчатости такой позиции, и число сторонников суда присяжных возрастает с каждым днем. «Criminalistische Zeitung» выдвинула принцип: ни одна отрасль исполнительной власти не должна быть передана непосредственно в руки народа, следовательно, и должность судьи. Это было бы, конечно, совсем не плохо, если бы судебная власть не представляла собой нечто совершенно иное чем исполнительная. Во всех государствах, где разделение властей действительно осуществлено, судебная и исполнительная власть совершенно независимы друг от друга. Так обстоит дело во Франции, Англии и Америке; смешение этих двух властей приводит к самой безнадежной путанице, и конечным результатом подобного смешения было бы объединение в одном лице начальника полиции, следователя и судьи. Однако то, что судебная власть является непосредственной принадлежностью нации, осуществляющей эту власть через своих присяжных, — давно явствует не только из самого принципа, но и из истории. О преимуществах и гарантиях, которые дает суд присяжных, я вовсе не буду

* — «золотой середины». *Ред.*

упоминать — терять здесь хотя бы еще одно слово было бы совершенно излишне. Но на свете существуют закоренелые юристы, буквоеды, девиз которых: fiat justitia, pereat mundus!* Им, конечно, не по душе свободный суд присяжных. Ведь из-за него не только они сами лишились бы судебных должностей, но подверглась бы опасности святая буква закона, мертвое, абстрактное право. А оно ни в коем случае не должно погибнуть, ведь оно — их палладиум. Поэтому-то эти господа и кричат караул, когда во Франции или в Англии присяжные, невзирая на то, что обстоятельства дела подтверждаются свидетелями и признанием подсудимого, оправдывают какого-нибудь несчастного пролетария, который в порыве голодного отчаяния украл на грош хлеба. В таких случаях они торжествующе восклицают: смотрите, вот каковы последствия суда присяжных, — подорвана безопасность собственности и самой жизни, утверждено беззаконие, открыто провозглашаются преступление и революция! — Мы надеемся, что в ближайшее время «Criminalistische Zeitung» не начнет снова «временно» выходить.

Написано Ф. Энгельсом 25 июня 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 181, 30 июня 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

---

* — да свершится правосудие, если даже погибнет мир! *Ред.*

К КРИТИКЕ ПРУССКИХ ЗАКОНОВ О ПЕЧАТИ [187]

Берлин, июнь. Перед жителем Пруссии открыты два пути для опубликования своих мыслей. Он может обнародовать их в самой Пруссии, но тогда он должен подвергнуться местной цензуре; или же, в случае запрета со стороны последней, он всегда имеет возможность напечатать их за пределами Пруссии, подчинившись цензуре другого государства Германского союза [77] либо воспользовавшись свободой печати за границей. Во всех случаях за государством остается право принимать репрессивные меры против возможных нарушений закона. В первом случае меры подобного рода, естественно, будут применяться лишь крайне редко, так как цензура обычно вычеркивает скорее много, чем мало, и лишь в самых редких случаях может пропустить *наказуемую* вещь. В отношении же сочинений, издаваемых в условиях заграничного законодательства о печати, могут гораздо быстрее и чаще применяться конфискация книги и судебное преследование автора. Поэтому, чтобы дать полное представление об общем состоянии прусского законодательства о печати, очень важно не упускать из виду и репрессивные меры, предусматриваемые им.

Так как до сих пор еще не существует особого репрессивного законодательства о печати, то относящиеся сюда законы приходится искать в прусском праве [188], где они рассеяны по различным разделам. Мы можем пока оставить в стороне законы, карающие за оскорбление, безнравственность и т. д., так как у нас речь ведь идет главным образом лишь о политических преступлениях, и здесь мы находим соответствующие положения под рубриками: государственная измена, дерзкое,

непочтительное осуждение или высмеивание законов страны и оскорбление величества. Как вскоре выяснится, законы эти сформулированы, между тем, столь неопределенно и подвержены, особенно по отношению к печати, столь широким и безусловно произвольным толкованиям, что для суждения о них существенное значение должна иметь лишь судебная практика. Ибо если верно предположение, что дух всякого законодательства воплощен в судейских чиновниках, то установившееся у них толкование отдельных постановлений должно стать существенным дополнительным моментом этого законодательства, как и в действительности в сомнительных случаях существующая до сих пор практика оказывает значительное влияние на судебное решение.

Пишущий эти строки в данном случае имеет возможность дополнить свое суждение относительно прусских законов о печати имеющимся в его распоряжении подробно мотивированным решением одного прусского судебного учреждения. Автор * одного напечатанного за пределами Пруссии сочинения о внутренних делах этой страны [189] был привлечен к суду по обвинению во всех вышеперечисленных преступлениях. Хотя по обвинению в государственной измене он был совершенно оправдан, зато он был признан виновным в дерзком и непочтительном осуждении и высмеивании законов страны и в оскорблении величества.

Прусское уголовное право в § 92 следующим образом определяет преступление, квалифицируемое как государственная измена:

> «Государственной изменой называются действия, имеющие своей целью насильственное ниспровержение государственного строя или же покушение на жизнь или свободу главы государства» [190].

Можно предположить, что при нынешних условиях это законодательное определение будет всеми признано достаточным. Но так как трудно ожидать, чтобы подобного рода действия совершались при посредстве печати и людьми, которые находятся в пределах досягаемости нашей юстиции, то этот пункт можно считать малозначительным для печати. Ясное слово «насильственный» достаточно ограждает от произвола или от предвзятого решения судьи. Напротив, важнейшее значение для печати имеет другой пункт, именно тот, который трактует о недозволенном обсуждении законов страны. Определения закона по данному вопросу таковы (Уголовное право, § 151):

* — И. Якоби. *Ред.*

«Кто дерзким, непочтительным осуждением или высмеиванием законов страны и правительственных постановлений вызовет недовольство, тот подлежит тюремному заключению или заключению в крепости на срок от 6 месяцев до 2 лет» [191].

Сюда же относится указ от 18 октября 1819 г., где в параграфе XVI, № 2, говорится:

«что при наличии дерзкого, непочтительного осуждения и высмеивания законов страны и правительственных постановлений вышеуказанное наказание налагается не только в зависимости от того, вызвали ли эти действия неудовольствие и неудовлетворенность, а за сами подобные подлежащие наказанию высказывания» [192].

По сразу же бросается в глаза, насколько неопределенны и неудовлетворительны эти законодательные постановления. Что означают слова *дерзкий* и *непочтительный?* Очевидно, в соответствующем параграфе Уголовного права является излишней или первая часть его или вторая. Дерзкое осуждение или высмеивание законов страны признаются как бы синонимами подстрекательства к недовольству, а указ от 18 октября 1819 г. прямо говорит о совпадении этих понятий. Поэтому статью закона следовало бы понимать так: кто провинился в дерзком, непочтительном осуждении или высмеивании законов страны и правительственных постановлений, тот пытался возбудить недовольство и неудовлетворенность ими и потому подлежит указанному наказанию.

Лишь теперь мы можем ясно понять сущность закона. Сопоставление понятий *дерзкий* и *непочтительный* является ошибкой законодателя, которая может повлечь за собой серьезнейшие недоразумения. Можно быть непочтительным, не будучи дерзким. Непочтительность — это некоторый промах, недостаток внимательности, результат торопливости, что может случиться с самым хорошим человеком; дерзость же предполагает animus injuriandi, злой умысел. А тут еще и высмеивание! Какая дистанция от «непочтительности» до «высмеивания»! И тем не менее и за то, и за другое полагается *одинаковое* наказание. Эти два понятия отличаются друг от друга не просто *количественно*. Это не просто различные степени одной и той же вещи, — они отличаются качественно, по существу, они прямо-таки несоизмеримы между собой. Если мне навстречу идет человек, которому я чем-либо обязан, если я замечаю его и уклоняюсь от встречи с ним, чтобы не поклониться ему, то это *непочтительно;* если я нагло смотрю ему в лицо, нахлобучиваю шляпу на лоб и, проходя мимо, толкаю его локтем в бок — это будет *дерзко;* но если я на его глазах показываю ему нос и строю гримасы — это *высмеивание;* некоторые люди даже считают уже непочтительным, если их не замечают. Можно ли

такие различные вещи объединять в *одном* законе, свалив их в *одну* кучу? Во всяком случае слово «непочтительный» здесь следует вычеркнуть, и если его нельзя устранить совсем, то надо отвести для него какой-нибудь особый параграф. Ведь «непочтительное» порицание никогда не может иметь своей *целью* разжигание неудовлетворенности и недовольства, ибо непочтительность бывает всегда *без умысла, невольной* или во всяком случае без *злого* умысла. Следовательно, если слово «непочтительный» оставить в этом месте, то тем самым выражается мысль, будто решительно всякое осуждение государственного порядка имеет целью вызвать недовольство и потому наказуемо. Но такое толкование находилось бы в полном противоречии с нашими теперешними цензурными условиями. Словом, вся путаница происходит оттого, что из цензурной инструкции, где слово «непочтительный» уместно, оно перенесено в *закон*. В случаях, относящихся к ве́дению цензуры, можно предоставить на усмотрение цензора как полицейского чиновника, — пока цензура вообще остается полицейской мерой, — признавать что-либо «непочтительным» или «благонамеренным»; цензура — исключение, и точные постановления здесь будут всегда невозможны. Но в уголовном кодексе нет места такому неопределенному понятию, такому простору для субъективного произвола, и особенно нет места ему там, где *должно* выступить на сцену различие политических воззрений и где судьи являются не присяжными, а государственными чиновниками. Что эта критика закона верна, а упрек в смешении понятий обоснован, можно лучше всего доказать на примерах практики судебных учреждений. Приведу упомянутое выше, подписанное 5-го апреля этого года и уже опубликованное решение суда.

Автор * упомянутого сочинения дает в нем описание цензурных условий, кстати сказать, существовавших в Пруссии к концу 1840 г., из которого ему инкриминируются следующие места:

«Как известно, у нас не может появиться без ведома цензуры ни самая маленькая газетная статья, ни сочинение свыше 20 печатных листов; если в сочинении трактуется тема политического характера, то просмотр его является большей частью делом полицейского агента, который, при неопределенных формулировках цензурного регламента (от 18 октября 1819 г.), должен считаться лишь с особыми инструкциями министра. Будучи всецело зависимым от министра и ответственным только перед ним, этот цензор вынужден вычеркивать все, что не соответствует индивидуальным взглядам и намерениям его начальников. Если автор подаст на него жалобу, то, как правило, получит отказ, а если и добьется удовлетворения, то с таким запозданием, что ответ не имеет уже для него никакого значения.

* — И. Якоби. *Ред.*

Иначе как было бы возможно, чтобы после 1804 г., когда было выражено одобрение благопристойной гласности, ни в одной прусской газете, ни в одной изданной здесь книге нельзя было найти ни малейшего порицания, касающегося образа действий даже самого мелкого чиновника; как было бы возможно, чтобы для опубликования любого сочинения, содержащего даже отдаленный намек на вопросы общественного характера (разумеется, никто не отнесет сюда рубрику «Внутренняя жизнь» в «Staats-Zeitung» *), нужно было сначала бежать за пределы Пруссии!

Но и здесь нет спасения от того пагубного чиновничьего самовластья, которое Фридрих-Вильгельм III правильно охарактеризовал как неизбежное следствие гонения на гласность; для того чтобы в Пруссию не проникали появляющиеся в заграничных газетах неблагоприятные сведения о действиях чиновников или же сколько-нибудь свободное освещение наших порядков, либо налагают запрет на подобные газеты, либо — с помощью хорошо известных средств — делают более податливыми их редакции. Мы, — к сожалению! — не преувеличиваем. Французские газеты, правда, разрешены, но большинство из них нельзя пересылать в Пруссию бандеролью, так что пересылка по почте *одного* экземпляра такой газеты стоила бы свыше 400 талеров в год; соблюдена лишь видимость, а на деле подобное разрешение равносильно запрету. Иначе поступают с *немецкими* газетами. Если их редакторы, пренебрегая даже своими *собственными* интересами, вполне очевидными для них, не проявляют осторожности, если они помещают неугодную Берлину статью о Пруссии или о прусских чиновниках, то на них сыплются со стороны прусского правительства (тому, кто сомневается в этом, мы готовы представить документальные данные) упреки и жалобы, от них с угрозой требуют указания имен их корреспондентов и лишь на унизительных условиях дают этим редакторам доступ к доходному прусскому рынку» [193].

Нарисовав эту картину, обвиняемый замечает, что такая цензурная практика превращается в тягостную опеку, в подлинное угнетение общественного мнения и приводит в конце концов к самовластию чиновников, крайне пагубному и одинаково опасному как для народа, так и для короля.

Какое же впечатление производит эта выдержка? Разве написанное в таком тоне сочинение теперь не было бы разрешено прусской цензурой? Разве мы не найдем во всех прусских газетах точно такое же суждение о тогдашнем состоянии цензуры? Разве не высказывались уже гораздо более резкие вещи о *существующих еще теперь* учреждениях? И что же говорит наше судебное решение?

«Подданный не вправе высказываться подобным образом о законах и правительственных постановлениях; утверждения, будто для опубликования любого сочинения, содержащего даже отдаленный намек, затрагивающий общественные вопросы, нужно бежать за пределы Пруссии, и будто цензура, в том виде, в каком она осуществляется в Пруссии, становится какой-то тягостной опекой и превращается в подлинное угнетение общественного мнения, являются на деле и на словах *дерзким осуждением* и нарушают должную почтительность к государству. Утверждение же,

* — «Allgemeine Preußische Staats-Zeitung». *Ред.*

будто этим создается крайне пагубное, одинаково опасное как для народа, так и для короля самовластье чиновников, явно свидетельствует о тенденции вызвать недовольство и неудовлетворенность учреждениями, получившими такую оценку. Обвиняемый пытался во время настоящего следствия доказать, что его суждение о цензурном ведомстве основано на фактах, и с этой целью им были приведены несколько таких случаев, когда цензурой было отказано в разрешении печатать статьи публицистического характера. Он также сослался на имевшую место переписку между тайным советником Зейфертом и редактором «Leipziger Allgemeine Zeitung» в доказательство того, что эта газета в действительности будто бы находится под влиянием прусского правительства.

Между тем эти доводы, очевидно, не имеют значения, ибо, — не говоря уже о том, что единичные примеры полезности или бесполезности какого-либо государственного установления вообще ничего не доказывают, — если даже предположить правильность высказанного обвиняемым суждения, то форма, в которой оно было высказано, заставляет все же оставить в силе упрек в дерзости и непочтительности. Автор высказывает свой взгляд не в тоне спокойного обсуждения, а выносит порицание в таких выражениях, что, будь они направлены против определенных лиц, их пришлось бы, несомненно, рассматривать как оскорбление»[194].

Далее мы читаем:

«Обвиняемый говорит о муниципальном законодательстве следующее: «Прежде всего следует, конечно, отличать Городовое положение 1808 г. от пересмотренного Положения 1831 года. Первое носит либеральный характер того времени и считается с самостоятельностью граждан; второе же повсеместно является предметом покровительства теперешнего правительства и настойчиво рекомендуется городам». Заключающееся в этих словах противопоставление выражений — либеральный характер того времени и теперешнее правительство — содержит в себе дерзкое порицающее утверждение, будто теперешнее правительство не только нелиберально, но что оно вообще не считается с самостоятельностью граждан (??). Но неблагонамеренность обвиняемого и предосудительная тенденция его сочинения проявляются особенно ярко на примерах, которые он приводит с целью подтверждения данной им параллели и в которых он излагает или неверно или в неполном и искаженном виде приведенные им пункты обоих Городовых положений»[195].

Я тем более могу не приводить следующих за этим и не относящихся к делу выдержек, что, если даже и признать неверность и неполноту изложения у обвиняемого, отсюда далеко еще не следует его «неблагонамеренность и предосудительная тенденция». Ограничусь только заключительной частью:

«Если принять во внимание, что сословные собрания совершенно лишены гласности, что этим вызвано явное равнодушие образованных классов как к выборам, так и к другим проявлениям общественной жизни, что, наконец, дважды, в 1826 и 1833 гг., подобное муниципальное устройство было отвергнуто либеральными рейнско-прусскими сословиями, то будет, пожалуй, довольно трудно признать *столь прославленное* прусское Городовое положение выражением самостоятельного народного самосознания в противовес министерскому произволу, а тем более заменой конституционного представительства»[196].

По поводу этих слов решение суда отмечает:

«И это место содержит явно насмешливое порицание и равным образом выдает намерение вызвать неудовлетворенность и недовольство. Кто действительно думает о том, чтобы быть полезным отечеству, тот не будет стараться доказывать, будто прежде проводилась политика, более соответствующая благу народа, от которой теперь все более и более отказываются, подмевяя ее тенденцией, вредной для всеобщего благополучия. Подобного сопоставления прежнего, якобы лучшего состояния с теперешним совершенно не нужно, чтобы вскрыть мнимые недостатки существующего строя; поэтому оно не может иметь никакой иной цели, кроме желания вызвать впечатление, будто теперь о национальном благе заботятся меньше, чем прежде, и возбудить таким образом недовольство и неудовлетворенность» [197].

Но довольно выдержек, которых я, впрочем, мог бы привести в десять раз больше! То, что было высказано выше по поводу законодательства, более чем достаточно подтверждается на практике. Определение понятия непочтительности, относящееся к ве́дению полиции, цензуры, обнаруживает здесь свое вредное действие. В результате перенесения этого понятия на почву закона оно ставится в зависимость от более мягкой или более суровой цензуры. Если цензура прямо свирепствует, как в 1840 г., то малейшее осуждение оказывается уже непочтительным. Если же она мягка и гуманна, как теперь, то даже то, что считалось тогда дерзким, признается в настоящее время едва лишь непочтительным. Отсюда то противоречие, что в «Rheinische Zeitung» и в «Königsberger Zeitung» * печатаются с разрешения прусской цензуры такие вещи, которые в 1840 г. не только не разрешались, но были даже наказуемы. *Цензура* по своей природе должна быть колеблющейся; *закон* же, пока он не отменен, должен оставаться незыблемым; он не должен зависеть от колебаний полицейской практики.

И в заключение — «возбуждение недовольства и неудовлетворенности!» — Но в этом-то и состоит цель всякой оппозиции. Когда я порицаю данное законодательное постановление, то я, разумеется, имею намерение вызвать этим недовольство, и не только в народе, но даже, по возможности, в правительстве. Как можно вообще порицать что-нибудь, не имея намерения убедить других, выражаясь мягко, в несовершенстве порицаемого, а значит, не намереваясь вызвать этим у них неудовлетворенность? Как могу я и порицать и хвалить, как могу я считать что-нибудь одновременно и хорошим и плохим? Это просто невозможно. Я также достаточно честен, чтобы напрямик заявить о своем намерении вызвать этой статьей неудовлетворен-

* — «Königlich-Preußische Staats- Kriegs- und Friedens-Zeitung». *Ред.*

ность и недовольство § 151 прусского Уголовного права, и при этом все же убежден, что порицаю этот параграф не «дерзко и непочтительно», как говорится в самом этом параграфе, а «пристойно и благонамеренно», как выражается цензурный циркуляр[186]. Ведь цензурный циркуляр санкционировал это право вызывать неудовлетворенность, и, к славе прусского народа, с тех пор уже сделано все возможное, чтобы пробудить недовольство и неудовлетворенность. Благодаря этому фактически отменена эта часть § 151 и значительно ограничена наказуемость «непочтительного порицания». Это свидетельствует в достаточной мере о том, что разбираемый параграф представляет собой смесь и нагромождение разнородных законодательных и полицейско-цензурных постановлений.

Это очень просто объясняется также временем, когда было собрано воедино прусское право, конфликтом между свободомыслящим просвещением той эпохи и тогдашним прусским ancien régime *. Недовольство правительством, государственными учреждениями рассматривалось тогда почти как государственная измена и, во всяком случае, как преступление, которое давало повод к весьма основательному судебному следствию и суровому приговору.

Оскорбление величества нас мало интересует. Прусские публицисты проявили до сих пор достаточно такта, чтобы не затрагивать особы короля. Это является предвосхищением конституционного принципа неприкосновенности королевской особы, и это можно только одобрить.

Вместе с тем следует настоятельно рекомендовать вниманию комиссии по пересмотру законов рассмотренный здесь параграф; мы же будем по-прежнему возбуждать вышеуказанным подобающим, благонамеренным и пристойным образом достаточно недовольства и неудовлетворенности всеми нелиберальными пережитками наших государственных учреждений.

Написано Ф. Энгельсом в июне 1842 г.

Напечатано без подписи в приложении к «Rheinische Zeitung» № 195, 14 июля 1842 г.

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

---

* — старым порядком. *Ред.*

БИБЛИИ ЧУДЕСНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДЕРЗКОГО ПОКУШЕНИЯ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ВЕРЫ,

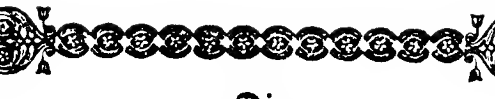
СИРЕЧЬ УЖАСНАЯ, НО ПРАВДИВАЯ И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ ЛИЦЕНЦИАТЕ БРУНО БАУЭРЕ, ИЖЕ, ДИАВОЛОМ СОБЛАЗНЕННЫЙ, ОТ ЧИСТОЙ ВЕРЫ ОТПАВШИЙ, КНЯЗЕМ ТЬМЫ СТАВШИЙ, НАКОНЕЦ, БЫЛ УВОЛЕН В ОТСТАВКУ

Христианская героическая поэма
в четырех песнях [198]

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Чтоб ты могла воспеть достойно славу веры,
Лети, моя душа, в пределы горней сферы!
Но в силах ли сама ты совершить полет
Без помощи того, кто крыльям мощь дает?
Молитесь за меня, о верующих рати,
Да возгремит мой стих под сенью благодати!
Лев * с Заальских берегов, с рычанием воспрянь,
О *Хенгстенберг,* простри победоносно длань!
Ученый *Зак*, тебе послушны лиры струны:
Великий маг, свои мне одолжи перуны!
Служитель ревностный небесного отца,
Круммахер, научи глаголом жечь сердца!
Огнем своих стихов, превозносящих веру,
Кнапп, дай мне осветить греховную пещеру!
И ты, насмешников крестом разивший в грудь,
Меня сопровождать, о *Клопшток*, не забудь!
Чем был бы без тебя, о богослов *Иоанн,* я?
Благослови мое великое дерзанье.
О царь *Давид* и ты, *Иезекиил* пророк,
Я с вами сокрушу неверия порок.
Чтоб до конца довел я песнь во славу божью,
Вы, верой мощные, молитвенно к подножью
Престола вышнего свой обратите лик:
Тогда не страшен мне хулы безбожный крик! —

* — Генрих Лео. *Ред.*



Die

frech bedräute,
jedoch wunderbar befreite

Bibel.

Oder:

Der Triumph des Glaubens.

Das ist:

Schreckliche,
jedoch wahrhafte und erkleckliche

Historia

von dem weiland Licentiaten

Bruno Bauer;

wie selbiger

vom Teufel verführet,
vom reinen Glauben abgefallen,
Oberteufel geworden

und endlich

kräftiglich entsetzet ist.

Christliches Heldengedicht

in vier Gesängen.

Neumünster bei Zürich
Druckts und verlegts Joh. Fr. Heß
1842.

Обложка брошюры
«Библии чудесное избавление»

Что смолк блаженный хор и не слышна осанна?
И песни ангельской почто иссякла манна?
Ужель на небеса проник лукавый дух
И от его очей свет радости потух?
В пределах, где царят блаженство и отрада,
Кто поднял плач и стон? О чем иеремиада?
То души праведных подняли голоса,
Стенанием они смущают небеса:
«Услышь, господь, услышь! Внемли моленью верных,
Не дай погибнуть им в страданиях безмерных!
Терпенью твоему когда конец придет,
Когда ты казнь пошлешь на богохульный род?
Доколе процветать ты дашь в земной юдоли
Безбожным наглецам? Скажи, господь, доколе
Философ будет мнить, что «я» его есть «я»,
А не от твоего зависит бытия?
Все громче и наглей неверующих речи...
Приблизь же день суда над скверной человечьей».
Господь на то в ответ: «Не пробил час для труб,
Еще не так смердит от разложенья труп.
К тому ж и воинство мое — от вас не скрою —
Не подготовлено к решительному бою.
Богоискателями полон град Берлин,
Но гордый ум для них верховный господин;
Меня хотят постичь при помощи понятий,
Чтоб выйти я не мог из их стальных объятий.
И *Бруно Бауэр* сам — в душе мне верный раб —
Все размышляет: плоть послушна, дух же слаб.
Но уж недолго ждать. Он сбросит мыслей сети,
И сатана его не сможет одолети;
Взыскующий меня, в конце концов, найдет:
Он дух свой вызволит из гибельных тенет
Гордыни мышленья, что душу раздвояет,
И в ликовании душа его взыграет.
Для философии вот будет-то подвох,
Когда уверует он в то, что бог есть бог».
И души праведных тогда возликовали
И славить господа согласным хором стали:
«Достоин славы ты, владыка вышних сил,
Который шар земной и небо сотворил.
Уж близок день: твой гнев накажет нечестивых,
И возвеличишь ты рабов своих радивых».
Господь же продолжал: «Да, Бауэр избран мной,
Чтоб верующих стан вести в последний бой.

Когда на грешный мир прольются чаши гнева,
Разверзнется земля и выкинет из зева
Поток огня, когда кровавые бичи
Хлестнут морскую гладь и туча саранчи
Покроет небосвод, и содрогнутся горы,
И звери в ужасе свои покинут норы, —
Тогда со знаменем: «за веру и престол»
Он в битву полетит, как молодой орел».
И души праведных сильней возликовали
И славить господа согласным хором стали:
«Ты, господи, велик, и ты непобедим.
Пусть жертвенный к нему вовек струится дым».
Еще не отзвучал псалом их величавый,
Как появился вдруг шумя, смердя — лукавый.
Нечистым пламенем горел свирепый лик,
И крови праведных алкал его язык.
Он быстро подошел к господнему престолу
И, наглые глаза не опуская долу,
Вскричал кощунственно: «Доколь ты будешь ждать,
Меня к бездействию доколе принуждать?
Боишься, верно, ты, что в день, когда сраженье
Между тобой и мной за власть произойдет,
Я нанесу вам пораженье
И захвачу твой небосвод.
А если ты не трус, готовься к бою,
Вели архангелу трубить.
Я войско дикое мое в ряды построю:
Мы жаждем встретиться с тобою
И ангелов твоих сразить».
Господь: «Терпение! Уж близок, близок час,
Когда узнаешь ты, кто всемогущ из нас.
Взгляни на землю вниз: там множатся знаменья,
Ввергающие мир в великое смятенье:
Поджоги, мятежи и за войной война;
Закон в забвении, а вера предана;
Хулители цветут, а праведники в горе...
Но — погоди! — в сто раз ужасней будет вскоре.
Я верного слугу теперь себе избрал,
Чтобы он грешникам о царствии вещал.
Осмеян ими будет он как потерявший разум;
Мне это наруку, чтоб все покончить разом.
Еще не пробил час. Но если все пойдет
И впредь, как шло досель, — то скоро час пробьет».

«Кто ж избран? Имя чье у вас отныне свято?»
«Я *Бауэра* избрал». —
«Какого? Лиценцьята?»
«Да именно его». —
«Ну, он не так уж прост:
Его не радуют ни пение, ни пост,
Он просит у тебя сокровищ чрезвычайных,
Чтоб умозрительно их постигать в тиши;
А в догматах, в их выспреннейших тайнах
Не обретает он покоя для души».
Господь: «Пускай теперь со странностями он, —
В его мозгу, поверь, все скоро прояснится;
Пускай он в дерзкие раздумья погружен, —
Ты в том уверен будь: рассудка он лишится».
Лукавый: «Я берусь отбить его у вас
И вставлю в мой венец чудесный сей алмаз.
Ведь *Гегель* в нем засел гвоздем, как говорится;
Уж я за этот гвоздь сумею ухватиться».
Господь: «Я отдаю его тебе во власть,
За праведной его душой ступай! Не мешкай!
Заставь его с собой в твой черный ад упасть
И оглуши его злорадною насмешкой.
Но чтó как доказать сумеет он, что тот,
Кто верует в меня, путь не теряет правый,
Куда б ни завели его огни болот?»
«Я вызов принял твой! — ответствовал лукавый, —
От *Бруно Бауэра* не жди для неба славы!»
Сказал и бурею понесся в черный ад,
Оставив за собой невыносимый смрад.
Пока бесчинствовал на небе враг господний,
Волненье вспыхнуло внезапно в преисподней;
Мятежным пламенем охвачена она;
Несутся возгласы: «Явись к нам, сатана!»
Толпу мятежников сам *Гегель* возглавляет,
Вольтер над головой дубиной потрясает,
Дантон безумствует, и *Эдельман* орет,
Наполеон, как встарь, командует: «Вперед!»
Орда проносится средь огненного чада,
Свирепо требуя к себе владыку ада.
И вот стремительно свергается с небес
В владенья мрачные свои лукавый бес.
«О чем, — кричит он, — шум? Чтó разыгрались страсти?
Иль вы из-под моей хотите выйти власти?
Вам не достаточно ли пекло я топил,

Вас кровью праведных не досыта ль поил?»
«Молчи, — кричит *Вольтер,* трясясь от возмущенья, —
Бездельник! Для того ль я насаждал сомненье,
Чтоб умозрительный везде повис туман
И философия прослыла за обман?
Чтоб даже Франция глумилась надо мною?
Все это терпишь ты? Стыдись! Будь сатаною!»
«К чему, — кричит *Дантон,* — богослужебный чин
Я создал разуму и сотням гильотин
Работу задавал, коль вновь стоят над миром
Бездарнейшая знать с прожженным вкупе клиром?»
Тут *Гегель,* чей язык со зла прилип к гортани,
Вдруг словеса обрел, потребные для брани.
«Я жизнь свою науке посвятил,
Учил безбожью, не жалея сил,
Возвел самосознанье на престол я,
На божество успешно штурм повел я.
Но мне стать жертвою невежд пришлось,
Меня истолковали вкривь и вкось;
И, наложив на умозренье цепи,
Рождали чушь, одну другой нелепей.
Но вот явился *Штраус.* Когда ж, смельчак,
Меня постичь сумел он кое-как,
Ему тотчас влиятельные лица
Из Цюриха велели удалиться [150].
Какой позор! Революционный нож
Я мудро изобрел — и что ж?
Нигде, нигде пристанища нет ныне
Поборнице свободы, гильотине!
Итак, я жил и мыслил столько лет
Напрасно, сатана? Держи ответ!
Когда ж придет за нас могучий мститель,
Отродья набожного истребитель?» —
Все это выслушав с улыбкою слащавой,
«Да перестань скулить, — сказал в ответ лукавый, —
Вам, верные рабы, несу благую весть:
Я мстителя нашел. Да, мститель этот есть».
«Так кто же это, кто?» — кричат все в нетерпеньи.
«То — *Бруно Бауэр*». Смех и крики возмущенья
Послышались в ответ; как разъяренный лев,
Тут *Гегель* зарычал, свой изливая гнев:
«Ну и выбрал же! Над нами ты глумишься, окаянный.
Бауэр подчиняет разум трибуналу веры чванной
И велит идти науке к ней с молитвой покаянной!»

Лукавый отвечал: «Ты слеп, мудрец чудесный.
Мой *Бауэр* не таков, чтоб пищею небесной
Духовный голод свой он утолить сумел:
Доходит до всего, кто мужествен и смел.
Пусть надевает он смирения личину!
Поверь, недолго ждать: ее с него я скину».
И молвил *Гегель:* «Бес, смиряюсь пред тобой!»
Ликуя, вся орда, подняв ужасный вой,
Владыку довела до адовой границы,
И воспарил он ввысь, подобно черной птице.
В ученой келии, где дух царит угрюмый,
Наш *Бауэр* мыслит вслух, упорной занят думой.
Он в Пятикнижие вперил свой острый взор,
А сзади дергает лукавый за вихор:
«Кто, Моисей иль нет, создатель книги этой?
О философия, темны твои ответы.
Я феноменологию познал до дна,
И мне эстетика во всем ясна;
Я в тайны логики умом проник
И метафизику постиг,
И даже богословием — увы! —
Я овладел усильем головы.
Я ныне доктор, лиценцьят,
Веду коллегий целый ряд;
Я умозреньем веру в бога сил
С понятьем абсолюта примирил;
Я с остротой необычайной
Разделался со всякой тайной;
Я понял догмы искупленья,
Творенья и грехопаденья,
И даже догмат о зачатье
Пречистой девы смог понять я.
Но — ах! — весь этот хлам не в силах мне помочь
Вкруг Пятикнижия рассеять тайны ночь.
Кто несомненное мне даст истолкованье?
Откуда получу насущный хлеб познанья?
Вот книга, полная таинственных речений! —
То рукопись Филиппа... Развернуть
Ее хочу я. Мне она укажет путь
Из лабиринта тягостных сомнений.
Так! С первых же страниц исходит яркий луч,
Журчит навстречу категорий ключ;
Они друг другу золотые ведра,
Без устали передают так весело и бодро.

Здесь шири нет меры.
И дали безбрежны.
Науки и веры
Объятья так нежны!
Природные стихии подо мной.
Какое зрелище! Но — о мученье! —
Над Пятикнижьем все ж туман густой,
Скрывающий его происхожденье.
Филипп, явись же!»
Стена раздвинулась, и призрак в трех венцах
Вдруг встал пред Бауэром, внушая жуткий страх.
«О *Бауэр,* со стези не уклоняйся той,
Что *Гегель* в логике предначертал тебе!
Там, где сияет с абсолютной ясностью
Понятие, рассудком не противься ты,
Зане тот дух является свободою».
«Ответь мне на вопрос, кто автор Пятикнижья?
О, не молчи, — молю, скажи!» «С тобою схож
Лишь дух, который сам ты познаешь,
Не я» *.
— «Не ты? Не уходи, мне путь поведай правый».
Он вскакивает, — глядь, пред ним стоит лукавый.
«Ха-ха, ха-ха, ха-ха! Приятель богослов,
Ты растерялся, друг, и не находишь слов?
Ведь ты не так уж глуп, а понимаешь туго,
Что обречен бродить в пределах злого круга».
Тут *Бауэр* библию хватает с перепугу...
Хохочет бес: «Тебе окажет ли услугу
Сей хлам? Его давно мы вышвырнули вон.
Ужели все еще тебя прельщает он?
Ужели в келии угрюмой на затворе,
Все время занятый добычей категорий,
Стремясь пылающий огонь смешать с водой
И отвратительной питая дух едой, —
Тот дух, который вон из сумрачной темницы,
Оковы разорвав, навек уйти стремится, —
Ужели так тоску свою ты утолишь?
Стыдись! О *Гегеле,* приятель, вспомни лишь.
Учил ли *он* тебя в союз впрягать единый
Со мраком свет, с водой огонь и холм с долиной?
Нет, факты все презрев, традиции рассказам
Он, бога гордый враг, противоставил разум».

* *Гёте.* «Фауст», часть I, сцена первая («Ночь»). *Ред.*

«Твои слова, о бес, звучат мне, как музыка!
Их искушение воистину велико.
Но, бес, я не боюсь их ядовитых жал, —
Уз умозрения и ты не избежал.
Ведь духу моему открыты все явленья;
Ему ли отступить перед тобой в смущеньи?
Я знаю, ты хитер, но твой прием уж стар:
Ты опьяняешь нас вином словесных чар,
Сулишь поднять наш дух над милой плотью мира, —
Потом голодного абстракции вампира
Даешь в владыки нам; и уж не в силах мы
Таить иную мысль, как ту, что мы — есмы.
Мертвящий хлад высот твоих меня пугает,
Где разрушает дух все то, что постигает.
Молоху древнему твой злобный дух под стать:
Все позитивное стремится он пожрать.
Ты видишь, сатана, что ты насквозь мне ясен;
Передо мной своих не расточай же басен.
Вот Пятикнижие: лишь позитивно лик
Его пойму, — и вот: я иудаизм постиг».
Бес издевается: «Ну, не потеха ль, право?
Ты хочешь блеск придать тому, что стало ржаво.
Там, где господний перст усмотрен был во вшах *,
Где храма план чертил господь на небесах **,
Где божий глас везде и в каждое мгновенье
Народу чудился ***, — уместно ль умозренье?
Напрасно мозг трудишь над этой чепухой;
Ты лучше с верою вступи в смертельный бой.
Иди туда, где дух в своей уверен силе,
А не копается, как жалкий червь, в могиле;
Где он себе престол величия воздвиг,
А вера перед ним покорно клонит лик».
«О бес, о чем в тиши я помышлял украдкой,
Ты вслух мне говоришь, вселяя трепет сладкий
И душу веселя предчувствием побед.
Но тайный голос мне нашептывает: «Нет!
Жизнь изжита твоя»».
«Не трать же даром время.
Лишь захоти, — и вмиг спадет неволи бремя».
«С чего же мне начать?» —

* Вторая книга Моисея, гл. 8, 19.
** Пятая книга Моисея, гл. 22, 8.
*** Пятая книга Моисея, гл. 25.

«Не помышляй, что здесь,
В *Берлине* набожном, где восседает спесь,
Ты мог бы воспарить в ликующую сферу
И насмерть поразить бессмысленную веру.
В веселый *Бонн* тебя я увести решил [199],
Где в Рейне смоешь ты всех предрассудков ил.
Там к жизни действенной и радостной воскресни
В союзе с пьяною лозой и пьяной песней.
Там вольно дышится, там все — к победе путь;
Там и твоя, поверь, вздохнет свободно грудь».
«Веди меня, я твой!» —
«Там гордо спорят мненья,
И истина свое там празднует рожденье.
Там на развалинах духовной нищеты
Свободомыслию алтарь воздвигнешь ты!»

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Позор тебе, о *Бонн*, религии твердыне!
Посыпь главу золой, бей в грудь себя отныне!
На кафедру, что бог всевышний возлюбил,
Днесь *Бруно Бауэра* лукавый посадил.
Он брызжет пеною, а за спиной лукавый
Вливает в речь его потоки злой отравы.
Как пес взбесившийся, он в ярости кричит;
Устами Бауэра нечистый говорит:
«Не поддавайтесь же коварным богословам,
Всегда вас обмануть и провести готовым.
Значенье слов простых им любо извращать
И, крадучись, бродить во тьме ночной, как тать.
Между собой они всегда в жестокой драке,
За букву каждую грызутся, как собаки;
Их деятельность — ложь, их проповедь — обман,
Дурной софистикой насыщенный туман.
Как сельской детворе, соскучившейся в школе,
Нет большей радости, чем, убежав, на воле
Затеять шум и гам; напрасно их бранит
Учитель взбешенный и палкой им грозит; —
Так бедный богослов над текстом тщетно бьется;
Разноречивый текст над ним как бы смеется.
Он жмет его в тисках и гнет в бараний рог,
Позабывая то, что только что изрек,
И в исступлении слова ломает диком,
Покуда, наконец, не убегают с криком
Противоречья все. Он им орет вослед:
Куда, куда? Назад! Приличия в вас нет!
Хватает веры жезл и, вне себя от гнева,
Свирепо машет им направо и налево,
И в ведовской котел пихает их назад,

Чтоб бедных удушил невыносимый чад.
Все таковы они. Евангелисты тоже
На невменяемых теологов похожи.
Один евангелист не смог понять никак,
Что сказано другим, и вот он так и сяк
Значенье слов его меняет, извращает,
В противоречиях все глубже утопает;
Но дело сделано: предшественник убит...
Против *Иоанна* же никто не устоит.
Смотрите-ка»... Но тут прорвалось возмущенье:
«Вон богохульника! Он не избегнет мщенья.
Да будет вырезан кощунственный язык.
Отсюда вон его! Ты, господи, велик!»
Но стан другой вскричал: «Да здравствует
глашатай
Свободомыслия и мрака враг заклятый!
Умолкни, род ханжей! Не то, пусть честный бой
Покажет, правда ли силен владыка твой».
«Долой лжеца, долой!» — несутся крики справа.
«Долой ханжей!» — кричит бунтовщиков орава.
«Молчать, безбожники!» — «Закройте, овцы, пасть!
Вам на рога козлам не миновать попасть».
«Владыка наш — Христос». — «Нам Бауэр вождь».
Тут палки
Заговорили вдруг, и все смешалось в свалке.
Кипит жестокий бой, все без толку орут;
Там сломана скамья, пюпитр повержен тут;
Безбожники из них воздвигли баррикады
И мечут в христиан из-за своей засады
Тяжелых библий том за томом и скорей
Спешат их задавить под грудой псалтырей.
Благочестивая вотще штурмует братья,
Отбиты без труда все штурмы без изъятья.
Обильно льется кровь, и в набожных рядах
Немало раненых, поверженных во прах.
Но вот безбожников железные отряды
Со своего пути сметают баррикады
И лбом кидаются на набожную рать;
Она, не выдержав, пускается бежать, —
Толкаясь и спеша, толпится в коридоре
И переводит дух лишь у ворот, где вскоре,
В подмогу присланы от господа, стоят
Отряды педелей, и ректор, и сенат.
Они пытаются словами примиренья

Утишить пыл вражды; но через миг теченье
Их втягивает в свой слепой водоворот,
И с новой яростью сражение ревет.
По мудрым головам запрыгали дубины,
Вновь выпрямляются согнувшиеся спины,
У задранных носов стал сразу скромный вид,
Как туча в воздухе, пыль книжная стоит.
Слетают парики с голов позитивистов...
Все резче и сильней напоры атеистов.
От страха смертного на *Фихте* нет лица:
Дрожит ничтожный сын великого отца.
Как *Брандис* ни бежит, а все-таки от пыли
Систем ему сюртук очистить не забыли.
Увы! Над *Гегелем* победа им не впрок:
Отряды *Гегеля* их стерли в порошок.
Вот, вот их сокрушат удары атеистов,
Чей натиск сделался поистине неистов.
Но нет! На небесах не дремлет божий глаз;
Когда его рабов настигнул смертный час,
Он *Зака* ниспослал с прилизанным пробором
Пролить елей в сердца, смущенные раздором.
Покинул только что он божий вертоград,
Как звезды тихие, глаза его горят,
Его могучий нос — столп безграничной веры,
Точат уста его слова любви без меры,
На богоизбранной ослице он сидит.
(Ослицы этой хвост являет странный вид:
К нему прикреплены слова библейских текстов,
Чтобы врагов пугать и обращать их в бегство.)
В раздумьи опустил он голову на грудь,
Ослице дух святой указывает путь.
Победный клич врага услышав в отдаленьи,
Он хочет дать пути иное направленье,
Но набожная тварь противится, встает
Внезапно на дыбы и всадника несет.
«Что на тебя нашло, любезная ослица?
Откуда ропот твой? Прошу остановиться».
Куда тебе! Она садится крупом в грязь;
Впервые палку он хватает, разъярясь,
И бьет, и бьет, и бьет; животное, не внемля,
Кидает всадника, остервенясь, на землю.
Но тут внезапно бог уста ее открыл
И замыслы свои чудесно возвестил:
«Брось палку! Дух святой мне преградил дорогу!

Идя на бранный клич, я повинуюсь богу.
О доблести своей воспомни и восстань,
В богоугодную отважно кинься брань.
Вещает бог тебе, свои отверзи уши!
Из скотьих уст, о *Зак,* ты весть благую слушай;
Ты *Заком* был досель, отныне *Бейтель* * ты!
Их распрю усмирить ты призван с высоты».
И *Бейтель,* взор горé воздев, сказал: «О, кто же
Твой чудный промысел постигнуть сможет, боже?
Через скотину мне ты посылаешь зов;
Ему послушен, в бой я ринуться готов».
Сказал и поспешил на поле тяжкой брани.
Чрез груды бедных жертв мучительных страданий
Себе он проложил дорогу напролом,
Во славу мира вслух произнося псалом.
Душой смущенные стояли оба стана,
И *Бейтель,* вдохновясь, к ним обратился рьяно:
«Ужели в сих местах, где славословий хор
Когда-то лишь звучал, днесь царствует раздор?
Как смеете вы здесь перед господним ликом
Друг друга колотить в затмении великом?»
Благочестивых стан, смутясь, отходит вспять,
Глядит насмешливо кощунственная рать.
И *Бейтель* продолжал: «Тут рознь и бой кровавый,
А в небесах покой блаженно-величавый.
Там хоры ангелов сидят у ног творца,
Там божий агнец, сын единственный отца,
На землю грешную взирает, сострадая.
А вкруг него звучат святые песни рая.
Я вижу агнца лик как бы в блаженном сне,
Я слышу: он свою вещает волю мне:
— «Вотще я уповал на *Бруно* богослова!
Не с нами ныне он; он жертва духа злого.
Когда-то в келии сидевший, затворясь,
Днесь слово божие он втаптывает в грязь.
Его приспешники мою терзают братью;
Да будет предан он, неверный раб, проклятью!
Се мною избран ты. В широкий мир иди
И верных господу на битву приведи!
Средь шумных городов и среди сел безвестных,
Ослицу оседлав, вещай о муках крестных.
Кольчугу господа на грудь свою надень,

* Игра слов: «Sack» — «мешок», «Beutel» — «мошна». *Ред.*

Зане уж недалек последний битвы день.
Щит веры в длань возьми; он лучшая ограда
От козней дьявола и лютых копий ада.
Ты чресла поясом молитвы препояшь,
На голову свою надень, избранник наш,
Спасенья чудный шлем и меч служенья богу
В ножны терпения вложи. Итак, в дорогу!» —
Господь, я внял призыв и, верный раб, иду
Смести с пути греха безбожную орду».
В храм потекло меж тем собранье рати чистой,
В кабак же, как всегда, удрали атеисты.
Тут набожный пророк ослицу в рысь пустил
И славословить стал владыку вышних сил:
«Творцу хвала, в сердцах людей — благоволенье».
Все слушали окрест святое песнопенье,
А наш блаженный муж все продолжал свой путь;
Ослице ж бог внушал, когда и где свернуть.
В то время в *Лейпциге* сидели тихо рядом
Три мужа, издавна намеченные адом.
То *Руге* за столом неистовый сидит;
Печать тяжелых дум чело его хранит;
Толстяк и, ты б сказал, миролюбивый малый;
Но когти у него острее, чем кинжалы.
С пивным филистером его б сравнить ты мог;
Но свил себе гнездо в груди его порок.
О *Руге*, веселись! Но веселись с опаской,
Великий суд грядет, с тебя сорвет он маску.
Второй, надменный взор вперивший в свой стакан, —
Свирепый *Пруц*, страстей клокочущий вулкан.
Он с человечностью порвал навеки узы;
Все чувства у него и думы все — медузы.
В сердца невинные он, ловкий рифмоплет,
Зерно греховного безбожия кладет.
Так веселись же, *Пруц*, но веселись с опаской:
Великий суд грядет, с тебя сорвет он маску.
И третий, наконец, который крутит ус,
То *Виганд*, выдумок живой, ходячий груз,
Богохулителей издатель постоянный,
Поддержка и оплот всей банды окаянной.
Бородкой *Блюхера* ты не спасешься, брат!
Великий суд грядет, тебя он ввергнет в ад.
Все трое за столом сидят, полны обид;
Вдруг *Виганд*: «Для того ль я деньги, — говорит, —
Просаживал, к тому ль дал капитал немалый,

Чтоб получить запрет на «*Галльские Анналы*»?» *.
«О время мерзкое! — тут *Руге* закричал: —
Чтоб цензор целиком не слопал мой журнал,
Из рукописей треть я выручал насилу:
Все ж сходит мой журнал безвременно в могилу».
На это *Пруц:* «Увы, стихи мои лежат!
Не пропускает их с полгода цензор-кат.
Но нет! Шалите вы! Не уморить вам Пруца;
Есть выход, черт возьми: к эротике вернуться».
«Что ж! — крикнул *Руге* (гнев горел в его глазах), —
Литературный мне дозволен альманах» **;
Теките же в него, о сладенькие песни!
Новелла скучная, коль можешь, в нем воскресни».
«Я ж, — *Виганд* продолжал, — приобрести готов
Роман новейший *Мюгге* из четырех томов [200].
Отныне прилеплюсь душою к беллетристам;
Тех цензоры щадят, те не чета софистам.
Вас, пиво и любовь воспевшие, зову
И грежу лишь о вас во сне и наяву.
Итак, протянем же друг другу руки, братья,
И вместе заключим правительство в объятья».
Внезапно в комнату лукавый дух вошел.
«Эх вы, «Свободные» [201], — вскричал он, дик и зол, —
Что́ с вашим мужеством, что́ с вашим дерзновеньем?
Вас цензор испугал своим постановленьем.
Как стыдно мне теперь, что доверял я вам,
Вам, львиной шкурою прикрывшимся ослам.
Пождите ж! Стоит лишь в аду вам очутиться,
Я там вам заклеймлю предательские лица.
Но нет, я вас, трусы, не допущу в мой ад,
Вас к богу прогоню, в несносный райский сад».
«Да не кричи же зря! — тут *Виганд* вдруг воскликнул; —
Для нас исхода нет! Ты плохо в дело вникнул!»
«Вы глупы, как ослы, — вскричал со злобой бес: —
Из-за деревьев вам, ослы, не виден лес.
Анналы *Галльские* отвергла эта каста?
Перекрестите их в *Немецкие* — и баста [202].
Цензуру буду я отныне выполнять,
Все образуется, прошу лишь не плошать.
Тому, кто с дьяволом на «ты», не подобает
Бежать за три версты, как только пес залает.

* — «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst». *Ред.*
** — «Deutscher Musenalmanach». *Ред.*

Мужайтесь же! Теперь я далее спешу,
А вас за атеизм, как встарь, стоять прошу».
Сказав, исчез. И вдруг предстал,— не ждан, не гадан, —
Брат Бейтель; вкруг него курился росный ладан.
На богоизбранной ослице он сидит.
(И вознесенье он верхом на ней свершит.)
Воздевши к небу взор, горящий дивным жаром,
«Богоотступники! — вскричал он в гневе яром, —
Так говорит господь: вы — дети сатаны,
Вы злобой к праведным сынам моим полны;
В последний раз к вам шлю избранника-пророка,
Чтоб надоумить вас отречься от порока;
Раскайтесь же и ниц падите предо мной,
Пока не полегли под дьявольской пятой.
Так говорит господь: я буду строг к строптивым,
Их насмерть поражу во гневе справедливом
И на съедение отдам моим рабам;
Любезный *Хенгстенберг,* любезный *Бейтель,* — вам!
Могила грешникам да будет в вашем чреве.
Так рек господь». — Сказал и удалился в гневе.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Что вижу? Целый стан, неся зловонье, мчится!
Как только солнца лик от смрада не затмится?
Кто эти воины? Кто нечестивый род
Со всех концов земли в сражение ведет?
Нет, то не воины! То собрались отбросы
Со всей Германии точить крамолы косы.
  Они уж чуяли, что казнь недалека,
Что их господь отверг, что дьявола рука
Над ними поднята, они уже хотели
Богопротивные свои отринуть цели, —
Как вдруг раздался зов: *Арнольда* зычный рог
На дьявольский совет всех в *Бокенгейм* привлек.
««Свободные», доколь сидеть за печкой будем?
Уже романтика растлила душу людям,
Реакция царит, и мерзостный паук
Улавливает в сеть служителей наук.
Над *Бауэром* висит дамоклов меч; в цензуре
Плоды всех ваших дум сметаются, как бурей.
Так вот же вам, друзья, мой краткий манифест
(Коль цензор мне его пропустит, а не съест):
Пора собраться нам, как истым дипломатам,
И средства обсудить борьбы с врагом заклятым;
Свобода! Для властей страшнее слова нет,
И в этом-то словце для них всех зол секрет;
В согласие вошел с жандармом агнец божий
И возлюбил лишь тех, что на скотов похожи.
Итак, «Свободные», вас в *Бокенгейм* зову;
Там новых подвигов откроем мы главу».
  Как только манифест проник во все селенья,
Сердца безбожников объяло вожделенье:
«Скорее в *Бокенгейм!*» — кричат все, как один.

Наглейших выставил, конечно, град *Берлин.*
Кто впереди идет? То *Арнольд Руге* ярый;
За ним свирепые шагают янычары.
Что Якобинский клуб? Собрание детей
В сравненьи с мерзостной, безбожной ратью сей.
Вот *Кёппен* шествует с огромными очками;
Ему б в углу сидеть, но *Руге* злое пламя
В его груди рукой безжалостной вожжег.
Он шпагу ржавую надел на левый бок,
Которая висит, как хвостик у чертенка;
Все время ею он повиливает звонко.
При эполетах он и с рупором в руке,
Чтобы был слышен всем — и тем, кто вдалеке, —
Крик смелой юности, взыскующей познанья.
А вот и *Мейен* вслед! Он обратил вниманье
Европы на себя — надежда вражьих сил,
Он в чреве матери Вольтера изучил.
Мерзавец, он с собой ведет юнцов безусых,
Племянников своих; их развратить во вкусах
Сумел он и теперь со всей своей родней
В гостеприимный ад летит вниз головой.
А тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца
И в чьей груди насквозь проперченное сердце,
Тот длинноногий кто? То *Освальд* * — монтаньяр!
Всегда он и везде непримирим и яр.
Он виртуоз в *одном:* в игре на гильотине,
И лишь к *единственной* привержен каватине,
К той именно, где есть всего один рефрен:
Formez vos bataillons! aux armes, citoyens!**
А тот подле него, похожий на атлета,
Не *Эдгар* ли *Бауэр* с душой кровавой это?
Да, это он! Пушком покрыт злодея лик,
Но, хоть годами юн, коварством он — старик;
Он фраком голубым души не скроет черной;
Снаружи франт, внутри — он санкюлот задорный.
За кровопийцей тень шагает по пятам:
Ей *Радге* *** прозвище, его он дал ей сам.
Вот *Штирнер,* лютый враг стеснительных условий.
Он нынче пиво пьет, а завтра крикнет: Крови!
Лишь взвизгнет кто-нибудь свое: à bas les rois ****,

* — псевдоним Фридриха Энгельса. *Ред.*

** — К оружью, граждане! Сплотитесь в батальоны! (слова из «Марсельезы»). *Ред.*

*** — псевдоним Э. Бауэра. *Ред.*

**** — долой королей! *Ред.*

Уж он тотчас ввернет: à bas aussi les lois! *
Последним тащится — нечесаный, небритый,
Давно не видевший ни мыла, ни корыта,
Собачьей старостью согбенный — *Патриот* **;
По духу — заяц он, по виду — санкюлот.
Так с криком, с топотом несутся атеисты,
Которых ты пожрешь со временем, нечистый.
Всех впереди *Арнольд;* тома своих Аннал
Он к длинному шесту, как знамя, привязал.
Когда же прибыли все к месту назначенья,
Уже был *Бруно* там; в припадке исступленья
Он машет в воздухе листом того труда,
Которым библию сметает навсегда.
Зеленым сюртуком на тощенькой фигуре
Он выдает свое родство с семьею фурий.
Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?
То *Трира* черный сын *** с *неистовой* душой.
Он не идет, — бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.
Сжимая кулаки, силач неутомимый
Все время мечется, как бесом одержимый!
Из *Кёльна Юноша* **** за ним ступает вслед;
Ни в небе, ни в аду такому места нет.
В нем, в этом молодом патриции богатом,
Смешался санкюлот лихой с аристократом!
Путей запутанных душа его полна,
В кармане у него содержит сатана
Рать Золотой Орды. Вслед *Ртг* ***** проклятый
Идет, грозя рукой, в кулак огромный сжатой.
Из уст его столбом восходит вечно дым:
Он страстью к прелести табачной одержим,
И с трубкою своей тогда лишь расстается,
Когда, оскалив рот, над господом смеется.
Но кто сей грозный муж, сей жуткий паладин,
Что с юга на призыв пришел совсем один?
Он сам — что целый стан безбожных и бесстыдных,
Что целый кладезь дум и замыслов ехидных,

---

* — долой также и законы! *Ред.*
** — Имеется в виду Л. Буль. *Ред.*
*** — Карл Маркс. *Ред.*
**** — Имеется в виду Г. Юнг. *Ред.*
***** — А. Рутенберг. *Ред.*

И вечно с подлою хулою на устах;
То *Людвиг* — господи, помилуй! — *Фейербах*.
Бесшумно двигаясь, скользит он над землею,
Как жуткий метеор, что брошен силой злою.
Питанья символ, хлеб, держа в руке одной,
Бокал, наполненный огнем вина, — в другой,
Се восседает он по самый пуп в купели,
Уча, как новый чин осуществлять на деле.
Смысл таинств состоит, по мненью мудреца,
В том, чтоб купаться, жрать и пить, пить без конца.
Его встречает рев приветных восклицаний,
Его ведут в кабак для пьяных возлияний,
И поднимается столь яростный галдеж,
Что в том, что все кричат, двух слов не разберешь.
Шатанье взад, вперед и буря завываний
Не унимаются, и в зале заседаний
Порядок водворить немыслимо никак:
Недаром ведь покой — им ненавистный враг.
Вдруг гнев на *Кёппена,* сидевшего дотоле
В молчании, напал: «В степях я диких, что ли!
Не стыдно ль, варвары, галдеть вам, позабыв
О том, зачем сюда пришли мы на призыв?
О *Арнольд,* друг и вождь, открой скорее пренья,
И нашим силам дай скорее приложенье».
Тут *Освальд* с *Эдгаром* подняли вместе вой:
«Да успокойтесь же! К чему галдеж такой?»
Затихло вскоре все, и *Арнольд,* между делом
Уж три бифштекса в рот впихнувши жестом смелым,
Вскочил на кафедру и, утирая рот,
Окинул взором зал. Потом как заорет:
«Что за чудный синклит вижу вокруг! Други, готовьтесь в бой!
Вас, «Свободные», ждет слава иль смерть за идеал святой;
Пусть реакция нам подло грозит, пусть подымает вой,
Пусть безумствует! Что ж! Ей ли сразить наш неразрывный строй?»
Но *Освальд* с *Эдгаром* прервали красноречье;
Их возглас прозвучал, как рев нечеловечий:
«Прекрасных слов уже довольно ты, *Арнольд,*
Сказал. Мы ныне требуем другого: дела!»
Толпа задвигалась, и «браво» загудело;
Со всех сторон неслось, как эхо: «Дела, дела!»
Но *Руге* крикнул вдруг, с насмешкой на устах:

«Наши дела лишь в словах; так было, и впредь будет долго,
С древа абстракции сам практики плод упадет».
А оба крикуна тем временем, в погоне
За делом, малым хоть, на стуле, как на троне,
Подняли *Бауэра;* и уж толпа кругом,
И Бруно, как орел, парит под потолком.
Смотри, его глаза горят безумным жаром,
Чело помрачено, как тучей, гневом ярым;
Под ним же, слышишь, рев!.. — Но, — глядь, — в углу другом
Из Трира *чудище,* на *Ртг* верхом,
Ревет неистово. Ревут, как звери, оба:
«Знать, баснями кормить ты будешь нас до гроба?!»
Бауэр: «О ослепленный!
Да погляди же!
Воинство набожных
Ближе и ближе!»
Чудище: «Проклятый род
Растет, растет!»
Бауэр: «*Бёйтель,* верхом на скотине,
По весям странствует ныне!»
Чудище: «Как слышно, давно замыслил Иегова
Послать на землю Мессию снова».
Бауэр: «Не один агнец нам
Жизнь нынче отравляет ядом:
Приходится бороться с целым стадом».
Чудище: «Ведь нынче под луной,
Куда ни плюнь, повсюду дух святой».
Оба: «Кроме того, что нас мучает Троица,
Союз полиции и веры не дает успокоиться!»
Чудище: «Не дремлет их воинство!
Где же наше достоинство?»
Бауэр: «Они за оружие,
А мы-то чем хуже, а?»
Уж крикнул тот-другой: «Мы им дадим отпор!»
Но *Фейербах* опять воспламенил раздор.
«Ужели, — крикнул он, — вам пря не надоела?
Коль требует кто дел, пусть примется за дело!
Свободный человек лишь сам себя ведет;
Кому в своих делах давать ему отчет?»
Вдруг *Кёппен* встал: очки двойным сверкнули бликом,
«Свободные» молчат пред олимпийским ликом:
«Почто противишься союзу, *Фейербах?*
Порядок водворит лишь он у нас в рядах;
Поток прогресса вдаль тогда польется ровно

И — что важней всего — мы победим бескровно!»
Тут *Освальд* с *Эдгаром:* «Какой ты атеист? —
Вскричали вне себя: — Ты жалкий жирондист!»
А *Штирнер,* возмутясь: «Насилие над волей!
Нам криком навязать закон желают, что ли?
Вас после этого «Свободными» зови!
Нет! Рабство гнусное сидит у вас в крови!
Долой законы все!» — Тут полное смятенье
Грозило охватить бесовское раденье, —
Как вдруг раздался шум, и через крышу в зал
Бумажный змий влетел; то *Виганд* — о скандал! —
На собственном явился самолете.
«Позорно вы себя, — им крикнул он, — ведете!
Ужель вам мало,
Что на Анналах *
Сумел летать я.
Их сам слепил я,
Их сам скрепил я,
Ваш *Блюхер,* братья!
Парю ж над вами я в атмосфере!
Долой унынье! Мужайтесь в вере!
Ведь Франкфурт рядом
С покорным стадом
Своих мужей. Там тишь да гладь.
Там робкий лепет,
Там рабский трепет.
Вы не хотите пример с них взять?
Иль к вам оттуда
Подуло худо,
Союзный ветер донесся злой?
И в этой стуже
Все хуже, хуже
Дышать «Свободным»? Тогда за мной!
Я в *Лейпциг* вас зову, где я воздвиг оплот,
Который никогда от штурма не падет;
Тот дом, где торговал я гегельянством, ныне
В несокрушимую мной превращен твердыню,
Так вот же, в *Лейпциг* мной вы все приглашены!
Где центр издательства, да будет центр страны».
«Да, в *Лейпциг!* — крикнуло собранье в увлеченьи; —
Оттуда выступим в последнее сраженье».
На змие *Виганд* взмыл, все двинулись за ним;

* — «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst». *Ред.*

И только *Фейербах* остался недвижим. —
Но прочь от этих мест! Ласкающие дали
Меня влекут, — манит град *Галле,* что на *Заале.*
Блаженный град! Тебя не позабыл господь,
Не смог твоих сынов лукавый побороть.
Как *Руге* ни точил слюны своей отраву,
Свою ты сохранил непомраченной славу.
И Руге в ярости покинул твой предел.
Так славь же господа за свой благой удел!
И правда! Радостно сбираются сегодня
Для славословия избранники господни.
Прекрасный сонм! Вот там сапожничек стоит;
Ему быть набожным грудь впалая велит.
А рядом трезвенный кабатчик круглолицый,
Он нацедит тебе за денежку водицы,
Смиреньем набожным сияет лунный лик;
Как не сказать, что ты, о веры ключ, велик?!
Вот бабушка стоит, согбенная грехами;
Сквозь тело ветхое сияет веры пламя;
Она хрипит псалом блаженно, как в раю,
Крестя все время грудь иссохшую свою.
Смотри, а вот и *Лев* с брегов высоких Заале,
Чье благочестие архангелы признали;
Он с верою в поход на *гегелингов* [48] шел,
Он с верой защищал и церковь, и престол,
Он с верой гнусную историю вселенной
Исправил; внес в нее небесный свет нетленный.
Войдите ж, верные, в уютный, скромный дом
И спойте господу признательный псалом.
Ты слышишь! Сладостно их пенье раздается
И к трону вышнему, как фимиам, несется:
«Мы — падаль пред тобой, господь.
Полна зловонья наша плоть,
А в наших душах семя ада.
С рожденья мы обречены
Грешить на радость сатаны;
Нас растопчи! Так нам и надо!
Все же нашему страданью
Врачеванье
Ты благой даруешь дланью.
Ты в небеса впускаешь нас,
Где ангелы возносят глас,
Поя тебе хвалу, о боже!
Ты прочь лукавого прогнал,

Который так нас угнетал!
Пожри проклятого, о боже,
Пусть же за свои деянья
В воздаянье
Он получит наказанье!»
Но вот, перекрестясь, на стул сапожник встал
И проповедь о зле, объявшем мир, сказал:
«Смотрите, бездны пасть раскрыта перед нами;
В ней адское бурлит, шумит, бушует пламя.
День близок, — огненный взовьется ураган,
И он проглотит нас, всех верных христиан.
Смотрите! Множатся бесов злоумышленья!
Велик господь! Грядем мы к светопреставленью».
«Аминь, — воскликнул *Лев,* — о братья, верьте, верьте!
Без фиговых листков по свету бродят черти;
К нам шлет великую блудницу Вавилон:
Богиню разума; дрожат алтарь и трон.
Чем *Руге* не *Дантон?* Второго *Робеспьера*
Мы видим в *Бауэре! Марата*-изувера
Еще превозойдет проклятый *Фейербах!*...
Последний ждите день с молитвой на устах!»
Так кончил он. И вдруг предстал, не ждан, не гадан,
Брат Бёйтель; вкруг него курился росный ладан,
На богоизбранной ослице он сидит
(И вознесенье он верхом на ней свершит).
Воздевши к небу взор, горящий дивным жаром,
«К вам путь меня привел, — воскликнул он, — недаром;
Так говорит господь: Сей муж — избранник мой;
Он двинет воинство мое в последний бой.
Вы ныне *Бёйтелю* должны повиноваться.
Пред ним мои враги, как плевел, расточатся.
Так мне сказал господь; я на колени пал
И со смирением его призыву внял.
С отвагою в душе пустился я в дорогу,
Чтоб верой озарить греховную берлогу.
И я пошел в дворцы владетельных князей,
В хоромы знатные, в жилища богачей;
Но к суете земной полны они влеченья;
У них я встретил лишь насмешку и презренье.
Чревоугодники сидели за столом,
Богато убранным, и тешились вином.
Прах отрясая с ног, я в гневе удалился.
Но ночью мне во сне господь, мой бог, явился
И рек: — «В игольное ушко пройдет верблюд

Скорей, чем богачи в небесный рай войдут.
Ты к беднякам иди! Там, на большой дороге,
Тебя с надеждой ждут, кто нищи и убоги.
Хромых, слепых, калек, стоящих у оград,
Сбери и приведи в святой мой вертоград.
Вот лучшее ядро благочестивой рати.
Иди ж! Они тебе воскликнут «исполати»!» —
Такой мне был во сне божественный глагол;
Я внял ему и к вам, о верные, пришел.
Вас призывает бог, творите же молитвы
И приготовьтесь к дню последней, грозной битвы.
«Свободных» армия уж к *Лейпцигу* идет,
Где в доме *Виганда* их крепость и оплот.
И там за грудой книг, за кипами бумаги,
Они нас будут ждать. Исполнитесь отваги,
О верные! Разбить должны мы злую рать
Врагов всевышнего и крепость их занять.
Мужайтесь же, друзья, в любви, в надежде, в вере!
Я вижу: предо мной открыты в небо двери.
Ко всем сокровищам святая вера — ключ.
Ты, *Галле* набожный, лишь верою могуч.
Был с верой божий сын зачат в девичьем лоне;
Исполнясь верой, кит вернул свободу Ионе,
Нам воскресение бог с верой возвестил
И с верой он уста ослиные открыл.
Прозрел слепой в тот миг, как укрепился в вере.
Я с верой вверх гляжу и вижу в небо двери;
Я с верой говорю: credo ut intelligam *,
Я с верою за крест держусь, на зло врагам.
Все, что б ни делал я, основано на вере;
Я с верой вверх гляжу и вижу в небо двери.
Мне говорит господь: пусть станет *Лев*, мой раб,
Над братьей в Галле; тут его пусть будет штаб.
А ты по городам, по весям и селеньям
Вербуй мне воинов с неутомимым рвеньем.
Ты, Бейтель, мой пророк, не должен отдыхать,
Пока не собрана благочестивых рать.
Так рек господь, и я в великой крепок вере;
Прощайте же, друзья! Я вижу в небо двери». —

* — верую, для того чтобы понимать. *Ред.*

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Что вижу? Озари, святой *Иоанн,* мой разум
Твоим пророческим, божественным экстазом!
Борьбу архангела с драконом видел ты;
Сними же с глаз моих завесу суеты!
Что вижу я? Грядет день грозного сраженья,
День Страшного суда, день светопреставленья!
Что вижу? Груды туч покрыли неба круг;
Громада их растет, вздымается, — и вдруг
Бросается, как лев, в средину небосклона.
Исчадье адское из грозового лона
С шипеньем вырвалось; сей — огненным хвостом
Бьет воздух яростно, тот — дьявольским волчком
Несется вскачь, и все ревут в безумной злобе,
Как в ведовском котле клокочущей в утробе.
Ужель, проклятый род, ты небом овладел?
На божии стези ты как ступить посмел?
И молния, и гром похищены тобою?
О горе! *Боннский* бес вас подготовил к бою,
Но божьей милости не иссякает ключ, —
И дьявольскую тьму рассеет солнца луч.
«Свободных» дикий стан валит в свою твердыню;
Но скоро, скоро бог накажет их гордыню.
Их *Виганд,* в воздухе паря, ведет вперед,
За ним орава вся бесстыдная орет.
На *Лейпциг* путь лежит; там «*Гутенберг*» в надежный
Плацдарм он превратил для армии безбожной.
Там башни сложены из множества томов,
Окопы вырыты, и к штурму вал готов.
Писанья *Бауэра* четыре равелина
Покрыли; ружьями защищена куртина.
Там «*Фридрих*» *Кёппена* [203] лежит над рядом ряд,

И прошлогодние Анналы там лежат.
«*Труба*»[160] и *Фейербах* тяжелою громадой
Вкруг крепости лежат и служат ей оградой.
Преградой там стоит — твой, Руге, «*Новеллист*»;
Чтоб пот стирать с лица, навален «*Пиетист*»[204].
А свой чертовский дом на случай отступленья
Поспешно превратил хозяин в укрепленье;
Законопатил дверь и окна хитрый враг,
А склад оружия он поднял на чердак,
Чтоб сверху набожных огня подвергнуть граду,
Коль удалось бы им прорваться за ограду.
Они вступают, шум подняв и дикий гам,
И размещаются по башням и по рвам.
  А набожная рать идет из *Галле* биться;
Для штурма у нее — *Иакова* лествица,
Столп огненный пред ней, как знамя — исполин,
А по пути — костры пылающих купин.
О посети меня, святое вдохновенье,
Чтоб мог я описать их дивное движенье!
Колонну первую ведет державный *Лев;*
Он шествует вперед, нисколько не сробев,
И только пять томов истории всемирной[205]
Держа в своих руках; как в обстановке мирной,
Он — без оружия: он верою силен.
Вслед *фон дер Зюнденом*[206] вторая из колонн
Ведется в бой; сей муж грех ненавидит страстно;
Оружия на нем ты б стал искать напрасно:
Одним присутствием своим врага он бьет.
Вот почему бойцы, идя за ним в поход,
Вооружились лишь псалмами и молитвой;
Услышав пенье их, противник с поля битвы
Бежит за три версты. — Послал бойцов и *Бонн;*
Брат *Нихтс* * — отважный вождь их набожных колонн.
Из *Швабии* отряд летит, как буревестник;
Он в знамя превратил свой «Христианский вестник» **.
Берлинцев *Хенгстенберг* ведет в последний бой;
А *бременцы* текут, о *Маллет,* за тобой.
Поп *Хирцель* тоже тут. Он *цюрихскую* братью,
Что *Штрауса* предала позорному проклятью,
Ведет; и *базельцы* за ним во след текут.
Ты, *вуппертальский* маг, *Круммахер,* тоже тут.

* Игра слов: «Nichts» — «ничто». Имеется в виду Карл Иммануил Ницш. *Ре*
** — «Der Christen-Bote. Ein kirchlich-religiöses Sonntagsblatt». *Ред.*

На стогны Лейпцига вступает рать святая.
Вдруг пенье дивное, как будто песня рая,
Разносится окрест; у всех один вопрос:
«Откуда эта песнь, что трогает до слез?»
И перед ними вдруг, верхом, — не ждан, не гадан, —
Брат Бейтель; вкруг него курится росный ладан.
«Меч божий, — он поет, — и гедеонов меч
У нас! Мы победим в ужаснейшей из сеч.
Хоть крепость грозная воздвигнута злодеем, —
Мы адовы врата, — о верьте! — одолеем!»
И вот ослица вскачь на гордый вал бежит;
За ней рать набожных, поя псалом, спешит.
О, что за мощный штурм! Зови, о враг господний,
На помощь дьявола из черной преисподней!
Лишь только *Бейтель* вал успел, взлетев, занять —
На приступ *Хенгстенберг* ведет святую рать.
Но в стан безбожников спешит тогда лукавый,
Чтоб мужество вдохнуть в смущенную ораву.
Вот *Виганд* с *Мейеном* на равелин взнеслись
И мечут тысячу огней смертельных вниз.
Вон *Штирнер* связки книг кидает вниз с размаха
И многих набожных хоронит в груде праха.
И *Арнольд* тут как тут: тома своих Аннал
Он мечет в каждого, штурмующего вал.
А со стены из книг, как молотом Перуна,
Тяжеловесною «Трубою» машет *Бруно.*
В засаду спрятавшись (кто там его найдет?),
Брошюры за спину кидает *Патриот.*
В бой *Кеппен* бросился, нахмурив грозно брови,
Но все старается пролить поменьше крови.
Несется *Эдгар* в бой, отважен и удал;
Твой, *Освальд,* перечный костюм от крови ал.
А кельнские бойцы! Потух в пылу сраженья
У *Ртг* чубук, но не пришел в смущенье
Боец испытанный; потухший свой вулкан
Он тычет в животы несчастных христиан.
Червонцы *Юноша* без устали кидает;
Из Трира *чудище* *, как юный лев, прядает,
Но все смелей святых дружинников отпор,
Все ярче и звончей их славословный хор.
Глядите! *Хенгстенберг* на *Виганда* напал,
Схватил за бороду и, сотрясая вал,

* — К. Маркс. *Ред.*

Стащил безбожника; лежит он без дыханья;
От русой бороды — одно воспоминанье.
Арнольд в опасности, и *Эдгар* смерти ждет,
В дом *Кёппен* убежал, с ним вместе — *Патриот.*
Уж гордый книжный вал напору поддается,
Уже шатается; один лишь *Бруно* бьется.
Он в *брата Бейтеля* метнул охапку книг,
И бледность смертная святой покрыла лик.
И *фон дер Зюндену* грозит удар ужасный.
Но тут *Галлеский Лев* воспрял душою страстной
И, как Самсон, рванул могучий книжный вал;
Он лег под ним, но что ж, и *Бауэр* с ним упал.
Лежит злодей в грязи, разбит своим паденьем;
Добить лежачего спешат святые с пеньем.
Тут *Бейтель,* с силами собравшись, встал, схватил
За ухо *Бауэра* и так возговорил:
«Господь победу дал великой нашей вере!
Он — мощный наш оплот! Я вижу в небо двери!
Вперед же, верные! Сломите рог врагу,
А *Бауэра* я сам пока постерегу».
И *Бауэра* связав, вперед дружина мчится...
Уж к дому Виганда Иакова лествица
Приставлена; уже трещит дверной косяк,
Уж склад оружия на чердаке иссяк,
Уж бедный *Патриот* заламывает руки,
Уж *Арнольд* раненый от страшной стонет муки,
Уж *Мейена* уста и нос кровоточат, —
Тогда в смятении летит лукавый в ад.
С ужасным ревом он влетает в дом проклятья,
Ругаясь и грозя, к владыке злая братья
Бежит со всех сторон. И он вопит в смущеньи:
«Позор! «Свободными» проиграно сраженье!
Вотще глумился я, напрасно я смердел:
Нас песнопением противник одолел,
Лишился бороды наш *Виганд, Бауэр* — в путах,
А гордый книжный вал атак не вынес лютых».
От рева ужаса гудит над адом свод.
И *Гегель* от стыда в отчаяньи орет.
Но лишь улегся страх в сердцах оравы мерзкой,
На беса полился поток угрозы дерзкой.
Шумят мятежники, и *Гегель,* сам не свой,
Кричит: «Стыдись! И ты быть хочешь сатаной?!
Где был твой серный чад, где пламя разрушенья?
«Аминь» услышав, — трус! — приходишь ты в смятенье!

От старости в тебе твой злой огонь потух!
Лишь маленьких детей ты ловишь и старух.
Тут надо не скулить, а действовать! *Вольтер,*
Нам помоги! Сюда, *Дантон* и *Робеспьер!*
Вы жили на земле, во всем подобны людям!
Так к богу ж дьявола! Чертями сами будем.
Бессилен навсегда мифический синклит;
Тысячелетний жар трусов не накалит;
Воспрянь, *Марат!* Людьми ведь были мы когда-то;
Так изберем вождем мы своего же брата!
Мифическим лицом был, есть и будет бес;
И он нам лютый враг, как всякий сын небес.
К победе же, вперед!» — И, дико завывая,
Из ада понеслась кощунственная стая.
Толпу мятежников сам *Гегель* возглавляет,
Вольтер над головой дубиной потрясает,
Дантон безумствует, и *Эдельман* орет;
Наполеон, как встарь, командует «Вперед!»
Марат, двух адских чад схватив рукою каждой,
Зубами щелкает, томим кровавой жаждой,
Несется *Робеспьер,* глаза его горят, —
О горе! Изрыгнул уродов этих ад.
И с ревом дикая орда свой лет снижает
Туда, где *Бауэра брат Бёйтель* охраняет.
Брат Бёйтель в ужасе, ослица слезы льет:
«Погибли мы, господь! вот-вот наш час пробьет!»
Тут в *Бёйтеля* впилась стрела *Марата*-зверя,
Он наземь падает и видит в небо двери.
Уж *Гегель Бауэра* целует, говоря:
«Да, ты постиг меня! Мой сын, я жил не зря!»
Он узы снял с него. Несется вопль оравы:
«Будь, *Бауэр,* нам вождем! Веди нас в бой кровавый!
Отставлен сатана, его нам замени!»
И с ревом кинулись на набожных они.
Увы! В святых рядах все множатся потери;
А *Бёйтель,* как всегда: он видит в небо двери.
Ослица на небо несет святую плоть,
Какое чудо ты содеял, о господь!
Ты взял его живым, как *Илию-пророка,*
И сокрушил навек все замыслы порока.
Вослед за *Бёйтелем* и весь господний стан
В лазурь возносится, блаженством обуян.
Но — ах! — нет отдыха мужам святым и там; —
«Свободные» летят за ними по пятам;

Сменились ужасом блаженство и отрада;
На небо ворвалось, крича, исчадье ада. —
Тем временем в аду, осиротевшем вдруг,
Лишившемся своих наивернейших слуг,
Лукавый бес стоял в немом оцепененьи
И на порог глядел, где в диком исступленьи
Отряд мятежников пронесся и исчез.
Но вот, придя в себя, воскликнул злобно бес:
«Так, поделом же мне! Я гнусно предан теми,
В которых сам, глупец, взрастил безбожья семя!
Вдохнув свободы жар «Свободным» этим в грудь,
К свободе от меня я указал им путь.
С народом этим я связался ведь напрасно;
К свободе без границ они стремятся страстно.
«Свободные» ничто святым не признают;
Но ведь в конце концов и мне тогда капут.
Против себя иду, борясь с владыкой вышним;
Я только миф для них и признаюсь излишним.
Скорей же в небеса! Я к богу полечу
И с ним святой союз навеки заключу».
Он воспаряет вверх и, пав пред троном бога:
«О, не карай меня, — он молит, — слишком строго!
Отныне я — твой друг». И рек господь благой:
«Откладываю суд, о дьявол, над тобой!
Иди и смой грехи в крови оравы злобной;
Когда придешь назад, поговорим подробно».
Лукавый радостно пускается в полет
И бой неслыханный в разгаре застает.
Увы, хоть к набожным пришла с небес подмога,
Они окружены хулителями бога.
Несется *Бауэр* вскачь с одной звезды к другой
И машет в воздухе, как молотом, «Трубой».
Навстречу выступил весь ряд евангелистов;
Но власти нет у них над князем атеистов.
Что для него твой рог, о вол *Луки!* Твой рев,
Лев *Марка.* Он и вас разить «Трубой» готов.
Вслед *Гегель* с яростным упорством наступает
И крылья ангелам огнем своим сжигает.
Вольтер дубиною грозит, оскалив рот;
Собор святых отцов безбожный *Руге* бьет;
Вот *Бауэр,* налету схватив звезду, с размаху
Метнул ее в врага, бегущего со страху.
Глядите! Сатана лежит, сражен «Трубой»;
Архангел *Михаил* готов трубить отбой;

Вот *Гегель* Сириус схватил с отвагой пылкой
И *Хенгстенберга* им ударил по затылку.
Испуганно пища, хор ангельский в разброд
По небу, среди туч, несется взад, вперед.
Пред трирским чудищем крест держит ангел божий,
Но тот кулак свой сжал, на монолит похожий.
Вот ангелов сама Мария звать идет
Исполнить ратный долг: «На Бауэра вперед!
Должны мы отомстить безбожному уроду
За то, что он хотел постичь мою природу».
Но тщетны все мольбы, напрасен нежный взор, —
Безбожных воинов стремителен напор;
Они уж близятся к священному порогу,
Уж верным все трудней им заградить дорогу,
Уже ослица лбом столкнулась со звездой,
И *Бейтель* в ужасе летит вниз головой,
Уж *Бауэр* подскочил, грозя «Трубой» навеки
Свет жизни потушить в сем божьем человеке,
Уж ярый *Руге* *Льва* за шиворот поймал
И в рот ему сует страницы из Аннал, —
Как вдруг — о чудо! — лист сияньем окруженный,
С небес спускается, и *Бауэр*, пораженный
Внезапным ужасом, глядит на этот лист,
Глядит и весь дрожит, проклятый атеист.
Нерукотворный лист спускается все ниже,
У *Бауэра* на лбу пот выступил. Гляди же!
Он поднял лист, прочел и шепчет, сам не свой:
«В отставку!» Злая рать, услышав это, вой
Безумный подняла и с криками «В отставку!»
Вниз понеслась стремглав, создав на небе давку.
Святые празднуют победу из побед;
Бегут «Свободные», им ангелы вослед.
На землю падают злодеи без дыханья...
Того, кто сеет зло, не минет наказанье!

Написано Ф. Энгельсом
в июне — июле 1842 г.

Напечатано в виде отдельной брошюры
в Неймюнстере под Цюрихом
в декабре 1842 г.

Печатается по тексту брошюры

Перевод с немецкого

[Ф. В. АНДРЕЭ И «ВЫСШАЯ ЗНАТЬ ГЕРМАНИИ»]

Я не могу не обратить внимание господ представителей католического рыцарственного рыцарства на стихотворение, которое, хотя и сочинено бюргером, но именно потому еще больше достойно того, чтобы его выделили в качестве драгоценнейшего перла, всеподданнейшей дани бюргерского смирения.

В Эрфурте, в издательстве Ф. В. Отто, в году божьей милостью тысяча восемьсот сорок втором появилась книжица: «Что следует знать о геральдике, или науке о гербах», сочинение Ф. В. Андреэ [207], со следующим посвящением: «Всей *высшей знати* Германии с почтением посвящает издатель».

«Сословию дворян ранг первый подобает,
Заслуги предков их взнесли так высоко,
Умножились затем их доблести стократно,
Сегодня со вчера в сравненье не идет,
Поэтому дворянство почитать должны вы,
Ведь им лишь все державы мира живы.

В гербах высокое значенье скрыто —
Все, что великого когда случилось,
Как чтили государи знать все время,
В дни мира и войны — все видно в них!
Гербы — венцы, что доблести венчают,
Дворяне их недаром получают.

И в трепете, в немом благоговенье
Пред славой, что сияет на венце,
Осмелюсь я воздвигнуть в честь героев
Сей памятник почтенья и любви!
Принять прошу я труд мой слабый благосклонно,
Свидетель мысли он моей уединенной».

Не правда ли, этот человек заслуживает, чтобы его возвели в дворянское достоинство?

Написано Ф. Энгельсом около 19 августа 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 241, 29 августа 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

[ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА ИЗ БЕРЛИНА]

Берлин, 19 августа. Я пишу вам сегодня для того, чтобы сообщить, что отсюда абсолютно не о чем сообщать. Бог свидетель, что сейчас наступил, как здесь говорят, мертвый сезон для корреспондентов. Не происходит ничего, решительно ничего! Об обществе исторического Христа так же мало слышно, как и об обществе «Свободных» [201]. Хотя официально последнее существует, ни один студент не знает, где оно существует и кто в нем состоит. Вероятно, дело с ним обстоит так же, как и полгода тому назад со знаменитым факельным шествием на Лейпцигской улице в честь философа [208]. Впоследствии студенты утверждали, что ни один из них и не собирался принимать участие в этом шествии, о котором еще накануне говорилось, что, к сожалению, там будут большей частью «филистеры». Сословные комиссии [209] тоже все еще не созваны, несмотря на то что «Leipziger Zeitung» * со своим предпочтением к прусским неосуществленным прожектам вкось и вкривь дебатирует вопросы, которые будут внесены в комиссии. Но мы утешаемся мудростью нашего короля ** и не беспокоимся о неосуществленных прожектах. Король собирается заключить новый торговый договор и новую конвенцию о картелях, а это уже не будут неосуществленные прожекты! Но мы и об этом не горюем, я подразумеваю нас, берлинцев, а завидуем жителям Рейнской области, которым предстоит испытать в ближайшие недели большое наслаждение. К ним приедет не только наш король, но и в числе многих других высоких особ достопочтенный король Людвиг Баварский, поэт на троне, автор «Героев Валгаллы» и основатель «Валгаллы» [210], чтобы заложить камень для окончания строительства Кёльнского собора, который должен быть завершен

---

* — «Leipziger Allgemeine Zeitung». *Ред.*

** — Фридриха-Вильгельма IV. *Ред.*

на благо немецкого народа. «Герои Валгаллы» вызвали в местных образованных кругах настоящую сенсацию, и всеобщее компетентное мнение, безусловно, таково, что король Людвиг вплел новую лавровую ветвь в свою корону. По-тацитовски кряжистый, полный первобытной мощи стиль короля, несомненно, должен стать предметом подражания, но мало кому удается возвыситься до него.

Написано Ф. Энгельсом 19 августа 1842 г.

Напечатано без подписи в «Rheinische Zeitung» № 241, 29 августа 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И СВОБОДА

На первый взгляд кажется непонятным, что такое министерство, как министерство Гизо, удерживается во Франции так долго и что оно вообще смогло прийти к власти. При наличии палаты депутатов, обладающей полномочиями назначать и смещать министров, при наличии свободной влиятельной прессы, при наличии самых свободных институтов в Европе, при наличии концентрированного, резко враждебного ему общественного мнения министр иностранных дел Гизо почти два года оказывал всему противодействие, преследовал прессу, пренебрегал общественным мнением, руководил палатой депутатов, распустил ее и созвал новую, скомпрометировал честь Франции перед великими державами и достиг в полной мере славы непопулярного лица, к которой стремился. И человек, свершивший все это, человек, который украл у французов два года их истории, может похвастаться столь сильной партией в палате, что опасность для него может представлять лишь форсированная коалиция самых противоположных мнений.

Министерство Гизо — время расцвета июльского правительства, триумф Луи-Филиппа и горчайшее унижение всех тех, кто ожидал от июльской революции * освобождения Европы. Принципы народного суверенитета, свободной прессы, независимого правосудия с участием присяжных заседателей, парламентской формы правления — во Франции фактически упразднены. Министерство Гизо увенчало реакционные тенденции, которые вновь сумели обрести силу во Франции, и открыто продемон-

* — 1830 года. *Ред.*

стрировало перед легитимистскими силами Европы бессилие французского либерализма.

Факт неоспорим. Реакция всей Европы ликует по этому поводу. Либеральной партии приходится постоянно выслушивать, что Франция ежедневно отрекается от своих институтов, опровергает свою историю после 1789 г., выбирает палаты, список членов которых уже сам по себе является пасквилем на июльскую революцию, одним словом, что самый либеральный народ в Европе каждым своим действием предает либерализм. И либералы — в частности, добродушные немцы — краснеют от стыда, приводят какие-то нелепые извиняющие обстоятельства, которых они и сами не принимают всерьез, и втихомолку надеются на либеральную палату депутатов или, уже совсем тайком, украдкой, на новый июль.

Мы не только можем признать этот факт, не нанося вместе с тем ущерба принципу свободы; именно ради этого принципа он должен быть особо отмечен. Причиной этого факта являются два обстоятельства: на первое из них более мужественные либералы уже не раз указывали в борьбе с реакционерами — это половинчатость и двусмысленность французской конституции, в которой никогда не был в категорической форме выражен и не проводился в жизнь принцип свободы; второе — это *централизация*.

Вопреки брошюре Корменена, вопреки его блестящей и красноречивой защите французской централизации, последняя остается главной причиной регресса во французском законодательстве. Корменен по существу ничего не доказывает, хотя в его книге почти все правильно и хорошо. Ибо он обосновывает централизацию не общими законами разума, а извиняет ее прирожденными особенностями французского народного духа и ходом истории.

Таковы положения, на которых мы можем пока что основываться, потому что раньше нужно привести доказательства того, что подобная централизация неразумна и в силу этого является причиной вышеприведенных последствий.

Централизация в ее крайней форме, которая господствует теперь во Франции, представляет собой выход государства за его пределы, за пределы его сущности. Но пределами государства являются, с одной стороны, индивидуум, а с другой стороны — мировая история. Централизация наносит ущерб обоим. Когда государство присваивает себе право, которое принадлежит лишь истории, оно тем самым уничтожает свободу индивидуума. История с незапамятных времен располагала правом, которым она будет располагать всегда, — рас-

поряжаться жизнью, счастьем и свободой отдельных индивидуумов, ибо она является делом всего человечества, жизнью данного рода, и в качестве такового суверенна; никто не может ей противиться, так как она представляет собой абсолютное право. На историю ни один человек не может жаловаться, потому что как она его наделила, так он и наслаждался жизнью или принимал участие в развитии человечества, что значит больше, чем любое наслаждение. Как было бы смешно, если бы подданные Нерона или Домициана захотели пожаловаться, что они родились не в такое время, как наше, когда людей не поджаривают и не рубят головы с такой легкостью, или если бы жертвы религиозного фанатизма средневековья стали упрекать историю в том, что они жили не после Реформации при веротерпимых правительствах! Как будто без страданий одних другие смогли бы сделать шаг вперед! Точно так же английские рабочие, которые сейчас жестоко голодают, имеют право жаловаться на сэра Роберта Пиля и английскую конституцию, но не на историю, которая сделала их носителями и представителями нового правового принципа. Не так обстоит дело с государством. Оно всегда есть нечто особенное и никогда не может притязать на право, которым, конечно, обладает все человечество в своей деятельности и в развитии истории, право жертвовать единичным ради общего.

Так централизованное государство, разумеется, совершает несправедливость, когда оно, как это происходит во Франции и как это признает Корменен, жертвует провинциями ради центра и устанавливает олигархию, аристократию одной местности, ничуть не более справедливую и разумную, чем аристократия знати или аристократия денег. Свобода в значительной степени обусловливается равенством, а при всем égalité devant la loi * различие между парижанами и провинциалами во всем, что касается образования, участия в управлении страной и истинного духовного наслаждения жизнью все же более чем достаточно, чтобы воспрепятствовать французским институтам в их естественном развитии к полной свободе.

История централизации во Франции развивалась, как и всюду, параллельно истории абсолютизма. Людовик XI заложил основы того и другого; гугенотские войны [211] были последней значительной попыткой провинций восстать против гегемонии Парижа, и с этого времени господство столицы над Францией было признано повсеместно. Ибо, как только централизация государства проводится всерьез, становится неизбежной

* — равенстве перед законом. *Ред.*

локальная централизация, гегемония центра. Пока удерживался абсолютизм, выгоду от него имел только Париж, провинции были вынуждены удовлетворяться участием в несении государственных расходов и всемилостивейшим произволом. Культура, esprit *, наука всей Франции сконцентрировались в Париже, существовали для Парижа; пресса работала только в Париже и для Парижа; деньги провинции, которые вытягивал для себя королевский двор, он проматывал в Париже и для Парижа. Отсюда, однако, возникло то огромное несоответствие в культуре между Парижем и остальной страной, которое с падением абсолютизма приняло во Франции крайне неблагоприятную форму. Только централизация сделала возможной революцию в том виде, в каком она произошла, но та же централизация создала столь большую пропасть между Парижем и всей страной, что Париж мало заботился о благе провинций до тех пор, пока его самого не коснулся всеобщий гнет. Генеральные штаты [212], представители угнетенной *страны,* а не город Париж начали дело революции; и только когда вопросы приняли принципиальную форму и были затронуты интересы столицы, последняя захватила инициативу и овладела ходом событий. Это привело, однако, к тому, что участие страны в революции ослабло, и ее представители, а также представители, выражавшие ее настроение, своей апатией дали Наполеону возможность постепенно подняться на императорский трон. При Реставрации [41], когда образовались партии, имела место та же борьба между столицей и страной. Париж вскоре приобрел ясное сознание и выступил против Бурбонов и королевской власти божьей милостью; страна, обладавшая меньшей культурой, выставила на поле битвы мало либералов, была в большей своей части настроена апатично и поэтому выступала за существующее положение вещей или даже фанатично стояла за ancien régime **. В результате июльская революция была произведена только Парижем; огромная масса индифферентных была слишком инертна, чтобы подняться против столицы и ее нового принципа; провинциальные области с наиболее низкой культурой остались верны Бурбонам, но не могли ничего предпринять против централизации. С той поры, однако, почти каждая палата позволяла отнимать у себя одно из завоеваний июльской революции за другим, в чем, наряду с другими причинами, виновата та же централизация. Ибо депутатов в палату посылают все части страны, и, несмотря на нажим и подкупы во время выборов, каждый избирательный

* — ум. *Ред.*
** — старый порядок. *Ред.*

округ демонстрирует своим выбором свой уровень политического развития. Ведь всякий, кто поддается давлению или подкупу, не свободен и не самостоятелен в своих решениях; он поступает, следовательно, совершенно логично, когда, выбирая депутатов, угодных министерству, подпадает под опеку, которая ему и подобает. Противоречие между июльской революцией и палатой 1842 г. — это противоречие между столицей и страной. Франция может с помощью Парижа осуществлять революции и создавать одним махом институты свободы, но она не может их удержать. Кто не в силах понять палату депутатов 1842 г., тот показывает тем самым, что он путает французов с парижанами, что противоречие централизации не дошло до его сознания.

Не будем несправедливы! Противоречия, которыми страдает централизация, бесспорны; признаем, однако, ее историческое и разумное право на существование! Централизация — сущность и жизненный нерв государства, и в этом заключается ее оправдание. Каждое государство должно по необходимости стремиться к централизации, каждое государство централизовано, начиная с абсолютной монархии и кончая республикой. Как Америка, так и Россия. Ни одно государство не может обойтись без централизации, федеративное государство ничуть не в меньшей степени, чем уже сформировавшееся централизованное государство. Пока существуют государства, у каждого из них будет свой центр, и каждый гражданин будет выполнять свои гражданские функции только в силу централизации. При этом, то есть при подобной централизации, вполне можно допустить коммунальное управление, допустить все, что имеет отношение к отдельным гражданам или корпорациям, это даже нужно сделать. *Ибо* поскольку централизация сосредоточена в одном пункте, поскольку все здесь собрано в одном, ее деятельность по необходимости должна быть всеобщей, а ее компетенция и полномочия заключать в себе все, что считается *всеобщим,* оставляя, однако, свободным то, что касается персонально того или этого. Отсюда вытекает государственное право центральной власти на издание законов, на господство над органами управления, на назначение государственных чиновников и т. д.; отсюда же следует одновременно и тот принцип, что судебная власть ни в коем случае не должна быть связана с центром, а принадлежать народу, судам присяжных, что, как уже указывалось выше, коммунальные дела не могут входить в компетенцию центральных властей и т. д.

Суть централизованного государства не означает, впрочем, что центром его является одна-единственная личность, как при абсолютной монархии, а только то, что в его центре находится

один отдельный человек, каким может быть президент в республике. То есть, нельзя забывать, что главным здесь является не личность, стоящая в центре, а сам центр.

Мы снова возвращаемся к нашему началу. Централизация — это принцип государства, и все же именно с централизацией неизбежно связано то, что она заставляет государство выходить из своих рамок, конституировать себя, особенное, как всеобщее, последнее и наивысшее, претендовать на право и положение, которые принадлежат только истории. Государство — это не реализация *абсолютной* свободы, каким оно считается, в этом случае вышеупомянутая диалектика понятия государства была бы недействительной, оно лишь объективная свобода. Истинная *субъективная* свобода, которая равносильна абсолютной свободе, требует для своего осуществления иных форм, чем государство.

Написано Ф. Энгельсом в первой половине сентября 1842 г.

Напечатано без подписи в приложении к «Rheinische Zeitung» № 261, 18 сентября 1842 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

«TIMES» О НЕМЕЦКОМ КОММУНИЗМЕ

РЕДАКТОРУ «NEW MORAL WORLD»

Милостивый государь!

Прочитав статью из «Times» о немецких коммунистах, перепечатанную в «New Moral World» [213], я не счел возможным пройти мимо нее без некоторых пояснительных замечаний, которые Вы, быть может, найдете достойными опубликования.

До сих пор «Times» пользовался на континенте репутацией хорошо осведомленной газеты, но еще несколько таких статей, как статья о немецком коммунизме, и от этой репутации очень скоро ничего не останется. Каждый, кто имеет хоть малейшее понятие о социальных движениях во Франции и Германии, должен сразу заметить, что автор вышеназванного очерка позволяет себе говорить о предмете, о котором он совершенно ничего не знает. Его неосведомленность в этом вопросе так велика, что он не способен даже показать слабые стороны партии, на которую он нападает. Если он хотел раскритиковать Вейтлинга, он мог бы найти в его произведениях места, гораздо более подходящие для этой цели, чем те, которые он приводит. Если бы он только дал себе труд прочесть отчет цюрихской комиссии [214], в чем он пытается уверить нас, но чего он, по-видимому, не сделал, то он нашел бы обильный материал для клеветы, целую коллекцию искажений, собранных именно для этой цели. В конце концов, весьма курьезно, что коммунисты должны сами снабжать своих противников оружием для борьбы; но, опираясь на широкий фундамент философских доказательств, они могут себе позволить поступать так.

Корреспондент «Times» начинает с того, что изображает коммунистическую партию во Франции как очень слабую. Он

сомневается, была ли она организатором восстания 1839 г. в Париже[215], и считает весьма вероятным, что его возглавляла «мощная» республиканская партия. Но скажите, мой хорошо осведомленный осведомитель английской публики, считаете ли Вы очень слабой партию, насчитывающую почти полмиллиона взрослых мужчин? Разве Вам не известно, что «мощная» республиканская партия во Франции вот уже девять лет как находится в состоянии полного разложения и прогрессирующего упадка? Разве Вам не известно, что газета «National», орган этой «мощной» партии, имеет более ограниченный тираж, чем любая другая парижская газета? Мне ли, иностранцу, напоминать Вам о подписке в пользу ирландского фонда рипилеров, которую газета «National» устроила прошлым летом среди республиканцев и которая дала меньше 100 фунтов, хотя республиканцы якобы питают горячие симпатии к ирландским рипилерам?[216] Разве Вам не известно, что массы, примыкавшие к республиканской партии, рабочие, уже давно откололись от своих богатых сотоварищей по партии и не просто вступили в коммунистическую партию, нет, а *основали* ее задолго до того, как Кабе начал выступать в защиту коммунизма? Разве Вам не известно, что вся «мощь» французских республиканцев состоит в поддержке их коммунистами, которые хотят добиться создания республики до того, как они начнут осуществлять коммунизм на практике? Все эти вещи, по-видимому, не известны Вам, а между тем Вам следовало бы знать их, чтобы составить себе правильное мнение о континентальном социализме.

Что касается восстания 1839 г., то я не думаю, чтобы подобные события можно было приписать какой-нибудь партии. Но я знаю от людей, активно участвовавших в этом émeute *, что он был задуман и произведен коммунистами.

Хорошо осведомленный корреспондент сообщает далее, что «учения Фурье и Кабе, по-видимому, занимали больше умы нескольких литераторов и ученых, чем пользовались общими симпатиями у народа». Относительно Фурье это верно, как я имел случай показать в одном из предыдущих номеров этой газеты[217]. Но Кабе! Кабе, который не написал почти ничего, кроме небольших брошюр, Кабе, которого всегда называют «отцом Кабе», именем, которое вряд ли могли дать ему «литераторы и ученые», Кабе, крупнейшим недостатком которого является поверхностность, отсутствие понимания настоящих требований научного исследования, Кабе, редактор газеты **, предназначенной для

* — мятеже. *Ред.*
** — «Le Populaire de 1841». *Ред.*

информирования тех, кто умеет только *читать,* — неужели учением этого человека будет интересоваться профессор Парижского университета, вроде Мишле, или же такой человек, как Кине, самомнение которого превосходит его мистицизм? Это ведь просто смехотворно.

Корреспондент рассказывает затем об известном немецком ночном собрании в Гамбахе и Штейнхёльцли [218] и высказывает мнение, «что оно носило скорее политический, чем социальный революционный характер». Не знаю, с чего начать, чтобы перечислить все нелепости, содержащиеся в этой фразе. Во-первых, «ночные собрания» на континенте совершенно неизвестны; у нас нет факельных шествий чартистов или ночных собраний ребеккаитов [219]. Гамбахское собрание происходило среди бела дня, на глазах у властей. Во-вторых, Гамбах находится в Баварии, а Штейнхёльцли — в Швейцарии, в нескольких сотен миль от Гамбаха; между тем наш корреспондент говорит о «собрании в Гамбахе *и* Штейнхёльцли». В-третьих, оба эти собрания были значительно отдалены одно от другого не только по месту, но и по времени. Собрание в Штейнхёльцли произошло на несколько лет позже, чем в Гамбахе. В-четвертых, собрания эти носили не только *по-видимому,* но и в действительности чисто политический характер; они происходили до того, как на арене появились коммунисты.

Источниками, из которых наш корреспондент черпал свою неоценимую информацию, были «отчет (цюрихской) комиссии, опубликованные и неопубликованные коммунистические сочинения, обнаруженные при аресте Вейтлинга, и личное расследование». Неосведомленность нашего корреспондента ясно доказывает, что отчета он никогда не читал; ясно, что *«опубликованные* коммунистические сочинения» не могли быть *«обнаружены»* ни при чьем аресте, так как простой факт их «опубликования» исключает всякую возможность «обнаружения». Генеральный прокурор Цюриха вряд ли стал бы хвалиться «обнаружением» книг, которыми его мог бы снабдить любой книгопродавец! Что касается «неопубликованных» сочинений, для уничтожения которых было начато судебное преследование, то цюрихские сенаторы были бы действительно непоследовательны, если бы они — как, по-видимому, думает наш корреспондент — сами их потом опубликовали! Они и не сделали ничего подобного. Фактически во всем сообщении нашего корреспондента нет ничего такого, что он мог бы раздобыть из этого источника или из личного расследования, если бы тут не было двух новых фактов, — что немецкие коммунисты заимствовали свое учение главным образом у Кабе и Фурье, на которых они

нападают, — об этом наш корреспондент мог бы прочесть в той самой книге, которую он так подробно цитирует (Вейтлинг, «Гарантии», стр. 228) [220]; и что «они рассматривают как своих четырех евангелистов Кабе, Прудона, Вейтлинга и — и — Констана»! Бенжамен Констан, друг г-жи де Сталь, давно уже умер и никогда не задумывался о чем-либо, имеющем отношение к социальной реформе. Очевидно, наш корреспондент имеет в виду фурьериста Консидерана, редактора «Phalange», ныне «Démocratie pacifique», который вообще не связан с коммунистами.

«В настоящее время коммунистическое учение содержит в себе больше негативного, чем позитивного», — и немедленно после этого утверждения наш корреспондент опровергает самого себя, излагая в двенадцати параграфах предложенный Вейтлингом набросок установлений нового общественного строя, которые с начала до конца носят позитивный характер, и в них даже не упоминается о разрушении существующей социальной системы.

Впрочем, выдержки эти приводятся нашим корреспондентом крайне беспорядочно и показывают, что во многих случаях он не сумел нащупать существенных пунктов излагаемого вопроса и вместо этого приводит какие-то второстепенные детали. Так, например, у него выпадает та главная мысль, в которой обнаруживается превосходство Вейтлинга над Кабе, именно мысль об упразднении всякой формы правления, основанной на насилии и большинстве и замене ее простым управлением, организующим различные отрасли труда и распределяющим его продукты; он опускает предложение, чтобы все должностные лица этого управления в каждой отдельной отрасли назначались не большинством всех членов общества, а только теми членами его, которые знакомы со специальным родом работы, возлагаемой на будущее должностное лицо. Затем он опустил одну из важнейших черт этого плана, а именно, что лица, на которых возлагается выбор, выбирают наиболее подходящих кандидатов посредством своего рода конкурса, не зная ни одного из авторов представленных на этот конкурс работ; имена последних должны быть помещены в запечатанные конверты, и вскрывается лишь тот конверт, который содержит имя победителя; таким образом устраняются все личные мотивы, которые могли бы повлиять на решение избирающих лиц.

Что касается остальных выдержек из Вейтлинга, то я предоставляю читателям этой газеты судить, в самом ли деле они содержат такие заслуживающие презрения вещи, как думает наш корреспондент, или же они защищают в большинстве случаев —

если не во всех случаях — те самые принципы и планы, для распространения которых была основана эта газета. Во всяком случае, если «Times» захочет снова писать о немецком коммунизме, то хорошо сделает, подыскав себе другого корреспондента.

Остаюсь, милостивый государь, преданный Вам

Ф. Энгельс

Написано Ф. Энгельсом 13 января 1844 г.

Напечатано в газете «New Moral World» № 30, 20 января 1844 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с английского

ФРАНЦУЗСКИЙ КОММУНИЗМ

РЕДАКТОРУ «NEW MORAL WORLD»

Манчестер, 28 января 1844 г.

Милостивый государь!

В своем письме к Вам в «New Moral World» от 13-го текущего месяца * я допустил ошибку. Я полагал, что корреспондент «Times» ошибочно назвал некоего г-на Констана коммунистом. Однако с тех пор как я написал это письмо, я получил ряд французских коммунистических изданий, в которых аббат Констан называется сторонником коммунистической системы. В то же время г-н Гудвин Бармби любезно сообщил мне некоторые новые сведения об аббате Констане, который, по его словам, был заключен в тюрьму за свои убеждения и который является автором нескольких коммунистических работ. Сам он формулирует свое мировоззрение в следующих словах: «Я — христианин и понимаю христианство только как коммунизм».

Прошу Вас ввиду этого исправить вышеуказанную ошибку в ближайшем номере Вашего издания.

Уважающий Вас, милостивый государь,

Ф. Энгельс

Напечатано в газете «New Moral World» № 32, 3 февраля 1844 г.

Печатается по тексту газеты
Перевод с английского

* См. настоящий том, стр. 327—331. *Ред.*

Ф. ЭНГЕЛЬС

ПИСЬМА

(1838—1842)

1838 год

1

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

Бремен, 28—29 августа 1838 г.

28 августа

Дорогая Мария!

Едва увидев твое письмо, я сразу догадался, что оно от тебя, хотя вообще-то я даже не знаю твоего почерка. Право, оно точь-в-точь ты сама: написано страшно торопливо, всюду милый беспорядок, моральные прописи, которые вовсе не должны приниматься всерьез. «Как ты поживаешь? Как твое здоровье?» Эмильхен * и Аделинхен **, несчастные случаи — все свалено в одну кучу. Здесь, кстати, тоже произошел несчастный случай: маляр — за последнюю неделю уже второй — сорвался с лесов и разбился насмерть.

То, что Эмильхен и Аделинхен уезжают, совершенно поразительно, во всяком случае Тревиранусы были в высшей степени удивлены этим, они все думали, что Карл *** их воспитывает.

29 августа

Вы собираетесь в Ксантен — очень хорошо, вам действительно следует туда съездить, раз мама обещала это тете **** и бабушке *****. Постарайтесь подгадать туда к сбору винограда, тогда вы сможете поесть его вдоволь. В нашем саду здесь тоже есть виноград, но он еще не созрел, зато у нас уже поспели

---

* — Эмилия Энгельс. *Ред.*

** — Аделина Энгельс. *Ред.*

*** — Карл Энгельс. *Ред.*

**** — Фридерике фон Грисхейм. *Ред.*

***** — Франциске ван Хаар. *Ред.*

яблоки, райские яблочки, они гораздо вкуснее тех, что росли в усадьбе Каспара* на толстом дереве, которое потом срубили.

Представь себе, Мария, у нас здесь наседка с семью цыплятами, которым еще не исполнилось недели. Когда нам в конторе нечего делать, мы выходим во двор и ловим мух, комаров и пауков; тогда приходит старушка, забирает их у нас из рук и кормит ими цыплят. Но там есть один черный цыпленок, величиной с канарейку, он клюет мух прямо из рук. И все эти крохотные существа станут низкорослыми курицами с перьями на лапках. Я уверен, что такая наседка с цыплятами очень понравилась бы тебе. Ты ведь сама такой же цыпленок. Уговори маму, чтобы она на будущий год тоже посадила курицу на яйца. У нас тоже есть голуби — и у Тревирануса и у Лёйпольдов, котбеки и дутыши [Kröpper]; их здесь зовут «коронованные голуби» (потому что у них на груди имеется жабо, по-здешнему корона) и «Kropper». Особенно хороши котбеки. Мы кормим их каждый день, Эберлейн и я; только не кормовым горохом, его здесь нет, а обыкновенным горохом или мелкими буковыми орешками, они не крупнее гороха.

Посмотрела бы ты утром, когда на рынке много народу, какие замечательные наряды у здешних крестьянок. Особенно живописны шапки и соломенные шляпы. Если мне удастся как-нибудь спокойно понаблюдать за какой-нибудь женщиной, я попробую сделать набросок и пошлю тебе. Девушки носят малюсенькие красные шапочки, на самой макушке, а старые женщины — большие капоры, которые плоско лежат на голове и свисают на лицо, или большие бархатные чепцы, отделанные спереди оборками из черных кружев. Это выглядит так своеобразно.

Окно моей комнаты выходит в переулок, в котором водится нечистая сила. Если я засиживаюсь допоздна, то примерно часов в одиннадцать слышу, как в переулке начинается шум и гам: кошки мяукают, собаки лают, привидения хохочут, стонут и стучат в ставни соседнего дома; но все это объясняется очень просто. Дело в том, что в переулке живет фонарщик и он выходит как раз в одиннадцать часов.

Вот я написал уже целых две страницы. Если бы я хотел поступать так, как ты, то я бы сейчас написал: «Ну, теперь ты, наверное, будешь довольна тем, что я так много тебе рассказал, в следующий раз я опять расскажу тебе столько же». Так делаешь ты. Ты заполняешь две страницы размашистым почерком, а остальные две оставляешь пустыми. Но чтобы доказать тебе,

* — Каспара Энгельса-младшего. *Ред.*

что я не делаю так, как ты, и не плачу той же монетой, я помучаюсь и напишу мелким почерком четыре страницы.

Сегодня утром пришел цирюльник, и господин пастор * посоветовал мне побриться, так как я будто бы выглядел ужасно. Но я не буду бриться, потому что папа сказал, чтобы мои бритвы оставались запечатанными, пока я не начну ими пользоваться; папа уехал две недели тому назад, а за это время усы у меня не могли вырасти. Я побреюсь не раньше, чем отращу себе усы цвета воронова крыла. Да, и знаешь еще, что мама попросила папу дать мне бритвенный прибор с собой, а он ответил, что это значило бы соблазнять меня и что в Манчестере он сам купит мне прибор, но я не буду им пользоваться из принципа.

Я только что вернулся с парада, который каждый день происходит на Соборной площади. Здесь занимается строевой подготовкой великая ганзейская армия, в которой числится примерно 40 солдат, 25 музыкантов, а также 6 или 8 офицеров; если не считать тамбурмажора, у всех в сумме такие же усы, как у одного прусского гусара. У большинства вообще на лице нет растительности, у других есть только намек. Парад продолжается целых две минуты, солдаты приходят, строятся, берут ружье на караул и опять уходят. Но музыка хороша (очень хороша, замечательна, прекрасна, говорят бременцы). Вчера сюда доставили одного ганзейца — дезертира. Этот парень — еврей, он брал уроки закона божьего у пастора Тревирануса и хотел креститься. Он дезертировал, но не уехал из города, а написал письмо пастору Тревиранусу, будто он находится в Бринкуме, куда уговорил его поехать один родственник, и просил пастора ходатайствовать о смягчении наказания. Пастор и собирался это сделать, как вдруг этот молодчик был вчера арестован под Бременом, так что выяснилось, где он скрывался. Теперь он получит хорошую нахлобучку, то есть 60 ударов, потому что здесь солдат то и дело бьют палками.

В Бремене евреев совершенно нет, лишь в предместье живут несколько евреев, имеющих на это особое разрешение, но в городе ни один из них не имеет права поселяться.

Сегодня целый день опять идет дождь. За последнее время только один раз, неделю тому назад, было сухо, все остальные дни шел дождь, хотя бы понемножку. В воскресенье было очень жарко, вчера тоже было довольно душно, хотя небо часто затягивали тучи, а сегодня, нет сегодня просто невыносимо. Едва выйдешь за дверь — промокаешь до нитки. Что слышно у вас?

* — Георг Готфрид Тревиранус. *Ред.*

Теперь я напишу маме. — Помирились ли вы с Камперманами, дурочки?

Adieu*, Мария.

Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

2

ФРИДРИХУ И ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРАМ

В ЭЛЬБЕРФЕЛЬД

[Бремен], 1 сентября [1838 г.]

Господам братьям Греберам из Бармена, ныне пребывающим в Эльберфельде. Свидетельствуя сим получение почтенного писания г-на Ф. Гребера, я позволю себе послать вам несколько строк. Черт побери, дело идет на лад! Мы сразу начнем с изобразительного искусства. Дело в том, что мой сосед, по имени Джордж (его имя Георг произносится на английский лад) Горрисен, — первейший гамбургский шут, какой когда-либо существовал; возьмите среднее из обоих приложенных портретов, посадите это среднее на узкое туловище и длинные ноги, придайте глазам достаточно тупое выражение, вообразите себе речь точь-в-точь такую, как у Кирхнера, только на гамбургском диалекте, и у вас получится вернейший портрет этого оболтуса, каков он есть. Ах, если б я только сумел изобразить его так удачно, как вчера вечером, когда я нарисовал его на доске так похоже, что все, даже служанки, его узнали. Даже один художник **, живущий у нас в доме и вообще находящий все плохим, увидев этот портрет, нашел его очень хорошим. Этот Дж. Горрисен — самый большой олух на земле; каждый день он



* — Прощай. *Ред.*

** — Г. В. Фейсткорн. *Ред.*

носится с какой-нибудь новой чепухой, он неистощим в нелепых и скучных идеях. На совести этого парня, по меньшей мере, двадцать часов нагнанной на меня скуки.

Я недавно купил себе оправдательную брошюру Якоба Гримма[221]; она великолепна и написана с редкой силой. В *одной* книжной лавке я недавно прочел не меньше семи брошюр о кёльнской истории[222]. — NB. Здесь я начитался таких вещей и выражений — у меня особый интерес к такой литературе, — которые у нас никогда* не осмелились бы напечатать: совершенно либеральные идеи и т. д.; рассуждения о старом ганноверском вшивом козле ** просто великолепны.



Здесь имеются прекрасные сатирические картинки. — Я видел одну, хотя и плохо нарисованную, но с очень характерными лицами. Изображен портной, сидящий на козле, которого удерживает хозяин; их обступили сапожники. Что все это значит, видно из подписи:

«Хозяин, не удерживайте моего коня!».

Но об этом в другой раз, так как я не могу достать этой картинки, ибо здесь сидит принципал ***. Впрочем, он все же ужасно хороший парень, такой хороший, что ты себе и представить не можешь.

Прости, что я так плохо пишу: я влил в себя три бутылки пива. Ура! Больше писать не могу, ибо письмо надо сейчас же отправить на почту. Пробило уже половина четвертого, а письма должны быть там в четыре! Черт побери! Замечаешь ли ты, что во мне бродит пиво?.. ****

Благоволите мне тотчас же нацарапать что-нибудь; мой адрес знает Вурм, вы можете ему передать письмо. Ах, боже мой, что мне писать? О, боже мой, боже мой, вот беда! Старик, то есть принципал, только что вышел, а я совсем запутался: я не знаю, что пишу, в ушах у меня шумит. Кланяйтесь П. Йонгхаусу и Ф. Плюмахеру, пусть они мне напишут, и в ближайшее время я их тоже осчастливлю письмом. Можете ли вы прочесть, что я тут напачкал?

Роланд — рыцарь из Бремена

---

* Отсюда и далее, кончая словами «во мне бродит пиво», текст письма на первой странице написан красными чернилами поперек черных. *Ред.*

** — Эрнсте-Августе. *Ред.*

*** — Генрих Лёйпольд. *Ред.*

**** Одна фраза не расшифрована из-за повреждения бумаги. *Ред.*

Что ты мне дашь за фунт чепухи? У меня большой запас ее. О, великий боже!

Преданный вашему высокоблагородию

твой *Ф. Энгельс*

Впервые опубликовано с небольшим сокращением в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920 и полностью в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

3

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

[Бремен], 11 сентября [1838 г.]

Дорогая Мария!

«В надежде, что я опять получу от тебя письмо в ***4 страницы***, остаюсь и пр.» Да, глупышка, ты получишь 4 страницы, но они написаны по принципу — какою мерою меришь, такою и тебе будут мерить *, да и то этого слишком много для тебя. Ведь я на такой маленькой странице пишу столько же, сколько ты на большой, и просил бы тебя в будущем не тратить так безобразно бумагу. Когда так размашисто пишет толстяк — это совсем другое дело. Понятно вам, мамзельхен? — Если вы в этом году не поедете в Ксантен, то вам придется сказать себе:

Утешься от всех бед с Иовом,
Монаха гуще смажь сиропом.

Тут ничего не поделаешь, как говорят у нас в Бремене. Вы можете вообразить себе, что вы там уже были, разве ты не помнишь, что делал Герман **, когда он получал стакан вина? Он пил его очень медленно, стараясь продлить удовольствие. Поэтому вы тоже должны сказать себе: если бы мы были сейчас в Ксантене, то мы не могли бы уже радоваться тому, что мы туда поедем, а теперь у нас впереди еще целый год, полный надежд, и мы можем радоваться сколько угодно. Ведь это мудро, так сказал бы Сократ, а с ним и Уленшпигель. Запомни это себе на бу-

* Библия. Новый завет. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2 (перефразировано). *Ред.*

** — Герман Энгельс. *Ред.*

дущее. Как видишь, я тоже могу читать тебе наставления, не хуже, чем ты мне. А когда ты мне опять будешь писать, то не начинай каждого абзаца с «представь себе». Откуда у тебя эта благородная привычка? Как ты можешь говорить: «я не знаю, что еще писать», если ты мне еще не сообщила, какие годовые отметки получили ты и Анна *, кто в этом году написал вступление к вашей программе. Толстяк тоже наверное отмочил какую-нибудь шутку за те восемь недель, как меня нет, разве ты не могла мне написать об этом? И сколько еще произошло всякого такого, о чем я совершенно не знаю! Скажи, пожалуйста, разве это оправдание: «я не знаю, о чем мне писать»? Я тоже не знаю, о чем мне писать. Когда я начинаю одну строчку, то еще не знаю, о чем я буду говорить в следующей, но мне все-таки что-нибудь да приходит в голову, и, я надеюсь, тебе будет небесполезно и нелишне прочесть то, что я пишу. А ты, если заполнишь две страницы далеко расставленными строчками, воображаешь уже, что совершила чуть ли не подвиг Геркулеса. Что же ты думаешь обо мне? После того как я закончу это письмо к тебе, мне нужно написать еще три других, а завтра или послезавтра отнести их на почту. И у меня вовсе не так уж много времени, потому что сегодня во второй половине дня судно «Панчита» отправляется в Гавану и мне приходится переписывать чужие письма вместо того, чтобы самому писать свои; сегодня днем я ожидаю письмо от Штрюккера, и он тоже, должно быть, захочет получить ответ. К тому же я не могу писать одному то же самое, что я написал другому. Теперь ты видишь, что было бы справедливо, если бы ты написала мне шесть страниц и что тебе нельзя было бы обижаться, даже если бы я написал тебе только $^1/_6$ страницы? Впрочем, одна эта головомойка уже достигла длины целого твоего письма, и, чтобы доказать тебе, что и я могу писать о чем-нибудь другом, я возьму на себя смелость рассказать тебе, что, если я достану кисть до того, как отправлю письмо, я пришлю тебе несколько рисунков бременских крестьянских мод.

Но сейчас ты права, я не знаю, о чем еще написать, и я все же попытаюсь что-нибудь придумать; четыре страницы честно будут заполнены. Очень неприятно здесь то, что городские ворота вечером, с наступлением темноты, запираются и тот, кто хочет войти или выйти, должен платить пошлину. Сейчас это дело начинается уже с семи часов, тогда надо платить два грота, и чем позже, тем пошлина выше; после девяти уже надо платить 3 грота, в 10 часов — 6 гротов, в 11 часов —

* — Анна Энгельс. *Ред.*

12 гротов. За проезд на лошади пошлина еще выше. Мне уже тоже несколько раз приходилось платить эту пошлину.

Сейчас консул * как раз беседует с г-ном Граве о тех письмах, которые должны быть написаны сегодня во второй половине дня. Я прислушиваюсь к этому разговору с самым напряженным вниманием, как мошенник, который видит, как выходят присяжные, и ждет их слов «виновен» или «невиновен». Ведь если Граве начнет писать, то я буквально не успею оглянуться, как на моем столе уже будет лежать шесть, семь, восемь или больше писем в одну, две и даже три страницы. За то время, что я здесь, я уже переписал 40 страниц, 40 страниц в книгу огромного формата для снятия копий. Вот передо мной уже опять лежит письмо в Балтимору, и, представь себе, 4 страницы исписаны полностью. Сейчас половина двенадцатого, и я пойду на почту будто бы для того, чтобы получить письма для консула, а в действительности для того, чтобы узнать, нет ли письма от Штрюккера.

Adieu **, дорогая Мария, я надеюсь получить четыре *большие* страницы.

Твой брат ***Фридрих***

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
На русском языке публикуется впервые

4

ФРИДРИХУ И ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРАМ
В БАРМЕН ***

[Бремен], 17—18 сентября [1838 г.]

17 сентября. Сначала черные чернила, затем начинаются красные ****.

Carissimi! In vostras epistolas haec vobis sit respondentia. Ego enim quum longiter latine non scripsi, vobis paucum scribero, sed in germanico-italianico-latino. Quae quum ita sint *****, то

* — Генрих Лёйпольд. *Ред.*

** — Прощай. *Ред.*

*** На обороте письма надпись: господину Фридриху Греберу. Адр. Господину пастору Греберу. Бармен. Франко. *Ред.*

**** Письмо от 17 сентября написано черными чернилами, письмо от 18 сентября написано красными чернилами, поперек текста предыдущего письма. *Ред.*

***** — Дражайшие! На ваши письма отвечаю нижеследующим. Так как я давно не писал по-латыни, то я напишу вам немного, но на немецко-итальянско-латинском. Поскольку это так. *Ред.*

вы не получите уже ни слова больше по-латыни, а все на чистом, прозрачном, ясном, совершенном немецком языке. Начну сейчас свой рассказ сразу с сообщения вам очень важной вещи: мой испанский романс провалился; этот парень, по-видимому, антиромантик, таким он и выглядит; но мое собственное стихотворение — «Бедуины» *, прилагаемое к письму, было помещено в другом журнале; только этот молодец изменил у меня последнюю строфу, чем создал невообразимую путаницу. Дело в том, что он, кажется, не понял слов: «вас люди в фраках не поймут, им вашей песни строй далек», потому что они кажутся странными. Главная мысль стихотворения заключается в противопоставлении бедуинов, даже в теперешнем их состоянии, публике, которая совершенно чужда им. А потому этот контраст не следует выражать одним голым описанием, данным в обеих резко обособленных частях; лишь в заключении он ярко выступает благодаря противопоставлению и заключительному выводу последней строфы. Кроме того, в стихотворении еще выражены отдельные мысли: 1) легкая ирония по адресу Коцебу и его приверженцев с противопоставлением ему Шиллера как доброго принципа нашего театра; 2) скорбь о теперешнем состоянии бедуинов с противопоставлением прежнему их состоянию; эти обе побочные мысли идут параллельно в обеих главных противоположностях. Убери последнюю строфу, и все идет прахом; но если редактор, желая сгладить заключение, пишет: «И после этого — позор — за деньги пред толпой плясать! У вас недаром тусклый взор, и на устах лежит печать!», — то, во-первых, заключение бледно, ибо оно составлено из использованных уже раньше общих фраз, а во-вторых, оно уничтожает мою главную мысль, ставя на ее место побочную: жалобу на состояние бедуинов и сопоставление его с прежним их состоянием. Итак, он навредил следующим образом: он совершенно уничтожил 1) главную мысль и 2) целостность всего стихотворения. Впрочем, это ему обойдется еще в один грот ($^1/_2$ зильбергроша), ибо он получит от меня надлежащую отповедь. Впрочем, лучше бы я не сочинял этого стихотворения, ибо мне совсем не удалось выразить свою мысль в ясной, изящной форме; риторические фразы... ** — не более, как риторические фразы, страна фиников и Билед Уль Джерид — это одно и то же, так что одна и та же мысль повторяется дважды в одних и тех же выражениях, а как неблагозвучны некоторые из фраз: «раскаты смеха» и «проворные уста!». Странное испытываешь чувство, когда видишь

* См. настоящий том, стр. 1—2. *Ред.*

** В тексте незаконченное слово: Str., вероятно, имеется в виду Штрюккер (Strücker) — товарищ Энгельса. *Ред.*

напечатанными свои стихи; они тебе стали чужими, и ты их воспринимаешь гораздо более остро, чем когда они только что написаны.

Я здорово смеялся, когда увидел вдруг свое произведение опубликованным, но у меня вскоре пропала охота смеяться; когда я заметил сделанные изменения, то пришел в ярость и варварски забушевал. — Satis autem de hac re locuti sumus! *

Я нашел сегодня утром у одного букиниста весьма своеобразную книгу: извлечения из «Деяний святых», но, к сожалению, только за первую половину года, с портретами, жизнеописаниями святых и молитвами, но все очень коротко. Она стоила мне 12 гротов (6 зильбергрошей), и столько же я заплатил за «Диогена Синопского, или Σωκράτης μαινόμενος **» Виланда.

С каждым днем я все более отчаиваюсь в своей поэзии и ее творческой силе, особенно с тех пор, как прочел у Гёте обе статьи «Молодым поэтам» [223], в которых я обрисован так верно, как это только возможно; из них мне стало ясно, что мое рифмоплетство не имеет никакой цены для искусства; но тем не менее я буду и впредь продолжать заниматься рифмачеством, ибо это — «приятное дополнение», как выражается Гёте, а иное стихотворение тисну в какой-нибудь журнал, потому что так делают другие молодцы, которые такие же, если не бóльшие, чем я, ослы, и потому также, что этим я не подниму и не понижу уровня немецкой литературы. Но когда я читаю хорошее стихотворение, то в душе мне становится всегда очень досадно: почему ты не сумел так написать! Satis autem de hac re locuti sumus!

Мои cari amici ***, ваше отсутствие очень чувствуется. Я часто вспоминаю о том, как я приходил к вам в вашу комнату; Фриц, устроившись уютно за печкой, сидел там с короткой трубкой во рту, а Вильм в своем длинном шлафроке шумно шагал по комнате и курил только четырехпфенниговые сигары и острил так, что комната дрожала, а затем появлялся могучий Фельдман, подобно ξανθὸς Μενελάος ****, и затем приходил Вурм, в длинном сюртуке, с палкой в руке, и мы бражничали так, что небу было жарко; а теперь надо ограничиваться письмами — это ужасно! Что вы мне из Берлина также аккуратно пишете, это constat ***** и naturaliter ******, письма туда требуют только одного лишнего дня по сравнению с письмами в Бармен. Мой

* — Однако довольно об этом! *Ред.*
** — Неистового Сократа. *Ред.*
*** — дорогие друзья. *Ред.*
**** — рыжему Менелаю. *Ред.*
***** — установлено. *Ред.*
****** — естественно. *Ред.*

адрес вы знаете; впрочем, это неважно, ибо я установил такое хорошее знакомство с нашим почтальоном, что он приносит мне всегда письма в контору. Однако honoris causa * вы можете на всякий случай написать: Санкт-Мартини Кирхгоф № 2. Источник этой дружбы с почтальоном тот, что у нас сходные имена: его зовут Энгельке. — Мне сегодня немного трудно писать это письмо: позавчера я отправил письмо Вурму в Бильк, а сегодня — Штрюккеру, первое в 8 страниц, второе в 7. А теперь и вы должны получить свою порцию. — Если вы получите это письмо до отъезда в Кёльн, то исполните следующее поручение: по прибытии туда разыщите Штрейтцейггассе, зайдите в типографию Эвереpта, № 51, и купите мне народные книги; «Зигфрид», «Уленшпигель», «Елена» у меня есть; важнее всего для меня: «Октавиан», «Шильдбюргеры» (неполное лейпцигское издание), «Дети Хеймона», «Доктор Фауст» и другие вещи, снабженные гравюрами; если встретятся мистические, то купите их тоже, особенно «Прорицания Сивиллы». Во всяком случае, вы можете истратить до двух или трех талеров, затем пошлите мне книги скорой почтой, со счетом [224]; я вам пришлю вексель на моего старика **, который вам охотно заплатит. Или так: вы можете прислать книги моему старику, которому я сообщу всю историю, а он мне их подарит на рождество или когда ему вздумается. — Новым занятием у меня является изучение Якоба Бёме; это темная, но глубокая душа. Приходится страшно много возиться с ним, если хочешь понять что-нибудь; у него богатство поэтических мыслей, и он полон аллегорий; язык его совершенно своеобразный: все слова имеют у него другое значение, чем обыкновенно; вместо существа, сущности [Wesen, Wesenheit] он говорит мучение [Qual]; бога он называет безоснованием [Ungrund] и основанием [Grund], ибо он не имеет ни основания, ни начала своего существования, являясь сам основанием своей и всякой иной жизни. До сих пор мне удалось раздобыть лишь три сочинения его; на первых порах этого достаточно. — Но вот вам мое стихотворение о бедуинах:

Еще один звонок, и вот
Взовьется занавеса шелк;
Свой напрягая слух, народ —
Весь ожидание — замолк.

Не будет Коцебу сейчас
Раскаты смеха вызывать,

* — почета ради. *Ред.*
** — Фридриха Энгельса-старшего, отца Энгельса. *Ред.*

Не Шиллер будет в этот раз
Златую лаву изливать.

Пустыни гордые сыны
Вас забавлять пришли сюда;
И гордость их, и воля — сны,
Их не осталось и следа.

Они за деньги длинный ряд
Родимых плясок пляшут вам
Под песню-стон; но все молчат:
Молчание к лицу рабам.

Где Коцебу вчера стяжал
Рукоплесканья шутовством,
Там бедуинам нынче зал
Дарит рукоплесканий гром.

Давно ль проворны и легки
Под солнцем шли они, в жару,
Чрез марокканские пески
И через фиников страну?

Или скитались по садам
Страны прекрасной Уль Джерид,
А кони про набеги вам
Твердили цокотом копыт?

Иль отдыхали близ реки
Под сенью свежего куста,
И сказок пестрые венки
Плели проворные уста?

Иль в шалашах ночной порой
Вкушали мед беспечных снов,
Пока вас не будил с зарей
Проснувшихся верблюдов рев?

О гости, вам не место тут,
Вернитесь на родной Восток!
Вас люди в фраках не поймут,
Им вашей песни строй далек.

18 [сентября]

Cur me poematibus exanimas tuis? * — воскликнете вы. Но я вас ими — или, вернее, из-за них — помучаю сейчас еще больше. У Гуилельмуса еще целая тетрадь моих стихов. Эту тетрадь я попрошу вернуть мне, и вот каким образом: всю неисписанную бумагу вы можете вырезать, а потом при каждом из своих писем прилагать по четвертушке; расходы на марки от этого не увеличатся. Если удастся, то можно добавить и еще клочок; если вы это умело вложите и хорошенько спрессуете до отправки письма, например, положив его на ночь между несколькими словарями, то эта публика ничего не заметит. Перешлите Бланку вложенный листок. У меня теперь обширнейшая переписка. Я пишу вам в Берлин, Вурму в Бонн, пишу в Бармен, Эльберфельд, — но без этого как мог бы я убить бесконечное время, которое я должен проводить в конторе, не имея права читать? Позавчера я был у своего старика **, id est principalis ***; его жену называют старухой [«Altsche»] (по-итальянски произносится точно так же слово alce, лось); его семья живет за городом, и я получил большое удовольствие. Старик — очень милый человек, он ругает своих детей всегда по-польски: ах вы, лайдаки, ах вы, кашубы! На обратном пути я старался разъяснить одному своему спутнику-филистеру красоту нижненемецкого языка, но увидел, что это невозможно. Такие филистеры несчастны, но в то же время сверхсчастливы в своей глупости, которую они принимают за высшую мудрость. Недавно вечером я был в театре; давали «Гамлета», но совершенно отвратительно. Уже лучше и не говорить об этом. — Очень хорошо, что вы едете в Берлин; в области искусства вы получите столько, сколько ни в одном университете, за исключением Мюнхена; зато по части поэзии природы будет скудно: песок, песок, песок! Здесь гораздо лучше. Дороги за городом большей частью очень живописны, разнообразные группы деревьев придают им большую прелесть; а горы, горы — черт возьми, как они хороши! Далее, в Берлине не хватает поэзии студенческой жизни, особенно развитой в Бонне, чему немало способствуют прогулки по поэтическим окрестностям. Но вы еще приедете в Бонн. Мой милый Вильгельм, я бы охотно ответил тебе на твое остроумное письмо так же остроумно, но у меня теперь совсем нет остроумия, да и охоты, которой нельзя вызвать у себя, а без нее все носит вымученный характер. Я чувствую, однако, что

* — Почему ты терзаешь меня своими стихотворениями? *Ред.*
** — Генриха Лёйпольдa. *Ред.*
*** — то есть принципала. *Ред.*

со мной неладно, точно у меня все мысли исчезают, точно у меня жизнь отнимают. Увяла листва на древе души, вымучены остроты мои, ядро их выпало из скорлупы. Бедные мои макамы, не сравниться им с твоими стихами, затмившими Рюккерта своими красами. Мои же макамы подагрой страдают, они хромают, погибают, они упали уже в пропасть безвестности и не добиться им известности. О горе, в своей каморке я сижу и молотком по голове стучу, а оттуда только вода течет, громко шумит и ревет. Однако это не помогает и вдохновения мне не возвращает. Вчера вечером, когда я ложился спать, я ударился головой; раздался такой звук, будто ударили по бочке с водой и вода плещется о другой бок ее. Я не мог не рассмеяться, когда истина предстала предо мной в таком непривлекательном виде. Да, вода, вода! В моей комнате вообще какая-то нечистая сила; вчера вечером я слышал, как в стене царапался древоточец, на улице, рядом, шумят утки, кошки, собаки, девки и люди. Впрочем, я требую от вас столь же длинного — даже более длинного — письма, et id post notas *, и чтобы было, как по нотам.

Самая превосходная книга церковных песнопений [225] — это, бесспорно, здешняя. В ней все знаменитости немецкой поэзии: Гёте (песня «Ты, что с неба»), Шиллер («Три слова веры») [226], Коцебу и многие другие. И швейцарские пастушьи песни, и всякого рода чепуха. Это невероятное варварство; кто этого сам не видел, тот не поверит; к тому же ужасное искажение всех наших прекрасных песен — преступление, лежащее также на совести Кнаппа (в его «Сокровищнице песен») [227]. — По поводу того, что мы отправляем партию окороков в Вест-Индию, мне вспомнилась следующая в высшей степени забавная история: однажды отправили партию окороков в Гавану; письмо со счетом на нее прибыло позже. И вот получатель, заметивший уже, что не хватает двенадцати окороков, читает в фактуре: «съедено крысами... 12 штук». А крысы — это молодые служащие из конторы, которые воспользовались этими окороками; теперь история забыта. — Решившись заполнить оставшееся еще место наброском и художественным изображением внешности (доктора Хе), я должен сказать вам, что вряд ли смогу много сообщить о своем путешествии, так как я это обещал прежде всего Штрюккеру и Вурму; я опасаюсь, что и им мне придется писать дважды, а трижды повторять всю эту болтовню, с прибавлением изрядной дозы всякой чепухи, — это было бы уж слишком. Но если Вурм согласится послать вам

* — и это после замечаний. *Ред.*

тетрадь, которую вряд ли он получит до конца этого года, то все устроится. В противном случае я не могу помочь вам, пока вы сами не приедете в Бонн.

Ваш преданнейший

слуга



Модный гений　　　Модный дурак

Привет П. Йонгхаусу; он может присоединить к вам свое письмо. Я бы ему тоже написал, но парень, наверное, уж сорвался с места.

Фридрих Энгельс

Отвечайте скорее. Ваш берлинский адрес!!!!!!!

Впервые с большими сокращениями опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 9. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

5

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

Бремен, 9—10 октября 1838 г.

9 октября

Дорогая Мария!

Наконец-то четыре страницы полны. Теперь уж я похвалю тебя так, что дым пойдет столбом, как это говорится. Время для верховой езды, к сожалению, уже кончилось, и поэтому я по воскресеньям большей частью сижу дома, но я и дома тоже получаю массу удовольствий: то я прошу мне что-нибудь сыграть или спеть, то пишу, а вечером занимаемся всякой чепухой; позавчера, это было, как известно, воскресенье, мы положили кольцо

в миску, полную муки, и стали играть в известную игру — доставать кольцо ртом. Все мы занимались этим делом — г-жа пасторша *, девушки, художник ** и я с ними; а г-н пастор *** в это время сидел в углу на диване и, пуская дым из сигары, тоже смотрел на этот фокус-покус. Г-жа пасторша никак не могла удержаться от смеха, когда подошла ее очередь доставать кольцо, и она вся выпачкалась в муке, а когда настала очередь художника, он начал изо всех сил дуть в чашку, так что во все стороны поднялась мучная пыль и как туман осела на его зеленом с красным халате. Потом мы бросали друг в друга мукой в лицо, я взял пробку и намазал себе лицо черной краской, все рассмеялись, а когда я тоже засмеялся, они стали хохотать еще яростнее и громче, тогда я тоже засмеялся очень громко, вот так: «хе- хе- хе- хе- хе», а все остальные засмеялись так: «хи- хи- хи- хи- хи, ха- ха- ха- ха- ха», это было как в сказке, когда еврею пришлось плясать в шиповнике; наконец, они стали меня умолять Христом богом, чтобы я перестал.

Ты все-таки порядочная глупышка. Если Етхен Трост наводит на тебя скуку, почему ты ее не выгоняешь?

Теперь глупышка начинает читать мне мораль; это трогательно. Скажи, пожалуйста, глупышка, разве ты не знаешь пословицы: «око за око, зуб за зуб»? Разве ты не знаешь, что если ты будешь писать мелко-мелко, так я все равно пишу еще в два раза мельче, чем ты? Но покончим с этим делом — если ты напишешь мне четыре страницы, то получишь тоже четыре страницы и на этом баста. Впрочем, если бы ты знала, сколько писем я написал на этой неделе и сколько мне еще предстоит написать, то была бы ко мне более великодушна и довольствовалась бы двумя страницами. Спроси как-нибудь Штрюккера, сколько я ему писал, спроси Вурма — впрочем, его нет — ну, так я тебе скажу: не меньше 12 таких страниц, как эти, и еще столько же написал поперек красными чернилами. Но он пишет мне ровно столько же. Кроме того, мне же ведь приходится писать матери,. Герману ****, Августу *****, Рудольфу ******. Сколько же будет всего? Я думаю, что, поскольку ты можешь читать и другие письма, то в дальнейшем будешь более справедливой и потребуешь с меня вполовину меньше того, чем ты пишешь сама. — Ты считаешь, что я превозношу Анну******* до небес, нет,

* — Матильда Тревиранус. *Ред.*
** — Г. В. Фейсткорн. *Ред.*
*** — Георг Готфрид Тревиранус. *Ред.*
**** — Герману Энгельсу. *Ред.*
***** — Августу Энгельсу. *Ред.*
****** — Рудольфу Энгельсу. *Ред.*
******* — Анну Энгельс. *Ред.*

вовсе нет, я этого не делаю, но если она пишет мне четыре страницы, а ты только три, то разве она все же не лучше тебя? А если этого не считать, я охотно признаю, что ты хорошая девчонка и пишешь мне прилежней всех. Но ты все же не должна позволять себе устраивать мне такие скандалы и сцены и воображать, что ты одна права во всем, хотя на деле ты, собственно, должна умолять меня на коленях о прощении. — Ты жалуешься на корсет для выпрямления спины, ну и глупенькая, старайся сама держаться прямо, тогда его тебе не будут надевать. — У нас здесь была такая точно погода, какая, как ты писала, была у вас; а теперь здесь погода ужасная, непрерывно моросит дождь или идет мокрый снег, а то начинается ливень, потом раз в сутки выглядывает клочок голубого неба и один раз в полгода — солнечный луч.

Итак, ты хочешь, чтобы я написал тебе, что мне нужно к рождеству? Того, что у меня есть, мне не доставай, пожалуйста, а из того, чего у меня нет, ну что бы тебе такое написать? Вышей мне кисет или — я не знаю что, но ты можешь примерно каждые два-три дня напоминать маме, чтобы она мне к рождеству прислала Гёте; он мне действительно очень нужен, так как что ни станешь читать, все ссылаются на Гёте. «Кто такой был Гёте?» Г-н Рипе: «Дети, это был — !»

В твоем чертеже птичьего двора я очень легко сумел разобраться, это очень практичная постройка: кошки и хорьки не могут туда проникнуть, а птицы не могут оттуда выйти.

В прошлую пятницу я был в театре, давали «Ночной лагерь в Гранаде» *, очень милая опера; сегодня вечером идет «Волшебная флейта» **, я должен пойти. Хочу узнать, что это за вещь, надеюсь, что превосходная.

10 октября. В театре я был, и «Волшебная флейта» мне очень понравилась. Я бы хотел, чтобы и ты могла как-нибудь сходить со мной туда, бьюсь об заклад, что тебе бы очень понравилось. — Да, Мария, ну о чем же мне написать тебе еще? Может быть, за неимением лучшего, мне следует поболтать немножко? Действительно, ничего лучшего в голову не приходит, а ты и так ведь будешь довольна, если четыре страницы будут целиком заполнены, что бы там ни было написано. Здесь в Бремене купеческие дома построены очень своеобразно: они выходят на улицу не длинной стороной, как наш дом, а, наоборот, узкой, крыши тесно прижимаются друг к другу, сени просторные

* — Опера К. Крейцера. *Ред.*
** — Опера Моцарта. *Ред.*

и высокие, как маленькие церкви. Наверху и внизу, прямо друг над другом, расположены люки, которые закрываются опускными дверцами, через них может ходить вверх и вниз канат лебедки; ведь на чердаке помещается склад товаров, и через люк с помощью лебедки сюда подаются кофе, полотно, сахар, ворвань и т. д. В сенях же всегда имеется два ряда окон, один над другим. — Сейчас г-жа консульша опять переехала в город со своими четырьмя маленькими детьми; они ужасно буянят. К счастью, двое из них, Элизабет и Лойн (что значит Людвиг), ходят в школу, благодаря чему у нас не целый день стоит шум, но, когда Лойн и Зигфрид вместе, они поднимают такой визг, что это совершенно невыносимо. На днях они прыгали на ящиках из-под полотна, каждый был вооружен ружьем и саблей; они вызывали друг друга на единоборство, и при этом Лойн начинал трубить в свою раковину так, что звенело в ушах. Мне бывает очень весело: перед моей конторкой находится большое окно, из которого видны сени, и я могу подробно наблюдать все, что там происходит.

За то, что ты нарисовала мне птичий двор, я рисую тебе церковь, как ее видно из окна конторы. Farewell *.



Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* — До свидания. *Ред.*

6
МАРИИ ЭНГЕЛЬС
В БАРМЕН *

Бремен, 13 ноября 1838 г.

Дорогая Мария!

Оба твои письма очень обрадовали меня, и я постараюсь рассказать тебе еще что-нибудь, насколько это позволит место и время. Дело в том, что сейчас уже четвертый час, а в четыре письмо уже должно быть на почте. Но мне, собственно, действительно не о чем рассказывать, здесь не происходит ничего необычного, если не считать того, что бременцы опять выставили обе свои великолепные пушки у гауптвахты, что здесь вместо «скамеечка для ног» [Fußbank] говорят «подножка» [Fußtritt], что здесь очень многие носят макинтоши, что сегодня ночью было страшно холодно и цветы на окнах замерзли, что сейчас светит солнце и т. п. Я вспомнил еще об одном деле, о котором ты должна сказать матери, а именно: в конце сентября я написал Греберам и просил их, если они поедут в Кёльн, прислать мне народные книги, а деньги взять у отца **. Однако они сами не поехали, а написали об этом своему двоюродному брату; и если он пришлет что-нибудь per mezzo *** г-на пастора Гребера, то это будет хорошо, и отец, наверное, сделает мне одолжение и заплатит ему за мой счет; если он ничего не пришлет — тоже хорошо, и у вас не будет никаких хлопот. Я написал бы раньше об этом, но только сегодня получил исчерпывающие сведения о необходимой процедуре. Вильгельм Гребер пишет мне также — это для тебя как раз интересно, — что в Берлине нет собственно уборных, а имеются лишь переносные стульчаки, причем за них надо платить отдельно, и это обходится в 5 зильбергрошей в месяц. Но они, как сыновья пастора, и в этом отношении освобождаются от пошлины. Они также много рассказывают мне о своей пешеходной экскурсии по Гарцу и на Блоксберг и как они ехали от Магдебурга до Берлина с одним долговязым гвардейским унтер-офицером. Если ты меня когда-нибудь навестишь, то я прочту тебе всю эту историю, а также историю о прекрасной Доротее, которая произошла в Зибертале, в Гарце. Там один богатый-пребогатый господин влюбился в маленькую девочку семи лет и дал ее отцу кольцо, в знак того, что вер-

* На обороте письма надпись: Госпоже Элизе Энгельс. Адр. Господину Фридр. Энгельсу и К°. Бармен. *Ред.*

** См. настоящий том, стр. 345. *Ред.*

*** — через посредство. *Ред.*

нется и женится на ней, когда кольцо будет ей впору. Когда он через десять лет вернулся, оказалось, что девушка умерла год тому назад, и этот господин от тоски тоже умер, о чем Фриц Гребер сочинил трогательную песню и т. д. Но страница уже кончается, я хочу переписать еще одно письмо, которое должно уйти вместе с этим, а потом уже пойду на почту. Пишешь ли ты Иде *? Г-ну Холлеру Юльхен ** в Мангейме очень понравилась, но Карл *** очень злился, что он так часто заходил к ней, не рассказывай только об этом никому.

Adieu ****, дорогая Мария.

Твой

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

7

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

[Бремен, конец декабря 1838 г.]

Дорогая Мария!

Тебе что-то надо сделать со своими болезнями, чуть что — ты сразу в постель, от этого нужно отвыкать. Чтобы ты была на ногах, когда получишь это письмо, слышишь? За красивый кисет спасибо; должен заверить тебя, что он получил наивысшую оценку у самого строгого из всех критиков, г-на Г. В. Фейсткорна — художника, который полностью одобрил как выбор рисунка, так и выполнение. Мария Тревиранус тоже вышила мне кисет, но она потом его взяла обратно и отослала в Мюнстер на Штейне, около Крёйцнаха, г-ну пастору Хесселю, которому Мария тоже обещала таковой. За это она сделает мне корзиночку для сигар. Г-жа пасторша ***** связала мне кошелек. Мальчики Лёйпольда тоже получили пистонное ружье и саблю, и старик ****** обращается к ним не иначе, как: «Эй ты, вояка!», «Эй ты, кашуб!» Что это за загадка о пруде, я не знаю, но я

* — Иде Энгельс. *Ред.*
** — Юлия Энгельс. *Ред.*
*** — Карл Энгельс. *Ред.*
**** — Прощай. *Ред.*
***** — Матильда Тревиранус. *Ред.*
****** — Генрих Лёйпольд. *Ред.*

хочу задать тебе другую — знаешь ли ты, что такое лайдак? (Я сам этого не знаю, это бранное слово, которое старик употребляет очень часто.) * А вот и разгадка: если ты не угадаешь, то подержи фразу перед зеркалом, и тогда ты прочтешь. Только что я узнал, что у Лёйпольдов прибавление семейства: у них родилась девочка.

Хочу еще сообщить тебе, что теперь я занимаюсь композицией, а именно, сочиняю хоралы. Однако это чрезвычайно трудно: такты, диезы и аккорды доставляют много хлопот. До сих пор я еще не очень далеко ушел, но всё же хочу тебе преподнести один образец. Это две первые строки из гимна: «Наш бог — могучая крепость» **



Дальше мне удалось написать только для двух голосов — для четырех еще слишком трудно. Надеюсь, что я не сделал никакой ошибки в нотах, попробуй как-нибудь сыграть эту вещь.

Adieu ***, дорогая Мария.

Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* Предложение в скобках в подлиннике написано зеркальным способом в обратном порядке букв. *Ред.*

** Начальные строки из церковного хорала Мартина Лютера. *Ред.*

*** — Прощай. *Ред.*

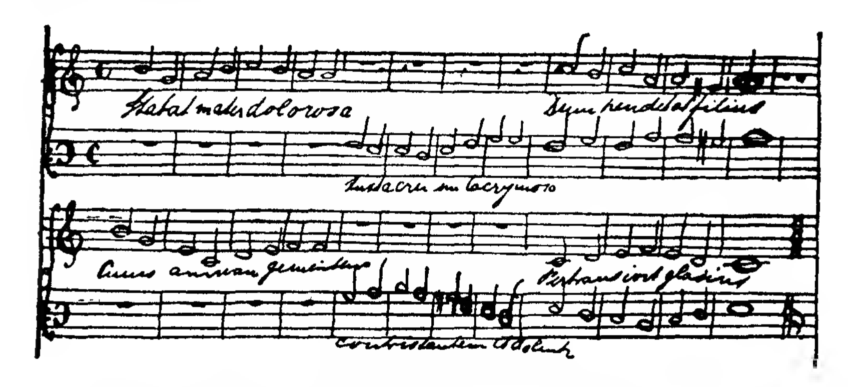
1839 год

8
МАРИИ ЭНГЕЛЬС
В БАРМЕН

[Бремен], 7 января 1839 г.

Дорогая Мария!

Надеюсь, что зуб тебе уже выдернули или дело обошлось без этого. — Загадка о пруде очень хороша, но ты сможешь ее решить сама. Ты знаешь, сочинять музыку — это трудная штука, здесь надо обращать внимание на столько разных вещей, на гармонию аккордов, на правильное применение контрапункта, все это требует большого труда. Но я постараюсь в ближайшее время прислать тебе еще кое-что. Я занят теперь сочинением нового хорала. Здесь в вокальной партии чередуются бас и сопрано. Посмотри-ка.



Аккомпанемента еще нет, вероятно, я потом изменю кое-что. Ясно, что большая часть здесь, за исключением 4-й строки,

списана из книги церковных песнопений. Текст — это известный латинский гимн: «Stabat mater dolorosa Juxta crucem lacrymosa Dum pendebat filius» *.

Сегодня в полдень г-н пастор ** зарезал свинью в прачечной, г-жа пасторша *** сначала ничего не хотела об этом и слышать, но он сказал, что подарит ей свинью, тогда ей пришлось согласиться. Свинья даже не взвизгнула. Когда она уже была зарезана, вошли все женщины из семьи пастора. Но старая бабушка никому не позволила собрать кровь, и это выглядело очень комично; завтра будут делать колбасу, это для нее высшее наслаждение.

Ты говоришь, будто видела обезьяну и будто это была ты сама; а знаешь, что на облатке, которой ты запечатала свое письмецо, была надпись: «Je dis la vérité» ****?

Там также нарисовано зеркало.

Скажи маме, чтобы она больше не писала: «Тревиранус», она может вообще исключить имя г-на пастора из адреса, ведь почтальон знает, где я живу, так как я ежедневно отношу письма на почту; кроме того, он поддается тогда искушению отнести их мне не в контору, а к Тревиранусам, и тогда я их получаю уже на несколько часов позже, когда возвращаюсь домой.

Штрюккер написал мне, будто Герман ***** в воскресенье перед Новым годом выступал в разных ролях, играл кельнера и пр., пусть же он напишет мне об этом. — Штрюккер очень хвалит его искусство, он так прекрасно изобразил кельнера, как будто три года служил в гостинице. Он, наверное, усиленно растет?

Пусть мать не показывает музыкальные сочинения Шорнштейну, а то он опять скажет: «Это уже слишком». Ведь я узнаю все, что у вас происходит. В следующий раз, когда я опять приеду в Бармен, я стану бременским консулом, как старик ******.

Addiós mi hermana *******.

Твой

Фридрих

* «Скорбно под крестом стояла мать и слезы проливала, видя сына на кресте». (Начальные слова духовного католического гимна, посвященного богоматери. На слова гимна писали музыку многие композиторы, в том числе Перголезе, Палестрина, Россини). *Ред.*

** — Георг Готфрид Тревиранус. *Ред.*

*** — Матильда Тревиранус. *Ред.*

**** — Я говорю правду. *Ред.*

***** — Герман Энгельс. *Ред.*

****** — Генрих Лёйпольд. *Ред.*

******* — Прощай, сестра. *Ред.*

Многочисленные описки басовой партии ты должна мне простить, ведь я не привык писать ноты. На тот случай, если ты не смогла прочесть предпоследнюю строчку, привожу ее еще раз.



Впервые опубликовано с небольшим сокращением в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920 и полностью в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

9

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен], 20 января [1839 г.]

Фрицу Греберу

Флорида

I

Дух земли говорит:

Уж триста лет прошло с тех пор, когда
Они пришли с прибрежий океана,
Где бледнолицых были города.

Добычей сильных стали наши страны;
Тогда из моря поднял я кулак,
Посмеет ли ступить сюда нога тирана.

На нем росли леса, цветы и злак,
И бороздил глубокие долины
Моих индейцев мужественный шаг.

Предвечный бог на холмы и равнины
Благословенье лил, но вот пришли
На корабле заблудшем властелины.

Им был по нраву вид моей земли;
Как острова, они ее забрали,
Народ же мой на рабство обрекли.

Былых межей они не признавали,
Квадрантом мне измерили ладонь
И чуждые в ней знаки начертали.

Во все концы проникли, как огонь, —
Один лишь палец не достался белым:
Кто жизнью дорожит, его не тронь!

На этот палец я движеньем смелым
Кольцо из краснокожих водрузил,
Свою защиту их доверив стрелам.

И если б враг кольцо разъединил,
А их щиты меня не защитили,
В кипящий вал тогда бы погрузил
Я руку, где враги так долго вместе жили.

II

Семинол говорит:

Не мир я возвещу своим собратьям,
Призыв мой — битва, лозунг мой — война!
И если взор ваш запылал проклятьем,

Как молнией зажженная страна,
То словом солнце вы меня назвали
Заслуженно в былые времена!

Как на охоте вы подстерегали
Зверей невинных в рощах и полях
И стрелы в них несметные вонзали,

Так вас подстерегает белый враг.
Но пусть теперь покажут ваши стрелы,
Что вы — охотники ему на страх!

К нам завистью исполнен без предела,
Наш враг в одежды пестрые одет,
Чтоб белое не показать нам тело.

Наш край был ими назван Пышноцвет
Затем, что пышно в нем произрастают
Цветы, — каких здесь красок только нет!

Но нынче все пусть пурпур надевают,
Что бледнолицых окропила кровь,
И сам фламинго ярче не пылает:

Пусть нашу ненависть узнают, не любовь!
Плохими были б мы для них рабами, —
Так негры пусть им вспашут нашу новь!

Идите ж, белые, отныне сами
Себе вы обеспечили почет:
За каждым деревом, за тростниками
С своим колчаном Семинол вас ждет!

III

Белый говорит:

Ну, что ж! Лицом к лицу в последний раз
Столкнуться я хочу с судьбой суровой
И встретить сталь холодным блеском глаз!

Свирепость рока для меня не нова,
Ты радость отравляла мне всегда;
Не для меня любви звучало слово!

Насмешкой сердце ранила мне та,
Кого любил я; помню, утешенья
В борьбе за вольность я искал тогда.

Германских юношей объединенье
Князьям и королям внушало страх,
За наш союз я отдал в искупленье

Семь лучших лет в железных кандалах,
На корабле меня потом услали,
Я буду вольным — но в чужих краях!

Уж манит брег! Но в налетевшем шквале
Разбит корабль, и в бешеный поток
Мои друзья и спутники упали.

Я укрепился между двух досок,
Впервые для меня блеснуло счастье,
Других же всех постиг печальный рок.

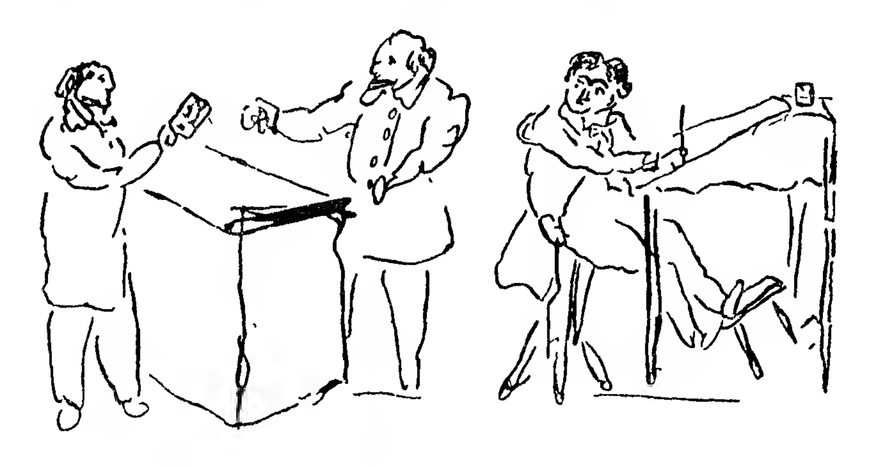
Конец ли зол? Увы, теперь во власти
У диких я, что, встретив на пути,
Меня влачат на смерть, в священной страсти.

В краю, где я мечтал свободы воздух пить,
Свободы дети мне готовят мщенье,
И братьев грех я должен искупить!

Но что за светлое плывет виденье?
Распятье! Как влекут меня к себе
Черты священные, когда благословенья

Я жду, вверяясь гибельной судьбе!
Ко мне спасителя простерты руки!
Я здесь ропщу, но, с духом тьмы в борьбе,
Не за меня ль сам бог был предан муке?

Вот тебе моя лепта для ближайшей вечеринки; я узнал, что она опять происходила у нас, и очень жалел, что не послал ничего. Теперь отвечаю на твое письмо. — Ага! Почему ты не читаешь газеты? Ты бы тогда тотчас узнал, что в газете было помещено об этой истории, а что нет. Я не виноват, что ты срамишь себя. В газете были помещены лишь официальные отчеты сената, которые, конечно, другими быть не могут. Комедия с Плюмахером была, вероятно, очень интересна, я дважды писал по поводу этого, но он мне ни звуком не ответил. Что касается Йонгхауса и его любовной истории, то у меня с ним еще будет особая беседа на эту тему. Вы, друзья, всегда ссылаетесь на «то и сё», мешающее вам писать; но скажи, разве ты не можешь со дня получения моего письма писать каждый день по полчаса? В три дня ты бы справился с письмом. Мне приходится писать целых пять штук, пишу я гораздо убористее, чем вы, и, однако, успеваю все сделать в четыре-пять дней. Это же ужасно! Восемь дней я вам даю сроку, но на девятый день по получении моего письма вы должны отправить свое на почту. Иначе нельзя; если я и дал Вурму другие распоряжения, то теперь я их отменяю. Восемь дней срока я вам даю — в противном случае вступают в силу указанные Вурму наказания: никаких стихов и столь же долгое молчание.



Почтальон: Господин консул, письмо!
Консул Лёйпольд: Ага, хорошо.
Энгельс: Для меня ничего нет?
Почтальон: Нет, ничего.

Вот тебе гравюра на дереве в стиле народных книг, которая тебе ясно покажет, как я жду вас, то есть ваших писем. Я думал, что еще успею отослать сегодня (воскресенье, 20 января) письма. Но вот уже бьет половина пятого, а почта сегодня уходит в пять, — снова ничего не вышло. Ну и хорошо, теперь я могу спокойно оправиться, а затем спокойно написать вам письмо. За письмо Петеру Йонгхаусу я до сих пор не мог приняться. Но черт возьми, кто-то там сидит в уборной, а меня всего распирает.

Замечательно, что если мы сопоставим наших величайших поэтов, то окажется, что они дополняют друг друга всегда попарно. Клопшток и Лессинг, Гёте и Шиллер, Тик и Уланд. А теперь Рюккерт стоит совершенно одиноко, и вот интересно, обретет он свою пару или так и умрет. Похоже на то. Как поэта любви, его можно было бы сопоставить с Гейне, но, к сожалению, они в других отношениях так разнородны, что их никак нельзя соединить. Клопштока и Виланда можно сочетать хотя бы как противоположности, но у Рюккерта и Гейне нет ни малейшего подобия, они абсолютно различны. Берлинская группа «Молодой Германии» [5] представляет недурную компанию! Они хотят преобразовать нашу эпоху в эпоху «состояний и тонких взаимоотношений», другими словами: мы пишем, что в голову взбредет, и, чтобы заполнить страницы, мы изображаем несу-

ществующие вещи, и это мы называем «состояниями»; или же мы перескакиваем с пятого на десятое, и это сходит под именем «тонких взаимоотношений». Этот Теодор Мундт марает, что ему в голову взбредет, о мадемуазель Тальони, «танцующей Гёте», украшает себя тем, что нахватал у Гёте, Гейне, Рахили * и Штиглица, пишет забавнейшую ерунду о Беттине **, но все до того современно, до того современно, что у всякого щелкопёра или у какой-нибудь молодой, тщеславной, сластолюбивой дамы обязательно явится охота прочесть это. А Кюне, агент Мундта в Лейпциге, редактирует «Zeitung für die elegante Welt», и эта газета выглядит теперь, точно дама, напялившая на себя современное платье, хотя телосложение ее создано для фижм, так что при каждом шаге ее видна сквозь тесно прилегающую ткань очаровательная кривизна ног. Замечательно! А этот Генрих Лаубе! Парень без устали малюет характеры, которых не существует, пишет путевые новеллы [228], которые вовсе не являются таковыми, городит всякую чепуху. Это ужасно! Я не знаю, что будет с немецкой литературой. У нас три талантливых автора: Карл Бек, Фердинанд Фрейлиграт и Юлиус Мозен; третий, правда, еврей; в его «Агасфере» [229] вечный жид бросает повсюду вызов христианству; Гуцков, среди прочих еще наиболее разумный, порицает его за то, что Агасфер — ординарная натура, настоящий еврей-торгаш [230]; Теодор Крейценах, тоже juif ***, яростно нападает на Гуцкова в «Zeitung für die elegante Welt» [231], но Гуцков для него недосягаем. Этот Крейценах — заурядный писака, возносит Агасфера до небес, как раздавленного червя, и изрыгает хулу на Христа, как на самовластного, гордого господа бога; конечно, говорит он, в народной книге Агасфер совсем ординарная фигура, но ведь и Фауст в ярмарочных балаганах зауряднейший колдун, что не помешало Гёте вложить в него «психологию нескольких веков». Последнее, ясно, имеет быть бессмыслицей (если не ошибаюсь, это чисто латинская конструкция), но меня это трогает только из-за народных книг. Конечно, если Теодор Крейценах ругает их, то они, видите ли, должны быть очень, очень плохими. Однако я осмеливаюсь заметить, что в народном Агасфере больше глубины и поэзии, чем во всем Теодоре Крейценахе вместе с его милой компанией.

Я работаю теперь над некоторыми эпиграммами; несколько уже готовых сообщаю тебе:

---

* — имеется в виду Рахиль Варнхаген фон Энзе. *Ред.*
** — Арним. *Ред.*
*** — еврей. *Ред.*

Журналы и газеты

1. «Телеграф» *

Сам ты себя скорописцем зовешь, а тогда мудрено ли,
Что наполняет тебя наскоро писаный хлам.

2. «Утренний листок» **

Утром прочтешь ты меня, а вечером вряд ли припомнишь,
Чистый ли был пред тобой иль напечатанный лист.

3. «Вечерняя газета» ***

Если долго не спится тебе, то возьми меня в руки,
И благодетельным сном будешь ты сразу объят.

4. «Литературный листок» ****

В литературном лесу листок этот — самый колючий,
Но до чего же он сух! Ветер сдувает его.

Ничего другого в голову не приходит, поэтому я вынужден на этом кончить. Придется, как вижу теперь, здорово поторопиться, чтобы мне, бедняге, к завтрашнему дню управиться с письмами; сейчас у нас будут гости, а завтра много беготни и переписки, так что не бесполезно будет писать очень быстро.

Я читаю теперь четырехтомный роман Дуллера «Император и папа» [40]. У Дуллера раздутая репутация, его виттельсбаховские романсы [232], из которых многие можно найти у Хюльштетта [233], ужасно плохи; он хотел подражать народной поэзии и стал вульгарным; его «Лойола» — отвратительная смесь всех хороших и дурных элементов исторического романа, приправленная скверным стилистическим соусом; его «Жизнь Граббе» [234] страшно неверна и одностороння; роман, который я сейчас читаю, уже лучше: отдельные характеры хороши, другие — очерчены по меньшей мере недурно, отдельные ситуации схвачены довольно хорошо, а придуманные персонажи интересны. Но, судя по первому тому, у него совершенно отсутствует чувство меры в обрисовке второстепенных лиц и сов-

* — «Telegraph für Deutschland». *Ред.*
** — «Morgenblatt für gebildete Leser». *Ред.*
*** — «Abend-Zeitung». *Ред.*
**** — «Literatur-Blatt». *Ред.*

сем нет новых, смелых взглядов на историю. Ему ничего не стоит убить в конце первого тома наилучше обрисованный им тип, и у него большое пристрастие к странным родам смерти: так, один герой умирает у него от ярости в тот самый момент, когда собирается вонзить кинжал в грудь своему врагу; сам этот враг стоит на кратере Этны, где он намерен отравиться, когда открывшаяся в горе трещина погребает его в потоке лавы. Описание этой сцены, а с ним и весь том, заканчивается следующими словами: «Волны океана сомкнулись над верхушкой солнечного диска» [235]. Очень пикантное, хотя по существу банальное и глупое заключение. Пусть оно также послужит и заключением моего письма. Addio, adieu, á dios, adeus *.

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые в виде отрывка опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 9. Heft, Berlin, 1913, с небольшими сокращениями в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920 и полностью в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

10

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен, 19 февраля 1839 г.]

Et tu, Brute? Friderice Graeber, hoc est res quam nunquam de te crediderim! Tu jocas ad cartas? passionaliter? O Tempores, o moria! Res dignissima memoria! Unde est tua gloria? Wo ist Dein Ruhm und Dein Christentum? Est itum ad Diabolum! Quis est, qui te seduxit? Nonne verbum meum fruxit (hat gefruchtet)? O fili mi, verte, sonst schlag ich Dich mit Rute und Gerte, cartas abandona, fac multa bona, et vitam agas integram, partem recuperabis optimam! Vides amorem meum, ut spiritum faulenzendeum egi ad linguam latinam et dic obstupatus: quinam fecit Angelum ita tollum, nonsensitatis vollum, plenum et, plus

* — До свиданья (на итальянском, французском, испанском, португальском языках). *Ред.*

ancora viel: hoc fecit enorme Kartenspiel! * Углубись в себя, преступник, подумай, какова цель твоего существования! Разбойник, подумай, как ты грешишь во всем, что священно и несвященно! Карты! Они вырезаны из кожи дьявола. О вы, злодеи! Я думаю о вас только со слезами или со скрежетом зубовным! Ах, меня охватывает вдохновение! Девятнадцатого дня второго месяца 1839 г., днем, так как обед бывает в двенадцать часов, меня схватил вихрь и понес вдаль, и я увидел, как они играли в карты, а было время обедать. Продолжение следует. И вот поднялась с востока страшная гроза, так что оконные стекла дрожали и град непрерывно падал, но они продолжали играть. Из-за этого поднялся спор, и царь восхода двинулся против князя заката, и полночь снова огласилась криками бойцов. И князь моря поднялся против стран восхода, и началась такая битва перед его городом, какой человечество не видело. Но они продолжали играть. И с неба сошли семь духов. Первый был одет в длинный сюртук, и его борода простиралась до груди. Его они называли Фаустом. У второго духа были седые волосы вокруг лысой головы, и он восклицал: «Горе, горе, горе!». Его они называли Лиром. И третий дух был высок и могуч, имя его было Валленштейн. И четвертый дух был, как дети Энаковы, и носил дубину, подобную кедрам ливанским. Его они называли Гераклом. И пятый дух был весь закован в железную броню, и его имя было написано у него на лбу: Зигфрид. И рядом с ним шел мощный боец, чей меч сверкал, как молния, — это был шестой, и он назывался Роланд. И седьмой дух нес тюрбан на конце своего меча и размахивал вокруг головы знаменем, на котором было написано: Mio Cid **. И семь духов постучали в дверь игроков, но они на это не обратили внимания. И вот пришел с полуночи великий свет, который промчался вдаль через всю землю, как орел, и когда он исчез, я уже больше не видел игроков. Но на двери было начертано черными знаками: ובּרלין ***. И я умолк.

* — И ты Брут? Фридрих Гребер, это вещь, которой я никогда не ожидал от тебя! Ты играешь в карты? Страстно? О времена, о нравы! Вещь, весьма заслуживающая того, чтоб ее запомнить! Где твоя слава, где твое христианство? Все пошло к черту! Кто тебя соблазнил? Неужели мое слово не подействовало? О, сын мой, образумься, не то буду стегать тебя хлыстом и прутом, оставь карты, твори много добра и веди чистую жизнь — вновь обретешь благую долю! Ты видишь любовь мою, заставившую мой ленивый дух обратиться к латинскому языку, и скажи в изумлении: кто довел ангела до такого безумия, кто преисполнил его нелепостями и вещами почище того: это сделала неумеренная карточная игра! (В этой части письма, написанной по-латыни со вставками немецких слов и фраз, окончания некоторых слов умышленно искажены ради рифмы.) *Ред.*

** — Я — Сид. *Ред.*

*** — Берлин! *Ред.*

Если мое письмо к Вильгельму не достаточное доказательство моего безумия, то теперь, надо надеяться, никому из вас не придет в голову сомневаться в этом. Если нет, то постараюсь убедить вас еще более наглядно.



Будущее пяти картежников

Только что я прочел в журнале «Telegraph» рецензию на стихотворения барменского миссионера Винклера [236]. Их страшно разносят; приводится масса отрывков, свидетельствующих о подлинно миссионерском вкусе. Если журнал попадет в Бармен, то репутации Гуцкова, и без того неважной, придет там конец. Эти отрывки ужасны, отвратительнейшие образы, Поль по сравнению с этим ангел. «Господи Иисусе, исцели кровотечение моих грехов» (намек на известную историю в евангелии *) и т. п. вещи. Я все более и более отчаиваюсь в Бармене: в литературном отношении это конченный город. То, что там печатается, за исключением проповедей, по меньшей мере, чепуха; религиозные вещи обыкновенно бессмысленны. Недаром называют Бармен и Эльберфельд обскурантистскими и мистическими городами; у Бремена та же репутация, и он имеет большое сходство с ними; филистерство, соединенное с религиозным фанатизмом, к чему в Бремене еще присоединяется гнусная конституция, препятствуют всякому подъему духа, и одним из главнейших препятствий является Ф. В. Круммахер. — Бланк страшно жалуется на эльберфельдских пасторов, особенно на Коля и Германа; я хотел бы знать, прав ли он; особенно упрекает он их в сухости; только Круммахер, по его

* Библия. Новый завет. Евангелие от Луки, глава 8, стих 43. *Ред.*

словам, составляет исключение. — Необычайно комично то, что миссионер говорит о любви. Постой, я сейчас сочиню нечто подобное.

Объяснение пиетиста в любви

Честная дева! К тебе, после борьбы большой и упорной
Против соблазнов мира, пришел я с просьбой покорной.
Не согласишься ли ты стать мне законной женой,
Тем перед господом богом долг исполняя свой!
Правда, тебя не люблю я, об этом не может быть речи,
Бога в тебе я люблю, который —

нет, не выходит; нельзя пародировать такие вещи, не затрагивая вместе с тем самое святое, за которое этот народ укрывается. Хотел бы я увидеть такой брак, где муж любит не свою жену, но Христа в своей жене; тут сейчас же возникает вопрос: не спит ли он также с Христом в образе своей жены? Где в библии мы найдем подобную бессмыслицу? В «Песне Песней» написано: «Как сладка ты, любовь, в наслаждениях» *, но теперь, конечно, порицают всякую защиту чувственности, вопреки Давиду, Соломону и бог знает кому. Это меня страшно раздражает. Эти молодцы к тому же хвалятся, будто они обладают истинным учением, и осуждают всякого, который не то, что сомневается в библии, но толкует ее иначе, чем они. Чисто они это обделывают. Приди-ка к кому-нибудь из них с тем, что такой-то и такой-то стих вставили позже, — уж они тебе зададут. Густав Шваб — чудеснейший из парней на свете, он даже ортодоксален, но мистики невысоко ценят его потому, что он не всегда заводит духовные песни на манер «Ты говоришь, я христианин», и потому, что в одном стихотворении он намекает на возможность примирения между рационалистами и мистиками. Прежде всего, религиозной поэзии приходит конец, пока не явится некто, кто даст ей новый подъем. У католиков, как и у протестантов, продолжается старая рутина: католики сочиняют гимны Марии, протестанты распевают старые песни, полные самых прозаических выражений. Какие гнусные абстракции: освящение, обращение, оправдание и бог знает что еще за loci communes ** и избитые риторические обороты! С досады на теперешнюю религиозную поэзию, то есть из чувства благочестия, берет чертовская злость. Неужели наше время так мерзко, что не найдется человека, который мог бы проложить новые пути для религиозной поэзии? Впрочем, я думаю, что для этого

* Библия. Ветхий завет. Книга Песни Песней Соломона, глава 7. *Ред.*

** — общие места. *Ред.*

самый подходящий способ, тот, который я применил в «Буре» и «Флориде» *, о коих я прошу подробнейших рецензий под угрозой отказа в присылке новых стихотворений. Непростительно, что Вурм задержал письма.

Твой *Фридрих Энгельс*

Впервые в виде отрывка опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 9. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

11

ГЕРМАНУ ЭНГЕЛЬСУ

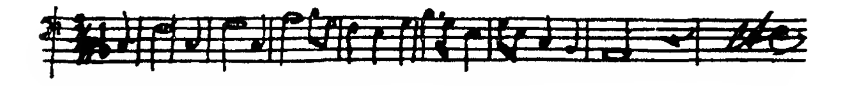
В БАРМЕН

Бремен, 11—12 марта 1839 г.

11 марта

Дорогой Герман!

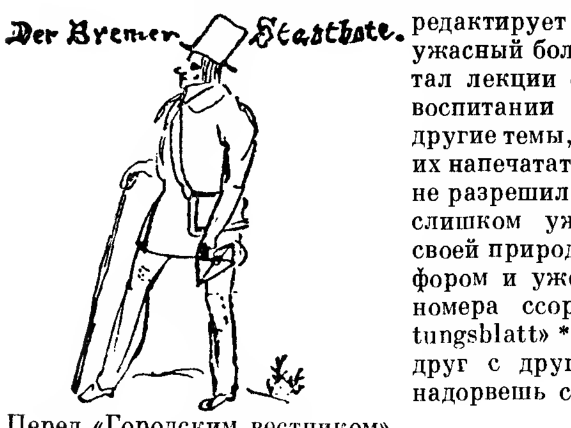
Прошу, Ваше благородие, в будущем не мучить меня таким началом в письмах, которым Вас научил г-н Рипе, и позволю себе заметить пока, что у нас каждое утро зима, а в полдень — лето, так как утром у нас 5 градусов мороза, а в полдень 10 градусов тепла. Занятия пением и композицией идут полным ходом, вот тебе еще один образец этой последней.



Ты можешь петь слепца по этой мелодии, а можешь и опустить это.

12 марта. То, что у тебя скоро будет своя собака, меня очень радует; что же представляет из себя госпожа мамаша и как выглядит этот зверек? Сейчас в контору вошла его древность г-н Лёйпольд. Теперь мне придется перейти на более серьезный тон, как говорит великий Шекспир. Здесь начала выходить новая газета, она называется «Bremer Stadtbote»; ее

* См. настоящий том, стр. 358—361. *Ред.*



редактирует Альберт Мейер, ужасный болван. Раньше он читал лекции о счастье народов, воспитании детей и на всякие другие темы, а когда он захотел их напечатать, милое начальство не разрешило, так как это было слишком уж безрассудно. По своей природе он торговец фарфором и уже с самого первого номера ссорится с «Unterhaltungsblatt» *. Они так грызутся друг с другом, что животики надорвешь со смеху.

Перед «Городским вестником»
идет парень,
который выглядит так.

Продолжение в письме к Марии.

Твой любящий тебя брат

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

12

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

Бремен, 12 марта 1839 г.

Дорогая Мария!

(Продолжение письма к Герману.) В этом «Stadtbote» ** печатается сущая чепуха. Я же в конторе сочиняю стихи, в которых в шутку хвалю его, плету сплошной вздор и посылаю ему это за подписью Т. Гильдебрандта, а он добросовестно все печатает. Сейчас у меня на конторке тоже лежит подобное произведение, которое я собираюсь ему послать. Оно называется

Книжная мудрость [237]

Тот не мудрец, кто почерпнул все знанья
Из сотен пыльных многомудрых книг, —
Он не проник в глубины мирозданья,

* — «Bremisches Unterhaltungsblatt». *Ред.*
** — «Bremer Stadtbote». *Ред.*

Хотя бы всю науку он постиг.
Ботанику по книгам кто проходит,
Едва ль природу сможет полюбить,
Тот, кто мораль из фраз любых выводит,
Едва ль тебя научит добрым быть.
Нет, в глубине сердечной лишь таится
Искусство, что дает над жизнью власть,
Зачем с утра до вечера учиться —
Ты укрощать научишься ли страсть?
Лишь голос сердца слушать ты обязан,
И погибает тот, кто глух к нему.
А он гласит нам громко слово «разум»,
Прислушивайся к своему уму...

И так дальше, все в том же духе, все это издевательство. Обычно, когда я хорошенько не знаю, что ему послать, я беру в руки «Bote» и что-нибудь оттуда выуживаю. На днях я засадил Карла Лёйпольда за мою конторку и продиктовал ему грубое письмо в «Bote», которое тот получил и напечатал с неимоверно глупыми комментариями. Однако я сейчас должен уйти, а посему остаюсь

твой любящий тебя брат

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
На русском языке публикуется впервые

13

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен], 8—9 апреля 1839 г.

8 (nisi erro *) апреля 1839 г.

Дражайший Фриц!

Ты, вероятно, думаешь, что это письмо тебя очень позабавит — нет, меньше всего! Ты, — ты, который меня огорчил, разозлил, взбесил не только своим молчанием, но и осквернением самых священных тайн, когда-либо сокрытых от человеческого гения, осквернением видений, — ты должен понести особое наказание: погибнуть от скуки при чтении — чего? Сочинения. На какую тему? Все на ту же избитую тему: литература современности.

* — если не ошибаюсь. *Ред.*

Что было у нас до 1830 года? Теодор Хелль и компания, Виллибальд Алексис, старый Гёте и старый Тик, c'est tout *. И вдруг — раскаты грома июльской революции, самого прекрасного со времени освободительной войны проявления народной воли. Умирает Гёте, Тик все более дряхлеет, Хелль погружается в спячку, Вольфганг Менцель продолжает кропать свои топорные критические очерки, но в литературе веет новый дух. Среди поэтов на первом плане — Грюн и Ленау, в творчестве Рюккерта новый подъем, растет значение Иммермана, точно так же Платена, но это еще не все. Гейне и Бёрне были уже законченными характерами до июльской революции, но только теперь они приобретают значение, и на них опирается новое поколение, умеющее использовать литературу и жизнь всех народов; впереди всех Гуцков. Гуцков в 1830 г. был еще студентом. Он работал сперва для Менцеля в «Literatur-Blatt», но недолго; они разошлись во взглядах, Менцель поступил нагло: Гуцков написал пресловутую «Вали» (сомневающуюся), а Менцель поднял отвратительный шум, опорочив книгу и приписав самому Гуцкову высказываемые Вали взгляды, и действительно добился запрещения невинной книги [21]. К Гуцкову примкнул Мундт, человек, правда, довольно посредственный, который ради заработка затевал всякого рода литературные предприятия, где он cum suibus ** помещал еще статьи других авторов. Вскоре к ним присоединились Бёйрман, остроумный малый и тонкий наблюдатель, затем Людольф Винбарг, Ф. Густав Кюне, и Винбарг придумал для этой литературной пятерки (nisi erro, anno 1835 ***) название: «Молодая Германия» [5]. Ей противостояли: Менцель, которому уж лучше бы сидеть смирно, так как Гуцков именно с этой целью исколотил его до смерти, затем «Evangelische Kirchen-Zeitung», которая в каждой аллегории видит идолопоклонство и в каждом проявлении чувственности — первородный грех (не называется ли Хенгстенберг этим именем по правилу lucus a non lucendo ****, т. е., может быть, на самом деле он — мерин *****, кастрат, евнух?). Эта благородная братия обвиняла «Молодую Германию» в том, что ее представители хотят эмансипации женщин и реставрации плоти, что, кроме того, они хотят попутно ниспровергнуть несколько тронов и стать папой и императором в одном лице. Из всех этих обвине-

* — это все. *Ред.*

** — вместе со своими. *Ред.*

*** — если не ошибаюсь, в 1835 году. *Ред.*

**** — буквально: роща, потому что в ней не светло. Известный пример сопоставления не по сходству, а по контрасту. *Ред.*

***** Игра слов: «Hengst» — «жеребец». *Ред.*

ний обоснованным было только то, которое касалось эмансипации женщин (в гётовском смысле), да и его можно было применить только к Гуцкову, который впоследствии дезавуировал его (как результат задорной юношеской опрометчивости). Благодаря этому содружеству цели «Молодой Германии» вырисовались отчетливее и «идеи времени» осознали себя в ней. Эти идеи века (как выразились Кюне и Мундт) не представляют чего-то демагогического или антихристианского, как их клеветнически изображали; они основываются на естественном праве каждого человека и касаются всего, что противоречит этому в современных отношениях. Так, к этим идеям относится, прежде всего, участие народа в управлении государством, следовательно, конституция; далее, эмансипация евреев, уничтожение всякого религиозного принуждения, всякой родовой аристократии и т. д. Кто может иметь что-нибудь против этого? На совести «Evangelische Kirchen-Zeitung» и Менцеля лежит то, что они так порочили честь «Молодой Германии». Уже в 1836—1837 гг. у этих писателей, связанных единством воззрений, а не какой-нибудь особенной ассоциацией, ясно определились их идеи; благодаря своим добротным произведениям они добились признания у других, по большей части бездарных, литераторов и привлекли к себе все молодые таланты. Их поэты — Анастазиус Грюн и Карл Бек; их критики — прежде всего Гуцков, Кюне, Лаубе, а среди более молодых — Людвиг Виль, Левин Шюккинг и т. д.; кроме того, они пробуют свои силы в области романа, драмы и т. п. В последнее время, правда, возник спор между Гуцковым и Мундтом, на стороне которого Кюне и Лаубе; у обоих имеются сторонники: за Гуцковым идут более молодые — Виль, Шюккинг и другие, за Мундтом — из молодежи лишь немногие; Бёйрман, а также молодой, очень талантливый Дингельштедт держатся довольно нейтрально, но больше склоняются к Гуцкову. Мундт в результате этого спора потерял весь свой авторитет; авторитет Кюне значительно пал, ибо у него хватает низости ругать все, что пишет Гуцков; Гуцков же, напротив, держится очень благородно и большей частью насмехается только над великой любовью между Мундтом и Кюне, которые хвалят друг друга. Что Гуцков чудеснейший, честнейший малый, это показывает его последняя статья в «Jahrbuch der Literatur» [57].

Кроме «Молодой Германии» у нас мало чего активного. Швабская школа уже с 1820 г. оставалась только пассивной; австрийцы — Цедлиц и Грильпарцер — мало интересны, так как пишут на чуждые нам темы (Цедлиц — на испанские, Грильпарцер — на античные); среди лириков Ленау, несмотря на свои церковные

сюжеты, уже склоняется к «Молодой Германии», Франкль — это задушевный Уланд en miniature *, К. Эберт совершенно обогемился; саксонцы — Хелль, Хеллер, Херлосзон, Морфель, Ваксман, Тромлиц — ах, боже мой, тут не хватает «Витца» **; писатели из круга Марто [238] и берлинцы (куда ты не относишься) мерзки, из Рейнской провинции — Левальд, безусловно, наилучший из авторов, пишущих для занимательного чтения; его журнал «Europa» можно читать, но рецензии в нем отвратительны. Хуб, Шнецлер и компания стоят немногого; Фрейлиграт, вот увидишь, еще раз повернется к «Молодой Германии», Дуллер — тоже, если только он раньше не выдохнется, а Рюккерт стоит, как старый папаша, и простирает руки, благословляя всех.

9 апреля. Так вот тебе это трогательное сочинение. Что мне, бедняге, делать теперь? Продолжать зубрить? Никакой охоты. Стать лояльным? Тьфу, черт! Придерживаться саксонской посредственности — угитугит! (о боже, о боже! — здешнее выражение отвращения). Следовательно, я должен стать младогерманцем, или, скорее, я уж таков душой и телом. По ночам я не могу спать от всех этих идей века; когда я стою на почте и смотрю на прусский государственный герб, меня охватывает дух свободы; каждый раз, когда я заглядываю в какой-нибудь журнал, я слежу за успехами свободы; эти идеи прокрадываются в мои поэмы и издеваются над обскурантами в клобуках и горностае. Но от всех этих риторических фраз о мировой скорби, о всемирно-историческом, о скорби иудейства и т. д. я держусь в стороне, ибо теперь они уже устарели. Но слушай, Фриц, так как ты вот-вот станешь пастором, то можешь стать ортодоксом, сколько душе угодно, но если ты сделаешься пиетистом, бранящим «Молодую Германию» и внемлющим «Evangelische Kirchen-Zeitung», как оракулу, то берегись, тебе придется иметь дело со мной. Ты должен стать пастором в Гемарке и прогнать проклятый, чахоточный, косный пиетизм [9], расцвету которого способствовал Круммахер. Они тебя, конечно, ославят еретиком, но пусть кто-нибудь придет и докажет тебе, на основании библии и разума, что ты неправ. Между прочим, Бланк, нечестивый рационалист, выбрасывает за борт все христианство, но что из этого? Нет, пиетистом я никогда не был, был одно время мистиком, но это tempi passati ***; теперь я честный, очень терпимый по отношению к другим супернатуралист; сколько времени я останусь им, не знаю, но я надеюсь остаться таковым,

* — в миниатюре. *Ред.*
** Игра слов: «Witz» — «ум, остроумие». *Ред.*
*** — прошедшие времена. *Ред.*

хотя и склоняюсь иногда, то больше, то меньше, к рационализму. Все это должно в свое время решиться. Adiós, Friderice, пиши мне скорее и много.

Do hêst de mî dubbelt. Tuus *

Фридрих Энгельс, Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 9. Heft, Berlin, 1913

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

14

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

Бремен, 10 апреля 1839 г.

Дорогая Мария,

Прости, что я так долго не писал, зато я расскажу тебе сейчас нечто интересное. В страстную пятницу умер здешний бургомистр, его превосходительство доктор Грёнинг, так что неделю назад происходили выборы нового бургомистра. Его высокородие г-н сенатор доктор Й. Д. Нольтениус получил это место и в пятницу устроил торжественную процессию. Впереди шли восемь слуг (каждому бургомистру полагается иметь двух таких людей) в белых коротких штанах цвета фарфора, в красивых чулках и в розовом, цвета крови, фраке, с саблей на боку и бонапартовой треуголкой на голове. За ними следовали бургомистры, впереди его превосходительство г-н доктор Смидт, самый умный из всех, чуть ли не король Бремена; г-н доктор Дунце, по самое горло закутанный в меха, который на заседание сената всегда приносит с собой термометр. Далее сенаторы, проповедники и бюргеры, человек 600—800. Все они направились в один или несколько домов, где вкушали телесную, а не духовную пищу, т. е. все они получили миндальное пирожное, сигары и вино, наелись досыта и набили еще свои карманы. Мальчишки стояли перед дверьми и галдели, а когда кто-нибудь выходил, они кричали ему вдогонку: «Вот он! вот он!». То же самое они закричали, когда вышел г-н старшина Хазе, тогда тот величественно обернулся и заявил: «Я г-н старшина Хазе». А мальчишки заорали:

* — Получай меня вдвойне. Твой. *Ред.*

«Это старшина Хазе, это старшина Хазе!» Можешь себе представить, как этот столп бременского государства пустил в ход столпы своего собственного туловища, чтобы спастись. В прошлую субботу на место доктора Нольтениуса был избран новый сенатор, эта честь выпала на долю доктора Мора, пир в его честь состоялся в понедельник. По существующей традиции, в таких случаях один из родичей нового сенатора должен пить «свинью», т. е. он должен напиться допьяна. Эту сложную задачу и выполнил ко всеобщему удовлетворению г-н Г. А. Гейнекен, маклер, ибо —

С печалью пресыщаться этой жизнью —
Вот ум и добродетель —

как сказал один великий поэт[239].

Мария: «Но Фридрих, как ты можешь писать мне такие глупости? Ты болтаешь что-то ни к селу, ни к городу». Фридрих: I can't help it *, страницу надо дописать до конца — ага, вот мне уже кое-что опять пришло в голову. В прошлое воскресенье я совершил прогулку верхом с Невиандтом и Ротом, и Невиандт взял с собой маленького англичанина, такого роста, как Анна **. Не успели мы выехать за город, как этот англичанин стал подхлестывать лошадь так, что та понеслась как угорелая. Он спокойно сидит в седле, лошадь начинает прыгать во все стороны, но он не падает. Наконец, он слезает, чтобы поискать хлыст, который уронил, и, о верх глупости, оставляет лошадь совершенно одну; а она, недолго думая, скачет прочь. Он за ней. Невиандт спешивается и бежит за ней, но возвращается ни с чем. Джон и лошадь исчезли. Мы скачем в Горн, там закусываем, и только мы пускаемся в обратный путь, как нас нагоняет мистер Джон, который скакал верхом на лошади plein carrière ***. Ее по дороге остановили, он на нее сел и поехал в конюшню, где достал себе новый хлыст. И вот мы едем дальше. У Невиандта и у меня были довольно-таки дикие лошади, и, как только мы переходили на рысь, мистер Джон бешеным галопом проносился мимо меня. Моя лошадь закапризничала и понеслась во весь опор. Я сообразил, в чем тут дело, позволил ей бежать и лишь время от времени старался ее сдержать. Но только я вывел ее из этой бешеной гонки, как Джон промчался мимо меня, и это было еще хуже, чем раньше. К тому же он все время кричал, размахивая своей шляпой: My horse runs better

* — Я ничего не могу поделать. *Ред.*
** — Анна Энгельс. *Ред.*
*** — во весь опор. *Ред.*

than yours *, ура! Наконец, его лошадь наткнулась на какую-то повозку и остановилась. Тогда моя Норма тоже встала. Если бы только глупые лошади понимали, что всадникам доставляет большое удовольствие, когда они начинают носиться. Во всяком случае, я не испытывал ни малейшего страха и довольно хорошо справился с лошадью. Adieu **.

Твой

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

15

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН

[Бремен, около 23 апреля] — 1 мая 1839 г.

Фриц Гребер! Я теперь очень много занимаюсь философией и критической теологией. Когда тебе 18 лет и ты знакомишься со Штраусом, рационалистами и «Kirchen-Zeitung» ***, то следует или читать все, не задумываясь ни над чем, или же начать сомневаться в своей вуппертальской вере. Я не понимаю, как ортодоксальные священники могут быть столь ортодоксальны, когда в библии встречаются такие явные противоречия. Как можно согласовать обе генеалогии Иосифа, мужа Марии, различные версии, касающиеся тайной вечери («сие есть кровь моя, сие есть Новый завет в моей крови») и рассказа об одержимых бесами (в первом случае рассказывается, что бес просто вышел, во втором — что бес вошел в свиней), версию, что мать Иисуса отправилась искать своего сына, которого она считала помешанным, хотя она его чудесно зачала, и т. д., — как согласовать все это с верой в правдивость, безусловную правдивость евангелистов? А далее, расхождения в «отче наш», в вопросе о последовательности чудес, своеобразно глубокое толкование у Иоанна, явным образом нарушающее форму повествования, — как понять все это? Christi ipsissima verba ****, с которыми так носятся

* — Моя лошадь скачет лучше вашей. *Ред.*
** — Прощай. *Ред.*
*** — «Evangelische Kirchen-Zeitung». *Ред.*
**** — Подлиннейшие слова Христа. *Ред.*

ортодоксы, гласят в каждом евангелии по-иному. Я уж не говорю вовсе о Ветхом завете. Но в милом Бармене об этом не говорят ни звука, там обучают по совершенно другим принципам. И на чем основывается старая ортодоксия? Ни на чем больше, как только на рутине. Где требует библия буквальной веры в ее учение, в рассказы ее? Где говорит хоть *один* апостол, что все, рассказываемое им, есть непосредственное вдохновение свыше? Ортодоксы требуют не послушания разума Христу, нет, они убивают в человеке божественное и заменяют его мертвой буквой. Поэтому-то я и теперь такой же хороший супернатуралист, как и прежде, но от ортодоксии я отказался. Я ни за что не могу поэтому поверить, что рационалист, который от всего сердца стремится творить добро сколько в его силах, должен быть осужден на вечные муки. Это же противоречит и самой библии. Ведь написано, что никто не бывает осужден за первородный грех, а только за свои собственные грехи; если же кто-либо противится изо всех сил первородному греху и делает то, что он может, то его действительные грехи являются лишь необходимым следствием первородного греха и, следовательно, не могут повлечь за собой его осуждения.

24 апреля. Ха-ха-ха! Знаешь ли ты, кто сочинил статью в «Telegraph»? Ее автор — пишущий эти строки [240], но советую тебе не говорить никому об этом ни слова, иначе я попаду в адскую передрягу. Коля, Балля и Германа я знаю только по рецензиям В. Бланка и Штрюккера, которые я списал почти дословно; но что Коль несет вздор *, а Герман — худосочный пиетист, это я знаю по собственному опыту. Д. — это молодой конторщик *Дюрхольт* у Виттенштейнов в Нижнем Бармене. Впрочем, я радуюсь тому, что не сказал ничего, чего не мог бы доказать. Мне жаль лишь одного, что я не показал в надлежащем виде значения *Штира*. Как теологом им не следует пренебрегать. Как тебе, однако, нравится мое знание характеров, особенно Круммахера, Дёринга (то, что сказано о его проповеди, рассказал мне П. Йонгхаус), и литературы? Замечания о Фрейлиграте, должно быть, удачные, иначе бы Гуцков их вычеркнул. Впрочем, стиль омерзительный. — Статья же, кажется, вызвала сенсацию, — заклинаю вас пятерых честным словом никому не говорить, что я автор. Уразумел? Что касается ругани, то я обрушился главным образом на тебя и Вильгельма, так как предо мной лежали как раз письма к вам, когда мне пришла охота ругаться. Особенно Ф. Плюмахер не должен знать, что я написал статью. Но что за субъект этот Балль! Ему предстояло

* Игра слов: «Kohl» — фамилия, «kohlt» — «несет вздор». *Ред.*

произнести проповедь в страстную пятницу, но ему лень было поработать, и вот он выучивает наизусть одну проповедь, которую нашел в «Menschenfreund», и произносит ее. Но в церкви находится как раз Круммахер, которому проповедь кажется знакомой; под конец он вспоминает, что он сам произнес эту проповедь в страстную пятницу 1832 года. Другие лица, читавшие эту проповедь, тоже узнают ее; Балля призывают к ответу, и он вынужден во всем сознаться. Signum est, Ballum non tantum abhorrere a Krummachero, ut Tu quidem dixisti *. За подробную рецензию о «Фаусте» я тебе очень обязан [241]. Переработка вещи, безусловно, паршивая, раупаховская, — этот негодяй вмешивается во все и портит не только Шиллера, образы и идеи которого он низводит до тривиальности в своих трагедиях, но и Гёте, с которым он черт знает как обращается. Сомнительно, чтобы мои поэмы раскупались нарасхват, но то, что они найдут определенный сбыт, вполне вероятно, так как они пойдут на макулатуру и клозетную бумагу. Я не мог прочесть то, что у тебя написано красными чернилами, и поэтому не пошлю ни 5 зильбергрошей, ни сигар. Ты получишь на этот раз или канцону, или часть начатой, но не законченной комедии. Теперь же я должен отправляться на урок пения, adieu **.

27 апреля.

ФРАГМЕНТЫ ТРАГИКОМЕДИИ «НЕУЯЗВИМЫЙ ЗИГФРИД»

I

Дворец короля Зигхарда

Заседание Совета

Зигхард

Итак, вы снова собрались вместе,
Опора королевской чести,
Высокий ограждая трон.
Наш сын, увы, не явился лишь он!
В лесу он рыщет, как всегда,
Не поумнеет в его года.
Забывши о делах Совета,
Где мы потеем до рассвета,
Презрев сужденья старших лиц,
Он изучает говор птиц.

* — Замечательно, Балль не в такой мере чуждается Круммахера, как ты когда-то об этом говорил. *Ред.*

** — прощай. *Ред.*

Не стоит мудрости учиться,
С медведем хочет он сразиться;
И если с нами говорит,
Так вечно о войне твердит.
Ему давно б мы уступили,
Когда б в своей премудрой силе
Нам бог не обещал как раз,
Что разум не обманет нас.
Как пострадал бы весь наш край,
Приди он к власти невзначай!

Советник

Ваше Величество мудры, как всегда,
Вы прямо схватили быка за рога.
Однако с королевского позволенья
Я выскажу свое простое мненье.
В людских привычках сходства нет.
Ему лишь восемнадцать лет.
Шальные мысли в принце бродят,
Но мудрость с возрастом приходит.
Он резвым нравом вдаль влеком,
Но мудрость любит тихий дом;
Младой задор послушным станет,
И сила гордая устанет,
Тогда он к мудрости придет
И счастье в ней свое найдет.
Так пусть порыщет он по разным странам,
Пускай сразится с великаном,
Пускай с драконом вступит в бой,
И старость там не за горой.
Жизнь мудрости его научит,
И ваша речь ему, конечно, не наскучит.

Зигфрид (входит)

О лес, ужели вскоре
Покину я тебя?
Милей в твоем просторе,
Чем в замке короля;
Где звонче птиц рулады,
Как не в ветвях дерев?
Завидуют палаты
Спокойствию лесов.

Отец, вы станете ругаться,
Что долго я бродил в лесу,
Но разве мог я удержаться,
Когда кабан был на носу?
Забавы вам претят лесные,
Так дайте мне коня и меч,
Поеду я в края чужие,
Давно я вел об этом речь.

Зигхард

Ужель, скажи мне, до сих пор
Ты глупым быть не перестанешь?
Пока в тебе младой задор,
Ты умным никогда не станешь.
И лучший путь к тому один:
Тебе свободу дать скорее;
Ступай, быть может, исполин
Дубинкой блажь твою рассеет.
Бери же меч, коня седлай
И поумневшим приезжай!

Зигфрид

Вы слышали? Коня и меч!
Так нужны ль мне шишак и латы.
Иль слуги для горячих сеч?
Мой спутник — храбрости палата!
Когда поток стремится с гор,
Один, шумя, победоносный,
Пред ним со стоном гнутся сосны,
Он сам выходит на простор:
Так, уподобившись потоку,
Я сам пробью себе дорогу!

Советник

Король, вам горевать не след,
Что наш герой стремится в свет;
Поток несется с гор в долины,
Спокойны вновь дерев вершины,
Спокойно за волной волна
Плодотворит вокруг селенья,
Былая ярость не страшна,
В песке обретши утоленье.

Зигфрид

Зачем терять мне время?
Мне душен замка свод!
Скорее ногу в стремя,
На воле конь мой ржет!
Сойди ко мне с колонны
Ты, старый острый меч!
Спешу, в борьбу влюбленный,
Отец, до новых встреч!

(Уходит.)

II

Кузница в лесу

Зигфрид входит. Мастер входит.

Мастер

Здесь, в кузнице, для вашей чести
Прекрасные новеллы мастерят,
И с ними в альманахах песни
Великолепием блестят.
Куют журналы здесь проворно,
Стихи и критику сплетают воедино,
С утра до ночи здесь пылают горны,
Работая неутомимо.
Но подкрепитесь-ка вином,
Пусть мальчик вас проводит в дом.

(Зигфрид с учеником уходят.)

Мастер

Ну, подмастерья, за работу!
Вам в помощь я приду с охотой;
На наковальне куйте новеллы,
Чтоб в свет они вступили смело!
Прожгите жарче песни в горне,
Чтоб стали те огнеупорней;
Для публики же все потом
Перемешайте в общий ком.
А коль железа больше нет,
Хозяин умный даст совет:
Возьмите трех героев Вальтер Скотта,

И паладина у Фуке, и женщин трех у Гёте,
И больше нечего стараться,
Их хватит авторов на двадцать!
Для песен — Уланда стихи
Совсем как будто не плохи.
Так бейте ж молотом до боли,
Тот лучший, кто создаст всех боле!

Зигфрид (входит опять)

Вино как будто ничего!
Я выпил дюжину его.

Мастер

(Проклятый парень!) Мне приятно,
Что мой рейнвейн по вкусу вам.
Я думаю, для вас занятно
Узнать работников по именам!
Вот наиболее умелый,
Он благонравные новеллы
Или фривольные слагает,
Его сам Менцель восхваляет,
Вольфганг, что в Штутгарте живет:
Его зовут фон Тромлиц. Вот
Другой, не менее пригодный
И тоже — крови благородной:
Приветствую в его лице
Фон Ваксмана большое Це;
Не существует альманах,
Который им бы не пропах.
Десятками печет новеллы
Он для толпы остолбенелой.
Работает в поту лица,
Сказать же правду до конца,
Он сделал мало для искусства,
Но все — для притупленья вкуса;
А вкус — пред ним дрожу я сам —
Лишь он приносит гибель нам.
Вот — Хеллер, плавает не мелко,
Стиль — оловянная тарелка,
Зато блестит, как серебро.
Для публики ведь все — добро.
Хоть пишет меньше он, чем названные оба,
И гонится за характеристикой,

Но, видите ль, его особа
Совсем не переносит мистики.
Вы знаете, евангелисты,
Все четверо, — лишь пиетисты;
За них он взялся понемножку,
Снял благочестия одежку
И положил на чайный стол
— Всяк «Сестры Лазаря» прочел.
Он также автор легкой прозы
— Прочтите лишь его с шипами «Розы» *.
А вот еще один талант,
Ученый малый, хоть педант,
Фридрих Норк, величайший поэт
С тех пор, как существует свет.
Он вам наврет... нет, скажет точно,
Открыв из языков восточных,
Что вы — осел, Илья ж пророк
Ничем, как солнцем, быть не мог.
Ума иль подлинного знанья
Искать в нем — тщетное старанье.
Вот — наш достойный Херлосзон,
Его б нам возвести на трон,
Он новеллист, он лирик,
Безумству панегирик
И ерунде там всякой прочей
В «Комете» ** вы его найдете.
Идут вот, Винклером пригреты,
Писатели из «Вечерней газеты» ***:
Турингус, Фабер, фон Гросскрёйц,
Одно их имя — что за прелесть!
Нужна ль моя им похвала?
Ведь публика (другого хлеба
Ей не давай!) давно на небо,
До самых звезд их вознесла.
За топливом ушли другие,
В лесу сбирают ветки сухие;
О младших — нечего сказать,
Еще им рано хорошо ковать.
Но станут все специалисты,
Коль в них хоть капля крови новеллиста.

* Намек на литературный журнал «Rosen. Eine Zeitschrift für die gebildete Welt». *Ред.*

** Намек на газету «Der Komet. Ein Unterhaltungsblatt für die gebildete Lesewelt». *Ред.*

*** — «Abend-Zeitung». *Ред.*

Зигфрид

Когда ж я ваше имя узна́ю?

Мастер

Саксонский дух я воплощаю
В своей внушительной особе;
Вас убедит сейчас же в том,
Что я на многое способен,
Моих ударов мощных гром.
Вы тоже маху бы не дали,
Когда б моим подручным стали.

Зигфрид

Ну что ж, хозяин, я готов
Средь ваших быть учеников.

Мастер

Я вас отдам в ученье Хеллю,
Испробуйте себя в новелле.

Зигфрид

Ах, если под напором
Вот этих рукавиц
Дубы склонялись хором,
Медведь валился ниц
И если мог на землю
Я повалить быка,
Ужели не подъемлю
Я тяжесть молотка?
Ни одного мгновенья
Учить себя не дам;
Довольно мне ученья,
Я здесь хозяин — сам!
Подайте мне железо,
Я надвое его!
Лишь гул пойдет по лесу,
Вот это — мастерство!

Теодор Хелль

Эй, вы, потише там, невежа!
Иль я побью вас, как вы — железо!

Зигфрид

Ты что еще болтаешь,
Чего взбесился так?
Меня ты вмиг узнаешь,
Попробуй мой кулак!

Теодор Хелль

На помощь! Ой!

Мастер

Любезный друг,
Что ж бьете вы своих собратьев?
Марш, вон отсюда во весь дух,
Иль дам вам пару оплеух!

Зигфрид

Сам получай, коль хочешь драться!

(Опрокидывает его.)

Мастер

Ой, больно, больно! и т. д.

(Зигфрид отправляется в лес, убивает дракона и, возвратившись назад, убивает мастера, разгоняет подмастерьев и удаляется.)

III

В лесу

Зигфрид

Я слышу снова за кустами
Борьбу между двумя врагами.
Вот и они — ну прямо глупо,

Ни в чем один другому не уступит!
Я думал, встречу гигантов двух,
Сжимающих сосны клещами рук,
А тут — два тощие схоласта
Швыряют книги, как гимнасты.

(Лео и Михелет входят.)

Лео

Эй, подойди, собака, гегеленок!

Михелет

Пиетист, ты сам еще совенок!

Лео

Получишь библию в башку!

Михелет

А ты — том Гегеля в щеку!

Лео

Я Гегеля тебе же в лоб швырну!

Михелет

Твою я выю жесткую ударом библии согну!

Лео

Чего ты хочешь? Ты давно уж труп!

Михелет

Нет, ты убит, пойми ж, хоть ты и глуп!

Зигфрид

О чем ваш спор, друзья, идет?

Лео

Безбожный гегеленок вот
Взял библию под подозренье;
Ему не вредно б наставленье!

Михелет

Болван бесстыдно привирает,
Он Гегеля не почитает!

Зигфрид

Но вы швыряете друг в друга без разбора
Предметами, в которых скрыто яблоко раздора?

Лео

Не важно, он — не христианин!

Михелет

Я стòю двух таких, как он один,
Он вздор бессмысленный болтает.

Зигфрид

Пусть каждый путь свой продолжает,
Но кто, однако, начал спор?

Лео

Признаться — я! Какой же в том позор?
Сражался я за бога и был поддержан богом.

Зигфрид

Но на коне сидел ты хромоногом,
И, как не спас он гегельянства,
Так не спасешь ты христианства.
И без тебя проживет оно смело,
А ты ищи себе другое дело!
Но не испытывай напрасно бога
Своим безумством! Разною дорогой
Отсюда уходите вы
И выбросьте всю дурь из головы!

(Лео и Михелет расходятся в разные стороны.)

Зигфрид

Такую ярость не встречал
Я у ревнителей науки:
То Гегель в воздухе летал,

То библия чертила круги!
Однако ж, голодом влеком,
В долину путь я направляю,
Быть может, там найду я дом,
Где я засну спокойным сном,
Иль просто дичи настреляю.

Вот тебе и все. Куски, в которых изложено действие, я опустил, переписал лишь вступление и сатирические моменты. Это — самое последнее, что я написал, теперь надо перейти к королю Баварскому, но тут дело плохо. Вещь лишена законченности и завязки. Просьба к Вурму пристроить стихи в «Musenalmanach» *. Кончаю, потому что почта уходит.

Твой

Фридрих Энгельс

1 мая 39 г.

Впервые в виде отрывка опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 9. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

16

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

[Бремен], 28 апреля 1839 г.

Дорогая Мария!

Сегодня и ты тоже получишь только небольшое письмо, так как я должен взяться за комедию, которую хочу вам послать. То, что эти господа съели шесть подносов с миндальными пирожными, — истинная правда, ты можешь верить или не верить, но там было их на 600 человек.

Что касается того, что ты заполучила крапивную лихорадку, то так тебе и надо, у тебя всегда такой зуд в пальцах, что ты хочешь делать всякие глупости, теперь у тебя есть что почесать. Ты была и осталась старой чесальной машиной.

Советую тебе также не оставлять в своих письмах пустых страниц, потому что я тогда буду рисовать на них карикатуры для практики.

* — «Deutscher Musenalmanach». *Ред.*

Dios *, моя дорогая Мария, твой брат

Фридрих

Эти каракули называются стенографией.

Переодевание. Комедия в одном действии, для Марии.

Первая сцена

Общая комната, за столом сидит мать, она занимается с Эмилем ** и Хедвигой ***. Мария сидит у печки и читает; Рудольф **** бегает по комнате и дразнит всех.

Мать. — Мария, перестань читать. Эта книга не для тебя. Ты читаешь столько разных вещей, которые вовсе тебе не нужны.

Мария. — Мамочка, еще только один рассказ, а потом я отдам тебе книгу!

Эмиль. — Мамочка, что значит слово: кеватрозе?

Мать. — Ах, ведь это значит quatorze, 14, ведь ты уже давно учил это. Нельзя так скоро все забывать. — Хедвига! Что это за ребенок, она все время бегает за Марией и дерется с Рудольфом. Хедвига! Ты будешь делами заниматься? Вы сегодня все с ума сошли!

(Входят Анна ***** и Лаура Камперман.)

Анна. — Ну, мама, мы все свои дела закончили, теперь мы пойдем наверх и нарядимся, вот что мы сделаем.

Мать. — Да, но не очень-то шумите.

Хедвига. — Мама, я не могу решить этой задачи.

Мать. — Ну подумай немного. Ведь я уже один раз решала ее с тобой. Не будь такой рассеянной!

Хедвига (плачет). — Но я не могу ее решить!

Анна. — Мама, ты тоже будешь переодеваться?

Мать. — Что ты сказала? Ступай, оставь меня в покое. Вечно мама, мама. Это просто невыносимо.

Анна. — Мама, скажи, ты будешь?

* — Прощай. *Ред.*
** — Эмилем Энгельсом. *Ред.*
*** — Хедвигой Энгельс. *Ред.*
**** — Рудольф Энгельс. *Ред.*
***** — Анна Энгельс. *Ред.*

Мать. — Да, да, уходите отсюда поскорей.

(Анна и Лаура с радостными криками уходят.)

Мария. — Вот книга, мама. Я уже прочла этот рассказ, я хочу тоже переодеться. Скажи, что бы мне такое надеть?

Мать. — Ну, вот. Только что я сказала Анне, чтобы она не шумела, а теперь ты начинаешь?

Рудольф (падает на пол). — О, мама, о, мама! (плачет).

Мать. — Что с тобой? (Идет к нему.)

Эмиль. — Мама, что это за предложение?

Хедвига. — Мама, тут одно число, оно такое странное.

Мать. — Замолчите вы наконец или нет? Все вместе. Я не могу этого выдержать!

Эмиль. — Мама, ну помоги же мне! Ах, мама, мама, мне надо в уборную.

Мать. — Ну иди.

Мария. — Мама, это правда, что ты будешь переодеваться?

Мать. — Глупышка! Тебе еще больно, Рудольф?

Хедвига. — Да, мама, у него большая шишка на голове. Мама, что это за число?

Мария. — Да, но тебе нужно переодеться.

Анна (входит). — Мама, Лаура сидит в уборной, а Эмиль стоит там, орет во всю глотку и колотит в дверь.

Мать. — И ты еще здесь! Мне некогда.

Луиза (входит). — Мадам, Вендель едет за город, не нужно ли вам чего-нибудь?

Мать. — Да, дайте мне подумать. Замолчите вы наконец. Рудольф, перестань хныкать.

Мария. — Анна, разве мама не сказала, что она тоже будет переодеваться?

Анна. — Да, мама, ты сказала.

Мария. — Да успокоитесь ли вы наконец. Марш отсюда.

Эмиль (входит с плачем). — О, мама, Лаура не хотела впустить меня в уборную, и я... и я... наделал... в...

Все: Он наделал в штаны.

Мать. — Этого еще недоставало. Неужто мне не дадут ни минуты покоя? Все кричат вместе (берет хлыст). Вот тебе, Эмиль, раз, два, три, Анна, Мария, вон отсюда. Пусть Вендель сам зайдет.

(Входят две маски, мужчина и женщина.)

Мать. — Кто это? Что это опять за штуки?

(Мужчина бросается к матери и потихоньку отнимает у нее хлыст. Все вскакивают и выражают свой восторг. Женщина становится рядом с матерью и надевает ей на нос очки.)

Мать. — Глупая, надо мной же будут смеяться. (Входит Вендель.) Вендель, это письмо отнесите на почту. Это Кленерсам. Деньги отошлите портному Хюнербейну. Это все. (Вендель уходит. Мать в очках садится.) Эмиль, прежде всего пойди и попроси, чтобы тебя помыли.

(Маски хватают стоящего с открытым ртом Эмиля и с громкими криками, награждая его тумаками, тащат к двери.)

Хедвига. — Ах мама, я только что заметила, что я решила на два примера больше, чем мне полагается. Ура!

Мария. — Мама, послушай-ка. Ты будешь переодеваться с нами?

Мать. — Это что еще за вздор!

Мария. — Знаешь, мама, но тогда я скажу тебе кое-что (шепчет ей что-то на ухо).

Мать. — Нет, это невозможно.

Мария. — Да, это вполне возможно, и ты это сейчас увидишь.

(Все уходят.)

(Два часа спустя Хедвига оделась в платье Рудольфа, а Рудольф в платье Хедвиги, оба в масках, которые они друг на друге завязывают. Затем один за другим входят все остальные, очень забавно одетые.)



Герман *. — Ах Август **, у меня самый длинный нос. Посмотри-ка, Джон, у меня есть еще борода, какая была когда-то у нашего Фрица.

Август. — А у меня такие чудные зеленые щеки и седая борода, и мой нос совсем красный.

Мария. — Посмотрите-ка, Лаура, я стала таким милым мальчиком. А ты такая маленькая, юная, я немного больше, чем ты... и моя шляпа тоже больше.

(Входит мать в старом халате, поверх него меховой шлафрок отца, на чепец она надела остроконечный ночной колпак, на носу очки.)

Все кричат: — О мама, мама.

Герман. — Август, это не моя мама!

Мать. — Мальчик, ты замолчишь наконец? И садитесь все за стол, пока он не придет.

(Пауза. Входит отец, с изумлением оглядывается, наконец все снимают маски и с восторженными возгласами и криками бегут к нему. Финал: шумное пиршество.)

Я мог бы еще продолжать эту историю, но боюсь, что не хватит времени, через полчаса уходит почта, и я должен кончить.

Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

17

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН

[Бремен, около 28] — 30 апреля [1839 г.]

Guglielmo carissimo! τὴν σοῦ ἐπιστόλην εὕρηκα ἐν τοῖς τῶν ἑτέρων, καὶ ἡδὺ μὲν ἦν ἐμοί τὸ αὐτοῦ ῥῆμα. Τὸ δὲ δικαστήριον τῶν πέντε στουδιώσων, καὶ τὴν αὐτῶν κρίσιν οὐ δύναμαι γινώσκειν ἢ αὐθεντικήν ἢ κομπετέντην. — Ἐστὶν γὰρ χάρις ὑπ' ἐμοῦ, εἰ δίδωμι ποιήματα ἐν ταῖς εἰς ὑμὰς ἐπιστόλαις ***.

* — Герман Энгельс. *Ред.*

** — Август Энгельс. *Ред.*

*** — Дражайший Гульельмо! (итал.). Твое письмо я нашел среди писем от других, и сладка была мне речь его. Но я не могу признать аутентичным или компетентным суд и приговор пяти студентов. — Ибо это любезность с моей стороны, когда я шлю вам в своих письмах стихи (греч.). *Ред.*

Раз ты не хочешь критиковать «Св. Ханора», «Флориду» * и «Бурю», то не заслуживаешь ни одного стиха; уверение в debilitatis ingenii abhorret ab usata tua veriloquentia. Meam quidem mentem ad juvenilem Germaniam se inclinare, haud nocebit libertati; haec enim classis scriptorum non est, ut schola romantica, demagogia, et cet., societas clausa, sed ideas saeculi nostri, emancipationem judaeorum servorumque, constitutionalismum generalem aliasque bonas ideas in succum et sanguinem populi Teutonici intrare volunt tentantque. Quae quum ideae haud procul sint a directione animi mei, cur me separare? Non enim est, quod tu dicis: подчиниться какому-нибудь направлению, sed: примкнуть; sequitor a continuation in my room, and in writing a polyglottic letter, I will take now the English language, ma no, il mio bello Italiano, dolce e soave, come il zefiro, con parole, somiglianti alle flori del più bel giardino, y el Español, lingua como el viento en los árboles, e o Portuguez, como as olas da mar em riba de flores e prados, et le Français, comme le murmure vîte d'un font, très amusant, en de hollandsche taal, gelijk den damp uijt eener pijp Tobak, zeer gemoedlijk **; но наш дорогой немецкий — это все вместе взятое:

Волнам морским подобен язык полнозвучный Гомера,
Мечет скалу за скалой Эсхил с вершины в долину,
Рима язык — речь могучего Цезаря перед войсками;
Смело хватает он камни — слова, из которых возводит,
Пласт над пластом громоздя, ряды циклопических зданий.
Младший язык италийцев, отмеченный прелестью нежной,
В самый роскошный из южных садов переносит поэта,
Где Петрарка цветы собирал, где блуждал Ариосто.
А испанский язык! Ты слышишь, как ветер могучий
Гордо царит в густолиственной дуба вершине, откуда
Чудные старые песни шумят нам навстречу, а грозди

* См. настоящий том, стр. 358—361. *Ред.*

** — ...слабости духа не вяжется с твоей обычной правдивостью. То, что мой дух склоняется в сторону «Молодой Германии» [5], не повредит свободе, ибо эта группа писателей, в отличие от романтической, демагогической школы и т. д., — не замкнутое общество; они хотят и стремятся, чтобы идеи нашего века — эмансипация евреев и рабов, всеобщий конституционализм и другие хорошие идеи — вошли в плоть и кровь немецкого народа. Так как эти идеи не расходятся с направлением моего духа, то почему я должен отделиться от них? Ведь дело идет не о том — как ты говоришь, — чтобы подчиниться какому-нибудь направлению, а о том, чтобы примкнуть; продолжение следует (лат.) в моей комнате, и так как я пишу многоязычное письмо, то теперь я перейду на английский язык (англ.), — или нет, на мой прекрасный итальянский, нежный и приятный, как зефир, со словами, подобными цветам прекраснейшего сада (итал.), и испанский, подобный ветру в деревьях (испан.), и португальский, подобный шуму моря у берега, украшенного цветами и лужайками (португ.), и французский, подобный быстрому журчанию милого ручейка (франц.), и голландский, подобный дыму табачной трубки, такой уютный (голл.). *Ред.*

Лоз, обвивающих ствол, качаются в сени зеленой.
Тихий прибой к берегам цветущим — язык португальский:
Слышны в нем стоны наяд, уносимые легким зефиром.
Франков язык, словно звонкий ручей, бежит торопливо,
Неугомонной волною камень шлифуя упрямый.
Англии старый язык — это памятник витязей мощный,
Ветрами всеми обвеянный, дикой травою обросший;
Буря, воя и свистя, повалить его тщетно стремится.
Но немецкий язык звучит, как прибой громогласный
На коралловый брег острова с климатом чудным.
Там раздается кипение волн неуемных Гомера,
Там пробуждают эхо гигантские скалы Эсхила,
Там ты громады найдешь циклопических зданий и там же
Средь благовонных садов цветы благороднейших видов.
Там гармонично шумят вершины тенистых деревьев,
Тихо там стонет наяда, потоком шлифуются камни,
И подымаются к небу постройки витязей древних.
Это — немецкий язык, вечный и славой повитый.

Эти гекзаметры я написал экспромтом; пусть они сделают для тебя более понятной ту ерунду на предыдущей странице, из которой они произошли. Только суди их как экспромт.

29 апреля. Продолжая последовательно свое письмо, устанавливаю, что сегодня чудесная погода, так что, вероятно, вы — posito caso aequalitatis temporalis * — сегодня вполне законно прогуляли все лекции. Я хотел бы быть с вами. — Я уже, быть может, писал вам, что я, под именем Теодора Гильдебранда, подшутил над «Bremer Stadtbote», теперь я с ним распрощался следующим посланием:

Послушай, «Вестник», не сердясь о том,
Как над тобой я долго издевался;
Тебе моя насмешка поделом,
Ведь в дурнях ты, дружище, оказался.
Сгустились тучи над тобой кругом
С тех пор, как вестником служить ты взялся;
Тебя я то и дело принуждал
То пережевывать, что сам же ты сказал.
Всегда, когда нужны мне были темы,
Я брал их у тебя, мой дорогой,
И делал из твоих речей поэмы,
В которых издевался над тобой;
Лиши их рифм, откинь размеров схемы, —

* — предполагая сходство погоды. *Ред.*

И сразу в них узнаешь облик свой.
Теперь кляни, коль гневом обуян ты,
Всегда готового к услугам
Гильдебранда [242].

Ты бы тоже начал понемногу пописывать в стихах или в прозе, а потом послал бы в «Berliner Conversations-Blatt», если он еще существует, или в «Gesellschafter». Впоследствии ты пойдешь дальше, станешь писать повести, которые будешь помещать сначала в журнале, а затем отдельно, приобретешь имя, прослывешь умным, остроумным рассказчиком. Я снова вижу вас: Хёйзера — великим композитором, Вурма — пишущим глубокомысленные исследования о Гёте и духовном развитии нашего времени, Фриц становится знаменитым проповедником, Йонгхаус сочиняет религиозные поэмы, ты пишешь остроумные повести и критические статьи, а я — становлюсь городским поэтом Бармена, заместителем — обиженной (в Клеве) памяти — лейтенанта Симонса. — Есть у меня еще стихотворение для тебя — песня, предназначенная для журнала «Musenalmanach» *, но у меня нет охоты еще раз переписывать ее. Может быть, я напишу еще одну. Сегодня (30 апреля) я сидел по случаю чудесной погоды от семи до половины девятого в саду, курил и читал «Лузиады» [243], пока не наступило время идти в контору. Нигде не читается так хорошо, как в саду, в ясное весеннее утро, с трубкой во рту, под солнечными лучами, которые греют тебе спину. Сегодня в обед я буду продолжать это занятие со старонемецким Тристаном и его милыми рассуждениями о любви, сегодня вечером пойду в магистратский погреб, где наш господин пастор угощает рейнвейном, который выдан ему в служебном порядке новым бургомистром **. В такую необычайную погоду у меня всегда бесконечная тоска по Рейну и его виноградникам, но что тут поделаешь? В лучшем случае — несколько строф. Я готов пари держать, что В. Бланк написал вам, что [я] — автор статей в «Telegraph» [244], и поэтому вы так ругали их.

Действие происходит в Бармене. Что это такое — ты можешь догадаться ***.

Только что получил письмо от В. Бланка, где он пишет мне, что статья вызвала страшный шум в Эльберфельде; д-р Рункель ругает ее в «Elberfelder Zeitung» и упрекает меня в неправдивости; я предложу ему указать хоть на одну неточность в моей

* — «Deutscher Musenalmanach». *Ред.*

** — пастор Георг Готфрид Тревиранус; бургомистр И. Д. Нольтениус. *Ред.*

*** — См. стр. 397. В оригинале рисунок перед этими словами. *Ред.*



статье — он этого не сумеет сделать, так как все приводимое в ней основано на фактах, полученных мной от очевидцев. Бланк прислал мне этот номер газеты, который я тотчас же переправил Гуцкову с просьбой впредь держать мое имя втайне [245]. Круммахер заявил недавно в своей проповеди, что земля неподвижна, а солнце движется вокруг нее, и этот субъект осмеливается 21 апреля 1839 г. громогласно заявлять подобные вещи, утверждая в то же время, что пиетизм [9] не возвращает мир к средневековью *! Позор! Этого субъекта надо прогнать, не то он станет когда-нибудь папой, прежде чем ты успеешь оглянуться, но после этого его поразит гром. Dios lo sabe, бог его знает, что еще станет с Вупперталем. Adios. Ожидающий твоего скорого письма, а в противном случае отказывающийся впредь посылать тебе свои стихи.

Фридрих Энгельс

Впервые в виде отрывка опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 9. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

18

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

Бремен, 23 мая 1839 г.

Дорогая Мария!

Теперь я каждое воскресенье выезжаю вместе с Р. Ротом верхом в дальний путь. В прошлый понедельник мы были

* См. настоящий том, стр. 8. *Ред.*


Ян Крусбекер

в Вегезаке и Блюментале, а когда мы как раз намеревались осмотреть знаменитую Бременскую Швейцарию (это очень небольшой участок земли с маленькими песчаными дюнами), вдруг поднялось огромное, как туча, облако пыли, и через 5 минут стало почти совершенно темно, так что нам вовсе не удалось полюбоваться так называемым прекрасным видом. — Но на второй день троицы здесь чудесно. Весь народ выезжает за город, в Бремене мертвая тишина, а за городскими воротами упряжка за упряжкой коляски, всадники и пешеходы. И поднимается жуткая пыль, так как на шоссе много песку, почти что в пол-локтя высоты, и он, разумеется, подымается в воздух. Только что вошел маклер, его зовут Ян Крусбекер, я нарисую тебе его.

Он выглядит в точности как здесь, глаза у него как ракеты и всегда скорбная улыбка на устах. Adieu *.

Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue», Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

19

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН

[Бремен], 24 мая — 15 июня [1839 г.]

My dear William! **

Сегодня 24 мая, а от вас еще ни строчки. Вы добьетесь опять того, что не получите стихов. Я вас не понимаю. Но все же получай заметки о литературе современности.

* — Прощай. *Ред.*

** — Мой дорогой Вильям! *Ред.*

Собрание сочинений Людвига Бёрне. I и II тома. «Страницы драматургии» [246]. — Бёрне, титанический борец за свободу и право, выступает здесь на эстетическом поприще. И здесь также он чувствует себя уверенно; все, что он говорит, так четко и ясно, так проникнуто верным чувством красоты и доказано так убедительно, что не может быть и речи о возражениях. Все это облито потоками ослепительнейшего остроумия, и, точно скалы, то здесь, то там поднимаются мощные и острые идеи свободы. Большинство этих критических статей (из которых состоит книга) написано было сейчас же при появлении разбираемых в них вещей, т. е. в такое время, когда критика в оценке их еще брела ощупью, слепо и нерешительно; но Бёрне все видел насквозь и проникал до самых скрытых пружин действия. Лучше всего критический очерк о шиллеровском «Телле» [247] — статья, идущая вразрез с обычным взглядом на эту вещь и уж двадцать лет остающаяся неопровергнутой, ибо она неопровержима. — «Карденио» и «Хофер» Иммермана, «Исидор и Ольга» Раупаха, «Шерстяная ярмарка» Клаурена, с чем связываются другие интересы, «Маяк» и «Картина» Гоувальда [248], которые он так уничтожает, что от них ничего, ровно ничего не остается, и шекспировский «Гамлет»! Во всем Бёрне проявил себя как великий человек, который вызвал борьбу мнений, чреватую неисчислимыми последствиями, и уже этих двух томов было бы достаточно, чтобы обеспечить Бёрне место рядом с Лессингом; но он стал Лессингом на другом поприще, пусть в лице Карла Бека за ним последует другой Гёте!

«Ночи. Железные песни» — Карла Бека.

Я — дикий, необузданный султан;
Грозна моих железных песен сила.
Мне вкруг чела страданье положило
С таинственными складками тюрбан *.

Если подобные образы встречаются уже во второй строфе пролога, то что же мы найдем в самой книге [22]? Если у двадцатилетнего юноши бродят в голове такие мысли, то какие песни создаст нам зрелый муж? Карл Бек — поэтический талант, равного которому еще не было со времени Шиллера. Я нахожу поразительное сходство между «Разбойниками» Шиллера и «Ночами» Бека: тот же пылкий свободолюбивый дух, та же неукротимая фантазия, тот же юношеский задор, те же недостатки. Шиллер в «Разбойниках» стремился к свободе, они были серьезным предостережением его пропитанному

* Из стихотворения Карла Бека «Султан». *Ред.*

раболепством времени; но тогда подобное стремление не могло еще принять определенных очертаний; теперь в лице «Молодой Германии» [5] у нас есть определенное, систематическое направление: выступает Карл Бек и громко призывает современников признать это направление и примкнуть к нему. Benedictus, qui venit in nomine Domini *.

«Странствующий поэт». Стихотворения Карла Бека [29]. Молодой поэт вслед за первой книгой уже выпустил другую, которая нисколько не уступает первой по силе, полноте мыслей, лирическому подъему и глубине и бесконечно выше ее прекрасной формой и классичностью. Какой прогресс от «Творения» в «Ночах» до сонетов о Шиллере и Гёте в «Странствующем поэте»! Гуцков находит, что форма сонета наносит ущерб впечатлению от целого; я же готов утверждать, что такой шекспировский сонет представляет для этого своеобразного вида поэзии как раз надлежащую середину между эпической строфой и отдельным стихотворением. Это ведь не эпическая поэма, а чисто лирическая, слабо связанная эпической нитью, еще слабее, чем «Чайлд Гарольд» Байрона. Но благо нам, немцам, что родился Карл Бек.

«Блазедов и его сыновья». Комический роман Карла Гуцкова [64]. I том. В основе этого трехтомного романа лежит идея о современном Дон-Кихоте, идея, которой пользовались уже не раз, но которую большей частью плохо обрабатывали и, конечно, далеко не исчерпали. Образ этого современного Дон-Кихота (Блазедова, деревенского священника), каким он представляется по первоначальному замыслу Гуцкова, был превосходен, но исполнение местами, безусловно, неудачно. Во всяком случае, этот роман Гуцкова, едва достигшего тридцатилетнего возраста (к тому же, как говорят, роман окончен еще три года назад), очень уступает в силе изображения творению Сервантеса, произведению зрелого мужа. Но зато второстепенные персонажи — Тобианус, по-видимому, соответствует Санчо Панса, — ситуации и язык великолепны.

Вот тебе и мои рецензии, а продолжать я буду, когда напишешь ты. — Знаешь ли, когда прибыли ваши письма? — Пятнадцатого июня! А последние были получены пятнадцатого апреля! Значит, ровно два месяца! Разве это хорошо? Настоящим приказываю — под угрозой прекращения навсегда отправки вам стихов — лишить Вурма всякого влияния на отсылку писем. И если Вурм не будет готов вовремя со своим письмом, то отошлите письма, не дожидаясь его! Разве четыр-

* — Благословен грядый во имя господне. *Ред.*

надцати дней недостаточно, чтобы написать мне две четвертушки? Это позорно. Ты опять не помечаешь даты, это тоже нехорошо. — Статья в «Telegraph» — моя неотъемлемая собственность, и она страшно понравилась В. Бланку; в Бармене о ней тоже отзывались с большим одобрением; кроме того, ее в тоне величайшей похвалы цитировали в нюрнбергском «Athenäum»[249]. В ней, может быть, есть отдельные преувеличения, но в целом она дает верную картину действительности, рассматриваемой под разумным углом зрения. Конечно, если подходишь к ней с предвзятым мнением, что это путаная, дрянная вещь, то оно и должно казаться так. — То, что ты говоришь о комедии, justum *.

Justus judex ultionis
Donum fac remissionis! **

О канцоне у вас — ни звука. Надо исправить это.



Кандидаты «Musenalmanach» ***

Что касается *Лео* и *Михелета,* то я знаю всю историю только по *«Гегелингам»*[48] *Лео* и нескольким полемическим произведениям. Отсюда я узнал следующее: 1) что *Лео,* который, по собственным его словам, уже одиннадцать лет как отказался от всякой философии, не имеет поэтому никакого представления о ней; 2) что он обрел призвание к ней в своем собственном неистощимом и хвастливом воображении; 3) что он нападает на выводы, которые необходимо вытекают, в силу особенностей *гегелевской* диалектики, из общепринятых предпосылок, вместо того чтобы напасть на диалектику, а не сделав этого, он

* — справедливо. *Ред.*
** — Праведный судья, карая,
Милость нам ниспосылай! *Ред.*
*** — «Deutscher Musenalmanach». *Ред.*

не должен был трогать и следствий; 4) что он отвечал на возражения лишь грубыми восклицаниями, даже бранью; 5) что он считает себя гораздо выше своих противников, нестерпимо важничает, а на следующей странице снова кокетничает безграничным смирением; 6) что он нападает только на четырех, но тем самым он нападает на всю школу, которая неотделима от этих четырех, ибо хотя *Ганс* и другие в отдельных пунктах отмежевались от них, но они были так тесно связаны, что *Лео* совершенно не был в состоянии доказать важность их разногласий; 7) дух «Evangelische Kirchen-Zeitung», у которой на поводу идет Лео, пропитывает весь его пасквиль. Заключение: лучше бы Лео держал язык за зубами. Что это за «*жесточайшие испытания*», заставившие Лео ринуться в бой? Разве в своей брошюре о *Гёрресе*[250] он уже не напал на них, и притом еще яростнее, чем в «*Гегелингах*»? Всякий вправе вступать в научный спор, если только он имеет знания для этого (имел ли их Лео?), но кто хочет осуждать, тот пусть бережется; а сделал ли это Лео? Не осуждает ли он вместе с Михелетом также и Мархейнеке, за каждым шагом которого следит «Evangelische Kirchen-Zeitung», точно он находится под ее полицейским надзором, — все ли, мол, у него ортодоксально? Последовательно рассуждая, Лео должен был бы осудить очень и очень многих, но на это у него не хватило мужества. Кто хочет нападать на гегелевскую школу, должен сам быть равным Гегелю и создать на ее месте новую философию. А школа эта, на зло Лео, ширится с каждым днем. А нападки хиршберговского Шубарта[53] на политическую сторону гегельянства — разве не напоминают они аминь пономаря к поповскому credo галлеского льва, который, правда, не может скрыть своей кошачьей породы? A propos *, Лео — единственный академический преподаватель в Германии, который ревностно защищает дворянскую аристократию! Лео также называет В. Менцеля своим другом!!!

Твой верный друг

Фридрих Энгельс,
младогерманец

Были ли вы на похоронах Ганса? Почему вы ничего не пишете об этом?

Впервые со значительными сокращениями опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 9. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

* — Кстати. *Ред.*

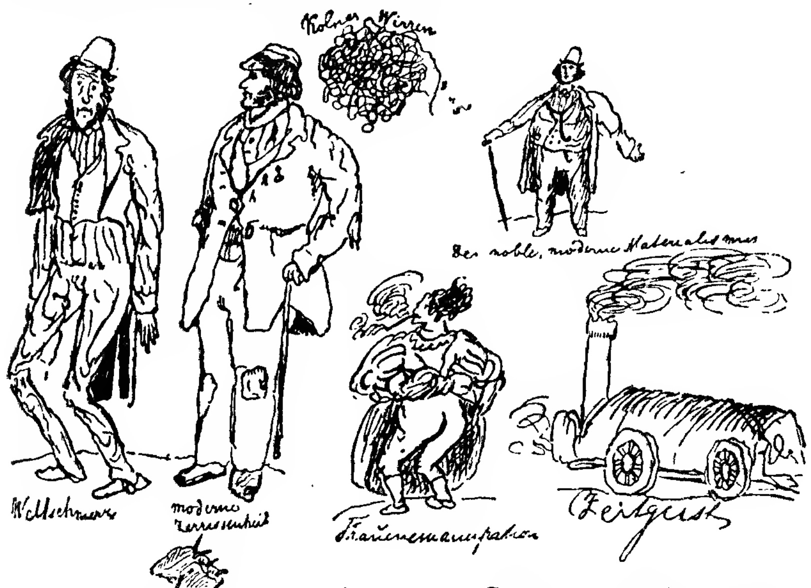
20

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН

[Бремен], 15 июня [1839 г.]

Фриц Гребер. Милостивые государи, здесь перед вами современные характеры и явления *.



15 июня. Сегодня прибыли ваши письма. Я постановляю, чтобы Вурм никогда больше не отправлял писем. К делу. То, что ты мне пишешь о родословных Иосифа, я уже в основных чертах знал; на это я могу возразить следующее:

1. Где в библии, в какой-нибудь *родословной*, зять, при аналогичных

---

* Под рисунками приведены следующие подписи (слева направо): Weltschmerz (Мировая скорбь), Moderne Zerrissenheit (Современная разорванность), Kölner Wirren (Кёльнские смуты), Der noble, moderne Materialismus (Благородный современный материализм), Frauenemancipation (Эмансипация женщин), Zeitgeist (Дух времени), Emancipation des Fleisches (Эмансипация плоти). *Ред.*

обстоятельствах, называется также *сыном?* Пока мне не укажут такого примера, я это объяснение могу считать лишь натянутым, искусственным.

2. Почему Лука, писавший по-гречески для греков — для греков, которые не могли знать этого иудейского обычая, — не говорит прямо, что дело было так, как ты говоришь?

3. К чему вообще родословная Иосифа? Ведь она совершенно лишняя, так как все три синоптических евангелия определенно говорят, что Иосиф не был отцом Иисуса?

4. Почему такой человек, как Лафатер, не прибегает к этому объяснению и предпочитает оставить противоречие? Наконец, почему сам Неандер, который даже более учен, чем Штраус, говорит, что это — неразрешимое противоречие, виновником которого является автор греческой обработки еврейского Матфея?

Далее, ты не отделаешься так легко от прочих моих сомнений, которые ты называешь «жалким буквоедством». Под вдохновением слова в Вуппертале понимают то, что бог вложил особый глубокий смысл даже в каждое слово; я это достаточно часто слышал с церковного амвона. Я охотно верю тому, что Хенгстенберг не разделяет этого взгляда, ибо из «Kirchen-Zeitung» видно, что у него вообще нет ясных взглядов: он соглашается с каким-нибудь ортодоксом в том, что вслед за тем он вменяет в преступление какому-нибудь рационалисту. Но как далеко простирается вдохновение библии? Конечно, не настолько далеко, чтобы один мог заставить Христа сказать: «Сие есть кровь моя», а другой: «Сие есть Новый завет в моей крови». Почему же бог, который ведь должен был предвидеть спор между лютеранами и реформатами, не предупредил этого злополучного спора столь ничтожным вмешательством? Если допускать вдохновение, то одно из двух: или бог сделал это умышленно, *чтобы* вызвать спор, но этого я возвести на бога не могу, или бог не заметил этого, но и это мнение было бы равным образом недопустимо. Нельзя также утверждать, чтобы этот спор породил что-нибудь хорошее, а допустить, чтобы он, вызвав трехсотлетний раскол христианской церкви, породил что-нибудь хорошее в будущем, — допустить это опять-таки нет никаких оснований и в этом нет никакой вероятности. Между тем как раз это место о тайной вечере важно. И если здесь имеется какое-нибудь противоречие, то вся вера в библию идет прахом.

Я тебе только скажу напрямик: теперь я пришел к тому, что божественным можно считать лишь то учение, которое может выдержать критику разума. Кто дает нам право слепо верить библии? Только авторитет тех, кто поступал так до нас. Да, коран более органичный продукт, чем библия, ибо он требует

веры в свое цельное, *последовательно развивающееся* содержание. Библия же состоит из многих отрывков многих авторов, из которых многие даже *сами не претендуют* на божественность. И мы обязаны, вопреки нашему разуму, верить ей только потому, что нам это говорят наши родители? Библия учит осуждению рационалистов на вечные муки. Можешь ли ты себе представить, чтобы человек, который всю свою жизнь (Бёрне, Спиноза, Кант) стремился к соединению с божеством, или чтобы такой, как Гуцков, для которого высшая цель в жизни найти ту точку, где положительное христианство могло бы братски слиться с современным образованием, — чтобы он, после своей смерти, был навеки, навеки удален от бога и должен был без конца переносить телесно и духовно гнев божий в самых жестоких муках? Мы не должны мучить даже муху, похищающую у нас сахар, а бог может карать такого человека, заблуждения которого не менее бессознательны, в десять тысяч раз более жестоко и на веки вечные? Далее, грешит ли рационалист, если он искренен, своим сомнением? Ни в коем случае. Ведь он должен был бы всю свою жизнь испытывать самые ужасные угрызения совести; христианство должно было бы, раз он стремится к истине, навязать ему себя с непреодолимой силой истины. Но разве это так? Далее, как двусмысленна позиция ортодоксии по отношению к современному образованию. Говорят, что христианство привело с собой повсюду образование; теперь же вдруг ортодоксия требует, чтобы образование остановилось в разгаре своего прогрессивного движения. Какую цену имеет, например, вся философия, если мы станем верить библии, с ее учением о непознаваемости бога разумом? А между тем, ортодоксия считает вполне целесообразным иметь немножко — только не слишком много — философии. Если геология приходит к другим результатам, чем моисеева история сотворения мира, то ее ругают (см. жалкую статью «Evangelische Kirchen-Zeitung» «Границы изучения природы»)[251]; если же она приходит якобы к тем же результатам, что и библия, то на нее ссылаются. Если, например, какой-нибудь геолог скажет, что земля, окаменелости свидетельствуют о великом потопе, то на это ссылаются; если же какой-нибудь другой геолог найдет следы различного возраста этих окаменелостей и станет доказывать, что потоп происходил в разное время и в разных местах, то геологию осуждают. Разве это честно? Далее: вот «Жизнь Иисуса»[162] Штрауса, неопровержимое сочинение, почему не напишут убедительного опровержения его? Почему позорят этого поистине почтенного мужа? Много ли найдется таких, которые выступили против него по-христиански, как

Неандер, а ведь он не ортодокс? Да, немало сомнений, тяжелых сомнений, с которыми я не могу справиться. Далее, учение об искуплении; почему не извлекают из него той морали, что если кто-нибудь хочет добровольно отвечать за другого, то следует наказывать его? Вы все сочли бы это несправедливостью; но неужели то, что несправедливо в глазах людей, должно стать высочайшей справедливостью перед богом? Далее. Христианство говорит: я делаю вас свободными от греха. Но не стремится ли к тому же и остальной рационалистический мир? И вот вмешивается христианство и запрещает им, рационалистам, это стремление потому-де, что путь рационалистов еще дальше уводит от цели. Если бы христианство показало нам хоть одного человека, которого оно сделало в этой жизни настолько свободным, что он никогда уже не грешил, тогда оно имело бы некоторое право так говорить, — в противном же случае оно не имеет этого права. Далее: Петр говорит о более разумном, более чистом млеке евангелия [252]. Я этого не понимаю. Мне говорят: это — просветленный разум. Но пусть мне покажут такой просветленный разум, которому это ясно. До сих пор мне еще не встретился ни один, даже для ангелов это «великая тайна». — Я надеюсь, что ты достаточно хорошего мнения обо мне, чтобы не приписать всего этого кощунственной жажде сомнений и хвастовству; я знаю, что наживу себе этим величайшие неприятности, но от того, что диктуется мне силой убеждения, я, при всех своих стараниях, не могу избавиться. Если я своими дерзкими речами задел, может быть, твои убеждения, то прошу у тебя чистосердечно прощения; я говорил только то, что я думаю, и то, в чем я убежден. Я в таком же положении, как Гуцков; если кто-нибудь относится высокомерно к позитивному христианству, то я защищаю это учение, которое исходит ведь из глубочайшей потребности человеческой природы, из жажды искупления греха милосердием божьим; но когда дело идет о том, чтобы защищать свободу разума, я протестую против всякого принуждения. — Я надеюсь дожить до радикального поворота в религиозном сознании мира; если бы только мне самому все стало ясно! Но это непременно будет, если у меня только хватит времени развиваться спокойно, без тревог.

Человек родился свободным, он свободен!

Твой верный друг

Фридрих Энгельс

Впервые с сокращением опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

21

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен], 12—27 июля [1839 г.]

Fritzo Graebero. *12 июля.* Вы могли бы все же снизойти и когда-нибудь написать мне. Скоро уже пять недель со времени получения вашего последнего письма. — В моем предыдущем письме я выложил тебе массу скептических соображений; я рассматривал бы вопрос иначе, если бы уже тогда был знаком с учением Шлейермахера. Ибо это ведь еще разумное христианство; оно ясно всякому, даже и не приемлющему его, и можно признать его ценность, не присоединяясь к нему. Философские принципы, какие я нашел в этом учении, я уже воспринял; с его теорией искупления я еще не свел всех счетов и буду остерегаться немедленно же усвоить ее, чтобы не оказаться вскоре вынужденным снова менять свои взгляды. Но я буду штудировать ее, как только мне представится время и возможность. Если бы я был раньше знаком с этим учением, я никогда бы не стал рационалистом, но разве в нашем Мукертале * можно услышать что-нибудь подобное? Я прихожу в ярость от этого безобразия, я хочу бороться сколько хватит сил с пиетизмом [9] и верой в букву. К чему они? То, что отвергает наука, с развитием которой связана теперь вся история церкви, то не должно больше существовать и в жизни. Допустим, что пиетизм и был прежде исторически-правомерным элементом в развитии теологии; он свое взял, он отжил и должен, не упираясь, уступить место спекулятивной теологии. Только на основе последней может теперь развиваться что-нибудь надежное. Я не понимаю, как можно еще пытаться сохранить веру в букву библии или защищать непосредственное вмешательство божье, наличие которого нельзя ведь нигде доказать.

26 июля. Вот и письмо от вас. Но к делу. В твоем письме совершенно замечательно, что ты придерживаешься ортодоксии и в то же время делаешь отдельные уступки рационалистическому направлению, тем самым ты даешь мне в руки оружие. О родословной Иосифа. На мое первое возражение ты отвечаешь мне: кто знает, не принимаем ли мы часто, читая библейские родословные, зятя и племянника за сына? Не уничтожаешь ли ты этим всю достоверность библейских родословных? Как может доказать здесь что-нибудь закон — этого я совершенно не понимаю. — На мое второе возражение ты говоришь: Лука

---

* Игра слов: «Muckertal» — «ханжеская долина»; намек на Вупперталь. *Ред.*

писал для Феофила. Дорогой Фриц, что это за вдохновение, которое считается с пониманием того, кому первому случайно попадет книга? И если не принимаются в расчет все будущие читатели, то я не могу признать никакого вдохновения; и вообще, ты, видимо, еще не уяснил себе понятия вдохновения. В-третьих, я не могу уразуметь, каким образом родословная Иосифа представляет собой исполнение пророчества; наоборот, евангелист был весьма заинтересован в том, чтобы не представить Иисуса сыном Иосифа, чтобы разрушить этот взгляд и отнюдь не воздавать такой почести Иосифу изложением его родословной. — «Было бы совершенно вразрез с обычаем сказать, что Иисус был сыном Марии, а Мария дочерью Илии». Дорогой Фриц, разве обычай может иметь здесь какое-нибудь значение? Смотри лучше, чтобы таким путем ты опять не подошел слишком близко к своему понятию о вдохновениях. Право же, я нахожу твое объяснение столь натянутым, что на твоем месте я предпочел бы считать одно из утверждений неправильным. — «Христианству неизбежно противостоят неразрешимые сомнения, и все же можно милосердием божьим достигнуть уверенности». В том виде, в каком ты себе представляешь это влияние божьего милосердия на отдельных лиц, я в нем сомневаюсь. Я, конечно, знаком с блаженным чувством, которое испытывает каждый — как рационалист, так и мистик — вступающий в тесное внутреннее общение с богом; но разберись в этом чувстве, поразмысли над этим, отвлекшись от библейских оборотов речи, и ты найдешь, что оно сводится к сознанию, что человечество — божественного происхождения, что, как часть человечества, ты не можешь погибнуть, а должен будешь, после несчетных испытаний и борьбы как в здешнем, так и в загробном мире, освобожденный от всего смертного и греховного, возвратиться в лоно божества; таково мое убеждение, и оно дает мне успокоение; исходя из него, я могу тебе также сказать, что дух божий свидетельствует мне, что я — дитя божье; и, как я уже сказал, не могу поверить, чтобы ты мог выразиться по этому поводу иначе. Правда, ты гораздо более спокоен, а я еще должен биться со всякого рода мнениями и не могу оставить своих убеждений в таком неоформленном виде, но это сводится, на мой взгляд, к количественной, а не к качественной разнице. — Я вполне признаю, что я — грешник, что во мне глубоко сидит склонность к греху, и поэтому я совершенно сторонюсь учения об оправдании делами. Но я не согласен с тем, что эта греховность заключена в воле человека. Я готов признать, что хотя в идее человечества не кроется возможности греха, но она *неизбежно должна быть заложена* в реализации этой идеи; поэтому я решительно готов

к покаянию настолько, насколько этого лишь можно желать; но, дорогой Фриц, ни один мыслящий человек не поверит, что мои грехи должны быть прощены мне ради заслуг какого-то третьего лица. Когда я размышляю над этим, независимо от всякого авторитета, то я, вместе с новейшей теологией, нахожу, что греховность человека заключается в неизбежно несовершенном осуществлении идеи; что поэтому всякий должен стараться осуществить в себе идею человечества, т. е. по духовному совершенству стать равным богу. Это — нечто совершенно субъективное; как может породить это субъективное ортодоксальная теория искупления, которая предполагает третье, нечто объективное? Я признаю себя достойным наказания, и, если бог хочет наказать меня, пусть он это сделает, но вечного отдаления от бога хотя бы ничтожнейшей частицы духа я совершенно не могу себе представить и не могу поверить в это. Разумеется, то, что бог нас терпит, это дело его милосердия; ведь все, что бог ни делает, это акт милосердия, но, вместе с тем, это является также и необходимостью. Соединение этих противоречий составляет ведь значительную часть существа божия. Что касается твоих дальнейших слов, будто бог не может отрекаться от себя и т. д., то мне кажется, что ты здесь пытаешься обойти мой вопрос. Можешь ли ты поверить, чтобы человек, стремящийся к соединению с богом, был навеки отвержен богом? Можешь? Нет, не можешь, потому-то ты и ходишь вокруг да около. Разве не является совершенно недостойной мысль, будто бог, не довольствуясь карой, которая вызвана самим дурным поступком, должен еще назначить особое наказание за прошлое зло? Допуская вечное наказание, ты должен допустить и вечный грех; с вечным грехом — вечную возможность верить, т. е. быть искупленным. Учение о вечном осуждении страшно непоследовательно. Далее, историческая вера является, по-твоему, существеннейшим элементом веры, и вера без нее немыслима; но ты не станешь отрицать, что есть люди, для которых *совершенно невозможно* обрести эту историческую веру. И от таких людей бог должен требовать, чтобы они сделали невозможное? Дорогой Фриц, пойми, что это было бы бессмыслицей и что разум божий, конечно, выше нашего, но он все же не другого рода; иначе бы он вовсе не был разумом. Ведь библейские догматы надо тоже воспринимать разумом. — Свобода духа, говоришь ты, заключается в отсутствии самой возможности сомнения. Но ведь это — величайшее рабство духа; свободен лишь тот, кто победил в своем убеждении всякие сомнения. И я вовсе не требую, чтобы *ты* меня разбил; я вызываю на бой всю ортодоксальную теологию, пусть разобьет

меня. Если за целых 1800 лет старая христианская наука не сумела выставить никаких возражений против рационализма и отразила лишь немногие из его атак, если она боится борьбы на чисто научной арене и предпочитает обдавать грязью личность противников, то что можно сказать по этому поводу? Да и *способно ли* ортодоксально-христианское учение на чисто научную трактовку? Я утверждаю, что нет; и можно ли ждать от него большего, чем некоторой ранжировки идей, разъяснений и диспутирования. Я советую тебе прочесть как-нибудь «Изложение и критику современного пиетизма» д-ра Х. Мерклина, Штутгарт, 1839 [253]; если ты сумеешь опровергнуть доводы этой книги (т. е. не положительную сторону ее, а отрицательную), то быть тебе первым теологом в мире. — «Для простого христианина этого совершенно достаточно: он знает, что он — дитя божье, и от него не требуется, чтобы он мог объяснить все кажущиеся противоречия». На «кажущиеся противоречия» не может дать ответа ни простой христианин, ни Хенгстенберг, ибо это — действительные противоречия; но поистине, кто довольствуется этим и кичится своей верой, у того нет никакой основы для его веры. Чувство, конечно, может подтверждать, но отнюдь не обосновывать, все равно как нельзя обонять ушами. Хенгстенберг мне глубоко противен из-за его поистине позорной манеры редактировать «Kirchen-Zeitung» *. Почти все сотрудники анонимны, и, следовательно, отвечать за них должен редактор; если же кто-нибудь, оскорбленный на страницах газеты, требует у него объяснений, то оказывается, что г-н Хенгстенберг ничего знать не знает; автора он не называет, но и сам отказывается брать на себя ответственность. Уже неоднократно бывало, что та или иная темная личность из «Kirchen-Zeitung» набрасывалась на какого-нибудь беднягу, а когда последний обращался к Хенгстенбергу, то получал в ответ, что *он* статьи не писал. Среди священников пиетистского толка «Kirchen-Zeitung» все еще пользуется большой славой потому, что они не читают произведений другого лагеря, и на этом она держится. Я не читал последних номеров, не то мог бы привести тебе примеры. Когда произошла цюрихская история со Штраусом [150], то ты не можешь себе представить, как отвратительно оклеветала и ославила «Kirchen-Zeitung» Штрауса; между тем, все сообщения единодушно свидетельствуют о том, что он держался во всей этой истории исключительно благородно. Чем объяснить, например, то большое усердие, с которым «Kirchen-Zeitung» хочет во что бы то ни стало поста-

* — «Evangelische Kirchen-Zeitung». *Ред.*

вить Штрауса на одну доску с «Молодой Германией» [5]? А ведь в глазах многих «Молодая Германия», к сожалению, нечто чудовищное. — По вопросу о поэзии веры ты меня превратно понял. Я поверил не ради поэзии; я поверил, ибо понял, что не смогу дальше жить так беспечно, ибо раскаивался в своих грехах, ибо жаждал общения с богом. Я пожертвовал тем, что мне дороже всего, я пренебрег моими величайшими радостями, моими дорогими и близкими, я опозорил себя со всех сторон перед всем светом; я несказанно счастлив, что нашел в Плюмахере человека, с которым мог говорить об этом; я охотно переносил его фанатическую веру в предопределение; ты сам знаешь, что это для меня серьезное, священное дело. Я был тогда счастлив — я знаю это, — и теперь я тоже очень счастлив; у меня была тогда уверенность, радостная готовность молиться; есть она и сейчас и еще в большей степени, ибо я борюсь и нуждаюсь в опоре. Но я никогда не испытывал и следа того блаженного экстаза, о котором я так часто слышал с наших церковных кафедр; моя религия была и есть тихий, блаженный мир, и я буду доволен, если он у меня останется и за гробом. У меня нет никаких оснований поверить, что бог отнимет его у меня. Религиозное убеждение — это дело сердца, и оно связано с догматом лишь постольку, поскольку чувство противоречит последнему или нет. Весьма возможно, что дух божий дает тебе знать посредством твоего чувства, что ты — дитя божье, но уж, наверное, не то, что ты дитя божье благодаря смерти Христа; в противном случае оставалось бы признать, что чувство способно мыслить, что уши твои способны видеть. — Я молюсь ежедневно, даже почти целый день об истине; я стал так поступать с тех пор, как начал сомневаться, и все-таки я не могу вернуться к вашей вере; а между тем, написано: просите, и дано будет вам *. Я ищу истину всюду, где только надеюсь найти хоть тень ее; и все же я не могу признать вашу истину вечной. А между тем написано: ищите и найдете. Есть ли кто-нибудь среди вас, кто дал бы камень своему ребенку, просящему хлеба? Тем более, может ли так поступить отец ваш небесный? **

У меня выступают слезы на глазах, когда я пишу это, я весь охвачен волнением, но я чувствую, что не погибну; я вернусь к богу, к которому стремится все мое сердце. И здесь тоже свидетельство святого духа, за это я жизнью ручаюсь, хотя бы в библии десять тысяч раз стояло обратное. И не обманывайся, Фриц; при всей твоей уверенности, наступит неожиданно час

* Библия. Новый завет. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. *Ред.*
** Там же. Стихи 7, 9 и 11. *Ред.*

сомнений, и тогда решение твоего сердца будет часто зависеть от малейшего случая. — Но я из опыта знаю, что догматическая вера не имеет никакого влияния на внутренний мир.

27 июля.

Если бы ты поступал так, как написано в библии, то ты не должен был бы вовсе иметь дела со мной. Во втором послании Иоанна (если я не ошибаюсь) сказано, что не следует приветствовать неверующего, не следует ему говорить даже χαῖρε *. Такие места встречаются очень часто, и они всегда вызывали во мне досаду. Но вы далеко не делаете всего того, что сказано в библии. Впрочем, мне кажется чудовищной иронией, когда называют ортодоксальное евангелическое христианство религией любви. Согласно вашему христианству, девять десятых человечества обречены на вечные муки, и только одной десятой суждено быть счастливой. И вот это, Фриц, должно означать бесконечную любовь бога? Подумай, сколь малым казался бы бог, если б такова была его любовь. Ведь так ясно, что если существует религия откровения, то ее бог может быть более великим, но не иным, чем такой, который может быть постигнут разумом. В противном случае вся философия не только пустое дело, но даже греховное; без философии же нет просвещения, без просвещения нет человечности, а без человечности опять-таки нет религии. Но даже фанатик Лео не смеет относиться к философии с таким пренебрежением. Это тоже одна из непоследовательностей ортодоксов. С людьми, как Шлейермахер и Неандер, я уже сумею столковаться, ибо они последовательны и у них есть сердце; то и другое я тщетно ищу в «Evangelische Kirchen-Zeitung» и в прочих изданиях пиетистов. Особенно к Шлейермахеру я отношусь с громадным уважением. Если ты последователен, то, конечно, должен его осудить, ибо он проповедует христианство не в твоем духе, а скорее в духе «Молодой Германии», Теодора Мундта и Карла Гуцкова. Но это был великий человек, и среди ныне живущих я знаю только *одного*, обладающего равным ему духом, равной силой и равным мужеством, это — Давид Фридрих Штраус.

Я радовался, что ты взялся так энергично опровергнуть меня, но одно меня огорчило, и я это тебе напрямик сейчас скажу. Это — презрение, с которым ты говоришь о стремлении к соединению с богом, о религиозной жизни рационалистов. Тебе, конечно, приятно в твоей вере, как в теплой постели, и ты не знаешь борьбы, которую нам приходится проделать, когда

* — Здравствуй. (Библия. Новый завет. Второе послание Иоанна, стих 10). *Ред.*

мы, люди, должны решить, воистину ли бог есть бог или нет; ты не знаешь тяжести того бремени, которое начинаешь чувствовать с первым сомнением, бремени старой веры, когда нужно принять решение: за или против, носить его или стряхнуть; но я тебя еще раз предупреждаю, что ты вовсе не так застрахован от сомнений, как ты воображаешь, и не будь ослепленным по отношению к сомневающимся, ты еще сам можешь оказаться одним из них, и тогда ты тоже будешь требовать справедливости. Религия — дело сердца, и у кого есть сердце, тот может быть благочестивым; но у кого благочестие коренится в рассудке или даже в разуме, у того его вовсе нет. Древо религии растет из сердца и покрывает своей сенью всего человека и добывает себе пищу из дыхания разума; догматы же — это его плоды, несущие в себе благороднейшую кровь сердца; что сверх того, то от лукавого. Таково учение Шлейермахера, и на нем я стою.

Adieu *, дорогой Фриц, подумай хорошенько над тем, хочешь ли ты меня действительно послать в преисподнюю, и сообщи мне поскорее твой приговор.

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано с сокращением в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

22

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен, в концо июля или начале августа 1839 г.]

Дорогой Фриц!

Recepi litteras tuas hodie, et jamque tibi responsurus sum **. Много писать я тебе не могу — ты все еще в долгу у меня, и я жду длинного письма от тебя. Свободен ли также твой брат Вильгельм? Учится ли Вурм теперь тоже с вами в Бонне? Да благословит господь толстого Петера *** в его studia militaria ****. Маленькая поэма, написанная 27 июля, даст тебе возможность поупражняться в либерализме и чтении античного стихосложения. Ничего другого в ней нет.

* — Прощай. *Ред.*
** — Получил сегодня твои письма и сразу буду тебе отвечать. *Ред.*
*** — Петера Йонгхауса. *Ред.*
**** — военных занятиях. *Ред.*

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ В ГЕРМАНИИ

1839 год

Как волна за волною, вскипая, бежит, как неистово
носится буря!
Гребни волн в человеческий рост, и мой челн еле
держится в злобной пучине.
С Рейна дует пронзительный ветер; кругом собирает он
черные тучи,
Вырывает дубы, пыль вздымает столбом, образует за
омутом омут.
Государи Германии, в зыбком челне я невольно о вас
вспоминаю!
Как на плечи свои терпеливый народ поднял трон золотой
ваш когда-то
И с триумфом пронес по родимой земле, и прогнал
чужеземца лихого;
Вот тогда преисполнились наглостью вы и нарушили
данное слово.
Но повеяла буря из Франции к нам, всколыхнулись
народные массы,
И колеблется трон, как средь бури ладья, и дрожит
в вашей длани держава.
С негодующим взором, Эрнст-Август, к тебе я прежде
всего обращаюсь:
Ты нарушил закон, своевольный тиран, но прислушайся
к голосу бури,
Посмотри, как народ негодует и меч не желает в ножнах
оставаться.
Так же ль крепок твой трон золотой, как мой челн,
необузданной бурей гонимый?

Буря на Везере — факт; факт и то, что я в великий день июльской революции [251] ехал по этой реке.

Кланяйся Вурму, пусть он мне побольше напишет.

Твой

Фридр. Энгельс

Впервые опубликовано в книге F. Engels. «Schriften der Frühzeit», Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

23

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

Бремен, 30 июля 1839 г.

Мой дорогой Гульельмо!

Что у тебя за превратные представления обо мне? Здесь не может идти речи ни о скоморохе, ни о верном Эккарте [119] (или, как ты пишешь, об Эккардте), а только о логике, разуме, последовательности, propositio major и minor * и т. д. Да, ты прав, кротостью здесь ничего не добьешься, этих карликов — раболепие, засилье аристократии, цензуру и т. д. — надо прогнать мечом. И мне бы следовало, конечно, изрядно шуметь и бушевать, но так как я имею дело с тобой, то постараюсь быть кротким, чтобы ты не «перекрестился», когда «дикая свора» моей беспорядочной поэтической прозы промчится мимо тебя. Во-первых, я протестую против твоего мнения, будто я подгоняю дух времени пинками, чтобы он живее двигался вперед. Милый человек, какой страшной образиной представляется тебе моя бедная, курносая физиономия! Нет, от этого я воздерживаюсь, наоборот, когда дух времени налетает, как буря, увлекая за собой железнодорожный поезд, то я быстро вскакиваю в вагон и даю себя немного подвезти. Да, вот о Карле Беке — дикая идея, будто он исписался, по всей вероятности, принадлежит пропащему Вихельхаусу, насчет которого мне дал надлежащие сведения Вурм. Мысль, будто двадцатидвухлетний человек, написавший такие неистовые стихотворения, вдруг перестанет творить, — нет, подобная бессмыслица мне еще не приходила в голову. Можешь ли ты себе вообразить, чтобы Гёте после «Гёца» ** перестал быть гениальным поэтом, или Шиллер — после «Разбойников»? Кроме того, у тебя выходит, будто история отомстила «Молодой Германии» [5]! Сохрани боже! Конечно, если думать, что всемирная история вручена господом богом Союзному сейму в качестве наследственного лена, то она отомстила Гуцкову трехмесячным арестом [255], если же она — в чем мы более не сомневаемся — заключается в общественном (т. е. у нас литературном) мнении, то ее месть «Молодой Германии» выразилась в том, что она позволила ей завоевать себя с пером в руках, и теперь «Молодая Германия» королевой восседает на троне современной германской литературы. Какова была судьба Бёрне? Он пал, как герой, в феврале 1837 г., и еще в последние дни своей жизни имел счастье видеть, как его

* — большой посылке и малой. *Ред.*
** — драмы «Гёц фон Берлихинген». *Ред.*

питомцы — Гуцков, Мундт, Винбарг, Бёйрман — уже крепко стали на ноги; правда, зловещие черные тучи еще висели над их головами, и Германию стягивала длинная, длинная цепь, которую Союзный сейм чинил в тех местах, где она грозила порваться, но даже и теперь он смеется над государями и, быть может, знает час, когда с их голов слетят украденные короны. За счастье Гейне я не хочу тебе ручаться, и вообще парень уже изрядное время как стал сквернословом; за счастье Бека — тоже нет, ибо он влюблен и печалится о нашей дорогой Германии; это последнее чувство разделяю и я, и мне еще вообще предстоит немало столкновений, но старый милосердный господь бог наградил меня великолепным юмором, который меня изрядно утешает. А *ты*, карапуз, счастлив ли? — Что касается твоих взглядов на вдохновение, то держи их только про себя, а то не бывать тебе пастором в Вуппертале. Если бы я не был воспитан в крайностях ортодоксии и пиетизма [9], если бы мне в церкви, в школе и дома не внушали бы всегда самой слепой, безусловной веры в библию и в соответствие между учением библии и учением церкви и даже особым учением *каждого* священника, то, может быть, я еще долго бы придерживался несколько либерального супернатурализма. В учении достаточно противоречий — столько, сколько есть библейских авторов,— и вуппертальская вера вобрала в себя, таким образом, с дюжину индивидуальностей. Что касается родословной Иосифа, то Неандер, как известно, приписывает греческому переводчику еврейского оригинала ту, которая содержится в евангелии от Матфея; если я не ошибаюсь, *Вейсе* в своей «Жизни Иисуса» высказался, подобно тебе, против Луки [256]. Объяснение, данное Фрицем, сводится, в конце концов, к таким невероятным предположениям, что оно не годится ни для одного из них. Я, конечно, πρόμαχος *, но только не рационалистической, а либеральной партии. Происходит размежевание противоположных воззрений, они резко противостоят друг другу. Четыре либерала (одновременно и рационалиста), один аристократ, перешедший к нам, но из страха нарушения унаследованных в его семье принципов только что перебежавший обратно в лагерь аристократии, один аристократ, подающий, как мы надеемся, надежды, и несколько тупиц — таков тот круг, в котором ведутся споры. Я сражаюсь в качестве знатока древности, средних веков и современной жизни, в качестве грубияна и т. д., но эта моя борьба уже более не нужна, ибо мои подчиненные делают недурные успехи, вчера я им объяснил историческую

* — передовой боец. *Ред.*

необходимость событий с 1789 до 1839 г. и, кроме того, убедился к своему удивлению, что я в споре значительно сильнее всех здешних учеников выпускного класса. После того как я над двоими из них — уже довольно давно — одержал полную победу, они решились и сговорились двинуть против меня самого большого умника, чтобы он разбил меня; к несчастью, он был тогда влюблен в Горация, так что разбил его я по всем правилам искусства. Тогда они страшно перепугались. А этот эксгорациоман теперь очень хорошо относится ко мне, о чем он поведал мне вчера вечером. В правильности моих отзывов ты немедленно убедился бы, если бы прочел рецензируемые книги. К. Бек — огромнейший талант, более того — гений. Образы вроде:

«Вещает зычно голос грома то,
Что молнии вписали в недра тучи» [257],

встречаются у него массами. Послушай, что он говорит об обожаемом им Бёрне. Он обращается к Шиллеру:

Не чадо бреда Поза, твой маркиз!
А Бёрне днесь не той же ли породы?
Он, новый Телль, с горы взирая вниз,
Для нас трубит в волшебный рог свободы.
Спокойно заострил стрелу, и лук звенит,
И — яблоко пронзенное дрожит:
То шар земной пронзен стрелой свободы *.

А как чудесно он изображает нищету евреев и студенческую жизнь, а «Странствующий поэт» [29]! Человече, образумься, прочти его! И слушай, если ты опровергнешь статью Бёрне о шиллеровском Телле [247], то я передам тебе весь гонорар, который рассчитываю получить за свой перевод Шелли. Я прощаю тебе разгром моей вуппертальской статьи [244]: я ее недавно перечитал и был поражен ее стилем. С того времени я не писал так хорошо. Не забудь в следующий раз о Лео и Михелете. Как я уже сказал, ты очень ошибаешься, если думаешь, будто мы, младогерманцы, искусственно раздуваем дух времени; но подумай, раз этот πνεῦμα ** дует, и хорошо дует, то разве не были бы мы ослами, если бы не подняли паруса? То, что вы шли за гробом Ганса, не будет забыто. Я в ближайшее же время пущу об этом заметку в «Elegante Zeitung» ***. Мне крайне смешно, что все вы задним числом так мило просите прощения за чуточку буйства; вы еще вовсе не умеете произносить крепких слов, и вот вы все являетесь: Фриц посылает меня в ад, провожает

* *К. Бек.* Из стихотворения «Дом Шиллера в Голисе» («Ночи. Железные песни». Первая сказка. Пятая ночь). *Ред.*

** — дух. *Ред.*

*** «Zeitung für die elegante Welt». *Ред.*

до ворот преисподней, куда и вталкивает меня с низким поклоном, чтобы самому снова вознестись на небо. Ты через свои очки из шпата видишь все вдвойне и принимаешь моих трех товарищей за духов с горы госпожи Венеры. — Карапуз, чего ты кричишь о верном Эккарте [119]? Смотри, ведь вот он: маленький человек, с резким еврейским профилем; его зовут Бёрне; дай ему только взяться за дело, и он прогонит всю челядь госпожи Венеры. Затем ты тоже с полным смирением раскланиваешься со мной, а тут приходит и г-н Петер *, который одной половиной лица смеется, а другой хмурится и показывает мне то хмурую половину, то смеющуюся.

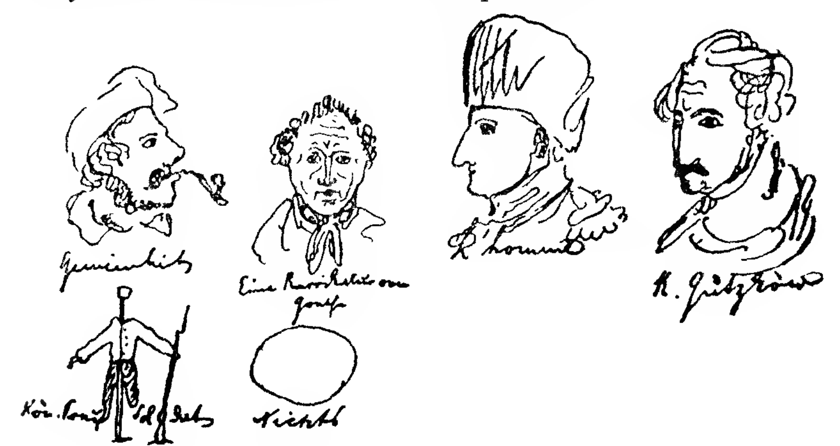
В милом Бармене начинает теперь пробуждаться интерес к литературе. Фрейлиграт основал кружок для чтения драм, в котором, со времени ухода Фрейлиграта, Штрюккер и Нейбург (приказчики у Лангевише) являются πρόμαχοί ** либеральных идей. При этом г-н Эвих сделал остроумные открытия: 1) что в этом кружке бродит дух «Молодой Германии», 2) что этот кружок in pleno *** является автором писем из Вупперталя в «Telegraph». И он внезапно уразумел, что стихи Фрейлиграта — якобы бесцветнейшие в мире, что Фрейлиграт-де значительно ниже де ла Мот Фуке и будет через три года забыт. Точь-в-точь утверждение К. Бека:

О, Шиллер, Шиллер, ты в паренпи высо́ком
Не забывал про страждущий народ!
Ты людям вечно юным был пророком,
Свободы знамя смело нес вперед!
Когда бойцы бежали с поля брани
И трусы, бросив меч, скрестили длани, —
Ты щедро проливал за правду кровь;
Ты жизнь свою, исполненную жара,
Испепелил... Мир не отвергнул дара,
Но оценил ли он твою любовь?
Нет! Он твоей не понял тяжкой муки!
Когда твоих стихов прибой все рос и рос,
Он лишь небесные в нем слышал звуки,
Но не увидел в нем кровавых слез ****.

Чья это вещь? — Карла Бека из «Странствующего поэта», с его могучими стихами и с пышностью его образов, но также с его неясностью, с его чрезмерными гиперболами и метафорами. Ведь общепризнано, что Шиллер — наш величайший либеральный поэт; он предчувствовал, что после французской революции должна наступить новая эра, а Гёте этого не почувствовал даже после июльской революции; а если события надвига-

* — Петер Йонгхаус. *Ред.*
** — поборниками. *Ред.*
*** — в полном составе. *Ред.*
**** *К. Бек.* «Странствующий поэт». Песнь третья, стих 52. *Ред.*

лись на него и уже заставляли его почти поверить, что наступает нечто новое, то он уходил в свои покои и запирался на ключ, чтобы оставаться непотревоженным. Это очень вредит Гёте; но когда разразилась революция, ему было 40 лет, и он был уже сложившимся человеком, так что его нельзя упрекать за это. Хочу тебе в заключение кое-что нарисовать *.



Шлю вам кучу стихов, поделитесь между собой.

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые в отрывках опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге F. Engels. «Schriften der Frühzeit», Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

24

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

Бремен, 28 сентября 1839 г.

Дорогая Мария!

Давненько прошли времена, когда Ваша милость мне писала, это длилось довольно-таки долго, мадемуазель! Но я прощу тебе твои тяжкие прегрешения и кое-что расскажу. Завтра будет две недели, как мы отправились верхом в Дельменгорст. Это небольшой городок в Ольденбурге, с зверинцем, который называется так потому, что туда всегда заходят бременцы и ольденбуржцы.

* Под рисунками приведены следующие подписи (слева направо): Gemeinheit (Пошлость); Eine Karrikatur von Goethe (Карикатура на Гёте); L'homme (Человек); K. Gutzkow (К. Гуцков); Kön. Preuß. Soldat (Королевско-прусский солдат); Nichts (Ничто). *Ред.*

Словом, что ты думаешь — мы побывали там, повернули обратно и прибыли домой? Да, но только после многих приключений. Всю первую половину дороги я просидел в кабриолете, а когда приехал в то место, где должен был снова получить свою лошадь, то всадников еще не было, и нам пришлось остановиться, пить скверное пиво и курить скверные сигары. Наконец всадники прибыли, но было уже восемь часов и совершенно темно. Когда я получил свою лошадь, мы отправились дальше, заплатили за въезд в городские ворота и поехали верхом по Нейштадту. Вдруг появилось восемь барабанщиков, они выбивали вечернюю зорю и, повернув за угол, выстроились в ряд и пошли прямо на нас, так что лошади шарахнулись в разные стороны, барабаны били все сильнее, а благородная уличная молодежь Бремена кричала так, что мы все разъехались кто куда. Р. Рот и я встретились первыми и ускакали прочь, к другому концу города, где нам опять пришлось уплатить пошлину, так как владелец конюшни живет за воротами. У него мы встретились с остальными, лошади которых понесли, мы отправились домой пешком, и нам пришлось в *третий раз* уплатить пошлину. Разве это не интересная история? Ты не сможешь этого отрицать, по крайней мере, когда узнаешь, что, опоздав домой к ужину, я отправился в союз, съел там бифштекс с яйцами и был свидетелем очень интересной беседы, которая велась недалеко от меня и касалась молодых собак и дохлых кошек. Indeed, very interesting! Very amusing! * В настоящий момент я как раз нахожусь в союзе, это то же самое, что в Бармене Конкордия, или исправительное заведение. Лучшее, что здесь имеется, это множество газет — голландские, английские, американские, французские, немецкие, турецкие и японские. Пользуясь случаем, я изучил турецкий и японский языки и таким образом знаю теперь двадцать пять языков. Это опять-таки очень интересно знать молодой даме, которая собирается в пансион в Мангейм. Здесь был также Якоб Шмитт, он опять приедет на будущей неделе и пойдет со мной в винный погреб. Это, несомненно, самое лучшее заведение в Бремене. Кроме того, у нас опять появился театр, но я еще ни разу там не был.

Farewell, my dear,

Yours for ever **

Фридрих

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* — Действительно, очень интересно, очень занимательно! *Ред.*

** — Прощай, моя дорогая, твой навеки. *Ред.*

25

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН

[Бремен], 8 октября 1839 г.

О Вильгельм, Вильгельм, Вильгельм! Так вот, наконец, вести от тебя! Ну, карапуз, слушай: я теперь восторженный штраусианец. Приходите-ка теперь, теперь у меня есть оружие, шлем и щит, теперь я чувствую себя уверенным; приходите-ка, и я буду вас колотить, несмотря на вашу теологию, так что вы не будете знать, куда удрать. Да, Гуиллермо, jacta est alea *, я — штраусианец, я, жалкий поэт, прячусь под крылья гениального Давида Фридриха Штрауса. Послушай-ка, что это за молодчина! Вот четыре евангелия с их хаотической пестротой; мистика распростирается перед ними в молитвенном благоговении, — и вот появляется Штраус, как молодой бог, извлекает хаос на солнечный свет, и — Adios ** вера! — она оказывается дырявой, как губка. Кое-где он злоупотребляет своей теорией мифов, но это только в мелочах; однако в целом он гениален. Если вы сумеете опровергнуть Штрауса — eh bien ***, тогда я снова стану пиетистом. — Далее, я мог бы узнать из твоего письма, что Менгс был крупным художником, если бы, к несчастью, я этого не знал уже давно. Точно так же в отношении «Волшебной флейты» (музыка Моцарта). Устройство читального зала — вот это великолепно, и я обращаю твое внимание на следующие литературные новинки: «Царь Саул», трагедия Гуцкова [59]; «Книга набросков» [60], его же; «Поэтические произведения» Т. Крейценаха [258] (одного еврея); «Германия и немцы» Бёйрмана [145]; «Драматурги современности», 1-й выпуск, Л. Винбарга [27], и т. д. С большим интересом жду твоего отзыва о «Сауле»; в «Германии и немцах» Бёйрман в том месте, где он говорит о Вуппертале, привел выдержки из моей статьи в «Telegraph». — Но я предостерегаю тебя от «Истории польского восстания (1830—1831)» Смита, Берлин, 1839 [259], написанной, несомненно, по прямому приказанию прусского короля****. Глава о начале революции имеет эпиграфом отрывок из Фукидида приблизительно следующего содержания: нам же, чуждым злых умыслов, они вдруг, без всяких причин, объявили

* — жребий брошен. *Ред.*
** — Прощай. *Ред.*
*** — ну что ж. *Ред.*
**** — Фридриха-Вильгельма III. *Ред.*

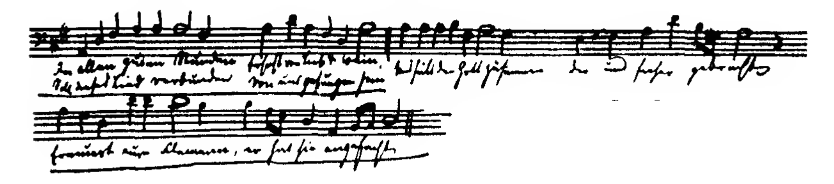
войну!!!!!! [260] О великая нелепость! Зато превосходна история этого славного восстания, написанная графом Солтыком и вышедшая на немецком языке в Штутгарте в 1834 году [261], — у вас, конечно, она, как и все хорошее, будет запрещена. Другая важная новость — это то, что я пишу новеллу, которая будет напечатана в январе, разумеется, если она пройдет через цензуру, а это тяжелая дилемма.

Я не знаю, посылать ли вам стихи или нет, но мне кажется, что в последний раз я вам отправил «Odysseus Redivivus» *, и прошу прислать мне критический отзыв о посланной вам вещи. Здесь теперь находится один тамошний кандидат, Мюллер, который отправляется в плавание по Тихому океану в качестве корабельного священника. Он живет у нас в доме; у него самые крайние взгляды на христианство; ты себе это ясно представишь, если я тебе скажу, что в последнее время он находился под влиянием *Госнера*. Трудно себе вообразить более экзальтированное представление о силе молитвы и непосредственного божественного воздействия на жизнь. Вместо того чтобы сказать, что можно достичь большей остроты чувств, слуха, зрения, он говорит: если господь указует мне место служения, то он должен дать мне и силы для него; но, разумеется, наряду с этим необходима и горячая молитва, и собственные усилия, иначе ничего нельзя достичь, и, таким образом, он относит этот известный, общий всем людям факт только к одним верующим. Ведь сам Круммахер должен был бы согласиться, что это совершенно детское, неосмысленное миропонимание. — Мне очень приятно, что ты теперь лучшего мнения о моей статье в «Telegraph». Впрочем, вещь эта написана сгоряча, оттого и стиль у нее такой, какого я только пожелал бы для своей повести, но в ней также много одностороннего и полуистин. Круммахер, как ты, вероятно, знаешь, познакомился во Франкфурте-на-Майне с Гуцковым и, как говорят, рассказывает об этом mirabilia ** — доказательство правильности штраусовской теории мифов. Я налегаю теперь на современный стиль, который, несомненно, является идеалом всякой стилистики. Образцом для него служат произведения Гейне, но особенно Кюне и Гуцкова. Однако мастером его является Винбарг. Из прежних стилистов особенно благоприятно повлияли на него Лессинг, Гёте, Жан Поль и больше всего Бёрне. О, Бёрне пишет стилем, который превосходит решительно все. «Менцель-французоед» [28] в стилистическом отношении — лучшее произведение немецкой

* — «Возрожденного Одиссея». *Ред.*

** — чудеса. *Ред.*

литературы, и к тому же первое, задача которого состоит в том, чтобы совершенно уничтожить противника; оно, конечно, у вас запрещено, чтобы не писали лучшим стилем, чем в королевских канцеляриях. Современный стиль соединяет в себе все преимущества стиля: предельная краткость и чеканность, характеризующая свой объект *одним* словом, вперемежку с эпическим, спокойным описанием; простой язык вперемежку со сверкающими образами и яркими блестками остроумия, — словом, юношески сильный Ганимед, увенчанный розами и с дротиком в руках, которым он убил Пифона. При этом для индивидуальности автора открыт широчайший простор, так что, несмотря на родство, никто не является подражателем другого. Гейне пишет ослепительно, Винбарг сердечно-тепло и лучезарно, Гуцков отличается изумительной меткостью и порой озаряем ясным солнечным лучом, Кюне пишет с приятной обстоятельностью, у него подчас слишком много света и слишком мало теней, Лаубе подражает Гейне, а теперь также и Гёте, но уродливым образом, ибо он подражает гётеанцу Варнхагену, а Мундт тоже подражает Варнхагену. Маргграф пишет все еще слишком обще и как будто пыхтя и отдуваясь, но это уляжется, а проза Бека еще не вышла из стадии ученичества. — Если соединить цветистость Жан Поля с точностью Бёрне, то получатся основные черты современного стиля. Гуцков сумел удачно впитать в себя блестящий, легкий, но сухой стиль французов. Этот французский стиль подобен летней паутинке; современный немецкий — точно клочок шелка. (Образ этот, к сожалению, неудачен.) Но то, что ради нового я не забываю старого, доказывают мои занятия божественными гётевскими песнями. Но нужно изучать их в музыкальном отношении, лучше всего в различных композициях. В качестве примера я хочу тебе привести здесь рейхардтовскую композицию «Песни союза» *.



* Ниже приводится перевод текста стихов, данных в нотах:

— Друзья, себя спаявши любовью и вином,
Всегда при встречах наших мы эту песнь поем.
Навек союз меж нами: соединил нас бог.
Поддерживайте пламя, что этот бог зажег.

(Первая строфа «Песни союза» («Bundeslied») Гёте, переложенной на музыку композитором Рейхардтом). *Ред.*

Тактовые черты я опять забыл, пусть тебе их проставит Хёйзер. Мелодия восхитительна и благодаря своей гармонической простоте, как ни одна, соответствует тексту. Чудесны подъем на септиму от ми к ре и быстрое падение на нону от си к ля. О «Мизерере» Леонардо Лео я напишу Хёйзеру.

На днях я к вам направлю Адольфа Торстрика, моего хорошего приятеля, который будет там учиться; он веселый малый, либеральный и хорошо понимает по-гречески. Другие бременцы, которые приедут туда, немногого стоят. Я передам Торстрику письма для вас. Примите его хорошо, я хотел бы, чтобы он вам понравился. Фриц мне все еще не написал, vermicul * собирался написать из Эльберфельда, но по лени этого не сделал, за что ты и задай ему головомойку. Если бы приехал Хёйзер, которому я не могу писать в Эльберфельд из опасения, что письмо его не застанет, то обнадежь его, что он скоро что-нибудь да получит.

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в виде отрывков в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

26

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН **

[Бремен], 20—21 октября [1839 г.]

20 октября. Г-ну Вильгельму Греберу. Я в совершенно сентиментальном настроении, дело скверное. Я остаюсь здесь, остаюсь без всякой компании. С Адольфом Торстриком, подателем сего, уезжает последний компанейский человек. О том, как я отпраздновал 18 октября, ты можешь прочесть в моей последней эпистоле Хёйзеру. Сегодня пирушка, завтра скучища, послезавтра уезжает Торстрик, в четверг возвращается названный в вышеупомянутой эпистоле студент, затем два веселых дня, а потом — одинокая, ужасная зима. Ни с кем из здешних нельзя пображничать, все они — филистеры, я сижу со своим запасом еще уцелевших в памяти студенческих песен,

* Vermicul — по-латыни «червячок». Намек на Вурма: «Wurm» — по-немецки «червь». *Ред.*

** На обороте письма надпись: Господину Вильгельму Греберу, Берлин, Mittelstraße, 3 этаж. *Ред.*

с задатками забулдыги-студиозуса, один в большой пустыне, без собутыльников, без любви, без веселья, один с табаком, пивом и двумя не способными к бражничанию знакомыми. Я готов запеть: «Вот деньжата, сын, возьми, не стесняйся, покути comme il faut *, чтоб было небу жарко, лучше нет отцу подарка» [262], — но кому мне передать свои деньжата? А потом, я не знаю как следует мотива. У меня осталась только одна надежда: встретить вас через год, когда я поеду домой, в Бармене, и если в тебя, Йонгхауса и Фрица еще не вселится окончательно поп, то кутнуть с вами там.

21-го. — Сегодня у меня был страшно тоскливый день. Я в конторе работал до полусмерти. Затем пошел в Певческую академию — огромное наслаждение. Надо подумать, что бы вам еще написать. Стихи — при первой оказии, у меня нет теперь времени переписать их. Даже в еде не было ничего особенного, все тоскливо. При этом так холодно, что в конторе нельзя выдержать. Но благодарение богу, есть надежда, что завтра протопят. От твоего брата Германа я вскоре, вероятно, получу письмо; он хочет прощупать мои теологические взгляды и сокрушить мои убеждения. Это все от скептицизма; тысяча крючков, с помощью которых ты держался за старое, соскакивают, зацепляются где-нибудь в другом месте, и тогда начинаются споры. Вурма пусть черт поберет, о парне ничего не слышно, он с каждым днем становится все большим канальей. Мне кажется, он кончит тем, что станет пить водку. Примите дружески Торстрика, пусть он расскажет вам обо мне, если это вас интересует, и предложите ему хорошее угощение.

Farewell **.

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в книге:
F. Engels. «Schriften der Frühzeit».
Berlin, 1920

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

27

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен], 29 октября [1839 г.]

Мой дорогой Фриц, я не такого образа мыслей, как пастор Штир. — 29 октября, после весело проведенных дней ярмарки и дней, потребовавших огромной тяжелой работы над корреспонденцией, отправленной с оказией в Берлин, равно как и после

* — как следует. *Ред.*
** — Прощай. *Ред.*

письма к В. Бланку, которому пришлось долго дожидаться его, я, наконец, могу по-дружески поспорить с тобой.

Свой очерк о вдохновении ты написал довольно поверхностно; ведь нельзя же понимать так буквально, когда ты пишешь: апостолы проповедовали евангелие в чистом виде, но после их смерти это прекратилось. Ты должен в таком случае причислить к апостолам и автора «Деяний апостолов» и «Послания к евреям» и *доказать,* что евангелия написаны действительно Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, между тем как о первых трех определенно можно утверждать обратное. Далее ты говоришь: я не думаю, чтобы в библии мы нашли другое вдохновение, чем у апостолов и пророков, когда они выступали и проповедовали народу. Хорошо, но не нужно ли опять-таки вдохновение и для правильного записывания этих проповедей? И если ты допускаешь, таким образом, что в библии есть не вдохновенные места, то где ты проведешь границу между ними? Возьми библию в руки и читай — ты не захочешь отказаться ни от одной строки, кроме тех мест, где встречаются действительные противоречия; но эти противоречия влекут за собой массу следствий; например, противоречие, что дети Израиля жили в Египте только в продолжение четырех поколений, между тем как Павел в послании к галатам (nisi erro *) говорит о 430 годах **, что признает противоречием даже мой пастор, который охотно оставил бы меня в неведении. Ты ведь не скажешь мне, что слова Павла не следует считать божественным вдохновением на том основании, что он упоминает об этом случайно и не пишет вовсе истории, — чтó это за откровение, в котором встречаются такие излишние, ненужные вещи. Но если допустить наличие противоречия, то, может быть, оба одинаково неправы, и вся ветхозаветная история является нам в каком-то двусмысленном свете, да и вообще, как признают все, за исключением пастора Тиле в Обернейланде у Бремена, библейская хронология безнадежно утратила все признаки вдохновения. История Ветхого завета приобретает благодаря этому еще более мифологический характер, и недалеко то время, когда это будет признано всеми церковными кафедрами. — Что касается того, что Иисус Навин остановил солнце, то самый сильный ваш аргумент заключается в том, что Иисус Навин, когда сказал это, еще не был вдохновлен, а впоследствии, когда он писал книгу, уже под влиянием вдохновения, он просто рассказывал о событиях. Теория искупления. — «Человек так пал, что сам по себе

* — если не ошибаюсь. *Ред.*

** Библия. Новый завет. Послание к галатам апостола Павла, глава 3, стих 17. *Ред.*

он не может сделать ничего хорошего». Дорогой Фриц, брось эту ультраортодоксальную и совсем не библейскую ерунду. Когда Бёрне, живший в Париже сам в обрез, раздавал весь гонорар за свои сочинения нуждающимся немцам — за что он даже и благодарности не получал, — то надо думать, что это было нечто хорошее? А Бёрне, право, не был «вторично рожденным». — Вам, к тому же, вовсе не нужен этот тезис, раз вы имеете теперь учение о первородном грехе. Христос его также не знает, как, впрочем, и многое другое из учения апостолов. — Учение о грехе я обдумал меньше всего, однако мне ясно, что греховность человечества неизбежна. Ортодоксия правильно усмотрела связь между грехом и земными бедствиями, болезнью и т. д., но она заблуждается, считая грех причиной этих бедствий, что верно лишь в отдельных случаях. Оба они, грех и бедствия, взаимно обусловливают друг друга и не могут существовать друг без друга. Но так как силы человека не божественны, неизбежно возникает возможность совершения греха; то, что он должен был совершиться в действительности, объясняется низкой ступенью развития первых людей, а что он с тех пор не прекращался, это опять-таки имеет свои психологические основания. Он и не может совершенно прекратиться на земле, ибо он вызывается всеми условиями земного существования, в противном случае бог должен был создать людей другими. Но поскольку он создал их такими, он никак не может требовать от них абсолютной безгрешности, а лишь борьбы с грехом; лишь поверхностная психология прежних веков могла умозаключить, что борьба эта должна внезапно прекратиться вместе со смертью, за которой наступает какое-то dolce far niente *. Ведь если допустить эти посылки, то морального совершенства можно будет добиться только вместе с совершенством всех прочих духовных сил, с растворением в мировой душе, и тут я прихожу к гегелевскому учению, на которое так яростно обрушился Лео. Впрочем, этот последний метафизический тезис представляет такое умозаключение, к которому я сам еще не знаю, как мне отнестись. — Далее, согласно этим предпосылкам, история Адама может быть только мифом, ибо Адам или должен быть равным богу, если он был создан таким безгрешным, или должен был грешить, если при создании он был одарен только человеческими способностями. — Такова моя теория греха, еще незрелая и неполная; к чему мне в таком случае еще искупление? — «Если бог хотел найти исход между карающей справедливостью и искупляющей любовью, то

* — блаженное ничегонеделание. *Ред.*

в качестве единственного средства оставалось только заместительство». Теперь посмотрите-ка, что вы за люди. Нас вы упрекаете в том, что мы погружаем свой критический лот в глубины божественной мудрости, а сами вы здесь же ставите границы божественной мудрости. Лучше не мог бы себя изобличить даже г-н Филиппи. А если даже признать необходимость этого единственного средства, то разве заместительство перестает быть несправедливостью? Если бог действительно так строг по отношению к людям, то он должен быть так же строг здесь и не закрывать глаза. Продумай только отчетливо, определенно эту систему, и слабые места ее не ускользнут от тебя. — Затем следует очень пышное возражение против «заместительства в качестве единственного средства», а именно ты говоришь: «Человек не может быть посредником, *если даже он был бы освобожден актом божественного всемогущества от всякого греха*». Значит, все-таки имеется еще и другой путь? Да, если ортодоксия не имеет лучшего представителя в Берлине, чем профессор Филиппи, то, право, дела ее плохи. — Через все рассуждение молчаливо проходит принцип правомерности заместительства. Это — убийца, которого вы наняли для своих целей и который потом убивает вас самих. Вы, далее, вовсе не стараетесь по-настоящему доказать, что этот принцип не противоречит божественному правосудию, и — сознайтесь только честно — вы сами чувствуете, что вынуждены пользоваться этим доказательством против вашей собственной совести; поэтому вы увиливаете от принципа и молча признаете факт разумным, приукрасив его несколькими звонкими фразами о сострадающей любви и т. д. — «Триединство есть условие искупления». Это опять-таки наполовину правильное следствие вашей системы. Разумеется, две ипостаси следовало бы принять, но третью — лишь потому, что так принято традицией.

«Но, чтобы страдать и умереть, бог должен был стать человеком, ибо, не говоря уже о метафизической немыслимости того, чтобы предположить в боге, как таковом, способность к страданию, налицо была также обусловленная справедливостью этическая необходимость». — Но если вы согласны с немыслимостью того, чтобы бог мог страдать, то, значит, в Христе *бог* и не страдал, а только человек и — «человек не мог бы быть посредником». Ты еще настолько разумен, что не хватаешься здесь, подобно многим, за самый крайний вывод: «следовательно, бог должен был страдать» — и твердо отстаиваешь свое понимание. Также неясно, какое отношение это имеет к «обусловленной справедливостью этической необходимости». Раз принят принцип заместительства, то нет необ-

ходимости, чтобы страдающий был именно человеком; если только он бог. Но бог не может страдать, ergo * — мы не сдвинулись с места. Такова ваша дедукция, на каждом шагу я должен делать вам новые уступки. Ничто не развивается целиком и полностью из предыдущего. Так, здесь я вынужден опять уступить тебе в том, что посредник должен был быть также человеком, а это вовсе не доказано; но если бы я не уступил в этом, то я не был бы в состоянии признать дальнейшее. «Но путем естественного размножения не могло совершиться очеловечение бога, ибо если бы даже бог соединился с существом, родившимся от родительской пары и освобожденным его всемогуществом от греха, то он соединился бы только с этим существом, а не с человеческой природой, ... и лишь в теле девы Марии облекся он в человеческую природу; в его божестве заключалась сила, образующая личность». — Посмотри-ка, это — чистая софистика, к которой вас вынуждают прибегнуть нападки на необходимость сверхъестественного зачатия. Чтобы дать иное освещение вопросу, господин профессор подсовывает третье: личность. Но это не имеет никакого отношения к делу. Наоборот, связь с человеческой природой тем глубже, чем более человечна личность и чем более божествен оживляющий ее дух. Здесь кроется на заднем плане еще и второе недоразумение: вы смешиваете тело и личность; это становится еще яснее из следующих слов: «С другой стороны, бог не мог внедрить себя в человечество в таком совершенно обособленном виде, как первого Адама, ибо в этом случае он не оказался бы ни в какой связи с субстанцией нашей падшей природы». Следовательно, дело идет о *субстанции*, об осязаемом, о телесном? Но самое интересное — это то, что сильнейший довод в пользу сверхъестественного зачатия, догмат о безличности человеческой природы во Христе, представляет собой только гностический вывод из сверхъестественного зачатия. (Гностический, разумеется, не в смысле отношения к известной секте, а в смысле γνῶσις ** вообще.) Если во Христе бог не мог страдать, то тем менее мог страдать безличный человек, — и это выступает наружу сквозь все глубокомыслие. «Так Христос является нам без особых человеческих черт». Это совершенно необоснованное утверждение; у всех четырех евангелистов имеется определенная характеристика Иисуса, совпадающая в своих существенных чертах. Так, мы вправе утверждать, что апостол Иоанн по своему характеру был ближе всего к Христу, но если Христос не имел никаких

* — следовательно. *Ред.*
** — знания. *Ред.*

человеческих черт, то отсюда можно вывести, что Иоанн был выше всех; а это утверждение может оказаться рискованным.

Вот и ответ на твое рассуждение. Он мне не очень удался, у меня не было под руками записок, а только книги фактур и счетов. Поэтому прошу извинить за вкравшиеся кое-где неясности. — Твой брат не подает о себе вестей. — Du reste *, если вы признаете честность моего сомнения, то как вы объясняете такое явление? Ваша ортодоксальная психология не может не причислять меня к самым закоснелым, особенно теперь, когда я окончательно погиб. Я присягнул знамени Давида Фридриха Штрауса и являюсь первейшим мифологом; я уверяю тебя, что Штраус чудесный малый и гений, а остроумен он, как никто. Он лишил ваши взгляды всякой почвы; их исторический фундамент безвозвратно погиб, а за ним последует и догматический. Штрауса совершенно невозможно опровергнуть, поэтому так бешено злы на него пиетисты; Хенгстенберг надрывается в «Kirchen-Zeitung», стараясь извлечь из его слов ложные выводы и использовать их для злобных выпадов против его характера. Вот что мне так ненавистно в Хенгстенберге и его присных! Что им за дело до личности Штрауса; но они хотят во что бы то ни стало очернить его характер, чтобы люди боялись присоединиться к его взглядам. Это лучшее доказательство того, что они не могут его опровергнуть.

Но я уже достаточно занимался теологией и хочу теперь остановиться на других вопросах. Какие замечательные открытия сделал Германский союз [77] из «демагогии» и всех так называемых заговоров, видно из того, что история эта занимает целых 75 ** печатных страниц [263]. Я еще не видел книги, но читал извлечения из нее в газетах, которые мне показывают, какой гнусной ложью угощают наши проклятые власти немецкий народ. Германский союз утверждает с бесстыдной наглостью, что политические преступники были осуждены «законными судьями»; между тем всякий знает, что повсюду были учреждены специальные комиссии, особенно там, где существует гласный суд, а что происходило в них под покровом тайны, этого никто не знает, ибо обвиняемых заставили поклясться ничего не говорить о допросе. Таково действующее в Германии правосудие, и нам не на что, совершенно не на что жаловаться! — Недель шесть назад вышла превосходная книга: «Пруссия и пруссачество» Я. Венедея, Мангейм, 1839 [264], — в которой тщательно анализируются прусское законодательство, государ-

---

* — Впрочем. *Ред.*

** В рукописи ошибочно: 85. *Ред.*

ственное управление, распределение налогов и т. д.; результаты совершенно очевидны: предоставление льгот денежной аристократии за счет бедняков, стремление к неизменному абсолютизму; средствами к этому являются: подавление политического образования, удержание в невежестве большинства народа, использование религии, блестящий внешний лоск, безграничное хвастовство, создание обманчивой видимости, будто власти покровительствуют образованию. Германский союз сейчас же распорядился о запрещении книги и о наложении ареста на не распроданные еще экземпляры ее; последнее — мера иллюзорная, ибо книготорговцев лишь спрашивают, имеются ли у них экземпляры книги, на что, конечно, всякий толковый малый отвечает: нет. — Если ты можешь достать там эту книгу, то прочти ее, ибо это не родомонтады *, а доказательства, почерпнутые из *прусского права* [188]. — Особенно хотелось бы, чтобы ты раздобыл бёрневского «Менцеля-французоеда» [28]. Это произведение, несомненно, лучшее, что есть в немецкой прозе, как по стилю, так и по силе и богатству мыслей; оно великолепно; кто не знает его, тот не представляет себе, что за сила кроется в нашем языке **.

Впервые опубликовано в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

28

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН

[Бремен], 13—20 ноября 1839 г.

13 ноября 1839 г. Дражайший Гуилиельме, почему ты не пишешь? Все вы — из породы лентяев и лодырей. А я вот совсем другой! Я не только пишу вам больше, чем вы того заслуживаете, не только основательно знакомлюсь со всей мировой литературой, я втихомолку воздвигаю себе из новелл и стихов памятник славы, который, если только дыхание цензуры не превратит блистающей стали в отвратительную ржавчину, озарит своим ярким, юным блеском все немецкие государства, за исключением Австрии. В моей груди постоянное брожение и кипение, в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от мути

* — бахвальство; по имени гордого воина Родомонта в «Неистовом Роланде» Ариосто. *Ред.*

** Конца этого письма нет. *Ред.*

то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя. У меня теперь зарождается великолепнейший сюжет, по сравнению с которым все прежде написанное мной только ребячество. Я хочу показать в «новелле-сказке» или в чем-нибудь подобном современные чаяния, обнаружившиеся уже в средние века; я хочу вызвать к жизни духов, которые, будучи погребены под фундаментом церквей и подземных темниц, бились под твердой земной корой, страстно добиваясь освобождения. Я хочу попытаться решить хотя бы часть той задачи, которую поставил себе Гуцков: еще только предстоит написать подлинную вторую часть «Фауста», где Фауст уже не эгоист больше, а жертвует собой за человечество. Вот «Фауст», вот «Вечный жид», вот «Дикий охотник» — три типа предчувствуемой свободы духа, которые легко можно связать друг с другом и соединить с Яном Гусом. Какой здесь для меня поэтический фон, на котором самовольно распоряжаются эти три демона! Прежде начатая мною поэма о «Диком охотнике» растворилась в этом. — Эти три типа (человеки, почему вы не пишете? ведь уже 14 ноября) я обработаю совершенно своеобразно; особенного эффекта я жду от трактовки Агасфера и «Дикого охотника». Чтобы сделать вещь более поэтичной и значительной, я без труда могу вплести в нее другие элементы из немецких сказаний — что-нибудь уж попадется под руку. В то время, как новелла, над которой я теперь работаю, представляет скорее упражнение в стиле и в обрисовке характеров, новый замысел будет той настоящей вещью, посредством которой я надеюсь приобрести себе имя.

15 ноября. И сегодня нет письма? Что мне с вами делать? Что мне думать о вас? Я вас не понимаю. 20 ноября. А если вы сегодня не напишете, то я вас мысленно кастрирую и заставлю вас ждать, как это делаете вы. Око за око, зуб за зуб, письмо за письмо. Но вы, лицемеры, говорите: не око за око, не зуб за зуб, *не* письмо за письмо, — и оставляете меня при своей проклятой христианской софистике. Нет, лучше хороший язычник, чем плохой христианин.



Поэты мировой скорби

Появился молодой еврей, Теодор Крейценах, пишущий отличные поэмы и еще лучшие стихи. Он написал комедию [68], в которой здорово высмеиваются В. Менцель и компания. Все теперь устремляются к новой школе, воздвигая дома, дворцы или хижины на фундаменте великих идей времени. Все остальное идет прахом, сентиментальные песенки затихают неуслышанными, и звонкий охотничий рог ждет охотника, который протрубит сигнал к охоте на тиранов; по верхушкам деревьев между тем проносится гроза божья, а молодежь Германии, потрясая мечами и подымая полные кубки, стоит в роще; на горах полыхают горящие замки, троны шатаются, алтари дрожат, и если воззовет господь в грозу и бурю: вперед, вперед, — то кто осмелится сопротивляться нам? *

Wir Friedrich Engels
oberster Poet im Bremer Rathskeller und privilegirter
ZECHER
Thun kund und zu wissen allen Vergangenen, Gegenwärtigen
Abwesenden und Zukünftigen
Daß Ihr sämmtlich Esel seid, faule Kreaturen, die an dem
Überdruß der eignen Existenz dahinsiechen, mir nicht
schreibende Canaillen und so weiter
Gegeben auf unserm Comptoirbock,
zu Zeit da wir nicht den Katzenjammer hatten.
Friedrich Engels

В Берлине живет молодой поэт, Карл Грюн, чью «Книгу странствий» я на днях прочел — очень хорошая вещь [265]. Но ему, кажется, уже 27 лет, и он мог бы поэтому писать лучше.

* Далее воспроизводится копия оригинала следующего шутливого текста: «Мы, Фридрих Энгельс, верховный поэт в бременском магистратском погребке и привилегированный бражник, объявляем и возвещаем всем прошлым, настоящим, отсутствующим и будущим, что вы все ослы, ленивые твари, чахнущие от пустоты собственного существования, не пишущие мне канальи и так далее. Дано на конторской стойке в то время, когда не было у нас похмелья. Фридрих Энгельс». *Ред.*

У него иногда очень удачные мысли, но часто отвратительная гегелевская риторика. Например, что это значит:

«Софокл — это высоконравственная Греция, давшая разбиться своим титаническим порывам о стену абсолютной необходимости. В Шекспире выявилось понятие абсолютного характера».

Позавчера вечером я изрядно нагрузился в винном погребке двумя бутылками пива и двумя с половиной бутылками рюдесгеймера 1794 года. Был в компании с моим издателем in spe * и различными филистерами. Вот образчик диспута с одним из сих филистеров на тему о бременской конституции. Я: В Бремене оппозиция правительству не настоящая, ибо она состоит из денежной аристократии, старейшин, сопротивляющихся чиновной аристократии, сенату. Он: Однако этого вы в сущности не можете полностью утверждать. Я: Почему нет? Он: Докажите свое утверждение. — Это здесь сходит за диспут! О филистеры, идите прочь, изучите греческий и тогда пожалуйте обратно. Кто знает греческий, тот может диспутировать rite **. Но таких молодцов я до смерти задиспутирую шестерых сразу, хотя бы я был наполовину пьян, а они — трезвы. Эти люди не в состоянии и в течение трех секунд развивать ту или иную мысль с необходимой последовательностью; напротив, все у них идет толчками; достаточно дать им говорить лишь полчаса, задать им несколько как будто невинных вопросов, и они splendidamente *** противоречат самим себе. Эти филистеры — отвратительно размеренные люди; я начал петь, и вот они единогласно решили наперекор мне, что они хотят сначала поесть и лишь потом петь. Тут они стали жрать устрицы, я же с досады курил, пил и орал, мало думая о них, пока не впал в блаженную дремоту. Я теперь чрезвычайный поставщик запрещенных книг для Пруссии: 4 экземпляра бёрневского «Французоеда» [28], «Парижские письма» [20] его же, в 6 томах, «Пруссия и пруссачество» Венедея [264], строго запрещенная вещь, в 5 экземплярах, лежат у меня готовыми к отправке в Бармен. Оба последних тома «Парижских писем» я еще не прочел, они великолепны. Там ужасно достается королю Оттону греческому; так, он говорит в одном месте:

«Будь я господом богом, я бы устроил чудесную штуку: я вызвал бы из могил в одну прекрасную ночь всех великих греков» ****.

И далее следует замечательное описание, как эти эллины, Перикл, Аристотель и прочие, прогуливаются по Афинам.

---

* Буквально: в надежде, здесь — предполагаемым. *Ред.*

** — по всем правилам. *Ред.*

*** — блестяще. *Ред.*

**** *Л. Бёрне.* «Парижские письма». Письмо восемьдесят девятое. *Ред.*

В это время приходит известие, что прибыл король Оттон. Все собираются в путь, Диоген зажигает свет в своем фонаре, и все торопятся в Пирей. Король Оттон сходит на берег и держит следующую речь:

«Эллины, посмотрите вверх. Небо украсилось баварскими национальными цветами». (Эта речь так хороша, что я должен ее списать целиком.) «Ведь Греция в древнейшие времена принадлежала Баварии. Пелазги жили в Оденвальде, а Инах был родом из Ландсгута. Я приехал, чтобы осчастливить вас. Ваши демагоги, зачинщики волнений и газетные писаки привели вашу прекрасную страну на край гибели. Пагубная свобода печати породила всеобщий хаос. Посмотрите только, как выглядят масличные деревья. Я бы уже давно прибыл к вам, но не мог сделать этого раньше, ибо я *еще не так давно существую на свете*. Теперь вы — член Германского союза [77], мои министры сообщат вам последние решения Союзного сейма [17]. Я сумею блюсти права своей короны и сделать вас постепенно счастливыми. Для моего цивильного листа» (содержание короля в конституционном государстве) «вы будете мне давать ежегодно шесть миллионов пиастров, и я позволю вам заплатить мои долги» *.

Греки приходят в смущение, Диоген тычет королю свой фонарь в лицо, Гиппократ же посылает за шестью телегами чемерицы и т. д. и т. д. Вся эта ироническая вещица — шедевр едкой сатиры и написана божественным стилем. Тебе меньше нравится Бёрне, вероятно, оттого, что ты читаешь одно из его слабых и ранних произведений — «Описания Парижа» [266]. Несравненно выше стоят «Страницы драматургии» [246], критические статьи, афоризмы, а особенно «Парижские письма» и изумительный «Французоед». Описание картинной галереи очень скучно, в этом ты прав. Но грация, геркулесовская сила, глубина чувства, убийственное остроумие «Французоеда» недосягаемы. Мы, надеюсь, на пасху или еще осенью увидимся в Бармене, и тогда ты получишь иное представление об этом Бёрне. — То, что ты пишешь об истории дуэли Торстрика, расходится, конечно, с его сообщением, но, во всяком случае, больше всего неприятностей от этого имел он. Это славный парень, но у него сплошные крайности: то сильно пьян, то несколько педантичен.

Продолжение. Если ты думаешь, что немецкая литература постепенно заснула, то ты глубоко ошибаешься. Не воображай, что если ты, подобно страусу, спрятал от нее свою голову и не видишь ее, то она перестала существовать. Au contraire **, она недурно развивается; ты бы в этом убедился, если бы обращал на нее больше внимания и жил не в Пруссии, где произведения Гуцкова и других нуждаются в особом, редко предоставляемом разрешении. — Точно так же ты заблуждаешься,

---

* *Л. Бёрне*. «Парижские письма». Письмо восемьдесят девятое. *Ред.*

** — Напротив. *Ред.*

если думаешь, что я должен вернуться обратно в лоно христианства. Pro primo *, мне смешно, что ты меня не считаешь уже более христианином и, pro secundo **, что ты думаешь, будто человек, стряхнувший с себя во имя идеи мир представлений ортодоксии, способен снова надеть на себя эту смирительную рубашку. Подобный случай возможен с настоящим рационалистом, который убедился в недостаточности своего естественного объяснения чудес и своей тощей морали, но мифологизм и спекулятивное мышление не могут спуститься со своих освещенных утренней зарей глетчеров в туманные долины ортодоксии. — Я как раз на пороге того, чтобы стать гегельянцем. Стану ли я им, я, право, еще не знаю, но Штраус так мне осветил Гегеля, что это кажется мне довольно правдоподобным. Кроме того, его (Гегеля) философия истории как бы вычитана из моей души. Постарайся же раздобыть штраусовские «Характеристики и критические статьи», его работа о Шлейермахере и Даубе прямо-таки замечательна [267]. Кроме Штрауса, никто не пишет так основательно, ясно и интересно. Впрочем, он вовсе не непогрешим; но если бы даже вся его «Жизнь Иисуса» [162] оказалась сплошь одной грудой софизмов, то это ничего не значило бы, ибо в его сочинении самое важное — это лежащая в основе всего идея о мифическом начале в христианстве; разоблачение ошибочности выводов Штрауса нисколько бы не нарушило значения этой идеи, которая всегда может быть сызнова применена к библейской истории. Но еще важнее та заслуга Штрауса, что он вместе с идеей дал бесспорно великолепное применение ее. Хороший экзегет сумеет найти допущенные им кое-где промахи или указать на крайности, в которые он впал, но ведь и Лютер не был неуязвим в частностях; однако это нисколько не вредит делу. Если Толук сказал что-нибудь дельное о Штраусе [268], то это — или чистая случайность, или удачно приведенная реминисценция; ученость Толука слишком поверхностна, и к тому же он лишь впитывает чужое, он даже не критичен, не говоря уже о продуктивности. Здравые мысли Толука можно легко пересчитать, а веру в научность своей полемики он сам уже десять лет назад разрушил своим спором с Вегшейдером и Гезениусом. Научная деятельность Толука отнюдь не оставила прочных следов, и его время давно прошло. У Хенгстенберга ведь была, по крайней мере, один раз, оригинальная, хотя и абсурдная мысль: мысль о пророческой перспективе. — Я не понимаю, как вы можете не интересоваться ничем, что идет дальше Хенгстенберга и Неандера. Неандер заслуживает всяческого уважения,

* — Во-первых. *Ред.*
** — во-вторых. *Ред.*

но это не научная величина. Вместо того, чтобы дать в своих работах простор рассудку и разуму, даже если бы ему пришлось вступить в столкновение с библией, он в тех случаях, когда боится чего-либо подобного, оставляет науку в покое, а сам пытается выбраться с помощью эмпирии или благочестивого чувства. Он слишком благочестив и простодушен, чтобы быть в состоянии бороться со Штраусом. Как раз благочестивыми излияниями, которыми так богата его «Жизнь Иисуса» [269], он притупляет острие даже своих действительно научных аргументов.

A propos *, несколько дней назад я прочел в газете, будто гегелевская философия запрещена в Пруссии, будто один знаменитый галлеский доцент-гегельянец вынужден был, на основании министерского рескрипта, прекратить чтение лекций, а нескольким галлеским молодым доцентам того же направления (вероятно, Руге и т. д.) дано было понять, что им нечего ожидать назначения. Этим же рескриптом были окончательно запрещены берлинские «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik». Больше я пока ничего не слышал. Я не могу поверить в такое неслыханное насилие даже со стороны прусского правительства, хотя Бёрне предсказывал это уже пять лет тому назад, а Хенгстенберг, как говорят, — интимный друг кронпринца **, так же как Неандер — отъявленный враг гегелевской школы. Если вы услышите что-нибудь об этом деле, то напишите мне. Теперь я собираюсь штудировать Гегеля за стаканом пунша. Adios ***. В ожидании скорого ответа от тебя

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в виде отрывков в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

29

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен], 9 декабря [1839 г.] — 5 февраля [1840 г.]

9 декабря. Дражайший, только что получил твое письмо; удивительно, как долго приходится ждать от вас, ребята, известий. Из Берлина, со времени твоего и хёйзеровского письма

* — Кстати. *Ред.*

** — будущего короля Фридриха-Вильгельма IV. *Ред.*

*** — Прощай. *Ред.*

из Эльберфельда, не слышно ничего. От злости можно стать чертом, если бы только было доказано его существование. Но твое письмо прибыло, и это хорошо.

По твоему примеру я оставляю теологию на конец, чтобы достойно увенчать пирамиду моего письма. Я усиленно занимаюсь литературными работами; получив от Гуцкова заверение, что ему желательно мое сотрудничество, я ему послал статью о К. Беке *; кроме того, я пишу много стихов, которые, однако, нуждаются в тщательной отделке, и работаю над различными прозаическими вещами для выработки стиля. Позавчера я написал «Бременскую любовную историю», вчера — «Евреев в Бремене», завтра я думаю написать статьи «Новейшая литература в Бремене» и «Младший ученик» (имеется в виду конторский ученик) или что-нибудь в этом роде. За две недели можно, при наличии хорошего настроения, свободно настрочить пять листов, затем отшлифовать стиль, вставить там и сям для разнообразия стихи и издать под названием «Бременские вечера». Мой издатель in spe ** пришел ко мне вчера, я ему прочел «Odysseus Redivivus» ***, который его привел в необычайный восторг; он намерен взять первый роман моего изготовления, а вчера хотел во что бы то ни стало заполучить томик стихов. Но их, к сожалению, недостаточно, и к тому же — цензура! Кто пропустит «Одиссея»? Впрочем, я не смущаюсь мыслью о цензуре и пишу свободно; пусть потом она вычеркивает сколько душе угодно, — *сам я* не хочу совершать детоубийство над собственными мыслями. Подобные вычеркивания со стороны цензуры всегда неприятны, но и почетны; автор, доживший до 30 лет или написавший три книги, не придя в столкновение с цензурой, ничего не стоит; покрытые шрамами воины — наилучшие. По книге должно быть заметно, что она выдержала борьбу с цензором. Впрочем, гамбургская цензура либеральна; моя последняя статья в «Telegraph» о немецких народных книгах **** содержит несколько весьма едких саркастических замечаний по адресу Союзного сейма и прусской цензуры, но в ней не зачеркнуто ни одной буквы.

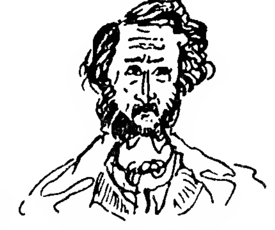
11 декабря. — О, Фриц! Уже много лет я не был так ленив, как в эту минуту. Ага, меня осенила мысль: я знаю, чего мне не хватает!

12 декабря. — Что за ослы — то бишь хорошие люди — эти бременцы! При теперешней непогоде на всех улицах страшно

* См. настоящий том, стр. 20—25. *Ред.*
** Буквально: в надежде; здесь — предполагаемый. *Ред.*
*** — «Возрожденного Одиссея». *Ред.*
**** См. настоящий том, стр. 11—19. *Ред.*

скользко, и вот они посыпали песком место перед магистратским винным погребом, чтобы пьяницы не падали.

Нарисованный здесь рядом парень страдает мировой скорбью; он посетил Г. Гейне в Париже и заразился от него; затем он отправился к Теодору Мундту и перенял у него некоторые фразы, без которых никак не обойтись одержимым мировой скорбью. С того времени он заметно похудел и собирается написать книгу о том, что мировая скорбь есть единственное верное средство против ожирения.

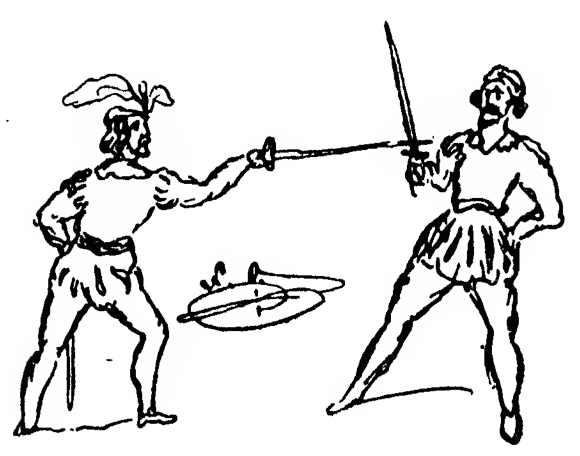


20 января [1840 г.]. Я не хотел тебе писать, пока не выяснится вопрос, остаюсь ли я здесь или уезжаю. Теперь, наконец, я могу сообщить тебе, что пока еще остаюсь здесь.

21-го. Признаюсь тебе, что у меня нет особой охоты продолжать теологический диспут. В этих спорах плохо понимаешь друг друга; когда отвечаешь, то давно уже успеваешь забыть свои ipsissima verba *, о которых идет речь, и, таким образом, не приходишь ни к какому результату. Более основательное рассмотрение вопроса потребовало бы гораздо больше места, и часто я не взялся бы в новом письме подписаться под утверждением какого-нибудь предыдущего письма, ибо это утверждение слишком тесно примыкало к той категории взглядов, от которых за это время я уже успел освободиться. Благодаря Штраусу я нахожусь теперь на прямом пути к гегельянству. Таким закоренелым гегельянцем, как Хинрикс и др., я, правда, не стану, но я должен впитать в себя весьма существенные элементы этой грандиозной системы. Гегелевская идея бога стала уже моей идеей, и я, таким образом, вступаю в ряды «современных пантеистов», как выражаются Лео и Хенгстенберг, отлично зная, что уже само слово пантеизм вызывает страшный испуг у неспособных мыслить пасторов. Меня сегодня днем здорово позабавила длиннейшая проповедь «Evangelische Kirchen-Zeitung» против пиетизма Мерклина [270]. Добрейшая «Kirchen-Zeitung» не только находит в высшей степени странным, что ее зачисляют в лагерь пиетистов, но она обнаруживает еще и другие курьезные вещи. Помимо того, что современный пантеизм, т. е. Гегель, встречается уже у китайцев и парсов, он ярко выражен в секте либертинов, с которой боролся Кальвин [271]. Это открытие действительно необыкновенно оригинально. Но еще оригинальнее доказательство его. Немало

* — собственные слова. *Ред.*

требуется труда, чтобы распознать Гегеля в том, что̀ «Kirchen-Zeitung» выдает за его взгляды, а тут еще притянутое за волосы сходство с каким-то весьма неопределенно выраженным тезисом Кальвина о либертинах. Доказательство было необычайно забавным. «Bremer Kirchenbote» выражается еще лучше и говорит, что Гегель отрицает истину истории! Поразительно, какая получается иногда чепуха, когда силятся представить противной христианству философию, которая лежит на пути и которую никак нельзя обойти. Люди, знающие Гегеля только понаслышке и читавшие лишь примечания к «Гегелингам» Лео [48], хотят разрушить систему, которая вылита как бы из *одного* куска и не нуждается *ни в каких* скрепах, чтобы держаться в целости. — Этому письму страшно не везет. Бог ведает почему, как только я сажусь за него, начинается какая-то чертовщина — я всякий раз получаю конторскую работу.



Это — две марионетки, у которых против моей воли такой деревянный вид. Если бы не это — они были бы людьми.

Читал ли ты «Характеристики и критические статьи» Штрауса? [267] Постарайся раздобыть их, статьи там все замечательные. Статья о Шлейермахере и Даубе — шедевр. В статьях о вюртембергских одержимых — масса психологических наблюдений. Так же интересны прочие теологические и эстетические статьи. — Кроме того, я штудирую «Философию истории» Гегеля — грандиозное произведение [155]; каждый вечер я обязательно читаю ее, и ее титанические идеи страшно захватывают меня. — Недавно журнал Толука, «Literarischer Anzeiger» — этот старый сплетник, — задал по своей глупости вопрос:

почему «современный пантеизм» не породил лирической поэзии, которую, однако, породил древнеперсидский, и т. д.? [272] Журналу остается только подождать, пока я и еще некоторые другие лица проникнутся этим пантеизмом, тогда появится и лирическая поэзия. Замечательно, впрочем, что «Literarischer Anzeiger» признает Дауба и осуждает спекулятивную философию. Как будто Дауб не признавал принципа Гегеля, что человечество и божество по существу тождественны. Вот отвратительная поверхностность; их мало тревожит то, что Штраус и Дауб в основном согласны между собой, но если Штраус не верит в брак в Кане [273], а Дауб все же верит, то одного возносят до небес, а другого считают кандидатом в геенну огненную. Освальд Марбах, издатель народных книг, — самая путаная голова среди людей, и в особенности (cum — tum *) среди гегельянцев. Я совершенно не понимаю, как духовное чадо Гегеля может сказать:

И бренная земля к небесному причастна;
Бог воплощен во мне — я ощущаю ясно,

ибо Гегель очень резко отличает целое от несовершенного единичного. — Гегелю никто не повредил больше, чем его собственные ученики; только немногие, как Ганс, Розенкранц, Руге и т. д., достойны его. Но какой-нибудь Освальд Марбах — это non plus ultra ** всех путаников. Какая замечательная личность! — Г-н пастор Маллет назвал в журнале «Bremer Kirchenbote» систему Гегеля «бессвязной речью» [97]. Будь это верно, самому пастору пришлось бы плохо; распадись эти огромные плиты, эти гранитные мысли, то какой-нибудь отдельный кусок этой циклопической постройки мог бы раздавить не только г-на пастора Маллета, но и весь Бремен. Свались, например, на шею какого-нибудь бременского пастора со всей своей силой мысль, что всемирная история есть развитие понятия свободы, — как бы он взвыл!

1 февраля. Сегодня письмо должно во что бы то ни стало уйти, будь что будет.

Русские начинают становиться наивными; они уверяют, будто война с черкесами не стоила даже стольких человеческих жертв, сколько стоила какая-нибудь одна небольшая наполеоновская битва. Подобной наивности я не ожидал от такого варвара, как Николай.

Берлинцы, как я слышу, страшно злы на меня. В письмах к ним я немного разделал Толука и Неандера и не поместил

* — как вообще — так в особенности. *Ред.*
** — крайний предел. *Ред.*

Ранке среди superos *, и это их взбесило. К тому же, я написал Хёйзеру всякого рода ерунду о Бетховене. — Я прочел очень милую комедию Грильпарцера из Вены «Горе тому, кто лжет» [274]; она значительно выше всей той дребедени, которая именуется в наше время комедией. Там и сям дает себя чувствовать благородный, свободный дух, придавленный невыносимым бременем австрийской цензуры. Ясно видишь, каких усилий стоит автору изобразить аристократа-дворянина так, чтобы не шокировать цензора-дворянина. О tempores, о moria, Donner und Doria **, сегодня пятое февраля, стыдно, что я так ленив, but I cannot help it ***, бог свидетель, я ничего теперь не делаю. У меня начато много статей, но они не подвигаются вперед, а когда вечером я хочу писать стихи, то всегда оказывается, что после обильной еды я уж не могу бороться со сном. — Этим летом я с огромным удовольствием совершил бы путешествие в Данию, Гольштинию, Ютландию, Зеландию, Рюген. Я постараюсь, чтобы мой старик прислал мне братишку ****, я захвачу его с собой. Я жажду повидать море; а какие интересные путевые заметки могли бы получиться! Их можно было бы издать вместе с несколькими стихотворениями. Теперь такая чудесная погода, а я не могу выйти; мне страшно хочется этого, вот несчастье!



Пусть он тебе сам расскажет историю своей жизни.



Это — толстый сахарный маклер, который только что вышел из дому и у которого привычка говорить: «по моему по мнению». Когда он беседует с кем-нибудь на бирже, то уходя неизменно говорит: «будете здоровы!». Его зовут Иог. Г. Бергман.

Здесь есть трогательные типы. Я тебе сейчас нарисую другую картинку из жизни:

Этот старикан каждое утро напивается, и тогда он становится перед своей дверью и кричит, ударяя себя в грудь: «Ick bin Borger!» *****; т. е. благодарю тебя, господи, что я не таков,

* — великих. *Ред.*

** Известное латинское выражение: «О tempora, о mores» («О времена, о нравы») — шутливо перефразировано Энгельсом для рифмы с «Donner und Doria» («Черт возьми»). *Ред.*

*** — но я ничего не могу с этим поделать. *Ред.*

**** — Германа Энгельса. *Ред.*

***** — «Я гражданин!». *Ред.*

как прочие — ганноверцы, ольденбуржцы или даже французы, что я бременский Borger tågen båren * — дитя Бремена!

Выражение лица у здешних старух всех сословий поистине отвратительное. Особенно у той, что направо, курносой, выражение лица чисто бременское.

Речь епископа Эйлерта на орденском празднестве [275] отличается одним существенным достоинством: теперь всякий знает, чтó следует думать о короле **, и его клятвопреступление получило официальное подтверждение. Тот самый король, который anno 1815 ***, когда его обуял страх, в кабинетском указе обещал дать конституцию своим подданным, если они выведут его из затруднительного положения, этот самый дрянной, мерзкий, проклятый богом король возвещает теперь через Эйлерта, что никто не получит от него конституции, ибо «все за одного и один за всех — государственный принцип Пруссии» и «никто не чинит нового платья старой заплатой». Знаешь ли ты, почему в Пруссии запрещен четвертый том Роттека [276]? Потому что там сказано, что наш высочайший сопляк из Берлина в 1814 г. признал испанскую конституцию 1812 г. [120] и все-таки в 1823 г. послал французов в Испанию, чтобы уничтожить эту конституцию и возвратить испанцам благородный дар: инквизицию и пытку. В 1826 г. в Валенсии был сожжен инквизицией Риполль, и его кровь вместе с кровью 23-х тысяч благородных испанцев, замученных в тюрьмах за либеральные и еретические воззрения, лежит на совести Фридриха-Вильгельма III прусского «««Справедливого»»». Я ненавижу его так, как кроме него ненавижу, может быть, только еще двоих или троих; я смертельно ненавижу его; и если бы я не презирал до такой степени этого подлеца, то ненавидел бы его еще больше. Наполеон был ангелом по сравнению с ним, а король ганноверский **** — бог, если наш король — человек. Нет времени, более изобилующего преступлениями королей, чем время с 1816





* — чистокровный гражданин. *Ред.*
** — Фридрихе-Вильгельме III. *Ред.*
*** — в 1815 году. *Ред.*
**** — Эрнст-Август. *Ред.*

по 1830 год; почти каждый государь, царствовавший тогда, заслужил смертную казнь. Благочестивый Карл X, коварный Фердинанд VII испанский, Франц австрийский — этот автомат, способный только на то, чтобы подписывать смертные приговоры и всюду видеть карбонариев [277]; дон Мигел, который подлостью своей превосходит всех героев французской революции вместе взятых и которого, однако, признали с радостью Пруссия, Россия и Австрия, когда он купался в крови лучших португальцев; и отцеубийца Александр российский, так же как и его достойный брат Николай, о чудовищных злодеяниях которых излишне было бы говорить, — о, я мог бы рассказать тебе интересные истории на тему о любви государей к своим подданным. От государя я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты булыжниками революции. Будь здоров.

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в виде отрывков в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913 и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

1840 год

30

ЛЕВИНУ ШЮККИНГУ

В МЮНСТЕР

Бремен, 18 июня 1840 г.

Дорогой г-н Шюккинг!

Еще раз приношу Вам свою сердечную благодарность за Ваш дружеский прием и за прекрасное «Напоминание о Мюнстере» [93]. Я с наслаждением прочел книжку в Оснабрюке за один присест и позавидовал поэтессе *, ее оригинальным и нежным картинам природы, скрытым красотам ее слога и ее духовному родству с Байроном, на что, если не ошибаюсь, Вы обратили тогда внимание в своей критике [278]. Стыдно, что эти стихи прошли совершенно незамеченными, но что значит их задушевность для пошлой аудитории наших дней? При первой же возможности я воздам должное этой книге в печати **. Где еще можно найти такую прекрасную в своем роде балладу, как «Граф фон Таль»?

Что касается нашего плана относительно Шелли [279], то я еще вчера беседовал с Шюнеманом. Услышав о гонораре в десять талеров, он отшатнулся, как пораженный молнией, и тут же заявил, что не может на это согласиться. Он только что вернулся с ярмарки, где самолично ознакомился с всевозможным литературным хламом: романами пиетистов, очерками из Бельгии, испанскими хрестоматиями и прочей дрянью; причем он имел глупость заключить в Лейпциге контракты по очень дешевой цене на книги по богословию, всемирной истории и истории литературы, так что, вероятно, дел у него по горло. Этот тупоголовый книготорговец полагает, что он меньше рискует, выпуская комментарии к посланиям Иоанна в плохом издании и выплачивая за них гонорар, может быть, по 2 талера за лист, но которые

* — Аннетте Элизабет Дросте-Хюльсхофф. *Ред.*

** См. настоящий том, стр. 80. *Ред.*

приобретут максимум двадцать студентов, чем печатая стихи Шелли, издание и гонорар за которые обойдутся, быть может, в три раза дороже, но к которым проявит интерес вся нация. Только что я опять был у Шюнемана и услышал из его уст окончательный и ясный ответ, что он не может согласиться на поставленные условия; лист стихов содержит в четыре раза меньше знаков, чем лист прозы, а это значит, что гонорар за лист составил бы фактически 40 талеров. Я сказал ему: переводить Шелли — это не детская игра, и если он этого не хочет, то пусть, ради бога, ничего не делает. Кстати, он и сам хорошо понимает что к чему. Он: если бы мы согласились сначала дать маленький пробный перевод, он его напечатал бы, и тогда было бы видно, что можно сделать. Я: Шюккинг и Пютман не такие люди, чтобы согласиться на пробный перевод, одни имена их сделают то же, что для других такие пробные переводы. Хотите Вы или нет? Он: на таких условиях — нет. — Muy bien! * Просить милостыню ниже нашего достоинства, и я ушел. — Я придерживаюсь мнения, что эта неоправдавшаяся надежда ни в коей мере не должна нас обескуражить: то, что не сделает один, сделает другой. Пютман, который перевел первую песнь «Королевы Маб» **, послал ее Энгельману в Лейпциг, и, если тот ее примет, можно будет легко договориться о приеме всей поэмы. В противном случае, первые, к кому нам, вероятно, следует обратиться, — это Хаммерих в Альтоне и Краббе в Штутгарте. Впрочем, сейчас, непосредственно после пасхальной ярмарки, очень неблагоприятное время для наших предложений. Если бы теперь был январь, я уверен, Шюнеман ухватился бы за нас обеими руками. И все же я хочу зайти к нему еще раз, чтобы спросить, шутки ради, какие условия он может нам предложить.

Друг Шюнеман удрал и тем самым избежал моего визита; он отправился на пикник. Вероятно, он предложил бы нам гонорар в пять талеров и свою излюбленную песенку о предварительном маленьком пробном переводе в три-четыре листа. Единственный же виновник всей этой истории — пиетист Вильгельм Элиас из Галле, на издании романа которого «Вера и знание» [280] Шюнеман потерял около двух тысяч талеров. Если мне попадется этот парень, я вызову его на дуэль на кривых саблях.

Итак, что Вы на это скажете? Пютману я напишу сегодня же. Предприятие кажется мне слишком хорошим, чтобы бросать его за здорово живешь. Любой, сколько-нибудь образованный

* — Очень хорошо! *Ред.*

** «Королева Маб» — поэма Шелли. *Ред.*

книготорговец (Шюнеман — дурак) с удовольствием возьмется печатать книгу.

С нетерпением жду Вашего мнения обо всем этом деле, а пока препоручаю себя Вашей дружеской благосклонности!

С глубоким уважением

Фридрих Энгельс

Что Вы скажете о требованиях Гуцкова в «Telegraph» к «Hallische Jahrbücher» [281]? Кажется, Гуцков хочет возродить критический террор Менцеля и Мюльнера. Вероятно, он боится, что молодежь его перерастет!

Впервые опубликовано в журнале «Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller-Universität». Jena, Jg. 7, Heft 4, 1957/58

Печатается по факсимиле рукописи, воспроизведенному в журнале

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

31

ЛЕВИНУ ШЮККИНГУ

В МЮНСТЕР

Бремен, 2 июля 1840 г.

Глубокоуважаемый друг!

К сожалению, Ваше милое письмо от 22 прошлого месяца попало мне в руки лишь 26, и это было мне весьма неприятно, потому что как раз накануне вечером я написал по совету одного местного книготорговца, у которого я справлялся о подходящем издателе, Хаммериху в Альтону и предложил ему издать Шелли *. Только сегодня я получил от него ответ с отказом, поскольку, как он утверждает, он завален издательскими заказами.

Что касается Г. К. А. Мейера-старшего, то я придерживаюсь мнения, что мы ни в коем случае не должны *с ним* связываться. Во-первых, этот парень и его подручные (Бринкмейер, Берман и К°) слишком вульгарны; во-вторых, Пютман никогда не согласится писать для этого издательства; в-третьих, Мейер отвратительно платит гонорары; и, в-четвертых, нам потребуется уйма напоминаний и прочей волокиты, чтобы этот гонорар вытребовать. В настоящее время я осаждаю его требованиями по поводу гонорара за мою статью в «Mitternachtzeitung» **,

* Ср. настоящий том, стр. 446. *Ред.*
** См. настоящий том, стр. 49—72. *Ред.*

который он не хочет платить; и хотя посредником между нами выступает Бринкмейер, я ни в коем случае не могу делать ему предложение. К сожалению, я еще не получил ответ от Пютмана и не могу поэтому предпринять никаких решительных мер. К тому же Мейер, очевидно, все разделит между своими сотрудниками, так что на нашу долю от Шелли ничего не останется. Эти издатели привыкли безгранично распоряжаться подчиненными им писаками, а кто из нас согласился бы на такое?

Я считаю за лучшее предоставить Пютману, который, вероятно, самый опытный среди нас, неограниченные полномочия для заключения контракта; он, без сомнения, доведет дело до конца к нашему общему удовлетворению и уж во всяком случае сделает это с гораздо меньшими затруднениями, чем я. К тому же он уже предлагал В. Энгельману «Королеву Маб», а этот издатель был для нас самым подходящим. И еще один важный момент: и Вы и я писали до сих пор только для газет и журналов, тогда как Пютман уже выпустил одну книгу, а о выходе второй уже объявлено [282]. На таких, как он, обращают внимание эти бесчестные издатели.

В момент прибытия Вашего письма Шюнеман был как раз в отъезде, и он еще не вернулся из своего путешествия. Я все-таки хочу дать ему Кольриджа [283]; на празднике Гутенберга, который был здесь отмечен с блеском, я под воздействием паров шампанского выпил с ним на брудершафт, чем он был весьма польщен. Если рукопись у Вас уже готова, пришлите ее мне.

Враждебные выпады в адрес «Hallische Jahrbücher» содержатся в 97 или 98 номере «Telegraph», который здесь доставляется по почте и вследствие этого гораздо раньше, чем это возможно у Вас. Я снова отправил кое-что Гуцкову и с нетерпением ожидаю, как он это воспримет после статьи в «Mitternachtzeitung» («Современная полемика» *).

Из Бармена я только что получил письмо, в котором, непонятно почему, нет ни слова о Пютмане. Если Вы согласны, чтобы Пютман взял дело с договором на себя, то я тут же по получении Вашего ответа напишу и передам в его руки все. Будьте любезны, сообщите мне также, как обстоят дела с гонорарами в «Rheinisches Jahrbuch», на днях я пошлю кое-что Фрейлиграту. В настоящий момент у меня нет трудностей с деньгами, но я все же охотно узнал бы заранее, на что могу рассчитывать.

---

* См. настоящий том, стр. 60—72. *Ред.*

Я с удовольствием прочел в газете Пфицера Ваши переводы из Шелли и Кольриджа [284]. Сегодня я кончаю «Нежное растение» Шелли и сейчас пошлю его Пфицеру. Это прекрасное стихотворение написано в духе, еще более близком к произведениям Дросте, чем Байрон. Ее стихи до сих пор продолжают доставлять мне большое удовольствие, за что я еще раз выражаю Вам свою благодарность.

С уверениями в искреннем и глубоком уважении я препоручаю себя Вашему дружескому вниманию.

Всецело преданный

Фр. Энгельс

Впервые опубликовано в журнале «Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller-Universität». Jena, Jg. 5, Heft 4/5, 1955/56

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

32

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ *

Бремен, 7—9 июля 1840 г.

Дорогая Мария!

Твои дела скоро действительно станут плохи, ты собиралась написать мне тотчас же по прибытии в Мангейм, а сейчас я сижу здесь опять уже три недели и еще не получил от тебя письма. Если так будет продолжаться, то я, очевидно, вынужден буду написать фрейлейн Юнг, чтобы тебя хотя бы силой заставили доказать мне твою сестринскую любовь.

Пожелаю тебе лучшей погоды, чем та, которая стоит сейчас у нас. Это беспрерывные бури и дожди, как в сентябре и ноябре. На море корабли тонут, как мухи в стакане воды. Пароход, шедший в Нордерней, с трудом добрался туда. Третьего дня я был в Бремерхафене **, и там тоже целое утро шел дождь. Я побывал на судах, на которых эмигрантов возят в Америку. Они скученны на средней палубе. Это обширное помещение, такое же широкое и длинное, как все судно, в нем расставлены койки (так называются кровати) по шесть штук в ряд, и над ними еще по шесть штук. Там они все лежат — мужчины,

* На обороте письма надпись: Фрейлейн Марии Энгельс в **Институте великого** герцогства, Мангейм. Франкировано. *Ред.*

** См. настоящий том, стр. 92—100. ***Ред.***

женщины и дети, и ты можешь себе представить, как ужасно это душное помещение, где часто набивается до 200 человек, в особенности в первые дни, когда начинается морская болезнь. Там воздух такой, что можно задохнуться. Но пассажиры, которые едут в каютах, устроены лучше: у них просторнее и очень элегантно обставленные каюты. Однако когда начинается буря и волны заливают судно, то их положение хуже. Дело в том, что у кают стеклянные колпаки, через которые туда проникает свет, и, когда в них с силой ударяется волна, стекло самым превосходным образом бьется и осколки его летят в каюту, а вместе с ними проникает и вода. Обычно в таких случаях каюту заливает водой, но кровати расположены так высоко, что остаются сухими. Когда мы в полдень уезжали, на рейде появилось большое трехмачтовое судно, которое называется, как ты, «Мария» и которое пришло с острова Кубы. Из-за отлива оно не могло войти в гавань и бросило якорь на рейде. Мы подъехали к нему на пароходе и забрали капитана. Но на рейде уже начали подыматься большие волны, и судно слегка качало. Все дамы сразу побледнели, и лица у них были такие, будто они сейчас утонут. Мы подцепили там двух красивых дочерей портного, с которыми обращались очень галантно, и я с самым серьезным видом уверил этих дурочек, что качка будет продолжаться до Браке, куда мы прибудем только через $1^1/_2$ часа. К сожалению, она кончилась, как только остался позади Бремерхафен. Три недозрелые шляпы упали в воду и, вероятно, уплыли в Америку, а за ними огромное количество пустых бутылок из-под вина и пива. Кроме этого, я не видел ничего замечательного, если не считать дохлой кошки в Везере, которая на свой риск и страх предприняла путешествие в Соединенные Штаты. Я пытался заговорить с ней, но она оказалась настолько грубой, что не ответила.



Это набросок Бремерхафена. Слева форт для защиты гавани, старое кирпичное сооружение, которое скоро снесет ветер, рядом с ним шлюзы, через которые впускают суда в гавань,

представляющую собой длинный узкий канал, немного шире Вуппера. За ним город, дальше направо Гесте, нечто вроде речки, над ней возвышается верхушка колокольни — это церковь, которая только еще строится. Направо вдалеке виднеется Гестендорф.

На днях я познакомился с одним человеком, отец его француз, родившийся в Америке, мать немка, он сам родился на море и, так как он живет в Мексике, то его родной язык — испанский. Где же, собственно, его родина?

У нас в конторе сейчас настоящий пивной склад: под столом, за печкой, за шкафом, повсюду стоят пивные бутылки, и, когда старику * захочется выпить, он у нас одалживает бутылку, а потом дает наполнить ее снова. Это уже теперь делается совершенно открыто, стаканы стоят целый день на столе и рядом с ними бутылка. Направо, в углу, стоят пустые, налево полные бутылки, тут же мои сигары. Действительно, Мария, молодежь становится все хуже, как говорит доктор Ханчке. Кто бы двадцать, тридцать лет тому назад мог представить себе такой ужас — распивать пиво в конторе?

Как тебе удобнее всего — может быть, мне заранее возместить почтовые расходы за нашу корреспонденцию и оплачивать как свои письма, так и твои, которые ты можешь потом посылать неоплаченными? Если ты написала мне уже до того, как дойдет это письмо, то я не отвечу тебе раньше, чем ты не пришлешь мне в ответ на него благоразумное длинное письмо.

Adieu **

Бремен, 7 июля 40 г.

Твой преданный и любящий брат

Фридрих

К счастью, письмо опять не было отослано, и это дает мне возможность ответить на только что полученное от тебя письмо. «Мне хотелось бы уметь так же хорошо играть, как они! Если я буду усердно упражняться, я тоже этого добьюсь». — Это ты-то? Сыграть сонату в 20 страниц? Ну и глупышка! Шорнштейн, конечно, очень обрадовался бы. Какие у меня пожелания к рождеству? Свой кисет я потерял, и, если я его в ближайшее время не найду, то не можешь ли ты сделать мне новый? Спасибо Аде *** за привет, передай ей и мой сердечный поклон. Скажи ей, что она первая, которая меня так любезно назвала,

* — Генриху Лёйпольду. *Ред.*
** — Прощай. *Ред.*
*** — Аделине Энгельс. *Ред.*

но что я никак ей не кузен, а в лучшем случае ее преданнейший братец. — Когда ты опять будешь мне писать, не посылай своих писем на адрес Тревирануса, так как в этом случае я получу их позже, а пиши на адрес Ф. Э., Бремен, Мартини, № 11. Тогда мне доставят их прямо в контору.

Farewell *.

Бремен, 9 июля 1840 г.

Твой

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

33

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ **

Бремен, 4 августа 1840 г.

Дорогая Мария!

Я должен прежде всего сказать тебе, что на будущее запрещаю тебе преподносить мне какие бы то ни было благие советы в твоих письмах. Не думай, дорогая глупышка, что раз ты теперь в пансионе, так уже сразу можешь претендовать на мудрость. Да и, кроме того, если бы я захотел, то мог бы получить от пастора *** кучу книг, переполненных благими наставлениями. Пиво в нашей конторе все же останется, пока его не выпьют, и, хотя ты и читаешь мне нравоучения по этому поводу, наше пивное дело еще более усовершенствовалось, так как у нас имеется, во-первых, черное пиво, а во-вторых, светлое пиво. Вот что получается, когда дерзкие девчонки из пансиона вмешиваются в дела своих господ братьев.

Итак, я не буду франкировать своих писем. Адрес пиши так: г-ну Ф. Э. в Бремене, этого хватит. А попа из адреса убери. На днях, с 27 по 30 июля, мы праздновали годовщину июльской революции, которая произошла в Париже десять лет тому назад. Один вечер мы провели в погребке ратуши, а остальные — в любимом кабачке Рихарда Рота. Этот парень все еще не вер-

* — Прощай. *Ред.*

** На обороте письма надпись: Фрейлейн Марии Энгельс в мангеймском Институте великого герцогства. *Ред.*

*** — Георга Готфрида Тревирануса. *Ред.*

нулся. Мы пили лучшее на свете лаубенгеймское вино и курили сигары, — если бы ты их видела, ты специально из-за них научилась бы курить. Свой кисет я все еще не нашел. Между прочим, вернулся один мой знакомый *, который был в Пинсельфании и Кальтермории и видел мистера Сиппи (это значит Пенсильвания, Балтимора и Миссисипи). Этот парень родом из Золингена, а золингенцы — несчастнейшие люди в мире, так как они не могут никак отвыкнуть от своего золингенского диалекта. Этот малый все еще говорит: im Sohmer is es sehr schön Wätter **, а вместо Каролина он всегда говорит Калина.

Дела мои идут плохо: у меня нет почти ни грота в кармане и масса долгов, как своих личных, так и связанных с покупкой сигар. Меня донимает человек, у которого я в последний раз покупал для вас чернослив, я за него до сих пор еще не заплатил, переплетчику тоже не заплачено, уже давно прошли три месяца, по истечении которых я обещал заплатить за купленные сигары, а Штрюккер не присылает векселей и пастор в отъезде, так что не может дать мне денег. Но завтра он вернется, и тогда я положу в кошелек шесть луидоров. Если я в кофейне съем пирожок за три грота, то брошу на прилавок двойной пистоль. «Вы можете разменять?» Мне ответят: «Извините, ради бога, нет». После чего я начну шарить по всем карманам, наберу три грота и, гордясь своими двойными пистолями, выйду на улицу. А когда я опять явлюсь в контору, то швырну рыжеволосому мальчишке на конторку один пистоль: «Деркхим, не раздобудете ли вы мне мелочь?». И тогда этот паренек будет в высшей степени счастлив — у него появится предлог уйти на часок из конторы и побродить по улицам, ведь он очень любит это невинное занятие. Суть в том, что мелкие деньги здесь большая редкость, и тот, кто имеет в кармане мелочи на пять талеров, бывает безмерно счастлив.

Недавно здесь произошел очень смешной случай. В газете дали объявление о кухарке. В контору издательства является здоровенная девица и говорит: *** «Послушайте, я читала в газете, что вы ищете кухарку». — «Да», — говорит приказчик. «А что она должна уметь делать?» — спрашивает девка. «Ей нужно играть на пианино, танцевать, говорить по-французски, петь, шить и вышивать — все это она должна уметь». «Черт возьми», — говорит девка, — «этого я не умею». И тут она видит, что вся контора хохочет, и спрашивает: «Вы что меня на смех

* — Хёллер. *Ред.*

** Вместо правильного: im Sommer ist es sehr schönes Wetter (летом очень хорошая погода). *Ред.*

*** Далее разговор идет на нижненемецком наречии. *Ред.*

поднять хотите? Черт возьми, я над собой не позволю издеваться». Тут она набрасывается на приказчика — хотела ему всыпать горячих; ее, конечно, тихонько выставили за дверь. А на днях старик * выбросил за дверь одного извозчика. Этот парень пришел за прусскими деньгами и не хотел принимать луидоры по $5^5/_{12}$ талера. Мы с ним препирались по этому поводу, но тут вошел старик. «Что тут, черт возьми, за торговля!» — вскричал он, схватил извозчика за грудь и вышвырнул его на улицу. Извозчик как ни в чем не бывало вернулся и сказал: «Я ничего такого не хотел, теперь я, конечно, возьму луидоры».

В данный момент у меня нет другого конверта для письма, кроме этого исписанного счета за кофе, который ты как настоящая кофейница, вероятно, примешь с удовольствием.

Farewell ** и пиши поскорее
твоему брату

Фридриху

Впервые опубликовано с небольшим сокращением в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920 и полностью в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

34

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ

Бремен, 20—25 августа 1840 г.

Моя дражайшая сестрица!

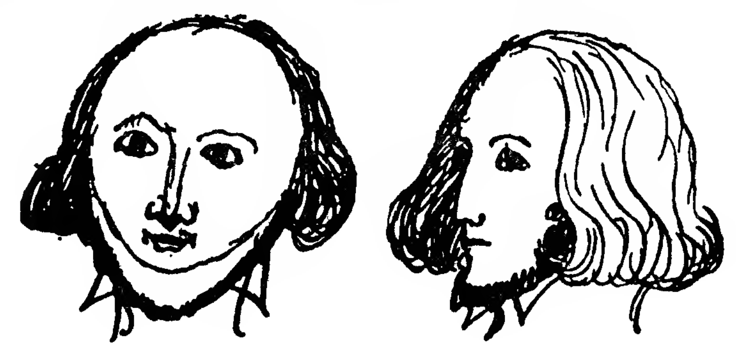
Я только что получил твое письмо, и так как мне сейчас как раз нечего делать, то я нацарапаю тебе несколько строк. В нашей конторе ввели существенное усовершенствование. Раньше было уж очень тоскливо после еды сразу садиться за конторку, когда тобой овладевает такая лень, и вот, чтобы устранить такое неудобство, мы повесили на балконе пакгауза два прекрасных гамака, в которых мы после обеда раскачиваемся, куря сигару, а иногда и подремлем. Я уверен, что ты найдешь это нововведение весьма целесообразным. От Рота я сегодня утром тоже

* — Генрих Лёйпольд. *Ред.*
** — Прощай. *Ред.*

получил письмо, он вернется сюда в следующее воскресенье после четырехмесячного отсутствия. Да будет тебе известно: 1700 марок банкнотами составляют, из 137 процентов, 776 талеров 24 грота луидорами. Я только что два раза подсчитал, и это совершенно точно. Прилагаю при сем эстамп. Старый знаток вина, который получил кислое вино. Рядом с ним —



коммивояжер, у которого он купил это кислое вино. Я также нарисую тебе, как здесь причесываются молодые люди.



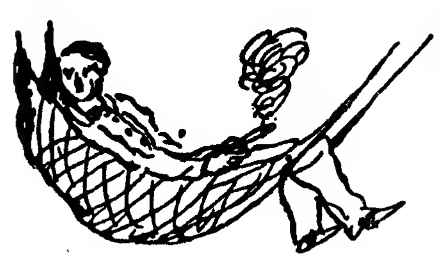
Парни
выглядят,
как телята.

Проклятье! После того как я написал это письмо, я пошел домой и поел, а когда вернулся, закурил сигару и намеревался лечь в гамак. Но он сразу же оборвался, а когда я пошел вбить новые гвозди, меня позвал этот противный Деркхим; и теперь я уже не могу выйти из конторы.

Слава богу! Мне все-таки удалось соблюсти мой послеобеденный отдых! Я потихоньку улизнул из конторы, взял сигары и спички и заказал пиво; затем я забрался на самый верхний балкон пакгауза, улегся в гамак и тихонечко в нем покачивался. Потом я спустился на средний этаж пакгауза и упаковал два ящика льняного полотна; при этом я выкурил сигару, выпил одну бутылку пива и страшно вспотел. Сегодня так жарко, что я, хотя только что избавился от насморка, опять хочу пойти окунуться в Везере. На днях я купался и попросил одного парня плыть за мной в лодке; я без остановки четыре раза переплыл Везер. По-моему, вряд ли кто-нибудь в Бремене сможет подражать мне в этом.

Проклятье! По двум причинам: во-первых, идет дождь, а во-вторых, мой любезный молодой хозяин * никак не хочет уходить из конторы, и я снова вынужден потушить свою сигару. Но я постараюсь его прогнать. Знаешь, как я это сделаю? Я отправлюсь на кухню и громко крикну: «Кристина, дайте мне пробочник!» Затем я откупориваю бутылку пива и наливаю себе стакан. Если у него в душе осталось хоть на полгрота совести, то он после этого должен будет выкатиться, так как это ведь все равно, что сказать: «Убирайся, дон Гильермо!»

Итак, ты сейчас превосходно говоришь по-английски? Подожди же, когда ты вернешься домой, я научу тебя датскому или испанскому, чтобы ты могла говорить со мной на таком языке, которого другие не поняли бы. Danske Sprag fagre Sprag, y el Español es lengua muy hermosa **. Или тебе больше нравится португальский? O portugues he huma lengoa muito graçosa, e os Portuguezes saõ naçaõ muito respeitavel ***. Но так как ты еще всего этого не постигла, то я пощажу тебя.



Здесь ты можешь взглянуть на мой гамак и на то, как я лежу в нем и курю сигару.

Только что я узнал, что продано еще 500 ящиков сахару, то есть 250 000 фунтов; этим у нас уж можно подсластить немало чашек кофе! Кто знает, быть может, сахар в твоей чашке как раз из того самого ящика, иэ которого мне пришлось брать

* — Вильгельм Лёйпольд. *Ред.*

** — Датский язык — прелестный язык, а испанский — очень красивый язык. *Ред.*

*** — Португальский язык очень изящен, а португальцы — нация, весьма достойная уважения. *Ред.*

пробу. Но к вам на Рейне весь сахар поступает из Голландии, где его делают из тряпья, при этом имеется в виду не ситцевое тряпье, а сахарные головы *.

Скоро в Фалькенберге, в 3-х часах отсюда, состоятся большие маневры, где бременские, гамбургские, любекские и ольденбургские вояки, составляющие вместе целый полк, покажут свое искусство. Это умилительные вояки, у троих из них, вместе взятых, нет таких усов, как у меня, когда я в течение трех дней не хожу к парикмахеру, на их мундирах можно сосчитать каждую нитку, и у них не сабли, а жирные угри. «Жирный угорь», собственно говоря, это копченый угорь, но у солдат так называются кожаные ножны для штыка, которые они носят вместо сабли. Дело в том, что эти несчастные постоянно рискуют во время маршировки всадить штык друг другу в физиономию, если он приставлен к ружью, поэтому они настолько благоразумны, что носят его за спиной. Это жалкие типы, кашубы и лайдаки.

Иссякли мысли все мои, похоже,
И что еще писать тебе, не знаю.
Но кончить я страницу обещаю,
Тянуть клещами буду я слова, о боже!
В стихах могу сказать я лишь немного,
С трудом размазывая смысл убогий.
И я закончу виршами дурными —
Но будет ли Пегас доволен ими?
Он вздыбится и бросит седока...
Смеркается, темнеет даль слегка.
На западе горят в сиянье ясном
Вечернею зарею облака —
Святой огонь, что факелом прекрасным,
Теперь на погребенье дня горит,
Дарившего нам радость ежечасно...
Он умер. Ночь покров простерла свой —
Блестящие его покрыли звезды
Тихонечко над спящею землей.
Да, стихло все. Укрылись птицы в гнезда,
В кустах заснули безмятежно звери,
Букашки спят, им тоже нужен роздых.
Опять закрыты шумной жизни двери,
Как будто бы на третий день творенья,
Когда мир не был миром в полной мере,
И были созданы одни растенья,

* Игра слов: «Lumpen» — «тряпье», а также «сахарная голова». *Ред.*

И не было зверей — теперь так снова,
В ветвях лишь ветер шепчет песнопенья.
То господа дыханье всеблагого,
Могучие он песни вниз бросает
И гонит тучи с берега морского.
Так, вечно юн, он с вечностью играет,
А мне уже дыханья не хватает.

Точка. Если ты это поняла, то ты образованна и можешь поддержать разговор. Adios *.

Бремен, 20 авг. 40 г.

Твой
Фридрих

25 авг. Рот третьего дня опять прикатил сюда.

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

35

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ

[Бремен], 18—19 сентября 1840 г.

18 сентября 1840 г.

Моя драгоценнейшая!

Только что разразилась со страшной силой буря — такие бывают во время равноденствия; сегодня ночью в нашем доме разбило окно, деревья ломались так, что было страшно. Завтра и послезавтра, вероятно, начнут поступать известия о потерпевших аварию судах! Старик ** стоит у окна и хмурится: ведь третьего дня ушел в море корабль, на который было погружено на 3000 талеров полотна, и оно не застраховано. Что же ты ничего не пишешь о письме к Иде ***, которое я приложил к своему предыдущему письму, или я забыл его вложить? — Я действительно остаюсь здесь до пасхи, но это мне по ряду

* — Прощай. *Ред.*
** — Генрих Лёйпольд. *Ред.*
*** — Иде Энгельс. *Ред.*

причин чрезвычайно кстати. Значит, Ида уже уехала, тебе, вероятно, очень досадно.

У нас здесь тоже приличный лагерь, примерно в 3000 человек. Это ольденбургские, бременские, любекские и гамбургские войска. На днях я там был и был свидетелем очень забавного случая. В палатке у самого входа (здесь один трактирщик открыл большую палатку-таверну) сидел француз, сильно под мухой: он не мог держаться на ногах. Кельнеры надели на него большой венок, и он начал рычать: «Листвою милый полный кубок увенчайте» *. Потом они потащили его в мертвецкую, то есть на сеновал, где он свалился и уснул. Когда он протрезвился, он одолжил у одного человека лошадь, сел на нее и начал скакать по лагерю взад и вперед. Он каждый раз был близок к тому, чтобы самым милым образом с нее свалиться. Мы там чрезвычайно весело провели время и пили чудесное вино. В прошлое воскресенье я поехал верхом в Вегезак. Во время этой прогулки я имел удовольствие четыре раза промокнуть до нитки, но у меня все же оказалось столько внутреннего огня, что я каждый раз тут же высыхал. Но беда в том, что у меня была прескверная лошадь, которая шла очень тяжелой рысью, и эта чертова тряска растрясла меня до мозга костей. Только что нам опять притащили 6 бутылок пива, которые сейчас же должны подвергнуться воспламенительному процессу — я подумал о сигарах, правильнее будет сказать, процессу опустошения. Одну бутылку я уже почти проглотил и при этом выкурил сигару. Сейчас наш дон Гильермо **, молодой хозяин, опять выйдет, и тогда мы начнем все сначала.

19 сент. 1840 г. У вас все-таки более скучная жизнь, чем у нас. Вчера вечером не было больше никакой работы, старик ушел и Вильгельм Лёйпольд тоже почти не показывался. Итак, я закурил свою сигару, написал сначала вышеизложенное письмо тебе, затем достал из конторки «Фауста» Ленау [285] и немного почитал. Затем я выпил одну бутылку пива и в половине восьмого пошел к Роту; мы отправились в союз, я читал «Историю Гогенштауфенов» Раумера [286], а потом съел бифштекс и салат из огурцов. В половине одиннадцатого я ушел домой, читал «Грамматику романских языков» Дица [287], пока мне не захотелось спать. Вдобавок завтра опять воскресенье, а в среду в Бремене день покаяния и молитв, и так мы понемногу протянем до зимы. Этой зимой я с Эберлейном буду брать уроки танцев, чтобы придать немного грации моим неуклюжим ногам.

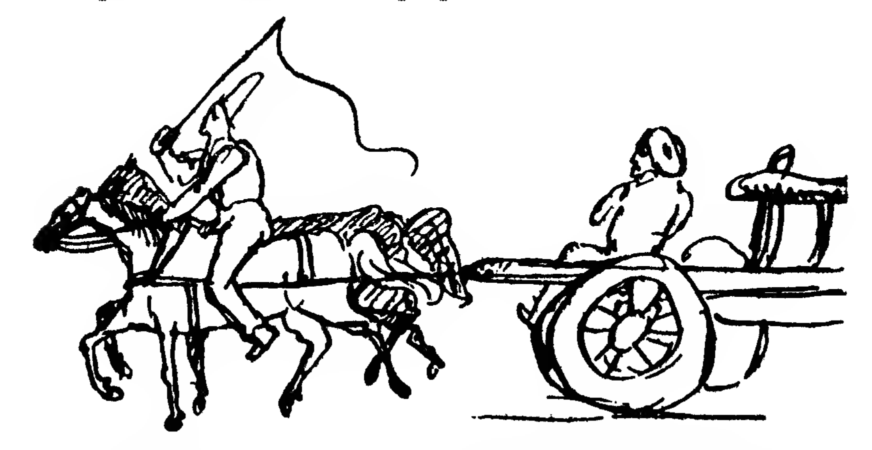
---

* *Маттиас Клаудиус.* «Рейнская застольная песня» («Rheinweinlied»). *Ред.*

** — Вильгельм Лёйпольд. *Ред.*



Здесь изображена сцена на Шляхте, то есть улице, которая проходит по берегу Везера и на которой выгружаются товары. Парень с кнутом — это извозчик, он сейчас повезет мешки с кофе, которые лежат сзади. Парень с мешком направо — это грузчик, который грузит мешки; рядом с ним винодел, который только что взял пробу и держит ее в руках, а около него лодочник, из лодки которого были выгружены мешки. Ты не станешь отрицать, что эти типы очень интересны. Когда извозчик едет, он садится на лошадь без седла, без стремян и шпор и вонзает все время свои пятки в ее ребра вот так:



Сейчас опять идет дождь. Это совершенно недопустимо для субботнего вечера. По-настоящему следовало бы, чтобы дождь

шел только на неделе, а с полдня в субботу устанавливалась хорошая погода. Знаешь ли ты, что такое супертонкий среднего качества ординарный доминиканский кофе? Это опять одно из тех глубоких понятий, которые встречаются в философии купеческого сословия и которые ваши умы понять не могут. Супертонкий среднего качества ординарный доминиканский кофе — это кофе с острова Гаити, с легким налетом зеленого цвета, а вообще серый; когда вы его покупаете, то получаете на десять хороших доброкачественных бобов четыре плохих, шесть камешков и четверть лота мусора, пыли и т. п. Надеюсь, что теперь тебе это вполне ясно. Фунт его стоит сейчас $9^1/_2$ грота, это 4 зильбергроша и $8^{123}/_{137}$ пфеннига. Такие коммерческие тайны я, собственно, не должен был бы выдавать, так как не следует выносить сора из избы, но для тебя я сделаю исключение. — Только что наш работник сказал: * г-н Деркхим, если вы водите компанию с этими младщими учениками, то заставьте себя побольше уважать, а иначе вы будете у них под башмаком. Генрих — скверный мальчишка; он мне немало неприятностей наделал, вы лучше с ним не играйте, а дайте ему хорошую затрещину, иначе делу не поможешь; а если вы пойдете к старику, так он тоже ничего мальчишке не сделает, а только скажет: уберите этого парня с глаз долой. Теперь ты можешь немного попрактиковаться в нашем нижненемецком наречии. А засим

остаюсь с совершенным почтением

Фридрих

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

36

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ **

Бремен, 29 октября 1840 г.

Дорогая Мария!

В следующий раз не пиши мне больше писем через Бармен: мама держит их до тех пор, пока сама не напишет, а это часто продолжается очень долго. Но вот что я хотел тебе сообщить —

* Далее идет фраза на нижненемецком диалекте. *Ред.*

** На обороте письма надпись: Фрейлейн Марии Энгельс в мангеймском Институте великого герцогства. *Ред.*

ты только не пиши об этом домой, потому что я намерен к будущей весне преподнести им это в виде сюрприза — я ношу сейчас огромные усы и собираюсь отрастить себе козлиную бородку в стиле Генриха IV. Вот удивится мама, когда на пороге вдруг появится этакий долговязый чернобородый дядя. Ведь в будущем году, если я поеду в Италию, я должен выглядеть как итальянец.

Это написала маленькая София Лёйпольд, она только что навестила меня в конторе, а старик * и Эберлейн, который столуется здесь в доме, сейчас на торжественном обеде. О, я мог бы рассказать тебе интересные вещи об этом обеде, о еще не объявленных помолвках и тайных поцелуях, но это не тема для девицы из пансиона. Об этом ты довольно скоро узнаешь, когда мы опять будем дома. Тогда я буду сидеть в саду, и ты вынесешь мне большой кувшин пива и бутерброд с колбасой, а я скажу: Ну вот, моя милая сестрица, за то, что ты мне сейчас принесла пива, и потому, что сегодня такой прекрасный летний вечер, я расскажу тебе о торжественном обеде, который происходил в 1840 г., в октябре месяце, 29-го числа, в Бремене, по улице Мартини, дом номер одиннадцать, в королевском саксонском консульстве. Пока могу сказать тебе лишь то, что мадеры, портвейна, пульяка, о-сотерна и рейнвейна сегодня на обеде было выпито огромное количество. И хотя там всего пятеро мужчин, но все они пьют отлично: почти так же, как я. — Зато у нас здесь раздолье, и, если я и не имею чести быть представленным ее королевскому высочеству, какой-нибудь великой герцогине и многим сиятельнейшим принцессам, то мы все-таки тоже развлекаемся. К счастью, я настолько близорук, что совершенно не знаю, как выглядели те несколько высоких, высших и высочайших особ, которые имели честь проехать мимо меня. Если тебе в следующий раз опять представят такую всемилостивейшую особу, то напиши мне непременно, красива ли она, — в противном случае меня такие особы совершенно не интересуют. Наш славный погребок при ратуше сейчас оборудован наилучшим образом, и там можно очень приятно посидеть между бочками. В прошлое воскресенье у нас в этом погребке была пирушка усачей. Дело в том, что я направил циркуляр всем молодым людям, способным носить



* — Генрих Лёйпольд. *Ред.*

усы, о том, что наступило, наконец, время покончить с предрассудками всех этих филистеров и что мы сможем лучше всего достигнуть этого тем, что все будем носить усы. Итак, кто имеет достаточно мужества, чтобы выступить против филистерства и носить усы, тот должен был подписаться. Мне тотчас же удалось собрать дюжину усачей, и 25-го октября, когда нашим усам исполнился месяц, был назначен днем коллективного юбилея усов. Но я как следует обдумал, как это дело будет проходить, купил немного фабры для усов и взял ее с собой. Оказалось, что у одного были очень красивые, но, к сожалению, совершенно седые усы, другой же получил от своего патрона приказание срезать это преступное украшение. Но так или иначе, в тот вечер у нас непременно должны были быть какие-либо усы, а у кого их не было — тот должен был их себе нарисовать. Затем я встал и провозгласил следующий тост:

Усы носили во все времена
Мужи, в ком доблесть была видна.
Тот, кто поднимал за отчизну меч,
Усами не смел никогда пренебречь.
И в эти дни, что военной тревогой полны,
Мы гордые усы носить должны.
Филистер, конечно, не любит усов,
И срезать их он всегда готов.
Но мы — не филистеры, мы — другие,
У нас усы растут густые.
У добрых христиан лучшей нет красы,
Чем лихие мужские усы.
И pereant * филистеры все,
Что не разберутся в такой красе.

После этих виршей все чокнулись с большим энтузиазмом, и затем выступил следующий оратор. Ему его принципал не захотел дать ключа от входной двери, и поэтому ему приходилось в 10 часов возвращаться домой: иначе дом оказывался уже запертым, и его больше не впускали. Многим несчастным приходится часто терпеть здесь такие вещи. Он заявил:

Pereant * нахалы,
Принципалы,
Что ключ от дома не отдают!
Есть им волосы с мухами на ужин,
Пусть ночь они без сна проведут —
Такой урок им житейский нужен!

* — Да погибнут. *Ред.*

После этого мы опять чокнулись. Так продолжалось до десяти часов, когда лишенным ключей от входных дверей пришлось отправиться домой, а мы, счастливцы, имевшие при себе ключи, остались и ели устрицы. Я съел восемь штук, но больше не мог, мне до сих пор эти штуки не нравятся.

Так как ты очень любишь всякие расчеты и даже хочешь наградить меня за них орденом желтого конверта, то я окажу тебе милость и угощу сообщением, что курс сейчас составляет $106^1/_2\%$, в то время как в прошлом году он составлял 114. Луидоры так падают, что человек, у которого год тому назад здесь, в Бремене, был миллион талеров, сейчас имеет только девятьсот тысяч, то есть на сто тысяч талеров меньше. Разве это не огромная сумма?

Ты мне все еще ничего не написала о письмеце для Иды *; получила ли ты его, передала или нет? Для меня было бы ужасно, если бы оказалось, что я его не отослал и оно осталось здесь, так как оно может попасть в руки старика. Итак, напиши мне, и обязательно, то самое длинное письмо в шесть страниц, которое ты мне обещала. Я сумею отплатить тебе за это. На этом конверте ты опять угостишься некоторыми вычислениями, которые будут тебе по нраву. В том, что я вынужден был еще раз переписать это письмо, виноват г-н Тимолеон Мизеганс из Бремена — тот самый, которого старик два года тому назад однажды выгнал из дома. С почтением, преданный тебе

Фридрих

Впервые опубликовано с небольшим сокращением в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920 и полностью в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

37

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БАРМЕН

Бремен, 20 ноября 1840 г.

Мой дорогой Вильгельм!

Уже полгода, по меньшей мере, как ты мне не писал. Что сказать по поводу таких друзей? Ты не пишешь, твой брат ** не пишет, Вурм не пишет, Грель не пишет, Хёйзер не пишет, от

* — Иды Энгельс. *Ред.*

** — Фридрих Гребер. *Ред.*

В. Бланка — ни строчки, от Плюмахера — еще меньше; sacré tonnerre! * — что мне сказать на это? Когда я тебе писал в последний раз, в моем свертке табаку было еще семь фунтов, теперь же в нем едва ли остался кубический дюйм, а ответа все еще нет. Вместо этого вы веселитесь в Бармене — ну, подождите же, ребята: ведь я о каждом стакане пива, который вы выпили с тех пор, знаю, выпили ли вы его залпом или в несколько глотков.

Не тебе бы, ночному колпаку в политике, хулить мои политические убеждения. Если оставить тебя в покое в твоем сельском приходе — высшей цели ты себе, конечно, и не ставишь — и дать возможность мирно прогуливаться каждый вечер с госпожой попадьей и несколькими молодыми поповичами, чтобы никакая напасть тебя не коснулась, то ты будешь утопать в блаженстве и не станешь думать о злодее Ф. Энгельсе, который выступает с рассуждениями против существующего порядка. Эх, вы — герои! Но вы будете все же вовлечены в политику; поток времени затопит ваше идиллическое царство, и тогда вы окажетесь в тупике. Деятельность, жизнь, юношеское мужество — вот в чем истинный смысл!

Вы, вероятно, уже слышали о чудесной потехе, устроенной здесь нашим общим другом Круммахером. Теперь все это, пожалуй, уже в прошлом, но дело было не шуточное. Паниелиты выстроились в батальоны, взяли штурмом арсенал гражданской гвардии и двинулись с огромным трехцветным знаменем по городу. Они пели: «Свободно жить привыкли мы» и «Виват Паниель! Да здравствует Паниель! Паниель — славный муж!». Круммахерианцы собрались на Соборной площади, осадили ратушу, где как раз в это время заседал сенат, и разграбили оружейный склад. Вооруженные алебардами и бердышами, они построились в каре на Соборной площади, направили обе пушки, стоявшие у гауптвахты (впрочем, незаряженные), против Obernstrasse, откуда шли паниелиты, и так стали ожидать врага. Но последний, дойдя до пушек, повернул с другой стороны к рынку и занял его. Конница численностью в 600 человек заняла сенной рынок, как раз против круммахерианцев, и ожидала команды, чтобы устремиться на врага. Тогда из ратуши вышел бургомистр Смидт. Он прошел между воюющими лагерями, стал твердой ногой на камень, на котором была казнена отравительница Готфрид и который как раз выдается на полдюйма над мостовой, и сказал, обратившись к круммахерианцам: «Вы — мужи Израиля!». Затем он повернулся

* — черт возьми! *Ред.*

к паниелитам: «Ἄνδρες Ἀθηναῖοι!» *. Затем, поворачиваясь то направо, то налево, он произнес следующую речь: «Так как Круммахер — чужестранец, то не подобает в нашем славном городе разрешать сражением затеянный им спор. Поэтому я предлагаю обеим уважаемым сторонам отправиться на городской луг — это весьма подходящая арена для подобных упражнений».

Это было одобрено; обе стороны вышли через различные ворота, после того как Паниель вооружился каменным щитом и мечом Роланда. Командование над круммахерианцами, силы которых насчитывали 6 $239^1/_2$ человека, принял пастор Маллет, участник похода 1813 года; он приказал купить пороху и взять с собой несколько небольших булыжников, чтобы заряжать ими пушки. Прибыв на городской луг, Маллет приказал занять прилегающее к нему кладбище, окруженное широким рвом. Он взобрался на памятник Готфриду Менкену и приказал поднять пушки на вал кладбища. Но из-за отсутствия лошадей не было возможности сдвинуть с места пушки. Между тем наступило 9 часов вечера, и стало совершенно темно. Войска расположились бивуаком, Паниель — в деревушке Швахгаузене, Маллет — в предместье. Штаб-квартира находилась в манеже перед Хердентором, который, правда, был уже занят труппой цирковых наездников, но, когда пастор Кольман из Хорна начал в манеже вечернее богослужение, наездники разбежались. Это происходило 17 октября. 18-го утром обе армии выступили. Паниель, располагавший пехотой в 4 $267^3/_4$ человека и конницей в 1 $689^1/_4$ человека, начал атаку. Колонна пехоты, руководимая самим Паниелем, напала на первую боевую линию Маллета, состоявшую из учеников, которым он преподает катехизис, и нескольких фанатически настроенных женщин. После того как были заколоты три старухи и застрелены шесть учеников, батальон обратился в бегство и был опрокинут Паниелем в шоссейный ров. На правом крыле Паниеля находился пастор Капелле, который с тремя эскадронами кавалерии, состоявшими из молодых конторских служащих, обошел Маллета и напал на него с тыла; он занял предместье, лишив, таким образом, Маллета его оперативной базы. Левое крыло Паниеля, под командой пастора Роте, двинулось на Хорнское шоссе и оттеснило союз молодежи, не умевший обращаться с алебардами, к главным силам Маллета. Тут мы, шестеро, услышали на уроке фехтования пальбу и выбежали в своих фехтовальных куртках, перчатках, масках и шапках;

* — «Афинские граждане!» *Ред.*

ворота были закрыты, но мы напали на стражу, отняли у нее ключ и таким образом добрались, с рапирами в руках, до поля битвы. Рихард Рот из Бармена снова собрал рассеявшийся союз молодежи, в то время как Хёллер из Золингена скрылся с остальными учениками в каком-то доме; я и трое других сбросили нескольких паниелитов с лошадей, сами вскочили на лошадей и при поддержке союза молодежи опрокинули вражескую кавалерию; главные силы Маллета двинулись вперед, наши рапиры сыпали кварты, терцы, сеяли страх и смерть, и в течение получаса рационалисты были рассеяны. Тогда явился Маллет, чтобы поблагодарить нас, и когда мы увидели, за кого сражались, то с удивлением взглянули друг на друга.

Se non è vero, ècome spero ben trovato *. Только напишите же скорей! И подстегни Вурма, чтобы он мне написал!

Фр. Энгельс

Впервые опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

38

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ **

Бремен, 6—9 декабря 1840 г.

Всеподданнейшее благодарственное послание всемилостивейше награжденного орденом желтого конверта Ф. Энгельса.

Ваше благородие! Глубокоуважаемая фрейлейн!

Всеподданнейше нижеподписавшийся, коего Ваше благородие незаслуженно соизволили всемилостивейше наградить орденом желтого конверта, считает непременным долгом всепокорнейше принести свою преданнейшую благодарность к Вашим высочайше высокородным стопам.

Этот же всеподданнейший не может не выразить своего восхищения по поводу высокой милости, с которой Ваша высочайшая особа соизволила послать записку Вашему готовому к услугам рабу в открытом виде, доступном всему миру ***,

* — Если это и неправда, то, надеюсь, неплохо придумано. *Ред.*

** На обороте письма надпись: Фрейлейн Марии Энгельс в Институте великого герцогства. Мангейм. *Ред.*

*** Я получил твое письмо открытым. Злосчастная облатка отклеилась.

и каждый смог убедиться в высокой милости, которую Ваша высокая доброта и всеобъемлющая мудрость соизволила мне оказать.

В заключение имеет честь засвидетельствовать милостивейшему вниманию Вашей высочайшей особы свое глубочайшее почтение, готовый отдать свою жизнь, всеподданнейший

Бремен, 6 дек. 1840 г.

Фр. Энгельс

Дорогая Мария!

Отходя от формы, которую я избрал для первой страницы этого письма, скажу тебе, что вовсе не благодарен тебе за плохие облатки, которыми ты запечатываешь свои письма и которые почти не держатся. Каким орденом какого конверта ты хочешь меня осчастливить — мне безразлично, — но запечатывай их, черт побери, покрепче, чтобы они не разваливались уже в Майнце. Третьего дня или вчера, я уже не помню, был день рождения Анны *, я отпраздновал его вчера в Швахгаузене за порцией кофе, это стоило мне 6 гротов — разве это не братская любовь! На прошлой неделе, в субботу, когда мне исполнилось 20 лет, я отпраздновал день своего рождения зубной болью и распухшей щекой, что доставляло мне адские страдания. Ты, наверное, тоже слышала, что тело Наполеона прибыло во Францию **, вот уж, наверное, будет скандал! Я хотел бы находиться сейчас в Париже, вот было бы забавно! Читаешь ли ты тоже газеты? Думаешь ли ты, что будет война? Какого ты мнения о министерстве Гизо — Сульта? Поешь ли ты тоже плохую песенку: «Они его не получат» ***. Между прочим, если у тебя хорошее зрение, ты можешь видеть французскую границу на противоположном берегу Рейна. Теперь мы стали заниматься фехтованием, я каждую неделю фехтую по четыре раза, сегодня в полдень опять. На следующей странице ты можешь полюбоваться моими ударами.

8 декабря. Вчера я был чертовски занят и сегодня утром тоже. Сейчас я закончу это письмо к тебе и затем, вероятно, пойду пить кофе. К рождеству ты обязательно должна мне сделать новый кисет и обязательно черно-красно-золотой — это единственные цвета, которые мне нравятся.

Красное, — любовь пусть отличает братьев,
Подобна злату мысль, что в нас горит,
Не устрашат и смерти нас объятья —
Черною лентою каждый обвит.

* — Анны Энгельс. *Ред.*

** См. стр. 134—135. *Ред.*

*** Здесь Энгельс приводит начальные ноты этой песни на стихи Н. Беккера «Немецкий Рейн», которые, однако, были им зачеркнуты. *Ред.*

Это из одной запрещенной студенческой песни. Здесь несколько бараньих голов организовали союз, где они произносят речи и я тоже должен буду когда-нибудь побывать там и, noles volens *, произнести речь. О боже, можно себе представить, что это будет за красота. Вообще-то, я умею очень хорошо проповедовать, даже без предварительной подготовки, а что касается вранья, то тут меня уже не остановить, я говорю беспрерывно. Если бы я был депутатом ландтага, я никому не дал бы говорить. — Я заказал свой портрет с усами, и, чтобы ты могла видеть, как я выгляжу, я тебе его перерисую.



Ты видишь, что меня рисовали тогда, когда я был страшно зол. Дело в том, что сигара никак не раскуривалась. В эту

* — хочешь не хочешь. *Ред.*

минуту у меня был такой умный вид, что художник * стал меня умолять, чтобы я позволил зарисовать себя в этой ситуации. Я отложил все плохие сигары, и каждый раз, когда мне приходилось позировать, я закуривал эту отвратительную штуку. Это была для меня величайшая мука.



Радуйся, что тебе не приходится заниматься ящиками с образцами! Это бессмыслица и нелепость высшего класса: приходится целый день стоять на полу пакгауза у открытого окна в такой холод и упаковывать полотно. Это что-то ужасное, и, в конце концов, из этого ничего путного не выходит.

Моя дорогая сестра, остаюсь преданный тебе

Ф. Энгельс

Бремен, 9 декабря.

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

39

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ

Бремен, 21—28 декабря 1840 г.

21-го дек. 40 г.

Дорогая Мария!

Не могу не выразить тебе свою благодарность за красивый кисет, у которого нет никаких недостатков, кроме того, что он не черно-красно-золотой. Я его неожиданно получил уже сегодня и тотчас же начал им пользоваться. — Здесь было страшно холодно: весь декабрь все время стояли морозы, и до сих пор еще держится мороз. Везер замерз до самого Вегезака, в 4-х часах езды отсюда, и это выглядит очень необычно. На днях сюда приехало несколько барменцев. Мы здесь очень веселый образ жизни вели, во все кабаки зашли, всем стаканам применение

* — Г. В. Фейстkорн, *Ред.*

нашли и под хмельком домой побрели. Прилагаю при сем назидательное письмо моего бывшего учителя испанского языка; если ты его поймешь, я подарю тебе новую шляпу. Может быть, у вас в пансионе найдется кто-нибудь, кто настолько знает испанский язык, а мне оно здесь только мешает. — А вообще говоря, я даже не знаю, о чем тебе писать, здесь сгорел сахарный завод, а старик * ни за что не хочет выходить из конторы, хотя мне просто не терпится закурить сигару.

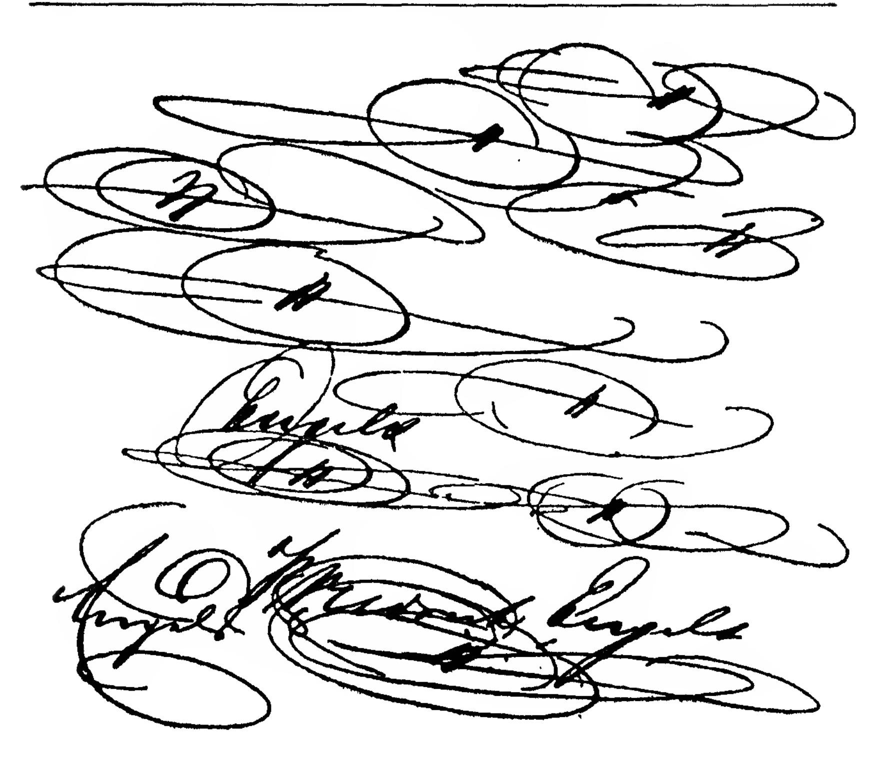
23-го. Вчера вечером у нас был урок рапирного боя, как вдруг нам сообщили веселое известие, что опять начался пожар, на этот раз в Нейштадте. Из чувства долга мы отправились туда, а когда пришли, все уже было кончено. Так всегда бывает. Лучше всего спокойно сидеть дома, пока у тебя не загорится под самым носом. Мама прислала мне на рождество квитанцию на получение полного собрания сочинений Гёте [288], я вчера тотчас же забрал первые вышедшие тома и вчера вечером до двенадцати с величайшим наслаждением читал «Избирательное сродство». Вот это молодец, этот Гёте! Если бы ты писала по-немецки так, как он, я с удовольствием освободил бы тебя от всех иностранных языков. Между прочим, ты совершенно напрасно оставляешь поля, когда пишешь мне; восьмушка листа достаточно узка, и я терпеть не могу этой ленивой манеры, когда исписывают много страниц, но пишут немного. На что прошу обратить внимание! — как говорит профессор Ханчке.

24-го. Ты сейчас должна быть в ужасном волнении, я себе могу представить, и какие у тебя радужные надежды. Я жажду узнать, чем это кончится. Надеюсь, что с первой же почтой ты поставишь меня в известность об этом важном событии. Я со своей стороны постараюсь, чтобы об этом тотчас же напечатали в местных газетах.

Между прочим, привожу здесь несколько образцов росчерков и подписей **, которыми доказал свое искусство молодому шефу, гордящемуся своим угловатым росчерком.

28-го декабря. Везер теперь совершенно замерз, и по нему ездят кататься в колясках. Я думаю, что до Вегезака, до которого по Везеру 5 часов езды, можно добежать на коньках. После обеда весь beau monde *** выходит сюда на прогулку, и дамы идут впереди, чтобы дать мужчинам возможность опустить их на лед, что им всегда доставляет большое удовольствие. Деревья покрыты таким толстым белым слоем, что кажется, будто они

* — Генрих Лёйпольд. *Ред.*
** См. настоящий том, стр. 472. *Ред.*
*** — высший свет. *Ред.*



сделаны из снега. — Пасторша * вышила мне к рождеству черно-красно-золотой кошелек, а Мария ** сделала черно-красно-золотую кисточку для трубки, которая получилась совершенно изумительной. Сегодня 9 градусов мороза, вот это жизнь! Я ничего так не люблю, как это холодное, бездеятельное солнце, которое восходит над твердой зимней землей. Ни облачка на небе, никакой грязи на земле, все твердо и крепко, как сталь и алмаз. Воздух не такой вялый и чахоточный, как летом. Сейчас, по крайней мере, чувствуешь его, когда выходишь на улицу. Весь город покрылся льдом, люди больше не ходят, они падают из одной улицы на другую. Теперь, наконец, можно почувствовать, что действительно наступила зима. Надеюсь, что вы в Мангейме, кроме прочих полезных фокусов, учитесь и кататься на коньках, и ты не вернешься домой зябкой, сидящей у печки дамочкой, которую ни за что не вытащишь на улицу,

* — Матильда Тревиранус. *Ред.*
** — Мария Тревиранус. *Ред.*

чего я ни в коем случае не желал бы. Но если ты все же, когда приедешь, будешь бояться мороза, я привяжу тебя к саням, вставлю лошадям в уши горящую паклю и в таком виде пущу тебя в путь. Или надену тебе коньки, вынесу на самую середину пруда и предоставлю тебе там барахтаться самой.

Моя дорогая, милая сестра! Это письмо ты получишь, если мои расчеты меня не подведут, в день Нового года. Желаю тебе к этому наступающему празднику, очень радостному для меня, а должно быть и для тебя, всего, чего тебе хочется, так как это пожелание мне ничего не стоит; надеюсь, что твои пожелания в отношении меня будут, по крайней мере, такими же христианскими. Пусть тебе в Новом году жизнь в Мангейме нравится так же, как она, судя по твоим письмам, нравилась тебе и в старом году. (Это я пишу на тот случай, если данному письму, прежде чем оно попадет в твои руки, предстоит пройти через цензуру.)

Твой

Фридрих

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

1841 год

40
МАРИИ ЭНГЕЛЬС
В МАНГЕЙМ *

Бремен, 18 февраля 1841 г.

Дорогая Мария!

На этот раз ты получишь довольно-таки тяжелое письмо. Я сначала хотел даже написать его на листе картона, чтобы тебе пришлось побольше выложить за доставку, но, к сожалению, не смог найти ровного куска и поэтому вынужден писать на самой плотной бумаге, какую только можно было получить в нашем бумажном магазине. Если ты не знаешь, что такое уроки рапирного боя, то это свидетельствует о том, что ты позорно отстала в отношении культуры; а то, что ты не поняла этого из приложенного рисунка, свидетельствует также и о природной ограниченности; по-видимому, не только плоды просвещения, но и всякое проявление чувства юмора остались для тебя недоступными. На вашем скверном немецком языке уроки рапирного боя означают то же самое, что уроки фехтования. Я уже приобрел себе пару рапир, а также перчаток, — единственные перчатки, которые я имею, потому что лайкой и тому подобными вещами я не увлекаюсь.

Что касается Stabat mater dolorosa ** и т. п. то, как мне кажется, это произведение написано Перголезе, проверь, пожалуйста. Если это так, то достань мне, по возможности, оттиск партитуры, — если там есть инструментовка, то она мне не нужна, а нужна только вокальная партия. Если же это сочинение Палестрины или кого-нибудь другого, то оно мне не нужно. Послезавтра мы будем исполнять «Павла» Мендельсона — лучшую ораторию, которая была написана после смерти Генделя. Ты, веро-

---

* На обороте письма надпись: Фрейлейн Марии Энгельс в мангеймском Институте великого герцогства. *Ред.*

** См. настоящий том, стр. 356—358. *Ред.*

ятно, ее знаешь. В театре я бываю очень редко, так как здешний театр — это один стыд, и только изредка, когда дают новую пьесу или хорошую оперу, которой я еще не знаю, я в нем бываю.

С тех пор как я написал тебе последнее письмо, у нас здесь произошло большое наводнение. В моей комнате у Тревирануса вода поднялась на двенадцать — четырнадцать дюймов; мне пришлось бежать к старику *, который со свойственной ему добротой приютил меня почти на две недели. Но как раз в это время началась настоящая заваруха. Уровень воды перед домом составлял полтора фута; чтобы она не проникла в погреб, в котором имеется люк, мы законопатили его навозом. Однако коварная вода проникла в наш погреб через стену из погреба соседа; но чтобы не залило наши прекрасные бочки с ромом и картофель, и прежде всего богатый ассортиментом винный погреб старика, нам пришлось день и ночь откачивать воду, четыре ночи подряд. Я все эти четыре ночи занимался выкачиванием. Мы с Вильгельмом Лёйпольдом обычно вместе дежурили по ночам, сидели за столом на диване, на столе стояло несколько бутылок вина, колбаса и большой кусок самого лучшего гамбургского копченого мяса. При этом мы курили, болтали и каждые полчаса выкачивали воду. Это было восхитительно. В пять часов утра приходил старик и сменял одного из нас. Во время этого наводнения происходили занимательные вещи. В одном доме в пригороде, который до самых окон первого этажа был залит водой, люди вдруг увидели огромное количество крыс, которые приплыли сюда, проникли через окна и заполнили весь дом. Надо сказать, что в этом доме находились одни только женщины, страшно боявшиеся крыс, и ни одного мужчины, так что нежным дамам, несмотря на их страх, пришлось выйти на охоту за этой дикой ордой, вооружившись саблями, палками и т. п. В одном доме, который стоит на самом берегу Везера, конторщики как раз сидели за завтраком, как вдруг в дом ударила огромная ледяная глыба и, пробив стену, самым непочтительным образом ворвалась в комнату, а вслед за ней появилась и добрая порция воды. Теперь я хочу тебе также сообщить одну новость. Ты, вероятно, припоминаешь, что я однажды очень таинственно писал тебе о торжественном обеде, который был дан в королевском саксонском консульстве и во время которого произошли очень таинственные события. Теперь я могу тебе сказать, что лицо, в честь которого был дан этот обед, — это dame souveraine des pensées, die domna amada mais que la vida ** моим вторым

* — Генриху Лёйпольду. *Ред.*

** — верховная госпожа мыслей, женщина, любимая больше, чем жизнь. *Ред.*

принципалом, вышеупомянутым Вильгельмом Лёйпольдом. Во время наводнения он официально сообщил мне, что на пасху будет объявлена его помолвка. Я сообщаю тебе об этом, надеясь на твою скромность, и ты не должна болтать, потому что это будет оглашено только на пасхе. Ты видишь, как я тебе доверяю, ведь если ты об этом расскажешь, то через три дня слух этот может уже распространиться здесь, в Бремене, — ведь везде есть болтливые бабы. И тогда я очутился бы в очень неприятном положении. — Невесту В. Лёйпольда зовут Тереза Мейер, это дочь Шток-Мейера из Гамбурга. А его зовут Шток-Мейер потому, что у него имеется фабрика тростей *, на которых он заработал большие деньги. Она носит, то есть не фабрика, а Тереза, синюю жакетку и светлое платье, ей семнадцать лет, и она так же худощава, как ты, если ты за это время в Мангейме не поправилась. Она еще даже не была на конфирмации, разве это не ужасно?

Сегодня я опять остриг свои усы и с великой печалью похоронил прах этого юного существа. Я выгляжу как женщина, это позор. И если бы я знал, что без усов буду так ужасно выглядеть, то, разумеется, не стал бы их стричь. Когда я стоял с ножницами перед зеркалом и уже отхватил правый ус, в контору вошел старик и громко засмеялся, когда увидел меня с одним усом. Но теперь я начну их опять отращивать, потому что я нигде не могу показаться. В Певческой академии я один был с усами и потешался над филистерами, которые никак не могли примириться с тем, что я имел нахальство появляться в таком небритом виде в приличном обществе. Впрочем, дамам это очень нравилось и моему старику тоже. Еще вчера вечером на концерте меня окружили шесть молодых щеголей, все во фраках и в лайковых перчатках, я же был в обыкновенном сюртуке, без перчаток. Эти франты целый вечер издевались надо мной и над моей щетиной на верхней губе. Но самое интересное это то, что три месяца тому назад меня здесь никто не знал, а сейчас меня знают решительно все только благодаря усам. О, эти филистеры!

Твой

Фридрих

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* «Шток» — по-немецки — «палка», «трость».

41

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

Бремен, 22 февраля 1841 г.

Ваше высокопреподобие in spe *

имели милость, habuerunt gratiam писать мне mihi scribendi sc. literas. Multum gaudeo, tibi adjuvasse ad gratificationem triginta thalerorum, speroque, te ista gratificatione usum esse ad bibendum in sanitatem meam. χαῖρε, Φύλαξ τοῦ χριστιανισμοῦ, μέγας Στραυσσομαστιξ, ἄστρον τῆς ὀρθοδοξίας, παῦσις τῆς τῶν πιετίστων λύπης, βασιλεὺς τῆς ἐξηγήσεως!;!;!;

בְּרֵשִׁית בָּרָה אֱלוֹהִים אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֵת־הָאָרֶץ

וְרוּחַ אֱלוֹהִם ** витал над Ф. Гребером, когда он сотворил невозможное и доказал, что дважды два — пять. О ты, великий охотник за страусами ***, заклинаю тебя во имя всей ортодоксии разрушить все проклятое страусово гнездо и своим копьем святого Георгия проткнуть все, наполовину высиженные, страусовы яйца! Выезжай в пустыню пантеизма, мужественный драконоубийца, борись с Лео rugiens **** Руге, рыщущим и ищущим, кого поглотить, истреби проклятое страусово отродье и воздвигни знамя креста на Синае спекулятивной теологии! Позволь умолить тебя, смотри, верующие уже пять лет ожидают того, кто раздавит главу страусова змия; они выбивались из сил, бросали в него каменьями, грязью, даже навозом, но все выше вздымается его налитый ядом гребень; раз ты так легко все опровергаешь, что все прекрасные сооружения разваливаются сами собой, то соберись с силами и опровергни «Жизнь Иисуса» [162] и первый том «Догматики» [159]; ведь опасность становится все более грозной, «Жизнь Иисуса» уже выдержала больше изданий, чем все писания Хенгстенберга и Толука вместе взятые, и уже становится правилом изгонять из литературы всякого, кто не штраусианец. А «Hallische Jahrbücher» — самый распространенный журнал Северной Германии, настолько распространенный, что его

---

* — в будущем. *Ред.*

** — имели любезность написать мне, разумеется, письмо. Весьма рад, что помог тебе, услужив тридцатью талерами, и надеюсь, что ты воспользовался этим приношением, чтобы выпить за мое здоровье. Радуйся, страж христианства, великий бичеватель Штрауса, звезда ортодоксии, утолитель печали пиетистов, князь экзегетики! ; ! ; ! ; Вначале бог создал небо и землю, и дух божий. *Ред.*

*** Игра слов: Strauß — фамилия (намек на Д. Штрауса, автора «Жизни Иисуса»), и Strauß — «страус». *Ред.*

**** — порицающим. *Ред.*

прусское величество *, при всем своем желании, не может запретить его. Запрещение «Hallische Jahrbücher», говорящих ему каждодневно величайшие дерзости, превратило бы сразу миллион пруссаков, все еще не знающих, как судить о нем, в его врагов. И медлить вам больше нельзя, ибо иначе мы, несмотря на благочестивое настроение короля прусского, осудим вас на вечное молчание. Вообще, вам не мешает набраться немножко больше мужества, чтобы потасовка пошла как следует. Но вы пишете так спокойно и чинно, точно акции ортодоксального христианства котируются на сто процентов выше паритета, точно поток философии течет так же спокойно и чинно между своих церковных плотин, как во времена схоластики, точно между луной догматики и солнцем истины не втиснулась бесстыдная земля, вызвав страшное лунное затмение. Разве вы не замечаете, что по лесам проносится вихрь, опрокидывая все засохшие деревья, что вместо старого, сданного ad acta ** дьявола восстал дьявол критически-спекулятивный, насчитывающий уже массу приверженцев? Мы что ни день запосчиво и насмешливо вызываем вас на бой; неужели же мы так и не проймем вашей толстой кожи — правда, за 1800 лет она стала старой и немного похожей на дубленую шкуру — и не заставим вас сесть на боевого коня? Но все ваши Неандеры, Толуки, Ницши, Блеки, Эрдманы и как их еще там зовут — все это мягкий, чувствительный народ, шпага имела бы на них самый смешной вид; они все так осторожны и флегматичны, так боятся скандала, что с ними ничего не поделаешь. У Хенгстенберга и Лео имеется хоть мужество, но Хенгстенберга так часто выбрасывали из седла, что он совершенно небоеспособен, а у Лео, при последней его драке с гегелингами [48], выдрали всю бороду, так что ему теперь неприлично показываться на людях. Впрочем, Штраус вовсе не посрамлен, ибо если несколько лет назад он еще думал, что «Жизнью Иисуса» он не наносит никакого ущерба церковному учению, то он, конечно, мог, ничем не поступаясь, читать «Систему ортодоксальной теологии», подобно тому как иной ортодокс читает «Систему гегелевской философии»; но если он, как показывает «Жизнь Иисуса», действительно думал, что догматика не потерпит урона от его взглядов, то всякий знал уже заранее, что он расстанется с подобными идеями очень скоро — как только он серьезно займется догматикой. В своей «Догматике» он ведь прямо и говорит, что̀ думает о церковном учении. Во всяком случае, хорошо, что он поселился в Берлине;

* — Фридрих-Вильгельм IV. *Ред.*

** — в архив. *Ред.*

там он на своем месте и может словом и пером сделать больше, чем в Штутгарте.

Утверждение, что как поэт я обанкротился, оспаривается многими, и, кроме того, Фрейлиграт не поместил моих стихов не из поэтических соображений, а из-за их направления и из-за недостатка места. Во-первых, он вовсе не либерален, а, во-вторых, они прибыли слишком поздно; в-третьих, было так мало свободного места, что из стихотворений, предназначавшихся для последних листов, пришлось выбросить ценные вещи. Впрочем, «Рейнская песня» Н. Беккера — довольно ординарная вещь и уже настолько непопулярна, что ее больше не решаются хвалить ни в одном журнале. Совершенно иного рода песня «Рейн» Р. Э. Пруца [289]. И другие стихотворения Беккера также гораздо лучше. Речь, произнесенная им во время факельного шествия, — самая путаная вещь, которую я когда-либо слышал. За знаки почести со стороны королей — благодарю покорно. К чему все это? Орден, золотая табакерка, почетный кубок от короля — это в наше время скорее позор, чем почесть. Мы все благодарим покорно за такого рода вещи и, слава богу, застрахованы от них: с тех пор как я поместил в «Telegraph» свою статью об Э. М. Арндте *, даже сумасшедшему баварскому королю ** не придет в голову нацепить мне подобный дурацкий бубенчик или же приложить печать раболепия на спину. Теперь чем человек подлее, подобострастнее, раболепнее, тем больше он получает орденов.

Я теперь яростно фехтую и смогу в скором времени зарубить всех вас. За последний месяц у меня здесь были две дуэли: первый противник взял назад оскорбительные слова («глупый мальчишка»), которые он проворчал мне после того, как я дал ему пощечину, и пощечина остается еще не отомщенной; со вторым я дрался вчера и сделал ему знатную насечку на лбу, ровнехонько сверху вниз, великолепную приму.

Farewell! ***

Твой ***Ф. Энгельс***

Впервые опубликовано в журнале «Die neue Rundschau», 10. Heft, Berlin, 1913

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

---

* См. настоящий том, стр. 117—131. ***Ред.***

** — Людвигу I. *Ред.*

*** — Прощай! *Ред.*

42

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ

Бремен, 8—11 марта 1841 г.

8-го марта 1841 г.

Дорогая Мария!

«Столь же глубоко уважающий, сколь и преданный» — таковы были последние слова делового письма, которым я сегодня закончил свою работу в конторе, чтобы — чтобы — чтобы, ну, как бы это поизящнее выразиться? Что делать, стихи не получаются, и, чтобы тебе писать, лучше всего говорить просто. Так как я еще занят перевариванием обеда, то не имею времени много думать, а буду писать тебе то, что мне в данную минуту приходит в голову. Но моя первая мысль — это сигара, которая сейчас загорится, так как его величество отлучилось. Его величество — это старик *, который получил этот титул, так как мы решили упражняться в придворном стиле. Ведь совершенно определенно и несомненно, что все в конторе Лёйпольдов в скором времени станут министрами и тайными камергерами. Ты будешь удивлена, когда увидишь меня с золотым ключом на черном фраке — я, конечно, останусь таким же негнущимся, каким был всю свою жизнь, и усов я не сбрею ради какого бы то ни было короля. Они у меня сейчас стали очень пышные и все растут, и если я, в чем я не сомневаюсь, весной буду иметь удовольствие напоить тебя в Мангейме, то ты сможешь любоваться их красотой.

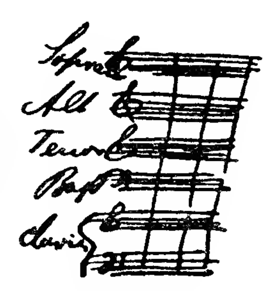


Рихард Рот неделю тому назад уехал отсюда и предпринял большое путешествие по Южной Германии и Швейцарии. Я благодарю бога, что также наконец покидаю этот скучный город, где больше делать нечего, как только заниматься фехтованием, есть, пить, спать и работать как проклятый — voilà tout **. Не знаю, слышала ли ты уже о том, что в конце апреля я с отцом, вероятно, поеду в Италию и в этом случае я окажу тебе честь своим посещением. Если ты будешь вести себя прилично,

* — Генрих Лёйпольд. *Ред.*

** — вот и все. *Ред.*

то я, может быть, привезу тебе кое-что; но если ты будешь очень зазнаваться и задирать нос, то я тебя изрядно отхлестаю. И ты не избегнешь справедливой кары, если опять напишешь такую же бессмыслицу, как в твоем предпоследнем письме об уроках рапирного боя, в котором пыталась надо мной издеваться. Что Stabat mater * написана Перголезе, я узнал с удовольствием. Во всяком случае, ты должна сделать для меня копию клавираусцуга со всеми вокальными партиями и именно так, чтобы голоса и сопровождение стояли друг над другом столбиком, как в оперном клавираусцуге. Насколько я помню, теноровых и басовых партий, кажется, в Stabat mater Перголезе нет, зато там много сопрано и альтов. Это ничего.



Если я действительно этой весной поеду в Милан, то встречусь там с Ротом и эльдберфельдцем Вильгельмом Бланком. Мы там славно заживем за турецким табаком и Lacrime di Christo **. Мы там постараемся так прославиться, чтобы итальянцы еще полгода спустя вспоминали о трех веселых немцах.

Твое описание вашего невинного карнавала мне очень понравилось. Мне хотелось бы видеть, как ты там выглядела. Здесь не было ничего веселого, кроме нескольких скучных балов-маскарадов, на которых я не присутствовал. В Берлине карнавал тоже позорно провалился. Это лучше всего все-таки умеют делать кёльнцы.
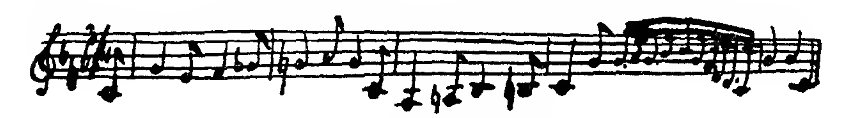
Однако одного у тебя не будет по сравнению со мной. Сегодня, в среду, 10 марта, ты не сможешь слушать Симфонию c-moll Бетховена, а я смогу. Эта симфония, да еще Героическая — мои любимые произведения. Поупражняйся хорошенько в исполнении бетховенских сонат и симфоний, чтобы не опозорить меня впоследствии. А я буду ее слушать не в переложении для рояля, а в исполнении полного оркестра.

11 марта. Вот это симфония была вчера вечером! Если ты не знаешь этой великолепной вещи, то ты в своей жизни вообще еще ничего не слышала. Эта полная отчаяния скорбь в первой части, эта элегическая грусть, эта нежная жалоба любви в адажио и эта мощная юная радость свободы, выраженная звучанием тромбонов, в третьей и четвертой частях! Кроме того, вчера выступал еще какой-то жалкий француз, он пел нечто в этом роде:

---

* См. настоящий том, стр. 474. *Ред.*

** — Слезами Христовыми (название вина). *Ред.*



и так далее, никакой мелодии и никакой гармонии, скверный французский текст, и вся эта штука была названа: «L'Exilé de France» *. Если все изгнанники из Франции будут устраивать такие кошачьи концерты, их никто не захочет видеть. Этот невежа пел еще песню: «Le toréador», что значит участник боя быков, при чем ежеминутно повторялся припев: «Ah que j'aime l'Espagne!» **. Эта песня была, наверное, еще ужаснее, она корчилась то квинтовыми скачками, то хроматическими ходами, как будто эта музыка должна была передавать резь в животе. Если бы не предстояло исполнение чудесной симфонии, я бы сбежал и предоставил бы этому ворону каркать, так как у него уж очень жалкий жиденький баритон. Между прочим, в будущем запечатывай свои письма получше. Такая форма  очень непрактична и безвкусна. Письмо должно быть таким  или таким , на что я прошу обратить внимание.

Semper Tuus ***

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

43

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ

Бармен [290], 5 апреля 1841 г.

Почему ты не написала мне в Бремен? Вообще ты вовсе не заслужила, чтобы я тебе сейчас еще писал, но я хочу на этот раз сделать исключение и обрадовать тебя несколькими строками

* — «Изгнанник из Франции». *Ред.*
** — «Ах, как я люблю Испанию!» *Ред.*
*** — Всегда твой. *Ред.*

в твоем мангеймском одиночестве. Меня здесь поселили в комнате рядом с моей старой, в теперешней музыкальной комнате; там я совершенно зарываюсь в итальянские книги и лишь иногда отрываюсь, чтобы обменяться парой ударов с Германом * или Адольфом **. Я только что фехтовал с Августом ***, Германом и Бернхардом, и поэтому у меня слегка дрожит рука, вследствие чего у меня и сегодня очень плохой, школьнический почерк. Вчера, когда мы были в Фовинкеле, я встретил почти всех, с которыми раньше учился в гимназии.

Стоит прекрасная погода, а мне еще сегодня предстоит ужасно скучный визит к Вемхёнерам. Эмилю **** я передам от тебя привет. А Луиза Снетлаге уже подцепила себе Германа Зибеля и, повидимому, очень довольна этим. В общем же все в Бармене осталось по-старому, и я убедительно прошу тебя подумать о скорейшем выполнении долга по отношению ко мне.

Твой

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

44

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ

[Бармен, примерно начало мая 1841 г.]

Дорогая Мария!

Вчера вечером я начал писать тебе письмо, но не пошел дальше трех строк, да и их отрезала Анна *****, чтобы использовать эту бумагу. Твои оба письма я получил, также бременское, которое совершило приличное путешествие. В остальном здесь довольно скучно, если не считать, что время от времени выручает какой-нибудь ужин, к которому подается немного пунша, или студенческая пирушка с пивом, попойка в кабачке или дождь. Самое лучшее во всем этом деле то, что я целый день курю, —

* — Германом Энгельсом. *Ред.*

** — Адольфом фон Грисхеймом. *Ред.*

*** — Августом Энгельсом. *Ред.*

**** — Эмилю Вемхёнеру. *Ред.*

***** — Анна Энгельс. *Ред.*

и это безусловно высокое, неоценимое наслаждение. Из Бремена я получил вместе со своим сундуком также несколько очень изящных вещиц: коробочку для сигар, пепельницу, кисточку для трубки и т. д. Отец уехал в Энгельскирхен, я сижу в его халате с длинной трубкой на его высоком табурете и дымлю вовсю. Через восемь—десять дней мы, вероятно, выедем в Милан [149], и по этому случаю нам остается пожелать лишь хорошей погоды. Сегодня опять страшный дождь. Я очень интересуюсь, как ты там в Мангейме росла и все ли ты еще тот же самый худой, глупый цыпленок, как раньше, или прибавились новые сумасбродства? На Анну иногда тоже находит какой-то дикий стих, и тогда она разражается разными глупостями. Через каждое слово она повторяет: «О дрянь!». Герман * проявляет блестящие склонности к ипохондрии: он способен целыми днями сидеть с самым равнодушным видом, с надутыми губами и не произносить ни слова. А если на него вдруг находит приступ ярости, то его уже совершенно невозможно остановить. С Эмилем ** по-прежнему случаются всякие недоразумения. Хедвига *** проявляет слишком мало характера, если не считать некоторого упрямства. Рудольф **** — такой же тип, каким был Герман: полдня он проводит в мечтах, а в остальное время делает всякие глупости. Самое большое его удовольствие — это когда я даю ему рапиру и выбиваю ее у него из руки. Из маленькой Элизы ***** выйдет толк, но пока она еще ничего собою не представляет. У нее имеются задатки учтивости, и, в конце концов, она перещеголяет вас всех. А я? Я, вероятно, выглядел бы интересным молодым человеком, если бы, вместо моих теперешних новых усов, сохранил бы свои старые бременские и длинную шевелюру.

Пока с тебя хватит на сегодня. Я напишу тебе из Милана, если у нас там будет дождь.

Твой

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

---

* — Герман Энгельс. *Ред.*

** — Эмилем Энгельсом. *Ред.*

*** — Хедвига Энгельс. *Ред.*

**** — Рудольф Энгельс. *Ред.*

***** — Элизы Энгельс. *Ред.*

45

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ *

[Бармен, примерно конец августа 1841 г.]

Дорогая Мария!

Если я уж непременно должен писать тебе, то предупреждаю заранее, что письмо будет небольшое, так как здесь нет никаких происшествий. Свадьбы, визиты, ну что ж, я туда хожу, ем и пью там, но потом разносить об этом всякие сплетни — это совершенно не в моем стиле. Да ты и не привыкла слышать от меня подобные вещи. Я почти целый день сижу наверху, у себя в комнате, читаю и дымлю, как паровозная труба, занимаюсь фехтованием так, что клинки трещат, и забавляюсь как умею. Эта позорно плохая погода доводит меня чуть ли не до отчаяния: невозможно пойти в Эльберфельд, чтобы не рисковать три раза промокнуть насквозь. К несчастью, от нас до Эльберфельда имеется только одно место, где можно укрыться, если непогода уж очень разойдется, — это пивная. К тому же там стакан пива стоит 2 зильбергроша. В остальном ничего не двигается вперед, наоборот, все идет назад. О моем отъезде в Берлин пока еще разговора нет, да это и не спешно, я не беспокоюсь ни о чем — пускай заботятся другие. Если ты хочешь еще писем, то сообщи о себе и напиши мне что-нибудь приятное.

Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

46

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ

Бармен, 9 сентября 1841 г.

Дорогая Мария!

Мама утверждает, что в последний раз я послал тебе не письмо, а какую-то пачкотню, недостойную ответа. Поскольку ты не ответила на вышеупомянутую пачкотню, то мне, к глубочайшему сожалению, почти приходится сделать вывод, что ты

* На обороте письма надпись: Мисс Мэри Энгельс, Мангейм. *Ред.*

разделяешь это мнение. Впрочем, я должен тебе сказать, что такое отношение меня чрезвычайно огорчает, если не оскорбляет; и только сегодня вечером, потому что я в хорошем настроении и не хочу с тобой ссориться, я пишу тебе письмо, ибо ты его ни в коем случае не заслужила. Кроме того, я хочу доставить удовольствие маме, и теперь ты знаешь, кому ты обязана этими строками. Я нахожусь здесь уже около шести недель и выкурил много табака, а также усердно занимался, хотя в высших сферах склонны утверждать, будто бы я ничего не делал. Через неделю или две я все-таки поеду в Берлин, чтобы выполнить там свой долг гражданина, то есть, по возможности, освободиться от солдатчины, а затем вернусь в Бармен. Как пойдет это дело, увидим.

В субботу и воскресенье мы собирались устроить прогулку в Альтенберг, но из этого ничего не получится, так как Бланк и Рот не могут ехать; мне надо будет сообразить, не можем ли мы устроить что-нибудь другое. Сейчас мне пришло в голову, что ведь я мог бы опять как-нибудь собраться в Бейенбург, поскольку я там очень давно не был.

Вчера мама была приглашена на кофе в семью Августа * и заметила там, что фрейлейн Юлия Энгельс была очень молчалива, а фрейлейн Матильда Вемхёнер — очень разговорчива. Определенные выводы из этого предоставляю тебе сделать самой.

В общем, я нахожу, что Анна ** очень весела, Эмиль *** делает успехи в остроумии, Хедвига **** стала очень дерзкой, а Рудольф ***** вступил на тот же путь, по которому пошел Герман ******, когда этот болван был в его возрасте; между прочим, Элиза ******* стала большой франтихой.

Твое английское письмо к отцу, которое я сегодня прочел, в целом очень хорошо составлено, за исключением нескольких грубых ошибок.

Du reste ******** .

Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

---

* — Августа Энгельса, дяди Фридриха Энгельса. *Ред.*
** — Анна Энгельс. *Ред.*
*** — Эмиль Энгельс. *Ред.*
**** — Хедвига Энгельс. *Ред.*
***** — Рудольф Энгельс. *Ред.*
****** — Герман Энгельс. *Ред.*
******* — Элиза Энгельс. *Ред.*
******** — А пока остаюсь. *Ред.*

1842 год

47
МАРИИ ЭНГЕЛЬС
В МАНГЕЙМ

Берлин[291], 5—6 января 1842 г.

5 января 1842 г.

Моя дорогая Мария!

С величайшим стыдом признаюсь, что твое письмо напомнило мне о давно забытой мною обязанности писать тебе. Это действительно позорно для меня, и такое преступление совершенно не заслуживает прощения. Поэтому я хочу немедленно заняться этим и ответить на твое милое письмо, которое я получил третьего дня. Вчера у меня была «пушечная лихорадка». Суть в том, что с утра я чувствовал себя очень неважно: у меня была какая-то слабость, затем меня вызвали на учения и возле пушки мне чуть не стало дурно, после чего я удалился, а после обеда у меня началась позорная лихорадка. Сегодня утром мое самочувствие улучшилось, но занятия все еще не шли как следует. Сейчас уже все опять более или менее наладилось, но я взял два дня отпуска по болезни, ввиду катаральной пушечной лихорадки. Надеюсь, что после этого я опять смогу как следует действовать банником. Кстати, не пиши, пожалуйста, об этом ничего домой, ведь никакой пользы не будет. Знаешь, что доктор прописал мне против пушечной лихорадки? Стакан пунша перед сном, разве это не чудесное лекарство? Из этого ты можешь убедиться, что ротный хирург стоит гораздо большего, чем, например, какой-нибудь д-р Рейнхольд со всеми своими пластырями и шпанскими мушками, кровопусканием и пр., хотя хирургу не нужно знать так много. У нас применяются только сильные средства, сплошь медицинская тяжелая артиллерия, бомбы и гранаты и 24-фунтовые пушки. Наши рецепты очень просты, и я в Бремене все время лечился с их помощью. Сначала пиво; если это не помогает — пунш; если это тоже

не помогает, то глоток рома: он уже должен помочь. Это артиллерийское врачевание. Кстати, я думаю, ты надорвала бы себе живот от смеха, если бы увидела, как я стою в мундире, с длинным толстым банником в руке возле шестифунтовой пушки и верчусь около колеса. Впрочем, моя форма очень красива: синяя, с черным воротником, на котором нашиты две широкие желтые полосы, обшлага черные с желтыми полосами, а фалды подбиты красным. Кроме того, красные эполеты с белыми кантами. Уверяю тебя, что это производит очень эффектное впечатление, меня можно было бы показывать на выставке. Недавно я своим костюмом позорно сбил с толку поэта Рюккерта, который сейчас здесь находится. Дело в том, что во время его выступления я сел очень близко от него, и бедняга, не отрывая глаз, упорно смотрел на мои блестящие пуговицы и совершенно потерял нить. Кроме того, я как солдат пользуюсь тем преимуществом, что никогда не должен стучаться, если я к кому-либо прихожу, и не должен говорить «добрый день» или делать разные комплименты. Однажды кто-то пришел к капитану и нечаянно стукнул в дверь ножнами шашки. За это он получил восемь дней ареста, потому что капитан утверждал, что он постучался. Ты видишь, какой я стал теперь отчаянный, кроме того, я скоро буду бомбардиром, это вид унтер-офицера, и получу золотой галун на обшлагах. Итак, проникнись должным уважением ко мне. Ведь когда я буду бомбардиром, то получу право распоряжаться всеми рядовыми во всей прусской армии и все рядовые должны будут отдавать мне честь.

Что ты так много болтаешь в своем письме о старом Фрице Вильме * и молодом Фрицхене Вильмхене **? Вам, женщинам, не нужно вмешиваться в политику, вы в ней ничего не понимаете. Но так как тебе уж очень хочется что-нибудь узнать о твоем дорогом величестве, то я могу тебе сообщить, что его высочайшая особа 16 сего месяца отбывает в Лондон, чтобы быть восприемником при крещении его королевского высочества, маленького английского принца ***. На обратном пути он, возможно, заедет в Париж, но обязательно будет в Кёльне, а весной будет праздновать в Петербурге серебряную свадьбу своего высочайшего зятя, императора Российского ****. Потом летом будет забавляться в Потсдаме, осень проводить на Рейне, а затем зимой развлекаться в Шарлоттенбурге. А сейчас мне пора на лекцию.

---

* — Фридрихе-Вильгельме III. *Ред.*
** — Фридрихе-Вильгельме IV. *Ред.*
*** — Эдуарда. *Ред.*
**** — Николая I. *Ред.*

6 января 1842 г.

Сегодня утром я переселился из передней комнаты в заднюю, так как передняя сдана одному моему земляку, юристу из окрестностей Кёльна, а, кроме того, она плохо отапливается. Любопытно, что стоит только немного протопить заднюю комнату, несмотря на то что она больше передней, и она уже нагревается, а в передней всегда мороз. В передней комнате я никак не мог добиться, чтобы ледяные узоры на окнах растаяли, а здесь, в задней комнате, приятно смотреть как лед, наросший уже восемь дней тому назад, толщиной с палец, тает, как весной, и ясное голубое небо весело глядит в окно, — а ведь я так долго не мог видеть его из своей комнаты. Отсюда опять открывается вид на казарму второго гвардейского полка «грибников» (так мы называем пехотинцев) и на весь плац ветеринарной школы с пристройками.

У нас здесь есть один рейнский ресторан, где готовятся все наши любимые кушанья, которых вообще здесь никто не знает. Каждую субботу вечером мы едим здесь картофельные оладьи и с ними выпиваем чашку кофе. Вчера я ел яблоки и картофель. Наш старый суп с уткой, который ты, конечно, еще помнишь, играет здесь тоже важную роль. Есть еще много других блюд, которые я сейчас не припомню. Сегодня на обед у нас будет квашеная капуста со свининой, чему я уже заранее радуюсь. На днях нас хотели еще угостить гречневым супом, но он не получился, потому что тут нельзя достать гречневой муки, нельзя испечь тут и картофельный пирог, о котором мы уже давно мечтаем.

Как хорошо! Вот и солнышко засветило ярче, что на меня действует очень живительно. Ведь теперь я смогу после обеда пойти погулять, и, так как Шеллинг сегодня вечером не читает, у меня весь вечер свободен, и я буду иметь возможность весьма усиленно и спокойно работать.

Театр здесь очень красивый, замечательные декорации, превосходные актеры, но большей частью плохие певцы. Поэтому я редко бываю в опере. Завтра состоится премьера новой пьесы — «Колумб» Вердера [292]. Это тот же самый Колумб, который открыл Америку, а Вердер — профессор здешнего университета, тот самый, который открыл глубину отрицания. Истинно, истинно, говорю я тебе, завтра в театре будет полно, и я тоже буду содействовать этому своим присутствием. Два действия происходят в море, на корабле, это должно быть очень любопытно.



Здесь ты видишь меня в форме; я ношу свою шинель в очень романтическом и живописном стиле, но в чудовищное нарушение устава. Если бы я в таком виде прошелся по улице, то я каждую минуту подвергался бы опасности быть посаженным под арест, что не очень-то приятно. Ибо если у меня на улице останется не застегнутой хотя бы только одна пуговица на форме или будет расстегнут хотя бы один крючок на воротнике, то каждый офицер или унтер-офицер имеет право арестовать меня. Как видишь, опасно быть солдатом, даже в мирное время. Самое замечательное то, что мы раз в 4 недели должны ходить в церковь, но я всегда от этого увиливал, кроме одного раза. Ведь когда идешь в церковь, надо сначала еще в течение целого часа стоять во дворе в тяжелом кивере с перьями, а потом, насквозь продрогнув, люди попадают в промерзшую церковь, где очень плохой резонанс, так что опять-таки невозможно расслышать ни одного слова из проповеди. Разве это не великолепно? Пиши скорее еще.

Твой брат

Фридрих

Облатка держится не наилучшим образом.

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

48

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В МАНГЕЙМ *

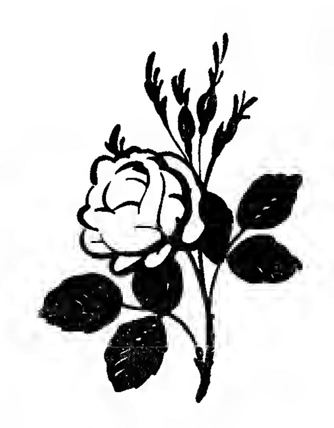
Берлин, [14]—16 апреля 1842 г.
Dorotheenstraße, 56

Дорогая Мария!

Этот нежный лепесток в течение полугода хранился в моей папке **. Теперь я извлекаю его, чтобы преподнести тебе, и надеюсь, что он вознаградит тебя за то, что я заставил тебя так долго ждать, в чем глубоко раскаиваюсь. Г-н Хёстерей

* На обороте письма надпись: Фрейлейн Марии Энгельс в Институте великого герцогства. Мангейм. *Ред.*

** По-видимому, изображенная в письме роза является виньеткой на почтовом листе бумаги. *Ред.*



благополучно доставили мне твое письмецо, после того как его благородие сокрыли его в кармане своих брюк от глаз австрийских таможенных чиновников, за что его благородие просили у меня прощения и, между прочим, на очень хорошем немецком языке. Моя совесть уже не позволяет заставлять тебя ждать еще дольше, и вот я пишу. О чем? Да я и сам еще этого не знаю. О том, что я сегодня утром с восьми до половины двенадцатого упражнялся в церемониальном марше? Что я при этом разглядывал весьма крупный нос г-на подполковника? Что у нас в воскресенье будет церковное шествие? Что мои хорошие сигары кончились, а пиво у Вальмюллера за последние дни очень скверное? Что мне сейчас нужно идти на улицу из-за нескольких банок инбиря, которые я заказал для семьи Снетлаге? Да, дело обстоит так. Итак, до завтра.

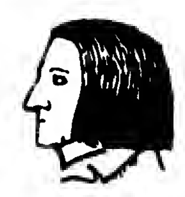
Сегодня, в пятницу, 15 апреля, я уезжаю. Погода у нас стала немного лучше. Перед моим домом стоит множество дрожек: здесь находится их стоянка. Извозчики, как правило, пьяны и очень меня забавляют. Итак, если мне вдруг захочется прокатиться, то мне это будет очень удобно сделать. Я вообще устроился очень недурно: на втором этаже у меня изящно обставленная комната, в наружной стене три окна, простенки между ними узкие, так что в комнате очень светло и приятно.

Вчера, после того как я написал предыдущие строки, мне помешали. Сегодня я могу сообщить тебе радостную новость: у нас завтра, вероятно, парада не будет, так как его величество король * высочайше соизволил направиться в Потсдам и Бранденбург. Это мне очень приятно, так как я не имею никакого желания бегать завтра по этой проклятой дворцовой площади. Надеюсь, что благодаря этому мы вообще обойдемся без всякого парада. Кроме того, у нас проводятся очень милые учения на так называемом Грюцмахере, очень большой площади, на которой мы по колена погружаемся в песок, а последний обладает очень приятным свойством — он наэлектризован. И теперь, если двенадцатая рота гвардейской тяжелой артиллерии, при которой я состою и которая также наэлектризована, но отрицательно, явится сюда, то столкнется положительное и отрицательное электричество и в воздухе поднимется суматоха,

* — Фридрих-Вильгельм IV. *Ред.*

которая притянет к себе тучи. По крайней мере, иначе я никак не могу объяснить себе тот факт, что, когда наша рота направляется на Грюцмахер, всегда идет дождь или снег. Между прочим, я уже четыре недели как хожу в бомбардирах, если ты этого еще не знаешь, ношу теперь мундир с галунами и позументами и синий воротник с красным кантом. Впрочем, ты в этом ничего не понимаешь, но этого и не нужно, хватит с тебя одного — знать, что я бомбардир.

Ты, должно быть, еще не слышала, что г-н Лист был здесь и своей игрой на рояле очаровал всех дам. Берлинские дамы были настолько без ума от него, что на концерте форменным образом передрались из-за перчатки Листа, которую он уронил, а две сестры, из которых одна забрала перчатку у другой, навеки перессорились. Недопитую великим Листом чашку чая графиня Шлиппенбах перелила в свой флакон для одеколона, предварительно выплеснув одеколон на пол. Затем она запечатала этот флакон и поставила его на свой секретер на вечную память и каждое утро любуется им, как можно видеть на карикатуре, которая появилась после этого случая. Такого шума здесь еще никогда не было. Молодые дамы подрались из-за него, а он, к их ужасу, прошел мимо них и предпочел выпить шампанское в обществе нескольких студентов. Тем не менее, в каждом доме можно увидеть несколько портретов великого, милого, небесного, гениального, божественного Листа. Хочу для тебя тоже сделать его изображение. Вот этот человек с прической камчадала. Кстати, он, наверное, заработал здесь 10 000 талеров, а его счет в гостинице составил 3000 талеров, не считая того, что он прокутил. Да, скажу я тебе, вот это мужчина. Он ежедневно выпивает по двадцать чашек кофе, на каждую чашку по четыре лота, по десять бутылок шампанского; из этого с достаточной уверенностью можно сделать вывод, что он все время живет немного навеселе, как это подтверждается и фактами. Теперь он отправился в Россию; интересно, способны ли там дамы проявлять такое же безумие.


Ф. Лист

А засим я должен сейчас уйти и поэтому кончаю. Прощай и отвечай поскорей.

Твой брат

Фридрих

Берлин, 16 апреля 42 г.

Впервые опубликовано в журнале «Deutsche Revue». Stuttgart und Leipzig, Bd. 4, 1920

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

49

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

(ОТРЫВОК)

[Берлин, лето 1842 г.]

Вот интересная история, рассказанная женихом Иды *, сыном богов Альбертом Молинеусом, в присутствии одного француза: Enfin, à la porte du ciel était Saint-**Pétrus** (вместо Saint Pierre) et le peintre Köttgen d'Elberfeld était abordé par le musicien Weinbrenner: Eh bien, Köttgen, vous ne dites rien, racontez-nous donc quelque chose. Enfin, Köttgen dit: Enfin, j'ai eu cette nuit un fameux rêve. Enfin, dit Weinbrenner, qu'est-ce qu'il y avait donc? Enfin, dit Köttgen, je rêvais d'être à la porte du ciel. Alors il y avait tous les artistes célèbres, Meyerbeer, Horace Vernet etc. Enfin, Meyerbeer frappait à la porte; **Pétrus** dit: Qui est là? «Meyerbeer». Les artistes n'entrent pas ici, dit **Pétrus**. Enfin vint Horace Vernet. Qui est là, dit **Pétrus**. «Horace Vernet». Les artistes n'entrent pas ici, dit Pétrus. Enfin Weinbrenner arrivait. Qu'est-ce qu'il y a là?, dit **Pétrus**. Enfin, je suis Weinbrenner. Enfin, Pétrus dit: Entrez, s'il vous plaît **.

Самую соль этого анекдота — ainsi, Weinbrenner n'est pas d'artiste *** — этот умный молодой человек, который так хорошо говорит по-французски, разумеется, пропустил. Теперь ты можешь убедиться, что за человек бьется эа честь стать в будущем твоим свояком.

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

---

* — Иды Энгельс. *Ред.*

** — Итак, у врат небесных стоял святой **Петр**, а музыкант Вейнбреннер приставал к живописцу Кётгену из Эльберфельда: «Что же, Кётген, вы ничего не говорите, расскажите же нам что-нибудь». Тогда Кётген говорит: «Так вот, я сегодня ночью видел замечательный сон». — «Вот как, — говорит Вейнбреннер, — что же это за сон?» Кётген говорит: «Мне снилось, что я стою у врат неба, и там собрались все знаменитые артисты: Мейербер, Орас Верне и др. Наконец, Мейербер постучался в дверь; *Петр* спрашивает: «Кто там?» — «Мейербер». — «Артистам вход сюда воспрещается», — говорит *Петр*. Потом подошел Орас Верне. «Кто там?» — спрашивает *Петр*. — «Орас Верне». «Артистам вход сюда воспрещается!» — говорит Петр. Наконец, пришел Вейнбреннер. «Кто там?» — спрашивает *Петр*. «Это я, Вейнбреннер». Тогда Петр говорит: «Входите, пожалуйста»». *Ред.*

*** — следовательно, Вейнбреннер — не артист. *Ред.*

50

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В БОНН *

Берлин, 2 июля 1842 г.

Дорогая Мария!

Поздравляю тебя с освобождением из благородного мангеймского Института и от цензуры, которую проходили твои письма у фрейлейн Юнг. Я не хотел только писать тебе этого, чтобы не усиливать еще больше твоего недовольства, но теперь я могу сказать тебе, что все эти пансионы — бессмыслица. Девушки, если они не обладают таким счастливым характером, как ты, страшно там уродуются, и из них выходят тщеславные blue-stockings ** и кокетки. Но уж такая установилась в Бармене мода, и тут, разумеется, никто ничего не может поделать. Радуйся, что ты вырвалась из монастыря и опять можешь сидеть у окна и ходить по улице, а иногда можешь нести любую чушь и никто не будет превращать это в преступление. Однако я должен предупредить тебя, чтобы ты не делала никаких глупостей и не увлекалась барменскими штучками, я имею в виду штучки с помолвками. Благородные молодые люди опять помешались на свадьбах, они так ослеплены, что стараются перещеголять друг друга. Это похоже на то, как если бы они играли в жмурки, и, когда один поймает другого, они женятся и живут великолепно и радостно. Посмотри на своих обеих двоюродных сестер. Вот Луиза Снетлаге, она нашла себе мужа ***, в общем довольно хорошего, но у него седые волосы, а красавица Ида **** тоже подцепила себе кавалера, но он, по-моему, в таком же роде. Хотя он теперь и мой свойственник, и поэтому я, собственно говоря, не должен плохо о нем отзываться, но меня злит, почему они меня не спросили, желаю ли я иметь этого Saint-Pétrus *****, этого lion ******, этого денди, этого Альберта Молинеуса своим свойственником, и за это ему придется поплатиться. Уверяю тебя, если ты ищешь такого жениха, то я могу доставлять тебе таких в день по дюжине. С моей стороны великодушно, что я вообще допустил все это дело. Я, по крайней мере, обязан был протестовать.

---

* На обороте письма надпись: Фрейлейн Марии Энгельс из мангеймского Института великого герцогства. Бонн. *Ред.*

** — синие чулки. *Ред.*

*** — Германа Зибеля. *Ред.*

**** — Ида Энгельс. *Ред.*

***** — святого Петра (см. настоящий том, стр. 493). *Ред.*

****** — льва. *Ред.*

Даже Шорнштейн и тот обручился, это ужасно! И Штрюккер непременно хочет стать супругом, разве это не странно? Я начинаю разочаровываться в человечестве, я превращусь в мизантропа, если ты, Мария, ты тоже...... но нет, ты не можешь причинить своему брату такого страдания.

Опять идет дождь, и это очень скучно. Я на этой неделе, находясь на службе отечеству, промок не меньше четырех раз: два раза от дождя и два раза, мягко выражаясь, от транспирации *. Теперь я хочу пойти в читальню и почитать газеты. Надеюсь, что там я не промокну в пятый раз?

Твой брат

Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

51

МАРИИ ЭНГЕЛЬС

В ОСТЕНДЕ

Берлин, 2—8 августа 1842 г.

2 августа 1842 г.

Дорогая Мария!

Я очень обрадовался твоему длинному письму, и, принимая во внимание, что так много страниц исписано вдоль и поперек, я лишь бегло прочитал твою строгую проповедь, так что даже уже не помню, в чем ты собственно меня упрекаешь. Что фрейлейн Юнг, безусловно, сделала очень кислую мину, когда прочитала, как Герман ** называл этот милый институт его настоящим

* — от потения. *Ред.*
** — Герман Энгельс. *Ред.*

именем: «монастырь» — это я могу себе представить, как и то, что она назвала его легкомысленным человеком. К счастью, не все на свете такого низкого мнения о легкомыслии, как твоя бывшая начальница в деле регистрации греховных проступков. И это хорошо. В противном случае, что стало бы с нами обоими, не правда ли? Я тоже позволяю своему капитану * ворчать на меня и устраивать мне головомойку, но при этом думаю: «Ну и что?» и надуваю его. А когда он слишком меня донимает, как в прошлую среду, — тогда все были освобождены, а мне одному, только потому, что мой молодчик не предупредил меня об этом, в 12 часов дня пришлось тащиться на полигон, чтобы убедиться, что эту невыполнимую ерунду никто не выполняет, — в таких случаях я рапортую о своей болезни, причем на этот раз, например, я сказал, что у меня болят зубы, благодаря чему избавился от ночного марша и двухчасовой муштры. Сегодня мне, к сожалению, уже опять придется рапортовать, что я выздоровел. Пользуясь такими случаями, я хожу гулять, когда мне хочется. Берлин велик, а в нашей роте только три офицера, которые меня знают, так что они мне почти наверняка не повстречаются, и самое худшее, что они могут сделать, — это прислать ко мне ротного хирурга. Но его опасаться не следует, и только в крайнем случае, если он меня не застанет дома, я получу головомойку. Ну и что!

Ты, по-видимому, обладаешь выдающимся талантом по части завязывания знакомств. Девушка пробыла в Бонне четыре недели и уже хорошо знает пол-университета по имени и завела себе уже интересного хромого студента, которого она встречает по шесть раз в день. Интересный хромой студент в очках и с русой бородой. Наверно, ему прострелили ноги на дуэли! Почему же он хромает всегда только на дороге? А как он хромает — по-особенному или обыкновенно, как все хромые? На какую ногу он хромает, на правую или на обе? Не носит ли он шляпу с красным петушиным пером? Может быть, он diable boiteux **. Мне очень хотелось бы узнать подробности об этом интересном, хромом, бородатом студенте в очках и с проницательным взглядом.

Продолжаешь ли ты в Остенде завязывать знакомства? Нет ли там тоже какого-нибудь интересного прихрамывающего фламандца, который по шести раз встречается тебе на пляже? Берегись!

* — фон Веделю. *Ред.*
** — хромой бес. *Ред.*

Из монастыря ушла я
И хожу, брожу свободно,
Лечь могу на подоконник
И болтать о чем угодно.

Грустно так в монастыре —
Стерегли меня дуэньи,
Я сидела за работой
В безотрадном заточенье.

Часто пенье гейдельбергцев
За окошком раздавалось,
Я же выглянуть не смела:
Даже это запрещалось.

Но отныне я свободна,
Я избавлена от муки,
Зелень, радость, жизнь — взамен
Прежней серости и скуки.

С этим кончено. Сейчас
Я поеду в новом платье
В Академию веселья.
И не стану там скучать я!

Поппельсдорф и Кёнигсвинтер!
Драхенфельз и Роландсек!
Гляньте — очи мои блещут,
Зубы белы, словно снег.

Чрез неделю все студенты —
Вы поспорить не хотите ль?
Все узнают, где наш дом,
Наша скромная обитель.

Штамм, трактирщик, ты доволен?
Мы живем в твоем отеле —
И теперь в саду твоем
Дотемна царит веселье.

Стоит выйти на прогулку,
Глянь — студенты все сбежались,
А профессорские дочки
Одинокими остались.

Мне согнуть мизинец стоит —
Сразу кавалеров свита,
Граф д'Альвьелла, фон Щепаньский,
Тот и этот — волокиты.

Я любое порученье
Передать могу с фон Дистом,
Песенки поет мне Бунзен,
В танцах мне Шапо флейтистом!

Но лишь от толпы уйду я,
На душе моей уныло.
Вижу я в мечтах студента,
Что прихрамывает мило.

Все другие суетятся,
Всяк мне услужить готов —
Почему хромой красавец
Не в числе моих рабов?

А теперь я Бонн меняю
На прибрежие морское,
Нет студенческих здесь песен —
Слышен только шум прибоя.

Берегом гуляю узким
Средь бельгийцев и французов,
Как в монастыре, должна я
Говорить здесь по-французски.

На моих прогулках свиту
Удалось найти мне снова,
Что меня сопровождает
Вплоть до берега морского.

Остальное — все как в Бонне,
Я живу, как мне угодно,
И питанье, и жилище,
И хозяин превосходный.

Плохо лишь, что среди всех,
Приходящих на купанье,
Нет красивого *хромого* —
Вот печальное сознанье.

Не правда ли, это как будто вылилось из твоей души? Я сочиню и музыку, чтобы ты могла это петь. Но музыку ты получишь только в ответ на твое следующее письмо, так как боюсь, что такими богатыми дарами я слишком избалую тебя. А у меня имеются другие дела, помимо беспрестанного воспевания твоей особы. Это можно позволить себе лишь в виде награды за исключительно длинное письмо.

Постарайся в Остенде заняться Vlaemsche, или Nederduitsche Taal *. Это очень тяжеловесный язык, но он имеет свои достоинства и во всяком случае очень забавен. Если ты еще помнишь нижненемецкое наречие, то ты довольно легко усвоишь фламандский.

У меня теперь тоже есть собака, которую я получил от Августа Бредта из Бармена, когда он уезжал отсюда. Это красивый молодой спаниель, значительно крупнее, чем благородный Мира, и совсем помешанный. Он отличается большими талантами по части закуски. Вечерами, когда я ужинаю в ресторане, он всегда сидит там и ждет своей доли или обходит всех присутствующих. Кроме того, он замечателен своим совершенно невидимым ошейником. Плавает он прекрасно, но слишком сумасшедший, чтобы научиться фокусам. Я научил его только одному: когда я говорю ему — «Безымянный (так его зовут), вот это аристократ», он страшно ощетинивается на того, на кого я ему указываю, и начинает бешено рычать.

В то время как по всем признакам в этом году рейнвейн должен быть превосходным, грюнебергер оказался исключительно скверным. Знаешь ли ты, что такое грюнебергер? Грюнебергер — это лужицкое вино. Этот сорт винограда растет только на песке, и у него никогда нет хороших ягод, за исключением очень дождливых лет. Когда ягоды от твердости камня переходят к твердости дерева, то есть когда их можно разрезать ножом, они считаются спелыми. Виноград выжимают с помощью паровой машины, и подсчитано, что для выжимки 100 ягод требуется примерно двенадцать лошадиных сил в час. Лучший грюнебергер — из винограда урожая 40 года. Его нельзя сохранять в бочках, так как он насквозь проедает дерево. Если он хорош, то надо проглотить дюжину булавок, а потом выпить стакан грюнебергера, и, если в течение пяти минут булавки не растворяются и не исчезают, значит, вино никуда не годится. Это очень выдержанное вино, и, если выпить глоток, то в течение четырех недель после него будет болеть горло. У него очень тонкий букет, так что только знатоки могут

* — фламандским, или нидерландским языком. *Ред.*

отличить его запах от запаха уксуса. Вкус этого благородного напитка больше всего напоминает смесь азотной кислоты с винным уксусом. Впрочем, на сегодня с тебя хватит, я еще должен написать маме. Adieu *.

Твой брат

Фридрих

Берлин, 8 августа 42 г.

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

* — Прощай. *Ред.*

ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДСТВА

Ф. ЭНГЕЛЬСА

(РАННИЕ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
1833—1837 гг.)

МОЕМУ ДЕДУШКЕ *

Бармен, 20 декабря 1833 года

Милый дедушка наш, ты всегда с нами добр и любезен,
Ты нам всегда помогал, когда не ладилось дело,
Ты рассказывал нам историй много красивых
О Керкионе, Тесее, об Аргусе также стооком,
О Минотавре, и об Ариадне, и об Эгее,
О Золотом руне, о Ясоне и аргонавтах [293],
О Геркулесе могучем, а с ним о Данае и Кадме,
И — всего не упомнить, ведь ты нам рассказывал столько!
Дедушка, я пожелаю счастливого Нового года,
Долгой жизни тебе, много радости, мало печали.
Всякого блага, что выпасть может людям на долю, —
Любящий внук тебе от чистого сердца желает.

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в книге F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
На русском языке публикуется впервые

* — Бернхарду ван Хаару. *Ред.*

СТИХОТВОРЕНИЕ 1836 ГОДА

Сто образов прекрасных
Зовут издалека —
Так звезды свет свой ясный
Нам шлют сквозь облака.
Они все ближе, ближе —
Вот храбрый *Телль* — стрелок,
Вот *Зигфрид,* что дракона
В бою осилить смог.
А вот и гордый *Фауст,*
Ахилл идет вперед,
Готфрид Бульонский славный
В бой рыцарей зовет.
А вот — не смейтесь, братья —
И *Дон-Кихот* герой
На скакуне отважном
Везде вступает в бой.
Придет, исчезнет рать их
В отсветах золотых —
О, как же удержать их?
И кто догонит их?
Но могут и вновь явиться,
Поэзии мечты,
И сердце развеселится,
Когда их увидишь ты!

Впервые опубликовано в журнале «Die Internationale». Berlin, Jg. 2, Heft 26, 1 декабря 1920 г.

Печатается по факсимиле рукописи, воспроизведенному в журнале

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ, ВЕРОЯТНО, В НАЧАЛЕ 1837 ГОДА

1. Спустись, о божий сын, Христос,
Я жду тебя в юдоли слез,
О, унеси все беды!
Меня блаженством озари
В сиянии твоей зари,
Чтоб я тебя лишь ведал!
И душой владеет радость, сердцем — сладость, всем конец печалям,
Когда мы тебя, спаситель, хвалим.

2. Когда придет последний миг,
Когда увижу смерти лик,
К тебе лишь полечу я;
Когда очей померкнет свет,
Когда исчезнет жизни след,
Пойду к тебе, ликуя.
И дух тебя восславит и не оставит хвалы великой —
Ведь ты его владыка.

3. Скорее, радость, приходи,
Тогда я на твоей груди
От смерти отогреюсь!
Ведь, боже мой, тогда я всех,
Кто в жизни столько дал утех,
Обнять опять надеюсь.
В новой жизни бесконечной, озаренный вечным, ярким светом,

Расцвету я новым цветом!
Ты приходил нам на спасенье,
От смерти нес освобожденье,
Ты зло сразил, ты счастья страж.
Сойдешь теперь на землю — значит,
Теперь все станет здесь иначе,
Ты каждому свое воздашь.

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукопис

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется

[РАССКАЗ О МОРСКИХ РАЗБОЙНИКАХ]

I

Однажды утром зимой 1820 г. корабль готовился отплыть от острова Кулури, древнего Саламина, на котором доблестно сражались афиняне. Это было греческое купеческое судно с многочисленной командой, доставившее в Афины мастику, гумми-арабик и т. д., а главное — дамасские клинки, кедровое дерево и тонкие азиатские ткани.

На берегу все было в движении. Капитан расхаживал среди работавших матросов, отдавая всевозможные распоряжения. Тогда один матрос прошептал другому по-итальянски:

«Филиппо, видишь ли ты этого молодого человека, который стоит там? Это новый пассажир, которого вчера вечером пригласил капитан; он хочет оставить его среди нас или, если он не согласится, бросить его в море, потому что он не должен прибыть в Стамбул, куда он направляется!» — «Но, — сказал Филиппо, — кто же этот человек?» — «Не знаю, но это, конечно, известно капитану». Тогда раздался выстрел с корабля, и все поспешили к лодкам. Капитан занял место в лодке и воскликнул: «Эй, молодой человек, что же вы замечтались? Идите же, мы отчаливаем!» Молодой человек, к которому относились эти слова и который до тех пор молча стоял у колонны, посмотрел и воскликнул: «Да, я иду!» — и быстро направился к лодке. Он занял место, и лодка понеслась от берега. Вскоре она подплыла к кораблю, раздался выстрел из пушки, судовая команда собралась на палубе, корабль быстро снялся с якоря, и бриг понесся на всех парусах по синему морю, как огромный лебедь.

Капитан, до тех пор руководивший работами матросов, подошел к цветущему юноше, который прислонился к перилам

и печально смотрел в том направлении, где исчезали вдали вершины Гимета.

«Молодой человек, — сказал он ему, — зайдите ко мне в каюту, я хочу поговорить с вами об одном деле». — «С удовольствием», — ответил молодой человек и последовал за капитаном.

После того как они сошли вниз, капитан предложил ему сесть и, налив ему и себе по кубку хиосского вина, сказал:

«Послушайте, я хочу сделать вам одно предложение. Но как вас зовут? И откуда вы родом?»

«Меня зовут *Леон Папон*, и я из Афин. А вы?»

«Капитан Леонид Специотис (из Специи). Но послушайте! Вы, конечно, принимаете нас за честных купцов? Нет, мы не таковы! Посмотрите на наши пушки, видимые и спрятанные, на наши боевые припасы, на наш склад оружия, и вам станет ясно, что мы только притворяемся торгашами. Знайте же, что мы лучше других, а именно, мы истые эллины, люди, еще умеющие ценить свободу, короче, мы корсары, как нас величают неверные, которых мы караем. Вы нравитесь мне, и вы очень напоминаете мне моего дорогого сына, которого неверные застрелили в прошлом году в моем присутствии, и я предложил бы вам присоединиться к нам и принять участие в борьбе за свободу эллинов, причиняя вред неверным, к которым, конечно, применимы стихи Гомера:

Ἔσσεται ἦμαρ ὅτ' ἄν ποτ' ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ,
Καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐυμμελεω Πριάμοιο *

Если же вы не захотите сделать это, то я не ручаюсь за последствия; ведь, когда моя команда узнает, чтó я сообщил вам, она, наверное, потребует вашей смерти, и при всем желании я не буду в состоянии помочь вам».

«Что вы говорите? Корсары? Вы предлагаете мне присоединиться к вам? Немедленно! Я должен получить возможность отомстить убийцам моего отца! О, я с удовольствием вступлю в ваши ряды, буду с ожесточением бороться против мусульман, буду истреблять их, как скот!»

«Прекрасно! Леон, ты нравишься мне таким! Выпьем же бутылку хиосского вина за новый союз!» И старый кутила снова налил вина, все время подбадривая своего более умеренного товарища словами: «Пей же, Леон!», пока бутылка не была осушена.

---

* Будет некогда день, и погибнет высокая Троя,
Древний погибнет Приам и народ копьено́сца Приама.
(Гомер. Илиада. Песнь четвертая). *Ред.*

А затем он обошел со своим новым товарищем корабль и показал ему запасы. Прежде всего они вошли в помещение, в котором хранилось оружие. Там висели всякого рода пышные костюмы, узкие матросские куртки, широкие кафтаны, высокие шапки, небольшие греческие фуражки, широкие тюрбаны, узкие франкские брюки и широкие турецкие панталоны, персидские узорчатые жилеты, венгерские гусарские куртки, русские шубы — все было выставлено напоказ в больших шкафах. Стены были покрыты оружием всех народов, всяким огнестрельным оружием — от небольших карманных пистолетов до тяжелых трехствольных мушкетов; всякого рода мечи, дамасские клинки, испанские шпаги, широкие немецкие мечи, короткие итальянские кинжалы, серповидные турецкие сабли висели на своих местах, тщательно подобранные. По углам стояли вместилища для копий, так что все пространство в комнате было использовано. Затем они пошли в пороховой склад. Там стояли восемь больших бочек, в каждой из которых было сто фунтов пороху, и четыре небольших десятифунтовых; в трех бочках лежали бомбы, в двух более вместительных — гранаты; шкафы у стен были наполнены кувшинами и горшками, в которых, кроме пороха, находились куски свинца, камни, куски железа. Затем они пошли в помещение, где Леонид показал ему несколько мешков с пушечными ядрами. Затем они снова поднялись к пушкам. С обеих сторон стояло по двенадцать пушек большого калибра, на шканцах еще два 48-фунтовых орудия. Между ними повсюду стояли малокалиберные вращающиеся пушки, всего около тридцати орудий. В каюте, куда они вернулись, Леонид показал Леону три ящика, наполненные ружьями и пулями, и два ящика с дробью.

«Что же, в хорошем состоянии наш корабль?» — спросил он его. «В превосходном, — ответил Леон, — нельзя желать ничего лучшего. — Но позвольте мне теперь взглянуть вдаль с палубы».

Он поднялся наверх, но вскоре опять прислонился к перилам. Они плыли как раз против мыса Колоне, древнего Суния, и Леон опять грустно смотрел на исчезавшие вершины Гимета. Тогда Леонид сказал ему:

«Ну, парень, почему ты так грустен, пойдем на шканцы, и расскажи мне о твоей прежней жизни».

Леон последовал за ним и рассказал следующее.

II

Скоро мне будет шестнадцать лет. Моего отца звали Григорий Папон, он был купец; мою мать звали Диана. Меня зовут Леон, мою сестру-близнеца зовут Зоя, а моего младшего

брата Алексей. Около трех месяцев тому назад афинский паша увидел молодую рабыню, которую мой отец воспитал вместе с нами. Он тотчас же потребовал ее, а когда мой отец отказался уступить ее, он поклялся отомстить и сдержал свою клятву на гибель нам. А именно, однажды вечером, когда мы сидели спокойно вместе, и я, рабыня Селима, Зоя и Алексей пели песни под звуки кифары, явились арнауты паши, схватили нашего дорогого отца и Селиму и увели их, а нас они вытолкали и оставили в беспомощном состоянии. Мы ушли и, наконец, добрались до того места перед воротами, где стояла старинная македонская крепость. Там мы зашли к сострадательным крестьянам, которые дали нам хлеба и немного мяса. Оттуда мы пошли в направлении к Пирею. Но увы! Моя сестра настолько ослабела, что упала в полубессознательном состоянии под оливковым деревом. Я же хотел вернуться в город и искать помощи у родных. Несмотря на просьбы матери, я пошел и, когда дошел до Акрополя и собрался подняться вверх, нашел — представьте себе мою радость! — моего отца. Я не могу описать вам, с каким восторгом я бросился ему на шею и как я представлял себе наше счастье и радость матери. Но мне очень скоро пришлось разочароваться, потому что, едва лишь мы сделали несколько шагов, как увидели приближавшегося к нам начальника арнаутов, из которых состояла свита паши. Он узнал моего отца, обнажил саблю и бросился на него. Мой отец взял в правую руку найденную им суковатую палку и стоял, а турок, нанося удары, разрубил саблей палку пополам и ранил отца в плечо, затем он еще раз нанес моему безоружному отцу удар саблей по голове, так что он упал на землю. Я поднял упавшую палку и бросил ее турку в лицо; он выронил саблю, но с яростью выхватил из-под пояса молот и ударил им меня по голове с такою силою, что я упал без сознания.

Когда я очнулся, умирающий отец лежал около меня. Он сказал: «Леон, мой сын, беги, беги отсюда! Тебе угрожает опасность! Свободна ли мать?» Когда я дал утвердительный ответ, он сказал: «Направляйтесь в Кулури, а оттуда в Навплию, там у меня есть друзья!» Я спросил: «Отец, как зовут твоего убийцу?» — «Леон, его зовут Мустафа-бей; боже, будь милостив к моей бедной душе!» — и с этими словами он скончался. Я обнял труп, кричал, стонал, звал на помощь, но он был мертв, и никто не пришел на помощь. Наконец, я со слезами встал, опоясался поясом дорогого отца, прикрепил к нему саблю убийцы и поклялся не расставаться ни с поясом, ни с саблей до тех пор, пока кровь моего отца не будет омыта турецкой кровью. Затем я направился за город, но, — о ужас! — дорогих мне людей не было

там! Лежавшие там окровавленный кинжал, окровавленное покрывало моей матери и фуражка Алексея доказывали, что и там было совершено насилие. Вот фуражка, которую я теперь ношу; вот кинжал (он показал красивый турецкий кинжал, висевший у пояса), а покрывало я ношу с тех пор на груди под хитоном *.

Лишь тогда я подумал о своей ране. Я начал чувствовать боль, приподнял фуражку, тогда кровь снова потекла по моему лицу. Я лег под деревом и обвязал голову платком.

Я заснул и во сне видел отца таким, каким он подходил ко мне, — свежим и в цвете сил, а возле него мать, Зою и Алексея, которые приподнимали меня; но тут подошли турки, а убийца отца с криком упал. Когда я очнулся, я увидел, что лежал в повозке, а передо мной стоял старик, который уговаривал меня быть спокойным и повез меня.

Он привез меня в поселок Св. Николая и вылечил меня там. Я прожил у него четыре недели, затем он дал мне денег и привез на своей лодке на остров Кулури. Там я расстался с ним, и в знак памяти мы разделили между собой пиастр. Здесь я пробыл несколько дней, потому что не представлялось возможности уехать. Дальнейшее известно вам.

III

Таков приблизительно был рассказ молодого Папопа. Затем Леонид взял его за руку, пошел с ним в оружейный склад и предложил ему выбрать оружие. Из одежды он взял легкие греческие панталоны и короткий голубой кафтан. Из оружия он взял короткий двуствольный мушкет, две пары двуствольных пистолетов и молот.

Леонид сказал: «Так возьми же себе и саблю или, по крайней мере, ножны к ней». — «Нет, — сказал Леон, — с этой саблей я не расстанусь, и она останется обнаженной, пока я сам не добуду себе ножен».

Тем временем начало темнеть. Они подплыли к острову Зея. Не подходя к берегу, они убрали все паруса и пустили с верхушки главной мачты ракету. Тотчас же подплыла лодка, на которой виднелся крест. В ней находилось шесть вооруженных людей, которые привязали лодку к кораблю и взобрались на палубу. Леонид представил им нового товарища, которого они сердечно приветствовали. Затем Леонид сказал:

«Ну, Стефанос, что же ты выследил?»

Стефанос: «Там, в городской гавани, стоит турецкое купеческое судно; я побывал там, переодевшись торговцем. Но, Леонид,

* — Туника. Нижняя одежда греков: χίτών или χιθών.

как ты думаешь, кого я увидел там? Представь себе, вот этот наш старый товарищ, Дукас, был там в качестве раба. Я спас его в ящике. На корабле всего только три пушки, но команда сильна и хорошо вооружена; там около тридцати турок. Но я привлек на нашу сторону двух пассажиров-греков, которые едут в Афины. Они намерены занять пороховой склад».

Леонид: «Ах, превосходно! Оставайтесь здесь, подождите немного!» — Он сбегал в каюту, вернулся с тремя бутылками вина и осушил их с Леоном и с шестью вновь прибывшими. При этом он сказал: «Посмотрим, сколько же нас теперь всего: вас шесть, на корабле двадцать человек, еще Леон и я — всего 28, двое турок-пассажиров, едущих в Серфо, из которых один янычар. — Нотос!»

Нотос пришел на зов.

«Возьми с собой Протоса и Тараса в каюту, обезоружь турок и приведи их сюда». Он пошел. Леонид воскликнул: «Микалис!» «Здесь!» — ответил поспешно прибежавший Микалис.

«Немедленно зарядите орудия, приготовьте легкие орудия, зарядите три пушки картечью и ядрами, остальные свинцом, стеклом, камнями и железом! Принесите шестьдесят гранат, две бомбы и ящик с ядрами! Пусть все вооружатся!» Его приказание было исполнено. «А теперь, — сказал он, обращаясь к Леону, — теперь мой сын, тебе представляется возможность в первый раз сражаться в наших рядах. Держись храбро. Как только корабль вступит в борьбу с нами, будь возле меня, делай то же, что я буду делать. Только не прыгай на корабль до меня; ты легко можешь поплатиться жизнью».

«Да, — сказал Стефанос, — я знаю это. Представь себе, Леон, я прыгнул с двумя молодыми людьми твоего возраста на неприятельский корабль; враги перерубили крюк, и мы были отрезаны. Мы защищались, но, после того как оба моих товарища были убиты, я был почти раздавлен толпой и получил сильный удар в голову; рубец еще и теперь виден, и я, наверное, погиб бы, если бы наши не взяли тем временем корабль снова на абордаж».

Затем пришел Нотос с двумя турками, у одного из которых рука была перевязана. Нотос сказал Леониду:

«Смотри, вот они. Они оказали отчаянное сопротивление. Этот янычар нанес бедному Протосу такой удар, что он вряд ли выздоровеет, но зато я разрубил ему руку, в то время как Тарас схватил другого и повалил его на пол».

«Да, — сказал янычар, — это была ловкая штука, одолеть нас, мирно сидевших в каюте! Но они тяжко поплатились за это, и это утешает меня».

«О, — ответил Леонид, — в вашей храбрости я никогда не сомневался. Но вы будете вознаграждены; если вы хотите, я высажу вас завтра утром на Термии; однако пусть каждый из вас даст мне пятьдесят пиастров выкупных денег». Они охотно согласились и дали отвести себя назад в каюту, где остались под надзором Нотоса, между тем как Леонид подошел к Протосу, лежавшему на циновке. Он осмотрел рану и увидал, что удар был нанесен серповидной саблей по черепу, который был поврежден в одном месте. Рана была смертельна, но еще можно было надеяться на выздоровление. Он наложил пластырь и пошел с Леоном спать. Последнему он отвел койку возле своей.

Ночью их разбудили. Перед ними стоял Стефанос.

«Скорее вставайте, на севере показывается парус. Его можно видеть при свете фонаря». Оба они немедленно вооружились. Леонид открыл шкаф и дал Леону мешок с пулями, мешок с дробью и большой красивый рог с порохом. Сам он запасся боевыми припасами, и оба они поднялись на палубу.

«Микалис, — сказал капитан, — где легкие вращающиеся орудия, заряженные ядрами?»

Когда ему их показали, он стал у одного из них, у другого Леон, у третьего Стефанос.

Команда собралась на палубе. Леонид произвел подсчет. Всего с ним оказалось двадцать шесть. Он вызвал Нотоса, который пришел и стал у одной 48-фунтовой пушки, а у другой стал Микалис. Легкие вращающиеся орудия были под бокoм.

Все стали смотреть на фонарь. Подплыли близко к нему. Тогда фонарь потух, и пришлось плыть в том же направлении. Несколько раз фонарь опять показывался, но в конце концов исчез.

Рассвело. Море было покрыто туманом. Мало-помалу он рассеялся. Тогда Стефанос, который сидел на мачте, воскликнул: «Я вижу корабль! Это тот же самый, на котором я побывал в гавани на Зее».

Теперь и Леонид увидел его в подзорную трубу; Стефанос спустился вниз. Тотчас же поплыли на всех парусах, чтобы настигнуть корабль, и вскоре все увидели его. Подняли турецкий флаг и стали приближаться к нему. Приблизительно через три часа к нему подплыли почти на расстояние выстрела. Тогда Леонид приказал снять турецкий флаг и поднять черно-красный флаг с белым крестом. Но турецкий корабль еще до этого повернул на северо-запад и поплыл на всех парусах, чтобы добраться до Макронизи. Вскоре, однако, Леонид приблизился к нему, и немедленно по его приказанию было пущено ядро в оснастку неприятельского корабля. Турки тотчас же ответили, но стали

отступать. Тогда Леонид воскликнул: «Микалис, с твоими пятнадцатью, идите и гребите изо всех сил! Мы должны его захватить! Нотос! Иди на нос и стреляй в неприятеля, как только мы подъедем на половину расстояния выстрела! Тарас со своими пятью останется здесь».

Корабль понесся быстрей. Они все ближе и ближе подплывали к добыче. Между тем Леонид приказал:

«Ты, Тарас, иди, как только вернется Микалис, на правую сторону к орудиям; Стефанос пусть обслуживает орудия на корме; Леон пусть останется со мной!»

Тогда Нотос выстрелил из своей двенадцатифунтовой пушки, затем раздались выстрелы еще из пяти орудий, и парус неприятельского корабля свалился вместе с верхушкой мачты и повис на снастях. Раздался радостный крик; выстрелили из пушек еще раз, и бугшприт корабля разбился вдребезги. Турки не могли ускользнуть. Корабль подплыл ближе, и тогда Леонид и Леон быстро выстрелили из своих вращающихся пушек. Несколько человек упало, но выстрелы не произвели большого эффекта. Микалис вернулся, турки были совсем близко, стреляли с обеих сторон, и турки храбро отстреливались. Тогда Леонид приказал одновременно выстрелить из всех орудий и подплыл к неприятелю. Раздались выстрелы из вращающихся пушек; палуба неприятеля почти опустела; тогда греческий корабль взял противника на абордаж. Микалис и его отряд, Леонид и Леон стояли у крюка; они выстрелили в неприятеля из ружей, привели в движение крюк, и Микалис и Леон моментально очутились на неприятельском корабле. Леон вынул пистолет и застрелил первого попавшегося; он размахивал саблей, и турки падали один за другим. Тогда Микалис упал, но Леонид уже тут, эллины пробиваются вперед, начинается ожесточенный бой; греки, оставшиеся на своем корабле, храбро стреляют, и вскоре несколько турок складывают оружие. Тогда на палубу взбегает огромный арнаут, размахивает саблей и кричит:

«Как, мусульмане, вы хотите дать неверным перебить себя? Возьмите ваши сабли и изрубите собак!»

Он бежит вперед и убивает одного эллина. «Где вождь?» — восклицает он. «Здесь», — кричит Леонид и устремляется вперед. Они сражаются. Леонид остается хладнокровным под тяжелыми, ожесточенными ударами своего врага. Последний в слепой, безумной ярости бежит вперед и наносит своему противнику удар в левую руку. Тогда Леонид сильным ударом своего широкого меча разрубает саблю врага, наносит еще один удар, и кровь струится из груди турка. Но подбегает другой турок и наносит ему в лицо удар, от которого тот падает.

Увидав это, Леон убивает убийцу, задерживает врага, и тот сдается.

Раненый же вождь высаживается на своей лодке с десятью человеками на острове Макронизи.

IV

Теперь он обозревает поле битвы. Двенадцать турок убиты, восемь ранены, пять сдались, десять ускользнули.

Но и четыре грека убиты; Микалис был при смерти; Нотос ранен пулей в бедро, капитан получил удар, и еще трое легко ранены. И Леон получил легкую огнестрельную рану в голову и рубец на левой руке.

Стефанос подошел к нему. «Ты храбро сражался, Леон, но ты должен идти к Леониду. Что такое, у тебя идет кровь?»

«Ах, немного, это ничего не значит. Мне всего досаднее, что от нас ускользнул проклятый арнаут. Я охотно убил бы его».

Он подошел к Леониду. Последний сказал: «Леон, ты возьмешь на себя командование вместо Нотоса до его выздоровления. До тех пор, пока я не буду в состоянии исполнять свои обязанности, главным начальником будет Стефанос. Иди к Микалису и узнай, в каком он состоянии».

Он повиновался. «Он очень слаб; у него огнестрельная рана в груди и бедро ранено саблей. Но Тарас еще надеется».

Стефанос вернулся. «На корабле имеется груз: хлопок для Афин и боеприпасы для Навплии. Кроме того, финики, кокосовые орехи, фиги и множество всякого рода товаров для продажи».

«Доставь все ценное с корабля сюда и плыви к гавани Рафти», — сказал Леонид. «Леон, иди туда вместе со Стефаносом. Допросите пленных, прими к сведению все их показания».

Он пошел. Показания пленных были приблизительно таковы. Это был торговый корабль, принадлежащий купцу Мюраду из Измира *. Его брат Али командовал на корабле и именно он ранил Леона. Они доплыли до Сикии, где им сообщили, что вблизи появились корсары. Поэтому они взяли с собой вчера еще десять человек в Афины. Тогда они увидели корабль, и на них было произведено нападение. На вопрос, где греческие пассажиры, они ответили, что одного бросили в море, а другого убил Али, узнав корсарский корабль.

Затем осмотрели корабль. Кроме вышеуказанных запасов, нашли еще множество оружия и боевых припасов, а также сукно

* — Смирны.

и одежду. Но лучше всего было то, что были найдены три мешка с золотом, в каждом 5 000 пиастров. Они были перенесены в каюту греческого корабля.

Между Сунием и полуостровом Арголидой находится небольшой скалистый и необитаемый остров *, к которому поплыл Леонид. Пристали на следующее утро. А так как Али и турки, наверное, побудили бы еврипского или афинского пашу послать против разбойников корабль, турок высадили там, дали им немного провизии, две сабли и ружье с патронами для того, чтобы они могли питаться зайцами и т. п., которых много водится на таких островах.

Собирались отплывать, но не оказалось Леона. Он пошел на охоту, его искали; вдруг раздался выстрел, побежали в этом направлении и нашли Леона, истекавшего кровью; рядом с ним лежал застреленный турок, а другой турок с окровавленной саблей Леона стоял тут же. Стефанос, который шел впереди, напал на турка. После непродолжительной борьбы он выбил у врага саблю, повалил его на землю и отрубил ему голову.

Подошло еще несколько человек, Леона положили на носилки из ветвей и понесли. Тарас, осмотревший раны, увидал, что турок ранил его в голову, в бедро и слегка в руку.

Наконец, раненый пришел в себя. Его первый вопрос был: «Где моя сабля?» Когда ее показали ему, он сказал: «Где тот турок, который ранил меня?»

«Я убил его, — сказал Стефанос, — но лежи спокойно, ты опасно ранен».

Рана в голову была опасна; перенести раненого на корабль значило бы повредить ему; поэтому решили схватить турок и высадить их на берег Мореи, а Леона, Микалиса, который еще был в опасном положении, Нотоса и Леонида оставить на острове вместе с тремя товарищами для ухода за ними. Стефанос намеревался заехать за ними через несколько недель. Турок опять собрали, но одного не доставало. Однако вдали показался турецкий корабль, и поэтому корабль корсаров со Стефаносом поплыл на парусах. Но кроме раненых и Тараса с его двумя помощниками, осталось еще пять человек, которые должны были доставить турецкий корабль в Эпину, и они отплыли на следующий день.

Леон заметно поправлялся. Через шесть дней он уже мог встать с постели и немного ходить. И Микалис через неделю смог уже выходить из небольшой хижины, которую они постро-

* — носящий название Сан Джорджио ди Аспарра.

или. Леонид и Нотос уже почти выздоровели и часто ходили на охоту. Однажды Нотос вернулся и сказал:

«Я видел одного турка, но он поспешил убежать. Мы должны быть осторожны». На следующий день он опять пошел на охоту с Леонидом. Они встретили дикую козу. Они разделились. Нотос пошел лесом; вдруг раздается выстрел, Нотос падает, а турок, держа в левой руке пистолет, а в правой кинжал, бросается на него, наклоняется, заносит кинжал, но раненый поднимается, вынимает пистолет и стреляет в мусульманина. Вскоре греки собрались вместе. Турок был мертв, его пуля попала Нотосу в грудь, но рукоятка его кинжала задержала пулю, и рана была неопасна.

Нотоса отнесли в хижину, и он целую неделю не мог вставать. Затем все выздоровели, но провизия была израсходована, и на острове трудно было добывать пропитание охотой.

V

Они прожили на острове четыре недели, когда за ними явился Стефанос. Он продал турецкий корабль английскому купцу в Фессалонике за 10 000 пиастров, а другому купцу хлопок за 4 000 пиастров. Корабль корсаров был заново экипирован, прибавились три пушки, количество боевых припасов утроилось, и было много иного рода оружия. Положение получивших хорошее вознаграждение разбойников улучшилось. Теперь корабль поплыл к Кандии. Когда они увидели Милос, показался корабль, по-видимому, турецкий. Леонид гонится за ним и преследует его до Милосского залива. Там находится несколько небольших островов, закрывающих вход в залив. Корабль укрывается здесь под защиту пушек, установленных в доке гавани. Оказывается, что это египетская галера. Начинается ожесточенный бой. Греки стреляют храбро; но вдруг в залив входит турецкий корабль и нападает — это был небольшой военный корабль — на греков с тыла. Тогда Леонид берет турок на абордаж, посылает к ним Стефаноса, и после непродолжительной борьбы корабль захвачен.

Но тем временем раздается залп с фортов, и греческий корабль тонет. Его наскоро направляют на прибрежную мель, на которую он и садится. Но команда поднимается на захваченный турецкий корабль, ожесточенно преследует галеру, берет ее на абордаж. Леон прыгает на галеру, другие, в том числе и Стефанос, следуют за ним, и они нападают. Леон все время сражается впереди всех и обагряет свой меч кровью мусульман; он

с ожесточением дерется, Стефанос следует за ним, и они пробиваются вперед. Вдруг Леон видит перед собой начальника неприятелей, огромного египтянина. Он сражается с ним, но ни один из них не может одолеть другого; наконец, Леон ранит своего противника в левую руку; тогда последний вынимает пистолет, стреляет, но попадает не в Леона, а в другого эллина, и падает под ударами своего храброго противника. После того как он упал, корабль был захвачен. Немногие уцелевшие турки сдаются, и их высаживают на берег; Тарас в турецком костюме идет в форт для переговоров о починке корабля. Корыстолюбивый паша соглашается за подарок в триста пиастров, но тайно посылает лодку в Сифанто, где находилось несколько кораблей турецкого флота. Лодка нашла их, и все три корабля немедленно понеслись на всех парусах. Нотос и Тарас выехали на своей лодке из залива, увидали корабли и сообщили Леониду об их приближении. Последний приказывает части своих матросов поскорее перебраться на турецкие корабли и велит им туда перенести заряды для ручного огнестрельного оружия и несколько пушек, но большую часть команды, в том числе и тридцать новобранцев с острова Милоса, он поместил на своем корабле. Леон, командовавший небольшим военным кораблем, расположился у входа в гавань. Подплывают турки. Сперва приближается один корабль. Леон стреляет из всех орудий сразу в носовую часть корабля, поворачивает корабль, берет его на абордаж и переходит на него со всей командой. Но с другой стороны подходит следующий корабль, высылает свою команду, и начинается ожесточенный бой. Леон храбро сражается. Несколько турок падают под его ударами, но и некоторым храбрым эллинам пришлось испустить последний вздох под ударами турецких мечей, и счастье склоняется на сторону варваров, которых было втрое больше. Вдруг Леон видит убийцу своего отца. Увидев огромного арнаута, который только что убил старого эллина, он ожесточается. Он кричит ему: «Гункиаз (убийца), сражайся с юношами!» Арнаут оборачивается и сражается; он вдвое сильнее эллина, но последний борется с большим ожесточением. Они яростно дерутся. Удар следует за ударом. Леон ранит турка в руку, и тот теряет саблю. Но турок выхватывает из-под пояса хорошо знакомый молот и с ожесточением, вызванным яростью и болью, наносит удары Леону. Вскоре широкая поверхность молота во второй раз ударяет по высокому челу Леона, и Леон падает под непрерывными сильными ударами турка.

«Этот уже в аду! — восклицает он. — Теперь примемся за других». Но почти все они уже убиты, лишь немногие, лишившись оружия, взяты в плен.

Между тем два других корабля вошли в гавань и занялись преследованием Леонида, который со всей своей командой и с деньгами перебрался на галеру и, ускользнув от преследований врагов, благополучно выехал из гавани в открытое море и поплыл на всех парусах в Бело Пауло, где он рассчитывал получить сведения о Леоне и об остальных.

Написано Ф. Энгельсом в 1837 г.

Впервые опубликовано на русском языке в Сочинениях К. Маркса и Ф. Энгельса, I изд., т. II, 1929 г. и на языке оригинала в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

ПОЕДИНОК ЭТЕОКЛА И ПОЛИНИКА [294]

Молвите мне, почему на город могучий кадмейцев
Эллинов мчатся отряды и быстрые кони несутся?
Белые взявши щиты, бойцы летят по равнине,
И вдоль длинных стен они блистают оружьем.
Против великого града мощного Агенорида
Движется войско аргивских мужей, в доспехах могучих,
И данайцев вожди идут, неся разрушенье
Фивам — здесь Парфенопей, Тидей, Капаней, с ними рядом
Амфиарай владыка, с ним Гиппомедонт благородный,
Царь Адраст, Полиник, владыка мужей — и все вместе
На колесницах стремительных к городу Кадма несутся.
Вот на равнине блистают щиты с медной выпуклой бляхой.
Копья железные, также мечи, рукоять у которых
Кована серебром... Как змея, незаметно подкравшись,
Вдруг сжимает овцу, дыханье ее затрудняя, —
Так данайцы пришли, окружив семивратные Фивы.
Копья поднявши, в строю стояли они, угрожая,
Но тут из города воины вышли с блистающей медью,
И среди них Этеокл, Эдипа сын богоравный,
Воин могучий и дерзкоотважный в сражениях ратных,
Только лишь в место одно враги сошлись ради битвы,
Передовые бойцы беотийцев и славных аргивян
Воины — копья, щиты смешав, завязали сраженье.
Шум возбудился ужасный... Кровавые струи отвсюду
Славная Дирка несет, полноводный Исмен окровавлен;
А боец бойца разит, тяжело ударяя.
В первых рядах борьбу ведет Этеокл разъяренный,
Медным копьем он нещадно разит — и воинов много

В черную землю легло, пораженных оружием острым.
Но, увидав Полиника могучего, что среди первых
Бился аргивян, к Афине воззвал Агенора потомок:
«Зевса эгидодержавного дочь, Паллада, внемли мне:
Если я приносил тебе в жертву когда-либо бедра
Тучные коз и быков, ты мое исполни желанье:
Дай мне копьем поразить летящим, с длинною тенью,
Воина грудь вон того, из славного рода Эдипа,
Брата родимого мне, вон того — Полиника героя,
Что пришел из безводного Аргоса; пусть и отчизна
Будет его сравнена с землей, пусть аргивяне гибнут».
К брату он обратил потом крылатое слово:
«Слушай же, сын Эдипа царя, Полиник велегласный:
Сердце в родимой груди велит мне сразиться с тобою,
Первым из всех подойди к богоравному ты Этеоклу!»
Так он промолвил. А брат обратился к владычице Гере:
«Выслушай, Гера, меня, громовержца сестра и супруга,
Ибо ныне я твой: сочетался я браком с Аргеей,
Дочерью милой Адраста, царя меднолатных аргивян.
Дай мне могучего ныне убить царя Этеокла,
Клятвопреступника — Фивам своим изменил он».
Так он промолвил. Тогда Этеокл, владыка могучий,
Выйдя в средину, бойцов фаланги раздвинул.
Встав на равнине, сказал он, к двум сторонам обращаясь:
«Слушайте ныне меня, данайцев сыны и аргивян!
Дух мой в груди велит такое мне слово промолвить:
Хоть толпы аргивян гибнут в свирепом сраженье
И беотийское племя, все ж делу конца мы не видим.
Ныне дух мне велит в поединке с братом сразиться,
Так я скажу, и пусть Зевс мне свидетелем будет:
Если он меня поразит длиннолезвенной медью,
Пусть тогда царствует он над всем кадмейским народом,
Если ж его я убью, коль копью даст силу Афина,
Почести я получу от отчизны, моим будет царство,
Вы же, аргивяне, снова в любезный свой дом возвратитесь».
Так он сказал, возбудив ликованье фивян и ахеян.
Вот, коней оставив, бойцы разошлись по равнине,
Сняли оружье свое, его положивши на землю,
Рядом с собой, ибо мало вокруг земли оставалось.
Вот пускает копье Этеоклова сила святая,
Но, заметив его, отражает черную Керу
Агенорид богоравный — и мимо оно пролетело.
Против него среброкованный меч свой высоко вздымая,
Вышел тогда Полиник богоравный, не медля нисколько. —

Бросились тут друг на друга, подобно львам кровожадным,
Братья родные, отца одного родимые дети,
Тут опустилась и ночь, золотой развязавши свой пояс,
Меч свой направив тяжелой рукой, один поразил им
Брата — и черная кровь полилась мгновенно из раны.
Но когда острый меч вонзился в грудь Этеокла,
Меч его, панцырь пронзив, поразил царя Полиника. —
Оба упали на землю, и мгла им очи застлала.
Братья лежали, друг друга сразив длиннолезвенной медью.
Так, Эдипа, царя беспорочного, род пресечен был.

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с древнегреческого

На русском языке публикуется впервые

ПРИЛОЖЕНИЯ

[СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

БАРМЕН, 1820 г., 5 ДЕКАБРЯ, ВЫПИСКА ИЗ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ В БАРМЕНЕ]

№ 659. Рождение Фридриха Энгельса, 28 ноября 1820 г.

В тысяча восемьсот двадцатом году, пятого декабря в три с половиной часа пополудни предо мною, *Петером Вихельхаузеном,* уполномоченным барменской общины, явился купец г-н *Фридрих Энгельс,* имеющий место жительства в Брухер Ротте, с заявлением, что во вторник двадцать восьмого числа ноября месяца в девять часов вечера у него от его супруги Элизабет Франциски Маврикии, урожденной *ван Хаар,* родился ребенок мужеского пола, которому он дал имя *Фридрих.*

Свидетелями при этом акте были: г-н *Петер Готфрид Шмитс,* двадцати шести лет, секретарь, имеющий место жительства в Гемаркс, и г-н *Иоганн Якоб Хельмес,* тридцати двух лет, секретарь, имеющий место жительства в Вертер Ротте.

По прочтении подписали явившиеся:

Фридрих Энгельс, Як. Шмитс, И. Хельмес.
Уполномоченный *Вихельхаузен*

Впервые опубликовано на русском языке в Сочинениях К. Маркса и Ф. Энгельса, 1 изд., т. II, 1929 и на языке оригинала в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

[СВИДЕТЕЛЬСТВО О КРЕЩЕНИИ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

ВЫПИСКА ИЗ КНИГИ ЗАПИСЕЙ КРЕЩЕНИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ РЕФОРМАТСКОЙ ОБЩИНЫ В ЭЛЬБЕРФЕЛЬДЕ]

1821, январь. Крещен 18 числа. Нижний Бармен. № 24 — [Родившийся] 28 ноября в 9 часов вечера *Фридрих*, законный сын проживающего в Брухе купца г-на *Фридриха Энгельса* и г-жи *Элизабет Маврикии Франциски*, урожденной *ван Хаар*.

Свидетели при крещении: г-н *Каспар Энгельс*-старший и г-жа *Франциска Христина ван Хаар*, урожденная *Снетлаге*.

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС-СТАРШИЙ — ЭЛИЗАБЕТ ЭНГЕЛЬС

В ХАММ *

Бармен, 27 августа 1835 г.
Четверг вечером.

Дорогая Элиза!

Мне только что принесли твое письмо, написанное вчера, из которого я вижу, что состояние нашего доброго батюшки все еще прежнее и что даже, по-видимому, наступило некоторое улучшение. Не будем обманываться относительно этого. Если нам и кажется, что его натура снова берет верх, что силы его прибавляются, все же очень трудно было бы думать о выздоровлении. Болезнь просто примет более хронический характер, пока не последует новый приступ. Наш добрый батюшка в руках господа. Хорошо для него и для нас, что мы его так спокойно можем передать небесному отцу.

В воскресенье 23 я передал на почту письмо для тебя. Получила ты его все-таки или нет? О нем ты ничего не говоришь. Я уже вчера хотел снова тебе писать, но мне помешали. У нас все идет, слава богу, хорошо; все дети здоровы. С Эмилем у меня обычные трудности, малыш довольно-таки необуздан, он постоянно хочет на улицу, и сегодня вечером опять жаловались на то, что он выпрыгнул из окна. Рудольф милый и славный мальчуган, во время обеда он сидит рядом со мной, он очень добр. Хедвига умнее обоих, она вновь совершенно здорова и вяжет мне носки — я поручил ей делать это для времяпровождения. Герман довольно послушен, вечером он мой единственный собеседник за столом и думает обязательно получить на этой неделе, как обычно, первый номер. Маленькая Элиза еще проворнее, чем раньше, показывает свои фокусы, очень любит своего папу, короче, она очень милый маленький котенок.

* На обороте письма надпись: Госпоже Элизе Энгельс. Адр. Господину ректору ван Хаару в Хамме. Франко. *Ред.*

Фридрих принес на прошлой неделе посредственные оценки. Внешне он, как ты знаешь, стал благовоспитаннее, но несмотря на прежние строгие взыскания, он, кажется, даже из страха перед наказанием не хочет научиться беспрекословному повиновению. Так, я, к моему огорчению, опять нашел сегодня в его секретере мерзкую книгу из библиотеки, рыцарский роман из жизни тринадцатого столетия. Поразительна беззаботность, с которой он оставляет в своем шкафу подобные книги. Да сохранит господь его душу, мне часто страшно за этого в общем-то превосходного мальчика.

Вчера я получил через Фридриха письмо от доктора Ханчке от 22 августа, которое он предусмотрительно так поздно передал Магде, что оно дошло до меня только в половине девятого вечером. Вероятно, оно у него было уже в воскресенье. Доктор Ханчке мне пишет, что ему предложили взять на пансион двух человек, но что он отклонит это предложение, если мы предпочтем оставить у него Фридриха и после осени; что Фридрих по-прежнему нуждается в присмотре, что слишком длинная дорога вредит его занятиям, и т. д. Я ему сразу же ответил, что очень благодарен ему, поскольку он, несмотря на превосходные предложения, все же оставляет выбор за мной, что я прошу его и дальше держать Фридриха у себя, и что он очень обяжет меня, если сообщит о своих условиях на этот случай. Он сам намекнул на то, что мы сможем договориться об условиях. Ты, конечно, согласишься со мной, что это самое лучшее. С деньгами мы ради блага ребенка не должны считаться, а Фридрих такой своеобразный и подвижной мальчик, что уединенная жизнь, которая должна привести его к некоторой самостоятельности, для него лучше всего. Еще раз, да защитит всеблагой господь мальчика, чтобы его душа не погибла. Пока что в нем развивается вызывающие беспокойство рассеянность и отсутствие характера, при всем том, что его другие качества меня радуют.

Вот то, что я хотел сказать о находящихся здесь детях. Я с радостью услышал от тебя, что у Анны и Марии все хорошо. Когда они приезжают, и решено ли, что их привезет Людвиг? *

При нынешнем состоянии нашего доброго батюшки я, конечно, думаю, что тебе и милой матушке захочется остаться там еще на несколько дней. Что же, так и сделай, ради бога. Я раньше думал заехать за тобой в воскресенье 30-го, но теперь я буду ждать свежих новостей. Здесь все идет своим обычным

* — Людвиг ван Хаар. *Ред.*

ходом, в этом отношении ты можешь быть спокойной. Каспар * с Юлиусом ** уехал во Франкфурт и его ждут во вторник.

Твои распоряжения относительно одежды и полотна будут пунктуально исполнены, я бы об этом не подумал. Вино я привезу с собой.

Передай сердечный привет милой матушке, так же как и отцу в какой-нибудь миг просветления, как от меня, так и от Грисхеймов. Пусть бог будет рядом с вами в эти тяжелые дни.

Твой
Фридрих

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

---

* — Каспар Энгельс-младший. *Ред.*

** — Юлиусом Энгельсом. *Ред.*

ВЫПУСКНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО[295], ВЫДАННОЕ УЧЕНИКУ СТАРШЕГО КЛАССА ФРИДРИХУ ЭНГЕЛЬСУ (№ 713),

родившемуся 28 ноября 1820 г. в Нижнем Бармене, евангелического вероисповедания; с осени (20 октября) 1834 г. — ученик Эльберфельдской гимназии, а с осени (17 октября) 1836 г. — ученик старшего класса этой гимназии; во время своего пребывания в старшем классе отличался *весьма хорошим поведением*, а именно обращал на себя внимание своих учителей скромностью, искренностью и сердечностью, и, при хороших способностях, обнаружил похвальное *стремление* получить как можно более обширное научное образование, а поэтому и обнаружил отрадные *успехи*, которые точнее охарактеризованы в нижеследующем сопоставлении отдельных учебных предметов.

I. ЯЗЫКИ

1. *Латинский*. Он без труда понимает произведения пройденных авторов, как прозаиков, так и поэтов, в особенности Ливия и Цицерона, Вергилия и Горация, легко понимает связь целого, отчетливо вникает в ход мыслей и искусно переводит с латинского на родной язык. Не в такой степени удалось ему вполне усвоить грамматику, так что, хотя в письменных работах и обнаруживаются успехи, они все же не безупречны со стороны грамматики и слога.

2. *Греческий*. Он приобрел достаточные сведения по морфологии и по синтаксису, в особенности же научился хорошо переводить как сочинения сравнительно легких греческих прозаиков, так и произведения *Гомера* и *Еврипида*, и сумел хорошо понять и воспроизвести ход мыслей в одном из диалогов *Платона*.

3. *Немецкий*. Письменные работы, особенно за последний год, свидетельствуют об отрадных успехах в отношении общего развития; в них содержались верные, самостоятельные мысли, и в большинстве случаев они были изложены в надлежащем порядке; изложение отличалось необходимой основательностью, и выражение мыслей заметно приближалось к правильному. Энгельс проявил похвальный интерес к *истории немецкой национальной литературы* и к чтению немецких классиков.

4. *Французский*. Он хорошо переводит французских классиков. Хорошо знает грамматику.

II. НАУКИ

1. *Религия*. Ему хорошо известны основные учения евангелической церкви, а равно и главные моменты истории христианской церкви. Обладает также знанием Нового завета (в подлиннике).

2. По *истории* и *географии* у него имеются достаточные, отчетливые познания.

3. По *математике* Энгельс в общем приобрел хорошие знания; вообще он обнаружил хорошую способность понимания и умел выражать свои мысли ясно и отчетливо. То же самое следует сказать и

4. О его познаниях по *физике*.

5. *Философская пропедевтика*. Энгельс с интересом и успешно принимал участие в занятиях по эмпирической психологии.

Нижеподписавшийся расстается с любимым учеником, который был особенно близок ему благодаря семейным отношениям и который старался отличаться в этом положении религиозностью, чистотою сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами, при воспоследовавшем в конце учебного года (15 сентября с. г.) переходе к деловой жизни, которую ему пришлось избрать как профессию вместо прежде намеченных учебных занятий, с наилучшими благословениями. Пусть господь благословит и направит его!

Эльберфельд, 25 сентября 1837 г.

Д-р И. К. Л. Ханчке

Впервые опубликовано в книге F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

[АТТЕСТАТ О ПОВЕДЕНИИ, ВЫДАННЫЙ ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩЕМУСЯ ГОДИЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ ФРИДРИХУ ЭНГЕЛЬСУ]

Аттестат о поведении

Предъявитель сего, вольноопределяющийся годичного срока службы бомбардир *Фридрих Энгельс,* 12-ой пехотной роты гвардейской артиллерийской бригады, родом из Бармена, район Эльберфельд, правительственный округ Дюссельдорф, в возрасте 21 года 10 месяцев, прослуживший *один* год, проявил себя в течение срока службы весьма хорошо как в моральном, так и в служебном отношении, что сим по долгу службы удостоверяет

фон ***Ведель,***
капитан, командир роты

Берлин, 8 октября 1842 г.

Впервые опубликовано в Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Bd. 2, 1930

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Первое из опубликованных произведений Энгельса — стихотворение «*Бедуины*» — печатается в данном томе по тексту журнала «Bremisches Conversationsblatt» (№ 40 от 16 сентября 1838 г.), редакция которого произвольно изменила последнюю строфу. Подлинный текст стихотворения приводится Энгельсом в письме братьям Греберам от 17—18 сентября 1838 г. (см. настоящий том, стр. 345—346). — *1.*

2 Стихотворение «*К врагам*» редакция газеты «Bremer Stadtbote», по-видимому, опубликовала в порядке полемики с газетой «Bremisches Unterhaltungsblatt». Как явствует из письма Энгельса сестре Марии от 12 марта 1839 г. (см. настоящий том, стр. 370—371), Энгельс к газете «Bremer Stadtbote» относился насмешливо. Он в шуточной форме расписывал ее заслуги в борьбе с врагами. Газета, однако, публикуя эти стихи, приняла их всерьез. Свое подлинное отношение к этому органу Энгельс раскрыл в своем стихотворении «Городскому вестнику» (см. настоящий том, стр. 5). Газета «Bremisches Unterhaltungsblatt» в № 17 от 27 февраля 1839 г. перепечатала стихотворение Энгельса «К врагам» с ироническими комментариями в адрес редакции «Bremer Stadtbote». — *3.*

3 Стихотворение «*Городскому вестнику*» приводится также в письме Энгельса Вильгельму Греберу от 28—30 апреля 1839 г. (см. настоящий том, стр. 395—396). Между текстом, опубликованным в газете и приводимым в письме, имеются небольшие стилистические различия, не влияющие существенно на смысл перевода. См. также предыдущее примечание. — *5.*

4 Первое публицистическое произведение Энгельса «*Письма из Вупперталя*» (см. настоящее издание, том 1, стр. 451—472), с которого в марте 1839 г. началось его сотрудничество в журнале «Telegraph für Deutschland», вызвало в Бармене и Эльберфельде большую сенсацию. В частности, редактор консервативной газеты «Elberfelder Zeitung» Мартин Рункель опубликовал в ней 12 апреля 1839 г. статью, которая содержала резкие нападки на вуппертальские письма Энгельса,

разоблачавшие обскурантизм и ханжество немецкой буржуазии и духовенства. Письмо д-ру Рункелю является ответом Энгельса на его статью.

Редакция «Elberfelder Zeitung», публикуя ответ Энгельса, сопроводила его следующим подстрочным примечанием: «Мы нашли вчера эту статью в нашем помещении, не зная, кем она прислана. Мы печатаем ее дословно, так как охотно соблюдаем *беспристрастие*, но, со своей стороны, замечаем, что мы будем отстаивать детали *наших* общих утверждений лишь в том случае, если вуппертальский корреспондент *назовет* себя, как это сделали мы». — *6*.

5 Энгельс имеет в виду *«Молодую Германию»* (младогерманцев) — литературную группу, возникшую в 30-х годах XIX в. в Германии и находившуюся под влиянием Гейне и Бёрне. Отражая в своих художественных и публицистических произведениях оппозиционные настроения мелкой буржуазии, писатели «Молодой Германии» (Гуцков, Винбарг, Мундт и др.) выступали в защиту свободы совести и печати. Взгляды младогерманцев отличались идейной незрелостью и политической неопределенностью; вскоре большинство из них выродилось в заурядных буржуазных либералов. — *6, 16, 20, 30, 63, 241, 264, 362, 372, 394, 400, 411, 415*.

6 Характеристику Мартина Рункеля как редактора «Elberfelder Zeitung» Энгельс дал во втором разделе «Писем из Вупперталя» (см. настоящее издание, том 1, стр. 468—469). Что касается стихов Рункеля, то Энгельс имеет в виду его стихотворение «К портрету Граббе», опубликованное в 1838 г. в «Rheinisches Odeon». 2. Jg. Düsseldorf («Рейнский Одеон». 2-й год издания. Дюссельдорф). — *6*.

7 См. настоящее издание, том 1, стр. 463 и 465. — *7*.

8 Книга «Песни опочившего друга» («Lieder eines heimgegangenen Freundes») вышла анонимно в Эльберфельде в 1839 году. — *9*.

9 *Пиетизм* — мистическое течение в лютеранской церкви, возникшее в Германии в XVII веке; ставило религиозное чувство выше религиозных догм и было направлено вместе с тем против рационалистического мышления и философии Просвещения. Крайним мистицизмом и ханжеством отличался пиетизм в XIX веке. Отвергая внешние церковные обряды, пиетисты особое значение придавали эмоциональным переживаниям и молитве, объявляя греховными всякие развлечения, а также чтение нерелигиозной литературы. — *9, 11, 27, 66, 83, 101, 108, 145, 374, 397, 407, 416*.

10 См. настоящее издание, том 1, стр. 469—472. — *9*.

11 *Кальвинизм* — протестантское вероучение, основателем которого в XVI в. был Ж. Кальвин. Основу его составляло учение об «абсолютном предопределении» и избранности людей. Согласно этому учению, одни люди были якобы заранее предопределены богом к спасению (избранные), другие к осуждению (осужденные). — *9, 106*.

12 J. Görres. «Die teutschen Volksbücher». Heidelberg, 1807 (И. Гёррес. «Немецкие народные книги». Гейдельберг, 1807). — *12*.

13 Энгельс имеет в виду следующие издания: «Volksbücher», hrsg. v. G. O. Marbach. Leipzig, 1838—1839 («Народные книги», издано Г. О. Марбахом. Лейпциг, 1838—1839); «Deutsche Volksbücher» nach den ächtesten Ausgaben hergestellt v. Dr. Karl Simrock. Berlin, 1839 («Немецкие народные книги», составленные на основе достоверных изданий д-ром Карлом Зимроком. Берлин, 1839). Эти издания Марбаха и Зимрока выходили отдельными выпусками; «Deutsche Volksbücher», neu gereimt v. K. Simrock. Berlin, 1839 («Немецкие народные книги», заново переложенные в стихи К. Зимроком. Берлин, 1839).

Ко времени написания Энгельсом статьи «Немецкие народные книги» Марбахом были изданы следующие выпуски немецких народных книг. В 1838 году: 1. «Geschichte von Griseldis und dem Markgrafen Walther» («История о Гризельде и маркграфе Вальтере»). 2. «Alte und neue Lieder in Leid und Lust» («Старые и новые песни горя и веселья»). 3. «Geschichte von der edlen und schönen Melusina» («История о благородной и прекрасной Мелюзине»). 4. «Der Schildbürger wunderseltsame, abenteuerliche, unerhörte und bisher unbeschriebene Geschichten und Thaten» («Удивительные, фантастические, неслыханные и до сих пор не описанные истории и деяния шильдбюргеров»). 5. «Geschichte von der schönen Magelone und dem Ritter Peter mit den silbernen Schlüsseln» («История о прекрасной Магелоне и рыцаре Петере с серебряными ключами»). 6. «Geschichte vom Kaiser Octavianus» («История об императоре Октавиане»). 7. «Geschichte von den sieben Schwaben» («История о семи швабах»). 8. «Geschichte von der heiligen Pfalzgräfin Genoveva» («История о святой пфальцграфине Геновефе»). 9 и 10. «Geschichte von den vier Heymonskindern» («История о четырех детях Хеймона»); «Geschichte von dem gehörnten Siegfried» («История о неуязвимом Зигфриде»). 11. «Geschichte von den drei Schwestern» («История о трех сестрах»); «Geschichte von den drei Rolandsknappen» («История о трех оруженосцах Роланда»). В 1839 году: 12. «Eulenspiegel» («Уленшпигель»). 13 и 14. «Tristan und Isalde» («Тристан и Изольда»).

К этому же времени в 1839 г. появились следующие выпуски издания Зимрока в прозе: 1. «Salomon und Morolf» («Соломон и Морольф»). 2. «Eine schöne merkwürdige Historie des heiligen Bischofs Gregorius auf dem Stein genannt» («Прекрасная и удивительная история о святом епископе, прозванном Григориусом на камне»). — *12.*

14 «Der hörnere Siegfried. Eine wunderschöne Historie von dem gehörnten Siegfried. Was wunderliche Ebentheuer dieser theure Ritter ausgestanden, sehr denkwürdig und mit Lust zu lesen». Gedruckt in diesem Jahre. Cöln («Неуязвимый Зигфрид. Удивительная история о неуязвимом Зигфриде. О том, какое странное приключение пережил этот верный рыцарь; очень достопримечательная и с охотой читаемая». Напечатано в этом году. Кёльн). Книга без указания года издания. — *13.*

15 «Buch der schönsten Geschichten und Sagen für Alt und Jung wieder erzählt von Gustav Schwab». 2 Theile. Stuttgart, 1836—1837 («Книга прекрасных историй и сказаний для старых и молодых, пересказанная Густавом Швабом». 2 части. Штутгарт, 1836—1837). В свое издание Шваб включил следующие народные книги, упоминаемые Энгельсом: «Неуязвимый Зигфрид», «Прекрасная Магелона», «Хирлянда», «Геновефа», «Гризельда», «Шильдбюргеры», «Император Октавиан», «Четверо детей Хеймона», «Прекрасная Мелюзина», «Герцог Эрнст», «Фортунат и его сыновья». — *13.*

16 «Leben und Thaten des großen Helden Heinrich des Löwen, Herzog zu Braunschweig». Einbeck («Жизнь и деяния великого героя Генриха Льва, герцога Брауншвейгского». Эйнбек). Книга без указания года издания. — *14.*

17 Имеется в виду решение немецкого Союзного сейма от 10 декабря 1835 г. о запрещении в Германии произведений писателей «Молодой Германии» — Гейне, Гуцкова, Лаубе, Винбарга и Мундта, в некоторых произведениях которых, как, например, в романе Гуцкова «Вали», поднимался вопрос о равноправии женщины.

Союзный сейм — центральный орган созданного в 1815 г. Германского союза, состоявший из представителей германских государств; существовал до 1866 года. — *16, 65, 249, 435.*

18 Намек на комедию Людвига Тика «Император Октавиан» («Kaiser Octavianus»), которая написана по мотивам одноименной народной книги. В книге: Ludwig Tieck's Schriften. Bd. I. Berlin, 1828 (Сочинения Людвига Тика. Т. I. Берлин, 1828). — *17.*

19 Имеется в виду поэма Готфрида Страсбургского «Тристан и Изольда», появившаяся в начале XIII века. — *17.*

20 L. Börne. «Briefe aus Paris». In: Gesammelte Schriften. Theile 9—10. Hamburg, 1832; Theile 11—14. Paris, 1833—1834 (Л. Бёрне. «Парижские письма». В издании: Собрание сочинений. Части 9—10. Гамбург, 1832; части 11—14. Париж, 1833—1834). — *18, 60, 123, 434.*

21 Имеется в виду роман К. Гуцкова *«Вали, сомневающаяся»* («Wally, die Zweiflerin»), опубликованный в Мангейме в 1835 году. Этот роман подвергся нападкам клерикальной реакции. В частности, в №№ 93 и 94 журнала «Literatur-Blatt» от 11 и 14 сентября 1835 г. была опубликована рецензия Менцеля, в которой тот обвинял Гуцкова в безнравственности и богохульстве. Выступления против Гуцкова со стороны реакции послужили поводом для запрещения 14 ноября прусским правительством, а 10 декабря 1835 г. Союзным сеймом произведений писателей «Молодой Германии» и судебного преследования Гуцкова. — *18, 372.*

22 *«Новая библия»* и *«Юная Палестина»* являются частями сборника стихов Бека «Ночи. Железные песни» («Nächte. Gepanzerte Lieder»), вышедшего в Лейпциге в 1838 году. Этот сборник делится на четыре сказки: «Первая сказка — Приключения одного лейпцигского студента»; «Вторая сказка — Новая библия»; «Третья сказка — Вторая часть Новой библии»; «Четвертая сказка — Юная Палестина». «Сказкам» в качестве вступления предшествует стихотворение «Султан». Оценку Энгельсом этого сборника см. также в настоящем томе, стр. 399—400. — *20, 58, 399.*

23 Имеется в виду статья Г. Гейне «Швабское зеркало» («Der Schwabenspiegel»), направленная против консервативно-романтической «швабской школы поэтов» (Уланд, Кернер, Пфицер, Шваб и др.). Статья была напечатана в «Jahrbuch der Literatur». 1. Jg., Hamburg, 1839 («Литературный ежегодник». 1-й год издания. Гамбург, 1839). — *21.*

24 *«Песнь о Людовике»* — стихотворение неизвестного средневекового поэта, написанное в конце IX в. на франкском диалекте. Стихотворение

прославляет победу западнофранкского короля Людовика III над норманнами в 881 году. — *21.*

25 F. Freiligrath. Gedichte. Stuttgart und Tübingen, 1838 (Ф. Фрейлиграт. Стихотворения. Штутгарт и Тюбинген, 1838). — *21.*

26 Речь идет о книге Г. Кюне «Weibliche und männliche Charaktere». 2 Theile. Leipzig, 1838 («Женские и мужские характеры». 2 части. Лейпциг, 1838) и его анонимной статье «Deutsche Lyrik. Karl Beck, Ferdinand Freiligrath», опубликованной в №№ 223 и 224 «Zeitung für die elegante Welt» от 13 и 15 ноября 1838 года. — *21, 29, 60.*

27 Энгельс имеет в виду статью Л. Винбарга «Людвиг Уланд как драматург» («Ludwig Uhland, als Dramatiker»), напечатанную в книге «Die Dramatiker der Jetztzeit». 1. Heft. Altona, 1839 («Драматурги современности». 1-й выпуск. Альтона, 1839). — *21, 52, 60, 421.*

28 Речь идет о памфлете Л. Бёрне «Менцель-французоед» («Menzel, der Franzosenfresser»), вышедшем в Париже в 1837 году. — *22, 117, 422, 431, 434.*

29 Имеется в виду сборник стихов Бека «Странствующий поэт» («Der fahrende Poet»), опубликованный в 1838 г. в Лейпциге. Характеристику сборника Энгельсом см. также в настоящем томе, стр. 400. — *22, 50, 400, 417.*

30 K. Beck. «Novellistische Skizzen». Напечатано в «Zeitung für die elegante Welt» №№ 171—175 от 2, 3, 5—7 сентября 1839 года. — *22.*

31 K. Beck. «Stille Lieder». Erstes Bändchen. Leipzig, 1840 (К. Бек. «Тихие песни». Первый выпуск. Лейпциг, 1840). Книжка состоит из следующих разделов: «Песни любви (Ее дневник)»; «Песни любви (Его дневник)»; «Сновидения»; «Цыганский король»; «Венгерская вахта». — *23, 68.*

32 Стихотворение К. Бека «Доброй ночи!» («Schlaf wohl!») сначала было опубликовано в № 126 «Zeitung für die elegante Welt» 30 июня 1838 года. — *24.*

33 Первый акт трагедии Бека «Саул» был напечатан в №№ 216—219 «Zeitung für die elegante Welt» от 4—8 ноября 1839 года.

В № 143 «Allgemeine Theater-Chronik» от 25 ноября 1839 г. была помещена заметка «Episoden. Carl Beck als Dramatiker» («Эпизоды. Карл Бек как драматург»).

В № 190 «Telegraph für Deutschland» за ноябрь 1839 г. в разделе «Мелкая хроника» была опубликована анонимная рецензия на первый акт трагедии Карла Бека «Саул», к которой Гуцковым дано под строкой примечание. — *24.*

34 Начальник войск царя Саула Авенир, выведенный в трагедии Бека, действует также и в несколько ранее появившейся трагедии Гуцкова «Царь Саул». — *25.*

35 Вслед за статьей Энгельса о Беке в № 203 журнала «Telegraph für Deutschland» (декабрь 1839 г.) была опубликована статья его редактора Карла Гуцкова под названием «Дополнение» с окончанием в № 204 (где она озаглавлена «Карл Бек»), в которой Гуцков подвергает резкой критике сборник Бека «Тихие песни», особенно подчеркивая «детский характер» его поэзии. — *25.*

36 Энгельс цитирует книгу К. Гуцкова «Zur Philosophie der Geschichte». Hamburg, 1836, S. 53 («К философии истории». Гамбург, 1836, стр. 53). — *26.*

37 Под *великой неделей* подразумевается июльская буржуазная революция 1830 г. во Франции, главные события которой происходили 27 июля — 2 августа. — *29, 122.*

38 Речь идет о новелле Ф. Г. Кюне «Eine Quarantäne im Irrenhause». Leipzig, 1835 («Карантин в сумасшедшем доме». Лейпциг, 1835). — *29, 68.*

39 *Вторая силезская школа* — направление в немецкой литературе второй половины XVII века, выражавшее интересы феодальной знати. Ее главными представителями были Гофмансвальдау и Лоэнштейн. — *30.*

40 E. Duller. «Kronen und Ketten». Ein historischer Roman. Bd. 1—3. Frankfurt am Main, 1835; «Der Antichrist». Bd. 1—2. Leipzig, 1833; «Loyola». Bd. 1—3. Frankfurt a. M., 1836; «Kaiser und Papst». Roman. In vier Theilen. Leipzig, 1838. H. A. Zigler und Kliphausen. «Asiatische Banise...». Leipzig, 1688. D. C. von Lohenstein. «Großmüthiger Feldherr Arminius oder Herrmann. Nebst seiner Durchlauchtigen Thußnelda...». Leipzig, 1689—1690. — *30, 364.*

41 *Реставрация* — период, наступивший после окончания наполеоновских войн и восстановления правления династии Бурбонов во Франции (1814, 1815—1830 гг.). — *32, 116, 176.*

42 A. von Platen. Gesammelte Werke. In Einem Band. Stuttgart und Tübingen, 1839 (А. фон Платен. Собрание сочинений в одном томе. Штутгарт и Тюбинген, 1839). — *33.*

43 «Gedichte aus dem ungedruckten Nachlasse des Grafen August von Platen-Hallermünde». Als Anhang zu den bei Cotta erschienenen Gedichten Platens. Straßburg, 1839 («Стихи из неопубликованного наследства графа Августа фон Платена-Халлермюнде». Как приложение к вышедшим в издательстве Котта стихотворениям Платена. Страсбург, 1839). — *33.*

44 *Пентархия* — европейская политическая система эпохи Реставрации (см. примечание 41), основанная на гегемонии пяти великих держав — Англии, Франции, России, Австрии и Пруссии. — *34, 131.*

45 Намек на Карла Эдуарда Гольдмана, автора вышедшей в Лейпциге в 1839 г. анонимной книги «Европейская пентархия» («Die europäische Pentarchie»). — *34.*

46 Данное произведение представляет собой перевод на немецкий язык стихотворения «A la invención de la imprenta» («На изобретение книгопечатания») испанского поэта и политического деятеля, последователя французских просветителей Мануэля Хосе Кинтана, впервые напечатавшего его в книге «Poesias» («Стихи») в Мадриде в 1803 году. В «Gutenbergs-Album» перевод Энгельса напечатан параллельно с испанским оригиналом на стр. 208—225. — *35.*

47 J. Jacoby. «Kampf und Sieg». Regensburg, 1840, S. 57. — *41.*

48 Выражение *«гегелинги»* вошло в употребление после выхода в свет книги реакционного историка и публициста Г. Лео «Die Hegelingen. Actenstücke und Belege zu der s. g. Denunciation der ewigen Wahrheit». Halle, 1838 («Гегелинги. Документы и доказательства к так называемому провозглашению вечной истины». Галле, 1838). Книга была направлена против Штрауса, Руге, Михелета и других младогегельянцев, которых Лео презрительно называл «гегелингами». — *42, 177, 255, 266, 308, 401, 440, 478.*

49 В своей книге «Борьба и победа» Й. Якоби поощряет участие басков на стороне карлистов в гражданской войне 1833—1840 гг. в Испании, а также прославляет ультрамонтанское духовенство и, в частности, иезуитов в Бельгии, называя их *бельгийским соловьем.*

Карлисты — реакционная клерикально-абсолютистская группировка в Испании, поддерживавшая претендента на испанский престол дон Карлоса, брата Фердинанда VII. Опираясь на военщину и католическое духовенство, а также используя поддержку отсталого крестьянства некоторых районов Испании, в том числе басков, карлисты развязали в 1833—1840 гг. гражданскую войну (так называемую первую карлистскую войну), которая фактически превратилась в борьбу между феодально-католическими и буржуазно-либеральными элементами и закончилась поражением карлистов. — *43.*

50 Имеется в виду период революционно-демократической *диктатуры якобинцев* (2 июня 1793 г. — 27 июля 1794 г.) во Франции, когда в ответ на контрреволюционный террор жирондистов (партии крупной буржуазии) и роялистов (приверженцев королевской власти) якобинцы применили террор революционный. — *43.*

51 Статья «Реквием для немецкой «Adelszeitung»», очевидно, написана в связи со слухами о прекращении выхода «Zeitung für den Deutschen Adel», издававшейся с января 1840 года. Однако газета просуществовала до 1844 года. — *44.*

52 «Ankündigung und Einladung zur Subscription auf die mit dem 1. Januar 1840 erscheinende «Zeitung für den Deutschen Adel»» («Извещение и приглашение на подписку «Газеты для немецкого дворянства», начинающей выходить с 1 января 1840 г.»). Напечатано, в частности, в № 69 «Sprecher oder Rheinisch-Westphälischer Anzeiger» («Оратор, или Рейнско-Вестфальский вестник») за 28 августа 1839 года. — *44.*

53 Энгельс имеет в виду книгу: K. Schubarth. «Ueber die Unvereinbarkeit der Hegel'schen Staatslehre mit dem obersten Lebens-und Entwickelungsprinzip des Preußischen Staats». Breslau, 1839 (К. Шубарт. «О несовместимости гегелевского учения о государстве с высшим принципом жизни и развития Прусского государства». Бреслау, 1839). — *44, 402.*

54 Энгельс имеет в виду передовую статью редактора «Zeitung für den Deutschen Adel» Фуке, помещенную в первом номере этой газеты (от 1 января 1840 г.) под названием «Vorwort an unsere Leser» («Вступительное слово к нашим читателям»). — *46.*

55 Намек на книгу И. Канта «Zum ewigen Frieden». Ein philosophischer Entwurf. Königsberg, 1795 («К вечному миру». Философский набросок. Кёнигсберг, 1795). — *47.*

56 Работа Ф. Энгельса *«Современная литературная жизнь»* состоит из двух статей, объединенных общим заголовком. Она напечатана автором под его юношеским псевдонимом «Фридрих Освальд» в выходившей в Брауншвейге «Mitternachtzeitung für gebildete Leser» («Полуночной газете для образованных читателей»), редактором которой в то время был либеральный литератор Бринкмайер. Первая статья — «Гуцков как драматург» — появилась в четырех номерах названной газеты в марте 1840 г., вторая статья — «Современная полемика» — в пяти номерах в мае того же года. По-видимому, Энгельс намеревался продолжить начатую серию статей, обратившись к другим проблемам немецкого литературного движения конца 30-х и начала 40-х годов XIX в., но вынужден был отказаться от дальнейшего сотрудничества в газете из-за столкновений с издателем. Помещая статьи в «Mitternachtzeitung», Энгельс преследовал цель свободно — чего он не мог сделать в редактировавшемся Гуцковым «Telegraph für Deutschland» — изложить свое мнение о Гуцкове и о «Молодой Германии» (см. примечание 5) вообще. — *49.*

57 Энгельс имеет в виду статью Гуцкова «Vergangenheit und Gegenwart. 1830—1838» («Прошлое и настоящее. 1830—1838»), в которой давался критический разбор немецкой литературы 1830—1838 годов. Статья была опубликована в первом и единственном выпуске — «Jahrbuch der Literatur», вышедшем в Гамбурге в 1839 г. в издательстве Гофмана и Кампе. — *49, 373.*

58 Первое представление трагедии К. Гуцкова «Ричард Сэведж, или Сын одной матери» («Richard Savage oder: Der Sohn einer Mutter») состоялось 15 июля 1839 г. во Франкфурте-на-Майне. Пьеса сначала была напечатана на правах рукописи под псевдонимом *Леонард Фальк* без указания издателя, года и места издания. Под настоящим именем автора трагедия была напечатана в 1842 г. в Лейпциге в издании: K. Gutzkow. «Dramatische Werke». Bd. 1 (К. Гуцков. «Драматические произведения». Т. 1). — *49, 82.*

59 K. Gutzkow. «König Saul». Trauerspiel in fünf Aufzügen. Hamburg, 1839 (К. Гуцков. «Царь Саул». Трагедия в пяти действиях. Гамбург, 1839). — *49, 421.*

60 Речь идет о драматических набросках К. Гуцкова «Marino Falieri» («Марино Фальери») и «Hamlet in Wittenberg» («Гамлет в Виттенберге»), опубликованных в сборнике незаконченных произведений Гуцкова «Skizzenbuch». Cassel und Leipzig, 1839 («Книга набросков». Кассель и Лейпциг, 1839). — *50, 421.*

61 L. Börne. «Hamlet, von Shakespeare». In: Gesammelte Schriften. 1. und 2. Theil. «Dramaturgische Blätter». Hamburg, 1829 (Л. Бёрне. «Гамлет Шекспира». В издании: Собрание сочинений. 1-я и 2-я части. «Страницы драматургии». Гамбург, 1829). — *50.*

62 Имеется в виду сцена из второй книги романа К. Гуцкова «Вали, сомневающаяся» (см. примечание 21). — *51.*

63 Эти слова взяты Энгельсом из статьи Винбарга об Уланде (см. примечание 27). Винбарг пишет на стр. 13 своей книги: «Так Густав Пфицер обсуждал натуру и талант Уланда вдоль и поперек и вообще во всех направлениях». — *55.*

64 Рецензия на вышедший в 1838 г. в Штутгарте роман К. Гуцкова «Блазедов и его сыновья» («Blasedow und seine Söhne») была помещена в анонимной статье «Современные романы» («Moderne Romane») в журнале «Rheinisches Jahrbuch für Kunst und Poesie». 1. Jrg. Köln, 1840. В статье затрагивались произведения и других современных писателей. Оценку Энгельсом романа Гуцкова «Блазедов и его сыновья» см. также в настоящем томе, стр. 400. — *57, 75, 400.*

65 F. Halm. «Griseldis». Dramatisches Gedicht in fünf Akten. Wien, 1837 (Ф. Гальм. «Гризельда». Драматические стихи в пяти актах. Вена, 1837). Драма Фридриха Гальма (псевдоним фон Мюнх-Беллингхаузена) была поставлена в 1835 г. в Вене и шла с огромным успехом. Однако после опубликования ее в 1837 г. была подвергнута резкой критике. — *59.*

66 Критический разбор пьесы Гуцкова «Ричард Сэведж» был сделан в связи с премьерой в Штутгарте на страницах штутгартского журнала «Deutscher Courier» в № 44 от 3 ноября 1839 г. в статье под заголовком «Первое представление «Ричарда Сэведжа, или Сына одной матери», трагедии в пяти актах Карла Гуцкова» («Erste Vorstellung von «Richard Savage, oder der Sohn einer Mutter», Trauerspiel in 5 Aufzügen, von Karl Gutzkow»). — *59.*

67 K. Gutzkow. «Werner, oder Herz und Welt». Schauspiel in fünf Aufzügen. In: «Dramatische Werke». Bd. 1. Leipzig, 1842 (К. Гуцков. «Вернер, или Сердце и мир». Драма в пяти действиях. В издании: «Драматические произведения». Т. 1. Лейпциг, 1842). Премьера спектакля состоялась в Гамбурге 21 февраля 1840 года. — *59.*

68 Th. Creizenach. «Der schwäbische Apoll». Lustspiel in einem Akt. In: «Dichtungen». Mannheim, 1839 (Т. Крейценах. «Швабский Аполлон». Комедия в одном действии. В книге: «Поэтические произведения». Мангейм, 1839). Комедия немецкого поэта и историка литературы либерального направления Крейценаха является сатирой на представителей «швабской школы» (В. Менцеля, Г. Пфицера, Ю. Кернера и др.).

Имеется в виду статья К. Бека «Literatur in Ungarn» («Литература в Венгрии»), опубликованная в «Zeitung für die elegante Welt» в №№ 173—181 от 5, 7—9, 11, 12, 14—16 сентября 1837 года. — *61, 433.*

69 G. E. Lessing. «Briefe, antiquarischen Inhalts». 2 Theile. Berlin, 1768—1769 (Г. Э. Лессинг. «Письма антикварного содержания». 2 части. Берлин, 1768—1769). — *61.*

70 Речь идет о романах Т. Мундта: «Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen». Leipzig, 1835 («Мадонна. Беседы со святой». Лейпциг, 1835) и «Moderne Lebenswirren». Leipzig, 1834 («Современный жизненный водоворот». Лейпциг, 1834). — *64.*

71 Намек на запрещение произведений писателей «Молодой Германии» (см. примечания 5 и 17). — *64.*

72 «Die Komödie der Neigungen» («Комедия склонностей») Мундта вышла в 1839 г. в Альтоне в альманахе «Delphin» («Дельфин»), изданном под редакцией Мундта. Произведение повсюду встретило отрицательное отношение. — *64.*

73 Th. Mundt. «Spaziergänge und Weltfahrten». Bd. 1—3. Altona, 1838—1839. — *64*.

74 Книги под названием «Личности и обстоятельства» («Persönlichkeiten und Zustände») у Мундта не было. Вероятно, Энгельс имеет в виду книгу Мундта «Характеры и ситуации» («Charaktere und Situationen»), вышедшую в 1837 г. в Висмаре в двух частях. — *65*.

75 Теодор Мундт опубликовал во второй тетради издаваемого им в Альтоне журнала «Freihafen» за 1838 г. статью «Lebenserinnerungen von Münch» («Воспоминания Мюнха»), в которой разбирались вышедшие в 1836—1838 гг. в Карлсруэ трехтомные воспоминания немецкого историка и публициста Эрнста Мюнха. — *65*.

76 Th. Mundt. «Görres und die katholische Weltanschauung». In: «Der Freihafen». 2. Heft. Altona, 1838. — *66*.

77 *Германский союз* — объединение германских государств, созданное 8 июня 1815 г. Венским конгрессом и первоначально включавшее 34 государства и 4 вольных города с абсолютистско-феодальным строем. Союз закреплял политическую и экономическую раздробленность Германии и препятствовал ее прогрессивному развитию. — *66, 276, 430, 435*.

78 Очерки К. Гуцкова «Литературные судьбы эльфов. Сказка без намека» («Literarische Elfenschicksale. Ein Märchen ohne Anspielung»), направленные против Мундта, были напечатаны в «Telegraph für Deutschland» в №№ 31, 32, 35, 36 за февраль и в №№ 65—68 за апрель 1838 года. В 1839 г. эта работа была перепечатана в «Skizzenbuch» («Книге набросков») Гуцкова под названием «Литературные эльфы. Сказка без намека» («Die literarischen Elfen. Ein Märchen ohne Anspielung»). — *66*.

79 Энгельс имеет в виду вышедшую в 1839 г. в Лейпциге работу немецкого писателя и публициста Германа Маргграфа «Deutschland's jüngste Literatur-und Culturepoche» («Новейшая литературная и культурная эпоха Германии»). — *67*.

80 Намек на следующее изречение Мефистофеля: «Словами диспуты ведутся, из слов системы создаются» (Гёте. «Фауст». Часть первая, сцена 4, «Кабинет Фауста»). — *69*.

81 K. Gutzkow. «Seraphine». Roman. Hamburg, 1837 (К. Гуцков. «Серафина». Роман. Гамбург, 1837). — *68*.

82 Анонимная статья Кюне «Gutzkow's neueste Romane» («Новейшие романы Гуцкова») была опубликована в «Zeitung für die elegante Welt» в №№ 192 и 193 от 1 и 2 октября 1838 года. В ней Кюне резко критиковал литературную деятельность Гуцкова и его романы «Серафина» и «Блазедов и его сыновья». — *70*.

83 G. Kühne. «Klosternovellen». 2 Bde. Leipzig, 1838. — *70*.

84 Статья Г. Гейне «Швабское зеркало» была опубликована в 1839 г. в «Jahrbuch der Literatur» в извращенном виде. Гейне отказался от авторства, поместив об этом официальное заявление в «Zeitung für die elegante Welt» за 8 февраля 1839 года. — *70*.

85 Статья с критикой драмы Гуцкова «Ричард Сведж» была опубликована в издаваемой Кюне «Zeitung für die elegante Welt» в № 135 от 13 июля 1839 г. под заголовком «Richard Savage, oder: große Geister begegnen sich» («Ричард Сведж, или Великие умы встречаются»).

«Заявление» публициста Виля («Zeitung für die elegante Welt» от 28 мая 1839 г.), на которое в том же номере Кюне поместил пародийный ответ за подписью «Гектор, охотничья собака Гофмана и Кампе в Гамбурге» («Hektor, Jagdhund bei Hoffmann und Campe in Hamburg»), было направлено против Генриха Гейне, опубликовавшего в «Zeitung für die elegante Welt» в номерах от 18—20 апреля 1839 г. открытое письмо издателю «Jahrbuch der Literatur» Клаусу Кампе под заголовком «Заметки писателя» («Schriftstellernöten»). В этом письме Гейне обвинял Виля в искажении своей статьи «Швабское зеркало» и называл его охотничьей собакой Кампе. — *70.*

86 Стихотворение Анастазиуса Грюна «Apostasie» («Отступничество») было опубликовано в № 28 «Zeitung für die elegante Welt» от 8 февраля 1838 года. — *73.*

87 A. von Platen. «Der romantische Oedipus». Lustspiel in 5 Akten. In: Gesammelte Werke. In Einem Band. Stuttgart und Tübingen, 1839 (А. фон Платен. «Романтический Эдип». Комедия в 5 актах. В книге: «Собрание сочинений в одном томе». Штутгарт и Тюбинген, 1839). — *75.*

88 Grimm, Brüder. «Kinder- und Haus-Märchen». Bd. 1—3. Berlin, 1812—1822. — *75.*

89 J. B. Thiersch. «Ich bin ein Preuße». In: Lieder und Gedichte des Dr. Bernhard Thiersch, von seinen Freunden in und bei Halberstadt für sich herausgegeben. Halberstadt, 1833 (И. Б. Тирш. «Я пруссак». В сборнике: Песни и стихи д-ра Бернхарда Тирша, изданные его друзьями для себя в Хальберштадте. Хальберштадт, 1833). — *76.*

90 Намек на библейскую легенду о превращении жены Лота в соляной столб за нарушение запрета оглядываться во время бегства из Содома и Гоморры (Библия. Ветхий завет. Первая книга Моисеева, глава 19). — *76.*

91 Дордрехтский синод кальвинистской церкви, проходивший с 13 ноября 1618 г. по 9 мая 1619 г. в городе Дордрехте (Голландия), осудил секту арминиан, склонную к свободомыслию, и узаконил строго кальвинистские догмы (см. также примечание 11). — *77.*

92 Речь идет о книге: F. Freiligrath und L. Schücking. «Das malerische und romantische Westphalen». 2. Lieferung. Barmen—Leipzig, 1840 (Ф. Фрейлиграт и Л. Шюккинг. «Живописная и романтическая Вестфалия». 2-й выпуск. Бармен—Лейпциг, 1840). Первый выпуск «Живописной и романтической Вестфалии», изданный Фрейлигратом, вышел там же в 1839 году. — *80.*

93 Когда Энгельс в мае 1840 г. был в Мюнстере, Левин Шюккинг передал ему с посвящением «Напоминание о Мюнстере» том вышедших в 1838 г. стихотворений («Gedichte») Аннетты Элизабет фон Дросте-Хюльсхофф. Книга вышла полуанонимно под инициалами D. H. (Д. Х.). — *80, 445.*

94 C. Blum. «Schwärmerei nach der Mode». In: «Theater». Dritter Band. Berlin, 1844. — *82*.

95 Рецензия на пьесу К. Гуцкова была напечатана в №№ 95, 97—99 журнала «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» 20, 22—24 апреля 1840 г. под заглавием: «Richard Savage in Leipzig. Correspondenz» («Ричард Сэведж в Лейпциге. Корреспонденция»). — *82*.

96 *Таможенный союз* германских государств, установивших общую таможенную границу, был основан в 1834 году. Со временем он охватил все германские государства, за исключением Австрии и некоторых мелких государств. Главенствующую роль в союзе играла Пруссия. Вызванный к жизни необходимостью создания общегерманского рынка, Таможенный союз способствовал в дальнейшем и политическому объединению Германии. — *85*.

97 См. Ф. Маллет. «Предисловие» («Vorwort»). In: «Bremer Kirchenbote» №№ 1 и 2 от 12 и 19 января 1840 года. — *86, 441*.

98 Далее Энгельс в этой строфе имеет в виду следующие произведения Кальдерона: «Мантибльский мост», «Врач своей чести», «Стойкий принц», «Дочь воздуха», «Жизнь — это сон» и «Апрельское и майское утро». — *90*.

99 Как явствует из письма Энгельса сестре Марии от 7—9 июля 1840 г. (см. настоящий том, стр. 449), Энгельс ездил в Бремерхафен 5 июля 1840 года. Содержанио данной статьи свидетельствует о том, что Энгельс написал ее сразу же после поездки, хотя она и была опубликована годом позже.

Бремерхафен — до 1939 г. самостоятельный город Северо-западной Германии. Аванпорт Бремена у устья реки Везер. С 1939 г. — часть города Везермюнде. — *92*.

100 Согласно Заключительному акту Венского конгресса в 1815 г. Бремен был объявлен вольным имперским городом. — *92, 106*.

101 *Патримониальный суд* — феодальный суд, основанный на праве помещика судить и подвергать наказанию своих крестьян. — *96, 125*.

102 Партия «*Прирожденных американцев*» была образована в США в 1835 году. Она отстаивала преимущественные права коренных американцев. В связи с этим для иммигрантов, желавших натурализоваться в Америке, был установлен срок непрерывного пребывания там в течение 21 г., вместо ранее существовавшего срока в 7 лет. — *97*.

103 *Неопалимая купина* — терновый куст, который, согласно библейскому преданию, горел и не сгорал, когда в нем явился Моисею бог, призвав его к избавлению израильтян от египетского рабства (Библия. Ветхий завет. Вторая книга Моисеева. Исход, глава 3). — *100*.

104 F. W. Krummacher. «Das letzte Gericht». Gastpredigt gehalten am 12. Juli 1840 vor der St. Ansgarii-Gemeine zu Bremen. Bremen, 1840; «Paulus, kein Mann nach dem Sinne unsrer Zeit». Predigt. Bremen, 1840 (Ф. В. Круммахер. «Последний суд». Проповедь приезжего пастора, произнесенная 12 июля 1840 г. в общине церкви св. Ансгария в Бремене. Бремен, 1840; «Павел, человек не в духе нашего времени». Проповедь. Бремен, 1840). — *101, 106*.

105 Речь идет о романе Карла Иммермана «Die Epigonen». Familienmemoiren in Neun Büchern. 3 Theile. Düsseldorf, 1836 («Эпигоны». Семейные мемуары в девяти книгах. 3 части. Дюссельдорф, 1836). — *104*.

106 *Рационализм в богословии* — условное и весьма противоречивое понятие, выражающее попытки некоторых групп богословов разных времен доказать возможность постижения «богооткровенных истин» средствами разума. В протестантском богословии рационалистическое направление пользовалось большим влиянием в XVIII—XIX веках. — *107, 146, 231*.

107 K. F. W. Paniel. «Drei Sonntagspredigten, mit Bezug auf eine besondere Veranlassung, am 12., 19. und 26. Juli 1840 gehalten». Bremen, 1840 (К. Ф. В. Паниель. «Три воскресных проповеди, произнесенные по особому поводу 12, 19 и 26 июля 1840 года». Бремен, 1840). — *107*.

108 J. N. Tiele. «Sendschreiben an Herrn Dr. theol. et philos. Paniel Pastor zu St. Ansgarii in Bremen in Bezug auf dessen drei am 12., 19., 26. Juli 1840 gehaltene Sonntags-Predigten». Bremen, [1840] (И. Н. Тиле. «Послание г-ну доктору богословия и философии Паниелю, пастору церкви св. Ансгария в Бремене в связи с его тремя воскресными проповедями, произнесенными 12, 19 и 26 июля 1840 года». Бремен, [1840]). — *108*.

109 [W. E. Weber]. «Die Verfluchungen». Im Interesse denkender Christen von einem Anonymus des Bremischen Bürgerfreundes. Bremen, 1840 ([В. Э. Вебер]. «Анафемы». Сочинение анонимного автора, друга бременских горожан, написанное в интересах мыслящих христиан. Бремен, 1840). — *108, 147*.

110 F. W. Krummacher. «Theologische Replik an Herrn Dr. Paniel in Bremen». Elberfeld, 1840. — *108, 145*.

111 K. F. W. Paniel. «Unverholene Beurtheilung der von dem Herrn Pastor Dr. philos. Krummacher von Elberfeld, zur Vertheidigung seiner Bremischen Verfluchungssache herausgegebenen, sogenannten «Theologischen Replik»». Bremen, 1840 (К. Ф. В. Паниель. «Откровенное осуждение так называемой «Богословской реплики» г-на пастора д-ра философии Круммахера из Эльберфельда, изданной им в защиту своего бременского дела об анафеме». Бремен, 1840). — *108, 145*.

112 *«Песнь о Нибелунгах»* — памятник немецкого героического эпоса, созданный около 1200 г. на основе древних германских мифов и сказаний. Главный образ поэмы — Зигфрид, победитель карликов-нибелунгов. — *112*.

113 *«Песнь о Ганноне»* — стихотворение, написанное на средненемецком наречии и относящееся к концу XI или началу XII века. В нем прославлялся архиепископ Кёльна Ганнон, прозванный святым. — *112*.

114 W. Grimm. «Die Deutsche Heldensage». Göttingen, 1829 (В. Гримм. «Германские героические сказания». Гёттинген, 1829). — *113*.

115 *Castra vetera* (букв. *древний лагерь*) — древнеримская укрепленная колония, расположенная на левом берегу Рейна, на месте которой возник город Ксантен. — *115*.

116 *«Демагогами»* были названы в постановлениях Карлсбадской конференции министров главных немецких государств 1819 г. участники оппозиционного движения в период, последовавший за войнами с наполеоновской Францией. Движение получило распространение среди интеллигенции и студенчества, особенно в студенческих гимнастических обществах. Его участники выступали против реакционного строя немецких государств, организовывали политические манифестации, на которых выдвигали требование объединения Германии. Реакционные власти подвергали «демагогов» преследованиям, которые возобновились в 30-х годах, когда под влиянием июльской революции 1830 г. во Франции усилилось оппозиционное и революционное движение в Германии и в других европейских странах. — *116*.

117 Речь идет об амнистии политическим заключенным, объявленной в 1840 г. в связи с вступлением на престол Фридриха-Вильгельма IV. — *116*.

118 В этой статье Энгельс разбирает вышедшую в 1840 г. в Лейпциге книгу Арндта «Erinnerungen aus dem äußeren Leben» («Воспоминания о пережитых событиях»). К указанному вслед за названием статьи имени ее автора Ф. Освальд (псевдоним Энгельса) дано под строкой следующее примечание редакции журнала «Telegraph für Deutschland»: «Неоднократно обсуждаемая публикация, оцениваемая с точки зрения журнала «Telegraph»». — *117*.

119 *«Верный Эккарт»* — герой немецких средневековых сказаний. В легенде о Тангейзере он стоит на страже у Венериной горы и предупреждает всех приближающихся об опасности чар Венеры. — *117, 415, 418*.

120 *Испанская конституция 1812 г.*, принятая в интересах либерального дворянства и либеральной буржуазии, ограничила власть короля кортесами и уничтожила некоторые пережитки феодализма. В 1814 г. в связи с победой феодально-аристократической реакции в Испании конституция 1812 г. была отменена. В первой половине XIX в. она стала знаменем либерально-конституционного движения в Испании и в ряде других государств Европы. — *120, 443*.

121 Речь идет о конгрессах Священного союза — реакционного союза Австрии, Пруссии и России, созданного после падения империи Наполеона I Венским конгрессом 26 сентября 1815 г. для подавления революционных и национально-освободительных движений и защиты феодально-абсолютистских режимов в Европе. На четырех конгрессах Священного союза — Ахенском (1818 г.), Троппауском (1820 г.), Лайбахском (1821 г.) и Веронском (1822 г.) обсуждались вопросы сохранения установленных в 1815 г. границ, укрепления восстановленного во Франции абсолютистского режима и вооруженного вмешательства во внутренние дела других государств с целью подавления всякого революционного движения. — *120*.

122 В «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» №№ 281 и 282 от 23 и 24 ноября 1840 г. была опубликована под названием «Friedrich von Florencourt und die Kategorien der politischen Praxis» («Фридрих фон Флоренкур и категории политической практики») за подписью Арнольда Руге рецензия на книгу Флоренкура «Politische, kirchliche und litterarische Zustände in Deutschland». Ein journalistischer Beitrag zu den Jahren 1838 und 1839. Leipzig, 1840 («Политическое,

церковное и литературное положение в Германии». Журнальный очерк о 1838 и 1839 годах. Лейпциг, 1840). — *122.*

123 *Буршеншафты* — немецкие студенческие организации, возникшие под влиянием освободительной войны против Наполеона; выступали за объединение Германии. Наряду с прогрессивными идеями в буршеншафтах были широко распространены идеи крайнего национализма. — *122.*

124 Слова из «Поэмы о Сиде» — крупнейшего памятника испанского героического эпоса, сложенного народными певцами около 1140 года. — *123.*

125 Имеется в виду книга: G. W. F. Hegel. «Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse» (Г. В. Ф. Гегель. «Энциклопедия философских наук в сжатом очерке»). Первое издание вышло в 1817 году. — *123, 166.*

126 Энгельс иронически называет так Б. Г. Шумахера, автора песни «Хвала тебе, в венке победном» («Heil Dir im Siegerkranz»), положенной в основу прусского гимна. — *125.*

127 *Историческая школа права* — реакционное направление в исторической и правовой науке, возникшее в Германии в конце XVIII века. Школа в лице своих видных представителей (Гуго, Савиньи и др.) выступала против буржуазно-демократических идей французской буржуазной революции. — *126.*

128 Имеется в виду Лондонская конвенция, заключенная 15 июля 1840 г. Англией, Россией, Австрией и Пруссией, с одной стороны, и Турцией — с другой, об оказании военной помощи турецкому султану против египетского паши Мухаммеда-Али, за спиной которого стояла Франция. Лондонская конвенция явилась отражением соперничества европейских держав, главным образом Англии, Франции и России, в их борьбе за гегемонию на Ближнем Востоке. — *128.*

129 Речь идет о решениях Венского конгресса (1814—1815), перекроивших карту Европы в целях реставрации легитимных монархий, а также утвердивших в Европе господство дворянско-монархической реакции и закрепивших раздробленность Германии. — *130.*

130 Это стихотворение было написано Энгельсом в связи с перенесением в 1840 г. праха императора Наполеона I с острова Святой Елены в Париж. — *134.*

131 Имеется в виду статья немецкого поэта Рейнхольда Кёстлина «Die deutsche Dichter und ihr Publikum» («Немецкие поэты и их публика»), опубликованная в журнале «Europa. Chronik der gebildeten Welt». Bd. I. Stuttgart, 1840. — *137.*

132 Речь идет о романах Карла Иммермана «Эпигоны» (см. примечание 105) и «Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken». 4 Theile. Düsseldorf, 1838—1839 («Мюнхгаузен. История в арабесках». 4 части. Дюссельдорф, 1838—1839). — *137.*

133 K. Immermann. «Memorabilien». Erster Theil. Hamburg, 1840, S. 27. — *138.*

134 K. Immermann. «Memorabilien». Erster Theil. Hamburg, 1840, S. 30—31. — *138.*

135 Эти слова прусский король Фридрих II приводит в письме от 18 октября 1782 г. к принцу Генриху Прусскому.

В битве *при Йене* 14 октября 1806 г. прусские войска были разбиты войсками Наполеона I, что повлекло за собой капитуляцию Пруссии перед наполеоновской Францией. — *138, 256.*

136 31 мая 1840 г. в Пруссии отмечалось столетие со дня вступления на престол короля Фридриха II. *Двадцатилетним междуцарствием* Энгельс называет период между 1786 г., годом смерти Фридриха II, и 1806 г. — годом поражения прусских войск под Йеной. — *139.*

137 K. Immermann. «Memorabilien». Erster Theil. Hamburg, 1840, S. 95. — *139.*

138 Речь идет о поэмах Иммермана: «Ghismonda, oder die Opfer des Schweigens». In: «Taschenbuch dramatischer Originalien». Hrsg. von Dr. Franck. 3. Jg. Leipzig, 1839 («Гисмонда, или Жертвы молчания». Напечатано в «Сборнике драматических оригиналов». Изд. д-ром Франком. 3-й год издания. Лейпциг, 1839); «Tristan und Isolde». Ein Gedicht in Romanzen. Düsseldorf, 1841 («Тристан и Изольда». Поэма в романсах. Дюссельдорф, 1841) и о его эпической драме «Merlin». Eine Mythe. Düsseldorf, 1832 («Мерлин». Миф. Дюссельдорф, 1832). — *143.*

139 Согласно греческой мифологии, нимфа *Аретуза,* дочь Нерея и Дориды, преследуемая речным богом Алфеем, переплыла море или перешла по его дну в Сицилию и обратилась там в источник. В Древней Греции имя Аретузы носило еще несколько источников. — *145.*

140 Имеется в виду брошюра: «Bekenntniß bremischer Pastoren in Sachen der Wahrheit». Bremen, 1840 («Выступление бременских пасторов по вопросам истины». Бремен, 1840). — *146.*

141 «Unpietistische Reime, erbaulich und gut zu lesen für Jedermann». Bremen, 1841 («Непиетистские рифмы для поучительного и приятного чтения каждого». Бремен, 1841). — *147.*

142 Имеется в виду «*позитивная философия*» — религиозно-мистическое направление в философии, выступившее с критикой философии Гегеля справа (Х. Г. Вейсе, И. Г. Фихте-младший, А. Гюнтер, Ф. Баадер, поздний Шеллинг). «Позитивные философы» пытались подчинить философию религии, выступали против рационального познания и считали божественное откровение единственным источником «позитивного» знания. Всякую философию, объявлявшую своим источником рациональное познание, они называли «негативной». — *147, 166, 174, 232.*

143 Имеется в виду вышедшая анонимно в 1841 г. в Ханау брошюра немецкого писателя Эдуарда Бёйрмана «Paulus in Bremen». Von einem Candidaten der Theologie aus Stade («Апостол Павел в Бремене». Сочинение кандидата теологии из Штаде). — *148.*

144 E. Beurmann. «Skizzen aus den Hanse-Städten». Hanau, 1836 (Э. Бёйрман. «Очерки из ганзейских городов». Ханау, 1836). — *148.*

145 E. Beurmann. «Deutschland und die Deutschen». 4 Bde. Altona, 1838—1840. — *148, 421.*

146 A. Soltwedel. «Hanseatische Briefe». In: «Der Freihafen». 3. und 4. Heft 1839 und 1. Heft 1840. — *148.*

147 Основные законы г. Бремена возникли в период средних веков. «*Скрижали*» («Tafel») были созданы в 1433 г., «*Новое соглашение*» («Neue Eintracht») — в 1534 году. — *150.*

148 «*Рейнеке Лис*» — народная эпическая поэма, вышедшая в 1498 г. в Любеке на нижненемецком наречии под названием «Reynke de Vos». — *150.*

149 Примерно в середине мая 1841 г. Энгельс совершил поездку по Швейцарии и Италии. — *152, 481.*

150 Имеются в виду события, связанные с приглашением в 1839 г. радикальным правительством швейцарского кантона Цюриха Д. Штрауса на должность профессора в Цюрихском университете. В связи с этим возник острый политический конфликт между правительством и лагерем консерваторов и реакционного духовенства. 6 сентября 1839 г. противники приглашения Штрауса во главе со священником из деревни Пфеффикон Бернардом Гирцелем (Энгельс иронически называет их стражами Сиона, т. е. блюстителями ортодоксального вероучения) организовали в Цюрихе вооруженную демонстрацию. В результате этих событий правительство было вынуждено еще до демонстрации отказаться от приглашения Штрауса, а позже уйти в отставку. — *153, 290, 410.*

151 261-й сонет Петрарки из цикла «Сонеты и канцоны на жизнь и смерть мадонны Лауры» Энгельс дает в следующем немецком переводе, который он сделал, возможно, сам:

Ich schwang mich auf im Geist zur Wohnung deren,
Die stets ich such' und finde nicht hienieden;
Die Blicke sanft, die einst so streng mich mieden,
So stand sie in des Himmels dritten Sphären.

Die Hand mir fassend, sprach sie leise: Deine Zähren
Versiegen hier, wo nie wir sind geschieden;
Ich bin's, die lange dir geraubt den Frieden,
Um hieher, vor der Zeit, dann heimzukehren.

O daß ein Menschensinn mein Glück verstände!
Dich nur erwart' ich, und den Dir so lieben,
Den Leib, den ich dort unten ließ schon lange. —

Ach, warum schwieg sie, ließ mir los die Hände?
Denn wenig fehlte bei dem süßen Klange,
Daß ich nicht gleich im Himmel dort geblieben. — *155.*

152 В *Священной Римской империи* германской нации (существовала с 962 по 1806 г. и охватывала Германию, Австрию, часть Италии, Чехию, Бургундию, Нидерланды и др.) избрание императора, согласно золотой булле (1356 г.), зависело от 7 сильнейших князей-курфюрстов. — *157.*

153 Настоящая статья является первой из серии произведений Ф. Энгельса, направленных против реакционной религиозно-мистической философии Шеллинга, который в 1841 г. по приглашению Фридриха-Вильгельма IV прибыл в Берлин для борьбы против младогегельянцев, представителей радикальной буржуазной интеллигенции.

Энгельс посещал лекции Шеллинга в Берлинском университете в качестве студента-вольнослушателя. — *163*.

154 Ср. «Schelling's Erste Vorlesung in Berlin, 15. November 1841». Stuttgart und Tübingen, 1841 («Первая лекция Шеллинга в Берлине 15 ноября 1841 года». Штутгарт и Тюбинген, 1841). — *164*, *179*.

155 G. W. F. Hegel. «Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie». 3. Bde. Hrsg. von K. L. Michelet. In: Hegels Werke. Bd. XIII—XV. Berlin, 1833—1836 (Г. В. Ф. Гегель. «Лекции по истории философии». 3 тома. Изд. К. Л. Михелетом. В издании: Сочинения Гегеля. Тома XIII—XV. Берлин, 1833—1836). — *165*, *198*, *440*.

156 Имеется в виду вышедшая анонимно брошюра К. Риделя «V. Schellings religionsgeschichtliche Ansicht; nach Briefen aus München». Berlin, 1841 («Религиозно-исторические воззрения Шеллинга; по письмам из Мюнхена». Берлин, 1841). — *168*.

157 Речь идет о реакционном идеалистическом журнале «Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie» («Журнал философии и спекулятивной теологии»), издававшемся Иммануэлем Германом Фихте в Бонне в 1837—1846 годах. — *174*.

158 G. W. F. Hegel. Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten. 19 Bücher in 23 Bänden. Berlin, 1832—1845 (Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Полное издание, выпускаемое друзьями покойного. 19 книг в 23 томах. Берлин, 1832—1845). — *175*.

159 Имеются в виду книги: L. Feuerbach. «Das Wesen des Christentums». Leipzig, 1841 (Л. Фейербах. «Сущность христианства». Лейпциг, 1841) и D. F. Strauß. «Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft». Bd. I—II. Tübingen — Stuttgart, 1840—1841 (Д. Ф. Штраус. «Христианское вероучение в его историческом развитии и в борьбе с современной наукой». Тт. I—II. Тюбинген — Штутгарт, 1840—1841); главный раздел книги Штрауса называется «Догматика». — *177*, *477*.

160 Имеется в виду вышедшая анонимно книга Б. Бауэра: «Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und Antichristen. Ein Ultimatum». Leipzig, 1841 («Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом. Ультиматум». Лейпциг, 1841). — *177*, *312*.

161 G. W. F. Hegel. «Phänomenologie des Geistes». Bamberg und Würzburg, 1807. — *179*.

162 D. F. Strauß. «Das Leben Jesu». Bd. 1—2. Tübingen, 1835—1836. — *203*, *405*, *436*, *477*.

163 Энгельс, очевидно, использует здесь мысли из книги Ж. Кювье «Discours sur les révolutions de la surface du globe». Paris, 1840, p. 53 («Размышления о переворотах на поверхности земного шара». Париж, 1840, стр. 53). — *206*.

164 «*Fortuna primigenia*» («Фортуна перворóдная») — римское божество, символ материнства, олицетворение творческой силы. Храм, посвященный этому божеству, находился в Пренесте — одном из городов античной Италии. — *209*.

165 Большинство лекций Шеллинга, в том числе его лекции по философии откровения и философии мифологии, были опубликованы лишь после смерти Шеллинга в Полном собрании его сочинений, вышедшем в Штутгарте в 1856—1861 годах. — *221, 229.*

166 *Грaль* — согласно средневековой легенде — драгоценная чаша, обладающая чудодейственной силой. — *225.*

167 *Пелагианство* (по имени кельтского монаха Пелагия) — течение в христианстве, враждебное господствующей церкви, получило распространение в странах бассейна Средиземного моря в начале V века. Пелагианство проповедовало свободу человеческой воли.

Социнианство (по имени итальянского теолога Фауста Социна) — учение религиозной секты, получившее большое распространение в Польше в конце XVI — начале XVII в., а позже и в некоторых других странах Европы. Социнианство критически относилось к догматам официальной церкви и подобно пелагианству проповедовало свободу человеческой воли. — *231.*

168 *Сивиллины книги* — сборник изречений, приписывавшихся легендарной «прорицательнице» Сивилле; служил в Древнем Риме материалом для официальных гаданий в случаях, когда угрожала опасность государству. В период Римской империи появились также иудейские и христианские Сивиллины книги. — *234.*

169 Эти две цитаты из библии Энгельс приводит в несколько измененном виде. — *245.*

170 Опубликование этой статьи положило начало сотрудничеству Ф. Энгельса в «Rheinische Zeitung». — *248.*

171 Имеется в виду увольнение в 1837 г. из Гёттингенского университета семи либеральных профессоров, выступивших с протестом против отмены в этом году Эрнстом-Августом, королем Ганновера, конституции. — *248.*

172 Бруно Бауэр, занимавший в Боннском университете должность приват-доцента, был уволен оттуда в конце марта 1842 года. — *255.*

173 Ph. Marheineke. «Einleitung in die öffentlichen Vorlesungen über die Bedeutung der Hegelschen Philosophie in der christlichen Theologie». Berlin, 1842 (Ф. Мархейнеке. «Введение в публичные лекции о значении гегелевской философии для христианской теологии». Берлин, 1842). — *255.*

174 Речь идет о книге: Bülow-Cummerow. «Preußen, seine Verfassung, seine Verwaltung, sein Verhältniß zu Deutschland». Berlin, 1842 (Бюлов-Куммеров. «Пруссия, ее государственное устройство, ее управление, ее отношение к Германии». Берлин, 1842). — *255.*

175 В «Rheinische Zeitung», где напечатана статья Энгельса, она обозначена цифрой I. Очевидно, Энгельс намеревался написать продолжение. Однако это намерение не было осуществлено. — *258.*

176 *Панафинеи* — главный праздник в Афинах (Древняя Греция), посвященный рождению богини Афины. Существовали малые панафинеи,

справлявшиеся ежегодно, и великие панафинеи, праздновавшиеся с особой пышностью один раз в четырехлетие. Великие панафинеи сопровождались состязаниями поэтов и музыкантов. — *259.*

177 L. Walesrode. «Glossen und Randzeichnungen zu Texten aus unserer Zeit». Vier öffentliche Vorlesungen, gehalten zu Königsberg. Königsberg, H. L. Voigt, 1842. — *261.*

178 L. Walesrode. «Glossen und Randzeichnungen...», S. 15—16. — *262.*

179 L. Walesrode. «Glossen und Randzeichnungen...», S. 16—17. — *262.*

180 L. Walesrode. «Glossen und Randzeichnungen...», S. 48—50. — *264.*

181 L. Walesrode. «Glossen und Randzeichnungen...», S. 70. — *264.*

182 L. Walesrode. «Glossen und Randzeichnungen...», S. VIII. — *265.*

183 Имеется в виду рецензия немецкого реакционного историка и публициста Г. Лео на книгу доктора И. М. Лёйпольдта «Geschichte der Gesundheit und der Krankenheiten». Erlangen, 1842 («История здоровья и болезней». Эрланген, 1842), опубликованная в газете «Evangelische Kirchen-Zeitung» №№ 36 и 37, 4 и 7 мая 1842 года. Приводимые ниже Энгельсом цитаты из этой рецензии, кроме последней, содержатся в № 36 «Evangelische Kirchen-Zeitung» от 4 мая. Последняя цитата взята из № 37 газеты от 7 мая. — *266.*

184 В 1842 г. Ицштейн был избран во вторую палату баденского ландтага по другому избирательному округу. — *271.*

185 Энгельс имеет в виду статью «Aufsätze über inländische Gegenstände. XVI. Ein Rückblick» («Заметки на отечественные сюжеты. XVI. Взгляд назад»), опубликованную в №№ 137 и 138 «Spenersche Zeitung» от 16 и 17 июня 1842 года. Статья была анонимной и подписана двумя звездочками, поэтому Энгельс называет сочинителя статьи автором, подписывающимся звездочкой. — *272.*

186 Имеется в виду цензурная инструкция прусского правительства от 24 декабря 1841 г., которая была опубликована 14 января 1842 г. в полуофициальной газете «Allgemeine Preußische Staats-Zeitung». Эта новая инструкция, на словах выражавшая неодобрение стеснениям литературной деятельности, на деле не только сохраняла реакционную прусскую цензуру, но и усиливала ее. Критику инструкции см. в статье К. Маркса «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции» (настоящее издание, том 1, стр. 3—27). — *272, 283.*

187 В «Rheinische Zeitung» эта статья напечатана с небольшими пропусками и поправками редакции газеты. В настоящем издании статья восстановлена в первоначальном виде по рукописи Энгельса. — *276.*

188 Имеется в виду «Общее прусское право» («Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten»), утвержденное и опубликованное в 1794 году. Оно включало в себя уголовное, церковное, государственное и административное право и отражало отсталый характер феодальной Пруссии в области юрисдикции. — *276, 431.*

189 Энгельс имеет в виду Иоганна Якоби, автора анонимной брошюры «Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen». Mannheim, 1841 («Четыре вопроса с ответами на них жителя Восточной Пруссии». Мангейм, 1841), в которой Якоби подвергает критике прусский государственный строй и требует введения в Пруссии конституции. — *277.*

190 «Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten». Berlin, 1794. Theil II, Titel 20, § 92 («Общее прусское право». Берлин, 1794. Часть II, раздел 20, § 92). — *277.*

191 «Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten». Berlin, 1794. Theil II, Titel 20, § 151. — *278.*

192 «Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten». Berlin, 1819, S. 232 («Собрание узаконений для прусского королевства». Берлин, 1819, стр. 232). — *278.*

193 [J. Jacoby]. «Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen». Mannheim, 1841, S. 8—10. — *280.*

194 Dr. Jacoby. «Meine weitere Verteidigung wider die gegen mich erhobene Beschuldigung der Majestätsbeleidigung und des frechen, unehrerbietigen Tadels der Landesgesetze». Zürich und Winterthur, 1842, S. 13, 16, 20, 33—34 (Д-р Якоби. «Моя дальнейшая защита против выдвинутого в отношении меня обвинения в оскорблении величества и дерзкого, непочтительного осуждения прусских законов». Цюрих и Винтертур, 1842, стр. 13, 16, 20, 33—34). — *281.*

195 См. [J. Jacoby]. «Vier Fragen beantwortet...», S. 11 и «Meine weitere Verteidigung...», S. 13—20. — *281.*

196 [J. Jacoby]. «Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen». Mannheim, 1841, S. 8—10. — *281.*

197 Dr. Jacoby. «Meine weitere Verteidigung...». Zürich und Winterthur, 1842, S. 13—20. — *282.*

198 Поэма-пародия «*Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или Торжество веры*», направленная против религиозного мракобесия, изображает в сатирической форме борьбу младогегельянцев с представителями теологическо-философской реакции. Поэма возникла как протест против увольнения Бруно Бауэра в конце марта 1842 г. из Боннского университета. Она была написана Энгельсом в середине 1842 г. вместе с Эдгаром Бауэром, братом Бруно. — *284.*

199 Намек на перевод в 1839 г. Бруно Бауэра в качестве приват-доцента из Берлина в Боннский университет. — *294.*

200 Очевидно, имеется в виду вышедший в 1840 г. в Штутгарте четырехтомный роман немецкого писателя и публициста Теодора Мюгге «Туссен» («Toussaint»). — *300.*

201 «*Свободные*» — название существовавшего в первой половине 40-х годов XIX в. младогегельянского кружка берлинских литераторов, ядро которого составляли Б. Бауэр, Э. Бауэр, Э. Мейен, Л. Буль,

М. Штирнер и другие. Критику «Свободных» Марксом в 1842 г. см. в настоящем издании, т. 27, стр. 364, 369—370. «Свободные», оторванные от действительной жизни и поглощенные абстрактными философскими спорами, в 1843—1844 гг. отреклись от радикализма и скатились к пошлому, вульгарному субъективному идеализму — к пропаганде теории, согласно которой лишь избранные личности, носители «духа», «чистой критики» являются творцами истории, а масса, народ служит якобы лишь косным материалом, балластом в историческом процессе. Разоблачению вредных реакционных идей младогегельянцев, именовавших свои взгляды «критической критикой», Маркс и Энгельс посвятили свой первый совместный труд «Святое семейство, или Критика критической критики» (см. настоящее издание, т. 2, стр. 3—230). — *300, 319.*

202 Журнал «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» («Галлеский ежегодник по вопросам немецкой науки и искусства») с июля 1841 г. стал выходить под названием «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst» («Немецкий ежегодник по вопросам науки и искусства»). — *300.*

203 Имеется в виду книга: C. F. Köppen. «Friedrich der Große und seine Widersacher. Eine Jubelschrift». Meinem Freunde Karl Heinrich Marx aus Trier gewidmet. Leipzig, 1840 (К. Ф. Кёппен. «Фридрих Великий и его противники. Юбилейное сочинение». Посвящается моему другу Карлу Генриху Марксу из Трира. Лейпциг, 1840). — *311.*

204 Энгельс имеет в виду книги: A. Ruge. «Der Novellist. Eine Geschichte in acht Dutzend Denkzetteln aus dem Taschenbuche des Helden». Leipzig, 1839 (А. Руге. «Новеллист. История в восьми дюжинах заметок из записной книжки героя». Лейпциг, 1839); E. Meyen. «Heinrich Leo, der verhallerte Pietist. Ein Literaturbrief. Allen Schülern Hegel's gewidmet». Leipzig, 1839 (Э. Мейен. «Генрих Лео, пиетист в духе Галлера. Литературное письмо. Посвящается всем ученикам Гегеля». Лейпциг, 1839). — *312.*

205 Имеется в виду книга: H. Leo. «Lehrbuch der Universalgeschichte, zum Gebrauche in höheren Unterrichtsanstalten». Bd. 1—6. Halle, 1835—1844 (Г. Лео. «Учебник всеобщей истории для употребления в высших учебных заведениях». Тт. 1—6. Галле, 1835—1844). Ко времени написания Энгельсом «Библии чудесного избавления» вышли в свет пять томов книги Лео. — *312.*

206 *Фон дер Зюнденом* (от слов «von der Sünde» — «о грехе») назван здесь Юлиус Мюллер, автор книги «Die christliche Lehre von der Sünde» («Христианское учение о грехе»), вышедшей в Бреслау в 1839 году. — *312.*

207 F. W. Andreä. «Das Wissenswürdigste der Heraldik und der Wappenkunde». Erfurt, 1842. — *318.*

208 18 марта 1842 г. в день окончания Шеллингом лекций по философии откровения берлинские студенты организовали на Лейпцигской улице, где жил Шеллинг, факельное шествие. — *319.*

209 Имеются в виду *сословные комиссии* провинциальных ландтагов (сословных собраний провинций, компетенция которых ограничивалась

вопросами местного хозяйства и провинциального управления), учрежденные в Пруссии в 1842 году. Избранные провинциальными ландтагами из своего состава (по сословиям), эти комиссии образовали объединенный совещательный орган — «Соединенные комиссии». С помощью этого органа, являвшегося лишь фикцией представительного учреждения, Фридрих-Вильгельм IV рассчитывал ввести новые налоги и получить заем. — *319.*

210 «*Валгалла*» — огромное здание близ Регенсбурга, построенное в 1841 г. по замыслу короля Людвига I Баварского. В нем собраны бюсты почти всех известных людей Германии.

«Герои Валгаллы, описанные королем Людвигом Первым Баварским, основателем Валгаллы» — вышедшее в Мюнхене в 1842 г. произведение, содержащее биографии немецких деятелей, бюсты которых собраны в Валгалле («Walhalla's Genossen, geschildert durch König Ludwig den Ersten von Bayern, den Gründer Walhalla's». München, 1842). — *319.*

211 *Гугенотские войны* — употребляемое в литературе название религиозных войн между католиками и протестантами-кальвинистами (гугенотами) во Франции, продолжавшихся с перерывами с 1562 до 1594 года. — *323.*

212 *Генеральные штаты* — высшее сословно-представительное учреждение во Франции в XVI—XVIII вв., состоявшее из депутатов от духовенства, дворянства и городов всей страны; созывались королем с целью получить их согласие на сбор налогов и денежных субсидий. После 175-летнего перерыва созванные в мае 1789 г. Генеральные штаты, в условиях назревания буржуазной революции, были по решению депутатов третьего сословия превращены в Национальное собрание. — *324.*

213 Энгельс имеет в виду анонимную статью «The Communists in Germany» («Коммунисты в Германии»), опубликованную в газете «Times» 29 декабря 1843 г. и перепечатанную в № 28 еженедельника английских социалистов-оуэнистов «New Moral World» 6 января 1844 г., которую Энгельс ниже цитирует. — *327.*

214 После ареста Вейтлинга в Цюрихе 8 июля 1843 г. за попытку издать книгу «Евангелие бедного грешника» швейцарским правительством была создана комиссия из пяти членов по расследованию деятельности немецких эмигрантов в Швейцарии. В том же году отчет комиссии был опубликован в виде отдельной брошюры под названием: «Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren». Wörtlicher Abdruck des Kommissionalberichtes an die H. Regierung des Standes Zürich. Zürich, 1843 («Коммунисты в Швейцарии, по документам, обнаруженным у Вейтлинга». Полный текст доклада комиссии правительству кантона Цюрих. Цюрих, 1843); автором доклада был член комиссии юрист и реакционный политический деятель И. К. Блюнчли. — *327.*

215 Имеется в виду парижское восстание 12 мая 1839 г., подготовленное тайным республиканско-социалистическим «Обществом времен года» под руководством О. Бланки и А. Барбеса; оно было разгромлено войсками и национальной гвардией. — *328.*

216 *Рипилеры* (от слов Repeal of Union — отмена унии) — сторонники отмены англо-ирландской унии 1801 года. Уния, навязанная Ирландии английским правительством после подавления ирландского восстания 1798 г., уничтожила последние следы автономии Ирландии и упразднила ирландский парламент. Требование отмены унии стало с 20-х годов XIX в. наиболее популярным лозунгом ирландского национально-освободительного движения; в 1840 г. была основана Ассоциация рипилеров. — *328*.

217 См. статью Энгельса «Успехи движения за социальное преобразование на континенте», настоящее издание, том 1, стр. 527—529. — *328*.

218 27 мая 1832 г. у замка Гамбах в баварском Пфальце состоялась политическая манифестация (так называемое *гамбахское празднество*), организованная представителями немецкой либеральной и радикальной буржуазии. Участники празднества выступали с призывом к единству всех немцев против немецких государей во имя борьбы за буржуазные свободы и конституционные преобразования.

27 июля 1834 г. в связи с годовщиной июльской революции *в Штейнхёльцли* под Берном (Швейцария) под руководством немецких эмигрантов состоялось многолюдное собрание, на котором были порваны бумажные флаги немецких государств и вывешен черно-красно-золотой флаг, а также произносились революционные речи и пелись революционные песни. — *329*.

219 *Ребеккаиты* — участники движения южноуэльских крестьян в 1843—1844 гг., требовавших отмены дорожных пошлин. Наименование получили по имени своего руководителя, назвавшего себя Ребеккой, согласно библейскому мифу о Ребекке. Они выступали по ночам, переодевшись в женское платье. — *329*.

220 W. Weitling. «Garantien der Harmonie und Freiheit». Vivis, 1842, S. 228 (В. Вейтлинг. «Гарантии гармонии и свободы». Веве, 1842, стр. 228). — *330*.

221 Речь идет о брошюре «Jacob Grimm über seine Entlassung». Basel, 1838 («Якоб Гримм о своей отставке». Базель, 1838), написанной Я. Гриммом в связи с увольнением из Гёттингенского университета семи либеральных профессоров, в том числе Я. Гримма (см. примечание 171). — *339*.

222 Энгельс имеет в виду конфликт, который возник между прусским правительством и католической церковью в связи с вопросом о вероисповедании детей при смешанных браках (между католиками и протестантами). Начавшись с 1837 г. арестом архиепископа кёльнского, обвиненного в государственной измене за отказ подчиниться требованиям прусского короля Фридриха-Вильгельма III, этот конфликт, получивший название *«церковной смуты»*, или *«кёльнской смуты»*, закончился при Фридрихе-Вильгельме IV капитуляцией прусского правительства перед Ватиканом. — *339*.

223 Энгельс имеет в виду две статьи Гёте, написанные им в 1831 году: «Für junge Dichter» («Молодым поэтам») и «Noch ein Wort für junge Dichter» («Еще одно слово молодым поэтам»). — *344*.

224 Интерес Энгельса к немецким народным книгам получил отражение в статьях «Немецкие народные книги», «Родина Зигфрида» и во фрагментах трагикомедии «Неуязвимый Зигфрид» (см. настоящий том, стр. 11—19, 112—116, 379—389). — *345.*

225 Имеется в виду «Christliches Gesangbuch zur Beförderung öffentlicher und häuslicher Andacht». 1. Aufl. Bremen, 1812 («Христианская книга песнопений для совершения молитв дома и в общественных местах». 1-е изд. Бремен, 1812). — *348.*

226 Имеются в виду стихотворение Гёте «Ночная песнь странника» («Wanderers Nachtlied») и стихотворение Шиллера «Слова веры» («Die Worte des Glaubens»). — *348*

227 A. Knapp. «Evangelischer Liederschatz für Kirche und Haus». Eine Sammlung geistlicher Lieder aus allen christlichen Jahrhunderten, gesammelt und nach den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet. 2 Bde. Stuttgart und Tübingen, 1837 (А. Кнапп. «Сокровищница песен на евангельские темы для церкви и для дома». Собрание духовных песен всех христианских веков, составленное и обработанное согласно потребностям нашего времени. 2 тома. Штутгарт и Тюбинген, 1837). — *348.*

228 Энгельс имеет в виду: H. Laube. «Reisenovellen». Bd. 1—4. 1. Aufl. Leipzig, 1833—1834; «Neue Reisenovellen». Bd. 1—2. Mannheim, 1837 (Г. Лаубе. «Путевые новеллы». Тт. 1—4. 1-ое изд. Лейпциг, 1833—1834; «Новые путевые новеллы». Тт. 1—2. Мангейм, 1837). — *363.*

229 J. Mosen. «Ahasver». Episches Gedicht. Dresden und Leipzig, 1838 (Ю. Мозен. «Агасфер». Эпическая поэма. Дрезден и Лейпциг, 1838). — *363.*

230 Энгельс имеет в виду рецензию Гуцкова на поэму Мозена «Агасфер», напечатанную в августе 1838 г. в № 124 журнала «Telegraph für Deutschland». — *363.*

231 Энгельс имеет в виду статью Теодора Крейценаха «Гуцков об Агасфере» («Gutzkow über Ahasver»), появившуюся в № 189 «Zeitung für die elegante Welt» 27 сентября 1838 года. — *363.*

232 Речь идет о сборнике баллад Э. Дуллера «Die Wittelsbacher». München, 1831 («Виттельсбахи». Мюнхен, 1831), который был посвящен правящей баварской династии. — *364.*

233 Имеется в виду составленная Г. Хюльштеттом хрестоматия по немецкой литературе: «Sammlung ausgewählter Stücke aus den Werken deutscher Prosaiker und Dichter, zum Erklären und mündlichen Vortragen für die unteren und mittleren Klassen von Gymnasien». 2 Theile. Düsseldorf, 1830—1831 («Собрание избранных мест из произведений немецких прозаиков и поэтов в помощь пересказу и устным докладам для низших и средних классов гимназии». 2 части. Дюссельдорф, 1830—1831). — *364.*

234 Энгельс имеет в виду вступительную статью Э. Дуллера «Grabbe's Leben» («Жизнь Граббе») к драме Граббе «Die Hermannschlacht» («Битва Арминия»). См. Grabbe. «Die Hermannschlacht», Drama. Düsseldorf, 1838. — *361.*

235 E. Duller. «Kaiser und Papst». Roman. In vier Theilen. Erster Theil. Leipzig, 1838, S. 284. — *365.*

236 Энгельс имеет в виду рецензию на книгу стихов И. Х. Ф. Винклера «Harfenklänge» («Звуки арфы»), напечатанную в декабре 1838 г. в № 208 журнала «Telegraph für Deutschland» под названием «Zeichen der Zeit» («Знамения времени»). — *367.*

237 Стихотворение Энгельса «Книжная мудрость» было опубликовано в № 8 журнала «Bremer Stadtbote» от 24 марта 1839 года. — *370.*

238 *Марто* — издательство в Кёльне. — *374.*

239 Автором этих стихов, которые Энгельс приводит в слегка перефразированном виде, был генерал Ганс Адольф фон Тюммель, гофмаршал гессенского курфюрста. Великим поэтом Энгельс Тюммеля называет иронически. — *376.*

240 В марте—апреле 1839 г. в журнале «Telegraph für Deutschland» была опубликована без подписи статья Энгельса «Письма из Вупперталя» (см. настоящее издание, том 1, стр. 451—472). — *378.*

241 По-видимому, речь идет о вышедшей в 1839 г. в Лейпциге книге Ф. Марло (псевдоним поэта Германа Людвига Вольфрама) «Faust. Ein dramatisches Gedicht in drei Abschnitten» («Фауст. Драматическая поэма в трех частях»). — *379.*

242 Это стихотворение Энгельса под названием «Городскому вестнику» было напечатано в № 34 газеты «Bremisches Unterhaltungsblatt» от 27 апреля 1839 года. См. настоящий том, стр. 5. — *396.*

243 *«Лузиады»* («Os Lusiadas») — эпическая поэма великого португальского поэта эпохи Возрождения Луиса Камоэнса, вышедшая в 1572 году. — *396.*

244 Энгельс имеет в виду свою статью «Письма из Вупперталя» (см. настоящее издание, том 1, стр. 451—472). — *396, 417.*

245 Ответ Энгельса на статью д-ра Рункеля в «Elberfelder Zeitung» с нападками на «Письма из Вупперталя» см. в настоящем томе, стр. 6—7 (а также примечание 4). — *397.*

246 Ludwig Börne. Gesammelte Schriften. 14 Theile. 1. Ausg. Hamburg, 1829—1832, Paris, 1833—1834; 1. und 2. Theil: Dramaturgische Blätter. Hamburg, 1829. — *399, 435.*

247 Энгельс имеет в виду статью Л. Бёрне «О характере Вильгельма Телля в драме Шиллера» («Über den Charakter des Wilhelm Tell in Schillers Drama»). Статья содержит очень резкую оценку шиллеровского героя, которого Бёрне считает «порядочным филистером», имеющим в характере гораздо больше общего с мелким буржуа, чем со «смелым горцем». — *399, 417*

248 Энгельс имеет в виду следующие книги, разбираемые Людвигом Бёрне в «Страницах драматургии»: K. Immermann. «Cardenio und Celinde».

Trauerspiel in fünf Aufzügen. Berlin, 1826 (К. Иммерман. «Карденио и Целинда». Трагедия в пяти действиях. Берлин, 1826); K. Immermann. «Das Trauerspiel in Tyrol». Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen. Hamburg, 1828 (К. Иммерман. «Трагедия в Тироле». Драматическая поэма в пяти действиях. Гамбург, 1828). Эта пьеса после переработки автором вышла в свет в 1835 г. под названием «Андреас Хофер»; E. Raupach. «Die Leibeigenen, oder Isidor und Olga». Trauerspiel in fünf Acten. Wien, 1828 (Э. Раупах. «Крепостные, или Исидор и Ольга». Трагедия в пяти актах. Вена, 1828); H. Clauren. «Der Wollmarkt, oder das Hôtel de Wibourg». Lustspiel in vier Aufzügen. Dresden und Leipzig, 1826 (Г. Клаурен. «Шерстяная ярмарка, или Вибурский отель». Комедия в четырех действиях. Дрезден и Лейпциг, 1826); E. von Houwald. «Das Bild». Trauerspiel in fünf Akten. Leipzig, 1821 (Э. фон Гоувальд. «Картина». Трагедия в пяти актах. Лейпциг, 1821); E. Houwald. «Der Leuchtturm». Leipzig, 1821 (Э. Гоувальд. «Маяк». Лейпциг, 1821). — *399.*

249 В нюрнбергском журнале «Athenäum für Wissenschaft, Kunst und Leben», 3. Heft, I. III. 1839 в рубрике «Заметки» была дана следующая оценка «Писем из Вупперталя» (см. настоящее издание, том 1, стр. 451—472): «В нескольких номерах «Telegraph» за март этого года содержится очень верное изображение религиозных отношений в Эльберфельде и Бармене. Круммахер немногими характерными чертами изображен здесь очень жизненно». — *401.*

250 H. Leo. «Sendschreiben an J. Görres». Halle, 1838 (Г. Лео. «Послание Й. Гёрресу». Галле, 1838). — *402.*

251 Статья «Die Gränzen der Naturbetrachtung» («Границы изучения природы») была опубликована в №№ 23—25 «Evangelische Kirchen-Zeitung» от 20, 23 и 27 марта 1839 года. — *405.*

252 Библия. Новый завет. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 2. У Энгельса ошибочно, вместо *Петр*, написано *Павел*. — *406.*

253 Chr. Märklin. «Darstellung und Kritik des modernen Pietismus. Ein wissenschaftlicher Versuch». Stuttgart, 1839. — *410.*

254 Июльская революция 1830 г. во Франции началась 27 июля. — *414.*

255 30 ноября 1835 г. против Карла Гуцкова, автора романа «Вали, сомневающаяся», был начат судебный процесс в мангеймском городском суде. В тот же день он был подвергнут предварительному заключению и лишь 13 января 1836 г. приговорен к месяцу тюрьмы без учета предварительного заключения за «богохульство, попрание христианской веры и церкви и изображение безнравственных ситуаций». Тюремное заключение Гуцков отбывал с 14 января по 10 февраля 1836 года (см. также примечания 17). — *415.*

256 Энгельс имеет в виду книгу: Ch. H. Weiße. «Die evangelische Geschichte, kritisch und philosophisch bearbeitet». 2 Bde. Leipzig, 1838 (Х. Г. Вейсе. «Евангельская история, переработанная критически и философски». 2 тома. Лейпциг, 1838). — *416.*

257 Из стихотворения К. Бека «Прогулки вокруг Лейпцига» (Сборник стихов «Ночи. Железные песни». Первая сказка. Третья ночь). Об этом сборнике см. примечание 22. — *417.*

258 Th. Creizenach. «Dichtungen». Mannheim, 1839 (Т. Крейценах. «Поэтические произведения». Мангейм, 1839). — *421.*

259 F. von Smitt. «Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren 1830 und 1831». Theile I—II. Berlin, 1839. — Третья часть книги вышла в 1848 году. — *421.*

260 F. von Smitt. «Geschichte des Polnischen Aufstandes...». Theil I. Berlin, 1839, S. 237. — *422.*

261 Имеется в виду книга P. Солтыка «La Pologne. Précis historique, politique et militaire de sa révolution». T. I—II. Paris, 1833 («Польша. Исторический, политический и военный очерк польской революции». Тт. I—II. Париж, 1833). Энгельс ссылается на немецкий перевод этой книги, вышедший в Штутгарте в 1834 г. под двумя названиями: «Polen, geographisch und historisch geschildert. Mit einer vollständigen Geschichte der Jahre 1830 und 1831. Von einem Augenzeugen» («Географическое и историческое описание Польши. Полная история событий 1830 и 1831 гг. Написано свидетелем»); «Polen und seine Helden im letzten Freiheitskampfe. Nebst einem kurzen Abriß der polnischen Geschichte seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830 von dem Grafen Soltyk» («Польша и ее герои в последней битве за свободу. Вместе с кратким очерком истории Польши с начала ее существования до 1830 г. Написано графом Солтыком»). — *422.*

262 Энгельс цитирует пародию на сочиненную в XVIII в. немецким писателем графом Фридрихом Леопольдом Штольбергским песню швабского старого рыцаря своему сыну «Sohn, da hast du meinen Speer» («Сын, вот тут мое копье»). — *425.*

263 Энгельс имеет в виду книгу: «Darlegung der Haupt-Resultate aus den wegen der revolutionären Complotte der neueren Zeit in Deutschland geführten Untersuchungen. Auf den Zeitabschnitt mit Ende Juli 1838». Frankfurt am Main («Изложение главных результатов расследований, проведенных в период по июль 1838 г. по поводу революционных заговоров новейшего времени в Германии». Франкфурт-на-Майне). Эта книга представляет собой материалы находившейся во Франкфурте-на-Майне центральной следственной комиссии Германского союза по расследованию дел о «демагогах» (см. примечание 116). — *430.*

264 J. Venedey. «Preussen und Preussenthum». Mannheim, 1839. — *430, 434.*

265 Книга Карла Грюна «Buch der Wanderungen. Ostsee und Rhein». Cassel und Leipzig («Книга странствий. Балтийское море и Рейн». Кассель и Лейпциг) вышла в 1839 г. под псевдонимом *Эрнст фон дер Хайде* (Ernst von der Haide). — *433.*

266 L. Börne. «Schilderungen aus Paris». In: Gesammelte Schriften. 5. Theil. Hamburg, 1829. — *435.*

267 D. F. Strauß. «Charakteristiken und Kritiken». Eine Sammlung zerstreuter Aufsätze aus den Gebieten der Theologie, Anthropologie und Aesthetik. Leipzig, 1839 (Д. Ф. Штраус. «Характеристики и критические статьи». Сборник разрозненных статей из области теологии, антропологии и эстетики. Лейпциг, 1839). Первая статья в этом сбор-

нике посвящена Шлейермахеру и Даубу и носит название «Schleiermacher und Daub, in ihrer Bedeutung für die Theologie unserer Zeit» («Шлейермахер и Дауб в их значении для теологии нашего времени»). Шестая статья называется «Geschichten Besessener neuerer Zeit» («История одержимых новейшего времени»). — *436, 440.*

268 Энгельс имеет в виду книгу А. Толука: «Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, zugleich eine Kritik des Lebens Jesu von Strauß, für theologische und nicht theologische Leser dargestellt» («Достоверность евангельской истории и критика «Жизни Иисуса» Штрауса для читателей-богословов и не богословов»). Первое издание книги вышло в Гамбурге в 1837 году. — *436.*

269 A. Neander. «Das Leben Jesu Christi, in seinem geschichtlichen Zusammenhange und seiner geschichtlichen Entwickelung dargestellt». Hamburg, 1837 (А. Неандер. «Жизнь Иисуса Христа, представленная в ее исторической связи и ее историческом развитии». Гамбург, 1837). — *437.*

270 «Evangelische Kirchen-Zeitung» в №№ 1—8 от 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 и 25 января 1840 г. в статье, озаглавленной «Vorwort» («Предисловие»), выступила против книги Х. Мерклина «Darstellung und Kritik des modernen Pietismus». Stuttgart, 1839 («Изображение и критика современного пиетизма». Штутгарт, 1839).

О *пиетизме* см. примечание 9. — *439.*

271 *Парсы* — представители религиозной секты в Индии и Иране, обожествлявшие огонь, воздух, воду и землю, приверженцы религии Зороастра.

Либертины — представители религиозной пантеистической секты середины XVI в., носившей демократический характер и получившей широкое распространение во Франции и Швейцарии. Либертины вступили в борьбу с Кальвином и его приверженцами, но потерпели поражение. (О *кальвинизме* см. примечание 11). — *439.*

272 См. «Literarischer Anzeiger für christliche Theologie und Wissenschaft überhaupt», 1840, № 1 и 2, статью «Vorwort des Herausgebers zum zehnten Jahrgange» («Предисловие издателя к десятому году издания»).— *441.*

273 Согласно евангельской легенде, в палестинском городе Кана во время брачного празднества Христос превратил воду в вино. (Библия. Новый завет. Евангелие от Иоанна, глава 2). — *441.*

274 F. Grilparzer. «Weh' dem, der lügt!» Lustspiel in fünf Aufzügen. Wien, 1840. — *442.*

275 Энгельс имеет в виду речь евангелического епископа и придворного проповедника Р. Ф. Эйлерта, произнесенную в рыцарском зале королевского дворца в Берлине 19 января 1840 г. по случаю коронационного и орденского празднества и опубликованную в № 20 «Allgemeine Preußische Staats-Zeitung» от 20 января 1840 года. — *443.*

276 Речь идет о книге: C. von Rotteck. «Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831». Bd. 4. Stuttgart, 1833 (К. Роттек. «Всеобщая история для всех сословий, с древнейших времен до 1831 года». Т. 4. Штутгарт, 1833). Издание начало выходить в 1831 году. — *443.*

277 *Карбонарии* (carbonaro — буквально: угольщик) — члены тайного заговорщического общества, существовавшего в Италии в первой трети XIX в. и во Франции в 20-х годах XIX века. Итальянские карбонарии, объединявшие в своих рядах представителей городской буржуазии, обуржуазившегося дворянства, офицерства, мелкой буржуазии и крестьянства, ставили своей целью осуществление национального освобождения, воссоединения Италии и проведение политических реформ. Французские карбонарии, к которым принадлежали представители различных политических направлений, ставили своей задачей свержение монархии Бурбонов. — *444.*

278 Энгельс имеет в виду статью Л. Шюккинга в № 170 «Telegraph für Deutschland» за октябрь 1838 г. с разбором стихов Аннетты Элизабет Дросте-Хюльсхофф. — *445.*

279 В мае 1840 г., во время пребывания в Мюнстере, Энгельс обсуждал с радикальными немецкими писателями Л. Шюккингом и Г. Пютманом вопрос об издании на немецком языке переводов Шелли, над которыми все они работали. См. также настоящий том, стр. 417. — *445.*

280 W. Elias. «Glaube und Wissen». Ein Roman. 2 Theile. Bremen, 1839. — *446.*

281 См. статью «Tagebuch aus Berlin» («Дневник из Берлина») в № 97 журнала «Telegraph für Deutschland» за июнь 1840 года. — *447.*

282 В 1839 г. в Лейпциге вышла книга Пютмана «Die Düsseldorfer Malerschule und ihre Leistungen seit der Errichtung des Kunstvereines im Jahre 1829» («Дюссельдорфская школа живописи и ее успехи со времени основания Общества искусств в 1829 г.»), а в 1840 г. в Бармене его книга «Chatterton». Erster Theil. «Leben des Dichters»; Zweiter Theil. «Dichtungen» («Чаттертон». Первая часть. «Жизнь поэта». Вторая часть. «Поэзия»). — *448.*

283 Речь идет о переведенных Шюккингом на немецкий язык стихах английского поэта Кольриджа. — *448.*

284 В издаваемой Густавом Пфицером газете «Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands» 7 июня 1840 г. были опубликованы переводы Шюккинга двух стихотворений Шелли и трех — Кольриджа. — *449.*

285 N. Lenau. «Faust». Ein Gedicht. Stuttgart und Tübingen, 1836 (Н. Ленау. «Фауст». Поэма. Штутгарт и Тюбинген, 1836). — *459.*

286 Friedrich von Raumer. «Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit». 6. Bde. Leipzig, 1823—1825 (Фридрих фон Раумер. «История Гогенштауфенов и их эпохи». 6 томов. Лейпциг, 1823—1825). — *459.*

287 F. Diez. «Grammatik der romanischen Sprachen». 2 Theile. Bonn, 1836—1838 (Ф. Диц. «Грамматика романских языков». 2 части. Бонн, 1836—1838). — *459.*

288 Goethe. Sämmtliche Werke. Stuttgart und Tübingen, 1840 (Гёте. Полное собрание сочинений. Штутгарт и Тюбинген, 1840). — *471.*

289 R. E. Prutz. «Der Rhein». Gedicht. Leipzig, 1840 (Р. Э. Пруц. «Рейн». Стихотворение. Лейпциг, 1840). — *479.*

290 В конце марта 1841 г. Энгельс возвратился из Бремена в Бармен. — *482*.

291 Во второй половине сентября 1841 г. Энгельс уехал в Берлин для отбытия воинской повинности и поступил вольноопределяющимся в артиллерийскую бригаду. — *487*.

292 Премьера трагедии Карла Вердера «Колумб» («Columbus») состоялась 7 января 1842 г. в берлинском королевском Оперном театре. Перед началом спектакля и между действиями исполнялись отрывки из симфоний Бетховена. — *489*.

293 *Аргонавты* — в греческой мифологии герои, отправившиеся на корабле «Арго» под предводительством Ясона в Колхиду (совр. Закавказье) за золотым руном, которое охранялось драконом.

В этом стихотворении Энгельсом упоминается также ряд персонажей из греческой мифологии: *Ариадна*, дочь критского царя Миноса, которая помогла своему возлюбленному, Тесею, выбраться из лабиринта; *Эгей*, царь Афин, отец Тесея; *Минотавр*, пожирающее людей чудовище с телом человека и бычьей головой, убитый Тесеем; *Кадм* (Агенорид) — сын финикийского царя Агенора, мифический основатель города Фив в Греции. — *503*.

294 Это стихотворение было написано Энгельсом на древнегреческом языке и прочитано на публичных торжествах Эльберфельдской гимназии 15 сентября 1837 года. Сюжетом стихотворения послужил древнегреческий миф о походе войска города Аргоса на город Фивы. Поход был предпринят Полиником, сыном царя Эдипа, против брата Этеокла, незаконно захватившего власть в Фивах. В результате братоубийственного поединка Полиника и Этеокла оба они погибли.

В стихотворении Энгельс обнаруживает прекрасное знание древнегреческой мифологии, создавая на ее основе образный фон для изображения поединка. Так, например, он вводит в повествование жену фиванского царя жестокую *Дирку*, которая хотела погубить дочь речного бога Асопа Антиопу, привязав ее к рогам быка, но сама была казнена таким способом сыновьями Антиопы, или упоминает богиню смерти *Керу*, олицетворяющую злую судьбу. — *520*.

295 Энгельс ушел из старшего класса гимназии по настоянию отца в сентябре 1837 г., в связи с чем ему и было выдано директором д-ром Ханчке выпускное свидетельство. — *528*.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Г

М

Н

О

П

Р

С

У

Ф

Х

Э

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

«*Abend-Zeitung*» («Вечерняя газета») — ежедневная литературная газета, издававшаяся в Дрездене и Лейпциге с 1817 по 1857 год. — 364, 384.

«*Allgemeine Preußische Staats-Zeitung*» («Всеобщая прусская государственная газета») — основана в Берлине в 1819 году. В 40-х годах XIX в. газета являлась полуофициальным органом прусского правительства. — 280.

«*Allgemeine Theater-Chronik*» («Всеобщая театральная хроника») — немецкий журнал, издававшийся в Лейпциге в 1832—1875 годах. — 24.

«*Athenäum*» — сокращенное название журнала младогегельянцев «Athenäum für Wissenschaft, Kunst und Leben. Eine Monatsschrift für das gebildete Deutschland» («Атенеум по вопросам науки, искусства и жизни. Ежемесячник для образованной Германии»), который издавался в 1838—1839 гг. в Нюрнберге. В 1841 г. «Athenäum» выходил в Берлине в виде еженедельника под названием: «Athenäum. Zeitschrift für das gebildete Deutschland» («Атенеум. Журнал для образованной Германии»). — 162, 173, 401.

«*Berliner Allgemeine Kirchenzeitung*» («Всеобщая берлинская церковная газета») — издавалась в 1830—1849 гг. профессором теологии Г. Ф. Г. Рейнвальдом. — 174.

«*Berliner Conversations-Blatt für Poesie, Litteratur und Kunst*» («Берлинский собеседник по вопросам поэзии, литературы и искусства») — немецкий журнал; под данным заглавием выходил в 1827—1829 и 1836—1838 годах. — 396.

«*Berliner politisches Wochenblatt*» («Берлинский политический еженедельник») — крайне реакционный орган, издавался с 1831 по 1841 г. при участии П. Галлера, Лео, Раумера и других; пользовался поддержкой и покровительством кронпринца Фридриха-Вильгельма (с 1840 г. — король Фридрих-Вильгельм IV). — 41, 46, 125.

«*Berlinische Nachrichten von Staats — und gelehrten Sachen*» («Берлинские известия по вопросам политики и науки») — немецкая ежедневная газета, выходила в Берлине с 1740 по 1874 год; придерживалась конституционно-монархического направления. По имени ее издателя газету называли «Spenersche Zeitung» («Шпенерская газета»). — 272—273.

СОДЕРЖАНИЕ*

Ф. ЭНГЕЛЬС.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (1838—1844)

* Звездочкой отмечены письма и произведения, впервые публикуемые в составе Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

Ф. ЭНГЕЛЬС.
ПИСЬМА (1838—1842)

1838 год

1839 год

1840 год

1841 год

1842 год

ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДСТВА Ф. ЭНГЕЛЬСА
(Ранние литературно-поэтические опыты 1833—1837 гг.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Том подготовлен к печати *Б. А. Крыловы*
при участии *К. И. Коиновой*

Помощники подготовителя
О. А. Королева, Е. С. Кругликова

Технический редактор *Ц. Л Бейлина*

Корректоры *А. М. Денисов, Е. И Щукина*

*Сдано в набор 5/V 1970 г. Подписано
к печати 28/X 1970 г. Формат $60 \times 92^{1}/_{16}$.
Физ. печ. л. 39+1 вклейка ($^{1}/_{8}$ п. л.).
Условн. печ. л. 39,13. Уч.-изд. л. 34,86.
Тираж 45 тыс. экз. Заказ № 1178
Бумага № 1. Цена 1 руб.*

★

*Издательство политической литературы.
Москва, А-47, Миусская пл., 7.*

★

*Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 1
«Печатный Двор» им. А. М. Горького
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР,
г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.*

***Вклейка отпечатана на Ленинградской
фабрике офсетной печати № 1
Кронверкская, 7.***

